

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

А. Писемский

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1959

Издание выходит
под наблюдением
А. П. Могилянского.

МАСОНЫ



Роман в пяти частях

Подготовка текста
П. Л. Вячеславова.

Примечания
А. П. Могилянского.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Город, где Аггей Никитич пребывал исправником, был самый большой и зажиточный из всех уездных городов описываемой мною губернии. Стоял он на берегу весьма значительного озера и был раскидан частию по узкой долине, прилегающей к самому озеру, а частию по горам, тут же сразу круто начинающимся. По долине этой тянулась главная улица города, на которой красовалось десятка полтора каменных домов, а в конце ее грозно выглядывал острог с толстыми железными решетками в окнах и с стоявшими в нескольких местах часовыми. В остроге этом в настоящее время были заключены Аггеем Никитичем Тулузов, а также и управляющий его, Савелий Власьев. Вообще Аггей Никитич держал себя в службе довольно непонятно для всех других чиновников: место его, по своей доходности с разных статей — с раскольников, с лесопромышленников, с рыбаков на черную снасть, — могло считаться золотым дном и, пожалуй бы, не уступало даже месту губернского почтмейстера, но вся эта благодать была не для Аггея Никитича; он со своей службы получал только жалованье да несколько сот рублей за земских лошадей, которых ему не доставляли натурой, платя взамен того деньги. В смысле бескорыстия и прирожденной честности Аггей Никитич совершенно походил на Сверстова, с тою лишь разницей, что доктор был неряхою в одежде, а Аггей Никитич очень любил пофрантить; но зато Сверстов расходовался на водку и на съедомое, Аггей же Никитич мог есть что угодно и сколько угодно: много и

мало! До какой степени пагубно и разрушительно действовало на Миропу Дмитриевну бескорыстие ее мужа — сказать невозможно: она подурнела, поседела, лишилась еще двух — трех зубов, вместо которых купить вставные ей было будто бы не на что да и негде, так что всякий раз, выезжая куда-нибудь, она залепляла пустые места между зубами белым воском, очень искусно придавая ему форму зуба; освежающие притиранья у местных продавцов тоже были таковы, что даже молодые мещанки, которые были поумнее, их не употребляли. Перенося все эти лишения, Миропа Дмитриевна весьма справедливо в мыслях своих уподобляла себя человеку, который стоит по горло в воде, жаждет пить и ни капли не может проглотить этой воды, потому что Аггей Никитич, несмотря на свое ротозейство, сумел, однако, прекратить всякие пути для достижения Миропою Дмитриевною главной цели ее жизни; только в последнее время она успела открыть маленькую лазейку для себя, и то произошло отчасти случайно. За какие-нибудь полгода перед тем к ним в город прибыл новый откупщик, Рамзаев, которому, собственно, Тулузов передал этот уезд на откуп от себя. Откупщик сей был полупромотавшийся помещик и состоял в браке, если не с дочерью, то, по крайней мере, с сестрою какого-то генерала. Оба супруга были одинаково чехвальны, пожалуй, недалеки умом, но при этом довольно лукавы и предусмотрительны. Миропа Дмитриевна, по своим отдаленным соображениям, сочла нужным познакомиться с Рамзаевыми и посредством лести и угодливости в два—три визита просто очаровала откупщицу и, сделавшись потом каждодневной гостьей ее, однажды принялась рассуждать о том, как трудно жить людям бедным.

— Вы посмотрите,— перешла она уже прямо к делу,— вот какие у меня перчатки!

И Миропа Дмитриевна показала штопанные и расперештопанные перчатки.

— А вот мои башмаки! — продолжала она и высунула из-под платья продырявленный носок своего ботинка.

Откупщица, дама лет пятидесяти, если не с безобразным, то с сильно перекошенным от постоянного флюса лицом, но, несмотря на то, сидевшая у себя дома в брильянтовых серьгах, в шелковом платье и даже, о чем обыкновенно со смехом рассказывала ее горничная, в шелковых

кальсонах под юбкой, была поражена ужасным положением Миропы Дмитриевны.

— Но разве ваш муж не дает вам ничего на туалет? — спросила она голосом, исполненным искреннего участия.

— Ему давать не из чего: мы живем только жалованьем,— произнесла с грустью Миропа Дмитриевна.

— Как же это? — проговорила с удивлением и потупляя несколько глаза откупщица.— Вы еще с откупа получаете!

— Ни копейки! — объяснила с оттенком благородства Миропа Дмитриевна.

— Неужели откуп вам не платит? — спросила откупщица с возрастающим недоумением.

— Откуп, конечно, готов бы был платить,— отвечала с печальной усмешкой Миропа Дмитриевна,— но муж мой — я не знаю как его назвать — в некоторых отношениях человек сумасшедший; он говорит: «Царь назначил мне жалованье, то я и должен только получать».

Говоря это, Миропа Дмитриевна старалась передразнить грубый и, по ее мнению, дурацкий голос Аггея Никитича.

— А о том, как и на что мы должны жить, Аггей Никитич и не помышляет,— заключила она.

— Однако как же вы в этом случае поступаете и справляетесь с вашим хозяйством? — сказала с прежним участием откупщица.

— Поступаю так, что ем один только черный хлеб и хожу в худых башмаках.

Миропа Дмитриевна в этом случае лгала бессовестным образом: она ела каждодневно очень лакомые кусочки, так что, не говоря о чем другом, одного варенья наваривала пуда по три в год и все это единственной своей особой съедала; но Аггея Никитича она действительно держала впроголодь, и когда он, возвращаясь из суда с достаточно возбужденным аппетитом, спрашивал ее:

— А что, Мира, мы будем обедать сегодня?

— Да я не знаю,— отвечала Миропа Дмитриевна сентиментальным голосом,— что-нибудь там сделано, если только лавочник отпустил в долг.

— Почему же в долг? — осмеливался иногда заметить Аггей Никитич.— Я, кажется, недавно отдал тебе мое жалованье.

— Что же ты,— возражала ему Миропа Дмитриевна

тихим и вместе с тем ядовитым голосом,— думаешь, что я куда-нибудь растранжириваю твое великое жалованье? Так, пожалуйста, не давай мне ничего и распоряжайся хозяйством сам.

На слова *твое великое жалованье* она делала заметное ударение и очень хорошо, конечно, знала, что сам хозяйничать Аггей Никитич не сумеет, да и не захочет. Он же, в свою очередь, совершенно понимал, что все это ему мстят за его бескорыстие по службе, тогда как, по его пониманию, если бы Миропа Дмитриевна была хорошая женщина, то должна была бы похвалить его за то, а не язвить постоянно какой-то нуждой, которой и быть не могло, потому что у Миропы Дмитриевны был собственный капитал, простиравшийся вместе с недвижимыми имениями тысяч до пятидесяти, о чем она имела неосторожность признаться Аггею Никитичу, заманивая его жениться на ней.

Возвращаюсь, однако, к описанию тех отношений, которые установились между Миропой Дмитриевной и откупщицей после их откровенной беседы. Откупщица в то же утро передала мужу своему о стесненном положении Зверевых и, переговорив с ним, сказала Миропе Дмитриевне:

— Если Аггей Никитич не желает получать с откупа, то мы готовы вам платить.

Миропа Дмитриевна при этом сильно смутилась и вспыхнула.

— Но я не смею, боюсь, потому что, если Аггей Никитич узнает это, так я не знаю... он прибьет, убьет меня!.. Он, я вам говорю, сумасшедший человек в этом отношении.

— Да он и не узнает о том! — возразила откупщица.— Это только будет известно Теофилу Терентьичу (имя откупщика), мне и вам, и мы вас просим об одном: растолковать Аггею Никитичу, что нельзя же так поступать, как он поступает с Василием Ивановичем Тулузовым; согласитесь: генерал, откупщик стольких губерний, посажен им в острог, и это, по словам мужа моего, может кончиться очень дурно для Аггея Никитича.

— Разве я того не понимаю, почтеннейшая Анна Прохоровна (имя откупщицы), и не предсказывала Аггею Никитичу, что с ним может быть; но он — таить я не хочу пред вами — такой упрямый олух, что когда упрется во

что, так надобно очень много времени, чтобы повернуть его в другую сторону.

— Все-таки, значит, вы имеете на него влияние? — проговорила откупщица, хорошо понимавшая силу женской хитрости.

— Конечно, без сомнения! — воскликнула Миропа Дмитриевна.— И как он ни капризен, но в сущности — малый ребенок, который тем только существует, что я вожу его на помочах.

Говоря о своем влиянии на мужа, Миропа Дмитриевна имела целью закрепить свое право получать за это влияние деньги и получать их сколько возможно подольше и побольше.

Вслед за тем откупщица, при первой же уплате месячных денег, напомнила Миропе Дмитриевне:

— Надеюсь, что вашими внушениями облегчится хоть немного участь бедного Василия Ивановича.

— Все, что зависит от меня, я сделаю и имею некоторую надежду на успех,— ответила на это Миропа Дмитриевна и повела с первого же дня незаметную, но вместе с тем ни на минуту не прерываемую атаку на мужа, начав ее с того, что велела приготовить к обеду гораздо более вкусные блюда, чем прежде: борщ малороссийский, вареники, сосиски под капустой; мало того, подала даже будто бы где-то и случайно отысканную бутылку наливки, хотя, говоря правду, такой наливки у Миропы Дмитриевны стояло в подвале бутылок до пятидесяти. Аггею Никитичу, конечно, все это кинулось в глаза.

— Что у нас за праздник сегодня? — сказал он не без иронии.

— Никакого праздника нет,— возразила ему невиннейшим голосом Миропа Дмитриевна,— но наскучило есть одно и то же; живем, никакими удовольствиями не пользуясь; надобно же, по крайней мере, есть, что нам нравится.

— Разумеется! — подхватил Аггей Никитич, очень довольный, с своей стороны, таким взглядом жены.

Не ограничиваясь вкусным обедом и угощением Аггея Никитича наливкой, Миропа Дмитриевна по окончании трапезы хотела было даже адресоваться к нему с супружескими ласками, на которые она с давнего уже времени была очень скупа, и Аггей Никитич, понимая, что это тоже была месть ему, чувствовал за то к Миропе Дмитриев-

не не гнев, нет, а скорее презрение. «Вот видите ли, чем желает наказать меня»,— думал он и не позволял себе, конечно, ни одним намеком потребовать от Миропы Дмитриевны должных мужу нежностей. Но когда она в настоящие минуты сама обратилась к нему с заявлением оных, то он довольно резко уклонился от того. Миропу Дмитриевну это удивило, тем более, что она считала Аггея Никитича до сих пор влюбленным в нее, и внушило ей даже подозрение, нет ли у нее соперницы. «Но кто же мог быть таковою? Неужели служанки заменили ему меня?» — спрашивала она себя мысленно, хотя это казалось ей совершенно невозможным, потому что в услужении у нее были те же две крепостные рабыни: горничная Агаша и кухарка Семеновна, до того старые и безобразные, что на них взглянуть даже было гадко. «Но Аггей Никитич весьма часто ездил в уезд и, может быть, там развлекался?» — подумала она и решилась в эту сторону направить свое ревнивое око, тогда как ей следовало сосредоточить свое внимание на ином пункте, тем более, что пункт этот был весьма недалек от их квартиры, словом, тут же на горе, в довольно красивом домике, на котором виднелась с орлом наверху вывеска, гласящая: *Аптека Вибеля,* и в аптеке-то сей Аггей Никитич последние дни жил всей своей молодой душой.

Здесь, впрочем, будет нелишним заметить, что когда кто-либо и о чем-либо постоянно мечтает и постоянно одного желает, то вряд ли каждому не удастся осуществить этого желания своего. Главною мечтою Аггея Никитича, как это знает читатель, с самых юных лет было стремление стяжать любовь хорошенькой женщины, и даже, если хотите, любовь незаконную. Такой любви Миропа Дмитриевна, без сомнения, не осуществила нисколько для него, так как чувство ее к нему было больше практическое, основанное на расчете, что ясно доказало дальнейшее поведение Миропы Дмитриевны, окончательно уничтожившее в Аггее Никитиче всякую склонность к ней, а между тем он был человек с душой поэтической, и нравственная пустота томила его; искания в масонстве как-то не вполне удавались ему, ибо с Егором Егорычем он переписывался редко, да и то все по одним только делам; ограничиваться же исключительно интересами службы Аггей Никитич никогда не мог, и в силу того последние года он предался чтению романов, которые доставал, как и дру-

гие чиновники, за маленькую плату от смотрителя уездного училища; тут он, между прочим, наскочил на повесть Марлинского *«Фрегат «Надежда»*. Без преувеличения можно сказать, что дрожь пронимала Аггея Никитича, когда он читал хоть и вычурные, но своего рода энергические страницы сего романа: княгиня, капитан, гибнувший фрегат, значит, с одной стороны — долг службы, а с другой — любовь,— от всего этого у Аггея Никитича захватывало дыхание. Равным образом не бесследно прошел для него появившийся тогда роман Лермонтова *«Герой нашего времени»*. Сам герой романа, впрочем, не понравился Аггею Никитичу; он сейчас в нем подметил гвардейского ломаку, зато княжна Мери и дама с родинкой на щеке очаровали его. Но вот однажды Аггей Никитич, страдая от мозоли, зашел в аптеку Вибеля и застал там самого аптекаря, который был уже старик, из обрусевших немцев, и которого Аггей Никитич еще прежде немного знал, но не ведал лишь одного, что Вибель лет за десять перед тем женился на довольно молоденькой особе, которая куда-то на весьма продолжительное время уезжала от него, а ныне снова возвратилась. Аггей Никитич подошел к аптекарю и едва только выговорил: «А позвольте вас спросить...», как из дверей в промежутке между шкафами, из коих на одном было написано narcotica [1], а на другом — heroica [2], появилась молодая женщина, нельзя сказать, чтобы очень красивая лицом, но зато необыкновенно стройная, с чрезвычайно ловкими и грациозными манерами, и одетая совершенно по-домашнему.

— Генрику, я пояден на спацер [3],— сказала она, обращаясь к старому аптекарю.

— Добрже, — отвечал он ей с не совсем чистым польским акцентом.

Аггей Никитич, услыхав звуки столь любимого, хотя и не вполне ему знакомого языка, исполнился восторга и, не удержавшись, воскликнул, обращаясь к молодой даме:

— С пржиемносцион видзен, же пани полька! [4]

— Да, по происхождению полька, но по душе русская,— отвечала ему та.

— Это еще приятнее слышать,— произнес Аггей Ни-

---

[1] наркотическое, *(лат.)*

[2] возбуждающее, *(лат.)*

[3] Генрих, я поеду прогуляться, *(прим. автора.)*

[4] С удовольствием вижу, что вы, сударыня, полька! *(Прим. автора.)*

китич, приняв слова молодой польки более за любезность, так как в зрачках ее беспрерывно вскидываемых и потупляемых глаз и в гордой посадке всего ее тела он ощущал в ней завзятую польку.

— А пан кто таки? — спросила она

— Я прежде был офицер, долго стоял в царстве польском и считаю это время счастливейшим в своей жизни,— объяснил Аггей Никитич, очень бы желавший сказать все это по-польски, но побоявшийся, что, пожалуй, как-нибудь ошибется и скажет неблагопристойность, что с ним раз и случилось в царстве польском.

— А теперь вы что? — спросила уж по-русски панна.

— Теперь я исправник здешний,— отвечал Аггей Никитич, несколько потупляясь, ибо он знал, что поляки не любят русских чиновников; но на этот раз он, по-видимому, ошибся.

— О-то, боже мой, я же вас знаю! — воскликнула аптекарша.— Но скажите, неужели ваш город всегда такой скучный?

— Всегда,— отвечал с грустной иронией Аггей Никитич.

— Это ужасно! — произнесла аптекарша, пожав плечами.— У меня тут одно развлечение, что я часа по два катаюсь по городу,— присовокупила она будто бы случайно и в то же время кинув мимолетный взгляд на молодцеватого исправника.

— Где ж вы именно катаетесь? — не преминул тот спросить ее.

— Ах, да по этой вашей глупой, длинной улице,— отвечала панна,— езжу по ней взад и вперед; по крайней мере дышу свежим воздухом, а не противными этими травами.

Все эти переговоры старик-аптекарь слушал молча и сурово и, наконец, по-видимому, не вытерпев дольше, отнесся к Аггею Никитичу:

— О чем вам угодно было спросить меня?

Тот очутился в затруднительном положении: сказать при такой прелестной даме, что пришел за пластырем для мозоли, казалось ему совершенно невежливым.

— У меня в плече ревматизм, и мне советуют залепить чем-нибудь это место, — придумал он.

— Да, это хорошо,— одобрил немец и крикнул старшему помощнику своему: -- Папье-фаяр!

Тот отмахнул копеек на пятьдесят фаяру и, свернув его в трубочку, подал Аггею Никитичу.

Молодая пани между тем не уходила из аптекарской залы. Сначала она внимательно смотрела на довольно красивого помощника, приготовлявшего Аггею Никитичу папье-фаяр, а потом и на Аггея Никитича, который, в свою очередь, раскланявшись с старым аптекарем и его молодой супругой, вышел из аптеки с совершенно отуманенной головой. Не нужно, я думаю, говорить, что он на другой же день с одиннадцати еще часов принялся ездить по длинной улице, на которой часов в двенадцать встретил пани-аптекаршу на скромных саночках, но одетою с тою прелестью, с какой умеют одеваться польки. Аггей Никитич почтительно снял перед пани шапку, и она ему низко-низко поклонилась. Подобные встречи Аггея Никитича с молодою аптекаршей стали потом повторяться каждодневно, и нельзя при этом не удивиться, каким образом Миропа Дмитриевна, дама столь проницательная, не подметила резкой перемены, которая произошла в наружности Аггея Никитича с первого же дня его знакомства с очаровательной аптекаршей. Не говоря уже о том, что каждое утро он надевал лучший сюртук, лучшую шинель свою, что бакенбарды его стали опять плотно прилегать к щекам, так как Аггей Никитич держал их целые ночи крепко привязанными белой косынкой, но самое выражение глаз и лица его было совершенно иное: он как бы расцвел, ожил и ясно давал тем знать, что любить и быть любимым было главным его призванием в жизни.

В тот день, в который Миропа Дмитриевна задумала предпринять против Аггея Никитича атаку, его постигнуло нечто более серьезное, чем мимолетные встречи с пани, потому что она не то что встретилась с ним, а, нагнав, велела кучеру ехать рядом и отнеслась к Аггею Никитичу:

— Пан Зверев, узнайте, пожалуйста, когда начнутся собрания: их затевает здешний откупщик, но муж от меня это таит, а я непременно хочу бывать на этих собраниях! Узнаете?

— С великою готовностью,— отвечал Аггей Никитич, обрадованный надеждою, что он будет встречаться с аптекаршей не только что на улице, но и в собраниях, станет танцевать с нею, разговаривать.— Я послезавтра же уведомлю вас об этом! — присовокупил он.

— Дзенкуен! [1]— произнесла панна аптекарша и крикнула кучеру: — Пошел!

Тот пустил лошадь полной рысью; но и Аггей Никитич, не преминув сказать своему кучеру: «Пошел и ты!», скоро нагнал аптекаршу.

— О-то, мы гоняемся с вами; посмотрим, кто кого обгонит! — весело воскликнула пани и велела кучеру ехать еще скорее.

Аггей Никитич на своем иноходце тоже не отставал от нее; таким образом они ехали, только что не касаясь друг друга плечами, и хоть не говорили между собою, но зато ласково и весело переглядывались.

Дома Аггея Никитича ожидал опять-таки приятный обед с вишневкою и с заметною нежностью со стороны супруги. Он же, сев за стол, немедля сказал Миропе Дмитриевне:

— Ты сегодня поедешь к своей откупщице?

— Непременно! — отвечала Миропа Дмитриевна.

— Спроси ее, правда ли, что она с мужем своим затевает устроить здесь на всю зиму собрание?.. Если это справедливо, то скажи, чтобы они меня также записали.

— Да тут нечего спрашивать! Я знаю, что они это устраивают, и полагаю, что ты будешь записан у них раньше всех, потому что всякий раз, как я бываю у них, муж и жена тебя до небес расхваливают, — проговорила Миропа Дмитриевна, очень довольная подобным желанием Аггея Никитича, так как это могло его несколько сблизить с откупщиком и с милой откупщицей; кроме того, такое благородное развлечение, как дворянские собрания, отвлечет Аггея Никитича от других гадких удовольствий, которые, может быть, он устраивает себе где-нибудь по деревням.

Аггей Никитич, в свою очередь, тоже кое-что как бы соображал при этом.

— А ты запишешься и будешь выезжать? — спросил он Миропу Дмитриевну.

Голос его при этом как-то странно звучал.

— Нет,— произнесла она покорным и приниженным тоном.— Чтобы выезжать, надобно иметь туалет, а это при наших средствах совершенно для меня невозможно,— дополнила она, не утерпев, чтобы не кольнуть мужа бедностью.

---

[1] Благодарю! *(Прим. автора.)*

Аггей Никитич сделал вид, что не слыхал этой фразы Миропы Дмитриевны, и довольно откровенно объяснил ей:

— Точно что, какие уж тебе выезды; выезжать хорошо молоденьким, а то, как на пятый десяток перевалит, так даже нейдет это к женщинам, по пословице: «Сорок лет — бабий век!»

Услыхав это, Миропа Дмитриевна вспыхнула даже в лице от тайной досады, и скажи Аггей Никитич такую глупость при прежних обстоятельствах, то ему попало бы за то на орехи; но тут Миропа Дмитриевна смиренно проглотила горькую пилюльку.

— Это не то, что бабий век, а, разумеется, в такие года женщины должны нравиться не посторонним, но желать, чтобы их муж любил! — проговорила она и хотела, по-видимому, снова вызвать мужа на нежности, но он и на этот раз не пошел на то, так что упорство его показалось, наконец, Миропе Дмитриевне оскорбительным.

II

Предполагаемые собрания начались в уездном городе, и осуществились они действительно благодаря нравственному и материальному содействию Рамзаевых, так как они дали бесплатно для этих собраний свой крепостной оркестр, человек в двадцать, и оркестр весьма недурной по той причине, что Рамзаев был страстный любитель музыки и по большей части сам являлся дирижером своих музыкантов, причем с неустанным вниманием глядел в развернутые перед ним ноты, строго в известных местах взмахивал капельмейстерской палочкой, а в пассажах тихих и мелодических широко разводил руки и понижал их, поспешно утирая иногда пот с своего лица, весьма напоминавшего облик барана. Нельзя, однако, не заметить, что Рамзаев редко замечал настоящие ошибки, делаемые его музыкантами, а потому почти наверное можно предположить, что он любил не столько сущность музыки, сколько ее шум, а еще более того повелительные капельмейстерские движения. В первом собрании, как и ожидали все того, Рамзаев лично управлял своим оркестром. Танцы начались с вальса, и на этот вальс Аггей Никитич, в новом, с иголочки фраке, пригласил очаровательную аптекаршу, которая поистине была очаровательна, если не лицом, то туалетом, отличавшимся не роскошью — нет,—

а вкусом. В начале вальса у Аггея Никитича и его дамы произошла некоторая путаница вследствие того, что он умел вальсировать в три приема, а молодая аптекарша, по более новой моде, стала было танцевать в два темпа. Впрочем, она была так ловка, что, подметив это, принялась тоже выделывать своими ножками более мелкие па, и таким образом оба они при громе музыки облетали залу вихрем и решительно затмили собою другие пары, которых, впрочем, немного и было: студент Демидовского лицея, приехавший на праздник к родителям и вертевшийся с родной сестрой своей, исполняя это с полным родственным равнодушием, а за ним вслед вертелся весьма малорослый инвалидный поручик, бывший на целую голову ниже своей дамы.

Откупщицы не было еще в собрании. Благодаря постоянно терзавшему ее флюсу, она с утра втирала в щеку разные успокаивающие мази и только часов в десять вечера имела силы облечься в шелковое шумящее платье, украситься брильянтами и прибыть в собрание. Вальс в это время уже кончился.

— Танцы не начинались? — спросила она, проходя мимо мужа, стоявшего перед своим пюпитром.

— Начались! — отвечал ей тот торопливо и махнул палочкой.

Музыка грянула, но желающих танцевать вальс больше не оказалось. Откупщица, оглядев все общество и узрев Аггея Никитича, направилась к нему и сказала:

— А я на Миропу Дмитриевну сердита; отчего ж она, я вижу, не приехала?

— Куда ей! — произнес он явно неуважительным тоном.

— По крайней мере я надеюсь, что вы будете постоянно посещать наши собрания? — проговорила откупщица.

— Непременно-с! — отвечал Аггей Никитич.

— Но вы, кажется, незнакомы с моим мужем? — спохватилась откупщица.

— Да-с, незнаком! — объяснил Аггей Никитич.

— Позвольте мне представить вам его! — проговорила откупщица и, взяв Аггея Никитича за руку, подвела его к Рамзаеву, что-то такое запальчиво толковавшему своим музыкантам.

— Теофил Терентьич, господин исправник желает с

тобою познакомиться! — принуждена была почти прокричать ему откупщица.

— Весьма рад! — уразумел, наконец, тот.— Вы видите, я не столько почетный член собрания, сколько музыкант.

Такое заявление откупщика Аггею Никитичу понравилось.

— Это делает вам честь! — отозвался он и поспешно повернул свою голову назад с целью поймать своим взором прелестную аптекаршу, которая, как говорилось тогда, сидела nonchalamment[1] в не очень покойном кресле.

— О, я вижу, пани откупщица ухаживает за вами! — сказала она, когда Аггей Никитич с тайным трепетом в сердце приблизился к ней.

— Я не знаю, что ей нужно от меня,— отвечал Аггей Никитич, смеясь и в то же время опускаясь на близ стоявшее кресло.

Разговор, впрочем, на этом и прекратился; но зато между паном исправником и пани аптекаршей началась перестрелка взглядами.

Откупщик между тем повелел оркестру играть французскую кадриль. Следуя законам приличия, которые Аггей Никитич любил всегда исполнять, он пригласил m-me откупщицу на кадриль, но та, вспыхнув, вероятно, от удовольствия, объявила ему, что она лет пять уже как не танцует. После отказа ее Аггей Никитич на первых порах подумал было адресовать свое приглашение к какой-либо из других дам, но оказалось, что все это были или очень молодые девицы, нескладно одетые в розовые платьица, или толстые, с красными лицами барыни, тяжело дышавшие от туго стянутых корсетов. Натурально, что все они показались Аггею Никитичу противными, и он с некоторым конфузом снова пригласил аптекаршу, которая, кинув на него немного насмешливый взгляд, изъявила согласие. Танцующих набралось довольно, пар до десяти, и две тому были причины: одна из них была та, что французская кадриль, как известно, нашим тяжеловатым северным натурам пришлась более подходящею, чем другие резвые танцы,— в ней все могли выхаживать — старые и молодые, дрессированные в танцевальном искусстве и недрессированные; второй причиной оказалось то обстоятельство, что мужчины средних лет успели уже сходить в буфет и, несколько воодушевившись там штритеровской

[1] небрежно (*франц.*).

водкой, подняли своих тяжеловесных дам с их седалищ. Раздавшееся шарканье ногами было столь громко, что его очень явственно слышали молодые мещане и мещанки, стоявшие на улице и глазевшие в окна собрания. Собственно же, разговоры дам с их кавалерами не отличались особенным одушевлением, а это ясно свидетельствовало, что недостаточно еще было поглощено штритеровки. Даже Аггей Никитич и пани аптекарша мало говорили, и только уж к концу кадрили она спросила его:

— А вы, пан Зверев, женаты?

— Женат,— отвечал Аггей Никитич, невольно вздохнув при этом.— Точно так же, как и вы ведь замужем,— присовокупил он не без грустной иронии.

— Точно так же, как и я,— отвечала тоже не без грусти аптекарша.

После танцев Аггеем Никитичем завладел его предместник по исправничеству, одетый в тот же ополченский мундир, в котором присутствовал на бале у сенатора и бывший на этот раз сильно выпившим.

— Бог только меня спасал от этого злодея, нашего бывшего губернского предводителя Крапчика,— толковал он, шамкая своим беззубым ртом,— совсем было под уголовщину подвел, и я по смерть мою буду богомольцем за сенатора; он в те поры заступился за меня, а потом и дворяне почтили мою службу и на следующую баллотировку повысили меня из заседателей в исправники. Теперь бы вот покойный Петр Григорьич полюбовался, как его зятек-то в тюрьму угодил, и вам очень все благодарны, что вы этого архибестию не пожалели. Не льстя вам, говорю, что вы достойный мне преемник.

Все эти возгласы полупьяного ополченца Аггей Никитич слушал совершенно невнимательно и, нисколько не помышляя о своих служебных подвигах, старался не потерять из глаз аптекаршу, стоявшую около мужа, который играл в карты с почтмейстером, мрачным на вид стариком, украшенным несколькими орденами. Поболтав несколько времени, ополченец, наконец, оставил Аггея Никитича в покое, но его немедля же подцепила откупщица.

— Аггей Никитич, подойдите и посидите со мной! — сказала она ему ласковым голосом.

Аггей Никитич подошел к ней, но не сел.

— Вы, я думаю, не подозреваете, как я люблю вашу

супругу, это такая умная женщина, что, ей-богу, я редко таких встречала, и вы должны быть очень счастливы в вашей семейной жизни.

В ответ на это Аггей Никитич больше как-то промычал:

— Да, ничего,— и вместе с тем направил свое ухо к столу, где играли аптекарь и почтмейстер, около которых продолжала стоять аптекарша.

— Ты, татко[1], не скоро еще кончишь играть? — спросила она, имея, по-видимому, привычку называть мужа таткой.

— Не скоро,— отвечал ей тот и начал медленно тасовать карты.

Видя это, аптекарша, которой наскучило, наконец, стоять пешкой за стулом мужа, ушла в задние комнаты, а между играющими потом завязался довольно странный разговор.

— Как вы говорите, что ничего не было? — начал его украшенный орденами почтмейстер.— У меня есть подлинный акт двадцать седьмого года, где сказано, что путь наш еще не прерван, если мы только будем исполнять правила, предписанные нам нашим статутом.

— Да надобно знать, сколько статутов этих было! — произнес аптекарь и иронически захохотал.

— А сколько? — огрызнулся на него почтмейстер.

— Много, очень много! Я с восемьсот десятого года веду список тому, и выходит, что от Соединенных Друзей отделилась Палестина; Директория — Владимир распалась на Елизавету, Александра и Петра! В пятнадцатом же году в главной Директории существовали: Елизавета, Александр, Соединенные Друзья, а в Астрее — Петр, Изида и Нептун. Разве было что-нибудь подобное в Европе?

— Было, еще почище нашего было! — возразил ему почтмейстер.

— Нет, не было! — отпарировал было ему решительным тоном немец.

— Как нет? — прикрикнул почтмейстер и затем несколько уже ядовитым голосом спросил: — Тамплиеры были?

— Да, были,— отвечал ему, нисколько не сробев, аптекарь.

— Розенкрейцеры тоже?

---

[1] папа, *(прим. автора.)*

— Тоже!

— Иллюминаты существовали?

— Существовали!

— Мартинистов, полагаю, вы не отвергаете?

— Не отвергаю; но разве это то же, что у вас?

— Да! — проговорил почтмейстер, поднимая свои густые и седые брови вверх.

— Так, по-вашему, пожалуй, лютеране, квакеры, индепенденты, реформаты, баптисты — то же, что ваши раскольники?

— А нешто не то же? — произнес самохвально почтмейстер.

— Ну, после этого говорить с вами об этом больше нельзя! — воскликнул аптекарь.

— И не говорите! Как наказали, скажите, пожалуйста! Мне всегда о чем бы то ни было противно говорить с вами! — начал уж ругаться почтмейстер.

— Это может быть, но только вы умерьте ваши выражения! — остановил его довольно кротко аптекарь и начал дрожащими от волнения руками сдавать карты, а почтмейстер с окончательно нахмуренным лицом стал принимать их.

В пылу спора оба собеседника совершенно забыли, что в одной с ними комнате находились Аггей Никитич и откупщица, которая, услыхав перебранку между аптекарем и почтмейстером, спросила:

— Что это, в картах, что ли, они рассорились?

— Вероятно, — слукавил Аггей Никитич, так как, будучи несколько наметан в масонских терминах, он сейчас догадался, что почтмейстер и аптекарь были масоны, и, весьма обрадовавшись такому открытию, возымел по этому поводу намерение нечто предпринять; но, чтобы доскональнее убедиться в своем предположении, он оставил откупщицу и подошел к ходившему по зале с заложенными назад руками ополченцу.

— Скажите,— вопросил он его прямо,— аптекарь здешний и почтмейстер — масоны?

— Заклятые! Не знаю, как нынче, но прежде мне городничий сказывал, что оба они под присмотром полиции находились.

— Но все-таки они люди хорошие,— протянул Аггей Никитич.

— Ну, про почтмейстера никто что-то этого не говари-

вал; он, одно слово, из кутейников; на деньгу такой жадный, как я не знаю что: мало, что с крестьян берет за каждое письмо по десяти копеек, но еще принеси ему всякого деревенского добра: и яичек, и маслица, и ягодок!— объяснил ополченец.

— Ах, он негодяй этакий! — воскликнул Аггей Никитич.— Жаль, что я не губернский почтмейстер теперь; я бы его сейчас же из службы вытурил! А аптекарь тоже такой?

— Нет, тот не такой! — возразил поспешно ополченец. — Хоть и немец, но добрейшей души человек; с больного, про которого только знает, что очень беден, никогда за лекарство ничего не берет... Или теперь этот поступок его с женою?.. Поди-ка, кто нынче так поступит?

— Какой же поступок? — спросил Аггей Никитич.

— Да ведь она года три тому назад,— начал уж шепотом рассказывать ополченец,— убегала от него с офицером одним, так он, знаете, никому ни единым словом не промолвился о том и всем говорил, что она уехала к родителям своим.

— Может быть, она в самом деле к родителям уезжала? — спросил Аггей Никитич, вспыхнув немного в лице.

— Какое к родителям! — отвергнул, рассмеявшись, ополченец.— Ведь видели здесь, как она в одном экипаже с офицером-то уехала... Наконец их в Вильне кое-кто из здешних видел; они на одной квартире и жили.

Аггей Никитич заметно был поражен такой новостью, хотя это нисколько в его мнении не уменьшило прелести аптекарши. Мы по прежним еще данным знаем, до какой степени Аггей Никитич в этом отношении был свободномыслящий человек, тем более, что это обстоятельство ему самому подавало больше надежды достигнуть благосклонности пани Вибель.

— А теперь она разлюбила офицера? — спросил он.

— Это уж бог знает, кто из них кого разлюбил; но когда она опять вернулась к мужу, то этот самолюбивый немец, говорят, не сказал даже ей, что знает, где она была и что делала.

Когда вскоре за тем пани Вибель вышла, наконец, из задних комнат и начала танцевать французскую кадриль с инвалидным поручиком, Аггей Никитич долго и при-

стально на нее смотрел, причем открыл в ее лице заметные следы пережитых страданий, а в то же время у него все более и более созревал задуманный им план, каковый он намеревался начать с письма к Егору Егорычу, написать которое Аггею Никитичу было нелегко, ибо он заранее знал, что в письме этом ему придется много лгать и скрывать; но могущественная властительница людей — любовь — заставила его все это забыть, и Аггей Никитич в продолжение двух дней, следовавших за собранием, сочинил и отправил Марфину послание, в коем с разного рода экивоками изъяснил, что, находясь по отдаленности места жительства Егора Егорыча без руководителя на пути к масонству, он, к великому счастию своему, узнал, что в их городе есть честный и добрый масон — аптекарь Вибель... Но явиться к сему почтенному человеку,— излагал далее Аггей Никитич,—прямо от себя с просьбою о посвящении в таинства масонства он не смеет и потому умолял Егора Егорыча снабдить его рекомендательным письмом, с которым будто бы можно, как с золотыми ключами Петра, пройти даже в рай. Что, собственно, разумел Аггей Никитич в глубине своих чувств под именем рая, читатель, может быть, догадывается!

На поверку, впрочем, оказалось, что Егор Егорыч не знал аптекаря, зато очень хорошо знала и была даже дружна с Herr Вибелем gnädige Frau, которая, подтвердив, что это действительно был в самых молодых годах серьезнейший масон, с большим удовольствием изъявила готовность написать к Herr Вибелю рекомендацию о Herr Звереве и при этом так одушевилась воспоминаниями, что весь разговор вела с Егором Егорычем по-немецки, а потом тоже по-немецки написала и самое письмо, которое Егор Егорыч при коротенькой записочке от себя препроводил к Аггею Никитичу; сей же последний, получив оное, исполнился весьма естественным желанием узнать, что о нем пишут, но сделать это, по незнанию немецкого языка, было для него невозможно, и он возложил некоторую надежду на помощь Миропы Дмитриевны, которая ему неоднократно хвастала, что она знает по-французски и по-немецки.

— А что, ты одно письмецо немецкое можешь перевести? — спросил он ее.

— Какое письмецо и от кого? — пожелала прежде всего узнать Миропа Дмитриевна.

— Письмо от докторши Сверстовой, которая живет у Егора Егорыча.

— Но о чем она может писать тебе? — сказала с некоторым недоумением Миропа Дмитриевна.

— Она не ко мне пишет,— говорил Аггей Никитич, видимо, опасаясь проговориться в каждом слове,— но к некоему Вибелю, здешнему аптекарю.

— Ну да, я знаю его! — подхватила Миропа Дмитриевна.— Краснорожий из себя, и от него, говорят, жена убегала... И что ты за почтальон такой, чтобы передавать письма?

— Я не почтальон,— произнес обмиравший втайне Аггей Никитич,— но Сверстова не знает адреса господина Вибеля.

— Да для чего в уездном городе знать адрес? Здесь все знают аптеку, — произнесла насмешливо Миропа Дмитриевна, видимо, начавшая что-то такое тут подозревать, и потом прибавила: — Как же ты можешь распечатывать чужие письма?

— Я не распечатываю,— воскликнул при этом Аггей Никитич,— но письмо это прислано мне незапечатанным, чтобы я прочел его, потому что оно обо мне.

— О тебе?.. Вибелю?.. Но о чем?

— О том, что Вибель масон, а чрез масонов, как ты знаешь, мы только и имеем средства, чем существовать.

Такого рода довод показался Миропе Дмитриевне довольно основательным, так что она тоже пожелала узнать содержание письма, но когда Аггей Никитич подал ей его, то Миропа Дмитриевна, пробежав глазами довольно мелкий почерк gnädige Frau, ничего не уразумела.

— Вот видишь,— принялась она вывертываться,— я прежде знала по-немецки, но теперь позабыла, а потому надобно где-нибудь достать лексикон.

— Это я могу,—сказал Аггей Никитич и принес Миропе Дмитриевне еще с гимназии сохраненный им довольно скудный немецкий словарь, но оказалось, что она и с лексиконом плохо обращалась, так что Аггей Никитич в этом случае явился гораздо опытнее ее, чем Миропа Дмитриевна не преминула воспользоваться.

— У меня очень плохи глаза,— сказала она,— а ты приищи мне прежде все слова по-немецки, и завтра мы переведем с тобою вместе.

— Добрже,— одобрил Аггей Никитич и, уйдя к себе,

приискал все слова, какие только сумел найти в лексиконе. Поутру он преподнес Миропе Дмитриевне письмо и тетрадь со словами, а затем они вкупе стали переводить и все-таки весьма смутно поняли содержание письма, что было и не удивительно, так как gnädige Frau написала свое послание довольно изысканно и красноречиво.

В переводе письмо ее должно было быть таково:

«Достопочтенный господин Вибель!

Широкий поток времени, разделивший наше прежнее знакомство, не лишает меня, однако, надежды, что Вы еще не забыли Эмму, жену покойного пастора Клейнберга, а по псевдониму ложи — Alba Rosa [1]. Письмо это я пишу, чтобы рекомендовать Вам служащего в Вашем городе господина Зверева, за которого объявляет себя поручителем господин Марфин, знаменитейший сподвижник русского масонства. Раскройте Ваши дружеские объятия господину Звереву. Он, по отзывам господина Марфина и моего теперешнего мужа доктора Сверстова, рыцарь по смелости и честности и неофит, готовый принять в свою душу все прекрасное. Я уверена, что Вы не отвергнете его, тем более, что наше стадо с каждым днем уменьшается, и привлечь хотя еще одну новую овцу будет заслугою перед нашим орденом.

Сверстова.»

Сколь ни мало, как я уже сказал, Зверевы могли перевести, но все-таки они более уже чувством поняли, что gnädige Frau чрезвычайно расхваливала Аггея Никитича.

— Когда же ты поедешь с этим письмом к Вибелю? — спросила его Миропа Дмитриевна.

— Да как-нибудь тут зайду к нему,— отвечал с некоторой небрежностью Аггей Никитич и, конечно, в этом случае хитрил.

Он прежде, чем сделать визит аптекарю, вознамерился позондировать пани Вибель и счел за лучшее сделать это не в собрании, где было все-таки довольно многолюдно, а на своих утренних встречах с ней, которые происходили таким образом, что Аггей Никитич просто нагонял экипаж пани Вибель и ехал с ней рядом, что повторил он и в настоящем случае.

— Я имею надобность быть у вашего мужа,— сказал он.

---

[1] Белая роза *(лат.)*.

— А разве у вас весь вышел папье-фаяр? — спросила насмешливо аптекарша.

— Неужели же,— возразил Аггей Никитич,— к вашему супругу только можно иметь надобность, что за папье-фаяр?

— О, нет! — воскликнула пани Вибель.— Вы можете получить от него магнезию, ревень, солодковый корень...

— А кроме этого, ничего у него нет? — спросил Аггей Никитич.

— Ничего нет! — отвечала пани и засмеялась.

Аггей Никитич тоже улыбнулся.

— Я не то что желаю что-нибудь получить от господина Вибеля,— начал он,— но у меня есть к нему письмо от одной дамы.

— От дамы? Ах, это интересно! — снова воскликнула пани.— От молоденькой и хорошенькой?

— Напротив, не от молоденькой и не от хорошенькой; в этом случае вы совершенно можете успокоить вашу ревность.

— Ревность? — произнесла как бы в невольном удивлении пани.— О, пан Зверев, я вам очень благодарна, что вы успокоили меня в *этом отношении*. Я действительно,— продолжала она с кокетливой грацией,— ужасно ревную моего татку, но не к женщинам, а к его коту, которого он, вообразите, лелеет, целует, моет, расчесывает гребнем.

Честный аптекарь действительно, когда супруга от него уехала, взял к себе на воспитание маленького котенка ангорской породы, вырастил, выхолил его и привязался к нему всею душою, так что даже по возвращении ветреной супруги своей продолжал питать нежность к своему любимцу, который между тем постарел, глаза имел какие-то гноящиеся, шерсть на нем была, по случаю множества любовных дуэлей, во многих местах выдрана, а пушистый ангорский хвост наполовину откушен соседними собаками. Все это аптекарша не преминула довольно подробно описать Аггею Никитичу, который покатывался со смеху, воображая фигуру кота, и вместе с тем упивался восторгом, слыша такие насмешливые отзывы пани Вибель о своем супруге.

— Но когда ж, однако, я могу застать господина Вибеля? — спросил он.

— Когда хотите, он целые дни торчит в своей аптеке,— объяснила пани.

— Но я желал бы застать и вас дома,— проговорил Аггей Никитич.

— О, пане добродзею, как я вам благодарна за то! — воскликнула пани и низко поклонилась Аггею Никитичу.

— В таком случае, назначьте мне час!

— Час? — протянула она.— Всего лучше... одиннадцать часов вечера; тогда муж наверное спит, а я еще сижу.

Аггей Никитич снова веселейшим образом захохотал.

— Но что ж вы делаете, сидя одни? — спросил он.

— Мечтаю.

— О чем?

— Угадайте!

— Угадать нетрудно! — сказал, пожимая плечами, Аггей Никитич.

— Ну, угадывайте! — разрешила ему пани.

— Вы мечтаете о прошедшем,— проговорил Аггей Никитич.

Пани при этом заметно вспыхнула.

— Может быть, немножко о прошедшем, а может быть, и о настоящем!— произнесла она кокетливо и крикнула кучеру:— Пошел!

Тот поехал быстрее.

Аггей Никитич, начинавший несколько поотставать от своей спутницы, погрузился было в сладкие грезы; но аптекарша снова велела кучеру ехать тише, так что Аггей Никитич опять поравнялся с нею.

— Не желаете ли, чтобы я предуведомила мужа, что вы хотите быть у него?— спросила она.

— Пожалуйста! — сказал ей Аггей Никитич.

— Но в какое же время?— поинтересовалась сама пани Вибель узнать поточнее время.

— Вечером, часов в шесть,— объяснил Аггей Никитич, рассчитав, что сначала он переговорит с аптекарем, а потом тот, вероятно, пригласит его остаться чай пить, и таким образом Аггей Никитич целый вечер проведет с очаровательной пани.

— Можно это?

— О, да, можно. Но муж, вероятно, спросит, от какой дамы письмо.

— Письмо от его бывшей ревельской знакомой, госпожи Сверстовой,— сказал Аггей Никитич, припомнив

все, что только он вкупе с Миропой Дмитриевной понял из письма.

— Ревельской знакомой!— повторила себе аптекарша и велела кучеру ехать по направлению к дому, где тотчас же передала мужу поручение Аггея Никитича.

Вибель на первых порах исполнился недоумения; но затем, со свойственною немцам последовательностью, начал перебирать мысленно своих знакомых дам в Ревеле и тут с удивительной ясностью вспомнил вдову пастора, на которой сам было подумывал жениться и которую перебил у него, однако, русский доктор Сверстов. Воспоминания эти так оживили старика, что он стал потирать себе руки и полушептать:

— Посмотрим, посмотрим, что мне пишет Alba Rosa?

— Какая это Alba Rosa?— спросила было его молодая супруга.

— Это не твое дело,— ответил он ей и решительным жестом дал понять, чтобы она уходила.

Пани аптекарша, сделав презрительную мину, ушла.

III

Аггею Никитичу хоть и предстояло вечером свидание с пани Вибель, однако он не утерпел и выехал поутру прокатиться, причем, как водится, встретил ее. Разговаривали они между собою, впрочем, на этот раз немного, и пани Вибель только крикнула ему:

— Вы будете у нас сегодня?

— Буду!— крикнул ей тоже Аггей Никитич.

Отобедав, он еще часов с пяти занялся своим туалетом и издержал несколько умывальников воды для обмывания рук, шеи и лица, причем фыркал и откашливался на весь дом; затем вычистил себе угольным порошком зубы и слегка тронул черным фиксатуаром свой аля-кок, усы и бакенбарды. Идя в аптеку, Аггей Никитич соображал, как его встретит пани Вибель — в таком ли дезабилье, в каком она явилась, когда он увидел ее в первый раз, или принарядится? Если она будет *растрепашкой,* то это скверно, а если наоборот, то хорошо: значит, она прямо для него прифрантится. Старого аптекаря он застал по-прежнему стоявшим у конторки и, расшаркавшись перед ним, передал ему письмо gnädige Frau. Приняв оное и заметив на верху конверта маленький кре-

стик, весьма отчетливо изображавший два масонские молоточка, Вибель улыбнулся; но, прочитав самое послание, он окинул Аггея Никитича испытующим взглядом и медленно, выходя из-за конторки, проговорил ему:

— Покорнейше прошу пожаловать ко мне в кабинет!

Аггей Никитич пошел за ним и в дверях кабинета, между теми же двумя шкафами с narcotica и heroica, встретил пани Вибель, которая была одета далеко не по-домашнему и торопливо сказала ему:

— Пан Зверев, когда вы переговорите с таткой, приходите ко мне чай пить!

— Да, прошу вас, — поддержал ее Вибель.

Аггей Никитич молчаливым поклоном изъявил благодарность обоим супругам за такое приглашение: расчет его, как видит читатель, удался вполне.

Кабинет старого аптекаря оказался типом кабинетов аккуратных, дельных и расчетливых немцев. Все убранство в нем хоть было довольно небогатое, но прочное, чисто содержимое и явно носящее на себе аптекарский характер: в нескольких витринах пестрели искусно высушенные растения разных стран и по преимуществу те, которые употреблялись для лекарств; на окнах лежали стеклянные трубочки и стояла лампа Берцелиуса, а также виднелись паяльная трубка и четвероугольный кусок угля, предназначенные, вероятно, для сухого анализа, наконец, тут же валялась фарфоровая воронка с воткнутою в нее пропускною бумагою; сверх того, на одном покойном кресле лежал кот с полузакрытыми, гноящимися глазами.

Усевшись сам и усадив своего гостя, старый аптекарь, видимо, хотел прежде всего расспросить о gnädige Frau.

— Госпожа Сверстова где же теперь живет? — сказал он.

— У Егора Егорыча Марфина, у которого муж ее служит врачом,— объяснил Аггей Никитич.

— Понимаю! — произнес не без глубокомыслия Вибель.— Я слыхал о господине Марфине!.. Это богатый русский помещик?

— Очень богатый и при этом масон.

— Так!— подтвердил Вибель.— Эмма Карловна,— продолжал он затем медленно,— рекомендует мне вас, как человека, ищущего и еще не обретшего истинного пути.

— Совершенно не обретшего!— подхватил Аггей Никитич, закидывая голову немного назад от напора разнообразных чувствований и от сознания, что если он искал в настоящие минуты, то не того, чего искал прежде.

— И вы находите меня способным подвести вас к этому пути?— спросил Вибель.

— Вполне!— отрезал ему Аггей Никитич.

— Но из чего же вы заключили это? — допытывался Вибель.

— Из того, что вы были под присмотром полиции!— снова отрезал Аггей Никитич.

— И теперь даже нахожусь!— воскликнул Вибель с явной гордостью.— А поэтому вы понимаете, как тут нужно поступать?

— Понимаю,— отвечал Аггей Никитич.

— Прежде всего надобно быть молчаливым, как рыба,— так?

— Так!— произнес Аггей Никитич.

Вибель после того погрузился в соображения.

— Значит, нашу работу мы должны разделить на значительное число уроков.

— Непременно-с!— воскликнул Аггей Никитич, обрадованный таким намерением Вибеля.

— А в настоящий вечер вам угодно будет выслушать мое первое вступление?

— С величайшей радостью!— произнес Аггей Никитич, уже струхнувший, чтобы не чересчур долго его наставник затянул свое вступление.

— Если так, то...— сказал Вибель и, встав с кресла, поспешил поплотнее притворить дверь, что он, наученный, вероятно, прежним опытом, сделал весьма предусмотрительно, ибо в эту дверь подсматривала и подслушивала его молодая супруга, которой он сделал свой обычный повелительный жест, после чего она, кокетливо высунув ему немного язык, удалилась, а Вибель запер дверь на замок.

— Вам, может быть, известно,— начал он, снова усевшись в кресло, — что франкмасонство есть союз?

— Известно,— отвечал Аггей Никитич.

— Но почему же это союз?— вопросил его Вибель.

Аггей Никитич не сумел объяснить, почему.

— Потому,— продолжал Вибель,— что проявлением стремления людей к религии, к добру, к божественной

жизни не может быть единичное существо, но только сонм существ, кои сливаются в желании не личного, но общего блага.

Проговорив это, Вибель взглянул на Аггея Никитича, как бы желая изведать, понимает ли неофит, что ему говорится, и, убедившись, что тот понимает, продолжал с еще большим одушевлением:

— Это стремление любить, соединяться создает целый ряд союзов, из коих одни тесны, каковы союзы: дружественные, любовные, брачные, семейные, корпоративные; другие, как, например, союзы сословные, государственные и церковные, более всеобъемлющи. Но самым широким союзом является тот, который ставит для себя лишь предел человеческого чувствования и мышления. Из этого союза не изгоняются те, которые веруют иначе, но только те, которые хотят не того и поступают не так; этот-то *союз союзов* и есть франкмасонство! Кроме сего союза, нет ни одного, в основе которого лежало бы понятное лишь добрым людям. В масонстве связываются все контрасты человечества и человеческой истории. Оно собирает в свой храм из рассеяния всех добрых, имея своей целию обмен мыслей, дабы сравнять все враждебные шероховатости. Совершается это и будет совершаться дотоле, пока человечество не проникнется чувством любви и не сольется в общей гармонии.

Аггей Никитич слушал Вибеля все с более и более возрастающим утомлением, потому что когда поучали его Егор Егорыч и Мартын Степаныч, то они старались снисходить к уровню понятий Аггея Никитича, тогда как добродушный немец сразу втащил его на высоту отвлеченностей и не спускал оттуда ни на минуту.

— Мы, люди...— начал было он снова, но в это время послышался стук в дверь.

— Wer ist da? [1] — сердито отозвался на это Вибель.

— Позвольте мне ключ, достать medicamenta heroica!— отвечал ему тоже по-немецки голос помощника.

— Какого именно?— спросил его на том же языке Вибель.

— Mercurius sublimaticus corrosivus,— пояснил помощник.

— Ah, ja, gleichviel! [2] — проговорил Herr Вибель и,

[1] Кто там? *(нем.)*
[2] А, да, столько же! *(нем.)*

знаменательно качнув головой Аггею Никитичу, заметил: — Это вот свидетельствует о нравах здешних!

Аггей Никитич также ответил ему знаменательным кивком, поняв, что хотел сказать аптекарь.

А затем Herr Вибель, отперев дверь, сунул помощнику ключ и, снова заперев ее, принялся, не теряя минуты, за поучение:

— Нам, людям, не дано *ангельства,* и наши чувственные побуждения приравнивают нас к животным; но мы не должны сим побуждениям совершенно подчиняться, ибо иначе можем унизиться до *зверства* — чувства совершенно противоположного *гуманности,* каковую нам следует развивать в себе, отдавая нашей чувственности не более того, сколько нужно для нашего благоденствия.

На этих словах Вибеля раздался уже не легкий удар в дверь, а громкий стук, и вместе с тем послышался повелительный голос пани Вибель:

— Генрику, пора чай пить; пан Зверев, идите чай пить!

Вибель при этом развел руками.

— Мешают!.. Как тут быть?— произнес он.

— Мешают-с! — подтвердил Аггей Никитич как бы тоном сожаления и в то же время поднимаясь со стула.

— Подождите! — остановил его аптекарь.— Когда ж вы еще желаете прослушать меня?

Аггей Никитич затруднился несколько ответом.

— Завтра вечером?— решил за него Вибель.

— Будьте так добры, завтра!— подхватил вспыхнувший в лице от удовольствия Аггей Никитич.

После этого Вибель повел своего гостя в маленькую столовую, где за чисто вычищенным самоваром сидела пани Вибель, кажется, еще кое-что прибавившая к украшению своего туалета; глазами она указала Аггею Никитичу на место рядом с ней, а старый аптекарь поместился несколько вдали и закурил свою трубку с гнущимся волосяным чубуком, изображавшую турка в чалме. Табак, им куримый, оказался довольно благоухающим и, вероятно, не дешевым.

— Генрику, отчего ж ты не предложишь курить Аггею Никитичу?— сказала пани Вибель.

— А, извините! — произнес Генрик и, обтерев костяной мундштук трубки, хотел было предложить ее Аггею Никитичу.

— Нет, пожалуйста! — отказался тот, кланяясь.— Я курю Жуков табак.

— Да, это другой табак, это кнастер; а сигары вы?..— спросил Вибель.

— Сигары я курю,— отвечал Аггей Никитич.

Услышав это, Вибель торопливо сходил в свой кабинет и принес оттуда ящик сигар.

— Рекомендую: суха и прекрасно свернута,— сказал он, подавая одну из них Аггею Никитичу, который довольно неумело закурил сигару, причем пани Вибель подавала ему свечку, и руки их прикоснулись одна к другой.

Herr Вибель вместе с сигарами захватил также и кота своего, которого, уложив на колени, стал незаметно для супруги гладить.

Пани Вибель пододвинула к Аггею Никитичу налитый стакан, а вместе с оным сливки, варенье, лимон обсахаренный и проговорила:

— Цо пан собе еще жычи? [1]

— Дзенкуен, опручь гербаты ниц венцей [2],— отвечал Аггей Никитич, и все потом занялись чаем, который, как известно, вызывает несколько к разговорчивости, что немедля же и обнаружила пани Вибель.

— Скажите, вам нравится, как его?.. Пан, пан... ну, не знаю! Пан откупщик? — сказала она.

Аггей Никитич пожал плечами.

— По-моему,— ответил он,— господин Рамзаев... человек очень странный.

— Не странный, а просто дурак,— более решительно определила пани аптекарша.

— Почему же он дурак?— пожелал знать Вибель, ударив тихонько рукой кота, который начал было довольно громко мурлыкать.

— Ах, татко, как же ты не понимаешь этого!— воскликнула необыкновенно мило пани Вибель.— Рамзаев — магнат здешний, богатый человек, и вдруг стоит вместе с оркестром в лакейской, точно ему не на что нанять капельмейстера!..

— Что ж, стоит с оркестром,— возразил ей муж,— если он сам музыкант и любит дирижировать!

— Это конечно!— согласился Аггей Никитич, которо-

---

[1] Чего еще хочет пан? *(Прим. автора.)*

[2] Благодарю, кроме чаю, ничего не хочу, *(прим. автора.)*

му понравился такой взгляд Herr Вибеля.— Все-таки по нашим русским понятиям, знаете, это странно.

— Мало, что странно, а глупо и смешно! — подхватила аптекарша, видимо любившая позлословить своих ближних.— А как вы находите его Анну Прохоровну, которая к вам неравнодушна?— отнеслась она к Аггею Никитичу.

— Я нахожу, что она не женщина даже, а какая-то толстая, полинялая кукла.

Herr Вибель при этом покачал головой.

Дальнейший разговор продолжался в том же тоне, и только Аггей Никитич, заметив, что старому аптекарю не совсем нравится злословие, несколько сдерживался, но зато пани Вибель шла crescendo и даже стала говорить сальности:

— Вы обратили, пан Зверев, внимание на этого несчастного инвалидного поручика? У него живот кривой, как будто бы он его вывихнул.

Аггей Никитич, припомнив фигуру инвалидного поручика и мысленно согласившись, что у того живот был несколько кривой, улыбнулся. Досталось равным образом от пани Вибель и высокой девице, танцевавшей с поручиком вальс, которая была, собственно, дочь ополченца и не отличалась ни умом, ни красотой.

— Эту длинную mademoiselle здесь прозвали чертовой зубочисткой! — объяснила она об ней.

Аггей Никитич снова улыбнулся, но муж ей заметил с легким укором:

— А кто же прозвал ее, как не ты?

— Конечно, я! — призналась пани Вибель и, заметив, что Генрику ее широко и всласть зевнул, сказала ему:— Что ж ты, татко, сидишь тут и мучишься? Ступай к себе спать.

Аггей Никитич, разумеется, при этом поспешил взяться за фуражку.

— Ах, нет, нет! Вы извольте оставаться и посидите со мной! — воскликнула ему торопливо аптекарша, отнимая у него фуражку.

— Посидите с ней!— попросил его и Вибель, а затем, сказав:— До завтра!— ушел вместе с котом своим.

Оставшись таким образом с глазу на глаз, пан исправник и пани аптекарша почувствовали некоторый конфуз.

— Ну-с! — начала она, уложив красивый подбородочек на кулаки своих опершихся на стол рук, которые при этом обнажились до локтя.

— Ну-с!— повторил тоже и Аггей Никитич, невольно устремляя глаза на обнаженные руки аптекарши.

— Завтра вы, по приказанию мужа, я слышу, опять к нам явитесь?— продолжала пани Вибель.

— Я явлюсь, если вы тоже меня пригласите,— заметил ей Аггей Никитич.

— О, я не смею того! Это слишком большая честь для меня!— проговорила плутоватым голосом пани Вибель и засмеялась: своей прелестной кокетливостью она окончательно поражала Аггея Никитича.— Но я желала бы знать, пан Зверев, о чем вы, запершись, говорили с мужем.

Вопрос этот весьма затруднил Аггея Никитича.

— Он меня расспрашивал о госпоже Сверстовой, от которой я доставил ему письмо,— объяснил было он.

— Но что же он вас расспрашивал?— любопытствовала пани Вибель.

— Расспрашивал, где и как она живет,— отвертывался, как умел, Аггей Никитич.

— Нет, не то,— отвергнула пани Вибель.

— А вас все по этому случаю мучает ревность? — спросил Аггей Никитич.

— Отвяжитесь, пожалуйста, с вашей ревностью! Что вы на меня выдумываете?— возразила уж с досадой пани Вибель.— Я только хочу догадаться, почему с вами так любезен муж.

— Я не знаю,— заперся Аггей Никитич.

— О, вы знаете, но не хотите, вижу, сказать мне правду, тогда и я вам во всю жизнь мою не скажу никакой моей тайны!

Аггей Никитич приведен был в отчаяние таким решением пани Вибель.

— Теперь я пока никак не могу сказать правды,— проговорил он.

— Но когда же вам можно будет сказать мне ее?

— Да, может быть, завтра, а если не завтра, так потом, впоследствии времени,— говорил Аггей Никитич.

— И всю правду мне скажете? — переспросила с ударением пани Вибель.

— Всю,— отвечал ей глухим голосом Аггей Никитич

и затем начал молча созерцать пани Вибель, да и она, в свою очередь, тоже молча созерцала его.

Наконец, часу в двенадцатом, Аггей Никитич счел за нужное раскланяться, и пани Вибель больше не удерживала его.

Всю ночь Аггей Никитич придумывал, как ему вывернуться из затруднительного положения, в которое он поставлен был любопытством пани Вибель, и в итоге решился переговорить о том, не прямо, конечно, но издалека с старым аптекарем, придя к которому, на этот раз застал его сидящим в кабинете и, видимо, предвкушавшим приятную для себя беседу. Увидев вошедшего гостя, Вибель немедля же предложил ему сигару, но Аггей Никитич, прежде чем закурить ее, спросил:

— Объясните мне, Herr Вибель, вы вчера изволили сказать, что о масонстве надо быть молчаливым, как рыба; но неужели же семейным своим, например, я жене моей, не должен рассказывать, что желаю быть масоном?

— Отчего ж не рассказывать?.. Не пойдет же она с доносом на вас к правительству,— объяснил ему тот.

— А супруга ваша, извините за нескромный вопрос, знает, что вы масон?— допытывался Аггей Никитич.

— Да, я ей говорил и предлагал вступить в наш орден, но она преданная католичка и говорит, что это грех.

Услышав такого рода объяснение, Аггей Никитич вздохнул свободнее, потому что он, по его соображениям, мог касательно масонства быть до некоторой степени откровенен с пани Вибель.

— Но тогда зачем же все-таки в масонстве есть скрытность? — повторил он еще раз.

Вибель развел при этом руками.

— Я не знаю, что вы разумеете под скрытностью масонов, — сказал он,— если то, что они не рассказывают о знаках, посредством коих могут узнавать друг друга, и не разглашают о своих символах в обрядах, то это единственно потому, чтобы не дать возможности людям непосвященным выдавать себя за франкмасонов и без всякого права пользоваться благотворительностью братьев.

— Это весьма благоразумно,— заметил Аггей Никитич.

— Да, весьма,— повторил за ним Вибель,— но скажите, вас знакомил кто-нибудь со средствами к распознаванию собратьев своих и с символами нашими?

— Никто; я пока только еще читал некоторые масонские сочинения,— отвечал Аггей Никитич.

— Тогда возьмите эти лежащие на столе белый лист бумаги и карандаш!— повелел ему Вибель, и когда Аггей Никитич исполнил это приказание, старик принялся диктовать ему:

— Масоны могут узнавать друг друга трояким способом, из коих каждый действует на особое чувство: на зрение — знак, на слух — слово, на осязание — прикосновение. Знак состоит в следующем: брат, желающий его сделать другому брату, складывает большие пальцы и указательные так, чтобы образовать треугольник.

И Вибель показал на практике, как следует складывать пальцы.

— Ответствующий брат,— продолжал он,— делает то же самое, после чего оба брата соединяют концы своих указательных пальцев.

Здесь Вибель, заставив Аггея Никитича сделать из пальцев треугольник, приблизил к ним свои пальцы, тоже сложенные в треугольник, и тогда образовалась фигура, похожая на два треугольника, прикасающиеся один к другому вершинами.

— Я теперь,— добавил он,— изображаю знак огня, а вы — знак воды; поняли?

— Понял,— отвечал Аггей Никитич, хотя в сущности весьма мало понял.

— В прикосновении,— воскликнул вслед за тем Вибель,— каждый вопрошающий и ответствующий протягивает правую руку так, чтобы большой палец был приподнят вверх, и, взяв потом друг друга за руки, крепко пожимают их для выражения братского соединения, сродства и верности.

Таковое прикосновение Herr Вибель тоже не преминул показать Аггею Никитичу на практике.

— Слово,— толковал он далее,— произносится таким образом, что вопрошающий шепчет ответствующему: А. и Е.

— Но что же это за слова такие? — невольно полюбопытствовал Аггей Никитич.

Вибель вполне объяснить это несколько затруднился.

— Полагаю, что первая буква обозначает Адонирама, а вторая — Иегову.

Аггей Никитич выразил кивком головы, что это им понято. Он действительно об Иегове и об Адонираме слыхал и читал.

— Ответствующий,— снова приступил Вибель к поучению,— немедленно при этом поднимает ладонь к лицу своему и потихоньку шикает, напоминая тем вопрошающему о молчании; потом оба брата лобызаются, три раза прикладывая щеку к щеке...— Записали все мои слова?

— Записал-с,— отвечал Аггей Никитич покорным голосом.

— Поэтому перейдем теперь к символам! — возгласил Вибель (важность в нем и самодовольство увеличивались с каждым словом его).— Символы наши суть: молоток, изображающий власть, каковую имеет убеждение над человеческим духом; угломер — символ справедливости, поэтому он же и символ нравственности, влекущий человека к деланию добра; наконец, циркуль — символ круга, образуемого человеческим обществом вообще и союзом франкмасонов в частности. Эти-то три возвышенные идеи — истинного, доброго и прекрасного — составляют три основных столба, на которых покоится здание франкмасонского союза и которые, нося три масонских имени: имя мудрости, имя крепости и имя красоты,— служат, говоря языком ремесла, причалом образа действий вольного каменщика. «Мудрость,— говорят масоны,— руководит нашими поступками, крепость их основывает, а красота украшает». Иных тайн масоны не имеют никаких; но зато масонство само есть тайна, потому что его истинное и внутреннее значение может открыться только тому, кто живет в союзе масонском и совершенствуется постоянным участием в работах.

Аггею Никитичу, старательно писавшему под диктант Вибеля, становилось, наконец, невыносимо скучно и утомительно; но разговорившийся ритор не замечал того и потянул со стола довольно толстую писаную тетрадку, предполагая, по-видимому, из нее диктовать.

— Это — ритуал одной ложи,— сказал он, но в это время, к неописанной радости Аггея Никитича, послышался стук и миленький голосок пани Вибель:

— Прошен исьць пиць гербатен, мне без вас тенскно![1]

— О, с этим чаем! — произнес с досадой Вибель; но, подумав, присовокупил: — А повиноваться надо!

Аггей Никитич ничего на это не сказал и в душе готов был обнять Вибеля за такую покорность того жене.

Старик между тем поднялся и, подумав немного, сказал:

— Этот ритуал вы возьмите домой! Переписан он, как вы видите, прекрасно; изучите его, и я вас проэкзаменую потом.

— Очень вам благодарен; непременно выучу! — подхватил Аггей Никитич.

За чаем, собственно, повторилось почти то же, что происходило и в предыдущий вечер. Пани Вибель кокетливо взглядывала на Аггея Никитича, который, в свою очередь, то потуплялся, то взмахивал на нее свои добрые черные глаза; а Вибель, первоначально медленно глотавший свой чай, вдруг потом, как бы вспомнив что-то такое, торопливо встал со стула и отнесся к Аггею Никитичу:

— Извините, мне еще нужно нечто обдумать для нашей завтрашней беседы; вы придете, да?

— Непременно! — ответил радостно Аггей Никитич.

— Gute Nacht![2] — произнес в заключение Вибель и ушел.

— Можете вы мне сказать, о чем я вас спрашивала вчера? — проговорила тотчас же после его ухода пани Вибель.

— Могу,— протянул Аггей Никитич.

— Говорите! — приказала она ему, и лицо ее приняло такое плутоватое выражение, по которому смело можно было заключить, что она, кажется, сама догадалась, о чем беседовали Вибель и Аггей Никитич; но только последнего она хотела испытать, насколько он будет с ней откровенен.

Аггей Никитич несколько мгновений соображал.

— Муж ваш,— произнес он как бы несколько затрудненным голосом,— масон.

— Да,— ответила ему пани, уставив взгляд свой на Аггея Никитича.

---

[1] Прошу идти пить чай, мне без вас скучно! *(Прим. автора.)*

[2] Доброй ночи! *(нем.)*

— И я тоже посвящаюсь в масонство,— объяснил он ей.

Пани Вибель заметно при этом вспыхнула.

— Для масонства собственно? — спросила она.

Тут уж Аггей Никитич покраснел.

— Отвечу вашим выражением: *отчасти!* — придумал он ответить.

— Моим выражением? — повторила пани.— Ах, я ужасно рада, что вы сделаетесь масоном; вы тогда будете самым близким другом моего мужа и станете часто бывать у нас!

— Буду часто бывать, как только вы позволите!

Пани на это ничего не отвечала и только как бы еще более смутилась; затем последовал разговор о том, будет ли Аггей Никитич в следующее воскресенье в собрании, на что он отвечал, что если пани Вибель будет, так и он будет; а она ему повторила, что если он будет, то и она будет. Словом, Аггей Никитич ушел домой, не находя пределов своему счастью: он почти не сомневался, что пани Вибель влюбилась в него!

IV

Могучая волна времени гнала дни за днями, а вместе изменяла и отношения между лицами, которых я представил вниманию читателя в предыдущих трех главах. Прежде всего надобно пояснить, что Аггей Никитич закончил следствие о Тулузове и представил его в уездный суд, о чем, передавая Миропе Дмитриевне, он сказал:

— Я очень рад, что развязался с этим проклятым делом!

Но Миропа Дмитриевна, кажется, была не рада этому: как женщина практически-сообразительная, она очень хорошо поняла, что Аггей Никитич потерял теперь всякое влияние на судьбу Тулузова, стало быть, она будет не столь нужна Рамзаеву, с которого Миропа Дмитриевна весьма аккуратно получала каждый месяц свой гонорар. Эта мысль до такой степени рассердила и обеспокоила ее, что она с гневом и насмешкой сказала своему вислоухому супругу:

— Как же ты так дорожил прежде этим делом, а теперь радуешься, что развязался с ним?

— Не век же им дорожить; я все, что мне следовало, исполнил.

— Ну, ты еще погоди, что тебе будет за это исполнение твое! — продолжала с той же досадой Миропа Дмитриевна.

В ответ на это Аггей Никитич только презрительно усмехнулся, что, конечно, еще более рассердило Миропу Дмитриевну, и она, не желая более рассуждать с подобным олухом, поспешила побежать к Рамзаевым, чтобы поразведать, как и что у них происходит.

Анна Прохоровна, приняв Миропу Дмитриевну с тем же уважением и с той же дружбой, как и прежде, сама даже первая заговорила о тулузовском деле:

— От Аггея Никитича поступило, наконец, это дело в уездный суд!

— Да, он мне говорил об этом,— подхватила Миропа Дмитриевна.

— Вчера к мужу сам судья привозил все дело; они рассматривали его и находят, что Аггей Никитич почти оправдал Василия Иваныча,— продолжала уже с таинственностью откупщица, и слова ее отчасти были справедливы, ибо Аггей Никитич, весь поглощенный совершенно иным интересом, предоставил конец следствия вести секретарю, который, заранее, конечно, подмазанный, собирал только то, что требовалось не к обвинению, а для оправдания подсудимого.

Миропа Дмитриевна между тем знаменательно качнула головой.

— Иначе быть не могло; я постоянно ему это внушала,— произнесла она.

— Мы с Теофилом Терентьичем так и поняли,— продолжала с прежнею таинственностью откупщица,— и говорим вам за то тысячу раз наше merci.

— Это уж слишком! — возразила Миропа Дмитриевна.— Я главным образом пришла к вам не затем, чтобы от вас слышать благодарность, а вас поблагодарить за ваши благодеяния нашему семейству и сказать, что мы теперь, конечно, не имеем более права на то...

— Что вы, что вы! — воскликнула откупщица с испу-

гом.— Теофил Терентьич, напротив, желает увеличить вам плату. Помилуйте, исправник всегда нужен для откупа!

— Нет-с, этого увеличиванья я никак не допущу! — воскликнула, в свою очередь, Миропа Дмитриевна.

— Мы там увидим! — заключила откупщица.

Успокоившись в этом отношении, Миропа Дмитриевна начала соображать, зачем Аггей Никитич почти каждый вечер ходит к аптекарю, и спросила как-то его об этом.

— Как зачем? — произнес тот, не пошевелив ни одним мускулом в лице.— Я хожу, потому что посвящаюсь в масонство, которое, ты знаешь, всегда было целью моей жизни.

— Мало ли что было! — заметила злобно-насмешливым тоном Миропа Дмитриевна.— А теперь тебе зачем оно нужно?

Аггей Никитич пожал плечами.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать,— отозвался он сурово.

— Чего ж тут не понимать? — продолжала тем же злым тоном Миропа Дмитриевна.— Ты прежде желал масоном быть, чтобы получить место, которое было получил, но назло мне бросил его.

— Да, я точно так же по милости масонов исправник теперь,— сказал, тоже не совсем добрым смехом засмеявшись, Аггей Никитич.

— Пожалуйста, прошу тебя, не ссылайся на это! Ты без всяких масонов можешь быть всю жизнь исправником, потому что тебя все очень любят и считают за примерного чиновника.

— Но я вовсе не для служебной выгоды желаю масонства, а этого требует мой дух,— душа моя! — объяснил, наконец, Аггей Никитич.

— Не говори ты мне этих глупостей! Душа его, дух требует!..— почти крикнула Миропа Дмитриевна.

— Нет, душа моя и дух мой не глупость! — возразил ей резко и, видимо, обидевшись Аггей Никитич.

— Как же! Очень уж они, как я вижу, умны у тебя!.. Что же вы с этим старым хрычом, аптекарем, читаете, что ли, или он учит тебя чему-нибудь?

— Разговариваем и читаем,— проговорил Аггей Никитич.

— А кто другие еще у него бывают?
— Никого!
— А жена его тут же с ним сидит?
— Нет!
— Ты, значит, никогда не видал ее?
— Видал, когда она тут проходила.
— Куда проходила?
— К себе там.
— Откуда?
— Да я не знаю откуда.

Сколь ни тяготил Аггея Никитича подобный допрос, однако он сумел произнести свои ответы с такою апатией, что совершенно уничтожил в Миропе Дмитриевне всякое подозрение. А вместе с тем предпринял и другую предосторожность в том смысле, что стал не так часто бывать у Вибелей, отзываясь тем, что будто бы очень занят службой, а все обдумывал, как ему объясниться с панной. Открыться ей в любви на словах у Аггея Никитича решительно не хватало ни уменья, ни смелости. Будь она девушка, он скорей бы решился бухнуть ей о своей страсти; но она была замужняя женщина, а потому Аггею Никитичу казалось не совсем благородным сбивать ее с истинного пути. Положим, что пани Вибель прежде, еще до него, соскакивала с сего пути; но она все-таки опять вернулась на этот путь, а он опять, так сказать, вызывал ее сделать козла в сторону. Любовь, разумеется, пересилила все эти соображения, и Аггей Никитич ждал только удобной минуты, чтобы совершить задуманное. Однажды он в кабинете у своего наставника застал также его супругу. Аггей Никитич полагал, что она сейчас уйдет, однако вышло не то: пани продолжала сидеть; сам же Вибель, видимо, находился в конфузливом положении.

— Она,— сказал он, указав на жену пальцем,— также желает быть посвященной в учение масонов.

— Вот как! — воскликнул несколько с удивлением Аггей Никитич.

— Что ж, вы разве не рады моему товариществу? — спросила пани Вибель.

— Как это возможно, чтобы я не рад был? Я в восторге! — проговорил Аггей Никитич.

— И я тоже в восторге! — подхватила пани Вибель.

— А если вы оба рады, так и прекратите ваше пусто-

словие! — остановил их аптекарь, сжигаемый нетерпением приступить к поучению.— Нынешнюю беседу нашу,— продолжал он,— мы начнем с вопроса, как франкмасонство относится к государству и церкви? Обойти этих основных элементов человеческого общества масоны не могли, ибо иначе им пришлось бы избегать всего, что составляет самое глубокое содержание жизни людей; но вместе с тем они не образуют из себя ни политических, ни религиозных партий. Цель их единая: внушить людям гуманность, чтобы они за католиком, за лютеранином, за православным не забывали человека. Масоны требуют, чтобы каждый, не будучи индифферентен, признавал бы в то же время истинную терпимость.

Слово «терпимость», по-видимому, не ускользнуло от внимания слушателей, так что они даже переглянулись между собой, причем Аггей Никитич как бы спросил своим взглядом: «А что, господин Вибель сам-то терпелив ли и добр?»—«Да, кажется»,— ответила ему тоже взором пани.

— Хотя франкмасоны не предписывают догматов,— развивал далее свою мысль наставник,— тем не менее они признают три истины, лежащие в самой натуре человека и которые утверждает разум наш,— эти истины: бытие бога, бессмертие души и стремление к добродетели. Масоны поклоняются всемогущему строителю и содержителю вселенной и утверждают, что из него исходит всякая телесная, умственная и нравственная жизнь, не делая при этом никакого определенного представления о сверхчувственном. Убеждение в том, что душа наша бессмертна, мы должны питать в себе для успокоения духа нашего и для возможности утешения в страданиях. Истинный масон не может представить себе полного уничтожения самосознательного и мыслящего существа, и потому об умерших братьях мы говорим: «Они отошли в вечный восток», то есть чтобы снова ожить; но опять-таки, как и о конечной причине всякого бытия, мы не даем будущей жизни никакого определения.

Проговорив это, почтенный ритор развел с явною торжественностью руками, желая тем указать своим слушателям, что он пророк нечто весьма важное, и когда к нему в этот момент подошел было приласкаться кот, то Вибель вместо того, чтобы взять любимца на колени, крикнул ему: «Брысь!»— и сверх того отщелкнул его своим та-

бачным носовым платком, а сам снова обратился к напутствованию.

— Необходимость добродетели,— возглашал он,— глубоко внедрена в существе франкмасонства; от всего, что оскорбляет добродетель, масонство отвращается, потому что в одной только добродетели оно видит путь к спасению и счастию человечества.

— Татко, да что ты называешь добродетелью? — воскликнула пани Вибель.

— Я называю добродетелью все, что делается согласно с совестью нашей, которая есть не что иное, как голос нашего неиспорченного сердца, и по которой мы, как по компасу, чувствуем: идем ли прямо к путеводной точке нашего бытия или уклоняемся от нее.

При этом Аггея Никитича заметно покоробило, а пани Вибель ничего, и она только, соскучившись почти до истерики от разглагольствования своего супруга, вышла в соседнюю комнату и громко приказала своей горничной тут же в кабинете накрыть стол для чая. Вибель, конечно, был удивлен таким распоряжением и спросил ее:

— Но отчего же мы сегодня не в столовой будем пить чай?

— Оттого, что ты Аггея Никитича не выпустишь отсюда, а он и я утомились тебя слушать.

— Помилуйте, нисколько!— возразил Аггей Никитич, весьма смущенный такой откровенностью пани Вибель.

Но тут вмешался сам Вибель.

— Если вы чувствуете утомление,— отозвался он,— то лучше прекратить занятия, ибо гораздо полезнее меньше выслушать, но зато с полным вниманием, чем много, но невнимательно. По крайней мере, вы, господин Зверев, то, что я теперь говорил, уяснили себе вполне?

— Уяснил-с!— отвечал, вспыхнув в лице, Аггей Никитич, предчувствуя, что Вибель начнет экзаменовать его, и тот действительно спросил:

— Что же именно я сказал?

Аггей Никитич пришпорил свою память насколько мог.

— Вы изволили говорить, что масоны признают три истины: бога, бессмертную душу и будущую жизнь!— ответил он.

— Не то, не то! — остановил его Вибель.— Бессмертная душа и будущая жизнь одно и то же, а я о третьей истине говорил, совершенно отдельной.

У Аггея Никитича, как назло, совершенно захлестнуло в голове: какая еще была упомянута Вибелем третья истина, но его выручила пани Вибель.

— Ты говорил о добродетели,— сказала она строго мужу,— и говорил, по-моему, совершенно справедливо, что добродетель есть голос нашего сердца, что когда мы его слушаемся, тогда мы добродетельны, а когда не слушаемся, то притворщики.

— Так, так!— подтвердил на свою голову старый аптекарь.

— И что сердце наше есть наша совесть!— заключила пани Вибель.

— И это так, но я сказал, что неиспорченное сердце,— возразил ей муж,— ибо многими за голос сердца принимается не нравственная потребность справедливости и любви, а скорей пожелания телесные, тщеславные, гневные, эгоистические, говоря о которых, мы, пожалуй, можем убедить других; но ими никогда нельзя убедить самого себя, потому что в глубине нашей совести мы непременно будем чувствовать, что это не то, нехорошо, ненравственно.

— Э, очень это туманно! — произнесла пани Вибель.— Пей, татко, лучше чай, а вы, пан Зверев, не слушайте его больше!

Вибель добродушно улыбнулся.

— Какова деспотка!— воскликнул он, показывая Аггею Никитичу на жену.

Тот при этом невольно потупился, втайне думая, что с какой бы радостью он подчинился на всю жизнь такой очаровательной деспотке.

Дело Тулузова, как надобно было ожидать, уездный суд решил весьма скоро и представил на ревизию в уголовную палату. По этому решению Тулузов оставлен был в подозрении и вместе с делом перевезен из уездного острога в губернский, откуда его, впрочем, немедля выпустили и оставили содержаться под присмотром полиции у себя на квартире.

Услыхав обо всем этом, Аггей Никитич только пожимал плечами, но ни строчки не написал о том ни Егору Егорычу, ни Сверстову, ибо ему было не до того: он ждал все благоприятной минуты для объяснения с пани Ви-

бель, или с Марьей Станиславовной, как пора мне, наконец, назвать ее по имени, и удобная минута эта встретилась. Откупщик, обрадованный улучшением положения своего патрона, вознамерился всему обществу уездного города задать пир велий и придумал для этого пира форму пикника с катаньем по озеру на лодках. В помощь себе для составления программы этого увеселения Рамзаев пригласил Аггея Никитича, который с величайшим удовольствием изъявил готовность на то. Между ними положено было впереди всех ехать на лодке самому откупщику с музыкантами и хором певцов. Следовавшая за ним большая и разукрашенная лодка предназначалась для почтенных лиц общества, а именно: для госпожи откупщицы, для Миропы Дмитриевны и еще для двух — трех дам из толстых; старый ополченец, почтмейстер и аптекарь тоже отнесены были к этому разряду. Замыкать это шествие должен был Аггей Никитич на небольшом катере, рулем которого он взялся лично управлять; сопутниками же его были все молодые особы, то есть пани Вибель, долговязая дочь ополченца вместе с женихом своим — инвалидным поручиком, и еще несколько неуклюжих девиц. Далее возник вопрос: куда наши плаватели пристанут, где бы они могли потанцевать и поужинать? Вопрос этот сверх ожидания разрешил Вибель, сказав, что у одного его приятеля — Дмитрия Васильича Кавинина, о котором, если помнит читатель, упоминал Сергей Степаныч в своем разговоре с Егором Егорычем,— можно попросить позволения отпраздновать сей пикник в усадьбе того, в саду, который, по словам Вибеля, мог назваться королевским садом. Все, разумеется, изъявили на это согласие, и через неделю же Вибель прислал откупщику мало что разрешение от Кавинина, но благодарность, что для своего милого удовольствия они избрали его садик, в который Рамзаев не замедлил отправить всякого рода яства и пития с приказанием устроить на самом красивом месте сада две платформы: одну для танцующих, а другую для музыкантов и хора певцов, а также развесить по главным аллеям бумажные фонарики и шкалики из разноцветного стекла для иллюминации. Когда все это было приготовлено, то в один совершенно безоблачный и несколько прохладный день наша маленькая флотилия тронулась на прогулку. Аггей Никитич, стоявший у руля в своем отставном военном вицмундире, являл собою весь-

ма красивую фигуру. О пани Вибель говорить нечего: она была, по своей прическе и вообще по всему своему летнему туалету, какая-то фея воздушная. Конечно, нельзя умолчать и о том, что откупщица почти царственно блистала своими брильянтами и что украсила себя тоже разными ценными вещами Миропа Дмитриевна, но в их телесах не было ни молодости, ни воздушности, потому что m-me Рамзаева с молодых еще лет походила на раздувшийся и неудачно испеченный папошник, а Миропа Дмитриевна последнее время значительно поразбухла. Откупщик с первого движения своей флотилии велел музыкантам грянуть такой воинственный марш, что как будто бы это шел грозный флот громить неприступную крепость; на половине пути перестали играть марш, и вместо того хор певцов под тихий аккомпанемент оркестра запел:

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан!

Эта выдумка Рамзаева очень понравилась всем дамам: они дружно захлопали в ладоши, и одна только Миропа Дмитриевна пальцем не пошевелила: она все время глядела на сидевшую в катере молодую аптекаршу, которая вовсе не показалась ей такой *выдрой,* как об ней говорили в обществе, а, напротив, Миропа Дмитриевна нашла ее очень интересною, так что подозрение насчет Аггея Никитича снова в ней воскресло, и она решилась наблюдать за ними; но Аггей Никитич сам тоже был не промах в этом случае, и когда подъехали к саду, то он... Впрочем, прежде всего я должен описать сад, который был действительно между соседними помещичьими садами замечателен по той причине, что владелец его — Дмитрий Васильич Кавинин, теперь безногий и почти безрукий подагрик, всю молодость прожил в Англии, где, насмотревшись на прихотливые сады, задумал, переселясь на житье в деревню, устроить у себя сад чисто в английском вкусе и, будучи человеком одиноким и богатым, выписал садовника-англичанина, который оказался хоть пьяницею великим, но мастером своего дела. Англичанин прежний запущенный барский сад разбил по новому и математически-правильному плану, устроил твердые дорожки и газоны, которые своею гладкостью напоминали ковры, тем более, что местами они были украшены цветными клумбами, обложенными затейливыми глиняными рамками. На

одном из таких газонов в несколько глухом месте сада, по рисунку самого Кавинина, было сделано из цветных клумб как бы нечто похожее на масонский ковер, в средине которого высилась мраморная тумба, тоже как бы напоминающая жертвенник масонский; на верхней доске этой тумбы были сделаны солнечные часы. Густо разросшиеся аллеи старого сада англичанин сровнял и подстриг. Такое обновление сада производилось, конечно, лет двадцать тому назад; но Дмитрий Васильич дал англичанину на выучку трех—четырех молодых мальчиков, а потому, когда англичанин умер, или, точнее сказать, опился, то выросшие мальчики, давно превратившиеся из Петрушек и Ванек в Петров и Иванов, до сих пор обрабатывали сад приблизительно в том виде, как преподал им англичанин: русские люди, как известно, сами измышлять не умеют, но зато очень скоро выучивают другими народами придуманное и твердо это запоминают. Когда наше маленькое общество вошло в сад, то за исключением аптекаря и почтмейстера, весьма часто посещавших своего собрата по масонству, остальные все почти ахнули, так как никто из них никогда во всю жизнь свою и не видывал такого прекрасного сада. Сам Дмитрий Васильич сидел в это время на балконе в покойных катающихся креслах: ходить он, по милости подагры, не мог. Вибель представил ему кавалеров и дам. Дмитрий Васильич всех их оприветствовал весьма любезно и попенял только откупщику, зачем тот трудился присылать запасы, и что он должен был бы только известить Дмитрия Васильича, что такие приятные гости желают посетить его сад, тогда, конечно, все бы было приготовлено. На это Рамзаев, извинившись в своем поступке, объяснил, что этот пикник он дает в благодарность своим добрым знакомым и потому просит у Дмитрия Васильича позволения быть немножко хозяином в его саду. «Будьте тут как бы дома!»— отвечал ему тот. Представляя Кавинину вместе с прочими господина Зверева, Вибель чуть ли не сделал при этом некоторого масонского знака, потому что Дмитрий Васильич своей распухшей подагрической рукой долго и крепко пожимал могучую длань Аггея Никитича, а затем последовало все, что обыкновенно следует на всевозможных пикниках. Хворый Кавинин, впрочем, так как ему запрещено было по вечерам спускаться в сад, пожелал играть в преферанс, который составлял единственное его

развлечение и в который он до сих пор мастерски играл. Партнерами его вызвались быть откупщица и Миропа Дмитриевна; на другом столе на том же балконе затеяли вист с болваном аптекарь, почтмейстер и ополченец; молодежь же вся хлынула в сад. Лакеи стали разносить чай, после которого все танцующее общество собралось на платформу, и под режимом откупщика начались танцы. Миропа Дмитриевна, сколь ни занята была игрою, взглядывала по временам на танцующих, желая видеть, с кем именно танцует супруг ее; но Аггей Никитич и тут оказал необыкновенную предусмотрительность: первую кадриль он танцевал с одной из толстых дам, несмотря на все отвращение к сей даме, которая, кроме своей безобразной фигуры, носила с собой какую-то атмосферу погребной сыроватости; на вторую кадриль Аггей Никитич пригласил долговязую невесту инвалидного поручика. Пани Вибель, все это подмечавшая, начала, как кажется, немножко дуться на своего поклонника, но Аггей Никитич и это перенес, рассчитывая на вальс, на который пригласил уж пани Вибель. Танец этот они давно танцевали весьма согласно в три темпа, а в настоящем случае оба даже превзошли самих себя; с первого же тура они смотрели своими блистающими зрачками друг другу *в очи:* Аггей Никитич — совсем пламенно, а пани Вибель хотя несколько томнее, может быть, потому, что глаза ее были серые, но тоже пламенно. Все это ускользнуло от внимания Миропы Дмитриевны отчасти потому, что танцы происходили довольно далеко от нее, а сверх того она перед тем поставила огромный ремиз, благодаря которому ей предстоял значительный проигрыш, ибо игра, из угождения Кавинину, была по десяти копеек за фишку. Танцы, наконец, прекратились, и начал петь хор певцов известную в то время песню:

Гриб-боровик,
Всем грибам полковик,
Под дубом стоючи,
На все грибы глядючи,
Повелел, приказал
Всем грибам на войну идти.

Молодежь, совершенно не понимавшая скрытого значения сей, по-видимому, простой песни, разбрелась по аллеям сада, но Аггей Никитич опять-таки выдержал принятую им систему осторожности. Он к пани Вибель не

подходил даже близко и шел в толпе с кем ни попало, но зато, когда балкона стало не видать, он, как бы случайно предложив пани Вибель свою руку, тотчас же свернул с нею на боковую дорожку, что, конечно, никому не могло показаться странным, ибо еще ранее его своротил в сторону с своей невестой инвалидный поручик; ушли также в сторону несколько молодых девиц, желавших, как надо думать, поговорить между собою о том, что они считали говорить при своих маменьках неудобным. Аггей Никитич между тем вел свою даму все далее и далее; мрак начал их окружать полный, и Аггей Никитич вдруг обнял пани Вибель, приподнял ее, как перышко, кверху и поцеловал. Она прильнула своими устами к его устам и стремительно повторила свой прежний вопрос:

— Вы ходите к мужу учиться только масонству?

— Нет!— отвечал ей на этот раз совершенно откровенно Аггей Никитич.— А вы тоже для масонства слушаете поучения вашего мужа?

— О, нисколько,— отвечала, нервно рассмеявшись, пани,— я слушаю, чтобы видеть вас!

— Вы не женщина, а божество!— мог только воскликнуть Аггей Никитич и снова обнял пани Вибель с таким сильным увлечением, что та поспешила отстраниться от него и произнесла:

— Вы безумствуете! Опомнитесь, где мы...

— Для меня это все равно!— отвечал Аггей Никитич: его многообильная кровь прилила ему окончательно в голову.

— Но для меня не все равно; поверните назад!— приказала ему пани Вибель.

Аггей Никитич хоть и дышал тяжело, но повернул. Руки у обоих ходенем ходили.

— Неужели,— проговорила пани Вибель, когда они стали подходить к освещенным аллеям, на которых виднелись некоторые из гуляющих,— вы еще сомневаетесь, что я уже ваша?

— Нет, не сомневаюсь,— отозвался Аггей Никитич глухим голосом.

Затем пикник кончился, как все пикники. Старики, кончив свою игру, а молодежь, протанцевав еще кадриль, отправились в обратный путь на освещенных фонарями лодках, и хор певцов снова запел песню о боровике, повелевающем другим грибам на войну идти, но...

Не послушались белянки:
Мы-де чистые дворянки,
Неповинны мы тебе
На войну идти;
Отказалися опенки:
У нас ноги сухи, тонки;
Не пошли и мухоморы:
Мы-де сами сенатóры.

Посреди такого всеобщего ликования одна только Миропа Дмитриевна сидела в лодке злая-презлая, но не на мужа, за которым она ничего не заметила, а на этого старого черта и богача Кавинина, которому она проиграла тридцать рублей, и когда ему платила, так он принял ассигнации смеясь, как будто бы это были щепки!

V

В тот самый день, как откупщик праздновал пикник, в Геттингене к отелю «Zur Krone» [1], который и тогда был лучшим в городе, подъехала дорожная извозчичья карета. Стоявший около гостиницы гаускнехт ее поспешил отворить дверцы кареты, и из нее вышли Сусанна Николаевна и Егор Егорыч, постаревший, сгорбившийся и совсем, как видно, больной, а вслед за ними, чего, вероятно, не ожидает читатель, появился Антип Ильич. Сей верный камердинер не в первый уже раз был за границей, и, некогда прожив с своим, тогда еще молодым, барином более трех лет в Германии, он выучился даже говорить по-немецки. В настоящую же поездку Егора Егорыча Антип Ильич, видя, до какой степени господин его слаб и недужен, настоял, чтобы его тоже взяли, убеждая тем, что он все-таки будет усерднее служить, чем какие-нибудь иностранные наемные лакеи. Выйдя из кареты и, видимо, прибодряясь, Антип Ильич поспешно сказал гаускнехту, что нужны два большие номера.

Гаускнехт сначала исполнился удивления, услышав от Антипа Ильича не то немецкие, не то какие-то неизвестные слова; но эти же самые слова повторил ему Егор Егорыч.

— А, понимаю!— воскликнул тогда гаускнехт и повел моих путников через ворота на двор, на котором развешаны были окорока, ветчины, колбасы, туловище дикой козы, а также сидели две краснощекие немки и чистили картофель. По не совсем новой, но чисто вымытой лестнице

[1] «Корона», (*нем.*)

Марфины взобрались во второй этаж, где выбрали себе три номера, один — самый большой — для Сусанны Николаевны, другой — поменьше — Егору Егорычу и третий — еще поменьше — Антипу Ильичу. Гаускнехт, громадный и сильный мужик, едва смог в несколько приемов перетаскать из кареты в номера многообильный багаж Марфиных и, заключив из этого, что приехавшие иностранцы были очень богатые господа, возвестил о том хозяину своему, обыкновенно сидевшему в нижнем отделении отеля и с утра до ночи евшему там или пившему с кем-либо из друзей своих. Хозяин, в свою очередь, не преминул сам войти к новоприбывшим и почтительно просил их записать свои фамилии в номерной книге, в каковой Егор Егорыч и начертал: «Les russes: collonel Marfin, sa femme et son ami»[1]. Удовлетворившись этим, хозяин отеля спросил: как господам русским угодно обедать, у себя ли в номерах, или в общей зале за табльдотом.

— За табльдот придем!— отвечал Егор Егорыч.

После хозяина в номер учинили набег те краснощекие медхен, которых мы видели за чисткою картофеля. Они притащили с собою огромные умывальники и графины с водой, взбили своими здоровыми и красноватыми руками валоподобные подушки, постлали на все матрацы чистое белье и сверх того на каждую постель положили по тонкой перине вместо одеял. Пробовал было Антип Ильич и сим девицам что-то такое по-немецки растолковать и посоветовать; но те его еще меньше гаускнехта поняли и, восклицая: «Was? Wie gefällt?»[2] — переглядывались между собою и усмехались. Видимо, что старик совсем уж забыл немецкий язык. Обстановка в номерах была, наконец, приведена в должный порядок; Марфины и Антип Ильич умылись и приоделись. Собственно, дорогой путники не были особенно утомлены, так как проехали всего только несколько миль от Гарца, по которому Егор Егорыч, в воспоминание своих прежних юношеских поездок в эти горы, провез Сусанну Николаевну, а потом прибыл с нею в Геттинген, желая показать Сусанне Николаевне университетский город; кроме того, она и сама, так много слышавшая от gnädige Frau о Геттингене, хотела побывать в нем.

---

[1] Русские: полковник Марфин, его жена и друг (*франц.*).

[2] Что? Нравится? (*нем.*).

Вскоре на церковной башне пробило час, а вместе с тем раздался обеденный звонок в отеле.

— Пойдемте!— сказал Егор Егорыч Сусанне Николаевне и Антипу Ильичу, которому он еще в России объявил, что если старый камердинер непременно хочет ехать с ним за границу, то должен быть не слугою, а другом их семьи, на что Антип Ильич хоть и конфузливо, но согласился.

— Ты за обедом увидишь студентов здешних!— предупредил Егор Егорыч Сусанну Николаевну, сходя с лестницы.

Она на это улыбнулась и проговорила:

— Я очень рада посмотреть на немецких студентов.

Вообще Сусанну Николаевну, как натуру молодую и впечатлительную, чрезвычайно заняло и развлекло путешествие. Она еще в Петербурге с трепетною радостью села на пароход и с первым же поворотом колес начала жадно вдыхать здоровой грудью свежий и сыроватый морской воздух. Сидя весь день на палубе, она смотрела то на бесконечную даль моря, то внимательно вглядывалась в странный для нее цвет морской воды. На суше Сусанна Николаевна немало любовалась обработанными немецкими пажитями, которые скорее походили на сады, чем на наши северные русские поля. Небольшие города Германии, которые попадались им на дороге и в которых они иногда для отдыха Егора Егорыча останавливались, тоже нравились Сусанне Николаевне, и одно в этом случае удивляло ее, что она очень мало слышала в этих городках, сравнительно с нашими, колокольного звона, тогда как, прослушав из уст Егора Егорыча еще в самые первые дни их брака его собственный перевод шиллеровского «Колокола», ожидала, что в Германии только и делают, что звонят.

Понятно, что при таком разнообразии дорожных впечатлений мысль об Углакове в воспоминании Сусанны Николаевны начинала все более и более бледнеть, и ее гораздо сильнее грызло то, что Егор Егорыч на ее глазах с каждым днем вянул и таял, чему главной причиной Сусанна Николаевна считала свою сумасшедшую откровенность, которую она обнаружила, признавшись ему в любви к Углакову. Егор Егорыч тоже считал себя виновным против Сусанны Николаевны; впрочем, насколько он в этом отношении полагал себя виноватым, определить

даже трудно, и можно сказать лишь одно, что только его некогда геройское сердце могло еще выдерживать столь тяжелые и вместе с тем таимые муки.

За табльдот на этот раз собрались не одни студенты, а и более пожилые люди, усевшиеся на другом столе, за которым поместился также Егор Егорыч с своей женой и другом. Сусанна Николаевна с жадным вниманием начала оглядывать все общество, и немцы поразили ее прежде всего какой-то однообразною молодцеватостью; кроме того, на всех почти лицах, молодых и пожилых, виднелись заметные рубцы, из коих иные были совсем зажившие, другие красноватые, а некоторые даже залепленные еще пластырями. До крайности заинтересованная этим, Сусанна Николаевна спросила Егора Егорыча, отчего эти рубцы у всех студентов?

— Оттого, что они беспрестанно дерутся на дуэлях,— объяснил Егор Егорыч.

— И ты дрался, когда студировал здесь?— поинтересовалась Сусанна Николаевна.

— И я; знак даже того имею на руке,— проговорил Егор Егорыч и, отвернув обшлаг рукава, показал довольно значительный рубец на руке.

Блаженствуя от мысли, что сопровождает барина, Антип Ильич в то же время страдал в смысле пищи, ибо он уже около трех лет совершенно не ел мяса; но в Европе чем же ему оставалось питаться? Чаю не было, кофе он сам не пил, горячие все были мясные,— значит, только рыбкой, когда ее подавали к столу, картофелем и пирожными с чем-нибудь сладеньким, да и те были ему не по вкусу, так как Антип Ильич был сластена великий, а варенья, подаваемые за табльдотом, были все какие-то кислые.

После обеда Сусанна Николаевна прилегла на постель и даже задремала было; но на улице невдолге раздалась музыка, до такой степени стройная и согласная, что Сусанне Николаевне сквозь сон показалась какими-то райскими звуками; она встала и пошла к Егору Егорычу, чтобы узнать, где играют.

— А вот посмотри!— отвечал ей тот, показывая на открытое окно.

Сусанна Николаевна выглянула из окна и увидела еще вдали тянувшуюся процессию, впереди которой ехал верхом на небойкой и худощавой лошади как бы герольд

и держал в руках знамя; за ним ехали музыканты и тянулось несколько колясок, наполненных студентами, а также и пожилыми людьми; на всех их были надеты ленты, перевязи и странной формы фуражки.

— Что такое это значит?— воскликнула Сусанна Николаевна.

— Это — так называемый коммерш, на которых обыкновенно празднуют и ликуют настоящие и бывшие студенты.

— Но отчего они в таких театральных костюмах?— расспрашивала с любопытством Сусанна Николаевна.

— Это еще остатки средних веков, и ты вот заметь: на некоторых одни фуражки, а на других — другие, а также неодинакие и перевязи. Это означает, что сегодня происходит торжество, сколько вижу, двух или даже трех корпораций; на этих торжествах они пьют пиво, поют и, наконец, ссорятся между собой.

— Из-за чего?

— Чаще всего ни из-за чего; обыкновенно какой-нибудь молодой корпоратор подходит тоже к молодому члену другой корпорации и говорит ему: «Dummer Junge»[1]—и на другой день дуэль.

— И при этом они убивают друг друга?

— Нет, потому что лоб, глаза, а также грудь и желудок защищены, и по большей части они исцарапают друг другу лица, хотя бывают и смертельные случаи.

— Как же профессора их не запрещают им этих дуэлей?

— Напротив, профессора поддерживают это, что, помоему, до некоторой степени основательно; во-первых, это открывает клапан молодечеству, столь свойственному юношам, развивает в них потом храбрость, а главнее всего, этот обычай — по крайней мере так это было в мое время — до того сильно коренится в нравах всего немецкого общества, что иногда молодые девицы отказывают в руке тем студентам, у которых нет на лице шрама.

— А на чем же основывается разница этих корпораций?

— Более всего на начале разных местностей и народностей, а частию исповеданий, а также и по наклонностям молодых людей к той или другой философской системе; это я знаю по собственному опыту: нас, русских, в то вре-

---

[1] глупенький (*нем.*).

мя студировало только двое: Пилецкий и я, и он меня ввел в корпорацию мистиков.

— Но твой противник, с которым ты дрался, из какой был корпорации?

— Даже не знаю из какой, и это был, как мне потом рассказывали, какой-то венгерский авантюрист, который, узнав, что я русский, подошел ко мне и сказал: «Вы дерзко взглянули на даму, с которой я вчера шел, а потому вы...» и, хотел, конечно, сказать «dummer Junge!», но я не дал ему этого договорить и мгновенно же воскликнул: «Вы dummer Junge, а не я!»

На другой день Марфины пошли осматривать достопримечательности Геттингена, которых, впрочем, оказалось немного: вал, идущий кругом города, с устроенным на нем прекрасным бульваром, и университет, подходя к которому, Егор Егорыч указал на маленький погребок и сказал Сусанне Николаевне:

— Чуть ли вот не тут существовала ложа, в которой посвящалась в масонство gnädige Frau.

— В таком случае нельзя ли туда зайти и посмотреть? — воскликнула Сусанна Николаевна.

— Теперь там, я думаю, ничего нет,— возразил ей Егор Егорыч.

— А может быть, что-нибудь осталось,— подхватила Сусанна Николаевна.

Они зашли в погребок; но в нем действительно, кроме магенбиттеру и других водок, ничего не было. Чтобы замаскировать свое посещение, Сусанна Николаевна купила маленькую бутылку киршвассера.

В следующие затем два — три дня они почувствовали такую скуку в Геттингене, что поспешили отправиться в Кассель, где, отдохнув от переезда, стали осматривать кассельский сад, церковь св. Мартына, синагогу, Museum Friedericianum[1] и скульптурную галерею.

— Кассель, по-моему, лучше и интереснее Берлина! — восклицала почти на каждом шагу Сусанна Николаевна.

— Еще бы, Берлин — казармы, и больше ничего! — согласился с ней Егор Егорыч.

Но еще более Касселя очаровала Сусанну Николаевну обсаженная густо разросшимися каштанами дорога к

---

[1] Музей Фридриха (*лат.*).

замку Вильгельмсгёе, куда повез ее, а также и Антипа Ильича, Егор Егорыч. С приближением к Вильгельмсгёе Сусанна Николаевна еще издали заметила какую-то фигуру, высоко виднеющуюся на горе среди замка.

— Что это такое? — сказала она.

— Это громадная статуя Геркулеса! — объяснил ей Егор Егорыч.

— Что ж, мы туда сходим? — спросила с живым любопытством Сусанна Николаевна.

— Пожалуй,— ответил ей протяжно Егор Егорыч.

— Нет, сударь, вам туда всходить высоко; вы и без того, смотрите, какой бледный,— вмешался в разговор Антип Ильич.

— Да, это правда! — подтвердила, спохватившись Сусанна Николаевна и тоже заметив, что Егор Егорыч был сильно утомлен.

Таким образом, мои путешественники, приехав в Вильгельмсгёе, уселись на садовой площадке перед главным дворцом.

— Чем же мне вас угощать тут? — проговорил Егор Егорыч; потом, как бы припомнив нечто, он сказал лакею, давно уже почтительно стоявшему вблизи их столика:

— Дайте нам боль, который я сам здесь приготовлю.

Тот немедля же принес и поставил на столик бутылку рейнвейна, клубнику, апельсин и мелкий сахар.

— Это любимый немецкий напиток, особенно в жаркие дни, как сегодня,— пояснил Егор Егорыч.

Довольно умело приготовив боль, он предложил своим компаньонам выпить по стаканчику сего напитка, а также и себе налил стакан; но Сусанне Николаевне решительно не понравился боль, и она только выловила из стакана землянику и скушала ее. Антип Ильич тоже затруднился допить свою порцию, и после нескольких глотков он конфузливо доложил Егору Егорычу:

— Крепко мне, сударь, это очень!

— Разбавь водой и положи побольше сахару! — посоветовал ему Егор Егорыч.

Антип Ильич, рассиропив рейнвейн водой и всыпав в стакан огромное количество сахару, покончил с болем и после того тотчас раскраснелся в лице, как маков цвет.

В противуположность своим сотоварищам, Егор Егорыч, выпив с удовольствием свой стакан, выпил затем и еще стакан, делая это, кажется, для того, чтобы прибод-

риться немного; но он нисколько не достигнул того, а только еще более осовел, так что, возвращаясь назад в Кассель, Егор Егорыч всю дорогу дремал и даже слегка похрапывал.

Осмотрев таким образом Кассель, Марфины направили свой путь в Кельн. Егор Егорыч в этом случае имел в виду показать Сусанне Николаевне кельнский собор, заранее предчувствуя, в какой восторг она придет от этого храма, и ожидание его вполне оправдалось; случилось так, что в Кельн они приехали к обеду и в четыре часа отправились в собор, где совершалось подготовление к первому причащению молодых девушек. Когда Марфины в сопровождении Антипа Ильича вошли в храм, то юные причастницы, и все словно бы прехорошенькие, в своих белых платьицах, в тюлевых вуалях и цветах, чопорно сидели на церковных лавках, и между ними нет-нет да и промелькнет какой-нибудь молодой и тоже красивый из себя каноник. Патеры же стояли с наклоненными головами перед алтарями, на которых горели свечи, слабо споря с дневным еще светом, пробивавшимся в расписные стекла собора.

Охваченная всем этим, Сусанна Николаевна просто начала молиться по-русски, шепча молитвы и даже крестясь; то же самое делал и Антип Ильич, только креститься в нерусском храме он считал грехом. Но Егор Егорыч погружен был в какие-то случайные размышления по поводу не забытого им изречения Сперанского, который в своем письме о мистическом богословии говорил, что одни только ангелы и мудрые востока, то есть три царя, пришедшие ко Христу на поклонение, знали его небесное достоинство; а в кельнском соборе отведено такое огромное значение сим царям, но отчего же и простые пастыри не символированы тут? — спросил он вместе с тем себя.

Из Кельна Егор Егорыч вознамерился проехать с Сусанной Николаевной по Рейну до Майнца, ожидая на этом пути видеть, как Сусанна Николаевна станет любоваться видами поэтической реки Германии; но недуги Егора Егорыча лишили его этого удовольствия, потому что, как только мои путники вошли на пароход, то на них подул такой холодный ветер, что Антип Ильич поспешил немедленно же увести своего господина в каюту; Сусанна же Николаевна осталась на палубе, где к ней обратил-

ся с разговором болтливейший из болтливейших эльзасцев и начал ей по-французски объяснять, что виднеющиеся местами замки на горах называются разбойничьими гнездами, потому что в них прежде жили бароны и грабили проезжавшие по Рейну суда, и что в их даже пароход скоро выстрелят,— и действительно на одном повороте Рейна раздался выстрел. Указал потом эльзасец Сусанне Николаевне на гору, покрытую виноградниками, где будто бы исключительно выделывается знаменитое вино иоганнисбергер. Когда эльзасец, наконец, оставил в покое Сусанну Николаевну, к ней подошел выходивший по временам на палубу Антип Ильич.

— А ведь наша Волга, сударыня, лучше Рейна,— сказал он.

— Чем же? — спросила его Сусанна Николаевна.

— У нас все церкви и монастыри проезжаешь, а тут ни одного креста не видать.

— Но в Кельне разве тебе не понравился собор? — возразила ему Сусанна Николаевна.

— Это что говорить,— храм благолепный! Священников только не разберешь и не увидишь, где они,— заметил Антип Ильич.

Переночевав в Майнце, мои путешественники опять-таки по плану Егора Егорыча отправились в Гейдельберг. Южная Германия тут уже сильно начинала давать себя чувствовать. Воздух был напоен ароматами растений; деревья были все хоть небольшие, но сочные. Поля, конечно, не были с такой тщательностью обработаны, как в Северной Германии, но неопытный бы даже глаз заметил, что они были плодовитее.

По приезде в Гейдельберг Егор Егорыч серьезно расхворался и слег почти в постель. Сусанна Николаевна ужасно перепугалась и стала совещаться с Антипом Ильичом, не послать ли за доктором.

— Ничего, сударыня! Егор Егорыч немножко соснут; с ними это бывает; они и прежде всегда были, как малый ребенок! — успокаивал ее тот, и дня через два Егор Егорыч в самом деле как бы воспрянул, если не телом, то духом, и, мучимый мыслью, что все эти дни Сусанна Николаевна сидела около его постели и скучала, велел взять коляску, чтобы ехать в высившиеся над Гейдельбергом развалины когда-то очень красивого замка. Сусанна Николаевна сначала было настаивала, чтобы Егор Егорыч

этого не делал, говоря, что будто бы ее вовсе не интересует замок. Егор Егорыч, однако, не поверил ей, и они отправились. Многим, конечно, известно, что вид из замка на реку Неккер и прирейнскую долину весьма живописен; Сусанна Николаевна, по крайней мере, с полчаса любовалась на эту картину. Антипа Ильича более всего заинтересовала оставшаяся от дворца неразрушенная стена с множеством лепных статуй. Долго и внимательно рассматривал их старик, а потом, подойдя к Егору Егорычу, проговорил:

— Смею вас спросить, замок этот не был ли прежде масонским замком?

— Нет,— отвечал Егор Егорыч, несколько удивленный таким вопросом Антипа Ильича,— но почему же ты это думаешь?

— Потому что хорошо уж очень все изображено,— объяснил Антип Ильич, простодушно полагавший, что все хорошее должно было принадлежать масонам.

Егор Егорыч вскоре начал чувствовать легкий озноб от наступивших сумерек. Он сказал о том Сусанне Николаевне, и они немедля же отправились в гостиницу свою, но на главной улице Гейдельберга их остановило шествие студентов с факелами в руках и с музыкой впереди. Извозчик их поспешно повернул экипаж несколько в сторону и не без гордости проговорил:

— Это факель-цуг!

Сусанна Николаевна только было хотела спросить его что-то такое в дополнение, как из толпы раздался русский возглас:

— Почтеннейший Егор Егорыч, madame Марфина, как вы здесь?

Те оглянулись на этот зов и увидели бежавшего к их экипажу гегелианца.

— А, здравствуйте! — сказал Егор Егорыч, протягивая ему руку.

— Здравствуйте! — проговорила и Сусанна Николаевна приветливо гегелианцу.— Куда это идут студенты? — прибавила она.

— Они идут чествовать одного из своих профессоров,— объяснил тот.

— В чем же это чествование будет состоять? — расспрашивала Сусанна Николаевна.

— Пока еще неизвестно; шествие это устроилось со-

вершенно экспромтом, по случаю свадьбы профессора, и мы все идем, не имея никакой определенной программы.

— Ах, как бы я желала посмотреть на всю эту церемонию! — произнесла Сусанна Николаевна.

— Тогда вот что мы сделаем! — начал Егор Егорыч.— Monsieur Терхов,— обратился он потом к гегелианцу,— вы сведите мою жену на эту церемонию, а я устал и поеду домой.

— Но как же ты один поедешь, когда так дурно себя чувствуешь? — произнесла нерешительным голосом Сусанна Николаевна.

— Что за вздор! Со мной Антип Ильич поедет. А вы сберегите мою супругу! — отнесся он в заключение к Терхову.

— С великой готовностью,— отвечал с заметным удовольствием Терхов.— Но только я попрошу вас пойти пешком,— пояснил он Сусанне Николаевне.

— О, я этого не боюсь; но мне совестно, что я стесняю вас собою! — говорила Сусанна Николаевна, выходя из экипажа.

— Нисколько! — ответил ей Терхов.

Егор Егорыч, мотнув потом им обоим головой, велел кучеру ехать в гостиницу.

Сусанна Николаевна между тем, оставшаяся в толпе с полузнакомым ей молодым человеком, сначала, конечно, конфузилась; но Терхов вел ее под руку с такой осторожной вежливостью, что она совершенно потом успокоилась.

Факель-цуг остановился перед домом профессора, и в то время, как музыканты играли хвалебную серенаду новобрачным, весь цуг махал факелами. В ответ на это на небольшом балкончике дома показался профессор, а равно и супруга его, сколько можно было рассмотреть при темноте, весьма уже немолодая. Профессор произнес своим почитателям довольно длинную и нежную речь. Факель-цуг, весь гуртом, захлопал ему, после чего все стали расходиться. Студенты шумно отправились в разные таверны, а молодые рабочие, участвовавшие тоже в церемонии,— в свои кабаки. Сусанну Николаевну Терхов повел под руку к ее отелю, и ей вдруг пришла в голову мысль спросить своего кавалера об Углаковых, у которых она его встречала.

— Разве вы не знаете, что Пьер Углаков умер? — воскликнул Терхов.

Сусанна Николаевна вздрогнула.

— Давно ли? — спросила она взволнованным голосом.

— Недавно,— отвечал Терхов.

— Что же он заболел вдруг? — расспрашивала Сусанна Николаевна.

— Не думаю, чтобы вдруг; но, как мне писали, он сам был причиной своей смерти: кутил и пил, как я не знаю кто!

Волнение Сусанны Николаевны все более и более усиливалось.

— Главное, влюбился в какую-то француженку из кондитерской Люке,— продолжал Терхов,— та окончательно истощила его кошелек и здоровье; хорошего исхода подобной жизни ожидать было нечего.

Сусанна Николаевна вздохнула несколько свободнее: значит, Углаков не от тоски же по ней умер!

— Ну, а вы что здесь делаете? — спросила она.

— Я-то, понятно, что,— отвечал Терхов,— но как вы с вашим супругом сюда попали?

— Попали мы потому, что мне захотелось путешествовать (Сусанна Николаевна при этом слегка покраснела), ну, а потом Егору Егорычу необходимо было посоветоваться с докторами, чтобы они ему прописали какие нужно воды.

— Чего же лучше сделать это, как здесь: в Гейдельберге есть весьма знаменитые доктора,— проговорил Терхов.

— Да, это было бы очень хорошо; но Егор Егорыч прежде всего хочет мне показать любимые им университетские города, потом Рим, Италию и Швейцарию.

— Во всяком случае, вы позволите мне завтра явиться к вам? — спросил Терхов.

— Даже прошу вас! Егор Егорыч очень будет рад вам,— ответила Сусанна Николаевна.

Возвратясь в свой отель, она нашла Егора Егорыча хоть в постели, но еще не спящим, и не удержалась, чтобы не рассказать ему о смерти Углакова. Егор Егорыч первое, что устремил на нее внимательный и беспокойный взгляд; Сусанна Николаевна однако употребила все силы, чтобы скрыть взволновавшие ее печальные чувствования.

— Но правда ли еще это? — спросил он.

— Как же не правда? Терхов — его приятель,— заметила Сусанна Николаевна.

— Я знаю это; но мне думается, что старики Углаковы уведомили бы меня о таком страшном горе своем.

— Разве до того им теперь, чтобы уведомлять кого бы то ни было. Кроме того, они, вероятно, не знают, где мы.

— Это может быть! — согласился Егор Егорыч.— Вообще я очень неаккуратно получаю письма. Сверстов, конечно, писал мне недавно; но меня удивляет Зверев, которого я просил особым письмом уведомить меня о деле Тулузова и адресовать в Гейдельберг poste restante[1], однако письма нет. Я нахожу, что это невежливо с его стороны.

— Разумеется, невежливо! — согласилась Сусанна Николаевна.

VI

Аггей Никитич сам понимал, что он был виноват перед Егором Егорычем, но вначале он почти трусил ответить Марфину на вопрос того о деле Тулузова, в котором Аггей Никитич смутно сознавал себя если не неправым, то бездействовавшим, а потом и забыл даже, что ему нужно было что-нибудь ответить Егору Егорычу, так как пани Вибель, говоря Аггею Никитичу, что *она уже его,* сказала не фразу, и потому можете себе представить, что произошло с моим пятидесятилетним мечтателем; он ходил, не чувствуя земли под собою, а между тем ему надобно было каждый вечер выслушивать масонские поучения аптекаря, на которых вместе с ним присутствовала пани Вибель, что окончательно развлекало и волновало Аггея Никитича. Вибель же, все более и более прилеплявшийся к ораторству, часто не выпускал от себя своих слушателей часов по пяти.

— Многие,— говорил он почти с запальчивым одушевлением,— думают, что масонство владеет таинственными науками и что мы можем превращать куски камней в слитки золота, того не подозревая, что если бы люди достигнули этого, то золото сравнялось бы с камнем и потеряло бы всякую ценность. Другие мнят отыскать в наших лабораториях универсальное лекарство, способное удер-

[1] до востребования, (*франц.*)

жать наше тело от тления; но масоны нисколько того не желают, ибо с уверенностью ждут жизни духа без телесной оболочки. Третьи безумцы, принимая скорлупу за яйцо, смеются над нашими обрядами, называя их нелепыми и детскими забавами; но где же тут, спрашиваю вас, нелепости, когда мы в наших собраниях совещаемся, подобно всяким другим обществам, о делах и нуждах масонства, потом действительно совершаем некоторые символические церемонии при приемах в первую и при повышениях во вторую и третью степени. Вы, господин Зверев, вероятно, знакомы до некоторой степени с этими обрядами, ибо я давно вручил вам ритуал. Потрудитесь мне рассказать его вкратце!

При этом Аггей Никитич должен был бы про себя воскликнуть: «Heu me miserum!»[1] Ритуал он прочел всего один раз, а потому в ответах своих стал бог знает что такое путать.

— Поют сначала песнь,— сказал он.

— Какую? — спросил Вибель.

— Слов я не помню,— отвечал Аггей Никитич, краснея в лице.

— Да что ты, таткю, все спрашиваешь? Ты сам рассказывай! — вмешалась в разговор пани Вибель.

— Я спрашиваю затем, что хочу узнать степень внимательности и трудолюбия господина Зверева,— возразил ей муж.

— У меня на стихи совершенно нет памяти,— произнес тот смущенным тоном.

— Но, кроме пения, что далее бывает?

— Далее...— тянул, как школьник, свой ответ Аггей Никитич,— вводят ищущего.

— Куда вводят? — уже вспылил Вибель.

— В ложу,— несмело отвечал Аггей Никитич.

— Кто вводит? — пытал его наставник.

На это Аггей Никитич решительно не мог ответить и счел за лучшее признаться:

— Я, Генрих Федорыч, не успел еще внимательно вчитаться в ритуал. Я все последнее время был занят делом Тулузова, о котором вы, я думаю, слышали; одних бумаг надобно было написать чертову пропасть.

— А если вы заняты были, то другое дело, так бы вы мне и сказали о том! — воскликнул Вибель.— Беседу об

[1] «Горе мне бедному!» (*лат.*)

обрядах мы можем отложить на будущее время, а теперь перейдем к истории масонства.

Тут Вибель взял со стола тетрадку, так же тщательно и красиво переписанную, как и ритуал, и начал ее читать: — «Из числа учреждений и союзов, с коими масоны приводятся в связь, суть следующие: a) *мистерии египтян,* b) древние греческие *элевзинские таинства,* c) *пифагорейский союз,* d) иудейские секты *терапевтов* и *ессеев,* e) *строительные корпорации римлян;* но не думаю, чтобы это было справедливо; разгром, произведенный великим переселением народов, был столь силен и так долго тянулся, что невозможно даже вообразить, чтобы в продолжение этого страшного времени могла произойти передача каких-либо тайных учений и обрядов. Наконец есть средневековые корпорации, которым в зависимость ставят франкмасонский союз, это — *орден рыцарей храма;* но и то, по-моему, сомнительно, и с достоверностью можно утверждать одно: что франкмасонский союз действительно находится в тесной связи с *корпорациями каменщиков и каменотесов,* особенно процветавшими в Германии и Англии. Эти общества, без сомнения, суть плоды монастырей, кои все стремились к украшению храмов, а равно и жилищ своих. Каменщики и другие рабочие, производившие эти постройки, обыкновенно устраивали около церквей так называемые *строительные ложи.* С течением времени, однако, в тринадцатом, например, столетии, таковые ложи стали появляться отдельно от церквей, и когда их накопилось значительное количество, то они, войдя в сношения между собою, образовали один большой союз немецких каменотесов. Члены его обязывались вести благочестивую и высоконравственную жизнь. Прием в братство сопровождался особыми обрядами, которые, разумеется, заимствованы были из монастырских строительных лож и представляют собою подражание пострижению бенедиктинцев. Что касается до Англии, то образование каменщиками в ней общества относят к началу тысячелетия, когда Эдвин, сын короля Адельстана, собрал первое собрание в городе Иорке; но в этом можно сомневаться, ибо документы, на коих основалось такое мнение, оказались неподлинными, и потому гораздо вероятнее заключить, что в Англию, собственно, перенесли немецкие каменотесы свой институт вместе с готическим стилем».

Прочитав все это, Вибель утомился несколько и, остановившись, вместе с тем сообразил нечто.

— Далее мне следовало бы,— продолжал он,— начать излагать вам строго исторические факты, окончательно утвержденные и всеми признанные; но это, полагаю, вы с большим успехом и пользой для себя сами можете сделать, а потому вот вам сия тетрадь, которую сначала вы, господин Зверев, прочтите, а потом и ты, Мари, прочтешь.

— Но зачем нам врозь читать с Аггеем Никитичем? Мы с ним прочтем вместе,— отозвалась та.

— Это — ваше дело, лишь бы вы к истории масонства не отнеслись так же небрежно, как отнесся Аггей Никитич к ритуалу,— проговорил аптекарь не без ядовитости, которую, впрочем, постарался смягчить доброю улыбкой.

— Да, в отношении ритуала я ужасно виноват,— сознался тот.

— Историю мы внимательно прочтем и долго будем читать ее,— подхватила пани Вибель.

Сарказм заметно чувствовался в тоне ее голоса.

— И вы вот что сделайте, пан Зверев! Татко после обеда всегда спит, а вы приходите ко мне в сад, где я бываю, и там в беседке мы будем с вами читать! — прибавила она Аггею Никитичу.

— К вашим услугам, если только Генрих Федорыч позволит! — проговорил тот.

— Генрих Федорыч вам все позволит и только предуведомляет, что будет экзаменовать вас,— сказал Вибель опять-таки с некоторой ядовитостью: втайне он был очень недоволен тем невниманием, которое обнаружил Аггей Никитич в отношении к ритуалу, хоть тот и сворачивал на множество занятий.

— Но не послезавтра же ты начнешь нас экзаменовать, потому что завтра мы, я думаю, очень немного еще прочтем? — возразила пани Вибель.

— Я начну,— ответил на это Вибель,— когда вы сами скажете, что готовы к испытанию.

— Вот это отлично будет! — похвалила пани Вибель.

— Да, это будет...

Но что будет, Аггей Никитич замялся докончить. Он не привык еще совсем спокойно лгать, как, видимо, привыкла это делать пани Вибель.

Вслед за тем каждое послеобеда почтенный аптекарь

укладывался спать, пани же Вибель выходила в сад, к ней являлся Аггей Никитич, и они отправлялись в беседку изучать исторические факты масонства; к чаю неофиты возвращались в дом, где их уже ожидал Вибель, сидя за самоваром с трубкой в зубах и держа на коленях кота.

Но прочного счастья, как известно, в мире нет. Тот же самый красивый помощник, на которого пани Вибель пристально глядела, когда он приготовлял для Аггея Никитича папье-фаяр в первое посещение того аптеки, вдруг вздумал каждое послеобеда тоже выходить в сад и собирать с помощью аптекарского ученика разные лекарственные растения, обильно насаженные предусмотрительным Вибелем в своем собственном саду, и, собирая эти растения, помощник по преимуществу старался быть около беседки, так что моим влюбленным почти слова откровенного нельзя было произнесть друг с другом. Прошли таким образом день-два; пани Вибель не вытерпела, наконец, и передала Аггею Никитичу записку, в которой объявляла ему, что в следующие дни им гораздо удобнее будет видаться не после обеда, а часов в двенадцать ночи, в каковое время она тихонько будет выходить в сад, и чтобы Аггей Никитич прокрадывался в него через калитку, которая имелась в задней стене сада и никогда не запиралась. Новый способ свидания еще более пленил Аггея Никитича; ночь, луна, сад, таинственное прохождение сквозь маленькую калитку заманчиво нарисовались в его воображении, и он начал поступать так: часов в одиннадцать уходил спать, причем спальню свою запирал, а в половине двенадцатого снова одевался и, выскочив в окно прямо на улицу, направлялся к саду аптекаря. Калитку Аггей Никитич заставал незапертою, и с первых же шагов его по саду кидалась ему в объятия пани Вибель. О, как блаженны были эти ночи для Аггея Никитича! Не говоря уже об утехах любви, как будто бы и все другое соединялось, чтобы доставить ему наслаждение: погода стояла сухая, теплая, и когда он, при первом еще брезге зари, возвращался по совершенно безлюдным улицам, то попадавшиеся ему навстречу собаки, конечно, все знавшие Аггея Никитича, ласково виляли перед ним хвостами и казались ему добрыми друзьями, вышедшими поздравить его с великим счастьем, которое он переживал. Подойдя к окну своей

спальни, он тихо отпирал его и одним прыжком прыгал в спальню, где, раздевшись и улегшись, засыпал крепчайшим сном часов до десяти, не внушая никакого подозрения Миропе Дмитриевне, так как она знала, что Аггей Никитич всегда любил спать долго по утрам, и вообще Миропа Дмитриевна последнее время весьма мало думала о своем супруге, ибо ее занимала собственная довольно серьезная мысль: видя, как Рамзаев — человек не особенно практический и расчетливый — богател с каждым днем, Миропа Дмитриевна вздумала попросить его с принятием, конечно, залогов от нее взять ее в долю, когда он на следующий год будет брать новый откуп; но Рамзаев наотрез отказал ей в том, говоря, что откупное дело рискованное и что он никогда не позволит себе вовлекать в него своих добрых знакомых. Опешенная сим отказом, Миропа Дмитриевна придумала другое; но, впрочем, помолчу пока о прозаических планах Миропы Дмитриевны и обращусь опять к поэзии.

В два часа темнейшей и теплейшей августовской ночи Аггей Никитич, усталый от ласк и поцелуев пани Вибель, распрощался с нею и пошел к калитке; но, к удивлению своему, нашел ее запертою. Он пробовал было растворить ее натиском плеча; калитка, однако, упорствовала; таким образом мой седовласый любовник очутился в совершенной облаве, потому что калитка эта была единственной для выхода из сада да еще домовый балкон, через который, конечно, нечего и думать было пройти. Сообразив все это, Аггей Никитич взобрался на акацию, а с нее шагнул на верхний брус забора и, ухватившись за ветку той же акации, попробовал спрыгнуть на землю, до которой было аршина четыре; ветка при этом обломилась, и Аггей Никитич упал, но сейчас же и поднялся с земли, причем он, как это после уже припомнил, почувствовал, что что-то такое обронил, и вместе с тем раздались громкие голоса: «Кто это? Вор, вор!» И два человека, неузнанные им в темноте, бросились было схватить Аггея Никитича; однако вместо того он их схватил за шивороты и, отбросив от себя в растущую у забора крапиву, отправился усиленным шагом домой. Ночь эту Аггей Никитич не спал спокойно, как прежние ночи: его главным образом беспокоило, кто такие могли быть эти люди, видимо, запершие калитку и подстерегавшие его. Скрыть это происшествие от пани Вибель Аггей Никитич нашел

невозможным, и на другой день, придя после обеда в аптеку, он рассказал ей все и задал тот же вопрос, который делал самому себе, о том, кто же могли быть эти два человека? Пани Вибель при этом чрезвычайно сконфузилась.

— О, это я знаю! Это помощник мужа, который его обкрадывает и терпеть не может меня, потому что я предостерегаю Генриха против него.

— Стало быть, он непременно расскажет о том Генриху Федоровичу? — сказал смущенным голосом Аггей Никитич.

— Не думаю,— произнесла пани Вибель тоже не без смущения. — Впрочем, это мы увидим. Муж сегодня желает продолжать свои поучения,— пойдемте к нему.

Аггей Никитич пошел за нею. При входе их в кабинет старый аптекарь, по спокойно-добродушному выражению лица коего можно было догадаться, что он ничего еще не ведает, крикнул им:

— Я наконец соскучился и хочу продолжать вас учить!

— Я говорила, татко, об этом Аггею Никитичу; ты отлично это сделаешь,— нам самим читать в такой жар ужасно трудно. Кроме того, мы многого не понимаем, но когда ты говоришь, из твоего голоса многое узнаешь. Не правда ли? — отнеслась она к Аггею Никитичу.

— Еще бы! — смог только ответить тот.

— Франкмасонов,— начал, не откладывая времени, поучать своих неофитов аптекарь,— упрекают, что они много заботятся о материальных выгодах своих сочленов, совершенно забывая других людей, которые бы более достойны по своим человеческим правам их покровительства. Это утверждение, в частности, может быть, иногда справедливое, совершенно ложно, насколько оно относится к масонству как союзу. Выгоды, стяжаемые франкмасонами от их союза, не материальные, ибо франкмасонство есть умственное понятие, и потому даваемые им блага — чисто духовной природы. Выгоды эти суть: спокойная совесть, узы дружбы, которые связывают благородных масонов между собою, и, наконец, благодарность сирых и бедных, которым они оказывают свою помощь. Далее, масонов упрекают, что они устраивают празднества и мотают на это деньги; но я вас спрашиваю: столько ли стоят наши умеренные трапезы, сколько

издерживается на пиршества королевские, политические и иногда даже на глупо-увеселительные? В конце концов ныне многие утверждают, что существование франкмасонского союза бесполезно, ибо идея гуманности, хранимая сим союзом, разрабатывается множеством других специальных обществ. Положим, что это так; но тут не надо забывать, что цели других обществ слишком ограниченны, замкнуты, слишком внешни и не касаются внутреннего мира работающих вкупе членов, вот почему наш союз не только не падает, а еще разрастается, и доказательством тому служит, что к нам постоянно идут новые ищущие неофиты, как и вы оба пришли с открытыми сердцами и с духовной жаждой слышать масонские поучения... Впрочем, на сей раз достаточно. Я вижу, что утомил ваше внимание. Идемте пить чай!

Проговорив это, Вибель встал и пошел в столовую, забыв даже взять к себе на руки кота, который, впрочем, сам побежал за ним, держа свой обгрызенный хвост перпендикулярно. Пани Вибель и вместе с ней Аггей Никитич умышленно поотстали немного от аптекаря.

— Завтра вы не приходите к нам,— проговорила она тихой скороговоркой,— а гуляйте утром по длинной улице; я тоже выйду туда.

Аггей Никитич в ответ на это кивнул головой и, напившись чаю, не замедлил уйти домой. Пани же Вибель, оставшись с мужем вдвоем, вдруг подошла к нему и, прогнав кота, вскочившего было на колени к своему патрону, сама заняла его место и начала целовать своего старого Генрику.

— Ах, татко, какой ты умный! — говорила она.

— Умный? — переспросил с самодовольством аптекарь.

— Очень, татко, ты у меня умный, и какие мы с паном Зверевым дураки против тебя!

— Учитесь, читайте, слушайте меня, и вы поумнеете! — утешал ее аптекарь.

— Нет, кажется, мы никогда не поумнеем,— сказала совершенно как бы искренним голосом пани и затем нежно прильнула головой к плечу мужа, что вызвало его тоже на нежнейший поцелуй, который старик напечатлел на ее лбу, а она после того поспешила слегка обтереть рукой это место на лбу.

Пока все это происходило, злобствующий молодой

аптекарский помощник, с которым пани Вибель (греха этого нечего теперь таить) кокетничала и даже поощряла его большими надеждами до встречи с Аггеем Никитичем, помощник этот шел к почтмейстеру, аки бы к другу аптекаря, и, застав того мрачно раскладывавшим один из сложнейших пасьянсов, прямо объяснил, что явился к нему за советом касательно Herr Вибеля, а затем, рассказав все происшествие прошедшей ночи, присовокупил, что соскочивший со стены человек был исправник Зверев, так как на месте побега того был найден выроненный Аггеем Никитичем бумажник, в котором находилась записка пани Вибель, ясно определявшая ее отношения к господину Звереву. Почтмейстер, рассмотрев этот бумажник и прочитав записку молодой пани, исполнился заметной радостью: он давно уже был ужасным ненавистником женщин, и особенно молодых!

— Я не знаю, как мне тут поступить? — спросил его аптекарский помощник.

— Никак! — отрезал ему почтмейстер. — Бумажник этот я возьму у вас и все сделаю за вас.

— Но Herr Вибель, пожалуй, рассердится, что я сказал не ему, а вам,— возразил было помощник.

— А пускай его сердится; мне разве в первый раз с ним ссориться? — отвечал совершенно равнодушно почтмейстер, вовсе, кажется, не думавший, что может произойти из всего этого для Вибеля, а равно и для аптекарского помощника, помышляя единственно о том, как он преподнесет пакостную весть своему другу Вибелю. Вообще преподносить подобные вести было страстью этого густобрового масона, так что он имел даже в обществе название коршуна, и многие знакомые его при встрече с ним без церемонии говорили ему: «Ну, прокаркайте что-нибудь!» — и почтмейстер почти каждый раз находил что-нибудь прокаркать. В настоящем случае он, отправившись на другой же день к своему другу, прокаркал пакостную весть в коротких словах и передал при этом как бумажник Аггея Никитича, так и письмо пани Вибель. Старый аптекарь, несмотря на свой спокойный и твердый характер, побледнел и, мрачно взглянув на почтмейстера, тоже мрачно смотревшего на своего друга, сказал:

— Это не ваше дело, и вы напрасно в него вмешались.

— А коли не мое, так прощайте!.. Расхлебывайте сами, как знаете! — сказал почтмейстер и, проходя мимо помощника, не преминул и тому прокаркать:

— Вас, вероятно, выгонят!

Тот на это пожал лишь плечами и нисколько не раскаивался в своем поступке: до того сильно было в нем чувство злобы и ревности!

Целые два дня после того старый аптекарь ничего не предпринимал и ничего не говорил жене. Наконец, на третий день, когда она к нему пришла в кабинет, заискивающая и ласкающаяся, он проговорил ей:

— Отчего к нам так давно не является господин Зверев?

— Вероятно, он уехал в уезд,— ответила пани на первых порах бойко.

— Может быть, я мешаю ему бывать у вас? — спросил вдруг аптекарь.

Тут уж пани вспыхнула и растерялась.

— Для чего мяновице пан? [1] — сказала она.

— Ну, Марья Станиславовна,— отвечал ей старый аптекарь,— не будемте больше играть в жмурки. Когда вам угодно было в первый раз убежать от меня, я объяснил себе ваш поступок, что вы его сделали по молодости, по увлечению, и когда вы написали мне потом, что желаете ко мне возвратиться, я вам позволил это с таким лишь условием, что если вы другой раз мне измените, то я вам не прощу того и не захочу более своим честным именем прикрывать ваши постыдные поступки, ибо это уж не безрассудное увлечение, а простой разврат. Запираться в этом случае вы не трудитесь; у меня в руках ваше письмо господину Звереву, найденное в его бумажнике, который он уронил, прыгая через забор после тайного свидания с вами. Письмо это я уничтожаю, а бумажник передаю вам для вручения его господину Звереву.

Сказав это, Вибель письмо разорвал, а бумажник подал пани Вибель.

Та взяла бумажник и глядела на мужа вопрошающим взглядом.

— Кроме того-с,— продолжал аптекарь,— я требую, чтобы вы наняли совершенно отдельное помещение и жили бы там.

---

[1] Отчего же именно вы? *(Прим. автора.)*

— Но на что же я буду жить там? — воскликнула пани. — Если вы со мной так поступаете, так я подам на вас жалобу, чтобы вы обеспечили меня.

Старый аптекарь грустно усмехнулся.

— Жаловаться вам будет не за что на меня,— сказал он. — Я не на словах только гуманный масон и по возможности обеспечу ваше существование, но не хочу лишь оставаться слепцом и глупцом, ничего будто бы не видящим и не понимающим.

Пани Вибель, бывшей под влиянием ее сильного увлечения Зверевым, даже понравилось такое предложение со стороны мужа, потому что это давало ей возможность видаться с своим обожаемым паном каждодневно без всякой осторожности и опасности.

— Если так, то я готова и завтра же найду себе особую квартиру,— проговорила она, гордо взмахнув головой, и сейчас же потом ушла гулять, так как был двенадцатый час, и она надеялась на длинной улице встретить Аггея Никитича, который действительно давно уже бродил по этой улице и был заметно расстроен и печален.

Пани Вибель передала ему весь разговор свой с мужем.

Аггей Никитич, выслушав ее, просиял.

— Да это превосходно! — воскликнул он.

— Конечно, превосходно,— подхватила пани Вибель, впрочем, с некоторым оттенком сомнения,— только, пан добродзею, я попрошу вас, приищите вы мне квартиру, а то я не умею этого сделать.

— Непременно, сегодня же приищу! — подхватил Аггей Никитич и, расставшись с пани Вибель, пошел исполнять ее поручение. Квартира была им приискана у одной просвирни, недорогая, очень чистенькая и в совершенно уединенной части города. Платить за эту квартиру Аггей Никитич предположил из своего кармана и вообще большую часть жалованья издерживать на пани Вибель, а не на домашний обиход, что ему в настоящее время удобно было сделать, ибо Миропа Дмитриевна накануне перед тем уехала в Малороссию, чтобы продать тамошнее именьице свое, а потом намеревалась проехать в Москву, чтобы и тут развязаться с своим домишком, который год от году все более разваливался и не приносил ей почти никакого дохода.

VII

Почтенный аптекарь рассчитал так, что если бы он удалил от себя жену без всякой вины с ее стороны, а только по несогласию в характерах, то должен был бы уделять ей половину своего годового дохода, простиравшегося до двух тысяч на ассигнации; но она им удалена за дурное поведение, то пусть уж довольствуется четвертью всего дохода — сумма, на которую весьма возможно было бы существовать одинокой женщине в уездном городке, но только не пани Вибель. Аптекарь, зная хорошо свойства своей супруги, поступил осторожно в этом случае. Он ей выдал всего только за месяц вперед; Аггей же Никитич, получивший свои квартирные деньги за треть, все их принес пани Вибель на новоселье, умоляя принять от него эту маленькую сумму. Пани ужасно конфузилась, говорила, что деньги она получила от мужа; Аггей Никитич слышать, однако, ничего не хотел, и пани уступила его просьбе, а затем в продолжение следующей недели так распорядилась своим капиталом, что у нее не осталось копейки в кармане; зато в ближайший праздник она встретила пришедшего к ней Аггея Никитича в таком восхитительном новом платье, что он, ахнув от восторга и удивления, воскликнул:

— Кто мог сшить на вас такую прелесть?

— Здешняя портниха; она очень хорошая мастерица. Потом я сама материю и приклад выбирала и показывала ей, как надобно сделать.

— Непременно все это делалось по вашему вкусу! — продолжал восклицать Аггей Никитич.

После того, разумеется, последовала нежная, или, скажу даже более того, страстная сцена любви: Аггей Никитич по крайней мере с полчаса стоял перед божественной пани на коленях, целовал ее грудь, лицо, а она с своей стороны отвечала ему такими же ласками и с не меньшею страстью, хоть внутри немножко и грыз ее червяк при невольной мысли о том, что на какие же деньги она будет кушать потом. На другой день, впрочем, пани Вибель эту сторону жизни успела на время обеспечить себе кредитом в съестных и бакалейных лавках, придя в которые, она с гонором объявила сидельцам, что будет присылать свою девушку Танюшу, составлявшую единственное крепостное достояние ее шляхетского наследства, и та бу-

дет брать запасы на книжку, по которой сама пани как-нибудь зайдет и расплатится. Лавочники на первых порах согласились. Кроме того, Марья Станиславовна попыталась было ту же Танюшу послать с письмом к своему супругу, прося его дать ей еще денег за месяц вперед. На просьбу эту старый аптекарь уведомил Марью Станиславовну тоже письмом, тщательнейшим образом запечатанным, что денег он ей до конца месяца не вышлет и не будет никогда высылать ранее срока. Пани Вибель очутилась в весьма неприятном положении, потому что сверх запасов надобно было купить дров, заплатить хозяевам за квартиру; кроме того, много других мелочных расходов предстояло, о которых пани Вибель, ни бывши девушкой, ни выйдя замуж за Вибеля, ни даже убегая с офицером в Вильну, понятия не имела. Конечно, ближе бы всего ей было сказать Аггею Никитичу о своей нужде, но это до того казалось совестно Марье Станиславовне, что она проплакала всю ночь и утро, рассуждая так, что не ради же денег она полюбила этого человека, и когда к ней вечером пришел Аггей Никитич, она ему ни слова не сказала о себе и только была грустна, что заметив, Аггей Никитич стал было расспрашивать Марью Станиславовну, но она и тут не призналась, зато открыла Аггею Никитичу причину ее печали Танюша. Без преувеличения можно сказать, что девушка эта, сопровождавшая свою пани в первый ее побег от мужа и ныне, как мы видим, при ней состоящая, была самым преданным и верным другом Марьи Станиславовны в силу того, может быть, что своими нравственными качествами и отчасти даже наружностью представляла собой как бы повторение той: также довольно стройная, также любящая кокетливо одеться, она была столь же, если еще не больше, склонна увлекаться коварными мужчинами, а равно и с своей стороны поковарствовать против них. В настоящем случае Танюша, провожая по лестнице Аггея Никитича, не преминула ему сказать:

— Вам ничего не говорила Марья Станиславовна?

— Нет! — отвечал он.— Я вижу, что она какая-то скучная, и спрашивал даже ее; она говорит, что ничего.

— Как ничего! — произнесла, усмехнувшись, Танюша.— У них ни копейки нет денег; издержали все на платье, а теперь и сидим на бобах.

— Но стоит ли от этого быть скучною? — заметил Аггей Никитич.

— Конечно-с; но лавочники эти проклятые пристают, когда им заплатят! — объяснила Танюша.

В первые минуты Аггей Никитич мысленно попенял на Марью Станиславовну за ее скрытность, а обсудив потом, увидел в этом величайшее благородство с ее стороны и, конечно, счел себя обязанным помочь пани Вибель, хоть это было ему не так легко, ибо у него самого имелось в кошельке только пять рублей. Взять у приходо-расходчика вперед жалованье можно было бы, но Аггей Никитич по своей щепетильности в службе никогда не делал этого. «Ба!» — воскликнул он вдруг, ударив себя по лбу и тем тоном, каким некогда Архимед произнес *эврика!* — и эврика Аггея Никитича состояла в том, что он вспомнил о тяжелейших карманных золотых часах покойного отца, а также о дюжине столовых ложек и предположил часы продать, а ложки заложить. Вырученная за это сумма, конечно, была не бог знает как велика; но все-таки Аггей Никитич, втайне торжествуя, принес ее к пани Вибель и первоначально сказал:

— Мери (Аггей Никитич именовал так пани Вибель, запомнив, что в «Герое нашего времени» так называли княжну Лиговскую), вам, вероятно, первое обзаведение вашего хозяйства вскочило в копеечку, и вот возьмите, пожалуйста, эти деньги, которые у меня совершенно лишние.

Пани Вибель не разыгрывала на этот раз комедии, а взяв торопливо подаваемые ей Аггеем Никитичем ассигнации, принялась его целовать, мысленно обещаясь самой себе не мотать больше, каковое намерение она в продолжение месяца строго исполняла, и месяц этот можно назвать счастливейшим месяцем любви Аггея Никитича и пани Вибель. Они никого не видели, ни о чем не слыхали и только иногда по темным вечерам прокатывались в дрожках Аггея Никитича по городу, причем однажды он уговорил Марью Станиславовну заехать к нему на квартиру, где провел ее прямо в свой кабинет, в котором были развешаны сохраняемые им еще изображения красивых женщин.

— А это все дамы, в которых вы были влюблены! — воскликнула пани.

— Я никогда их не видел, это картины, а не портреты!

— Э, не лгите, пожалуйста! — возразила ему пани.

— Уверяю вас! — утверждал Аггей Никитич, усаживаясь вместе с Марьей Станиславовной на диван и обнимая ее одной рукой за талию.— Я,— продолжал он, имея при этом весело-томные глаза,— настоящим образом был только влюблен в тебя и прежде еще в одну прелестную девушку — Людмилу Рыжову.

— Где же теперь эта девушка? — спросила Марья Станиславовна.

— О, она давно умерла! — отвечал Аггей Никитич, и взгляд его принял уже грустный оттенок.

— Оттого, может быть, что ты изменил ей? — спросила Марья Станиславовна.

— Я не мог изменить ей, потому что она любила другого и умерла от неблагополучных родов.

— Бедненькая! — произнесла Марья Станиславовна.— Но при чем же вы, пан, тут были?

— Ни при чем!.. Я только идеально был влюблен в нее.

— О, милый ты, милый! Какой ты хороший! — воскликнула пани Вибель и уже сама обняла Аггея Никитича за шею.

— А ты,— произнес он, окончательно разнеженный,— кроме меня, кого еще любила?

— Я любила...— начала пани Вибель, подняв свои бровки и почти с детской откровенностью,— любила одного студента в Вильне.

— Поляка?

— Поляка, но его потом куда-то услали.

— Гм! — произнес многозначительно Аггей Никитич.

— После того мне нравились еще два-три господина; но это так себе...

— А того офицера, с которым ты уезжала от мужа?— спросил вдруг Аггей Никитич.

Лицо пани Вибель приняло при этом более серьезное выражение.

— Ты разве об этом слышал? — проговорила она.

— Слышал.

— Офицера этого — он тоже был поляк — я много любила.

— Отчего ж вы разошлись? — любопытствовал Аггей Никитич.

— Он женился на другой, и с тех пор я стала поляков

ненавидеть так же, как немцев, и теперь хочу любить только русских.

В следующие за сим два месяца Аггей Никитич все более привязывался к божественной Мери, а она не то чтобы хладела к нему, но стала скучать несколько своей совершенно уединенной жизнью, тем более, что в уездный город начало съезжаться для зимних удовольствий соседнее дворянство. Рамзаев, успевший на откупных торгах оставить за собой сказанный уездный город, предполагал каждую неделю давать балы. Пани Вибель, хоть она скрывала это от Аггея Никитича, ужасно хотелось быть приглашенною на эти вечера; но она не знала еще, удостоят ли ее этой чести, так как она была заявленною разводкой и весьма справедливо предполагала, что об ее отношениях к Аггею Никитичу трезвонит весь город; по воле судеб, однако, последнее обстоятельство было причиною, что ее пригласили, и пригласили даже с особым почетом. Перед началом балов между Рамзаевым и Анною Прохоровной произошло такого рода совещание.

— А как нам быть теперь с Зверевым? — сказал он жене.

Та сначала вопросительно взглянула на него.

— Миропа Дмитриевна, которая урезонивала этого дуботола в отношении Тулузова и меня, говорят, уехала куда-то, рассорившись с ним, потому что он связался с этой хорошенькой аптекаршей...

— Слышала это я,— произнесла невеселым голосом Анна Прохоровна.

— Значит, через кого же мы будем платить положенное исправникам? — спросил Рамзаев.

— Да ты съезди к Звереву и предложи ему самому получать! — посоветовала Анна Прохоровна.

— А если он закричит на меня и начнет говорить мне дерзости? Управляющего Тулузова, Савелья Власьева, он прибил даже,— заметил Рамзаев.

— Тебя прибить он не посмеет,— возразила Анна Прохоровна,— а если и скажет тебе что-нибудь неприятное, то ты можешь объяснить, что так делается везде, во всех откупах.

— Еще бы не везде! — подхватил Рамзаев.— А то чем же бы жили все эти чиновничишки?

— Значит, на что же после того может обидеться Зверев?

— На то, что он там какой-то особенный благородник и масон, говорят.

— Почтмейстер тоже масон, однако ты посылаешь ему по ведру вина в месяц,— возразила Анна Прохоровна.

— Посылаю, и он еще просит, чтобы по два ведра ему давали,— объяснил Рамзаев.

— По моему, двух он не стоит! — заметила откупщица.— Кроме того, если ты хочешь, я съезжу к этой молоденькой даме, Вибель, которую я непременно хочу пригласить на наши балы.

— Вот это будет недурно! — одобрил откупщик.

В результате такого совещания Танюша в весьма непродолжительном времени почти лоб об лоб встретилась с лакеем откупщицы, хорошо ей знакомым, который первым делом, ни слова еще не проговорив, сделал в отношении Танюши весьма вольное движение, которое, конечно, она оттолкнула и проговорила:

— Что вы, от барыни, что ли, вашей?

— Какое от барыни? С ней самой! Принимает ваша-то?

— Примет, зовите!

Лакей пошел звать свою барыню, а Танюша поспешила доложить своей барыне, прикрикнув даже на ту:

— Поправьтесь немного и выходите: откупщица к вам приехала!

Марья Станиславовна вышла навстречу гостье, которая, плывя по небольшим комнаткам пани Вибель, производила как бы какой-то электрический треск своим шелковым платьем; про блондовый чепец на ней и говорить нечего: это был какой-то эфир, совершенно воздушное безе, спустившееся на редковатые волосы Анны Прохоровны, и одно только несчастие: постоянно поражаемая флюсом щека ее, по необходимости, была завязана белой косынкой!

— Я непременно хотела быть у вас...— начала откупщица.

— Merci! — ответила пани Вибель.

Затем гостья и хозяйка уселись.

— Будут нынче какие-нибудь удовольствия у нас? — спросила Марья Станиславовна, как будто бы ничего не знавшая.

— Собрания, вероятно, не устроятся; но у нас будут балы каждую неделю, потому что, согласитесь, гораздо же приятнее видеть тех, которых желаешь видеть, а в собрании бывают все, кто хочет.

— Это справедливо! — подхватила Марья Станиславовна, мучимая беспокойным вопросом: пригласят ли ее на эти избранные вечера.

К успокоению ее откупщица объявила:

— На вас, как на самую блестящую даму, я непременно рассчитываю и прошу вас быть украшением наших балов.

— Oh, grand merci, madame! [1] — воскликнула на это пани Вибель.— Но я теперь разводка и не знаю, как это может показаться здешнему обществу.

— У нас будет,— возразила откупщица,— не здешнее общество, а наше общество, которое, конечно... Vous comprenez? [2]

— Oh, oui, je comprends... Merci [3] еще раз!.. Буду являться к вам. Когда же начнутся ваши балы?

— Через две недели по вторникам! — отвечала Анна Прохоровна.— Надобно, чтобы общество пособралось.

— Конечно! — согласилась пани Вибель, и, когда откупщица от нее уехала, она осталась было в неописанном восторге от мысли, что снова будет появляться на балах, танцевать там, всех поражать прекрасным туалетом... «Но каким?» — восстал вдруг при этом роковой вопрос. Все ее бальные платья у нее были прошлогоднего фасона; значит, неизбежно надобно было сделать по крайней мере два — три совершенно новых платья, и тут уж пани Вибель, забыв всякое благородство и деликатность, побежала сама в сопровождении Танюши к Аггею Никитичу и застала его собирающимся идти к ней.

Увидев так неожиданно явившуюся пани, он даже испугался.

— Не случилось ли чего-нибудь? — спросил он.

— Случилось, и случилось очень важное; садись и слушай! — отвечала задыхающимся от быстрой ходьбы голосом пани Вибель.— Сегодня у меня была откупщица с визитом.

— Откупщица? — переспросил Аггей Никитич, вытаращив даже от удивления глаза.

— Да, приезжала звать на свои балы. Я непременно хочу бывать на этих балах, и мне необходимо сделать себе туалет, но у меня денег нет. Душка, достань мне их, займи

---

[1] О, благодарю, мадам! *(франц.)*
[2] Вы понимаете? *(франц.)*
[3] О, да, понимаю... Спасибо *(франц.)*.

хоть где-нибудь для меня! Я чувствую, что глупо, гадко поступаю, беря у тебя деньги...

— Как тебе не совестно это говорить? — перебил ее Аггей Никитич.— Что ж тут дурного, что молодая женщина желает выезжать в свет и быть там прилично одетою? Я тебе достану денег и принесу их завтра же.

— Достань, татко! — воскликнула еще раз пани Вибель.

Разъехавшись с мужем, она стала Аггея Никитича называть «таткой».

— Достану! — повторил он, решившись на этот раз взять у приходо-расходчика жалованье вперед, что сделать ему было, по-видимому, весьма нелегко, потому что, идя поутру в суд, Аггей Никитич всю дорогу как-то тяжело дышал, и по крайней мере до половины присутствия у него недоставало духу позвать к себе приходо-расходчика; наконец, когда тот сам случайно зашел в присутственную камеру, то Аггей Никитич воспользовался сим случаем и воззвал к нему каким-то глухим тоном:

— Спиридон Максимыч!

— Что прикажете-с? — отозвался тот.

— А что, вы не можете ли дать мне жалованье вперед и квартирные? — продолжал Аггей Никитич тем же тоном.

— Жалованье можно-с, но квартирные и столовые вы уж получили,— объяснил приходо-расходчик.

— Это я знаю; однако все-таки не можете ли вы ссудить меня?

Аггей Никитич, кажется, немножко рассчитывал, не предложит ли приходо-расходчик ссудить ему из своего кармана.

— Из переходящих сумм это очень легко,— пояснил тот.

— Из чужих-то денег? Нет-с, я этого не желаю.

— Что ж за важность? Прежние исправники всегда и по скольку еще из переходящих сумм брали вперед.

— Ну, это их дело, а я этого не хочу! Принесите пока только жалованье!

Приходо-расходчик принес жалованье, но—увы!—его не хватило бы на три волана к платью пани Вибель, так что Аггей Никитич предпринял другое решение: он вознамерился продать свою пару лошадей. Тогда, конечно, ему не на чем будет ездить в уезд для производства дел. «Ну и черт их дери! — подумал почти с ожесточением Аггей

Никитич.— Стану командировать на эти дела заседателя».

Из всего этого читатель видит, как мой мечтатель все ниже и ниже спускался в смысле служебного долга; но этим еще не ограничилось: Аггей Никитич в этот же день по этому пути так шагнул, что сам потом не мог дать себе в том ясного отчета. Случилось это... Впрочем, представим все лучше в образах: в три часа Аггей Никитич сбирается идти продавать свою пару лошадей, и вдруг перед его домом остановилась тоже пара, но только внушительнейшая, в сбруе с серебряным набором, запряженная во внушительнейшие сани, в которых сидел откупщик во внушительнейшей бекеше и старавшийся придать своей физиономии внушительнейшее выражение. Войдя к Аггею Никитичу, Рамзаев начал с такого рода фразы:

— Позвольте мне снова представиться вам! Теперь я уже не случайный откупщик, а, вероятно, останусь здесь надолго.

Аггей Никитич, полагая, что Рамзаев приехал к нему, чтобы пригласить его на балы, с своей стороны, выразил, что Теофил Терентьич делает ему своим визитом большую честь; после чего откупщик начал издалека подходить к более важной цели своего посещения:

— Нынче откупа пошли выгодно для нас; цены на торгах состоялись умеренные; кроме того, правительством обещаны нам разного рода льготы, и мне в Петербурге говорили, что есть даже секретный циркуляр начальникам губерний не стеснять откупщиков и допускать каждого из них торговать, как он умеет!

— Циркуляра такого не могло быть! — выразился на первых порах Аггей Никитич.

— Есть, есть! — воскликнул с лукавой усмешечкой откупщик.— Но, конечно, нам это мало поможет, если ближайшие наши начальники, то есть городская и земская полиция, захотят притеснять нас.

Аггей Никитич начал немножко сознавать, к чему Рамзаев клонил свою речь.

— Я не знаю, как другие полиции; но я никогда не стеснял откупа, как и впредь не буду стеснять,— произнес он, желая, кажется, отклонить откупщика от того, что тот намерен был сделать.

— А это еще более обязывает мой откуп быть благодарным и предложить вам получить от меня то, что все в мире исправники получают,— подхватил откупщик.

На лице Аггея Никитича начали выступать то красные, то желтые пятна.

— Нет, зачем же? — проговорил он глухим голосом.

— Затем-с, что это так следует! — сказал настойчиво откупщик и выложил перед Аггеем Никитичем тысячу рублей.— Это за полгода. Я нарочно привез деньги сам, чтобы никто из служащих у меня не знал ничего об этом.

— А совесть моя и ваша тоже не будут знать об этом? — проговорил тем же глухим голосом бедный Аггей Никитич.

— Какая тут совесть и в чем тут совесть? Человека, что ли, мы с вами убили? — воскликнул, смеясь, откупщик.—Я, как вы знаете, сам тоже не торгаш и не подьячий, а музыкант и артист в душе; но я понимаю жизнь!.. Вы же, будучи благороднейшим человеком, мало — видно — ее знаете; а потому позвольте мне в этом случае быть руководителем вашим.

— Благодарю вас! — сказал Аггей Никитич с окончательно искаженным лицом.

Откупщик после того недолго просидел и, попросив только Аггея Никитича непременно бывать на его балах, уехал, весьма довольный успехом своего посещения; а Аггей Никитич поспешил отправиться к пани Вибель, чтобы передать ей неправильно стяжанные им с откупа деньги, каковые он выложил перед пани полною суммою. Та, увидев столько денег, пришла в удивление и восторг и, не помня, что делает, вскрикнула:

— Танюша, поди сюда и посмотри, что у нас тут!

Аггей Никитич обмер при этом и проговорил по-польски:

— Цо пани робит? Пани мне компрометует! [1]

— Ах, так!.. Пржепрашам, розумем! [2] — произнесла пани и, торопливо спрятав деньги в стол, сказала вошедшей Танюше: — Дай мне шляпку и салоп! Я еду с Аггеем Никитичем.

Танюша ушла приготовить то и другое.

— Ты на лошади и поедешь со мной в ряды? Я сегодня хочу закупить все нужное для бального платья.

— Поеду! — отвечал Аггей Никитич, думавший было возразить, что ловко ли это будет, но не сказал, однако,

---

[1] Что вы делаете? Вы меня позорите! *(Прим. автора.)*

[2] Ах, да! Виновата, понимаю! *(Прим. автора.)*

того потому, что с самого утра как бы утратил всякую собственную волю.

В рядах мои любовники, как нарочно, встретили откупщицу, что-то такое закупавшую себе. Она очень приветливо поклонилась Аггею Никитичу, а также и пани Вибель, но та, вся поглощенная соображениями о своем платье, торопливо мотнула ей головой и обратилась к торговцам с вопросами, есть ли у них то, и другое, и третье. Они ей отвечали, что все это есть, и показывали ей разные разности, но на поверку выходило, что все это не то, чего желала пани Вибель, так что она пришла почти в отчаяние и воскликнула:

— Это ужасно, как у вас мал выбор! Ну, посмотрите, madame Рамзаева,— обратилась пани к откупщице,— что за смешной рисунок этой материи, и посоветуйте, ради бога, что мне взять на платье!

Та с удовольствием поспешила на помощь к Марье Станиславовне; видимо, что обе они были знатоки и любительницы этого дела.

— Эта материя нехороша! — сказала решительным тоном откупщица.— Вы дайте лучше гладкую материю, которую я у вас брала! — прибавила она торговцу.

Подали гладкую материю. Та действительно была хороша.

— Но не темна ли она для меня? — спросила пани Вибель свою советчицу.

— Почему ж? Она довольно светлая, отделается цветами, кружевами,— успокоила ее та,— и берта, конечно, к платью должна быть.

— Берта у меня есть превосходная! — радостно воскликнула пани Вибель.

— Сколько же вам прикажете отрезать материи? — спросил торговец.

— Мне обыкновенно идет на платье восемнадцать аршин, но прибавьте еще аршина два — три, чтобы не было недостатка! — небрежно ответила пани Вибель.

Торговец принялся отмахивать на железном аршине выбранную материю, причем ее сильно натягивал.

— Почем же за аршин вы уступите эту материю? — сделала торговцу довольно существенный вопрос откупщица.

— По четыре с полтиной,— отвечал он.

— Что за пустяки такие вы говорите? — почти при-

крикнула на него откупщица.— Я у вас покупала ее по четыре рубля.

— Мы вам уступили, вы наша постоянная покупщица,— несколько подобострастно объяснил ей торговец.

— Это вздор! Извольте уступить ее за ту же цену Марье Станиславовне! Она моя приятельница,— приказала ему откупщица.

— Слушаю-с! — сказал торговец и, обратившись к пани Вибель, проговорил: — Восемьдесят рублей следует с вас.

Пани вынула из кармана деньги и, отсчитав из них нужное число ассигнаций, положила их на прилавок.

Аггея Никитича при этом сильно покоробило: ему мнилось, что откупщица в положенных пани Вибель на прилавок ассигнациях узнала свои ассигнации, причем она, вероятно, с презрением думала о нем; когда же обе дамы, обменявшись искренно-дружескими поцелуями, расстались, а пани, заехав еще в две лавки,— из которых в одной были ленты хорошие, а в другой тюль,— велела кучеру ехать к дому ее, то Аггей Никитич, сидя в санях неподвижно, как монумент, молчал. Пани Вибель подметила это и по возвращении домой, как бы забыв об материи и лентах, принялась ласкаться к Аггею Никитичу. Он, конечно, отвечал ей тем же, но в глубине его совести было нехорошо, неспокойно, и ему против воли припомнились слова аптекаря, говорившего, что во многих поступках человек может совершенно оправдать себя перед другими, но только не перед самим собою. В сущности, если не по строгой морали рассуждать, что такое сделал Аггей Никитич? Он взял почти поощряемую правительством взятку с откупщика, и взял для того, чтобы потешить этими деньгами страстно любимую женщину; это с одной стороны даже казалось ему благородным, но с другой — в нем что-то такое говорило, что это скверно и нечестно!

VIII

Первый бал Рамзаевых украсился посещением новой столичной особы, Екатерины Петровны Тулузовой, которая более уже месяца сделалась провинциальной жительницею вследствие того, что супруг ее, Василий Иваныч Тулузов, был, как мы знаем, по решению суда оставлен в подозрении; но уголовная палата совершенно его оправдала,

и когда дело поступило в сенат, он, будучи освобожден из-под домашнего ареста, был взят на поруки одним из своих друзей, а вслед за тем отправился на житье в Москву. Услыхав обо всем этом, Екатерина Петровна сочла более удобным для себя оставить шумную столицу и переехать хоть и в уединенное, но богатое и привольное Синьково, захватив с собою камер-юнкера, с которым, впрочем, она была довольно холодна и относилась к нему даже с заметным неуважением, ибо очень хорошо видела, что он каждую минуту стремился чем-нибудь поживиться от нее; а Екатерина Петровна, наученная опытом прежних лет, приняла твердое намерение продовольствовать своего адоратера только хорошими обедами — и больше ничего!

Между тем Рамзаев, хоть Екатерина Петровна находилась в открыто враждебных отношениях со своим супругом, а его благодетелем, тем не менее счел себя обязанным ехать в Синьково и пригласить ее на свои балы. Таковое приглашение он адресовал и камер-юнкеру, с которым его познакомила Екатерина Петровна, немножко приврав и довольно внушительно произнеся:

— Chambellan de la cour de Sa Majesté Impériale![1]

Переносимся теперь прямо на бал. Музыка уже играла; Рамзаев в этот раз не дирижировал и только, стоя невдалеке от оркестра, взглядом поддавал музыкантам на известных местах пылу. Пани Вибель — я опять-таки должен повторить — была наряднее, милее и грациознее всех других молодых дам и танцевала кадриль с Аггеем Никитичем, когда приехала Тулузова в сопровождении камер-юнкера, который за последнее время выучился носить в глазу стеклышко. Туалет на Екатерине Петровне, по богатству своему, оказался далеко превосходящим туалет откупщицы, так что та, исполнившись почти благоговения к Екатерине Петровне, поспешила ей, как бы царственной какой особе, представить все остальное общество, причем инвалидный поручик очень низко, по-офицерски склонил свою голову перед этой, как он понимал, гранд-дам; высокая же супруга его, бывшая в известном положении и очень напоминавшая своей фигурой версту, немного разбухшую в верхней половине, при знакомстве с гранд-дам почему-то покраснела. Аггей Никитич почти не расшар-

[1] Камергер двора его императорского величества! *(франц.)*

кался перед Екатериной Петровной; но она, напротив, окинула его с головы до ног внимательнейшим взором,— зато уж на пани Вибель взглянула чересчур свысока; Марья Станиславовна, однако, не потерялась и ответила этой черномазой госпоже тем гордым взглядом, к какому способны соплеменницы Марины Мнишек, что, по-видимому, очень понравилось камер-юнкеру, который, желая хорошенько рассмотреть молодую дамочку, выкинул ради этого — движением личного мускула — из глаза свое стеклышко, так как сквозь него он ничего не видел и носил его только для моды.

Сколь ни мимолетны были все эти первоначальные впечатления, произведенные описываемыми мною лицами друг на друга, они, однако, повторялись в продолжение всего бала, и положительно можно было сказать, что m-me Тулузова стремилась к Аггею Никитичу, а инвалидный поручик стремился к ней, что Екатерине Петровне было не совсем лестно. Камер-юнкер с большим вниманием расспрашивал о пани Вибель мрачного почтмейстера, который, конечно, прокаркнул о ней всякую гадость; но, несмотря на то, московский франт всякий раз, встречаясь с прелестной дамочкой, спешил выкинуть из глаза стеклышко и нежно посмотреть на нее; равным образом Марья Станиславовна пленила, кажется, и откупщика, который ей между прочими любезностями сказал, что недавно выписанную им резвейшую мазурку он намерен назвать «à la pany Wibel». Аггей Никитич, конечно, всех этих мелочей не замечал; одно только показалось ему странным, что когда он начал танцевать вальс с пани Вибель, то она не подделывалась под его манеру, а танцевала по-своему, в два приема, так что им едва возможно было протанцевать один тур; но с камер-юнкером, пригласившим после того пани Вибель и умевшим, конечно, танцевать вальс в два приема, она носилась по зале, как бабочка.

Более сказать о бале нечего, кроме того лишь, что все разъехались очень поздно, что, однако, не помешало Аггею Никитичу, подвезшему пани Вибель в своих санях к ее квартире хоть ненадолго, но все-таки зайти к ней.

Вскоре после бала наступил Николин день, и по случаю именин государя императора все служащее и не служащее общество съехалось к торжественной обедне в собор. Дамы при этом красовались в своих самых нарядных салопах, а между ними, конечно, была и пани Вибель,

успевшая, к великому счастию своему, почти перед тем как разойтись с мужем, заставить его сделать ей отличнейший салоп с собольим воротником. Мужчины же служащие были в мундирах, какой у кого оказался, и Аггей Никитич, конечно, облекся в свой отставной мундир карабинерного полка, из которого он, надобно сказать, как бы еще повырос и заметно пораздобрел. Посреди мундирных мужчин появился и камер-юнкер, который такой эффект произвел на всех молящихся своим золотым мундиром, что описать трудно: в уездном городке никто почти и не видывал придворных мундиров! Пани Вибель тоже немало была поражена нарядом камер-юнкера, так что всю обедню не спускала с него глаз, хотя, собственно, лица его не видела и замечала только, что он то выкинет из глаза движением щеки стеклышко, то опять вставит его рукою в глаз. После обедни откупщик тут же в церкви пригласил все знакомое ему общество к себе на полуофициальный обед, видимо, желая разыгрывать в уездном городке как бы роль губернатора. На обед этот, разумеется, все съехались, а также прибыла и m-me Тулузова, не бывшая в соборе, но получившая от Рамзаева приглашение с нарочным, посланным к ней в Синьково. За столом хозяева посадили Екатерину Петровну по правую руку самого амфитриона, а по левую он, злодей, пригласил сесть пани Вибель, которая на такую честь, кажется, не обратила никакого внимания и весь обед занята была сравнением фрака Аггея Никитича, еще прошлой зимой сильно поношенного, с фраком мизерного камер-юнкера, который у того, по начавшей уже проникать в Россию моде, был очень широкий, но вместе с тем сидел на нем складно. Не преминула пани Вибель сравнить и белье на сих джентльменах, причем оказалось, что у Аггея Никитича из-под жилета чрезвычайно неуклюже торчала приготовленная ему неумелой Агашей густо накрахмаленная коленкоровая манишка, а на камер-юнкере белелось тончайшее голландское полотно. Пока Марья Станиславовна делала все эти наблюдения, хозяином провозглашен был тост за здравие государя императора; оркестр сыграл народный гимн, и к концу обеда все подвыпили, не выключая даже дам, и особенно разрумянилась Екатерина Петровна, которая после горячего выпила хересу, перед рыбой портвейну, а после мяса красного вина — и не рюмку, а стакан; шампанского тоже не то что глотала понемногу из бокала, а разом его опустошала.

Тотчас же вслед за обедом затеялись танцы, в продолжение которых Аггей Никитич, вероятно, вследствие выпитого вина, был несколько более внимателен к явно стремящейся к нему Екатерине Петровне, и она, очень довольная тем, сразу же затеяла с ним почти интимный разговор.

— Monsieur Зверев,— сказала она,— вы дружны с Марфиными, с которыми я тоже была прежде знакома и даже родня Егору Егорычу по первому моему мужу,— скажите, где они теперь, и правда ли, что уехали за границу?

— Они за границей-с,— отвечал Аггей Никитич с болезненным чувством в сердце.

— А скажите, дело об моем муже вы производили?

— Я-с,— отвечал Аггей Никитич с мрачным оттенком в голосе.

— Но неужели же он так прав, что мог вывернуться?

В ответ на это Аггей Никитич первоначально пожал только плечами.

— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь говорить мне все; я с мужем моим давно во вражде, а об вас я слышу от всех, как об честнейшем человеке.

Все это Екатерина Петровна говорила, не столько, кажется, интересуясь делом своего супруга, сколько желая приласкаться к Аггею Никитичу и продлить с ним беседу.

— По-моему, господин Тулузов совершенно неправ, и что если его оправдали и оправдают, так этому причина...

— Деньги! — подхватила Екатерина Петровна.

— Разумеется! — подтвердил Аггей Никитич.

— Ах, боже мой, боже мой! — произнесла с легким вздохом Екатерина Петровна.— Но вы, конечно, помните, monsieur Зверев, что мы с вами старые знакомые, вы были на моей второй свадьбе.

— Я хорошо это помню,—отвечал ей вежливо Аггей Никитич.

— Надеюсь, что вы посетите меня в моей усадьбе? — присовокупила она как бы несколько стыдливым голосом.

— Благодарю вас покорно!.. Непременно-с! — проговорил Аггей Никитич и начал отыскивать глазами пани Вибель, которая в это время сидела на довольно отдаленном диване, и рядом с ней помещался камер-юнкер в неприличнейшей, по мнению Аггея Никитича, позе.

Надобно сказать, что сей московский петиметр, заехав в глухую провинцию, вознамерился держать себя как

ему угодно: во-первых, за обедом он напился почти допьяна, а потом, сидя в настоящие минуты около молодой женщины, он не только развалился на диване, но даже, совершенно откинув борты своего фрака, держал руки засунутыми за проймы жилета. Взбешенный всем этим, Аггей Никитич, пользуясь тем, что началась мазурка, подошел к Марье Станиславовне и напомнил ей, что она танцует с ним сей танец. Пани Вибель не совсем торопливо подала ему руку и по окончании тура заметно желала занять прежнее место, но когда Аггей Никитич подвел ее к дивану, то камер-юнкер с явным умыслом подставил ему ногу, что почувствовав, Аггей Никитич с такою силою отшвырнул своей ногой сухопарую лутошку своего противника, что тот чуть не слетел с дивана и грозно воскликнул:

— Monsieur!

— Pardon! — ответил на это небрежно Аггей Никитич и присовокупил пани Вибель по-польски: — То быдло, недосыць, же ноги подставя, але и сам сиен еще образжа [1].

Пани ужасно сконфузилась.

— Нерозумем, цо пан муви [2],— сказала она.

— А то мувен, же прошен панион сионсць не на канапен, а то кржесло! [3] — почти приказал ей Аггей Никитич.

Пани Вибель повиновалась, но, видимо, надулась.

После мазурки вплоть до ужина, без которого хозяева никого из гостей своих не хотели пустить домой, Марьей Станиславовной завладел откупщик и стал объяснять ей, что вот жена его столь счастлива, что была с визитом у пани, но что он не смеет себе позволить этого.

— Отчего ж? — спросила она его.

— Потому что я уже старик и боюсь вам быть скучным.

— О, нет, пожилых мужчин я люблю больше, чем мальчиков молодых!

— Мы это отчасти знаем,— произнес откупщик и, таинственно усмехнувшись, взглянул на стоявшего в дверях Аггея Никитича, который если не прислушивался к их разговору, то все-таки смотрел на них.

— Отчего вы сегодня не дирижировали своим оркестром? — спросила вдруг пани Вибель.

---

[1] Эта скотина ноги подставляет, да еще сам потом кричит *(прим. автора.)*

[2] Я не понимаю, что вы говорите, *(прим. автора.)*

[3] Я говорю, чтобы вы изволили сесть не на диван, а на это кресло! *(Прим. автора.)*

— Ах, я занят сегодня другим! — произнес откупщик.

— Да, вы заняты другим!..— повторила протяжно его слова пани Вибель; но что такое это было другое, она не спросила откупщика, а, взглянув только не без значения на него, встала с своего места и подошла к Аггею Никитичу.

Здесь я не могу пройти молчанием странную участь Марьи Станиславовны. Кажется, еще с четырнадцатилетнего возраста ее все почти мужчины, знавшие молоденькую панну, считали каким-то правом для себя ухаживать за нею. И Марья Станиславовна от этого ухаживания чувствовала великое удовольствие. Аггей Никитич совершенно не подозревал этой черты в ней.

Торжество Николина дня заключилось, наконец, тем, что Екатерина Петровна пригласила к себе в Синьково все общество приехать в будущую среду на обед.

Вследствие такого приглашения для пани Вибель возник вопрос, как и с кем ей доехать до Синькова. Ехать одной—не на чем. Отправиться с Аггеем Никитичем—это значило прямо указать всем на ее отношения к нему; так что на другой день, когда Аггей Никитич пришел к ней, она стала с ним советоваться, как лучше поступить. Аггей Никитич, с своей стороны, тоже находил совершенно неприличным ехать ей в его экипаже и придумал было нанять для Марьи Станиславовны особую тройку; но и то было как-то странно. К счастию, однако, все эти затруднения устранил откупщик, приехавший к пани Вибель с визитом и первым же делом спросивший ее, будет ли она у m-me Тулузовой.

— Непременно была бы, но вот тут какое препятствие...— объявила та и затем рассказала, в чем, собственно, состояло препятствие.

— Но как вам не грех говорить даже об этом! — воскликнул откупщик.— Вы, конечно, должны ехать с моей женой в возке, который у нас очень покойный и теплый.

— Ах, я очень буду вам благодарна, но боюсь, что этого, может быть, не пожелает Анна Прохоровна! — проговорила пани Вибель.

— Отчего ж ей не пожелать? Напротив,— возразил откупщик,— она вам будет обязана, потому что, вместо того, чтобы скучать одной в возке, она поедет с компаньонкой. А вам не угодно ли будет со мной ехать в крытых санях? — обратился он к Аггею Никитичу.

— Зачем же я буду обременять вас, когда у меня своя кибитка есть? — отказался тот.

— Я знаю, что есть! — подхватил тот.— В таком случае я возьму с собой поручика; он меня просил взять его с собой.

Таким образом, в ближайшую среду все гости почти одновременно выехали из города и направились к Синькову, где они застали как самую хозяйку, так равно и пребывавшего у нее камер-юнкера с какими-то озлобленными физиономиями. Дело в том, что Екатерина Петровна почти окончательно рассорилась с своим адоратером, и ссора эта началась с нижеследующего.

— А что, у вас этот долговязый исправник будет также на обеде? — спросил камер-юнкер.

— Будет! Отчего ж ему не быть? Он давнишний мой знакомый и совершенно бескорыстный человек, хоть и исправник.

— Сомневаюсь в том! — произнес с злобной усмешкой камер-юнкер.— Что он мужчина здоровый, это я вижу, но честности его не вполне верю.

— Аггею Никитичу, я думаю, ни тепло, ни холодно оттого, верите ли вы в его честность или нет! — заметила с полупрезрением Екатерина Петровна.

— Без сомнения! — подхватил камер-юнкер.— Особенно, когда господин Зверев по своей молодцеватости и могучести имеет, вероятно, весьма лестное о нем мнение многих дам.

— Из чего ж вы заключаете, что о нем существует такое мнение? — спросила Екатерина Петровна, поняв, что этот камешек в ее огород кинут.

— Да из того, что эта прелестная madame Вибель, говорят, его любовница.

Екатерина Петровна широко раскрыла глаза: она никак не ожидала услышать то, что слышала.

— Кто же вам сообщил это? — спросила она.

— Сообщил мне на обеде у откупщика этот старик с густыми бровями, который и у вас тут был раза два.

— Это почтмейстер наш; но как же ему известно это?

— Не знаю как; по крайней мере он мне довольно подробно рассказал, что эта дамочка — жена его приятеля, здешнего аптекаря, что с мужем она теперь не живет, а пребывает в любви с Зверевым.

— Всего скорее, что почтмейстер вам наврал! — воз-

разила Екатерина Петровна.— Он очень злой и ехидный выдумщик: покойный отец мой всегда его так понимал.

— Может быть, но я сегодня же испытаю справедливость слов его,— произнес тоном фата камер-юнкер.

— Каким же образом вы испытаете это? — спросила его, в свою очередь, тем же насмешливо-неуважительным тоном Екатерина Петровна, и в этом случае ее подталкивала не ревность, а скорее уже озлобление против камер-юнкера.

— Испытаю это тем, что буду ухаживать за madame Вибель.

— Для какой же это цели? Любопытно знать.

— Ни для какой! От скуки!

— От скуки только?.. Я сама тоже скучаю и от скуки тоже буду ухаживать за молодцеватым исправником.

— Вам поэтому малорослые мужчины надоели?

— Надоели! — ответила ему откровенно Екатерина Петровна.

— Точно так же, как и мне всякого рода belles femmes [1], и тут, знаете, может случиться то, что описано в одном прекрасном романе Гете под названием «Die Wahlverwandschaften» [2].

— Пожалуйста, не говорите со мной разными учеными словами; я их не знаю и не понимаю! — сказала Екатерина Петровна.

В ответ на это камер-юнкер захохотал обиднейшим для нее смехом.

— Тут ни единого слова ученого нет,— продолжал он, как бы желая еще более оскорбить Екатерину Петровну,— кроме того, что, по закону предрасположения, неродственные натуры расходятся, а родственные сливаются. Так и здесь,— присовокупил камер-юнкер с умышленным цинизмом,— великорослые сольются между собою, а также и малорослые...

— Не самолюбивы ли вы несколько? — возразила ему Екатерина Петровна.

Все эти взаимные колкости пошли бы, вероятно, и далее между ними, если бы по дороге к Синькову не показались едущие экипажи с гостями; но все-таки программа, начертанная в предыдущем споре Екатериною Петровною,

---

[1] красивые женщины, *(франц.)*

[2] «Избирательное сродство» *(нем.)*

а равно и постылым ее другом, начала выполняться с точностью. Камер-юнкер на этот раз уже не просто стремился к пани Вибель, а уцепился за нее; Екатерина же Петровна совершенно забыла своих почтенных гостей, каковы были откупщик и откупщица, и, вовсе не обращая внимания на инвалидного поручика, явно желавшего ей понравиться, стремилась к Аггею Никитичу. Такого рода натиски и отпоры, разумеется, кончились бы не бог знает чем, если бы не случилось одно обстоятельство, сразу перевернувшее ход описываемых мною событий. Аггей Никитич, одолеваемый любезностями хозяйки, чтобы хоть на время спастись от них, сошел вниз, в бильярдную, покурить, где просидев около четверти часа, стал возвращаться назад в залу; но, запутавшись в переходах большого дома, не попал в нее и очутился около боскетной, переделанной ныне Екатериною Петровною в будуар. Он еще издали увидел в этом будуаре пани Вибель и камер-юнкера, которые сидели вдвоем и о чем-то беседовали. Одного этого обстоятельства достаточно было, чтобы у Аггея Никитича вся кровь прилила в голову и он решился на поступок не совсем благородный — решился подслушать то, что говорили пани Вибель и камер-юнкер, ради чего Аггей Никитич не вошел в самый будуар, а, остановившись за шерстяной перегородкой, разделявшей боскетную на две комнаты, тихо опустился на кресло, стоявшее около умывальника, у которого Екатерина Петровна обыкновенно чистила по нескольку раз в день зубы крепчайшим нюхательным табаком, научившись этому в Москве у одной своей приятельницы, говорившей, что это — божественное наслаждение, которое Екатерина Петровна тоже нашла божественным. С занятой позиции Аггей Никитич стал слышать весь разговор пани Вибель и камер-юнкера.

— Вы, значит, не знаете,— говорил последний с одушевлением,— что такое эти господа карабинерные офицеры и как их разумеют в Москве: генерал-губернатор стесняется приглашать их к себе на балы, потому что они мало что съедают все, что попадется, с жадностью шакалов, но еще насуют себе за фалды, в карман мундира конфет, апельсинов, и все это, если который неосторожно сядет, раздавит, и из-под него потечет.

Пани Вибель на такой подлый отзыв о карабинерных офицерах, хоть знала, что Аггей Никитич тоже был когда-

то карабинером, вместо того, чтобы обидеться, разразилась смехом.

— Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. Не смешите меня, monsieur, так! — воскликнула она.

Но monsieur не унимался.

— Уверяю вас! — продолжал он с еще большим одушевлением: — Господин Зверев, вероятно, тоже это делал, и можете себе представить, когда он подавил своей особою несчастные груши и апельсины, то каково им было.

Пани Вибель и на это сначала: «Ха-ха-ха!» и уж только потом, поопомнившись, она произнесла:

— Нет, он не делал этого!

— И вы уверены, что из-под него никогда не текло?

Тут пани Вибель опять не могла удержаться и опять: «Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!»

— А заметили ли вы,— острил расходившийся камер-юнкер,— как господин Зверев танцевал с вами вальс? Он все старался толочься на одном месте и все вас в грудь животом толкал.

Пани Вибель снова захохотала и полувозразила:

— Ах, это оттого, что он танцует вальс по-немецки, медленно, а нынче танцуют быстро! — и затем снова те же «ха-ха-ха».

Далее Аггей Никитич не в состоянии был подслушивать. Он, осторожно поднявшись с кресла, вышел из боскетной и нашел, наконец, залу, где, поспешно подойдя к инвалидному поручику и проговорив ему: «Мне нужно сказать вам два слова!»,— взял его под руку и повел в бильярдную, в которой на этот раз не было ни души.

— Сейчас этот...— начал Аггей Никитич с дрожащими губами и красный до багровости,— здешний камер-юнкер оскорбил честь полка, в котором я служил... Он одной знакомой мне даме говорил, что нас, карабинеров, никто в Москве не приглашает на балы, потому что мы обыкновенно подбираем там фрукты и рассовываем их по карманам своим.

Инвалидный поручик пришел в негодование.

— Возможно ли это,— воскликнул он,— когда карабинерные офицеры считаются лучшими в армии, почти те же гвардейцы?!

— Это совершенно справедливо,— подхватил Аггей Никитич (у него при этом на губах была уже беленькая пенка),— а потому я прошу вас, как честного офицера,

быть моим секундантом и передать от меня господину камер-юнкеру вызов на дуэль.

— К вашим услугам! —отвечал поручик, приподняв свои с желтой суконной рогожкой эполеты и с гордо-довольным выражением в лице: он хоть был не из умных, с какой-то совершенно круглой головой и с таковыми же круглыми ушами, но не из трусливых.

— Дуэль насмерть, понимаете? — продолжал Аггей Никитич.— Так что если он промахнется и я промахнусь, опять стреляться до тех пор, пока кто-нибудь из нас не будет убит или смертельно ранен!.. Понимаете?.. Или он, или я не должны существовать!

— Понимаю-с! — подхватил поручик.— Если вас он убьет, я его вызову! Не смей он оскорблять чести русских офицеров!

— Отлично! — одобрил Аггей Никитич.— Я сейчас уеду, и вот вам записка от меня к господину камер-юнкеру! — заключил он и, отыскав в кармане клочок бумаги, написал на нем карандашом дрожащим от бешенства почерком:

«Вам угодно было обозвать меня и всех других офицеров карабинерного полка, к числу которых я имел честь принадлежать, ворами фруктов на балах, и за это оскорбление я прошу вас назначить моему секунданту час, место и оружие».

Передав эту записку поручику, Аггей Никитич уехал. Приглашенный им секундант не замедлил исполнить возложенное на него поручение, и, тотчас же отыскав камер-юнкера, пригласил его сойти в бильярдную, и вручил ему послание Аггея Никитича, пробежав которое, петиметр нисколько не смутился.

— Все это очень прекрасно-с,— сказал он,— но у меня нет секунданта, и я, не зная здесь никого, не знаю, к кому обратиться; а потому не угодно ли вам будет приехать ко мне с этим вызовом в Москву, куда я вскоре уезжаю.

— Но нельзя же нам ездить за вами, куда вы прикажете! — заметил поручик, крайне удивленный словами камер-юнкера.

— Нельзя же и мне к вам выходить на барьер, когда вас двое, а я один! — возразил ему тот.

— Но все-таки ваш ответ я нахожу неудовлетворительным, и потому потрудитесь его написать вашей рукой! — потребовал поручик.

— Ах, сделайте милость, сколько вам угодно! — отвечал с обычным ему цинизмом камер-юнкер и на обороте записки Аггея Никитича написал сказанное им поручику.

Надобно сказать, что сей петиметр был довольно опытен в отвертываньи от дуэлей, на которые его несколько раз вызывали разные господа за то, что он то насплетничает что-нибудь, то сострит, если не особенно умно, то всегда очень оскорбительно, и ему всегда удавалось выходить сухим из воды: у одних он просил прощения, другим говорил, что презирает дуэли и считает их варварским обычаем, а на третьих, наконец, просто жаловался начальству и просил себе помощи от полиции.

В настоящем случае мы видели, как он уклонился от вызова Аггея Никитича, и, не ограничиваясь тем, когда все гости уехали из Синькова, он поспешил войти в спальню Екатерины Петровны, куда она ушла было.

— Я пришел к вам докончить тот разговор, который мы начали с вами поутру и в котором дошли до Рубикона,— сказал он.

— Опять прошу вас, перестаньте блистать вашей ученостью,—перебила его Екатерина Петровна,—и говорите, что вам угодно от меня!?

— Мне угодно, чтобы вы дали мне лошадей, которые довезли бы меня до почтового тракта.

— Хоть целый шестерик! — проговорила Екатерина Петровна и, опасаясь, что камер-юнкер, пожалуй, попросит у нее денег на дорогу, присовокупила, мотнув ему поспешно головой: — Через полчаса вам лошади будут готовы.

— Слушаю-с,— ответил на это камер-юнкер,— и на прощание желаю вам как можно скорее стяжать себе любовь великорослого исправника.

— А я вам желаю добиться любви какой-нибудь глупой замоскворецкой купчихи, которую вы могли бы обирать,— объяснила ему Екатерина Петровна.

— О, когда бы такое счастие снизошло на меня! — воскликнул камер-юнкер и отправился в свое отделение, чтобы собраться в дорогу.

Через какой-нибудь час он уже совсем уехал из Синькова, к великому удовольствию Екатерины Петровны, которая действительно начинала не на шутку мечтать об Аггее Никитиче.

IX

Аггей Никитич, возвратясь из Синькова, конечно, не спал и, прохаживаясь длинными шагами по своей зальце, поджидал, какого рода ответ привезет ему поручик. Тот, не заезжая даже домой, явился к нему часу во втором ночи. Узнав из записки, как взглянул господин камер-юнкер на вызов, Аггей Никитич пришел в несказанную ярость.

— Я завтра же поутру поеду к нему, мерзавцу, и дам ему при его любовнице пощечину! — кричал он на весь дом.

— Стоит того, стоит-с! — кричал и поручик вслед за ним.— Но только он спрячется от вас, убежит.

— Нет, не убежит!.. И что такое он говорит?.. Секунданта у него нет?.. Пусть возьмет вашего тестя!.. Тот не откажется...

— Никак не откажется! — поручился за ополченца поручик.— Старик еще храбрый, и очень даже. Но мне поэтому опять надо ехать с вами в Синьково?

— Непременно! — подхватил Аггей Никитич.

— Слушаю-с! — проговорил поручик покорным тоном.— Съезжу только к жене повидаться с нею.

— Повидайтесь и ко мне скорей, а там и в Синьково.

— Не замедлю-с! — сказал поручик и действительно не замедлил.

Разбудив жену, не ездившую по случаю своего положения к Екатерине Петровне, и рассказав ей, что произошло между камер-юнкером и Аггеем Никитичем, он объявил, что сей последний пригласил его быть секундантом на долженствующей последовать дуэли, а потому он чем свет отправляется в Синьково. Долговязая супруга его нисколько этого не испугалась, а, напротив, сама стала поощрять мужа хорошенько проучить этого штафирку за то, что он смел оскорбить всех офицеров: она, видно, была достойною дочерью храброго ополченца, дравшегося в двенадцатом году с французами. Покончив, таким образом, переговоры свои с супругою, поручик, почти не заснув нисколько, отправился, едва только забрезжилась зимняя заря, к Аггею Никитичу, и вскоре они уже ехали в Синьково, имея оба, кажется, одинаковое намерение в случае нового отказа камер-юнкера дать ему

по здоровой пощечине. В синьковском доме их встретил полусонный лакей, которому они сказали:

— Проведи нас к вашему господину камер-юнкеру!

— Он уехал-с! — ответил лакей.

Оба путника мои от удивления закинули головы свои назад и спросили:

— Куда?

— Надо полагать, что в Москву,— объяснил лакей.

— Я говорил, что он спрячется или удерет куда-нибудь! — подхватил поручик, очень опечаленный тем, что лишился возможности явиться в роли секунданта и тем показать обществу, что он не гарниза пузатая, как обыкновенно тогда называли инвалидных начальников, но такой же, как и прочие офицеры армии.

— Ну, это я еще посмотрю, как он спрячется от меня! — проговорил мрачным голосом Аггей Никитич и после того отнесся строго к лакею: — Если ты врешь, что камер-юнкер уехал в Москву, так это бесполезно: я перешарю всю усадьбу!

— Да помилуйте-с,—урезонивал его тот,—что же мне врать? Коли мне не верите, извольте спросить Катерину Петровну!

— Непременно спрошу!—проговорил столь же строго Аггей Никитич.—Доложи Катерине Петровне, что мы приехали!

— Они еще почивают-с,— объяснил лакей, начинавший уже немножко и трусить грозного исправника.

— Это ничего, мы подождем; пойдемте в залу! — распоряжался Аггей Никитич и, проведя своего товарища в залу, уселся там с ним.

Екатерина Петровна, впрочем, недолго заставила дожидаться себя. Сробевший, как мы видели, лакей пошел и рассказал о приезде нежданных гостей горничной Екатерины Петровны, а та, не утерпев, сказала о том барыне. Екатерина Петровна не спала перед тем почти всю ночь под влиянием двоякого рода чувствований—злобы против камер-юнкера и некоторых сладких чаяний касательно Аггея Никитича. Услыхав, что сей последний приехал к ней, и приехал не один, а с инвалидным поручиком, она, обрадовавшись и немного встревожившись, поспешно встала и начала одеваться; но когда горничная подала было ей обыкновенное домашнее платье, то Екатерина Петровна с досадой отшвырнула это платье и ве-

лела подать себе щеголеватый капот, очень изящный утренний чепчик и бархатные туфли,— словом, костюм, в который она наряжалась в Москве, принимая театрального жен-премьера, заезжавшего к ней обыкновенно перед репетицией. Закончив свой туалет тем, что подбелила себе лицо пудрой, она вышла в будуар, где усевшись, послала горничную пригласить к ней Аггея Никитича, а также и поручика. Те оба вошли в будуар с каким-то свирепым апломбом. Аггей Никитич, впрочем, извинившись в столь раннем визите, сказал, что он и его товарищ приехали не затем, чтобы беспокоить Екатерину Петровну, но что они имеют надобность видеть господина камер-юнкера.

— Ни имени, ни фамилии которого, вы извините меня, я не знаю! — произнес Аггей Никитич явно презрительным тоном и затем продолжал: — К сожалению, нам сказали, что он уехал, а потому мы просим вас подтвердить, правда ли это?

— Совершенная правда! — отвечала Екатерина Петровна.

— Значит, он бежал от нас? — воскликнул Аггей Никитич.

— От вас? — спросила Екатерина Петровна, начинавшая уже терять нить всяких соображений.

— От нас,— повторил Аггей Никитич,— потому что я ему через господина поручика послал вызов на дуэль.

— На дуэль?.. За что? — воскликнула Екатерина Петровна, как бы даже не поверившая словам Аггея Никитича.

— Он-с,— начал Аггей Никитич,— опозорил тот полк, в котором я служил, и сверх того оскорбил и меня.

— Скажите, какой негодяй! — проговорила, не удержавшись, Екатерина Петровна.— Но где же и когда это было? Я ничего не слыхала о том.

— Было это в этой самой комнате,— сказал Аггей Никитич неопределенно, не желая называть имени пани Вибель.

— И когда я,—вмешался в разговор поручик, заметно приосанившись,— передал господину камер-юнкеру вызов Аггея Никитича, то он мне отвечал, что уезжает в Москву и чтобы мы там его вызывали.

— Вот это прелестно, милей всего!—продолжала восклицать Екатерина Петровна, имевшая то свойство, что

когда она разрывала свои любовные связи, то обыкновенно утрачивала о предметах своей страсти всякое хоть сколько-нибудь доброе воспоминание и, кроме злобы, ничего не чувствовала в отношении их.

— Но мы, однако, его найдем и в Москве,— сказал Аггей Никитич,— если вы будете так добры, что сообщите нам, где живет господин камер-юнкер.

— С большим бы удовольствием это сделала, если бы только знала его адрес,— отвечала Екатерина Петровна,— которого, вероятно, он сам не знает, потому что последний год решительно пребывал где день, где ночь.

— Где день, где ночь! Хорош же мальчик! — произнес Аггей Никитич и мрачно склонил свою голову, а потом вдруг встал и начал раскланиваться с Екатериной Петровной.

— Вы хотите уехать? — спросила его та.

— Да, мне не совсем здоровится,— проговорил Аггей Никитич и вместе с тем мотнул головой своему товарищу, мечтательно созерцавшему дебелую фигуру Екатерины Петровны.

Надобно сказать, что поручик издавна любил дам полных и черноволосых и если женился на сухопарой и совершенно белобрысой дочке ополченца, то это чисто был брак по расчету.

— По крайней мере, вы напейтесь чаю у меня,— останавливала было своих гостей Екатерина Петровна.

— Нет-с, благодарим! — отказался Аггей Никитич и пошел, а за ним последовал и поручик, кинув только еще раз мечтательный взгляд на Екатерину Петровну, которая, наконец, заметила это.

Всю дорогу поручик старался выпытать у Аггея Никитича, что он дальше намерен предпринять; но тот отмалчивался, так как действительно чувствовал, что с ним происходит что-то неладное в смысле физическом и еще более того в нравственном; он уже ясно предчувствовал, что все это глупое и оскорбительное для него событие прекратит его поэтическое существование, которым он так искренно наслаждался последнее время, и что затем для него настанет суровая и мрачная пора. Возвратившись домой и расставшись с поручиком, Аггей Никитич лег в постель, а к вечеру захворал той же горячкой, которой был болен после похорон Людмилы Николаевны. О своей болезни Аггей Никитич не уведомил пани Вибель, а

также не послал и за доктором, желая, кажется, одного, чтобы как-нибудь поскорей умереть.

Пани Вибель, в свою очередь, тоже мучилась. Узнав еще в Синькове, что Аггей Никитич вдруг совершенно неожиданно уехал домой, она отчасти поняла, что причиной того было ее маленькое кокетство, которое она позволила себе с камер-юнкером. Несмотря на то, Марья Станиславовна все-таки весь следующий день, разумеется, ожидала, что Аггей Никитич придет к ней. Прошло, однако, все утро, весь полдень; наступил, наконец, вечер, когда к ней Аггей Никитич непременно уж являлся, но на этот раз он не шел. Пани Вибель не вытерпела долее и послала Танюшу узнать, что такое с Аггеем Никитичем и почему он к ней не идет. Та прямо пробралась в кабинет Аггея Никитича, где он лежал почти в забытьи. Разбудив его, она ему сказала, что Марья Станиславовна очень беспокоится, отчего Аггей Никитич не был у нее.

— Скажи, что я спал, потому что перед этим очень много и долго не спал,— ответил он что-то такое и снова погрузился как бы в забытье.

Танюше подумалось, что он пьян, о чем она, возвратясь к госпоже, и доложила той.

— Как пьян?.. Что за глупости ты говоришь? — проговорила пани и по темным суметным улицам уездного городка сама отправилась к Аггею Никитичу, которого застала в том же дремотном состоянии.

— Аггей Никитич, Аггей Никитич! — окликнула она его нетерпеливо.

Он сначала полуоткрыл глаза, но потом, кажется, догадавшись, кто его зовет, открыл уж их совсем, и когда узнал окончательно Марью Станиславовну, то к нему снова возвратилось полное сознание со всеми подробностями его ощущений и мыслей.

— Я не ожидал вас видеть,— проговорил он первоначально.

— Как и почему ты не ожидал меня видеть? — воскликнула, уже горячась, пани Вибель.

— Так, не ожидал!..— ответил Аггей Никитич.—Мы к людям, которых презираем, не ходим.

— Кто презирает, кого презирает? — говорила пани Вибель, начавшая, как и Танюша, думать, что Аггей Никитич в самом деле пьян.

— Презираете вы меня! — отчеканил он с ударением.

— Я?.. Тебя?.. Да что ты, бредишь, что ли, или выпил много? — горячилась Марья Станиславовна.

— Да, я выпил,— произнес, глубоко вздохнув, Аггей Никитич,— но только не вина, а отравы.

— Отравы он выпил!.. Если ты это шутишь, так глупо так шутить; изволь сейчас же вставать, оденься и не говори больше нелепостей!

— По-вашему, я говорю глупости и нелепости! — сказал Аггей Никитич грустно-ироническим тоном и не думая, по-видимому, подняться с постели.— Для меня это не новость; я знаю теперь, что вы давно считаете меня *смешным дураком.*

Пани Вибель при этом вспыхнула и, окончательно рассердившись, воскликнула:

— Да ты хоть кому покажешься дураком; выдумал что-то такое в своей фантазии и расписывает!.. Я его презираю,— скажите, пожалуйста!

Марью Станиславовну больше всего обидели слова Аггея Никитича, что она его презирает. «Так для чего же я с ним сошлась? — пробежало в ее маленькой голове.— Не из-за денег же его!.. Я для него разъехалась с мужем, надо мной вот тот же камер-юнкер и даже Рамзаев подсмеиваются за мою любовь к нему, а он ничего этого не понимает и за какой-то вздор еще капризничает!»

— Я очень хорошо догадываюсь, за что ты взбесился на меня: за то, что я немножко побольше поговорила с камер-юнкером.

Аггей Никитич при этом грустно и злобно усмехнулся.

— Нет, вы с ним говорили не много,— сказал он,— но вы очень много смеялись, когда он вас забавлял своими насмешками на мой счет.

Пани Вибель при этом уж нахмурилась и стремительно спросила:

— Но как же ты это знаешь?

— Я слышал ваш разговор в этой угольной комнате в Синькове.

— О, ты поэтому подслушивал! Как это благородно! Но в этом разговоре ничего особенного и не было; он болтал разный вздор, и я действительно рассмеялась... Что ж тут такого важного?

— Как? — почти рявкнул на это Аггей Никитич, быстро поднимаясь с дивана и сбрасывая с него свои длин-

ные ноги.— Это не важность, когда вам говорят, что я ворую апельсины на балах, раздавливаю их и из-под меня течет?

— Он это не про тебя говорил, а про других! — думала было немножко поувернуться пани Вибель.

— Нет-с, про меня! — кричал Аггей Никитич, дрожа всем корпусом от начинавшего его бить озноба.

— Но если и про тебя, опять это только глупо и смешно,— не больше.

— Нет, это не смешно! — возразил ей грозно Аггей Никитич.— И что бы, вы думаете, сделал я, когда бы мне кто-нибудь сказал, что вы урод, что вы глупая и развратная женщина? Это ведь тоже была бы нелепость! Что же бы я — стал над тем смеяться?

— И ты бы рассмеялся, если считаешь это неправдой.

— Ну, я не знаю, что тут считать правдой или неправдой, но я бы того человека вышвырнул в окно, будь даже это женщина!

— Не могла же я, как ты, вышвырнуть в окно камер-юнкера; к тому же окно и закрыто было,— заметила насмешливо пани Вибель.

— Где вам вышвыривать его в окно! Вы, напротив, упивались его пошлыми остротами на мой счет,— произнес Аггей Никитич и хлобыснулся снова на диван, так как лихорадочный припадок окончательно им овладел. Будь пани Вибель несколько поумней и похитрей, ей стоило только прекратить этот разговор и признаться Аггею Никитичу, что она действительно дурно поступила, то, может быть, все бы кончилось благополучно; но, во-первых, она нисколько не считала себя дурно поступившею, а, напротив, в намеках и колкостях Аггея Никитича видела совершенно несправедливое оскорбление ее; сверх того, по темпераменту своему она была очень вспыльчива, так что, когда Аггей Никитич произнес фразу, что пани Вибель упивалась болтовней камер-юнкера, она встала с кресла и с тем гордым видом польки, каковой обнаружила при первом знакомстве своем с откупщицей, произнесла:

— Вы, я вижу, порядочных женщин не умеете понимать, а потому я лучше уйду от вас, и приходите уж вы ко мне раскаяться, когда опомнитесь от вашего глупого гнева!

— Мне же раскаяться? Нет! — воскликнул Аггей Ни-

китич.— «Довольно мне пред гордою полячкой унижаться!» — продекламировал он, переврав немного, из «Сцены у фонтана».

— Но гордая полячка тоже перед вами не унизится! — воскликнула, с своей стороны, пани Вибель и ушла.

Аггея Никитича долго еще бил потом лихорадочный озноб; затем с ним начался жар, и он впал в беспамятство. Заехавший к нему поручик, чтобы узнать, что он предпримет касательно дуэли, увидев Аггея Никитича в совершенно бессознательном положении, поскакал позвать доктора; но тот был в отъезде, почему поручик бросился к аптекарю и, застав того еще не спавшим, объяснил ему, что доктора нет в городе, а между тем исправник их, господин Зверев, находится в отчаянном положении, и потому он просит господина аптекаря посетить больного. Поручик в эти минуты совершенно забыл, в каких отношениях находился Аггей Никитич с аптекарем; но сей последний, получив такое приглашение, первоначально впал в некоторое размышление и в довольно сильную борьбу с самим собою, но в конце концов гуманный масон восторжествовал в нем над оскорбленным мужем.

— Извольте, я с вами поеду, хоть я не доктор! — проговорил он.

В сущности же он был гораздо более искусный доктор, чем городовой врач из семинаристов, умевший только напиваться и брать взятки на рекрутских наборах.

Входя в дом Аггея Никитича, почтенный аптекарь не совсем покойным взором осматривал комнаты; он, кажется, боялся встретить тут жену свою; но, впрочем, увидев больного действительно в опасном положении, он забыл все и исключительно предался заботам врача; обложив в нескольких местах громадную фигуру Аггея Никитича горчичниками, он съездил в аптеку, привез оттуда нужные лекарства и, таким образом, просидел вместе с поручиком у больного до самого утра, когда тот начал несколько посвободнее дышать и, по-видимому, заснул довольно спокойным сном. Уехав затем с поручиком, он сказал, что в двенадцать часов снова будет у больного, вследствие чего поручик тоже еще с раннего утра явился к Аггею Никитичу, который уже проснулся, и прямо, не подумав, бухнул ему, что он привозил к нему

не доктора, а аптекаря. Аггея Никитича при этом передернуло всего.

— И он поехал с вами?

— Поехал и потом еще сам ездил в аптеку свою за лекарствами для вас.

Аггей Никитич понял суть дела, и поступок гуманного масона так поразил его, что у него слезы выступили на глазах, что повторилось еще в большей степени, когда гуманный масон в двенадцать часов приехал к нему. Аггею Никитичу было стыдно и совестно против старика, но вместе с тем в нем возродилось сильное желание снова приступить к масонскому образованию себя.

В маленьком городке между тем все стали толковать о случившемся в Синькове и о последствиях того. Первый поручик стал встречному и поперечному рассказывать, что Аггей Никитич через посредство его вызывал камер-юнкера на дуэль за то, что тот оскорбил честь карабинерных офицеров; откупщик же в этом случае не соглашался с ним и утверждал, что Аггей Никитич сделал это из ревности, так как пани Вибель позволила себе в Синькове обращаться с камер-юнкером до такой степени вольно, что можно было подумать все. Наконец, поручик разгласил о том, что Аггей Никитич лежит в горячке и что его лечит не доктор, а аптекарь — его злейший бы, кажется, враг. Все это дошло, конечно, до Екатерины Петровны, которая, узнав о болезни Аггея Никитича, встревожилась до такой степени, что, забыв строгость уездных приличий, вдруг приехала навестить его и хотя не была им принята, но через три дня снова посетила Аггея Никитича, причем горничная Агаша, по приказанию барина, объявила ей, что Аггей Никитич никого из дам не принимает и принимать не будет, каковой ответ крайне обидел и огорчил Екатерину Петровну. Немало также ставило в тупик и откупщицу все, что она слышала об Аггее Никитиче и пани Вибель, тем более, что она не вполне верила, чтобы у той было что-нибудь серьезное с Аггеем Никитичем, и простодушно полагала, что Марья Станиславовна, как объяснила та ей, ехав с нею в возке в Синьково, разошлась с мужем по нестерпимости характера его. Вместе с тем откупщицу удивляла Миропа Дмитриевна, которая, сколько уже времени уехав из их города, строчки не написала ей, что казалось Анне Прохоровне просто неблагодарностью со сто-

роны Миропы Дмитриевны. Чтобы хоть сколько-нибудь разгадать всю эту путаницу, откупщица вознамерилась съездить к бедной пани Вибель, которую решительно считала жертвою всякого рода глупых сплетен. Она застала Марью Станиславовну на себя непохожею и, как бы не зная ничего, спросила ее:

— Что такое с вами? Вас нигде не видать! Вы или больны или огорчены чем-нибудь?

— Нет,— отвечала было сначала пани Вибель, но ее выдали навернувшиеся на глазах слезы.

— Однако, я вижу, вы плачете, моя милая! — продолжала откупщица голосом, полным участия.

Пани Вибель молчала.

— Может быть, вас беспокоят какие-нибудь новые неприятности с мужем? — присовокупила откупщица.

— Нисколько, и разве он смеет делать мне неприятности! — возразила уже с высокомерием пани Вибель.

— Ну, так что же? — приставала к ней откупщица.— Тут, я вам говорю, идут по городу такие россказни!..

— Какие? — спросила стремительно и с беспокойством пани Вибель.

— Говорят, что из-за вас, что ли, или за что другое произошла дуэль у Аггея Никитича с камер-юнкером.

— Это вздор! Никакой дуэли у них не было,— отвергнула пани Вибель.

— Не было, потому что этот камер-юнкеришка струсил и бежал в Москву.

— Он бежал в Москву? — переспросила пани Вибель.

— Да,— подтвердила откупщица.— Ну, а это вы, конечно, знаете, что Аггей Никитич теперь опасно болен?

— Знаю, что болен, но вовсе не опасно.

— Как же этот дурачок — инвалидный поручик — у нас в доме рассказывал, что Аггей Никитич будто бы все время лежит в беспамятстве, что его лечит ваш муж и бывает у него по нескольку раз в день?

— Мой муж?.. Ха-ха-ха...— засмеялась пани Вибель; она решительно не поверила тому, что слышала, и сказала откупщице: — Этого уж никак не может быть!

— Не знаю, но говорят, что лечит,— повторила та; ей, конечно, хотелось бы разузнать еще многое от пани Вибель, но она не решалась, видя, что Марья Станиславовна была очень расстроена, особенно после того, как

откупщица сказала ей, что Аггея Никитича лечит аптекарь, а потому она, нежнейшим образом распростившись с пани Вибель, умоляла ее не скучать и приезжать к ней в дом для развлечения, в какое только угодно время, а главное, быть откровенной с ней и не скрывать ничего.

— О да, разумеется! — говорила ей в ответ Марья Станиславовна, и, когда откупщица от нее убралась, она немедля же позвала к себе свою наперсницу Танюшу и почти крикнула ей: — Ты знаешь: Аггея Никитича, который, говорят, будто бы там чем-то болен, лечит мой муж?!

— Нет, как это возможно! — усомнилась та.

— Возможно, говорят; поди сейчас же к прислуге Аггея Никитича! Мне теперь, значит, и появиться к нему нельзя, потому что я могу встретиться с мужем. Поди узнай, правда ли это!

Танюша, обеспокоенная такой новостью почти не менее госпожи своей, очень проворно сбегала и донесла, что Аггея Никитича в самом деле лечит Генрих Федорыч и что даже теперь сидит у него и читает ему какую-то книгу.

Аптекарь действительно, услыхав от Аггея Никитича желание снова предаться изучению масонства, принялся, не обращаясь особенно к медицинским пособиям, врачевать своего больного масонскими поучениями.

Это событие, подтвержденное Танюшей, не столько огорчило пани Вибель, сколько взбесило ее.

«О, вот что вы изволите проделывать, господин Зверев! Значит, вам было дорого масонство, но не я, и меня вы только взяли на минутное развлечение; а что главным образом вам хочется быть таким же дураком, как и супруг мой!.. Ну, хорошо, наслаждайтесь этим!» — решила мысленно пани Вибель и, одевшись в одно из самых изящных платьев своих, поехала к откупщице; конечно, она сделала не ради криворожей госпожи Рамзаевой, а для ее супруга, которому пани Вибель задумала свертеть голову. Откупщицу она нашла до такой степени страдающей от своего флюса, что та почти ничего не понимала и не видела, что вокруг нее происходит, чем воспользовавшись, пани Вибель все время разговаривала с m-r Рамзаевым, кидая при этом на него довольно знаменательные и вызывающие взгляды!

X

Все люди, как известно, старея́сь, делаются более и более рабами своих главных прирожденных инстинктов. Прирожденный же Миропе Дмитриевне инстинкт состоял в жажде приобретения имущественных благ (автор подозревает, что Миропа Дмитриевна, по своему отдаленному происхождению, вряд ли была не из жидовок). С самых молодых лет она думала, что жить и не наживаться — это прозябание, а не жизнь. В силу такого мнения Миропа Дмитриевна по выходе замуж за Зудченко, а также бывши вдовою, каждый год что-нибудь приобретала, и только сделавшись женою безалаберного Зверева, Миропа Дмитриевна как бы утратила эту способность и стала даже почти проживаться, так как, в чаянии больших выгод от почтамтской службы мужа, она много истратилась на переезд из Москвы в губернию, а в результате этой службы, как мы знаем, получила шиш. Затем новый переезд из губернского города в уездный тоже повлек расход. Наконец это скрытное вытягивание денег от Рамзаева, отказ того взять ее в часть по откупу до того утомили и истерзали практическую душу Миропы Дмитриевны, что она после долгих бессонных ночей и обдумываний составила себе твердый план расстаться с своим супругом, в котором ничего не находила лестного и приятного для себя. Ради этой цели она объявила Аггею Никитичу, что поедет в Малороссию продать там свое заглазное именье, откуда переправится в Москву, чтобы и там тоже продать свой домишко на Гороховом поле, начинавший приходить в окончательную ветхость. Аггей Никитич втайне исполнился восторгом от такого намерения Миропы Дмитриевны, но не показал ей того. Таким образом, супруги по наружности расстались довольно мирно, но, тем не менее, переписываться между собой они почти не переписывались, и тем временем, как Аггей Никитич куролесил с пани Вибель и с камер-юнкером, Миропа Дмитриевна окончила с успехом свои продажи и, поселившись окончательно в Москве, вознамерилась заняться ростовщичеством, в коем она еще прежде практиковалась, ссужая карабинерных офицеров небольшими суммами за большие проценты. В настоящее время она предполагала развить это дело на более серьезную и широкую руку, и сначала оно у нее пошло очень

недурно: во-первых, Миропа Дмитриевна недополучила с лица, купившего у нее дом, двух тысяч рублей и оставила ему эту сумму за двадцать процентов в год под закладную на самый дом, и невдолге после того ей открылась весьма крупная и выгодная операция, которой предшествовала маленькая сцена в кофейной Печкина, каковую мне необходимо для ясности рассказа описать.

В один из вечеров в бильярдной кофейной сидели актер Максинька и камер-юнкер; оба они, видимо, заняты были весьма серьезным разговором.

— Вы говорите, что это одна дама отдает деньги под проценты? — спрашивал камер-юнкер.

— Дама; вот тут в кофейной офицер сказывал об этом палатскому надсмотрщику, которого теперь выгнали из службы, и он все нюхает, где бы ему занять,— объяснил важным тоном Максинька.

— А фамилию и адрес этой дамы вы знаете? — продолжал расспрашивать камер-юнкер.

— Знаю и думаю тоже направить к ней лыжи; говорят, она дама очень обходительная.

— Отправимтесь вместе; может быть, заведем с ней очень приятное знакомство.

— Еще бы не приятное! — подхватил Максинька и захохотал.

Условившись таким образом, они на другой же день поехали в нанятой для большего шика камер-юнкером коляске к даме, дающей деньги под проценты, причем оказалось, что Максинька знал только, что эта дама живет на Гороховом поле в доме, бывшем госпожи Зудченко; но для сметливого камер-юнкера этого было достаточно. Приехав на Гороховое поле, он очень скоро отыскал бывший дом госпожи Зудченко и в нем обрел нужную ему даму в особе Миропы Дмитриевны. Камер-юнкер сначала не взял с собою Максиньки, а велел ему остаться в экипаже. Максинька беспрекословно покорился такому приказанию и очень был доволен тем, что сидит в коляске и что все проходящие взглядывают на него с некоторой аттенцией.

Войдя в квартиру Миропы Дмитриевны, камер-юнкер велел доложить о себе с подробным изложением всего своего титула, который, однако, вовсе не удивил и не поразил Миропу Дмитриевну, так как она заранее ожи-

дала, что ее будут посещать разные важные господа; камер-юнкер начал разговор свой с нею извинениями.

— Pardon, madame, что я, не будучи вам знаком, позволяю себе беспокоить вас! — произнес он.

— Это ничего! — отвечала Миропа Дмитриевна с заметной важностью и вместе с тем благосклонно.

— Я слышал,— продолжал камер-юнкер,— что вы по доброте вашей ссужаете деньгами людей, которые желают занять их.

— Да, это правда,— не отвергнула Миропа Дмитриевна,— но прежде всего мне желательно вам сказать, что я хоть и женщина, но привыкла делать эти дела аккуратно и осмотрительно, а потому даю деньги под крепостные заемные письма, проценты обыкновенно беру вперед и, в случае неуплаты в срок капитала, немедленно подаю ко взысканию, и тут уж мой должник меня не упросит никакими отговорками и извинениями!

— Вы отлично делаете,— похвалил ее камер-юнкер,— и это показывает только, что вы умная женщина; но как велик ваш процент?

— Двадцать пять копеек с рубля в год! — объявила Миропа Дмитриевна.

— Процент почти обыкновенный,— отозвался камер-юнкер, слегка, впрочем, пожав плечами,— и я согласен платить такой.

— Позвольте-с, это еще не все,— остановила его Миропа Дмитриевна.— Я всегда требую, чтобы был поручитель.

Последнее условие, по-видимому, сильно смутило камер-юнкера.

— Вы поручителя желаете? — переспросил он.

— Да,— отвечала Миропа Дмитриевна.

Камер-юнкер некоторое время как бы придумывал.

— Конечно,— начал он.— Я мог бы найти поручителя, но тут вот какое обстоятельство замешалось: заем этот я делаю, собственно, для женитьбы на очень богатой невесте, и просить кого-нибудь в поручители из нашего круга — значит непременно огласить, что я делаю свадьбу на заемные деньги; но это может обеспокоить невесту и родителей ее, а потому понимаете?..

— Понимаю, только у меня правило не давать без поручительства никому,— произнесла совершенно бесстрастным голосом Миропа Дмитриевна.

— Правило ужасное! — сказал окончательно растерявшийся камер-юнкер.— Впрочем, что ж я, и забыл совсем; я сейчас же могу вам представить поручителя! — воскликнул он, как бы мгновенно оживившись, после чего, побежав на улицу к Максиньке, рассказал ему все, и сей благородный друг ни минуты не поколебался сам предложить себя в поручители. Пожав ему руку с чувством благодарности, камер-юнкер ввел его к Миропе Дмитриевне.

— Это один из наших даровитейших артистов, и он готов быть моим поручителем,— объяснил он той.

— Но какую вам сумму угодно занять у меня? — спросила Миропа Дмитриевна камер-юнкера.

— Пятнадцать тысяч! — хватил он.

Миропа Дмитриевна почти испугалась, услыхав такую громадную сумму.

— Это сумма очень большая! — проговорила она.

— Но чем больше она, тем выгоднее для вас, потому что я буду платить вам двадцать пять процентов,— убеждал ее камер-юнкер.

— Ведь это вы, madame Зудченко, в один год наживете три тысячи семьсот пятьдесят рублей; это жалованье Павла Степаныча Мочалова,— убеждал ее, с своей стороны, Максинька.

— Я не знаю, сколько там ваш Павел Степаныч получает,— ответила ему только что не с презрением Миропа Дмитриевна,— но тут кто же мне поручится, что господин камер-юнкер не умрет?

— Я ручаюсь; а если он умрет, так я заплачу за него или отец его! — возразил ей Максинька.

— Отец за меня заплатит! — подхватил камер-юнкер, хоть у него никакого отца не было.

— Отцы редко платят! — не согласилась с ним Миропа Дмитриевна.— Но даже если бы я и знала вашего отца, все-таки такую сумму не могу иначе доверить, как под заклад чего-нибудь движимого или недвижимого.

Максинька и камер-юнкер переглянулись между собой.

— Но какую же сумму,— спросил последний,— вы решились бы дать мне под заемное письмо?

Миропа Дмитриевна впала в нерешительность: назначить маленькую сумму было невыгодно, а большую — опасно, и потому, прежде чем объявить определенный

ответ, она хотела еще кое-что разузнать и без всякой церемонии спросила камер-юнкера:

— Вы настоящий камер-юнкер или вымышленный?

— Настоящий! — ответил ей тот, вовсе, кажется, не обидевшись таким вопросом.

— Но как же я могу удостовериться в том? — допытывалась Миропа Дмитриевна.

— Спросите в месте моего служения! — объяснил камер-юнкер и подал ей свою карточку, в которой значилось место его служения.

— Да, это мне необходимо сделать, а то, вы знаете, занимая деньги, часто называют себя генералами, сенаторами и камергерами.

— Знаю это я,— воскликнул камер-юнкер,— и даже сам прошу вас справиться и убедиться, что я не лжецаревич!

— Хотя называться лжецаревичем очень опасно! — заметила ему Миропа Дмитриевна.

— Вероятно! — согласился камер-юнкер.

— Очень опасно,— повторила Миропа Дмитриевна,— потому что тогда вас по моему иску посадят не в долговое, а в тюрьму!

— Ну, меня не посадят ни в долговое, ни в тюрьму! — отвечал на это камер-юнкер и засмеялся.

Засмеялся также и Максинька и подтвердил:

— В тюрьму его не посадят.

— Я тоже не думаю того,—согласилась Миропа Дмитриевна.

— Итак,— заключил камер-юнкер,— когда же мне можно явиться к вам за деньгами?

— Послезавтра; завтра я соображу, а послезавтра вы приезжайте ко мне, и мы отправимся в гражданскую палату.

— Но все-таки я не знаю, велика ли будет сумма, которою вы одолжите меня? — хотел было добиться от нее камер-юнкер.

— И это я могу вам сказать не раньше как послезавтра.

— Ну-с, буду ждать этого блаженного послезавтра!— проговорил камер-юнкер и, поцеловав у Миропы Дмитриевны ручку, отправился с своим другом в кофейную, где в изъявление своей благодарности угостил своего поручителя отличным завтраком, каковой Максинька съел

с аппетитом голодного волка. Миропа же Дмитриевна как сказала, так и сделала: в то же утро она отправилась в место служения камер-юнкера, где ей подтвердили, что он действительно тут служит и что даже представлен в камергеры.

— А состояние у него есть или нет? — захотела узнать затем Миропа Дмитриевна.

— О состоянии вы можете справиться в первом отделении,— объяснили ей, указав на следующую комнату.

Миропа Дмитриевна перешла в первое отделение и там собственными глазами прочла в формулярном списке камер-юнкера, что за ним числится триста душ, которые у него действительно когда-то были, но он их давным-давно продал и только не находил нужным делать о том отметку в своем формуляре.

Успокоенная сими точными сведениями, Миропа Дмитриевна решилась поверить камер-юнкеру десять тысяч, о чем и объявила ему, когда он приехал к ней вместе с Максинькой. Решением сим камер-юнкер и Максинька были обрадованы несказанно, так как они никак не ожидали выцарапать у Миропы Дмитриевны столь крупную цифру. В гражданской палате, когда стали писать заемное письмо, то Миропа Дмитриевна должна была назвать свою фамилию, услыхав которую камер-юнкер точно как бы встрепенулся.

— А не родственница ли вы одному исправнику, Звереву, с которым я познакомился в уездном городе? — спросил он.

Миропа Дмитриевна по совершенно непонятному предчувствию не захотела себя назвать женою этого исправника и сказала только:

— Нет, это однофамилец мой! Его, кажется, зовут Аггей Никитич?

— Кажется, так; помню только, что у него какое-то дурацкое имя,— говорил камер-юнкер,— а между тем он в этом городишке разыгрывает роль какого-то льва... Пленил жену аптекаря, увез ее от мужа и живет с ней...

При этом известии Миропа Дмитриевна не совладела с собой и вся вспыхнула.

— Вы говорите, он живет с аптекаршей? — спросила она.

— Живет и почти явно это делает; сверх того, чудит еще черт знает что: ревнует ее ко всем, вызывает на

дуэль...— говорил камер-юнкер; но так как в это время было окончательно изготовлено заемное письмо и его следовало вручить Миропе Дмитриевне, а она, с своей стороны, должна была отсчитать десять тысяч камер-юнкеру, то обряд этот прекратил разговор об Аггее Никитиче.

Для Миропы Дмитриевны, впрочем, было совершенно достаточно того, что она услыхала. Возвратясь домой с физиономией фурии, Миропа Дмитриевна, не откладывая времени, написала своему супругу хорошенькое письмецо, в коем изъяснила:

«Я всегда считала тебя олухом с тех пор, как с глаз моих спала повязка, по выходе моем за тебя замуж... (Тут бы, собственно, Миропе Дмитриевне следовало сказать: с тех пор, как ты не захотел на службе брать взятки.) Но теперь я вижу, что, кроме того, ты человек самой низкой души, ты обманщик, притворщик и развратник. Как ты смел позволить себе через какие-нибудь два-три дома от нас завести себе любовницу—эту потаскушку-аптекаршу? Неужели ты думал, что я никогда этого не узнаю, или когда узнаю, то позволю тебе это делать? Из каких благополучий, интересно знать? Что̀ ты — прелестным браком твоим со мной наградил меня титулами, чинами, почестями, богатством? Кажется, этого нет, а только унизил меня: из полковницы я сделалась майоршей и проживала на тебя деньги мои. Всякая дура, баба деревенская не станет этого терпеть, и потому я не хочу с тобой больше жить. Черт с тобой; не смей писать мне, ни являться ко мне, чему ты, конечно, будешь очень рад, находясь, вероятно, целые дни в объятиях твоей мерзавки!

Остаюсь ненавидящая и презирающая тебя Миропа Зудченко».

Аггей Никитич пред тем, как получить ему такое грозное послание, продолжал снова все более и более входить в интерес масонства, которое с прежним увлечением преподавал ему почти каждый вечер почтенный аптекарь, и вот в один из таковых вечеров Вибель читал своему неофиту рукописную тетрадку, предуведомив его, что это — извлечение из сборника, принадлежавшего некоему ученому последователю Новикова.

— Мнения о высших целях нашего ордена,— возглашал Вибель, закрывая немного глаза,— столь разнообразны, что описать оные во всех их оттенках так же трудно,

как многоразличную зелень полей, лугов и лесов, когда летний ветер навевает на них тени облаков. Некоторые думают, что цели сии состоят в том, чтобы делать людей более добродетельными посредством ожиданий, напрягающих и возвышающих нашу душу, посредством братской помощи и общественной радости и, таким образом, мало-помалу соединить людей достойных в всеобщий союз, который не только бы укреплял каждого особенно, но служил бы и к тому, чтобы соединенными силами увлекать даже тех, кои без энтузиастических видов не взяли бы в том участия.

На этих словах Вибель приостановился и, проговорив наскоро от себя: — С этим мнением я более чем с каким-нибудь согласен! — продолжал дальше читать:

— Другие думают, что сие, конечно, составляет одну из целей, при которой большая часть братий остается, да сия ж внутренняя работа есть и необходимое средство к получению *бóльшего*. Но что же сие *бóльшее?* Оно есть испытание натуры вещей и чрез то приобретение себе силы и власти к моральному исправлению людей, власти к познанию обновления нашего тела, к превращению металлов и к проявлению невидимого божественного царства. Некоторые думают, что сие есть, конечно, то богатство, которое приходит к нам с премудростью, но что цель есть, собственно, сама премудрость, соединенная с божеством. Иные почитают такую цель за мечту и невозможность и думают, что распространение человеколюбия, нравственности и общественности, радостное, мудрое наслаждение жизнью и спокойное ожидание смерти есть истинная и удобная для достижения цель. Мораль и религия стараются сие произвести средствами важными, а орден наш — под завесом удовольственных занятий. Вообще мнение братьев различествует в том, что одни почитают сию цель *преданьем уже приобретенной мудрости,* сообщенной даром провидения высшим главам ордена, для принятия коего, конечно, надлежит им работать. Другие же принимают цель ордена за *несовершившееся еще намерение,* но к совершению коего ведет работа по предписанию ордена, и которая может быть, весьма редко здесь на земле и познается; но когда настанет время зрелости, она явится и до какой степени воссияет — определить нельзя, да и не нужно. Самое блистательнейшее не кажется невозможным! Довольно, что все вообще при-

знают целью приближение человека к некоторому образу совершенства, не говоря, есть ли то состояние первозданной славы и невинности, или преобразование по Христу, или тысячелетнее царствие, или глубоко-добродетельная, радостная мудрость, в сем ли мире то совершится, или по ту сторону гроба, но токмо каждый стремится к совершенству, как умеет, по любезнейшему образу своего воображения, и *мудрейший не смеется ни над одним из них, хоть иногда и все заставляют его улыбаться,* ибо в мозгу человеческом ко всякому нечто примешивалось.

Из всего этого чтения аптекаря Аггей Никитич уразумел, что цель каждого человека — совершенствоваться и вследствие того делаться счастливым. «Но совершенствуюсь ли я хоть сколько-нибудь? — задал он себе вопрос.— Казалось бы, что так: тело мое, за которое укорял меня Егор Егорыч, изнурено болезнью и горями; страстей теперь я не имею никаких; злобы тоже ни против кого не питаю; но чувствую ли я хоть маленькое счастие в чем-нибудь? Нет, нет и нет! — ответил себе троекратно Аггей Никитич.— А между тем хоть масоны, может быть, эту земную любовь считают грехом, но должно сознаться, что я был только совершенно счастлив, когда наслаждался полной любовью пани Вибель; вот бы тут надо спросить господ масонов, как бы они объяснили мне это?»

При такого рода размышлениях Аггею Никитичу подали письмо Миропы Дмитриевны, прочитав которое он прежде всего выразил в лице своем презрение, а потом разорвал письмо на мелкие клочки и бросил их на пол. Старик Вибель заметил это и, как человек деликатный, не спросил, разумеется, Аггея Никитича, что такое его встревожило, а прервал лишь свое чтение и сказал:

— Если вам что-либо показалось неясным, то послезавтра, будучи у вас, я все вам разъясню.

Аггей Никитич крепким пожатием поблагодарил его за такое намерение, и когда Вибель ушел от него, то в голове моего безумного романтика появилась целая вереница новых мыслей, выводов и желаний. «Итак, я стал свободен,— думал он,— но зачем же мне эта свобода? При других обстоятельствах я всю бы жизнь, конечно, отдал пани Вибель, но теперь...» О, как проклинал себя Аггей Никитич за свою глупую историю в Синькове с камер-юнкером, за свою непристойную выходку против пани Вибель, даже за свое возобновление знакомства с доб-

рейшим аптекарем, и в голове его возникло намерение опять сойтись с пани Вибель, сказать ей, что он свободен, и умолять ее, чтобы она ему все простила, а затем, не рассуждая больше ни о чем, Аггей Никитич не далее как через день отправился на квартиру пани Вибель, но, к ужасу своему, еще подходя, он увидел, что ставни квартиры пани Вибель были затворены. Аггей Никитич порывисто отмахнул калитку у ворот и вошел на двор домика, на котором увидел сидевшую на прилавке просвирню и кормившую кашей сбегавшихся к ней со всех сторон крошечных куриных цыплят.

— А Марья Станиславовна где? — спросил он ее.

— Она еще в прошлом месяце уехала с нашим откупщиком в их именье и будет гостить у них все лето.

— Квартиру же эту она за собой оставила?

— Ничего не сказала, и я вот не знаю, отдавать ли ее или нет.

— Да вы бы написали Марье Станиславовне,— посоветовал Аггей Никитич немного дрожащим голосом.

— Писала уж, но она не отвечает, и я хотела было к вам идти, попросить вас: не напишете ли вы ей; тогда тоже вы вместе с ней нанимали квартиру.

— Я не могу ей писать, я больше не в переписке с Марьей Станиславовной,— объяснил Аггей Никитич, покраснев.

— Слышали мы это! — произнесла просвирня печальным тоном.— Ветреная женщина, больше ничего! Уезжая, всем говорила, что ее приглашает Анна Прохоровна, а прислуга откупщицкая смеется и рассказывает, что ее увез с собой сам откупщик; ну, а он тоже — всем известно, какой насчет этого скверный!

Аггей Никитич, еще более покраснев, прекратил разговор с глупой просвирней и пошел домой, унося в душе новые подозрения насчет пани Вибель. «Уехать гостить, и к кому же? К человеку, которого она сама называла дураком!.. Впрочем, что же! Она и меня, вероятно, считала дураком, однако это не помешало ей ответить на мою любовь... Очень уж она охотница большая до любви!» — заключил Аггей Никитич в мыслях своих с совершенно не свойственной ему ядовитостью и вместе с тем касательно самого себя дошел до отчаянного убеждения, что для него все теперь в жизни погибло, о чем решился сказать аптекарю, который аккуратнейшим образом пришел

к нему в назначенное время и, заметив, что Аггей Никитич был с каким-то перекошенным, печальным и почти зеленым лицом, спросил его:

— Вы опять себя дурно чувствуете?

— Нет,— ответил Аггей Никитич,— я много думал о самом себе и о своем положении и решился идти в монастырь.

Немец при этом широко раскрыл глаза свои.

— В какой? — сказал он.

— Я пойду там в какой-нибудь,— проговорил мрачно Аггей Никитич.

— Но зачем же именно в монастырь? — заметил Вибель.

— Для успокоения души моей! — объяснил Аггей Никитич.

Что-то вроде усмешки появилось на губах Вибеля.

— Монастырь, как я думаю, есть смущение души, а не успокоение,— определил он.

— Но куда ж мне, наконец, бежать от самого себя? — воскликнул Аггей Никитич с ожесточением.— Служить я тут не могу и жить в здешнем городе тоже; куда ж уйду и где спрячусь?

— Спрячьтесь в масонство и продолжайте идти по этому пути! — посоветовал ему Вибель.

— Этим путем я неспособен идти!.. Если бы для масонства нужно было выйти в бранное поле, я бы вышел первый и показал бы себя, а что иное я могу делать?

Вибель потер себе лоб рукою.

— Вот что пришло мне в голову! — начал он.— Если бы вы дополнили несколько ваше масонское воспитание.

— Для чего? — спросил сурово Аггей Никитич.

— Для того,— продолжал Вибель неторопливо,— что, как известно мне от достоверных людей, в Петербурге предполагается правительством составить миссию для распространения православия между иноверцами, и у меня есть связь с лицом, от которого зависит назначение в эту комиссию. Хотите, я готов вас рекомендовать в оную.

— Но как же я стану распространять православие, когда сам его не знаю? — возразил Аггей Никитич.

Тут лицо Вибеля сделалось строгим и повелительным.

— Вы не православие должны распространять, а масонство! — проговорил он.

Точно бы светлый луч какой осветил лицо Аггея Никитича.

— Нет сомнения, что я готов; но не знаю, совладею ли с этим,— произнес он.

— Отчего ж вам не совладеть? — возразил Вибель.— Если даже вы совершенно неопытны в деле миссионерства, то мы станем снабжать вас в наших письмах советами, сообразно тому, как вы будете описывать нам вашу деятельность, а равно и то, что вам представится посреди иноверцев.

— Буду все описывать-с и исполнять все ваши приказания! — проговорил Аггей Никитич, действительно готовый все исполнять, лишь бы ему спастись от службы и, главное, от житья в уездном городке, где некогда он был столь блажен и где теперь столь несчастлив.

— Не позволите ли вы мне написать о вашем предложении Егору Егорычу Марфину и доктору Сверстову — мужу gnädige Frau? — спросил он.

— Непременно напишите! — разрешил ему аптекарь.

Аггей Никитич, исполнившись надежды, что для него не все еще погибло, немедля же по уходе аптекаря написал письма к Егору Егорычу и Сверстову, сущность которых состояла в том, что он передавал им о своем намерении поступить в миссионеры аки бы для распространения православия, но в самом деле для внушения иноверцам масонства. Последние слова Аггей Никитич в обоих письмах подчеркнул. Ответ от Сверстова он очень скоро получил, в коем тот писал ему: «Гряди, и я бы сам пошел за тобой, но начинаю уж хворать и на прощанье хочу побранить тебя за то, что ты, по слухам, сильно сбрендил в деле Тулузова, который, говорят, теперь совершенно оправдан, и это останется грехом на твоей душе». Аггей Никитич очень хорошо понимал, что это был грех его, и ожидал от Егора Егорыча еще более сильного выговора, но тот ему почему-то ничего не отвечал.

XI

На Тверском бульваре к большому дому, заключавшему в себе несколько средней величины квартир, имевших на петербургский манер общую лестницу и даже швейцара при оной, или, точнее сказать, отставного унтер-офицера, раз подошел господин весьма неприглядной наружно-

сти, одетый дурно, с лицом опухшим. Отворив входную дверь сказанного дома, он проговорил охриплым голосом унтер-офицеру:

— Здесь господа Лябьевы живут?

— Здесь,— отвечал тот не очень доброхотно.

— Ты можешь им доложить обо мне? — спросил прибывший.

— Кто же вы такой? — спросил, в свою очередь, унтер-офицер.

— Я Янгуржеев, приятель господина Лябьева; поди доложи! — как бы уже приказал прибывший.

Унтер-офицер, впрочем, прежде чем пойти докладывать, посмотрел на вешалку, стоявшую в сенях, и, убедившись, что на ней ничего не висело, ушел и довольно долго не возвращался назад, а когда показался на лестнице, то еще с верхней ступеньки ее крикнул Янгуржееву окончательно неприветливым голосом:

— Их дома нет, болен Лябьев, не принимает.

— Как болен и дома нет? — спросил было Янгуржеев.

— Так, не велено вас принимать, вот и все! — объяснил солдат, сойдя с лестницы, и потом, отворив входную дверь, указал движением руки господину Янгуржееву убираться, откуда пришел.

— Отдай по крайней мере Лябьеву письмо от меня! — снова полуприказал тот, подавая письмо, каковое солдат медлил принять от него.

— Да о чем вы пишете им? — сказал он.

— Это не твое дело, дурак этакий! Ты должен отдать,— вспылил Янгуржеев и, бросив письмо на прилавок, ушел.

— Еще ругается, пропоец этакий!.. Ну, приди ты у меня в другой раз, я те спроважу в полицию! — проговорил ему вслед солдат; письмо Янгуржеева, впрочем, он отдал Лябьевым, от которых через горничную получил новое приказание никогда не принимать Янгуржеева.

— Я его и не приму; видал я этаких оборванцев-то, немало их спровадил,— объявил солдат.

Здесь считаю нелишним сказать, что жизнь Лябьевых в ссылке, в маленьком сибирском городке, не только их не сломила, а, напротив, как бы освежила и приободрила. У Лябьева прежде всего окончательно пропала страсть к картам, внушенная ему той развращенной средой, среди которой он с молодых лет пребывал, потом к нему возвра-

тились его художественные наклонности. Он, без преувеличения говоря, целые дни проводил в разного рода музыкальных упражнениях: переучил без всякой, разумеется, платы всех молодых уездных барышень играть хоть сколько-нибудь сносно на фортепьяно, сам играл и творил. Муза Николаевна тоже снова пристрастилась к музыке, и, к вящему еще благополучию ее, у нее родился ребенок — сын, который не только что не умер, но был прездоровенький и, как надо ожидать, должно быть, будущий музыкант, потому что когда плакал, то стоило только заиграть на фортепьяно, он сейчас же притихал и начинал прислушиваться. Дозволение возвратиться в Москву Лябьевы приняли не с особенной радостью и, пожалуй бы, даже не возвратились из Сибири, если бы не желали жить поближе к Марфиным. Из всего этого можно понять, сколь неприятно было им посещение Янгуржеева; особенно оно болезненно подействовало на Аркадия Михайлыча, так что он почти растерянным голосом спросил Музу Николаевну:

— Что мне делать с этим мерзавцем?

Тут уж Муза Николаевна восстала со всей энергией, на сколько та ей была свойственна.

— Делать то, что я уже приказала швейцару,— прогнать его, и больше ничего,— сказала она.

— Янгуржеева нельзя прогнать, ты не знаешь его!.. Если только я ему нужен, так он всюду будет меня встречать: на этом вот бульваре, на тротуаре, в обществе! Я всегда его терпеть не мог и никогда не имел силы спастись от него.

— В таком случае уедем в нашу подмосковную,— придумала Муза Николаевна.

— Но я хотел бы теперь здесь пожить; меня все приятели мои встречают с таким радушием, что мне желательно побыть между ними.

К счастию, все эти недоумения Лябьевых разрешила приехавшая к ним Аграфена Васильевна, продолжавшая по-прежнему жить в Москве с ребятишками в своем оригинальном доме (старичище, ее супруг, полгода тому назад помер). Лябьевы с первых же слов рассказали Аграфене Васильевне о визите и о письме Янгуржеева.

— Ах, он, жулик этакий, и к вам пробрался! — воскликнула она.

— А у вас он бывает? — спросил Лябьев.

— Как же!.. Сколько раз после смерти мужа наскаки-

вал посетить меня, но я велела ему сказать, что если он будет жаловать ко мне, то я велю лакеям в шею его гонять.

— И я ему сказала через швейцара, чтобы ноги его не было у нас в доме,— подхватила Муза Николаевна,— потому что, согласитесь, Аграфена Васильевна, на все же есть мера: он довел мужа до Сибири, а когда того ссылали, не пришел даже проститься к нам, и хоть Аркадий всегда сердится за это на меня, но я прямо скажу, что в этом ужасном нашем деле он менее виноват, чем Янгуржеев.

— Ну, как же менее? — возразил Лябьев.

— Пожалуйста, хоть теперь-то не скрывай этого! Все знают, что ты только принял все на себя! — сказала с запальчивостью Муза Николаевна.

— Да этого черномазый-то и сам не скрывает! — подхватила Аграфена Васильевна.— У нас в доме хвастался: «Дураки, говорит, в воде тонут, а умные из нее сухоньки выходят!»

— Вот видите, какой он прелестный человек,— произнесла Муза Николаевна,— и после всего этого еще осмеливается писать Аркадию письма! Прочти, пожалуйста, Аграфене Васильевне письмо Янгуржеева! — прибавила она мужу.

— Что тут? Бог с ним! Все-таки человек в несчастии!— возразил на это Лябьев.— Письмо обыкновенное: пишет и просит денег взаймы.

— Нет, кроме того, он говорит, что помогал тебе и ссужал тебя; а когда и чем он тебе помогал? — горячилась Муза Николаевна.

— То есть как он мне помогал! — отвечал, усмехнувшись и покраснев немного в лице Лябьев.— Он мне советовал и даже учил меня играть наверняка, говоря, что если меня по большей части обыгрывали таким способом, так почему и мне не прибегнуть к подобному же средству.

— И как же ты после этого еще колеблешься, быть ли с ним знакомым или нет? — допрашивала Муза Николаевна.

— Я не в этом колеблюсь,— отвечал Лябьев,— но уверен только в том, что Янгуржеев от меня не отстанет.

— Как же он от тебя не отстанет? — спросила уже Аграфена Васильевна.

— А так, что поймает меня в каком-нибудь обществе;

наговорит мне, может быть, любезностей, от которых трудно будет отвертеться, или, наоборот, затеет со мною ссору и наговорит мне таких дерзостей, что я должен буду вызвать его на дуэль.

— Вот это умно будет с твоей стороны, очень умно! Чтобы тебя опять в солдаты разжаловали! — воскликнула Муза Николаевна, и на ее глазах показались слезы.

— Я, конечно, этого не сделаю теперь,— поспешил ее успокоить Лябьев,— но все-таки может выйти скандал.

— Где же это он поймает тебя? — вмешалась снова в разговор Аграфена Васильевна.

— Везде я могу его встретить; он, вероятно, по-прежнему бывает всюду,— сказал Лябьев.

— Ну, нет, дяденька, это шалишь! — возразила Аграфена Васильевна.— Его теперь никуда не пускают, да ему не в чем и показаться-то прежним знакомым своим: у него сапог даже порядочных нет; по кабакам он точно что шляется. Я вот, сюда ехадчи, видела, что он завернул в полпивную, но ты по кабакам-то, чай, не ходишь?

— Слава богу, пока еще не хожу,— отвечал, усмехнувшись, Лябьев.

— Ну, так что же? Стоит ли и разговаривать об этом черномазом дьяволе? — отозвалась Аграфена Васильевна, но это она говорила не вполне искренно и втайне думала, что *черномазый дьявол* непременно как-нибудь пролезет к Лябьевым, и под влиянием этого беспокойства дня через два она, снова приехав к ним, узнала, к великому своему удовольствию, что Янгуржеев не являлся к Лябьевым, хотя, в сущности, тот являлся, но с ним уже без всякого доклада господам распорядился самолично унтер-офицер.

— Если вы, ваше благородие, будете шляться к нам, так вас велено свести вон тут недалеко к господину обер-полицеймейстеру,— сказал он, внушительно показав пальцем Янгуржееву на обер-полицеймейстерское крыльцо.

Калмык ни слова не возразил на это и ретировался назад, так как последнее время он сильно побаивался обер-полицеймейстера, который перед тем только выдержал его при частном доме около трех месяцев по подозрению в краже шинели в одном из клубов, в который Янгуржееву удалось как-то проникнуть.

Аграфена Васильевна нашла, впрочем, Лябьевых опечаленными другим горем. Они получили от Сусанны Николаевны письмо, коим она уведомляла, что ее бесценный

Егор Егорыч скончался на корабле во время плавания около берегов Франции и что теперь она ума не приложит, как ей удастся довезти до России дорогие останки супруга, который в последние минуты своей жизни просил непременно похоронить его в Кузьмищеве, рядом с могилами отца и матери.

Доказательством тому, сколь тяжело было Сусанне Николаевне написать это письмо, служили оставшиеся на нем явные и обильные следы слез ее.

Аграфена же Васильевна это известие, с своей стороны, встретила почти до неприличия равнодушно.

— Ну, бог с ним!.. Что тут старикам самим маяться и других маять! — проговорила она.

— Мы, конечно,— сказала Муза Николаевна,— не столько о смерти Егора Егорыча сокрушаемся, сколько о Сусанне, которая теперь должна везти гроб из этакой дали.

— Что ж за важность, довезет! — сказала и на это совершенно безучастно Аграфена Васильевна.—Я так тело-то моего благоверного на почтовых отмахала в Тулу, чтобы похоронить его тоже в селе нашем.

— Что это, Аграфена Васильевна, вы говорите?.. Как это возможно: на почтовых?..— заметила, грустно усмехнувшись, Муза Николаевна.

— Право, на почтовых! Ничего, всю дорогу лежал благополучным манером; живой-то, бывало, часто ругался, а тут нишкнет, смирнехонек.

— Вам это легче было сделать, потому что вы долго пожили с вашим мужем, поразлюбили его, конечно, а Сусанна только что не боготворила Егора Егорыча,— разъясняла Муза Николаевна.

— О, подите-ка вы! — возразила ей с досадой Аграфена Васильевна.— Боготворила его она!.. Этакого старого сморчка!.. Теперь это дело прошлое, значит, говорить можно, а я знаю наверное, что она любила Петрушу Углакова.

— Это правда, что у нее немножко кружилась от него голова,— согласилась Муза Николаевна, но разве можно это назвать любовью?

— А что ж это такое, по-вашему? — стояла на своем Аграфена Васильевна.— Робела только очень, а как бы посмелее была, так другое бы случилось; теперь бы, может быть, бедняжка Петруша не лежал в сырой земле!

— Не от Сусанны же, в самом деле, он помер; это бу-

дет безбожная клевета на сестру! — возразила с досадой Муза Николаевна.

— От нее ли или от чего другого, только начал пить да пить; а ведь этот хмельной богатырь хоть кого сломит.

— Пить он начал никак не по милости сестры, потому что пил еще прежде! — оспаривала Муза Николаевна.— Кроме того, у него другая привязанность была, которая, говорят, точно что измучила его.

— Это что за привязанность! Он держал ее, чтобы только размыкать горе; говорить тут нечего: все вы, барыни, как-то на это нежалостливы; вам бы самим было хорошо да наряжаться было бы во что, а там хошь трава не расти — есть ли около вас, кого вы любите, али нет, вам все равно! Мы, цыганки, горячее вас сердцем: любить, так уж любить без оглядки. Недаром ваши мужчины нас хвалят больше, чем вас... Сколько мне тоже говорили: «Что, говорит, наши барыни? Это квашенки крупичатые, а вы, говорит, железо каленое». Так я сказываю, а? — заключила Аграфена Васильевна, обращаясь к Лябьеву.

— Пожалуй, что и так! — отвечал тот.

При подобном разговоре Муза Николаевна, разумеется, могла только краснеть.

Невдолге после того для упомянутого мною швейцара выпало опять щекотливое объяснение с одним из незнакомых ему посетителей, который, пожалуй бы, и не простому солдату мог внушить недоумение. Во-первых, это был как бы монах, в скуфье и в одном подряснике, перетянутом широким кожаным поясом; его значительно поседевшие волосы были, видимо, недавно стрижены и не вполне еще отросли, и вместе с тем на шее у него висел орден Станислава, а на груди красовались Анна и две медали, турецкой и польской кампаний. Подозрительный страж предположил, что это был какой-нибудь мошенник и нарочно так нарядился, а потому он спросил этого странного посетителя по своей манере довольно грубо:

— Кто вы такой и что вам надо?

— Я миссионер и желаю видеть господина Лябьева,— отвечал (читатель, конечно, уже догадался) Аггей Никитич.

Солдат пришел в окончательное недоумение: пустить или прогнать этого барина?

— Да вы из полковых дьячков, что ли? — придумал он спросить.

— Вроде того; я имею письмо к господину Лябьеву от его превосходительства Александра Яковлевича Углакова.

Как только услышал солдат о письме, так, даже не обратив внимания на то, что оно было от какого-то его превосходительства, не пустил бы, вероятно, Аггея Никитича; но в это время вышел из своей квартиры Аркадий Михайлыч, собравшийся куда-то уходить, что увидав, солдат радостным голосом воскликнул:

— Да вон он, господин Лябьев!.. К вам опять какой-то пришел,— присовокупил он сему последнему.

Аггей Никитич поспешил уже не по-светски, а по-монашески поклониться Лябьеву, которого поклон этот и вообще вся наружность Аггея Никитича тоже удивили.

— Я знакомый человек Егора Егорыча, облагодетельствованный им, и меня прислал к вам, как к ближайшим родственникам Егора Егорыча, Александр Яковлич Углаков.

С этими словами Аггей Никитич вручил Лябьеву письмо от Углакова, пробежав которое тот с заметною аттенцией просил Аггея Никитича пожаловать наверх, а вместе с тем и сам с ним воротился назад. Видевший все это унтер-офицер решил в мыслях своих, что это, должно быть, не дьячок, а священник полковой.

Введя Аггея Никитича в свою квартиру, Лябьев прямо провел его к Музе Николаевне и объяснил ей, что это господин Зверев, друг Егора Егорыча.

— Monsieur Зверев? — переспросила Муза Николаевна, припомнившая множество рассказов Сусанны Николаевны о том, как некто Зверев, хоть и недальний, но добрый карабинерный офицер, был влюблен в Людмилу и как потом все стремился сделаться масоном.

— Очень рада с вами познакомиться! — произнесла она.— Я так много слышала о вас хорошего! — заключила она, с любопытством осматривая странную одежду Аггея Никитича, который ей поклонился тоже смиренно и по-монашески.

Лябьев между тем, взглянув на часы, проговорил:

— Вы меня извините, я должен уехать: у нас сегодня музыкальный вечер!

Тогда Аггей Никитич обратился к Музе Николаевне:

— Вы позволите мне остаться у вас на несколько минут,— проговорил он.

— Ах, пожалуйста! — подхватила Муза Николаевна.

Лябьев после того скоро уехал.

— Отчего я вас вижу в монашеской одежде? Вы, мне говорили, прежде были военный? — спросила Муза Николаевна своего гостя.

Аггей Никитич при этом поник еще ниже и без того уже потупленной головой своей.

— Был-с я и военный,— начал он повествовать свою историю,— был потом и штатским чиновником, а теперь стал по моим душевным горестям полумонахом и поступил в миссионеры.

— Скажите, вы хорошо были знакомы с моей матерью и сестрами, когда они жили в Москве?

— Имел это счастие, только, к сожалению, недолго им пользовался; когда этот удар разразился над вашим семейством, я чуть не умер с отчаяния и сожалею даже, что не умер!..

При этих словах у Аггея Никитича навернулись на глазах слезы.

Муза Николаевна догадывалась, на что намекал Аггей Никитич; но, не желая, чтобы упомянуто было имя Людмилы, переменила разговор на другое.

— Вы женаты, однако? — спросила она.

Этот вопрос чувствительно уколол Аггея Никитича.

— Я женат единственно по своей глупости и по хитрости женской,— сказал он с ударением.—Я, как вам докладывал, едва не умер, и меня бы, вероятно, отправили в госпиталь; но тут явилась на помощь мне одна благодетельная особа, в доме которой жила ваша матушка. Особа эта начала ходить за мной, я не говорю уж, как сестра или мать, но как сиделка, как служанка самая усердная. Согласитесь, что я должен был оценить это.

— Конечно! — согласилась Муза Николаевна.

— Ну, а тут вышел такой случай: после болезни я сделался религиозен, и Егор Егорыч произвел на меня очень сильное впечатление своими наставлениями и своим вероучением.

— Но вы знаете ли, что Егор Егорыч помер? — перебила Аггея Никитича Муза Николаевна.

— Знаю-с, несколько еще дней тому назад я услыхал об этом от Александра Яковлевича Углакова, который,

собственно, и прислал меня спросить вас, известно ли вам это?

— Но от кого Александр Яковлевич мог узнать о том?— недоумевала Муза Николаевна.— Может быть, Сусанна писала ему?

— Нет, не Сусанна Николаевна, а какой-то русский, который вместе с ними путешествовал.

— Какой же это может быть русский?— продолжала недоумевать Муза Николаевна.

— В письме Александра Яковлевича упомянуто об нем,— сказал Аггей Никитич.

— Да письмо-то Аркадий увез с собой! — продолжала Муза Николаевна тем же недоумевающим тоном: ее очень удивляло, почему Сусанна не упоминала ей ни о каком русском. «Конечно, весьма возможно, что в такие минуты она все перезабыла!» — объяснила себе Муза Николаевна.— Ну-с, слушаю дальнейшие ваши похождения! — отнеслась она к Аггею Никитичу.

Аггей Никитич глубоко вздохнул.

— Дальнейшие мои похождения столь же печальны были, как и прежние!— произнес он.— В отношении госпожи, о которой вам говорил, я исполнил свой долг: я женился на ней; мало того, по ее желанию оставил военную службу и получил, благодаря милостивому содействию Егора Егорыча, очень видное и почетное место губернского почтмейстера — начальника всех почт в губернии — с прекрасным окладом жалованья. Кажется, можно было бы удовлетвориться и благодарить только бога, но супруге моей показалось этого мало, так как она выходила за меня замуж вовсе не потому, что любила меня, а затем, чтобы я брал на службе взятки для нее, но когда я не стал этого делать, она сама задумала брать их.

— Господи!— воскликнула Муза Николаевна, никогда не воображавшая услышать о таком женском пороке.— Но кто же ей стал давать взятки?

— Она довольно лукаво это сделала и устроила так, что мне все почтмейстера начали предлагать благодарности; она меня еще думала соблазнить, но я сразу пресек это и вышел даже в отставку из этой службы и поступил в исправники. Супруге моей, конечно, это был нож острый, потому что она находила службу исправни-

ка менее выгодною, и в отмщение за это каждый день укоряла меня бедностью, а бедности, кажется, никакой не должно было бы существовать: жалованье я получал порядочное, у нее было имение в Малороссии, дом в Москве, капитал довольно крупный, и всего этого ей было мало.

— Значит, она совсем дрянная женщина!— воскликнула с негодованием Муза Николаевна.

— Совсем!— подтвердил Аггей Никитич.

— Но теперь вы разошлись с ней?

— Совершенно или, как вам сказать, она скорей разошлась со мной и написала мне, что ей невыгодно оставаться моей женой.

Муза Николаевна пожимала только плечами.

— Если ваша жена такая, как вы говорите о ней, то что же вас может огорчать, когда вы расстались с ней?

— Я нисколько не огорчаюсь, даже радуюсь и в восторге от этого. Я морально убит-с другим, убит тем, что разошелся с другой женщиной, перед которой я ужас что такое натворил.

— Как?— полувоскликнула Муза Николаевна, широко раскрывая от удивления глаза.— Стало быть, у вас был новый роман?

— Новый! — отвечал откровенно и наивно Аггей Никитич.

— Кто ж это такая была? — любопытствовала Муза Николаевна.

— Это одна полька, прелестнейшее и чудное существо; но, как все польки, существо кокетливое, чего я не понял, или, лучше сказать, от любви к ней, не рассудив этого, сразу же изломал и перековеркал все и, как говорится, неизвестно для чего сжег свои корабли, потом, одумавшись и опомнившись, хотел было воротить утраченное счастие, но было уже поздно. Она очень натурально оскорбилась на меня и уехала с одним семейством в деревню, а я остался один, как этот дуб, про который поется, что один-один бедняжечка стоит на гладкой высоте.

— И вы в миссионерстве хотите утопить ваше горе?— проговорила с участием Муза Николаевна.

— Постараюсь, если только возможно,— отвечал, вздохнув, Аггей Никитич.

— Но куда же именно вы поедете?— расспрашивала Муза Николаевна.

— В Сибирь, вероятно.

— Но что же вы будете там делать?

— Буду творить волю пославших мя!— произнес Аггей Никитич многознаменательно.— Мне, впрочем, лучше об этом не говорить, а я поспешу исполнить приказание Александра Яковлевича, который поручил мне спросить вас, провезут ли тело Егора Егорыча через Москву?

— Непременно; иначе нельзя проехать в Кузьмищево,— отвечала Муза Николаевна.

Аггей Никитич при этом потер себе лоб.

— В таком случае Александр Яковлевич, у которого я теперь живу, предполагал бы устроить торжественную встречу для бренных останков, всем дорогих, Егора Егорыча.

— Это бы очень было хорошо,— подхватила Муза Николаевна,— но я не знаю ни того, куда писать сестре, ни того, когда она приедет сюда.

— Это, вероятно, узнается: тот же русский пишет Александру Яковлевичу, что он будет уведомлять его по мере приближения тела к Петербургу.

«Опять этот русский!»— снова промелькнуло в уме Музы Николаевны, и у нее даже зародилось подозрение касательно отношений этого русского к Сусанне Николаевне.

Побеседовав таким образом с m-me Лябьевой, Аггей Никитич ушел от нее под влиянием воспоминаний о пани Вибель. «Ты виноват и виноват!» — твердила ему совесть, но когда он в своем длиннополом подряснике медленно переходил пространство между Тверским бульваром и Страстным, то вдруг над самым ухом его раздался крик: «Пади, пади!». Аггей Никитич взмахнул головой и отшатнулся назад: на него наехал было фаэтон, в котором сидела расфранченная до последней степени пани Вибель, а рядом с ней откупщик Рамзаев, гадкий, безобразный и вдобавок еще пьяный. Аггей Никитич понял хорошо, что совесть его в отношении этой госпожи должна была оставаться покойна. Тем не менее эта мимолетная встреча потрясла все его существо. Почти шатаясь, он вошел на Страстной бульвар, где, сев на лавочку, поник головой и прослезился.

XII

Перед обычным субботним обедом в Английском клубе некоторые из членов что-то такое шепотом передавали друг другу, причем, вероятно, из опасения, чтобы их не подслушали лакеи, старались говорить больше по-французски.

— Avez vous entendu?[1]

— Oui, mais je voudrais savoir, où cela aura lieu?[2]

— Je ne puis rien vous dire là-dessus[3].

— Mais c'est fort dangereux![4]

— Je crois bien, mais que voulez vous?.. Noblesse oblige[5].

— Сергей Степаныч здесь?

— Говорят.

— Не говорят, а я сам его видел; он сегодня будет обедать здесь.

— Ах, как я рад этому!

Посреди такого галденья человек пять или шесть, все уже людей весьма пожилых, ходили с заметно важными и исполненными таинственности лицами. Из них по преимуществу кидались в глаза, во-первых, если только помнит его читатель, Батенев, с орлиным носом, и потом другой господин, с добродушнейшею физиономией и с полноватым животом гурмана, которого все называли Павлом Петровичем. Эти пять — шесть человек на адресуемые к ним вопросы одни отделывались молчанием, а другие произносили: «Nous ne savons rien!»[6]. Наконец появился Сергей Степаныч. Он прямо подошел к Батеневу и спросил его:

— Князь здесь?

— Нет, где ему? Совсем слепнет. Меня командировал за себя!

— Поэтому вы будете говорить речь вместо князя? — спросил с некоторым беспокойством Сергей Степаныч.

— Я буду; хошь не хошь, а пой! — отвечал мрачным голосом Батенев.

---

[1] Слыхали ли вы об этом? *(франц.)*

[2] Да, но я хотел бы знать, где это случилось? *(франц.)*

[3] Ничего большего я сказать вам не могу *(франц.)*.

[4] Но это ведь очень опасно! *(франц.)*

[5] Я понимаю, но чего же вы хотите?.. Положение обязывает *(франц.)*

[6] Мы ничего не знаем! *(франц.)*

В это же самое время на конце стола, за которым в числе других, по преимуществу крупных чиновников Москвы, сидел обер-полицеймейстер, происходил такого рода разговор.

— Правда ли, что тело Марфина привезли из-за границы в Москву?— спросил обер-полицеймейстера хорошо нам по своим похождениям известный камер-юнкер, а ныне уже даже камергер.

— Правда,— отвечал тот ему неохотно и направил свой взгляд к тому месту обеденного стола, где помещался Сергей Степаныч вместе с Батеневым и Павлом Петровичем.

— Но говорят, что они устраивают совершить траурную ложу?

— Вы, может быть, это знаете, а я нет,— ответил ему с явным презрением обер-полицеймейстер.

Камергер немного прикусил язык.

— Вот они, эти господа! Какие-нибудь невинные удовольствия на афинских вечерах запрещают, а тут черт знает что затевают, это ничего! — шепнул он шипящим голосом своему соседу, который в ответ на это только отвернулся от камергера: явно, что monsieur le chambellan[1] потерял всякий престиж в la haute volée[2].

Когда за жарким стали в разных группах пить шампанское, то обер-полицеймейстер, взяв бокал, подошел к Сергею Степанычу.

— Не могу удержаться, чтобы не выпить за ваш благополучный приезд сюда,— сказал он.

— Grand merci![3]— ответил Сергей Степаныч. Затем он проворно поднялся со стула и, взяв обер-полицеймейстера под руку, отвел его несколько в сторону от обеденного стола.— Надеюсь, что нам позволят прах нашего достойного друга почтить, как он заслужил того?— спросил он вполголоса.

— Я говорил сегодня об этом с генерал-губернатором,— отвечал обер-полицеймейстер,— он разрешает и просит только, чтобы не было большой огласки.

— Никакой! Будут только свои,— ответил Сергей Степаныч и сел опять на прежнее место.

На другой день в почтамтской церкви архангела Гав-

---

[1] господин камергер *(франц.)*.
[2] в высших сферах *(франц.)*.
[3] Премного благодарен! *(франц.)*

риила совершилась заупокойная обедня по усопшем болярине Егоре Егорыче Марфине. Священники были облачены в черные ризы, а равно и бо̀льшая часть публики являла на себе признаки траура. В толпе молящихся было очень много знакомых нам лиц. Прежде всех, конечно, Сусанна Николаевна, похудевшая, истомленная, и вместе с тем в ее прекрасных глазах выражалась какая-то уверенность, что умерший преисполнен теперь радостей загробной жизни. Около нее стояли Сергей Степаныч и Лябьевы, муж и жена, gnädige Frau и Сверстов, который своей растрепанной физиономией напоминал доброго и печального пуделя, измученного хлопотами по чужим горям. На мужской, собственно, половине стояли совсем сгорбившийся, сморщенный, как старый гриб, Углаков, Батенев и Павел Петрович, а также и Аггей Никитич Зверев, в скромной одежде монастырского послушника. У самых дверей храма виднелись Терхов (гегелианец) и Антип Ильич, на щеках которого тени не оставалось прежнего старческого румянца.

По окончании службы, когда начали выходить из церкви, то на паперти к Сусанне Николаевне подошел Аггей Никитич; она, уже слышавшая от Лябьевых обо всем, что с ним произошло, приветливо поклонилась ему, и Аггей Никитич тихим, но вместе с тем умоляющим голосом проговорил:

— Сусанна Николаевна, позвольте мне быть на вашем вечернем собрании и помянуть с другими душу Егора Егорыча.

Сусанна Николаевна сильно затруднилась, что ему отвечать.

— Я, право, не знаю, возможно ли это...— сказала она, боязливо взглядывая на стоявшего около нее Сверстова.

— Я думаю, можно!.. Но лучше я прежде спрошу Сергея Степаныча,— присовокупил он и проворно пошел обратно в церковь, где в сопровождении старика Углакова Сергей Степаныч вместе с Батеневым рассматривали изображения и надписи на церковных стенах, причем сей последний что-то такое внушительно толковал.

Когда Сверстов передал Сергею Степанычу просьбу Аггея Никитича с пояснением, что тот теперь миссионер и совсем готовый масон, то сей последний возразил:

— Однако он не был нигде принят в ложу?

— Не был, потому что негде было принять,— объяснил Сверстов.

Сергей Степаныч некоторое время подумал.

— Я с своей стороны готов это дозволить господину Звереву, но как вот другие!— произнес он и обратился к Батеневу, Углакову и Павлу Петровичу: — Как вы, господа, полагаете?

Последние двое прямо объявили, что они согласны, но Батенев, злобно усмехнувшись, сказал:

— Моя-с изба с краю, и я ничего не знаю.

— Разрешите господину Звереву быть на собрании!— проговорил Сергей Степаныч Сверстову, который, возвратясь на паперть церкви, объявил Аггею Никитичу:

— Можете быть!

Тот ему низко поклонился.

Сусанна Николаевна поехала в свою гостиницу в карете, сопровождаемая Музой Николаевной, gnädige Frau и Терховым.

В подвальном этаже одного из домов около почтамта в сквозь завешанные окна виднелось освещение. Часу в девятом вечера к этому дому стали подъезжать возки и кареты. Экипажи, впрочем, сейчас же уезжали, а приехавшие в них проходили пешком во внутренность двора. В сказанном подвальном помещении должна была совершиться траурная масонская ложа по умершем брате Firma Rupes. Все стены огромного помещения были выкрашены черной краской. На просторной эстраде, обитой черным сукном, на том месте, где обыкновенно в масонских ложах расстилался ковер, стоял черный гроб, окруженный тремя подсвечниками со свечами. На крышке гроба, в ногах оного, лежал знак великого мастера, а на черном пьедестале горел с благовонным курением спирт; в голове гроба на крышке лежал венок из цветов, и тут же около стояла чаша с солью. Все собравшиеся братья, в числе которых находились также Сусанна Николаевна и gnädige Frau, были в черных одеждах или имели на стороне сердца черный из лент приколотый бант, а иные — черный флёр около левой руки. Великий мастер, который был не кто иной, как Сергей Степаныч, в траурной мантии и с золотым знаком гроссмейстера на шее,

открыв ложу обычным порядком, сошел со своего стула и, подойдя к гробу, погасил на западе одну свечу, говоря: «Земля еси и в землю пойдеши!» При погашении второй свечи он произнес: «Прискорбна есть душа моя даже до смерти!» При погашении третьей свечи он сказал: «Яко возмеши дух, и в персть свою обратится». После чего великий мастер стал у головы гроба, имея в правой руке молоток, а надзиратели, Батенев и Павел Петрович, стали в ногах гроба. Великий мастер ударил по гробу три раза молотком; надзиратели сделали то же самое.

Великий мастер. Кто есть человек, смерти вкусить не могущий? Возможет ли кто искупить от гроба душу свою?

Некоторое молчание.

Великий мастер. Человек скитается, яко тень, яко цвет сельный отцветает. Сокровиществует и не весть кому соберет, умрет и ничего из славы сей земли с собой не понесет. Наг приходит в мир сей и наг уходит. Господь даде, господь и взя.

Снова некоторая пауза.

Великий мастер. Да умрем смертию праведных и да уподобимся им кончиною нашею! Господь есть бог наш, той есть с нами до смерти.

Все братья окружают гроб и приемлют молитвенное положение, а великий мастер читает молитву:

«Отец всемогущий, тебе вручаем душу брата нашего; отверзи ей дверь живота, возложи на нее брачное одеяние правды, более торжественное одеяние субботы вечныя, да представится она тебе чиста и непорочна, и услышит радостную песнь победы!»

Все братья громогласно восклицают: «Аминь!»

Снова после некоторого молчания великий мастер продолжает:

«Боже преславный, всякого блага начало, милосердия источниче, ниспошли на нас, грешных и недостойных рабов твоих, благословение твое, укрепи торжественное каменщическое общительство наше союзом братолюбия и единодушия; подаждь, о господи, да сие во смерти уверяющее свидетельство напоминает нам приближающуюся судьбину нашу и да приуготовит оно нас к страшному сему часу, когда бы он нас ни постигнул; да возможем

твоею милосердою десницей быть приятыми в вечное царствование твое и там в бесконечной чистой радости получить милостивое воздаяние смиренной и добродетельной жизни».

После этой речи великого мастера братья, поцеловавшись, запели довольно нескладно на голос: «Коль славен наш господь в Сионе»:

Отец духов, творец вселенной,
И жизнь и смерть в твоих руках.
Прейдя срок нам определенный,
Мы станем пепел, тлен и прах;
Ты дух, нам вдунутый тобою,
Зовешь к блаженству и покою.
Ты жизнь всего творишь от тленья,
Из тьмы изводишь в вечный свет,
Чудесной силой обновленья
Воздвинствуешь — и смерти нет.
Дай силы нам и чувства новы,
Да свергнем смертные оковы!
К себе от нас ты воззвал брата,
Из плоти дух ты сотворил;
Печальна нам сия утрата,
Но ты живешь, и брат наш жив!
Мы дух его тебе вручаем,
Отца о брате умоляем:
Прийми его, святых святейший,
И в лоне отчем упокой!
Да внидет в твой чертог светлейший
И пребывает в нем с тобой!

По окончании пения великий мастер снова ударил троекратно по гробу, а за ним повторили то же и надзиратели. Великий мастер, сев снова на свой стул, произнес:

— Между членами нашего общества существует от глубочайшей древности переданный обычай, чтобы по смерти каждого достойного брата совершались воспоминательные и таинственные обряды. Сие установлено сколько во изъявление любви нашей, и за гробом братьям нашим сопутствующей, столько же и во знамение того, что истинных свободных каменщиков в духе связь и по отшествии их от сего мира не прерывается. Следуя сему достохвальному обычаю и по особой верности нашего усопшего брата, Егора Егорыча Марфина, коего память мы чтим и коего потерю оплакиваем, собрались мы в священный наш храм. Братия, внемлите предпринимаемому мною теперь действию.

Затем великий мастер, встав и снова подойдя к гробу, взял из стоящей чаши горсть соли и сказал:

— Суха быша кость наша, потребися надежда наша; мертвы быхом... (Держа соль над гробом.) От четырех ветров прииде душа и вдуни на мертвия сия и да оживут! (Изображая солью четверть окружности.) Се глаголет господь костем сим: се аз введу в вас дух животный... (Продолжая другую четверть окружности.) И дам дух мой в вас, и увести, яко аз есмь в вас... (Делая третью четверть окружности.) И отверзу гробы ваши и изведу вас от гробов ваших, людие мои... (Заканчивая окружность.) И введу вас в землю Израилеву... (Проводя диаметр в кругу.) И поставлю вы на земли вашей, и увести, яко аз глаголах и сотворю, глаголет господь, тако.

Братья восклицают: «Аминь!»

Засим великий мастер начал зажигать стоящие около гроба свечи, говоря при зажжении первой свечи: «Вы есте соль земли», второй свечи: «Вы есте свет миру», третьей свечи: «Вы есте род избран, царское священие, язык свят, люди обновления!».

По совершении этого обряда великий мастер, удаляясь на свое место, взглянул вместе с тем на Батенева, который, встав на эстраду, проговорил изустную речь:

— Гроб, предстоящий взорам нашим, братья, изображает тление и смерть, печальные предметы, напоминающие нам гибельные следы падения человека, предназначенного в первобытном состоянии своем к наслаждению непрестанным бытием и сохранившим даже доселе сие желание; но, на горе нам, истинная жизнь, вдунутая в мир, поглощена смертию, и ныне влачимая нами жизнь представляет борение и дисгармонию, следовательно, состояние насильственное и несогласное с великим предопределением человека, а потому смерть и тление сделались непременным законом, которому все мы, а равно и натура вся, должны подвергнуться, дабы могли мы быть возвращены в первоначальное свое благородство и достоинство. Смерть и тление есть ключ, отверзающий свет, сокровенный во всех телах, кои суть его темницы; она есть та работная храмина, в коей отделяются чуждые смешения от небесного и неизменного начала и где разрушение одного служит основанием к рождению другого. Положение сие есть общее, особенно относительно возрождения человеческого, и все, что в натуре можно видеть те-

лесно, то в нас духовно происходить должно. В каждом из нас должен совершаться процесс духовного и телесного тления и в нас должны отделяться чуждые смешения от небесного начала. Из сего вы видите, любезные братья, что нет иного пути к возрождению, к возвращению в первобытное состояние, как путь добротделания, смирения, путь креста и смерти! Ныне оплакиваемый нами брат всегда являл собою высокий пример сих качеств. Мы все, здесь стоящие, имели счастие знать его и быть свидетелями или слышать о его непоколебимой верности святому ордену, видели и испытали на себе, с какой отеческою заботливостью старался он утверждать других на сем пути, видели верность его в строгом отвержении всего излишнего, льстящего чувствам, видели покорность его неисповедимым судьбам божиим, преданность его в ношении самых чувствительных для сердца нашего крестов, которые он испытал в потере близких ему и нежно любимых людей; мы слышали о терпении его в болезнях и страданиях последних двух лет. Вот некоторые черты верности и покорности к судьбам божиим сего незабвенного для нас мужа; но кто может исследовать внутренние опыты и кресты, им пройденные, кои господь употребляет, яко сильнейшее средство к утверждению по пути, ведущему к нему? Кто может судить о внутреннем процессе, с ним совершившемся в последнее время жизни его? Здесь я приведу собственные слова Егора Егорыча, им доверенные мне в одном из посланий своих. «Я переношу теперь,— писал он,— такие искушения, которые и пересказать не могу, и из всего того вижу со стороны человека единую бедность и ничтожество, а со стороны бога единое милосердие». Рассуждение о сем важном процессе пусть сделают те, кои более или менее испытали оный на самих себе; я же могу сказать лишь то, что сей взятый от нас брат наш, яко злато в горниле, проходил путь очищения, необходимый для всякого истинно посвятившего себя служению богу, как говорит Сирах: процесс сей есть буйство и болезнь для человеков, живущих в разуме и не покоряющихся вере, но для нас, признавших путь внутреннего тления, он должен быть предметом глубокого и безмолвного уважения. В заключение я напомню кротость Егора Егорыча, несмотря на сангвинический темперамент, его любовь и снисходительность к недостаткам других, его неутомимую деятельность в на-

зидании братьев и исполненное силою духа слово. Он может быть уподоблен реке, коей источник сокрыт и невидим, но в котором утолили жажду свою многие странники, изведенные им из пленения египетского и идущие в собственную землю. В сей-то таинственный источник, от коего чествуемый нами брат заимствовал силу и сладость учения, он сокрылся ныне и в нем почерпает теперь беспрепятственно воду жизни. Да возвеселится дух его в Сионе со всеми любящими и друзьями божьими. Союз его с нами неразлучен; цепь, коей верхние звены теряются в небесах и в коей усопший друг наш занимает приуготованное ему место, касается и нас. Будем подкреплены благодатию господа и спасителя нашего, сохраняя верность до смерти!

После речи Батенева устроилось путешествие, причем снова была пропета песнь: «Отец духов, творец вселенной!», и шли в таком порядке: собиратели милостыни (Антип Ильич и Аггей Никитич) с жезлами в руках; обрядоначальник (доктор Сверстов) с мечом; секретарь (gnädige Frau) с актами; оба надзирателя со свечами; мастер стула тоже со свечой. По окончании шествия обрядоначальник положил знак умершего на пьедестал, а великий мастер сказал:

— Брат первый надзиратель, который час?

Ответ. Полночь.

Великий мастер. Время ли закрыть ложу?

Ответ. Время, почтенный мастер.

Великий мастер. Брат первый надзиратель, не имеет ли кто чего предложить на пользу ложи?

Брат-надзиратель опросил братий и от всех получил в ответ только вздохи печальные, которыми как бы говорилось, что какую теперь пользу можно принести масонству, когда все в нем или задушено или предано осмеянию.

Великий мастер. Брат собиратель милостыни, исполняйте вашу должность!

Аггей Никитич, наученный Антипом Ильичом, пошел обходить с тарелочкой собрание; вклады нельзя сказать чтобы обильные были, и одна только Сусанна Николаевна положила на блюдо пакет с тысячью рублями.

После сего великий мастер произнес заключительное слово:

— Закрываю сию печальную мастерскую ложу име-

нем всех высоких начальников ордена и особливо именем высокодостойного нашего старошотландского мастера со всеми честьми масонства!

Затем Сергей Степаныч громко и троекратно ударил эфесом висевшей на нем шпаги, вынимая оную до половины и снова опуская ее в ножны.

На другой день с раннего утра тело Егора Егорыча должно было следовать в Кузьмищево для погребения там рядом с родителями. Сусанна Николаевна хотела было непременно следовать за гробом; но как это до такой степени утомило ее, что, приехав в Москву, она едва ноги двигала, то Лябьевы вкупе с gnädige Frau отговорили ее от того, и сопровождать тело Егора Егорыча взялся Сверстов, а равно и Антип Ильич, который убедительнейшим образом доказывал Сусанне Николаевне, что зачем же ей ехать, когда он, Антип Ильич, едет, и неужели же он позволит, чтобы покойника чем-нибудь потревожили.

— Поедем как следует, тихонько,— объяснял Антип Ильич,— в селах, которые нам встретятся на дороге, будем служить краткие литии; в Кузьмищево прибудет к телу отец Василий, я уже писал ему об этом, а потом вы изволите пожаловать с вашими сродственниками на погребение, и все совершится по чину.

Сусанна Николаевна согласилась, наконец, выехать дня через два после отправления гроба, но все-таки эти два дня она ужасно волновалась и мучилась, сознавая, что ей не хотелось и было чрезвычайно грустно расстаться с Терховым. Читатель на первых порах, может быть, удивится; но, рассудив, поймет, что такого рода чувствование в Сусанне Николаевне являлось таким прямым и естественным последствием, что иначе и быть не могло. Вообразите вы себе одно: более года Сусанна Николаевна видела Терхова почти каждодневно, и он оказал столько услуг Егору Егорычу, что, конечно, сын бы родной не сделал для него столько. Изыскивая, как бы и чем помочь страдальцу и развлечь его, Терхов однажды привез к Егору Егорычу, с предварительного, разумеется, позволения от него, известнейшего в то время во всей Европе гомеопата-доктора, который, войдя к Егору Егорычу, первое, что сделал,— масонский знак мастера. Егор Егорыч, сейчас же это заметивший, ответил ему таковым же, а затем началось объяснение между доктором и его пациентом на немецком языке.

— Вы розенкрейцер? — спросил доктор.

— Был им прежде, но теперь мартинист.

Немец, кажется, не совсем понял этот ответ.

— Вы поэтому француз? — проговорил он.

— Нет,— возразил Егор Егорыч,— я хоть и мартинист, но мартинист русский.

Немец и этого ответа Егора Егорыча не понял и выразился по-немецки так:

— Я просил бы вас, почтенный господин, объяснить мне, кого вы называете русскими мартинистами.

— Я называю русскими мартинистами,— начал Егор Егорыч, приподнимаясь немного на своей постели,— тех, кои, будучи православными, исповедуют мистицизм, и не по Бему, а по правилам и житию отцов нашей церкви, по правилам аскетов.

Выражение «по правилам аскетов» гомеопат понял, но все-таки не мог уяснить себе, что такое, собственно, русский мартинизм, и хотел по крайней мере узнать, что какого бы там союза ни было, но масон ли Егор Егорыч?

— С восемнадцатилетнего возраста моей жизни масон! — воскликнул тот.

Удовлетворившись таким ответом, гомеопат стал расспрашивать Егора Егорыча о припадках его болезни, и когда все это выслушал, то произнес:

— Не позволите ли вы мне, почтенный господин, произнести над вами несколько магнетизерских манипуляций (ученый доктор был кроме того что гомеопат, но и магнетизер).

— С великим удовольствием,— сказал Егор Егорыч, всегда любивший всякого рода таинственные и малообъяснимые лечения.

— Лягте спокойнее! — повелел ему доктор.

Егор Егорыч вытянулся на постели и положил обе руки свои на подложечку: он желал одновременно с магнетизированием предаться «умному деланию».

Доктор сделал сначала довольно тихие магнетизерские движения, потом их все усиливал и учащал, стараясь смотреть на Егора Егорыча упорным взглядом; но в ответ на это тот смотрел на него тоже упорно и лихорадочно-блестящими глазами. У доктора, наконец, начал выступать пот на лбу от делаемых им магнетизерских движений, но Егор Егорыч не засыпал.

— Тело ваше слишком убито, и его не нужно усыплять, чтобы вызвать дух!.. Он в вас явен, а, напротив, надобно помочь вашей слабой материальной силе, что и сделают, я полагаю, вот эти три крупинки.

Проговорив это, гомеопат вынул из своей аптечки, возимой им обыкновенно в боковом кармане фрака, порошок с тремя крупинками, каковые и высыпал Егору Егорычу на язык. Затем он попросил Егора Егорыча остаться в абсолютном покое. Егор Егорыч постарался остаться в абсолютном покое, опять-таки не отнимая рук от солнечного сплетения. В таком положении он пролежал около получаса.

— Чувствуете ли вы некоторое успокоение?—спросил гомеопат.

— Да, как будто бы,— отвечал Егор Егорыч.

— Примите еще три крупинки! — продолжал гомеопат, высыпая новый прием на язык Егора Егорыча, который, проглотив крупинки, через весьма непродолжительное время проговорил:

— Теперь мне совсем хорошо.

Гомеопат с удовольствием потер себе руки и распрощался с Егором Егорычем масонским способом.

Около двух месяцев продолжалось лечение этого рода. Терхов всякий раз привозил доктора сам, и все время, пока тот сидел у больного, он беседовал с Сусанной Николаевной. Егору Егорычу по временам делалось то лучше, то хуже, но в результате он все-таки слабел, и доктор счел нужным объявить, что одних гомеопатических средств недостаточно для восстановления физических сил Егора Егорыча и что их надобно соединить с житьем в горной местности. Хлопоты для отыскания таковой местности опять принял на себя Терхов и обрел оную на довольно порядочной высоте Шварцвальда; но на беду, тут же существовала мыза для лечения молоком. Заведывающий этою мызою врач, с необыкновенно черными бакенбардами и, вероятно, из переродившихся жидов, почти насильно ворвавшись к Марфиным, стал с наглостью, свойственною его расе, убеждать Сусанну Николаевну и Терхова в превосходстве лечения молоком, особенно для стариков. Те, с своей стороны, предложили Егору Егорычу, не пожелает ли он полечиться молоком; тот согласился, но через неделю же его постигнуло такое желудочное расстройство, что Сусанна Николаевна испугалась даже за

жизнь мужа, а Терхов поскакал в Баден и привез оттуда настоящего врача, не специалиста, который, внимательно исследовав больного, объявил, что у Егора Егорыча чахотка и что если желают его поддержать, то предприняли бы морское путешествие, каковое, конечно, Марфины в сопровождении того же Терхова предприняли, начав его с Средиземного моря; но когда корабль перешел в Атлантический океан, то вблизи Бордо (странное стечение обстоятельств),— вблизи этого города, где некогда возникла ложа мартинистов, Егор Егорыч скончался. Снова хлопоты, которые весьма находчиво преодолел Терхов тем, что посредством расспросов успел отыскать старого масона-мартиниста, лицо весьма важное в городе; он явился и объяснил все, что следовало, о Марфине. Старый мартинист принял живое участие в оставшейся вдове и схлопотал ей возможность довезти тело супруга на одном французском пароходе вплоть до Петербурга. Возвращаюсь, однако, к настоящему.

Когда вышесказанные два дня прошли и Сусанна Николаевна, имевшая твердое намерение погребсти себя на всю жизнь в Кузьмищеве около дорогого ей праха, собиралась уехать из Москвы, то между нею и Терховым произошел такого рода разговор.

— Вы теперь уж долго, вероятно, не появитесь сюда? — спросил он.

— Вероятно, я очень больна. Но вы, если будете так добры, навестите меня, умирающую, в моей усадьбе, в Кузьмищеве... До него не очень далеко отсюда.

Терхов расцвел.

— Я приеду, если вы мне позволяете это, предварительно переписавшись с вами,— проговорил он.

— Непременно переписавшись! — подхватила Сусанна Николаевна, и всю дорогу до Кузьмищева она думала: «Господи, какая я грешница!»

XIII

Сусанна Николаевна и Муза Николаевна каждонедельно между собою переписывались, и вместе с тем Терхов, тоже весьма часто бывая у Лябьевых, все о чем-то с некоторой таинственностью объяснялся с Музой Николаевной, так что это заметил, наконец, Аркадий Михайлович и сказал, конечно, шутя жене:

— Что это у тебя идет за шептанье с Терховым? Ты смотри у меня: на старости лет не согреши!

— Вот что выдумал! — произнесла, как бы несколько смутившись, Муза Николаевна.— Если бы кто-нибудь за мной настоящим манером ухаживал, так разве ты бы это заметил?

— Как бы это так я не заметил? — возразил Лябьев.

— Да так, не заметил бы; а тут, если и есть что-нибудь, так другое.

— Что же это другое?

— Не скажу!

— Ну, Муза, милая, скажи!—стал приставать Лябьев.

— Не скажу! — повторила еще раз Муза Николаевна.

— Отчего ж не скажешь? Что за глупости такие!

— Оттого, что ты сейчас всем разболтаешь!

— Не разболтаю, ей-богу!—воскликнул, перекрестившись даже, Лябьев.

— Не уверяй, пожалуйста! Знаю я тебя! — стояла на своем Муза Николаевна.

— О, когда так, то я знаю без тебя и буду всем об этом рассказывать!

— Что ты знаешь и что будешь рассказывать? — спросила Муза Николаевна, опять немного смутившись.

— Знаю я,—произнес, самодовольно мотнув головой, Лябьев,— во-первых, тут дело идет о Сусанне Николаевне.

— Может быть! — согласилась не умевшая лгать Муза Николаевна.

— Потом о Терхове!

Муза Николаевна при этом потупилась.

— О нем? — спросил Лябьев.

— Может быть! — отвечала и на это Муза Николаевна.

— А далее ты рассказывай! — проговорил Лябьев и уселся даже, чтобы слушать жену.

— Да то, что я в очень странном положении...— начала Муза Николаевна, сама того не сознавая, говорить все откровенно.— Терхов мне признался, что он влюблен в Сусанну...

— Так и подобает, ничего нет тут странного! — подхватил Лябьев.

— Странно то,— продолжала Муза Николаевна,— что он просил меня сделать от него предложение Сусан-

не, но в настоящее время я нахожу это совершенно невозможным.

— Почему? — спросил Лябьев.

— Потому что после смерти Егора Егорыча прошло всего только шесть месяцев, и Сусанна, как, помнишь, на сцене говорил Мочалов, башмаков еще не износила, в которых шла за гробом мужа.

— Положим, что башмаки она уж износила! — заметил Лябьев.— Кроме того, если Терхов просил тебя передать от него предложение Сусанне, так, может быть, они заранее об этом переговорили: они за границей целый год каждый день виделись.

— Нисколько не переговорили!—возразила Муза Николаевна.— Терхов так был деликатен, что ни одним словом не намекнул Сусанне о своем чувстве.

— Словом, может быть, не намекал; но то же самое можно сказать действиями. Впрочем, пусть будет по-твоему, что на сей предмет ничем не было намекнуто, потому что тогда этому служил препятствием умирающий муж; теперь же этого препятствия не существует.

— Только не для Сусанны; я скажу тебе прямо, что я намекала ей не о Терхове, конечно, а так вообще, как она будет располагать свою жизнь, думает ли выйти когда-нибудь замуж, и она мне на это утвердительно отвечала, что она ни на что не решится, пока не прочтет завещания Егора Егорыча.

— Но какое же это такое завещание? — недоумевал Лябьев.— Ты сама же мне говорила, что Егор Егорыч перед отъездом за границу передал Сусанне Николаевне все свое состояние по купчей крепости.

— Ах, это вовсе не о состоянии завещание, а скорей посмертное наставление Сусанне, как она должна будет поступать перед богом, перед ближним и перед самой собою!

— Так что если в этом завещании сказано, чтобы она не выходила замуж, так она и не выйдет? — спросил Лябьев.

— Вероятно,—проговорила Муза Николаевна.

— Глупости какие, и глупости потому, что Сусанна, вероятно, со временем сама не послушается этого приказания.

— И то возможно! — не отвергнула Муза Николаевна.

— Ломаки вы, барыни, вот что! Справедливо вас Аграфена Васильевна называет недотрогами,—сказал Лябьев.

Побеседовав таким образом с супругой своей, он в тот же день вечером завернул в кофейную Печкина, которую все еще любил посещать как главное прибежище художественных сил Москвы. В настоящем случае Лябьев из этих художественных сил нашел только Максиньку, восседавшего перед знакомым нам частным приставом, который угощал его пивом. Лябьев подсел к ним.

— Интересную штуку он рассказывает,—произнес Максинька с обычною ему важностью и указывая на частного пристава.

— О чем?— спросил Лябьев.

— О том-с, как мы, по требованию епархиального начальства, замазывали в этой, знаете, масонской церкви, около почтамта, разные надписи.

— Стало быть, нынче сильно преследуют масонов?— сказал Лябьев.

— Ужасно-с! Раскольников тоже велят душить, так что, того и гляди, попадешься в каком-нибудь этаком случае, и тебя турнут; лучше уж я сам заблаговременно уйду и возьму частную службу, тем больше, что у меня есть такая на виду.

— Какая же и где это у вас на виду частная служба?— проговорил надменно и с недоверием Максинька.

— У Тулузова, у откупщика,—нехотя отвечал ему пристав и снова обратился к Лябьеву: — Ах, чтобы не забыть, кстати разговор об этом зашел: позвольте вас спросить, как приходится господину Марфину жена Тулузова: родственница она ему или нет?

— Если вы хотите, то родственница,— отвечал, стараясь припомнить, Лябьев,—но только сводная родня: она была замужем за родным племянником Марфина; но почему вас это интересует?

— По тому обстоятельству,—продолжал пристав,— что я, как вам докладывал, перехожу на службу к господину Тулузову главноуправляющим по его откупам; прежнего своего управляющего Савелия Власьева он прогнал за плутовство и за грубость и мне теперь предлагает это место.

— Но говорят,—возразил на это Лябьев,—этот Тулузов ужасный человек!

— Все это клевета-с, бесстыдная и подлая клевета ка-

кого-то докторишки!—воскликнул с одушевлением пристав.— Заслуги Василия Иваныча еще со временем оценит Россия!

Максинька при этом иронически улыбался: он так понимал, что частный пристав все это врет; но не позволил себе высказать это в надежде, что тот его еще угостит пивом.

— Главное желание теперь Василия Иваныча развестись с своей супругой, и это дело он поручает тоже мне,—продолжал между тем пристав.

— Но почему же именно он желает развестись с ней?—спросил Лябьев.

— Потому, что очень она безобразничает, не говоря уже о том, что здесь, в Москве, она вела весьма вольную жизнь...

— С нашим Петькой возжалась! — подхватил Максинька.

— Не с одним вашим Петькой,— отозвался пристав,— мало ли тут у нее было; а поселившись теперь в деревне, вдосталь принялась откалывать разные штуки: сначала связалась с тамошним инвалидным поручиком, расстроила было совершенно его семейную жизнь, а теперь, говорят, пьет напропалую и кутит с мужиками своими.

— Фу ты, боже мой, какая мерзость! — невольно воскликнул Лябьев.

— По-вашему, вот мерзость, а по законам нашим это ничего не значит! — воскликнул тоже и частный пристав.— Даже любовные письма госпожи Тулузовой, в которых она одному здешнему аристократику пишет: «Будь, душенька, тут-то!», или прямо: «Приезжай, душенька, ко мне ночевать; жду тебя с распростертыми объятиями», и того не берут во внимание.

— Это она писала к этому камер-юнкеру, который прежде все сюда ходил? — спросил Максинька.

— Тому самому! — подтвердил пристав.

— Но где ж вы могли достать эти письма? — проговорил Лябьев.

— Мы их купили у этого господина за пятьсот рублей... штук двадцать; баричи-то наши до чего нынче доходят: своего состояния нема, из службы отовсюду повыгнали, теперь и пребывает шатающим, болтающим, моли бога о нас. Но извините, однако, мне пора ехать по наряду в театр,— заключил пристав и, распрощавшись с своими

собеседниками, проворно ушел и затем, каким-то кубарем спустившись с лестницы, направился в театр.

— Этот пристав — подлец великий! — сказал тотчас же после его ухода Максинька.

— Великий?— повторил Лябьев.

— Ух какой, первейший из первейших! Говорит, в частную службу идет, а какая и зачем ему служба нужна? Будет уж, нахапал, тысяч триста имеет в ломбарде.

— Не может быть!—не поверил Лябьев.

— Уверяю вас, но что об этом говорить! Позвольте мне лучше предложить вам выпить со мной пива!—сказал Максинька, решившийся на свой счет угостить себя и Лябьева.

— О, нет-с,— не позволил ему тот,— лучше я вас угощу, и не пивом, а портером.

— Благодарю,—сказал с нескрываемым удовольствием Максинька, и когда портер был подан и разлит, он поднял свой стакан вверх и произнес громогласно:—Пью за ваше здоровье, как за первого русского композитора!

— Не врите, не врите, Максинька,— остановил его Лябьев,— есть много других получше меня: первый русский композитор Глинка.

— Так!—не отвергнул Максинька.

Затем, по уходе Лябьева, Максинька пребывал некоторое время как бы в нерешительном состоянии, а потом вдруг проговорил необыкновенно веселым голосом половому:

— Миша, дай-ка мне еще бутылочку пива!

— Да вы и без того много надолжали; хозяин велел только вам верить до двадцати пар, а вы уж...

— Ну, ну, ну! Что за счеты!—остановил его Максинька одновременно ласковым и повелительным голосом.

Половой, усмехнувшись, пошел и принес Максиньке бутылку пива, которую тот принялся распивать с величайшим наслаждением и, видимо, предавался в это время самым благороднейшим чувствованиям.

Однажды, это уж было в начале лета, Муза Николаевна получила весьма странное письмо от Сусанны Николаевны.

«Музочка, душенька, ангел мой,—писала та,—приезжай ко мне, не медля ни минуты, в Кузьмищево, иначе я

умру. Я не знаю, что со мною будет; я, может быть, с ума сойду. Я решилась, наконец, распечатать завещание Егора Егорыча. Оно страшно и отрадно для меня, и какая, Музочка, я гадкая женщина. Всего я не могу тебе написать, у меня на это ни сил, ни смелости не хватает».

Когда Муза Николаевна показала это письмо Лябьеву, он сказал:

— Тебе надобно ехать!

— Непременно, — подхватила Муза Николаевна,—а то Сусанна, пожалуй, в самом деле с ума сойдет.

— Положим, что с ума не сойдет,— возразил Лябьев,— и я наперед уверен, что все это творится с ней по милости Терхова: он тут главную роль играет.

— Конечно, без сомнения!—подхватила Муза Николаевна.

— А с ним ты перед отъездом не повидаешься?— спросил Лябьев.

Муза Николаевна несколько мгновений подумала.

— Но зачем мне с ним видеться? — начала она с вопроса.—Подать ему какую-нибудь надежду от себя—это опасно; может быть, ты и я в этом ошибаемся, и это совсем не то...

— Отчего же не то? — сказал с недоумением Лябьев.

— Оттого что... как это знать?.. Может быть, Егор Егорыч завещал Сусанне идти в монастырь.

— Какие глупости! — воскликнул Лябьев.— Тогда к чему же ее фраза, что ей отрадно и страшно?

— К тому, что идти в монастырь Сусанне отрадно, а вместе с тем она боится, сумеет ли вынести монастырскую жизнь.

— Нет, твое предположение—вздор!—отвергнул с решительностью Лябьев.

— Не спорю, но ты согласись, что мне лучше не видеться с Терховым, и от этого надобно уехать как можно скорей, завтра же!

— Завтра же и поезжай! — разрешил ей Аркадий Михайлыч.

— Я поеду, но меня тут две вещи беспокоят: во-первых, наш мальчуган; при нем, разумеется, останется няня, а потом и ты не изволь уходить из дому надолго.

— Куда ж мне уходить? — отозвался Лябьев.

— Да в тот же клуб, где ты уже был и поиграл там,— заметила с легкой укоризной Муза Николаевна, более

всего на свете боявшаяся, чтобы к мужу не возвратилась его прежняя страсть к картам.

Лябьев, в свою очередь, был весьма сконфужен таким замечанием жены.

— Что ж, что я был в клубе; я там выиграл, а не проиграл! — проговорил он каким-то нетвердым голосом.

— Это ничего не значит,—возразила ему супруга,— сегодня ты выиграл, а завтра проиграешь вдвое больше; и зачем ты опять начал играть, скажи, пожалуйста?

— Ах, Муза, ты, я вижу, до сих пор меня не понимаешь! —произнес Лябьев и взял себя за голову, как бы желая тем выразить, что его давно гложет какое-то затаенное горе.

— Напротив, я тебя очень хорошо понимаю,—не согласилась с ним Муза Николаевна,— тебе скучно без карт.

— Скучно; а почему мне скучно?

— Потому, что ты недоволен всем, что ты теперь ни напишешь.

— Да как же мне быть довольным? Даже друзья мои, которым когда я сыграю что-нибудь свое, прималчивают, и если не хулят, то и не хвалят.

— Ну, что ж с этим делать? Надобно быть довольным тем, что есть; имя себе ты сделал,— утешала его Муза Николаевна.

— Какое у меня имя!— возразил с досадой Лябьев.— Я не музыкант даже настоящий, а только дилетант.

— Но что ж такое, что дилетант? Точно так же, как и другие; у вас все больше дилетанты; это-то уж, Аркадий, я понимаю, потому что сама тоже немножко принадлежу к вашему кругу.

— Нет, Михаил Иваныч Глинка не дилетант!—воскликнул, иронически рассмеявшись, Лябьев.— Что такое его «Жизнь за царя»?.. Это целый мир, который он создал один, без всяких хоть сколько-нибудь достойных ему предшественников,— создал, легко сказать, оперу, большую, европейскую, а мы только попискиваем романсики. Я вот просвистал удачно «Соловья» да тем и кончил.

— Что ты говоришь: тем кончил? Мало ли твоих вещей?—продолжала возражать Муза Николаевна.

— Вещичек, вещичек! — поправил ее Лябьев.— А все это отчего? Михаил Иваныч вырос посреди оркестра настоящего, хорошего оркестра, который был у его дяди, а

потом мало ли у кого и где он учился: он брал уроки у Омана, Ценнера, Карла Мейера, у Цейлера, да и не перечтешь всех, а я что?.. По натуре моей, я знаю, что у меня был талант, но какое же музыкальное воспитание я получил? Обо мне гораздо больше хлопотали, чтобы я чисто произносил по-французски и хорошо танцевал.

— Этого уж не воротишь,—подхватила Муза Николаевна,— но мы должны утешать себя теперь тем, что у нас сын будет музыкант, и мы его станем уж серьезно учить.

— Непременно, непременно!—прокричал на всю комнату Лябьев.— Я продам все, но повезу его в лучшую консерваторию в Европе.

— Прежде еще ты сам его должен учить, а потому тебе играть в карты будет некогда.

На этих словах Музы Николаевны старая нянька ввела маленького Лябьева, очень хорошенького собою мальчика, которому было уже три года.

Мать сейчас же посадила его себе на колени и спросила:

— Миша, ты будешь музыкантом?

— Да,—громко сказал Миша, мотнув своей большой курчавой головой.

— А кто из нас лучше играет: я или папаша?

— Он, папаша!—отвечал Миша и указал своим пухленьким пальцем на отца.

XIV

Музе Николаевне пришлось ехать в Кузьмищево, конечно, мимо знакомой нам деревни Сосунцы, откуда повез ее тоже знакомый нам Иван Дорофеев, который уже не торговлей занимался, а возил соседних бар, купцов, а также переправлял в Петербург по зимам сало, масло, мед, грибы и от всего этого, по-видимому, сильно раздышался: к прежней избе он пристроил еще другую — большую; обе они у него были обшиты тесом и выкрашены на деревенский, разумеется, вкус, пестровато и глуповато, но зато краска была терта на чудеснейшем льняном масле и блестела, как бы покрытая лаком. Услыхав, что сдают свезти в Кузьмищево едущую из Москвы барыню, Иван Дорофеев, значительно уже поседевший, но все еще мо-

лодцеватый из себя, вышел, как водится, на улицу. Сторговавшись с извозчиком в цене, он не работника послал везти барыню, а захотел сам ехать и заложил лучшую свою тройку в бричку, в которой ехала Муза Николаевна вдвоем с горничной; затем, усевшись на козлы и выехав из деревни в поле, Иван Дорофеев не преминул вступить в разговор с своими седоками.

— Надо быть, вы изволите ехать к Сусанне Николаевне? — обратился он прямо к Музе Николаевне, сразу разобрав, кто горничная и кто барыня.

— К Сусанне Николаевне; я сестра ей,—отвечала та.

Иван Дорофеев вгляделся повнимательнее в Музу Николаевну.

— Вот бить-то бы меня, дурака! Не признал я вас, скажите на милость!—произнес он.—Вы еще маленькой у нас останавливались, когда проезжали с мамашей вашей.

— Да, я тогда была очень молода; я младшая из всех сестер.

— Вижу, вижу теперь, сударыня, а тоже, чай, замужем?

— Давно!— отвечала Муза Николаевна, невольно подумав про себя: «Мало что замужем, но и в Сибири пожила».— Здорова ли сестра? — прибавила она.

— Здорова-с; своими глазами видел, что оне изволят сидеть на балконе... Ездил тоже в Кузьмищево, пустошь луговую в кортому взять; своего-то сена у нас, по крестьянскому нашему состоянию, мало, а я семь лошадей держу для извоза: надоче было об этом переговорить с Сергеем Николаичем Сверстовым,— изволите, полагаю, знать?

— Очень хорошо знаю; разве он теперь управляет у сестры имением?

— Он-с заведует, да и допрежь того, при старике еще, Сергей Николаич всем заправлял: у них так это шло, что он по полевой части заведывает, а супруга его... как ей имя-то? Смешное такое...

— Gnädige Frau,— напомнила ему Муза Николаевна.

— Так, кажись; но как же, сударыня, у ней имя этакое? Иностранное, что ли, оно?..

— Это не имя, а прозвище, и значит «почтенная женщина».

— Вот что-с, понимаю,— проговорил Иван Дорофеев,— и ее справедливо называют почтенной женщиной:

такая доточная и рассудительная барыня, что и сказать нельзя; господин доктор больше добрый, но она теперича по дому ли что, или насчет денег, и даже по конторской части, все это под ее распоряжением. Сусанне Николаевне за доброту ее послал бог таких управляющих; все мы, даже соседи ихние, тому радуемся.Теперь так болтают, что конский завод ваша сестрица хочет порешить, а чтобы в больнице больше помещалось простого народа,— дай ей бог здоровья за то! Это что говорить? Господам, сударыня,— продолжал он больше уже размышляющим тоном,— которые богатые, так и следствует!.. Праведниками чрез то могут быть; нам так вот, мужикам, не под силу того, и в царство-то небесное не за что попасть!

— Почему же?— спросила Муза Николаевна, несколько удивленная таким мнением Ивана Дорофеева.

— Потому что-с,— объяснил он,— нам надо всю жизнь плутовать, а то откедова же добудешь? Извольте-ка вы рассудить: с мужика барин берет, царь берет, всякий что ни на есть чиновник берет, а ведь у нас только две руки на работу, как и у других прочих; за неволю плутуешь, и иди потом за то в ад кромешный.

— Но как же, господин извозчик, вы это говорите? Мало ли святых было из мужиков и из нашей братьи — дворовых!—возразила ему горничная Музы Николаевны, женщина средних лет и тоже, должно быть, бойкая на язык.

— Да это, может быть, голубушка, у вас, в Москве, а по нашим местам что-то не слыхать того, по той причине, что в миру живучи, не спасешься, а в монастыри-то нынче простой народ не принимают: все кутейники и кутейницы туда лезут, благо их как саранчи голодной развелось.

Рассуждая таким образом, Иван Дорофеев уже проехал шедший из Сосунцов лес, и по сторонам стал открываться тот же ландшафт, который я некогда описывал, но только летний и дневной. Стоявшие почти на окраине горизонта деревни виднелись ясно. Мельница близ дороги по-прежнему махала своими длинными крыльями; на полях высилась слегка волнуемая ветром рожь. По местам на лугах сгребали сено бабы в одних рубахах, но с красными платками на головах. Все они кланялись проезжающей барыне, на что Муза Николаевна отвечала низким и приветливым поклоном; московская же горничная ее едва только склоняла им голову, желая тем выразить свое столичное превосходство. Далее в паровом поле гу-

лял табун лошадей, от которого отбившись молодой жеребенок как бы из любопытства подбежал довольно близко к дороге и, подняв свою тонкую голову, заржал, на что Иван Дорофеев, крикнув: «Я-те, дьяволенок этакий!»— хлопнул по воздуху плетью. Напуганный этим, жеребенок повернул назад и марш-маршем понесся к матке. До Кузьмищева, наконец, было весьма недалеко. Иван Дорофеев стал погонять лошадей, приговаривая: «Ну, ну, ну, матушки, выносите с горки на горку, а кучеру на водку!» Спустившееся между тем довольно низко солнце прямо светило моим путникам в глаза, так что Иван Дорофеев, приложив ко лбу руку наподобие глазного зонтика, несколько минут смотрел вдаль, а потом как бы сам с собою проговорил:

— К нам навстречу, надо быть, едет чья-то коляска.

— Коляска? Какая, чья? — спросила стремительно Муза Николаевна.

Иван Дорофеев продолжал из-под руки смотреть вдаль.

— Да чуть ли не Сусанна Николаевна; это ихняя вороная четверка. Ишь ты, дышловые-то как ноги мечут, словно львы!

— Сусанна? — воскликнула Муза Николаевна и высунулась вся из брички, чтобы лучше рассмотреть даль.

— Она самая-с,— отвечал утвердительно Иван Дорофеев и погнал лошадей во все лопатки.

Когда бричка и коляска съехались, то обе сестры взвизгнули и, едва дав отпереть дверцы экипажей, выскочили проворно на дорогу и бросились друг к другу в объятия, причем Сусанна Николаевна рыдала и дрожала всем телом, так что Муза Николаевна принуждена была поддерживать ее.

— Ну, сядем, я с тобой поеду! — сказала она.

— Нет, нет,— возразила Сусанна Николаевна совершенно взволнованным голосом,— я хочу с тобой пойти пешком!

Видимо, что ей больше всего хотелось остаться поскорее с сестрой вдвоем.

— Пойдем! — отвечала ей покорно Муза Николаевна.

Они пошли, а экипажи поехали сзади их.

Несмотря на свой расстроенный вид, Сусанна Николаевна, слегка опиравшаяся на руку сестры, была художественно-прекрасна: ее довольно высокий стан представлял классическую стройность; траурная вуаль шляп-

ки развевалась по воздуху; глаза были исполнены лихорадочного огня, заметный румянец покрывал ее обычно бледное лицо. Крепко пожимая руку Музы Николаевны, она ей отвечала:

— Благодарю, спасибо тебе, Музочка, что ты приехала; я тебе одной все скажу; здесь услышат; сядем лучше в коляску!

И обе сестры сели в коляску.

— Поезжай скорей! — приказала Сусанна Николаевна кучеру.

Кони-львы, еще выращенные и приезженные покойным Егором Егорычем, понеслись стрелой, так что Иван Дорофеич начал уже отставать на своей тройке, на что горничная Музы Николаевны выразила неудовольствие.

— Да как же, милостивая государыня, быть-то тут?— сказал он ей с своей стороны насмешливо.— Те-то лошади — жеребцы, а у меня все кобылы.

— Ах, пожалуйста, это все равно!—проговорила с гримасою горничная.

— Как все равно? Мужик или баба, разве они одинаково могут бегать? Бабы-то словно бы все ко̀солапые, а не прямоногие.

— Прошу вас оставить ваши глупые шутки! Я не такая, как, может, вы думаете,— остановила его с сердцем горничная.

— Да это ка̀к вам угодно, а я об вас ничего худого не думаю,— проговорил тем же насмешливым голосом Иван Дорофеев и продолжал ехать средней рысцой.

Горничная ужасно на это бесилась, но уже молчала.

В коляске Сусанне Николаевне, по-видимому, снова хотелось заговорить с сестрой откровенно, но и тут было нельзя; на передней лавочке чопорно восседала gnädige Frau, имевшая последнее время правилом для себя сопровождать Сусанну Николаевну всюду.

По приезде в Кузьмищево Сусанна Николаевна взяла было сестру за руку и повела к себе, но gnädige Frau остановила ее, проговорив:

— Музе Николаевне надобно с дороги умыться и переменить свой туалет.

— Да, я ужасно какая! — подтвердила Муза Николаевна.

— Ну, поди, переоденься, только скорей приходи ко мне! — разрешила ей Сусанна Николаевна.

Gnädige Frau направила Музу Николаевну наверх, в ту самую комнату, которую та занимала в девичестве своем.

— Ваше прежнее пепелище! — проговорила она и вместе с тем притворила довольно плотно дверь комнаты.— Я имею вам два слова сказать...— продолжала gnädige Frau с явной уже таинственностью.— Вы внимательней расспросите Сусанну Николаевну, что такое с ней: она волнуется и плачет целые дни... Мы третий день ездим к вам навстречу, как будто бы вы могли перелететь из Москвы!

— Может быть, она стала тосковать после того, как прочла духовное завещание Егора Егорыча.

Gnädige Frau отвечала на это, пожав плечами:

— Я даже не знаю, прочла ли его Сусанна Николаевна; она тут как-то проговаривала, что намерена вскрыть духовное завещание, потому что прошло гораздо более девяти месяцев.

— Почему же до девяти месяцев нельзя было вскрыть завещания? — невольно перебила gnädige Frau Муза Николаевна.

— Это наше масонское правило! — объяснила та.— Мы убеждены, что человек не умирает полною смертью, восприняв которую, он только погружается в землю, как бы в лоно матери, и в продолжение девяти месяцев, подобно младенцу, из ветхого Адама преобразуется в нового, или, лучше сказать, первобытного, безгреховного Адама; из плоти он переходит в дух, и до девяти месяцев связь всякого умершего с землею не прекращается; он, может быть, даже чувствует все, что здесь происходит; но вдруг кто-нибудь будет недоволен завещанной им волей... Согласитесь, что это будет тревожить умершего, нарушится спокойствие праха. Поняли меня?

— Да,—отвечала Муза Николаевна, хотя, говоря правду, она очень мало поняла, а потому поспешила перевести разговор на сестру.— Но как же и в чем Сусанна проводит время?

— В том, что мучится и страдает и со мной ни о чем серьезно не говорит! — слегка воскликнула gnädige Frau, видимо, обижавшаяся, что Сусанна Николаевна, особенно после возвращения из-за границы, была с нею скрытна.— Однако я вас не задерживаю, поспешите к сестрице вашей!—заключила она и, уйдя, послала к Музе

Николаевне горничную, с помощью которой та очень скоро переоделась и прошла к сестре, сидевшей в прежде бывшей спальне Егора Егорыча и ныне составлявшей постоянное местопребывание Сусанны Николаевны. В комнате этой все оставалось по-прежнему; только портрет Юнга Сусанна Николаевна заменила мастерским портретом Егора Егорыча, который она упросила его снять с себя за границей и в этом случае опять-таки помог ей Терхов, который нарочно съездил из Бадена в Мюнхен и привез художника, еще молодого, но причисляющегося к первоклассным портретистам. Портретом же Юнга завладела gnädige Frau и повесила его над своей кроватью, считая изображение мистического поэта лучшим украшением своего скромного обиталища. Сусанна Николаевна, когда вошла к ней Муза, сидела с глазами, опущенными на исписанный лист бумаги. Увидев сестру, она подала ей этот исписанный лист и проговорила:

— Прочти и научи меня, что мне делать.

Муза Николаевна начала читать. Передавать читателю буквально, что писал Егор Егорыч, довольно трудно. Видимо, что он уже был в сильно болезненном состоянии. Мысли и чувствования у него путались и были накиданы без всякой связи. Одно можно было вывести из всех его отвлеченных выражений и восклицаний — это вопль невыносимых страданий и мук о том, что он заел молодость и весь век Сусанны Николаевны. Прося об отпущении ему этого греха, Егор Егорыч вместе с тем умолял свою супругу предаться всем радостям земной жизни, прелесть которой может оценить только человек, уже лежащий на одре смерти, и первою из земных радостей Егор Егорыч считал любовь. «Ты должна полюбить,— писал он прямо,— чувства этого во всей полноте ты еще не испытала. Благословляю тебя быть женой и матерью: любящее сердце твое требует этого. В выборе твоем ты не ошибешься: около тебя стоит человек, который любит тебя и достоин быть тобою любимым. Он есть Терхов. Я его внимательно изучал; это человек чистого сердца и глубокосерьезного ума. Идя среди искусов жизни под его руководством, ты будешь так же приближаться к богу, как приближалась бы, идя со мной по пути масонства». Далее шли приказания Сусанне Николаевне никого не брать в управляющие, кроме Сверстова, которому сверх того сейчас отделить по купчей крепости усадьбу в сорок душ.

В конце своего завещания Егор Егорыч просил Сусанну Николаевну о том, что если будет у ней ребенок — сын, то чтобы она исходатайствовала ему фамилию Терхов-Марфин.

— Все это очень умно, очень благородно, и тебе остается только поступить, как написано Егором Егорычем.

— Но, милая Муза,—воскликнула Сусанна Николаевна,— неужели ты не понимаешь, что не Егор Егорыч виноват передо мной, а я уморила его тем, что на его глазах увлекалась разными господами?!

— Ну, положим, так; я согласна с тобой, хоть тут слова правды нет; но теперь Егор Егорыч умер, и ты, я думаю, должна исполнять волю его во всех отношениях; а потому я завтра же напишу Терхову, чтобы он приехал.

— Сохрани боже, сохрани боже! — почти закричала Сусанна Николаевна.

— Почему же боже сохрани? — возразила Муза Николаевна.— Неужели в самом деле ты думаешь в двадцать восемь лет жить в этой глуши одна, ходить только на могилу мужа твоего? Ты с ума сойдешь, если будешь вести такую жизнь.

— Знаю, может быть,— подтвердила Сусанна Николаевна.— Но пойми ты меня: мне не только что людей всех здешних, но даже стен этих будет стыдно, что я сделалась женой другого.

— Тогда поедем в Москву, если тебе так стыдно здесь,— сказала на это Муза Николаевна.

— В Москве—да, лучше... там еще, может быть, я могу; но покуда не будем об этом говорить! — попросила Сусанна Николаевна.

Вскоре после того был накрыт ужин, на который пришел также и возвратившийся с своих хозяйственных хлопот доктор. Искренне обрадованный приездом Музы Николаевны, он с первых же слов отнесся к ней с вопросом:

— Извините вы меня, сударыня, но не известно ли вам, по жизни вашей в Москве, что творит там некто действительный статский советник Тулузов, которого было я упрятал в острог, но который уж давно выпущен?

— Известно немного,— ответила ему Муза Николаевна.— Он живет теперь большим барином, дает роскошные обеды и набирает себе все больше и больше откупов.

— Вот как-с!—произнес Сверстов с перекошенным от

затаенной злости лицом.— Егор Егорыч, значит, справедливо предсказывал, что у нас не Христос выгонит из храма мытарей, а мытари выгонят рыбарей, что масонство на долгие годы должно умереть, и воссияет во всем своем величии откупщицкая и кабацкая сила. Посмотрим-с, посмотрим, какую пользу правительство извлечет из этого для себя и для народа; но только я на этом не удовлетворюсь!.. Нет, я подам прошение на высочайшее имя: пусть или меня сошлют в каторгу, если я клеветник, или Тулузова в рудники упрячут, когда я докажу, что он убийца.

— Что за вздор ты говоришь! Разве можно теперь доказать это? — возразила мужу gnädige Frau.

— Так что же мне,— воскликнул он,— с неочищенной душой и предстать на страшный суд?

— Чем же не очищена душа твоя будет,— продолжала возражать gnädige Frau.— Ты пытался, ты доносил, тебе не поверили, и в грехе будут виноваты они, а не ты.

— Но я должен пытаться не один, а десять, двадцать раз! — кипятился доктор.

— Тогда тебя, пожалуй, сочтут за человека не в полном рассудке и посадят в сумасшедший дом! — предусмотрительно и насмешливо заметила gnädige Frau.

— Может быть,— согласился доктор,— по крайней мере, я тогда исполню все, что было в моей возможности.

— Да это исполняй, кто тебе мешает! — заключила этот спор тем же насмешливым тоном gnädige Frau, очень хорошо знавшая, что она сумеет не допустить мужа подать такую несообразную с здравым рассудком просьбу.

После ужина сейчас же все разошлись по своим комнатам, и Муза Николаевна, утомленная трехдневной дорогой, заснула было крепчайшим сном, но часу в первом ее вдруг разбудила горничная и проговорила испуганным голосом:

— Пожалуйте к сестрице, им очень нехорошо-с!

— Что такое с ней? — спросила, в свою очередь, с испугом Муза Николаевна.

— Не знаю-с; при них Фадеевна осталась, а я за вами побежала,— сказала горничная.

Муза Николаевна в одной сорочке, надев только на босую ногу туфли, пошла к сестре, которую она нашла

почти лежащей в объятиях Фадеевны и имеющей глаза закрытыми. Муза Николаевна осторожно подошла к ней.

— Тебе нездоровится, Сусанна? — окликнула она ее.

— Да, но дай мне твою руку! — отвечала на это Сусанна Николаевна, все-таки не открывая глаз.

Муза Николаевна приняла ее из объятий Фадеевны в свои объятия.

— Это, должно быть, с ними сделалось от глазу чьего-нибудь нехорошего; с камушка их надобно спрыснуть,— шепнула ей старуха и, уйдя из комнаты, тотчас же возвратилась назад с водою во рту.

Муза Николаевна не успела еще ничего из ее слов хорошенько понять, как старуха, проговорив: «Свят, свят, свят, господь бог Саваоф!» — брызнула на Сусанну Николаевну изо рта воды. Та вскрикнула и открыла глаза. Старуха, снова пробормотав: «Свят, свят, свят, господь бог Саваоф!»,— еще брызнула раз. Сусанна Николаевна уж задрожала всем телом, а Муза Николаевна воскликнула: «Что ты такое делаешь?» Но старуха, проговорив в третий раз: «Свят, свят, свят...» — опять брызнула на Сусанну Николаевну.

— Будет, будет; уйдите, оставьте меня с сестрой! — сказала ей, наконец, Сусанна Николаевна.

— Уйду, матушка; теперь все пройдет! — сказала уверенным тоном старуха и ушла.

— Что такое с тобой случилось? — спрашивала Муза Николаевна.

— Я...— отвечала Сусанна Николаевна, как бы боясь остановить свой взгляд на чем-нибудь попристальнее. Комната была освещена только горевшей перед образом казанской божьей матери лампадкой.— Я,— повторила Сусанна Николаевна,— видела вот его...— И она указала при этом рукой на портрет Егора Егорыча,— и того!..

— Терхова? — спросила Муза Николаевна.

— Да...— произнесла с усилием над собою Сусанна Николаевна.— Муж мне все указывал вдаль, а другой мне говорил: «Вы уморите меня, как уморили Углакова!»

— Ты заснула, Сусанна, и видела это во сне,— старалась ей объяснить Муза Николаевна.

— Нет, нет, я не спала; я давно не сплю ни одной ночи! — не согласилась Сусанна Николаевна.

— Тогда это твои обыкновенные галлюцинации,— продолжала успокаивать ее Муза Николаевна.

— Это и не галлюцинации,— возразила Сусанна Николаевна,— которые, когда бывали со мной, то очень неясные, а тут я рассмотрела все черты Егора Егорыча и слышала голос Терхова от слова до слова.

— Еще бы тебе не видеть и не слышать, когда ты только об этом и думаешь! Но вот что, мое сокровище: я не оставлю тебя здесь и увезу с собой в Москву; ты здесь окружена только тем, чего уж нельзя возвратить, а того, что ты желаешь видеть, нет около тебя. Кроме того, последнее твое видение может и сбыться: Терхов в самом деле может умереть от тоски! — решилась уж немножко припугнуть сестру Муза Николаевна.

Сусанна Николаевна при этих словах ее вздрогнула.

— Хорошо, я готова уехать отсюда! — проговорила она.

— Завтра же? — подхватила Муза Николаевна.

— Хоть завтра, мне все равно.

— А в Москве, что же, с Терховым ты увидишься?

— А в Москве вы делайте со мной, что хотите; пойми ты, что я утратила всякий ум и всякую волю.

— Ну, мы там знаем, что сделать! — заключила Муза Николаевна и на другой день объявила прислуге, что Сусанна Николаевна уезжает с ней надолго в Москву, и потому, чтобы все нужное для этого было приготовлено; сказала она также о том и gnädige Frau , у которой при таком известии заискрились слезы на глазах.

— Зачем же Сусанна Николаевна так спешит уехать отсюда? — спросила она печальным голосом.

— Затем,— отвечала ей с лукавой улыбочкой Муза Николаевна,— что ее там один господин очень ждет.

— Господин?..— произнесла с удивленным лицом gnädige Frau.— Но который тоже нравится и Сусанне Николаевне? — присовокупила она, смекнув, в чем дело.

— Нравится; кроме того, Егор Егорыч сам в своем завещании написал Сусанне, чтобы она непременно вышла за этого господина.

Лицо gnädige Frau приняло радостное выражение.

— Значит, он должен быть очень хороший человек.

— Такой же, как Егор Егорыч: умен, ученый, серьезный и вдобавок молодой.

Gnädige Frau скрестила при этом набожно руки на груди.

— Danke Dir, mein Gott, dafür[1]! — произнесла она и затем продолжала окончательно растроганным голосом:— У меня одна к вам, добрейшая Муза Николаевна, просьба: уведомляйте меня хоть коротенько обо всем, что произойдет с Сусанной Николаевной! Я считаю ее моей дочерью духовной. Когда она была замужем за Егором Егорычем, я знала, что она хоть не вполне, но была счастлива; теперь же, как я ни успокоена вашими словами...

Тут полившиеся из глаз слезы захватили дыхание у gnädige Frau, и она не в состоянии была продолжать своей речи.

— Непременно, непременно буду писать вам! — обещала ей Муза Николаевна.

Весь день после того прошел в сборах, в которых Сусанна Николаевна не принимала никакого участия. Она сидела в своей комнате и все время смотрела на портрет Егора Егорыча. В последние минуты отъезда она, впрочем, постаралась переломить себя и вышла в гостиную, где лица, долженствовавшие провожать ее, находились в сборе, и из числа их gnädige Frau была с глазами, опухнувшими от слез; Сверстов все ходил взад и вперед по комнате и как-то нервно потирал себе руки; на добродушно-глуповатой физиономии Фадеевны было написано удовольствие от мысли, что она вылечила барыню, спрыснув ее водой с камушка. Наконец явился Антип Ильич, почти ничего уже не видевший и едва державшийся на своих тонких ногах, но все еще благообразный из себя.

— Сядьте, старичок! — первое, что приказала ему gnädige Frau.

Антип Ильич, с трудом отыскав глазами стул, сел.

— Сядьте и вы! — приказала gnädige Frau Фадеевне.

И та опустилась на кресло, постаравшись сесть рядом с Сусанной Николаевной.

— Лошади поданы-с! — проговорил, взглянув в окно, Сверстов, видимо, мучимый всей этой сценой расставанья и решительно не понимавший, что тут, собственно, происходит.

Все поднялись. Сусанна Николаевна и Муза Николаевна сели на заднюю скамейку огромной четвероместной кареты, а горничные их — на переднюю. Вороные кони

---

[1] Мой бог, спасибо тебе за это! *(нем.)*

Егора Егорыча, запряженные уже шестериком с отчаянным молодым форейтором на выносе, быстро помчали отъезжающих; несмотря на то, долго еще видно было, что Сусанна Николаевна все выглядывала из кареты и смотрела по направлению к Кузьмищеву, в ответ на что gnädige Frau махала ей белым платком своим. Сверстову, наконец, наскучило такое сентиментальничание барынь.

— Пойдем в комнаты! — сказал он жене.

Та пошла за ним.

— Что за сумасшествие творит Сусанна Николаевна! Поехала в Москву на пыль, на жар... Что ей, видно, надоело здоровье? — проговорил доктор искренне сердитым голосом.

— Она поехала затем, что в ее жизни скоро, вероятно, произойдет перелом, и она выйдет снова замуж,— открыла мужу gnädige Frau.

— Немножко скоренько! —заметил с иронией доктор.

— Нисколько не скоренько! — возразила gnädige Frau.— Сам Егор Егорыч в своем завещании велел ей выйти за этого человека.

— Это, вероятно, за Терхова? — спросил доктор.

— Вероятно, за него,— подтвердила gnädige Frau.

— Тогда к чему же все эти слезы и волнения? Старый муж разрешил, новый, кажется, попадается человек хороший; надобно радоваться, а не печалиться,— дело житейское, обыкновенное!.. — восклицал доктор.

— То-то, что тут не очень обыкновенное,— возразила gnädige Frau,— потому что тебе говорить нечего, как Сусанна Николаевна любила Егора Егорыча; сверх того, горничная Сусанны Николаевны, которая, как ты знаешь, не врунья, говорила мне, что Сусанна Николаевна... еще не женщина!

Доктор был совершенно опешен.

— Неужели же то, что я как-то прежде подозревал, правда? — проговорил он.

— Что ты подозревал? — спросила его gnädige Frau.

Сверстов не вдруг ответил жене, а поерошив многократно свою голову, наконец, проговорил:

— Мне Егор Егорыч, бывши еще холостым, говорил как-то раз шутя, что он многократно влюблялся только духом, а не телом; но тогда зачем же было жениться?..

— Отчего же не жениться? Неужели же необходимо,

чтобы это было? — проговорила, слегка покраснев, gnädige Frau.

— Необходимо, чтобы было! — восклицал доктор.— Это тебе все физиологи скажут.

— Вздор! — отвергла gnädige Frau.

— Нет, не вздор! — воскликнул доктор и счел за лучшее прекратить с старой бабой об этом разговор.

Недели через две потом они получили от Музы Николаевны письмо, которым она уведомляла их, что Сусанна Николаевна вышла замуж за Терхова и что теперь пока молодые уехали за границу, где, вероятно, пробудут недолго, и возвратятся на житье в Кузьмищево.

Понятно, что отъезд молодых на чужбину случился оттого, что Сусанне Николаевне по выходе ее замуж и в Москве было стыдно оставаться, как будто бы в самом деле она совершила какой-нибудь постыдный поступок.

XV

Прирожденный Миропе Дмитриевне инстинкт все влек ее далее. Не ограничиваясь отдачею денег в рост, она задумала быть хозяйкой. Для сей цели Миропа Дмитриевна наняла верхний этаж одного из самых больших домов на Никитской и разбила этот этаж на номера, которые выкрасила, убрала мебелью и над окнами оных с улицы прибила вывеску: *Меблированные комнаты со столом госпожи Зверевой.* Одним из первых, желающих посмотреть ее номера, явился тот же мизерный камергер, ее должник на столь значительную сумму. Каким образом могло это случиться, Миропа Дмитриевна сначала объяснить даже себе не могла, потому что с тех пор, как вручила ему десять тысяч, она в глаза его не видала у себя в домике на Гороховом Поле, а тут вдруг он, точно с неба свалившись, предстал пред нею. В первые минуты Миропа Дмитриевна подумала, не деньги ли заплатить пришел к ней камергер, но оказалось не то.

— Миропа Дмитриевна, вы квартиры открыли? — воскликнул он необыкновенно радостным голосом и с чувством поцеловал у нее руку.

— Да,— отвечала ему коротко и не совсем благосклонно Миропа Дмитриевна.

— Тогда я непременно желаю занять у вас два — три номера!— продолжал тем же радостным голосом камергер.

— Каким образом вы, такой богатый человек,— возразила ему немножко обеспокоенным голосом Миропа Дмитриевна,— станете жить в номерах, тем больше, что вы теперь, вероятно, уж женились?

— Слава богу, нет-с! — воскликнул камергер.— Imaginez[1], за меня хотели выдать девушку самого большого света, но которая уже имела двоих детей от своего крепостного лакея!

— Возможно ли это? — произнесла с недоверчивостью Миропа Дмитриевна.

— Очень возможно-с! Вы не знаете после этого большого света! — проговорил с ударением камергер.

— Однако вы сами принадлежите к этому большому свету,— заметила ему не без ядовитости Миропа Дмитриевна.

— Я никогда душой не принадлежал свету! — отвергнул камергер как бы с некоторым даже негодованием.— Дело теперь не в том-с, а вы извольте мне прежде показать ваши номера!

Показывать номера для Миропы Дмитриевны было большим наслаждением, так как она сама была убеждена, что номера ее прехорошенькие; но камергер ей сказал даже еще более того: входя почти в каждый номер, он разевал как бы от удивления рот и восклицал:

— Это чудо, прелесть что такое! Смею вас заверить, что и за границей таких номеров немного.

— А вы бывали за границей? — спросила его Миропа Дмитриевна.

— Сколько раз, по целому году там живал! — соврал камергер, ни разу не бывавший за границей.— Но там номера существуют при других условиях; там в так называемых chambres garnies[2] живут весьма богатые и знатные люди; иногда министры занимают даже помещения в отелях. Но вы решились в нашей полуазиатской Москве затеять то же, виват вам, виват! Вот что только можно сказать!

— Мне приятно это слышать от вас,— проговорила Миропа Дмитриевна расчувствованным голосом.

Но когда затем они вошли в самый лучший и большой номер, то камергер не произносил уж определенных по-

---

[1] Вообразите, *(франц.)*

[2] меблированные комнаты *(франц.)*

хвал, а просто стал перечислять все достоинства и украшения номера.

— Почти четыре комнаты,— говорил он,— зеркала в золотых рамах, мебель обита шелком, перегородка красного дерева, ковер персидский... Ну-с, это окончательно Европа! И так как я считаю себя все-таки принадлежащим больше к европейцам, чем к москвичам, то позвольте мне этот номер оставить за собою!

Миропа Дмитриевна сделала маленькую гримасу.

— Он довольно дорог по цене своей,— сказала она.

— А именно? — спросил камергер.

— Без стола сто рублей, а со столом двести,— запросила ровно вдвое Миропа Дмитриевна против того, сколько прежде предполагала взять за этот номер.

— Я согласен на эту цену,— проговорил камергер с тою же поспешной готовностью, с какой он прежде согласился на проценты, требуемые Миропой Дмитриевной; но она опять-таки ответить на это некоторое время медлила.

— И что же это,— проговорила она, потупляя немного глаза,— опять будет новый заем?

— Нисколько-с, — отвечал ей камергер. — Скажите мне только, за сколько времени вы желаете получить деньги?

— Чем за большее, тем лучше,— отвечала, улыбнувшись, Миропа Дмитриевна.

— За три месяца угодно?

— Извольте,— проговорила Миропа Дмитриевна, и камергер, с своей стороны, вынув из кармана довольно толстый бумажник, отсчитал из него шестьсот рублей.

— Merci! — сказала Миропа Дмитриевна.— Сейчас я вам расписку дам в получке.

— Ни, ни, ни! — остановил ее камергер.— Я завтра же перееду к вам; значит, товар я свой получил, а раньше срока, я надеюсь, вы меня не прогоните?

— Еще бы! — произнесла с благородством Миропа Дмитриевна.

Камергер невдолге переехал к ней в номер, и одно странным показалось Миропе Дмитриевне, что никаких с собой вещиц модных для украшения он не привез, так что она не утерпела даже и спросила его:

— А у вас на этом подзеркальнике ни часов, ни ваз никаких не будет поставлено?

— Никаких! У меня их было очень много, но возиться с ними по номерам, согласитесь, пытка, тем больше, что и надобности мне в них никакой нет, так что я все их гуртом продал.

— И на большую сумму? — входила в суть Миропа Дмитриевна.

— Тысяч на пять,— отвечал камергер.

— А камердинер у вас, конечно, будет, а может быть, и двое,— продолжала Миропа Дмитриевна.

— Ни одного-с! — отрезал ей камергер.—Мне эти пьяницы до того надоели, что я видеть их рож не могу и совершенно удовлетворюсь вашей женской прислугой, которая, конечно, у вас будет?

— Но только не молоденькая и не хорошенькая,— заметила с лукавой улыбкой Миропа Дмитриевна.

— Этого не нужно, потому что сама хозяйка у нас хорошенькая,— проговорил камергер.

— Скажите, какой комплимент! — ответила довольно насмешливо Миропа Дмитриевна.

Но камергера это не остановило, он стал рассыпаться пред Миропой Дмитриевной в любезностях, как только встречался с нею, особенно если это было с глазу на глаз, приискивал для номеров ее постояльцев, сам напрашивался исполнять небольшие поручения Миропы Дмитриевны по разным присутственным местам; наконец в один вечер упросил ее ехать с ним в театр, в кресла, которые были им взяты рядом, во втором ряду, а в первом ряду, как очень хорошо видела Миропа Дмитриевна, сидели все князья и генералы, с которыми камергер со всеми был знаком. Ведя из театра свою даму под руку, он высказался прямо, что влюблен в нее с первой же встречи с нею. Такого рода объяснение, которого Миропа Дмитриевна почти ожидала, тем не менее, смутило ее и обеспокоило: первый вопрос, который ей представился, искренно ли говорит камергер; но тут явилась в голове ее иллюзия самообольщения. «Конечно, искренно!» — подшепнула ей эта иллюзия. Как бы то ни было, однако Миропа Дмитриевна решилась не сразу сдаваться на сладкие речи камергера.

— Вы забываете, что я замужем,— произнесла она.

— Очень это я помню,— продолжал воспламененным тоном камергер,— но муж ваш негодяй: он бросил вас, и вы должны теперь жить своим трудом!

— Ах, это что! Я всегда жила своим трудом!

— Так что же вас в этом случае останавливает? — вопросил самолюбиво камергер.

— Я вас очень мало знаю! — ответила ему с легким восклицанием Миропа Дмитриевна.

— Но в душе вашей вы ко мне ничего не чувствуете?.. Никакого расположения?..— воскликнул камергер, ероша как бы с некоторым отчаянием себе голову.

— Ничего особенного; я вижу только, что вы умный и любезный молодой человек,— объяснила ему Миропа Дмитриевна.

Камергер поник как бы в грусти головою.

— Буду стараться, чтобы вы лучше меня узнали,— проговорил он.

На этом пока и кончился разговор камергера с Миропой Дмитриевной. В следующие за тем дни Миропа Дмитриевна, сама обыкновенно сидевшая за общим столом своих постояльцев, очень хорошо замечала, что камергер был грустен и только по временам как-то знаменательно взглядывал на нее. Миропа Дмитриевна, несмотря на то, все-таки решилась повыдержать его. Но вот однажды камергер, встретив ее в коридоре, сказал такого рода фразу:

— Любовь в случае успеха вызывает мужчин на самоотвержение, на великие жертвы для женщин, а в случае неуспеха — на месть, на подлость, я даже не знаю на что...

Миропа Дмитриевна ничего ему на это не ответила, но, придя к себе в номер и размыслив, сильно встревожилась всеми словами его. «На месть? — вопросила она себя.— Но как же, чем он может мне мстить? Очень просто,— ответила ей на это ее предусмотрительная практичность,— не заплатит мне денег, которые должен, и тогда тягайся с ним по судам!» Мысль эта почти лишила рассудка Миропу Дмитриевну, так что ею снова овладели иллюзии. «Лучше уж отдаться ему,— подумала она.— Тогда он, конечно, заплатит мне всю сумму сполна и даже, может быть, подпишет на меня все свое остальное состояние». Приняв сие намерение, Миропа Дмитриевна в первый же после того обед сказала, конечно, негромко камергеру:

— Сядьте со мной рядом; вы самый старший мой постоялец и потому должны занимать первое подле меня место.

Камергер исполнил ее приказание и, быв за обедом очень весел, спросил Миропу Дмитриевну шепотом, не позволит ли она ему послать взять бутылку вина и выпить с ней на брудершафт.

— Нет, это лучше после.

— Но где же? — спросил торопливо камергер.— У вас?

— Нет, лучше у вас, в вашем номере.

— Да вы никогда ко мне не ходите.

— Сегодня я приду к вам.

Возникшая на таких основаниях любовь, конечно, поддерживалась недолго. Миропа Дмитриевна опомнилась первая, и именно в тот день, как наступил срок уплаты по векселю. Она ожидала, что он ей или заплатит, или, по крайней мере, скажет ей что-нибудь по этому предмету. Камергер, однако, ничего не сказал ей и как бы даже забыл о своем займе. Сколь ни скребли кошки на сердце у Миропы Дмитриевны, она молчала еще некоторое время; но, увидев, наконец, что камергер ничего с ней не заговаривает о деньгах, а в то же время продолжает быть любезен и даже пламенен к ней, так что Миропе Дмитриевне начало становиться это гадко. Отрезвившись таким образом от всякого увлечения сим невзрачным господином, который ей не нравился никогда, она, наконец, пришла к нему в номер и начала разговор кротким и почти нежным тоном:

— Страшно я нуждаюсь теперь в деньгах: постояльцы некоторые не платят, запасы дорожают, номера к осени надобно почистить. Не можешь ли ты мне уплатить твой долг?

Лицо камергера приняло мгновенно мрачное выражение.

— Я никак не ожидал от тебя услышать вдруг подобное желание! — проговорил он, гордо поднимая свою голову.— Согласись, что такой суммы в один день не соберешь, и я могу тебе только уплатить за номер и за стол, если ты считаешь себя вправе брать с меня за это.

Этих слов было достаточно, чтобы камергер сразу разоблачил себя: Миропа Дмитриевна поняла, что он хочет подтибрить себе ее десять тысяч и вдобавок еще потом жить на ее счет. Бесчестности подобной Миропа Дмитриевна не встречала еще в жизни, особенно между молодыми людьми, и потому вознамерилась подействовать хоть сколько-нибудь на совесть камергера.

— Я прошу тебя уплатить мне не вдруг, а в несколько сроков,— продолжала она прежним деликатным и кротким тоном.— Ты сам знаешь, что я женщина бедная и живу своим трудом.

— Напротив, я знаю, что ты женщина богатая, так как занимаешься ростовщичеством,— возразил камергер.— Но я любовь всегда понимал не по-вашему, по-ростовщически, а полагал, что раз мужчина с женщиной сошлись, у них все должно быть общее: думы, чувства, состояние... Вы говорите, что живете своим трудом (уж изменил камергер *ты* на *вы*), прекрасно-с; тогда расскажите мне ваши средства, ваши дела, все ваши намерения, и я буду работать вместе с вами.

— Но прежде вы расскажите мне о вашем состоянии,— изменила тоже и Миропа Дмитриевна *ты* на *вы,*— тоже буду помогать вам в них.

— Нет-с, после сегодняшнего разговора вашего со мной я не могу быть с вами откровенным, потому что вы слишком мало меня любите! — объяснил с надменностью камергер.

— Так зачем же я-то буду говорить вам? Дура, что ли, я? Помощи вашей мне никакой не нужно, а вы извольте заплатить мне долг и съезжайте с моей квартиры.

— О, если вы так заговорили, то смотрите, не раскайтесь! — воскликнул камергер ожесточенным голосом.

— Не раскаюсь,— произнесла Миропа Дмитриевна с решительностью, хотя слезы и готовы были хлынуть из ее глаз, не от любви, конечно, к камергеру, а от злости на него, что он так надругался над нею.

— Раскаетесь,— проговорил камергер,— потому что я вам долга моего тогда не заплачу!

— Заплатите; я сумею с вас взыскать! — едва достало силы у Миропы Дмитриевны проговорить, после чего она поспешно ушла.

Понятно, что после такого рода объяснения неискренняя любовь любящих превратилась в искреннюю ненависть. Камергер, впрочем, думал было еще как-нибудь уладить дело и даже написал с некоторым пылким оттенком письмо к Миропе Дмитриевне, в котором изъяснял, что вчера он вспылил по той причине, что совершенно не ожидал услышать от нее требования такой быстрой уплаты долга, который он, тем не менее, считает священным для себя долгом и возвратит ей *непременно.* Миропа Дми-

триевна была, однако, не из таких женщин, чтобы могла быть успокоена одними пустыми обещаниями. Как некогда она раз навсегда убедилась, что Аггей Никитич — дурак, непригодный к семейной жизни, так теперь была совершенно уверена, что камергер был подлец великий, против которого надобно держать ухо востро. На письмо камергера она ответила весьма коротко: «Прошу вас о том же, что вам говорила: съезжайте с моей квартиры и позаботьтесь об уплате мне должных вами денег. Я хоть и женщина, но законы знаю». Затем Миропа Дмитриевна бросилась в то присутственное место, из которого почерпала сведения о состоянии камергера. Там она совершенно неожиданно услыхала, что он давным-давно в отставке и что даже не камергер теперь.

— Но как же!.. Где его формулярный список? — воскликнула почти в полусумасшествии Миропа Дмитриевна.

— Он у нас, но ему выдан аттестат о службе,— отвечали ей.

— Покажите мне этот аттестат! — неистовствовала Миропа Дмитриевна.

Ей показали формулярный список и копию с аттестата.

— Но тут написано же, что у него триста душ!— кричала она.

— Написано,— ответили ей.

— Но где же они?

— В аттестате сказано, в какой губернии.

— Что ж, мне и ехать в такую губернию? — кричала Миропа Дмитриевна.

— Это как вам угодно,— ответили ей.

— Ну, я теперь знаю, что мне угодно! — воскликнула Миропа Дмитриевна и помчалась к обер-полицеймейстеру, которому с плачем и воплями выпечатала, что она бедная женщина, ограбленная теперь таким-то камергером, который живет у нее на квартире.

Обер-полицеймейстер, довольно привычный, вероятно, ко всякого рода женским воплям, ответил ей довольно сухо:

— Для меня словесного объяснения недостаточно, вы должны мне подать докладную записку.

— Она у меня готова, ваше превосходительство, вот она! — восклицала Миропа Дмитриевна, вынимая проворно из ридикюля бумагу, пробежав которую, обер-по-

лицеймейстер велел стоявшему навытяжке казаку съездить за толстеньким частным приставом.

Тот явился весьма скоро.

— В вашем участке проживает подавшая мне докладную записку госпожа Зверева? — спросил его начальническим тоном обер-полицеймейстер.

— В моем-с,— отвечал пристав, тоже пробежав записку.

— Госпожа эта здесь налицо! — сказал обер-полицеймейстер, указывая на Миропу Дмитриевну.— Разузнайте подробно дело и направьте госпожу Звереву, что следует ей предпринять.

Частный пристав поклоном головы выразил, что исполнит все приказанное ему, после чего, пригласив Миропу Дмитриевну отойти с ним в сторонку, стал ее расспрашивать. Миропа Дмитриевна очень точно и подробно все рассказала ему, умолчав, конечно, о своих сердечных отношениях к камергеру. Выслушав свою клиентку, частный пристав прежде всего довольно решительно объявил, что она ничего не взыщет с выгнанного из всех служб камергера.

— Но как же, у него в формуляре значится, что он имеет триста душ! — воскликнула Миропа Дмитриевна.

Частный пристав при этом невольно рассмеялся.

— Разве можно касательно состояния верить формулярам? — сказал он ей вежливо.

— Так что же я теперь должна делать, если он такой подлец, что пишет в бумагах, чего у него нет?

— Сделать вы с ним можете одно: посадить в долговое отделение, с платою, конечно, от себя каждомесячно...

— Но это будет только новая трата! — воскликнула Миропа Дмитриевна.

— Разумеется,— подтвердил частный пристав.

— Ну, тогда что же, он всю жизнь будет жить у меня на квартире и я должна буду содержать его?

— Нет, с квартиры мы его сгоним,— успокоил ее на этот счет пристав.

— Да, я прошу вас; иначе я буду уж жаловаться генерал-губернатору,— говорила окончательно рассвирепевшая Миропа Дмитриевна.

— Сгоним-с! — повторил толстенький пристав, и действительно на другой же день он еще ранним утром приехал к экс-камергеру, беседовал с ним долго, после

чего тот куда-то перед обедом уехал,— я не говорю: переехал, потому что ему перевозить с собой было нечего.

В тот же вечер экс-камергер сидел в кофейной и ругмя ругал Максиньке полицию, с чем тот вполне соглашался!

ЭПИЛОГ

Наступил сорок восьмой год. Во Франции произошел крупный переворот: Луи-Филипп бежал, Тюильри был захвачен, и объявлена была республика; главным правителем назначен был Ламартин; вопрос рабочих выступил на первый план. Революционное движение отразилось затем почти во всей Европе; между прочим, в Дрездене наш русский, Бакунин, был схвачен на баррикадах. Можно себе вообразить, каким ужасом отразилось все это на нашем правительстве: оно, как рассказывали потом, уверено было, что и у нас вследствие заимствования так называемых в то время западных идей произойдет, пожалуй, то же самое. Заимствование это главным образом, конечно, могло произойти из тогдашних журналов и из профессорских лекций. В силу этого гроза разразилась исключительно на этих двух отраслях государственного дерева. Цензоры, и без того уже достаточно строгие, подчинены были наблюдению особого негласного комитета. В университетах, и главным образом московском, некоторые профессора поспешили оставить службу. Философию поручено было читать попам. Обо всем этом я упоминаю потому, что такого рода крутые распорядки коснулись одного из выведенных мною лиц, а именно гегелианца Терхова, которому предстояла возможность получить кафедру философии; но ему ее не дали по той причине, что он был последователем Гегеля — философа, казалось бы, вовсе не разрушавшего, а, напротив, стремившегося все существующее оправдать разумом. Понимая ход событий, а также и страну свою, Терхов нисколько не удивился своей неудаче и переговорил об этом только с своей молодой супругой, с которой он уже проживал в привольном Кузьмищеве, где также проживали и Лябьевы, куда Муза Николаевна сочла за лучшее перевезти своего супруга на продолжительное житье, так как он в Москве опять начал частенько поигрывать в карты.

Вечер в кузьмищевском доме, сплошь освещенном: в

зале шумело молодое поколение, три-четыре дворовых мальчика и даже две девочки. Всеми ими дирижировал юный Лябьев, который, набрякивая что-то на фортепьяно, заставлял их хлопать в ладоши. Тут же присутствовал на руках кормилицы и сын Сусанны Николаевны, про которого пока еще только возможно сказать, что глаза у него были точь-в-точь такие же, как у Людмилы Николаевны. Вошел Сверстов, откуда-то приехавший, грязный, растрепанный.

— У-у-у! — закричали при виде его дети.

— У-у-у! — ответил он им, распростирая обе руки.

— Дядя, ну! — почти скомандовал ему молодой Лябьев.

Сверстов понял его и встал на четвереньки; мгновенно же на спину к нему влезли маленький Лябьев, два дворовые мальчика и девочка, которая была посмелее. Сверстов провез их кругом всей залы и, наконец, в свою очередь, скомандовал им: «Долой!» Дети соскочили с него и все-таки побежали было за ним, но он им сказал:

— Прочь, не до вас, играйте тут! — и сам прошел в гостиную, где сидело старшее общество.

Первая, конечно, его заметила gnädige Frau и, бросив на него беспокойный взгляд, спросила:

— Где ты это так долго был?

— У станового все беседовал,— отвечал он в одно и то же время злобно и весело.

— Зачем же он тебя, собственно, вызывал? — спросила с свойственной ей точностью gnädige Frau.

— Вызывал, чтобы прошение на высочайшее имя возвратить мне и отобрать от меня подписку, чтобы я таковых не подавал впредь.

— Я это ожидала, но этим все и кончилось? — продолжала gnädige Frau.

— Нет, не одним этим! — отвечал Сверстов и затем, потерев себе руки, присовокупил: — Он мне еще сообщил, что господин Тулузов, обличать которого мне воспрещено, зарезан своим бывшим управляющим по откупу, Савелием Власьевым, который, просидев с ним в остроге, стал с него требовать значительную сумму в вознаграждение. Тот ему не дал и погрозил ссылкой... А тут уж разно рассказывают: одни говорят, что этот управляющий сразу бросился на барина с ножом, но другие — что Тулузов успел его сослать и тот, однако, бежал из-под конвоя и, пробравшись

к своему патрону ночью, зарезал его. Словом, негодяй негодяя наказал, вот в чем тут главное поучение. Правительство у нас подобных людей не преследует, так они сами тонут в омуте своей собственной мерзости.

Рассказ этот произвел мрачное впечатление на всех, которое как бы желая рассеять, Муза Николаевна сказала:

— А я вам также могу сообщить новость! Я получила письмо, и ты не можешь вообразить себе, от кого...— обратилась она к мужу.— От Аггея Никитича!

— Что ж он тебе пишет? — спросила с живым любопытством Сусанна Николаевна.

— А вот прочтите! — отвечала Муза Николаевна, подавая письмо, прочитать которое взялся Терхов.

— «Добрейшая из добрейших Муза Николаевна! — начал он читать не без некоторой иронии в голосе.— Кроме вас, мне некому сказать о моем счастии. Я был всю жизнь ищущий, но не того, чего я желал. В масонстве я был дурак, миссионерство мне не удалось, и теперь я член одного из сибирских управлений, поэтому имею кусок хлеба. Но все это вздор перед тем, что со мной совершилось. Я в Сибири встретил пани Вибель, приехавшую туда с одним барином, Рамзаевым, который теперь стал сибирским откупщиком. Он, как аристократ великий, окружил ее богатою роскошью, но она — какая игра судьбы! — встретясь со мною в Иркутске, ринулась ко мне всей душой, наплевала на своего магната и живет теперь со мной на моей маленькой квартирке. Более писать вам ничего не смею. Как женщина умная и добрая, вы поймете меня».

На откровенных словах сего простого, но все-таки поэтического человека я и кончаю мой роман.

ДРАМАТУРГИЯ



Подготовка текста
и примечания

А. П. Могилянского («Горькая судьбина»), А. А. Рошаль («Самоуправцы»), С. Ф. Елеонского («Хищники»), М. П. Еремина («Ваал», «Просвещенное время»),

ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Чеглов-Соковин — молодой помещик.
Золотилов, зять его,— помещик пожилых лет и уездный предводитель дворянства.
Калистрат Григорьев — бурмистр Чеглова-Соковина.
Ананий Яковлев — оброчный мужик Соковина, промышляющий в Петербурге.
Лизавета — жена Ананья Яковлева.
Матрена — мать Лизаветы.
Баба Спиридоньевна — соседка Матрены.
Дядя Никон — задельный мужичонка.
Шпрингель — губернаторский чиновник особых поручений.
Исправник.
Стряпчий.
Сотский.
Мужики: Федор Петров; выборный; Давыд Иванов; молодой парень; кривой мужик; рябой мужик; понятые; бабы.

Действие происходит в деревне Соковина.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Хорошая крестьянская изба. В переднем углу стол, накрытый белой скатертью, а на нем хлеб с солью и образком.

ЯВЛЕНИЕ I

Старуха Матрена сидит на одной лавке, а на другой баба Спиридоньевна.

Спиридоньевна (*глядя в окно*). Не видать, бaунька... Ничуть еще!

Матрена. Ну где еще чуть! Поди, чай, дорога-то переметенная, все лошадке-то в упор... Прут, чай, шагом.

Спиридоньевна. Да кто, баунька, стрешником-то к нему поехал?

Матрена. Кто стрешником?.. На чужой уж, мать, подводе поехали; дядя Никон, спасибо, поохотился, нанялся за четвертачок, да чтобы пивца там испить, а то хоть плачь: свой-то, вон, пес работник другую неделю заехал на мельницу и не ворочает.

Спиридоньевна. А Лизавета-то, баунька, поехала?

Матрена. Поехала... женино тоже, мать, дело: как было не стретить... О, господи, господи... грехи наши тяжкие, светы наши темные!

Спиридоньевна *(осклабляясь)*. Опасается она, поди, баунька, его шибко?

Матрена. Как бы, кажись, мать, не опасаться! Человек этакой из души гордый, своебышный... Сама ведаешь, родителю своему... и тому, что ни есть, покориться не захотел: бросивши экой дом богатый да привольный, чтобы только не быть ни под чьим началом, пошел в наше семейство сиротское, а теперь сам собою раздышамшись, поди, чай, еще выше себя полагает.

Спиридоньевна. Как не полагать! Может, мнением своим, сударыня, выше купца какого-нибудь себя ставит. Сказывали тоже наши мужички, как он блюдет себя в Питере: из звания своего никого, почесть, себе и ра́вного не находит... Тоже вот в трактир когда придет чайку испить, так который мужичок победней да попростей, с тем, пожалуй, и разговаривать не станет; а ведь гордость-то, баунька, тоже враг человеческий... Может, за нее теперь бог его и наказует: вдруг теперь экую штуку брякнут ему!

Матрена. Да, эку штуку брякнут!.. Может, и жизни ее не пощадит: немало я над ней, псовкой, выла; слез-то уж ажно не хватает... «Вот, говорю, Ананий Яковлич из Питера съедет; как нам, злодейка, твое дело ему сказывать!» — «Что ж, говорит, мамонька, не твое горе: я в грехе, я и в ответе».

Спиридоньевна. А ребенок-то где, баунька? Зыбки-то, словно, не видать.

Матрена. В горенку перенесла; вчерася-тко-сь целый день с работницей оттапливала; мне-то ни слова

не голчит, а, вестимо, ради того, чтобы не так уж очень прямо кинулся в глаза Ананью Яковличу.

Спиридоньевна. Знает уж он, чай, баунька... Поди, еще в Питере разболтали ему: хорошее-то слово лежит, а дурное-то бежит.

Матрена. Нету, родимушка, нету; тоже кто вот из землячков пойдет, пытала я молить да кланяться, чтобы не промолвились о том. Опасно тоже было: человек еще молодой, живет в Питере, услышамши про свое экое приключение, пожалуй, и сам с круга свернет... Не пожалела она, злодейка, ни моей старости, ни его младости!

Спиридоньевна. То, баунька, хоть бы с себя теперь взять,— баба еще не перестарок; добро бы она в наготе да в нищете жила, так бы на деньгу кинулась; а то, ну-ко, в холе да в довольстве жила да цвела.

Матрена. Народом это, мать, нынче стало; больно стал не крепок ныне народ: и мужчины и женщины. Я вот без Ивана Петровича... Семь годков он в те поры не сходил из Питера... Почти что бобылкой экие годы жила, так и то: лето-то летенски на работе, а зимой за скотинкой да за пряжей умаешься да упаришься,— ляжешь, живота у себя не чувствуешь, а не то, чтобы о худом думать.

Спиридоньевна. Это, баунька, что? Кто богу хоть бы этим не противен, царю не виноват: я сама, грешница великая, в девках вину имела, так ведь то дело: не с кем другим, с своим же братом парнем дело было; а тут, ну-ко, с барином... Как только смелости ее хватило... И говорить-то с ними, по мне, и то стыдобушка!

Матрена *(махнув рукой)*. Не знаю, кто уж с кем у них заговаривал... Глупая да старая тоже ныне стала... Этта вот по осени болесть-то эта со мной была, так и остатки все иззабыла; а тоже помню, как он в те поры впервые в избу к нам пришел... Я на голбце лежала, соскочила. «Здравствуйте, говорю, ваше благородие!» А Лизунька-то что-то у печки тут возилась. «Здравствуй, говорит, старуха», и прямо к ней. «Твоими бы руками, Лизавета, надо золотом шить, а не кочергами ворочать. Ишь, говорит, какая ты расхорошая». А она, пес, стоит да ухмыляется ему. Я сглупа тоже поклонилась ему. «Благодарим, говорю, батюшко, покорно за ваше ласковое слово...» С этой, что ли, поры у них и пошло,— прах их знает!

С п и р и д о н ь е в н а. Много у них места-то, баунька, и без твоей избы было. В позапрошлую жниву барская помочь была, коли помнишь... Барин целый деньденьской у Лизаветы с полосы не сошел,— все с ней разговаривал.

М а т р е н а *(разводя руками)*. Ну вот!

С п и р и д о н ь е в н а *(продолжая)*. Да, а тут как пошабашили, народ тоже подпил: девки да бабы помоложе, мало еще, кобылы экие, на полосе-то уходились, стали песни петь и в горелки играть. Глядь, и барин к ним пристал: прыгает, как козел, и все становится с твоей Лизаветой в паре и никак ладит, чтоб никто ее не поймал. Дивовали, дивовали мы в те поры: «Чтой-то, мол, это, матоньки мои, барин-то уж очень больно Матренину Лизавету ласкает?»

М а т р е н а. Ничего я, мать, не знала и не ведала... Слеп, видно, материнской-то глазок на худое в детках. Как бы не у матери родной, а у свекрови злой жила, так не посмела бы этого сделать. Хошь тоже много спасибо и добрым людям: подвели, может, да подстроили...

С п и р и д о н ь е в н а. Один у нас, голубонька, добрый человек, злодей наш бурмистр Калистрат Григорьич; вся деревня голосит теперь о том, не зажмешь рты-то. Кому теперь, окромя его, наустить господина на женщину замужнюю, а теперь, ну-ко, экими своими услугами да послугами такую над ним силу взял, что на удивленье: пьяный да безобразный, говорят вон дворовые, с праздника откедова приедет, не то, чтобы скрыться от барских глаз, а только то и орет во все горло: «Мне-ста барин все одно, что младший брат: что̀ я, говорит, задумаю, то он и сделает...» Словно, мать, колдовство какое над ним сотворил,— право-тка!

М а т р е н а. Ну, матушка, мудреное ли это колдовство: человек умный, богатый да лукавый! В те поры, как с злодейкой-то моей это приключилось, он приходит ко мне. «Матрена, говорит, у тебя баба без мужа понесла; мотри, чтобы она над собой али над ребенком чего не сделала,— ты за то отвечать будешь». Я так, мать, и ахнула, ничего того не думаючи и не ведаючи; а она, псовка, и входит на эти слова. Я было накинулась на нее, а он на меня затопал. «Не трожь, говорит, ее; сам барин про то знает и простил ее».

Спиридоньевна (*взглянув в окно*). Едут, баунька, едут!..

Матрена. Ну вот, слава те, царица небесная! Стать было: с хлебом и с солью тоже стретить охота. (*Берет со стола хлеб и становится против дверей.*)

Спиридоньевна (*продолжая глядеть в окно*). Рядом, баунька, Ананий-то Яковлич с Лизаветой сидят. На-ка, глянь, под руки ее высадил; таково ласково; ничего еще, сердешный, видно, не знает!

ЯВЛЕНИЕ II

Входят Ананий Яковлев в сибирке хорошего сукна, Лизавета и дядя Никон с кисой на плече.

Дядя Никон. Вот те, бабушка, купца питерского привез!.. У меня лошадь важная: сто пудов вали на нее, свезет,— верно!

Ананий Яковлев сначала помолился перед образом, потом поклонился три раза матери в ноги и, приложившись к иконе, поцеловался с ней.

Матрена. Здравствуй, батюшка, сокол мой ясный!

Дядя Никон. Кланяйся, брат Ананий Яковлич, и мне в ноги; сделай и мне это почтение... (*Берет от Матрены хлеб с солью.*)

Ананий Яковлев (*слегка улыбаясь*). Что ж, отчего? Можем-с!.. (*Кланяется дяде Никону вполспины, потом целуется с ним.*)

Дядя Никон. Вот это, брат, так... ладно... Стариков, брат, уважай... На стариковском, значит, разуме свет держится, аки на китах-рыбах,— верно!

Ананий Яковлев (*жене*). Возьмите уж и вы-с!

Лизавета, конфузясь, берет хлеб с солью; Ананий Яковлев кланяется ей в ноги и потом целует ее.

Матрена (*толкая дочь*). Поклонись, дура, сама-то ему в ноги!

Лизавета кланяется; Ананий Яковлев поднимает ее и опять целует.

С п и р и д о н ь е в н а *(жеманно)*. Здравствуйте, батюшка, Ананий Яковлич, какой нарядный да хороший стали! Как живете-можете?

А н а н и й Я к о в л е в. Ничего-с: поманеньку, бог грехам терпит... *(К дяде Никону.)* Одолжите, пожалуйста, на минуточку кису-то.

Д я д я Н и к о н *(сбрасывая с плеча кису)*. На-те вот вам черта-борова какова... Девки и бабы... значит... иди сюда, лапки! Всем будут подарки...

А н а н и й Я к о в л е в *(вынимая из кисы драдедамовый платок и подавая его матери)*. Пожалуйте-с!

М а т р е н а *(целуя его в локоть руки)*. Ай, батюшка, благодарствую, красавец мой бриллиантовый!

С п и р и д о н ь е в н а. Ну вот, баунька, настоящий тебе старушечий: к лицу будет... оченно пойдет.

М а т р е н а. Нешто, мати!.. Наряжают да ублажают меня, а я, старая, и поблагодарить-то не умею как хорошенько.

А н а н и й Я к о в л е в *(вынимая из кисы кусок шелковой материи и подавая его жене)*. Это для вас теперь... Пожалуйте-с!..

Л и з а в е т а молча берет и целует у мужа руку.

С п и р и д о н ь е в н а *(рассматривая с завистью подарок Лизаветы)*. Вона, мать, гарнитуры-то какие: мы и не видывали здесь этаких. На-ка, и бархатцу-то на оторочку привез. Словно кукла нарядная, будешь ходить у нас в шелках да в бархате.

А н а н и й Я к о в л е в *(Спиридоньевне)*. А вас, извините на том, не чаял здесь захватить... Позвольте, по крайности, хоть полтинничком поклониться... *(Дает ей полтинник.)*

С п и р и д о н ь е в н а. Ой, чтой-то судырь-батюшка!.. Оченно вам благодарна... *(Целует у него руку.)*

Д я д я Н и к о н. А мне для че красной шапки не привез? Это уж, брат, не ладно, право!

А н а н и й Я к о в л е в. Ныне народ-то прозорлив стал: и без красной шапки понимают человека.

С п и р и д о н ь е в н а. Уж именно, судырь!.. Может, наскрозь видят, кто каков есть человек.

М а т р е н а *(зятю)*. Садись, батюшка, за стол-то... *(Дочери.)* Поди там, вынимай из печи-то, что есетко... *(Спиридоньевне.)* Анна Спиридоньевна! Потрапезуй,

матка, с нами... *(Дяде Никону.)* Полно, старый хрен, болтаться-то тут тебе, словно мотовило. Залезай в передний-то угол.

Дядя Никон *(садясь)*. Залез, баушка!.. Я те водки привез, ей-богу! Шельма твой Анашка, питерский, ведь, кулак, распоясал мошну на один полштоф да и думает: баста! «Нет, брат, говорю, шалишь! С тетки Матрениным пирогом еще надо водку пить!..» *(Вынимает из кармана полуштоф и гладит его.)* Вот оно, благословенное-то мое!.. Вынимай, баушка, ковши да ендовы!

Матрена *(ставя из шкафчика небольшие стаканы)*. Пьешь и стаканчиками,— ныне вино-то дорогое!

Все садятся за стол; Лизавета подает щи и свеженину.

Ананий Яковлев *(жене)*. Что ж, садитесь и вы! Маменька, позвольте им-с! Давно тоже мы рядком-то с ней не сиживали.

Матрена *(дочери)*. Садись!

Дядя Никон *(первый наливает и пьет)*. Здравия желаем, с похмелья умираем: нет ли гривен шести, душу отвести...

Матрена *(Спиридоньевне)*. Анна Спиридоньевна, выпей, матушка!

Спиридоньевна. Ой нет, баунька, неохота что-то.

Матрена. Да полно, чтой-то! Ты попригубь, так, может, и понравится.

Спиридоньевна *(выпивая)*. С Успеньева дни, мать, не пила. Да сама-то ты выпей, хозяюшка почтенная!

Матрена. О, полно-ко, мать, какая уж я пивица... *(К зятю.)* Ты сам-то, батюшка, не выпьешь ли хоть перед хлебом-то с солью?

Ананий Яковлев. Нет-с, благодарю; не имею той привычки.

Дядя Никон. Вот Лизунька так выпьет, потому самому... с радости... муж приехал... веселей, значит, принимать его будет: вино, значит, теперь дух человеку дает,— верно!

Ананий Яковлев. Пошто им пить? Что это за глупые речи: скучно даже слушать!

Спиридоньевна. Что, батюшко, Ананий Яковлич, вологодским трактом, чай, изволил ехать?

Ананий Яковлев. Нет-с, какое тут вологодский! Пустое дело это нынче тракт стал: почесть, что заброшен!

Теперь чугунка народу тысячи по три зараз везет и, словно птица, летит: верст по тридцати в час уходит.

Матрена и Спиридоньевна (*в один голос*). Ой, батюшки, чтой-то? Будто уж и по тридцати верст?

Ананий Яковлев. Это еще не так очень много... так как, значит, дело это еще у нас внове: так опасаются тоже маненько; а что в иностранных землях она и шибче того ходит!.. Теперь, хоша бы насчет времени этим большое сбереженье... значит, и на харчах барыш; бока тоже не наломает; сидишь, словно в комнате, не тряхнет, не вальнет: штука отменная-с!

Дядя Никон. Это, брат, я знаю... видал... Теперь тысяча человек едет... Махина с дом... а лошадей четверка только везет, ей-богу!.. Потому самому дорога гладкая... по этому... по шоссе идет...

Ананий Яковлев (*несколько потупившись*). Никакой тут лошади нет-с... ни единой... А ежели и есть какая, так ее самоё везут... Вы это, может, дилижанец видали; а чугунка другое дело: тут пар действует.

Спиридоньевна. Да как же это, батюшки, пар-то? Он у нас токмо что в бане и есетка, да горшки им парить умеем.

Матрена. Дошел, видно, нынче народ до всего.

Дядя Никон. И это, брат, знаю, что ты говоришь, и то знаю!.. А вы уж: ах, их, ух!.. И дивуют!.. Прямые бабы, право! Митюшка, кузнец, значит, наш, досконально мне все предоставил: тут не то что выходит пар, а нечистая, значит, сила! Ей-богу, потому самому, что ажно ржет, как с места поднимает: тяжело, значит, сразу с места поднять. Немец теперь, выходит, самого дьявола к своему делу пригнал. «На-ка, говорит, черт-дьявол этакой, попробуй, повози!»

Спиридоньевна. Ой, полно-ко, чтой-то все чертыкаешься: нашел место за столом.

Дядя Никон. Ей-богу, так, курносая! А ты что думала: я больше его знаю... что он бахвалит?

Ананий Яковлев (*солидно*). Никакого тут дьявола нет, да и быть не может. Теперь даже по морской части, хошь бы эти паруса али греблю, как напредь того было, почесть, что совсем кинули, так как этим самым паром стало не в пример сподручнее дело делать. Поставят, спокойным манером, машину в нутро корабля; она вертит колеса, и какая ни на есть там буря, ему нипочем. Как тепе-

рича стал ветер крепчать, развели огонь посильнее, и пошел скакать с волны на волну.

Матрена. Ничего, мать Спиридоньевна, мы, век-то с тобой изживучи, не увидим.

Спиридоньевна. Какие уж мы, баунька, видальщицы; только на осины да на березы и гляди, сколько хошь... Вона Лизавета, поди, чай, побывает с мужем в Питере, наглядится на все!

Ананий Яковлев. Дляче им не побывать!.. Может быть, даже нынешним годом этот случай приладим. Чем чужую кухарку нанимать, так лучше своя будет.

Лизавета *(вспыхивая)*. Где уж нам, судырь, в Питер ехать: женщины мы деревенские, небывалые, и глядеть мы по-тамошнему не умеем, а не то, что говорить.

Ананий Яковлев. Что ж вы так себя оченно низко ставите; а как мы тоже Питер знаем, так вам надо быть там не из худых, а, может, из самых лучших; по крайности я так, по своему к вам расположению, понимаю.

Дядя Никон. Ты, Анашка, меня, значит, в Питер возьми, ей-богу, так! Потому самому... я те все документы представить могу. Меня, может, токмо што в деревне родили, а в Питере крестили,— верно! Теперь барин мне, значит, говорит: «Никашка, говорит, пошто ты, старый пес, свои старые кости в заделье ломаешь,— шел бы в Питер». «Давайте, говорю, ваше высокородие, тысячу целковых; а какой я теперича человек, значит, без денег... какие артикулы могу представить али фасоны эти самые... и не могу».

Ананий Яковлев. В Питере-то и без ваших денег много в кабак уходит... *(Обращаясь к Спиридоньевне.)* Опять теперь, Анна Спиридоньевна, насчет того же пару...

Спиридоньевна. Да, да, батюшко, голубчик, поговори-ка о хорошем: больно повадно твои умные речи слушать-то.

Ананий Яковлев. Ни одной, почесть, фабрики нет без него. На другую, может, прежде народу требовалось тысячи две, а теперь одна эта самая машина только и действует. Какие там станы есть али колеса, все одна ворочает: страсти взглянуть, когда вот тоже случалось видать, и человек двадцать каких-нибудь суется промеж всего этого, и то больше для чистоты.

Дядя Никон. Ты теперича, Анашка, говоришь: машина!.. Что такое значит машина?

Ананий Яковлев *(не обращая на него внима-*

ния). Начальство теперь насчет только того в сумнении находится, что дров оченно много требуется... леса переводятся... ну так тоже землю этакую нашли... болотину, значит, с разными этакими кореньями, пнями в ней... Все это самое прессуют, сушат, и она гореть может! Каменный уголь тоже из иностранных земель идет и тем большое подспорье для леса делает.

Дядя Никон. Ты не можешь знать, что такое машина, потому самому — ты человек торговый, а человек мастеровой, значит, знает это. Ты теперича знаешь Николу Морского?

Ананий Яковлев *(улыбаясь).* Как не знать-с: церковь известная.

Дядя Никон. Я теперича эту самую, значит, колокольню щекотурил. Теперича, значит, машина сейчас была не в своем виде, я... трах... упал... сажен сорок вышины было... барин тут из военных был: «Приведите, говорит, его, каналью, в чувство!..» Сейчас привели... Он мне два штофа водки дал, я и выпил.

Спиридоньевна. Как тя, старого хрыча, всего не расшибло: с этакой вышины кувыркнулся.

Ананий Яковлев. Верно ли вы расстояние-то промеряли?.. А то словно бы, кажись, как с сорока-то сажен человек слетит, так водки не захочет.

Дядя Никон. О, черт, дьявол, право! Не захочет?.. Захотел же! Вот и теперь выпью,— верно! *(Пьет.)* В главнокомандоческом тоже доме графа Милорадыча в зале, с двойным просветом, карниз выводили, так тоже надо было, паря, каждую штуку потрафить. Я как теперича на глазомер прикинул, так и ставь тут: верно будет.

Ананий Яковлев. Всему делу, выходит, уставщик вы были?

Дядя Никон. Был, брат, я всем... Теперича, что́ такое значит мастеровой человек али купец? Я теперича свое дело в своем виде представить должен... А что теперича торговый?.. Торговый человек... на вот тебе, значит, на грош говядинки купил, а на гривну продал... Торговый человек, значит, плут!

Ананий Яковлев. За што же вы так все звание порочите; мы тоже места имеем; раз обманул, так другой и брать не станут.

Дядя Никон. Не станут, да! Что такое теперь, значит, купец? Мыльный пузырь! Трах! Ткнул его пальцем —

и нет его! А мастеровой человек... Графу Милорадычу теперь надо коляску изготовить, платье себе испошить, супруге своей подарком какую-нибудь вещь сделать,— мастеровой человек и будь готов, сейчас команда: «Пошел во дворец!» — и являйся.

Ананий Яковлев. Нет-с, это словно бы не так! Торговый человек завсегда должен паче себя наблюдать, чем мастеровой. У нас теперь, по нашей разносной торговле, может, праздника христова нет, все мы перед публикой на глазах быть должны, а мастерового человека мы тоже знаем: шесть дней поработал, а седьмой, пожалуй, и в кабаке за бочкой проваляется.

Дядя Никон. Никогда этого не может быть. Я теперича мастеровой человек; а уж бабе меня не надуть,— шалишь!

Все бабы бледнеют: Никон тянется за водкой.

Спиридоньевна *(не давая ему)*. Полно-ко, полно, старый пес, и то уж налопался: говоришь, не знаемо что.

Матрена. Шел бы, батюшко-старичок, домой... тоже умаялся, чай, с дороги. Из кушанья ничего уж больше не будет, извини на том!

Дядя Никон *(не обращая ни на кого внимания)*. У меня теперь, слава те господи, полна изба ребят, а все мои, все Никонычи, как раз так пригнано,— верно! А у торгового человека, может... да... торговому, видно, во всем от бар счастье, и тут лишняя копейка даром перепала.

Ананий Яковлев. К чему же это вы речь вашу такую клоните? Мудрено что-то уж оченно заговорили.

Лизавета и Матрена сидят как полумертвые.

Спиридоньевна. О, мелево, мелево и есть человек! За хозяйским кушаньем сидит, хозяйское вино пьет, а только обиды экие говорит,— глупая башка этакая!

Дядя Никон. Что ж сидит? Я и встану... *(Встает из-за стола.)* За что он теперь сердце мое раздражает? Что он за человек теперь выходит, коли я одним словом его оконфузить могу?

Ананий Яковлев. Какое же это слово такое, чтоб оконфузить меня?

Дядя Никон. Слово, да! Что ты, купец али генерал?.. Барский свояк ты и больше ничего... Чей у тебя ре-

бенок, ну-ко говори!.. В том, значит, только и счастье твое, что твоя коренная у барина на пристяжке пошла, право, черти, дьяволы экие!.. *(Уходит).*

ЯВЛЕНИЕ III

Те же без Никона.

Ананий Яковлев *(стремительно вставая из-за стола)*. Фу ты, господи, твоя воля! За что этот человек облаял, обнес тебя экими словами?

Спиридоньевна *(струся)*. Пора, однакоче, домой. Прощай, баушка Матрена!.. Прощай, Лизавета Ивановна!.. Прощайте, батюшка Ананий Яковлич!

Ананий Яковлев *(торопливо)*. Прощайте-с!

Спиридоньевна уходит.

Ананий Яковлев *(теще)*. Что это, маминька, за слова его были?

Матрена *(помолчав)*. Ну, батюшко, изволил, чай, слышать.

Ананий Яковлев. Про какого он это тут ребенка болтал?

Матрена. Может статься, про Лизаветина паренька говорил.

Ананий Яковлев *(побледнев)*. Про какого это Лизаветина паренька?

Матрена. Паренек у нее... полутора месяца теперь.

Ананий Яковлев. А!! Дело-то какое... *(Матери.)* Теперь, маминька, значит, повыдьте маненько.

Матрена. Помилуй, батюшко, ты ее хоть сколько-нибудь!.. Накажи ты ее сколько хошь: пусть год-годенской пролежит!.. Не лишай ты только ее жизни, не ради ее самоё, злодейки, а ради своей головушки умной да честной... *(Кланяется ему в ноги.)*

Ананий Яковлев *(поднимая ее)*. Нет, ничего-с... Пожалуйте только, повыдьте-с.

ЯВЛЕНИЕ IV

Ананий Яковлев и Лизавета.

Некоторое время продолжается молчание; Ананий Яковлев смотрит Лизавете в лицо; та стоит, опустив глаза в землю.

Ананий Яковлев. Что ж это вы тут понаделали, а?

Лизавета молчит.

Ананий Яковлев. Говорите же! Отвечайте хоша что-нибудь!..

Лизавета. Что мне говорить?.. Никаких я супротив вас слов не имею. Какая есть ваша воля надо мной, такая и будет.

Ананий Яковлев (*усмехаясь злобно*). Гм... воля моя!.. (*Приосанившись.*) С кем же это, выходит, любовь ваша была?

Лизавета. Никон Семеныч говорил вам. Что ж? Слова их справедливые были.

Ананий Яковлев. Ничего я его глупых слов не понял!.. (*Опять молчание.*) Он тут про барина что-то болтал.

Лизавета. А кто же окромя их?.. Они самые.

Ананий Яковлев. Да, так вот оно куды пошло... В высокое же званье вы залезли!

Лизавета. Не по своей то воле было: тогда тоже стали повеленья и приказанья эти делать, как было ослушаться?

Ананий Яковлев. Какие же это могли быть повеленья и приказанья? Ежели теперича, как вы говорите, силой вас к тому склоняли, что же мать ваша — потатчица — смотрела? Вы бы ей сейчас должны были объявление сделать о том.

Лизавета. Ничего мамонька про то не ведали; могла ли я, ради стыда одного, говорить им про то? Только бы их под гнев подвела. Какая могла от них помощь в том быть?

Ананий Яковлев. Ах ты, лукавая бестия! Коли ты теперича так мало чаяла помощи в твоей матери, дляче ж мне не описала про то? Это дело столь, значит, дорого и чувствительно для души моей, что я, может, бросимши бы все в Питере, прискакал сюда честь мою соблюсти... Теперь тоже, сколь ни велика господская власть, а все-таки им, как и другим прочим посторонним, не позволено того делать. Земля наша не бессудная: коли бы он теперича какие притеснения стал делать, я, может, и до начальства дорогу нашел,— что ж ты мне, бестия, так уж оченно на страх-то свой сворачиваешь, как бы сама того, страмовщица, не захотела!

Лизавета (*начиная плакать*). Ни на што я не сворачиваю; а что, здесь тоже живучи, что мы знаем? Стали стращать да пужать, что все семейство наше чрез то по-

гибнуть должно: на поселенье там сошлют, а либо вас, экого человека, в рекруты сдадут. Думала, чем собой других подводить, лучше на себе одной все перенесть.

Ананий Яковлев *(ударив себя в грудь)*. Молчи уж, по крайности, змея подколодная! Не раздражай ты еще пуще моего сердца своими пустыми речами!.. Только духу моего теперь не хватает говорить с тобою как надо. Хотя бы и было то, чего ты, вишь, оченно уж испугалась, меня жалеючи, так и то бы я легче вынес на душе своей: люди живут и на поселеньях; по крайности, я знал бы, что имя мое честное не опозорено и ты, бестия, на чужом ложе не бесчестена!

Лизавета продолжает плакать.

Ананий Яковлев *(начав ходить по избе)*. То мне теперича горчей и обидней всего, что, может, по своей глупой заботливости, ни дня, ни ночи я не прожил в Питере, не думаючи об вас; а мы тоже время свое проводим не в монастырском заточении: хоша бы по той же нашей разносной торговле — все на народе; нашлись бы там не хуже тебя, криворожей, из лица: а обращеньем, пожалуй, и чище будут... За какие-нибудь три целковых на худое-то с тобой бы пошли, так я и то — помыслом моим, а не то что делом,— не хотел вниманья на то иметь, помня то, что я человек семейный и христианин есть!

Лизавета. Жимши за экие дальние места экие годы, станете ли без бабы жить? Как я могла то знать?

Ананий Яковлев. Нет, ты знала это, шельма бесстыжая! Коли бы я теперича на стороне какое баловство имел, разве я стал бы так о доме думать? Кажись, ни письмами, ни присылами моими забыты не были. О последней сохе писал и спрашивал: есть ли она, да исправлена ли?

Лизавета. Голова моя не с сего дня у вас все повинна и лежит на плахе: хотите — рубите ее, хотите — милуйте.

Ананий Яковлев. Твоя, вишь, повинна, а ты чужую взяла да с плеч срезала, и, как по чувствам моим, ты теперь хуже дохлой собаки стала для меня: мать твоя справедливо сказала, что, видишь, вон на столе этот нож, так я бы, может, вонзил его в грудь твою, кабы не жалел еще маненько самого себя; какой-нибудь теперича дурак — сродственник ваш, мужичонко — гроша не стоящий, мог

меня обнести своим словом, теперь ступай да кланяйся по всем избам, чтобы взглядом косым никто мне не намекнул на деянья твои, и все, что кто бы мне ни причинил, я на тебе, бестии, вымещать буду; потому что ты тому единая причина и первая, значит, злодейка мне выходишь... Ну, нюнить еще!.. Пока не бьют и не тиранят, сколь ни достойна того.. В жизнь свою, господи, никогда не чаял такой срамоты и поруганья... Ну-ко, сказывай, придумывай-ка, что тут делать, бестия ты этакая!.. *(Садится за стол и закрывает лицо руками; молчание.)*

Ананий Яковлев *(вставая)*. Одного стыда людского теперь обегаючи, заневолю на себя все примешь; по крайности для чужих глаз сделать надо, что ничего аки бы этого не было: ребенок, значит, мой, и ты мне пока жена честная! Но ежели что, паче чаяния, у вас повторится с барином, так легче бы тебе... слышишь ли: голос у меня захватывает!.. Легче бы тебе, Лизавета, было не родиться на белый свет!.. Кому другому, а тебе пора знать, что́ я за человек: ни тебя, ни себя, ни вашего поганого отродья не пощажу, так ты и знай то!.. Это мое последнее и великое тебе слово!..

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и работница.

Работница *(приотворив двери и заглядывая в избу)*. Лизавета Ивановна, поди, мать, покорми ребенка-то грудью, а то соски никак не берет: совала, совала ему... окоченел ажно, плакамши.

Ананий Яковлев вздрагивает; Лизавета не трогается с места.

Ананий Яковлев. Что ж ты сидишь тут? Ну! Еще привередничает, шкура ободранная! Сказано тебе мое решенье,— пошла!..

Лизавета молча уходит.

ЯВЛЕНИЕ VI

Ананий Яковлев *(ударив себя в грудь)*. Царь небесный только видит, сколь, значит, вся внутренняя моя теперь облилась кровью черною!..

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Деревенский помещичий кабинет.

ЯВЛЕНИЕ I

Чеглов-Соковнин, худой и изнуренный, в толстом байковом сюртуке, сидит, потупивши голову, на диване. Развалясь, в креслах помещается Золотилов, здоровый, цветущий, с несколькими ленточками в петлице и с множеством брелоков на часах.

Золотилов. Как ты хочешь, друг любезнейший, а я никак не могу уложить в своей голове, чтобы из-за какой-нибудь крестьянки можно было так тревожиться.

Чеглов (*с горькой усмешкой*). Что ж тут непонятного?

Золотилов. А то, что подобные чувства могут внушать только женщины, равные нам, которые смотрят одинаково с нами на вещи, которые, наконец, могут понимать, что́ мы говорим. А тут что? Как и чем какая-нибудь крестьянская баба могла наполнить твое сердце?.. От них, любезный, только и услышишь: «Ах ты мой сердешненькой, ах ты мой милесинькой!..» Отцы наши, бывало, проматывались на цыганок; но те, по крайней мере, женщины страстные; а ведь наша баба — колода неотесанная: к ней с какой хочешь относись страстью, она преспокойно в это время будет ковырять в стене мох и думать: подаришь ли ты ей новый плат... И в подобное полуживотное влюбиться?

Чеглов (*с досадой*). Что ж ты мне все этой любовью колешь глаза? Какое бы ни было вначале мое увлечение, но во всяком случае я привык к ней; наконец, я честный человек: мне, бог знает, как ее жаль, видя, что обстоятельства располагаются самым страшным, самым ужасным образом.

Золотилов. Ничего я в твоих обстоятельствах не вижу ни страшного, ни ужасного.

Чеглов. А муж теперь пришел: кажется, этого достаточно!

Золотилов. Что ж такое, что пришел?

Чеглов. Как что такое? Ты после этого отнимешь у этих людей всякое чувство, всякой смысл? Должен же он узнать?

Золотилов. Ну, и узнает и очень еще, вероятно, будет доволен, что господин приласкал его супругу.

Чеглов *(делая нетерпеливое движение)*. Это вы бываете довольны, когда у вас берут жен кто повыше вас, а не мужики.

Золотилов. Да... ну, я этого не знаю. Во всяком случае, если бы твой риваль даже и рассердился немного, ну, поколотит ее, может быть, раз-другой.

Чеглов. Не говори так, бога ради, Сергей Васильич: к больным ранам нельзя так грубо прикасаться. У меня тут, наконец, ребенок есть, моя плоть, моя кровь; поймите вы хоть это по крайней мере и пощадите во мне хоть эту сторону!.. *(Подходит и пьет водку.)*

Золотилов. Что ж такое ребенок? Я и тут не вижу ничего, что могло бы так особенно тебя тревожить; вели его взять хоть к себе в комнаты, а там поучишь, повоспитаешь его, сколько хочешь, запишешь в мещане или в купцы, и все дело кончено!

Чеглов. В том-то и дело, милостивый государь, что эта женщина не такова, как вы всех их считаете: когда она была еще беременна, я, чтоб спасти ее от стыда, предлагал было ей подкинуть младенца к бурмистру, так она и тут мне сказала: «Нет, говорит, барин, я им грешна и потерпеть за то должна; а что отдать мое дитя на маяту в чужие руки, не потерпит того мое сердце». Это подлинные ее слова.

Золотилов. Слова очень понятные, потому что отними ты у нее ребенка, ваши отношения всегда бы могли быть кончены; а теперь напротив: муж там побранит ее, пощелкает, а она все-таки сохранит на тебя право на всю твою жизнь. Я очень хорошо, поверь ты мне, милый друг, знаю этот народ. Они глупы только на барском деле; но слишком хитры и дальновидны, когда что коснется до их собственного интереса.

Чеглов *(хватая себя за голову)*. Чувствуешь ли, Сергей Васильич, какие ты ужасные вещи говоришь и каким отвратительным тоном Тараса Скотинина?

Золотилов. Я очень хорошо, любезный друг, знаю, что тон мой не должен тебе нравиться; но что делать? Я имею на него некоторое право, как муж твоей сестры, которая умоляла меня, чтоб я ехал образумить тебя.

Чеглов. В чем же вам угодно образумить меня с сестрой моей?

Золотилов. В том, что ты страдаешь, бог знает отчего. Взгляни ты на себя, на что ты стал похож. Ты изну-

рен, ты кашляешь, и кашляешь нехорошо. Наконец, милый друг, по пословице: шила в мешке не утаишь,— к нам отовсюду доходят слухи, что ты пьешь. Я к тебе приехал в одиннадцатом часу, а у тебя уж водка на столе стоит; ты вот при мне пьешь третью рюмку, так нам это очень грустно, и я убежден, что эта госпожа поддерживает в тебе эту несчастную наклонность, чтобы ловчей в мутной воде рыбу ловить.

Чеглов. Что я пью и очень много, это величайшая истина; но чтобы эта женщина поощряла меня к тому, это новая, низкая клевета ваших барынь-вестовщиц,— так и скажите им!

Золотилов. То-то, к несчастию, не клевета, а сущая истина, в которой, впрочем, и обвинять тебя много нельзя, потому что в этой проклятой деревенской жизни человеку в твоем возрасте, при твоем состоянии, с твоим, наконец, образованием, что тут и какое может быть занятие?

Чеглов. А какое же, по вашему мнению, я в городах мог бы найти себе занятие?

Золотилов. Во-первых, ты должен был бы служить. Не делай, пожалуйста, гримасы... Я знаю всех вас фразу на это: «Служить-то бы я рад, подслуживаться тошно!» Но это совершенный вздор. Все дело в лености и в самолюбии: как-де я стану подчиняться, когда начальник не умней, а, может быть, даже глупее меня! Жить в обществе, по-вашему, тоже пошло, потому что оно, изволите видеть, ниже вас.

Чеглов. Действительно ниже!

Золотилов. Положим так; но вот ты закабалился в деревню; занялся ли по крайней мере хозяйством тут?

Чеглов. Так хозяйничать, как вы, я не могу!

Золотилов. Что ж ты можешь после того делать? Заниматься только любовью к прекрасной поселянке? Но хуже всего, что и в этом положении, когда оно начинает тебе казаться несколько щекотливым, ты, чтобы заглушить в себе это, предался еще худшему пороку и, по твоему слабому здоровью, совершаешь над собой решительное самоубийство... Не ты первый и не ты последний из молодежи пример тому, — поверь ты мне: я вот теперь третье трехлетие служу предводителем и на каждом шагу вижу, что как только дворянин приблизил к себе подобную госпожу, из этого сейчас же все является: и пьянство, и домо-

седство, и одичалость. Собственно говоря, господи боже мой, ни я, ни сестра твоя ни слова не говорим про твою связь: имей их хоть двадцать, но только смотри на это иначе.

Чеглов *(с горькой улыбкой)*. Как же это иначе, вот этого я не понимаю?

Золотилов. А так, как все смотрят. И чтоб успокоить тебя, я приведу свой собственный даже пример, хоть это и будет не совсем скромно... *(Вполголоса.)* Я вот женатый человек и в летах, а, может быть, в этом отношении тоже не без греха; однако чрез это ни семейное счастие наше с твоей сестрой не расстроено, ни я, благодаря бога, не похудел, не спился, и как-то вот еще на днях такого рода особа вздумала перед женой нос вздернуть,— я ее сейчас же ограничил: знай сверчок свой шесток!

Чеглов. Ну, вы можете смотреть и понимать, как знаете, а я смотрю... Постой, однако, там кто-то есть... Шороху каждого боюсь,— вот мое положение!.. Кто там?

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и бурмистр.

Бурмистр *(показываясь)*. Я-с это!

Чеглов *(с беспокойством)*. А, Калистрат, здравствуй! Что ты?

Бурмистр. Да так, ничего-с, доложить только пришел: Ананий Яковлев там из Питера сошел.

Чеглов. Да, знаю! Ну что же?

Бурмистр *(почесав голову)*. Очення уж безобразничает. Баба-то со мной пришла: урвалась как-то...

Чеглов. Ах да, позови ее... *(Хватает себя за голову.)* Господи боже мой!

Бурмистр *(наклоняя голову за двери)*. Ступайте!.. Что? Да ничего, полноте!

Чеглов. Что она?

Бурмистр. Робеет войти-то... «Чужой, говорит, господин тут».

Чеглов. Ничего, Лиза, поди!.. Это брат мой: он все знает.

Золотилов. Не стыдись, любезная, не стыдись... Люди свои.

Лизавета робко показывается.

Ч е г л о в *(дотрагиваясь до ее плеча).* Ну, поди, садись!.. Что твой злодей?

Л и з а в е т а *(садясь и опуская руки).* Что, барин? Известно что!

Ч е г л о в. Что же такое?

Л и з а в е т а. Собирается тиранить. Пропала, значит, моя головушка совсем как есть!

Ч е г л о в. Говорила ли ты ему на меня, что я во всем виноват?

Л и з а в е т а. Говорила... пытала ему по вашим словам лгать, так разве верит тому?

З о л о т и л о в *(Лизавете).* Каким же это образом он тиранить тебя хочет? *(Чеглову.)* Elle est très jolie [1].

Л и з а в е т а. Не знаю, судырь... Только то, что оченно опасно, теперь третью ноченьку вот не спим: как лютый змей сидит да глядит мне в лицо, словно умертвить меня собирается,— оченно опасно!

Ч е г л о в. Это ужасно, ужасно!

Б у р м и с т р. Как же это может он сделать? Владимирка-то у нас указана про всех этаких,— знает то.

Л и з а в е т а. Что ему то?.. Кабы он был человек легкий: сорвал с своего сердца, да и забыл про то; а он теперь, коли против какого человека гнев имеет, так он у него, как крапива садовая, с каждым часом и днем растет да пуще жжется.

З о л о т и л о в. Скотина какая, скажите!

Ч е г л о в разводит только руками.

Б у р м и с т р. Это доподлинно так-с: человек ехидный!.. У нас и вообще народ грубый и супротивный, а он первый на то из всех них. Какой-нибудь год тогда в деревне жил, так хоть бросай я свою должность: на миру слова не давал мне сказать; все чтоб его слушались и по его делали.

Л и з а в е т а. Теперь главное то, барин, пужает он меня, что в Питер меня и с младенцем увезти ладит; а пошто мы ему?.. Чтобы мученья да притесненья терпеть от него!

Ч е г л о в *(закидывая голову назад).* Нет, я не допущу этого; суди меня бог, а я не допущу того!

Л и з а в е т а. А мне его ничего не жаль; он теперь говорит, что я ему хуже дохлой собаки стала, то забываючи, что как под венец еще нас везли, так он, може, был для

---

[1] Она очень красива (*франц.*).

меня таким. По сиротству да по бедности нашей сговорили да скрутили, словно живую в землю закопали, и вся теперь ваша воля, барин: не жить мне ни с ним, ни при нем... Какая я теперь ему мужнина жена?.. *(Начинает плакать.)*

Бурмистр. Никогда он, коли паспорта выдано не будет, не может увезти ни тебя, ни сына. Что тебе этим хоша бы себя и барина тревожить. За беглых, что ли, он вас предоставить хочет? Вот тут другой помещик сидит, и тот тебе то же скажет.

Золотилов *(Лизавете)*. Разумеется, не может, и посмотри: какие у тебя славные глаза, а ты плачешь и натрудняешь их.

Лизавета. Ой, судырь, до глаз ли теперь!.. Какая уж их красота, как, может, в постелю ложимшись и по утру встаючи, только и есть, что слезами обливаешься: другие вон бабы, что хошь, кажись, не потворится над ними, словно не чувствуют того, а я сама человек не переносливый: изныла всей своей душенькой с самой встречи с ним... Что-что хожу на свете белом, словно шальная... Подвалит под сердце — вздохнуть не сможешь, точно смерть твоя пришла!.. *(Продолжает истерически рыдать.)*

Чеглов *(подходя и беря ее за руку)*. Послушай, не плачь, бога ради.

Лизавета. Как, барин, не плакать-то? Его теперь одно намеренье, чтобы как ни на есть, а отлучить меня от вас и при себе держать, а я не хочу того... Не желаю... не хочу! Он мне теперь, бог знает, супротивней чего выходит: хоша бы и на худое тогда шла всамотко не из-под страху какого,— разве вы у нас такой? Может, как вы еще молоденьким-то сюда приезжали, так я заглядывалась и засматривалась на вас, и сколь много теперь всем сердцем своим пристрастна к вам и жалею вас, сказать того не могу, и мое такое теперь намеренье, барин... пускай там, как собирается: ножом, что ли, режет меня али в реке топит, а мне либо около вас жить, либо совсем не быть на белом свете: как хотите, так и делайте то!

Чеглов. Знаю все, милая моя, все знаю... Но я, видишь ли, я ничтожнейшее существо, я подлец! Господи, пошли мне смерть!.. *(Всплескивает руками и начинает в отчаянии ходить по комнате.)*

Лизавета смотрит на него с испугом.

Золотилов *(Чеглову)*. Чтой-то, помилуй, братец:

будь же хоть сколько-нибудь мужчиной!.. Смешно, наконец, на тебя смотреть.

Бурмистр (*пожимая плечами*). Седьмой десяток теперь живу на свете, а таких господ не привидывал, ей-богу: мучают, терзают себя из-за какого-нибудь мужика — дурака необразованного. Ежели позвать его теперь сюда, так я его при вас двумя словами обрезонлю. Вы сами теперь, Сергей Васильич, помещик и изволите знать, что мужику коли дать поблажку, так он возьмет ее вдвое. Что ему так оченно в зубы-то смотреть?.. Досконально объяснить ему все, что следует, и баста: должен слушаться, что приказывают.

Золотилов (*пожимая плечами*). Ей-богу не знаю... Конечно, уж если так, так лучше с ним прямо говорить... Как только это для нее будет?

Лизавета. А что мне, судырь, таиться перед ним?.. Не желаю я того; а что тоже, может, что не молвит Калистрат Григорьич, коли барин сами ему поговорят, так он и поиспужается маненько.

Чеглов. Извольте, я готов... Я переговорю с ним совершенно откровенно. Сейчас же позовите его. Позови его, Калистрат.

Бурмистр. Слушаюсь; ее-то, по первоначалу, надо убрать. Подите к старухе моей, скажите, чтоб она сбегала и послала его сюда, а сами хошь у нас там, что ли, поспрятайтесь.

Лизавета (*вставая*). Пробегу задами-то, не увидит. Прощайте, голубчик барин!.. (*Целует Чеглова и идет, но у дверей приостанавливается.*) Я, может, ужотатка, как за коровами пойду, так зайду сюда; а то не утерпит без того сердце мое.

Чеглов. Ну да, хорошо.

Лизавета (*Золотилову*). Прощайте и вы, судырь.

Золотилов. Прощай, прощай, моя милая.

Лизавета уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Золотилов (*Чеглову*). Elle est très jolie, vraiment [1]... Что же, однако, вы с этим господином говорить будете?

Бурмистр. Говорить с ним то, что, во-первых, он на деньгу человек жадный: стоит теперь ему сказать, что ба-

[1] Она действительно очень красива... (*франц.*)

рин отпускает его без оброка и там, ежели милость еще господская будет... так как они насчет покосу у нас все оченно маются,— покосу ему в Филинской нашей даче отвести, значит, и ступай с богом в Питер,— распоряжайся собой как знаешь! А что насчет теперь хозяйки... Так как у ней ребенок есть... барин не желает, чтобы он куда отлучен был от него... и кто теперь, выходит, окромя матери, может быть приставлен к своему дитю, и каким же манером ему брать ее с собой,— невозможно-с!

Ч е г л о в *(с досадою перебивая его)*. Знаю я, любезный, без твоих советов, как говорить.

Б у р м и с т р *(в свою очередь перебивая его)*. Мало, судырь, знаете, извините меня на том; оченно мало знаете все эти порядки!.. *(Обращаясь к Золотилову.)* Вот вы, Сергей Васильич, братец теперь ихней, может, не поговорите ли им, да не посоветуете ли: теперь, через эту ихнюю самую доброту, так у нас вотчина распущена, что хошь махни рукой: баба какая придет, притворится хилой да хворой: «Ай, батюшко, родиминькой, уволь от заделья!..» — «Ступай, матушка, будь слободна на всю жизнь...»,— того не знаючи, что вон и медведи представляют в шутку, как оне на заделье идут, а с заделья бегут. Мужик какой-нибудь, шельма, пьяница, без креста из Питера сойдет: вместо того, чтобы с него втрое спросить за провинность... «Дать, говорит, ему льготу на два года: пускай поправляется».

З о л о т и л о в. Это значит прямо баловать народ!

Б у р м и с т р. Да как же, судырь, не баловать, помилуйте! Дворня теперь тоже: то папенькин камердинер, значит, и все семейство его палец о палец не ударит, то маменькина ключница, и той семья на том же положеньи. Я сам, господи, одному старому господину моему служил без году пятьдесят годов, да что ж из того?.. Должен, сколько только сил наших хватает, служить: и сам я, и жена-старуха, и сын али дочь, в какую только должность назначат! Верный раб, и по святому писанию, не жалеет живота своего для господина.

Л а к е й *(входя)*. Ананий Яковлев там пришел: спрашивать, что ли, вы изволили его.

Ч е г л о в. Зови!..

Л а к е й уходит.

Ч е г л о в *(Золотилову)*. Я просил бы тебя, Сергей Васильич, выйти.

З о л о т и л о в. Уйду, не беспокойся!.. *(Идет, но приостанавливается.)* Зачем же водку-то пить!.. *(Пожав плечами, уходит.)*

Из других дверей входит А н а н и й   Я к о в л е в.

ЯВЛЕНИЕ IV

Ч е г л о в, б у р м и с т р и А н а н и й   Я к о в л е в.

Ч е г л о в. Здравствуй, Ананий.

А н а н и й   Я к о в л е в *(молча кланяется и кладет на стол деньги)*. Оброк-с!

Ч е г л о в. Не хлопочи!.. *(Помолчав.)* Хорошо нынче торговал?

А н а н и й   Я к о в л е в. Была торговля-с!

Ч е г л о в. Все по дачам?

А н а н и й   Я к о в л е в. По дачам летом только-с.

Б у р м и с т р. Им в Питере хорошо: денег, значит, много... пища тоже все хорошая, трактирная... вина вволю... раскуражил сейчас сам себя и к барышням поехал; бабы деревенские и наплевать, значит, выходит... Хорошо тамотка, живал я тоже,— помню еще маненичко!

А н а н и й   Я к о в л е в. У кого блажь в голове сидит, так тому и здесь хорошо: может, ни с одного праздника не вернется, не нарезамшись, а заботливому человеку и в Питере не до гульбы.

Ч е г л о в *(стремительно)*. Дело в том, Ананий, я призвал тебя потолковать: наши отношения, в которых мы теперь стоим с тобой, ты, вероятно, знаешь, и первая просьба моя: забудь, что я тебе господин и будь совершенно со мной откровенен. Как всех я вас, а тем больше тебя понимаю, Калистрат Григорьев может засвидетельствовать.

Б у р м и с т р. Всегда и каждому могу засвидетельствовать; а он и сам мужик умный; может рассудить ваши слова милостивые.

А н а н и й   Я к о в л е в. Что мне тут рассуждать, коли я ничего не понимаю и, может, понимать того не хочу, к чему теперича один пустой этот разговор идти может... Нечего мне тут понимать!

Ч е г л о в. Разговор этот, рано ли, поздно ли, должен был бы прийти к тому, и я опять тебе повторяю, что считай меня в этом случае совершенно за равного себе, и

если я тебя обидел, то требуй какое хочешь удовлетворение! Будь то деньгами, и я сейчас перезакладываю именье и отдам тебе все, что мне выдадут...

Ананий Яковлев (*после некоторого молчания*). Я хотя, судырь, и простой мужик, как вы, может, меня понимаете; однакоже чести моей не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и разговора того, может, и с глазу на глаз иметь с вами стыдился, а вы еще меня при третьем человеке в краску вводите: так господину делать нехорошо...

Чеглов. Третий человек тут ничего не значит, это один только ложный стыд.

Бурмистр. Чем же я те тут поперек горла стал: коли господин мне доверье делает, как же ты можешь лишать меня того.

Ананий Яковлев. Всегда могу! Я, хоша и когда-нибудь, немного вам разговаривать давал: забыли, может, чай, межевку-то, как вы с пьяницей землемером, за штоф какой-нибудь водки французской, всю вотчину было продали,— барин-то неизвестен про то! А что теперешнее дело мое, коли на то пошло, оно паче касается меня, чем самого господина, и я завсегда вам рот зажму.

Бурмистр. К какому слову ты тут межевку-то приплел? Что ты мне тем тычешь в глаза? Коли ты знал, для-че же ты в те поры барину не докладывал? Только на миру вы, видно, горло-то переедать люты, а тут, как самому пришло... узлом, так и на других давай сворачивать... Что я в твоем деле причинен?

Ананий Яковлев. Знаю я.

Бурмистр. Знаешь?.. Да!

Чеглов (*перебивая его*). Молчи, Калистрат! Дело в том теперь, Ананий, я человек прямой и решился с тобой действовать совершенно откровенно; ты, говорят, хочешь взять с собой в Петербург жену и ребенка?

Ананий Яковлев (*побледнев еще более*). Ежели, судырь, вам уж, значит, доложено и про то, так тем паче я имею на то мое беспременное намеренье.

Чеглов. А ежели это именно одно, чего я не могу позволить тебе сделать!

Ананий Яковлев. Никак нет-с. Когда я, значит, за себя и за жену оброк, хоша бы двойной, предоставлю, кто ж мне может препятствовать в том?..

Чеглов (*ударив себя в грудь*). Я! Слышишь ли, Ана-

ний, я! И тем больше считаю себя вправе это сделать. потому что жена твоя не любит тебя.

Ананий Яковлев. Это уж, судырь, мое дело заставить там ее али нет полюбить себя.

Чеглов. А мое дело не допустить тебя ни до чего... ни до иоты... Скрываться теперь нечего, и она, бедная, даже не желает того. Тут, видит бог, не только что тени какого-нибудь насилья, за которое я убил бы себя, но даже простой хитрости не было употреблено, а было делом одной только любви: будь твоя жена барыня, крестьянка, купчиха, герцогиня, все равно... И если в тебе оскорблено чувство любви, чувство ревности, вытянем тогда друг друга на барьер и станем стреляться: другого выхода я не вижу из нашего положения.

Ананий Яковлев. Ваши слова, судырь, я за один только смех принять могу: наша кровь супротив господской ничего не стоящая, мы наказанье только потерпеть за то можем.

Чеглов. Отчего ж? Нисколько. Ты будешь прав, как муж, я прав... Пойми ты, Ананий, у меня тут ребенок, он мой, а не твой, и, наконец, даю тебе клятву в том, что жена твоя не будет больше моей любовницей, она будет только матерью моего ребенка — только! Но оставить в твоей власти эти два дорогие для меня существа я не могу, понимаешь ли ты, я не могу!

Ананий Яковлев. Коли теперича жена моя, и ребенок, значит, мой. Бог соединил, человек разве разлучает? Кто ж может сделать то?

Чеглов. Я!.. Повторяю тебе, я! И считаю это долгом своим, потому что ты тиран: ты женился на ней, зная, что она не любит тебя, и когда она в первое время бегала от тебя, ты силою вступил в права мужа; наконец, ты иезуит: показывая при людях к ней ласковость и доброту, ты мучил ее ревностью — целые ночи грыз ее за какой-нибудь взгляд на другого мужчину, за вздох, который у нее, может быть, вырвался от нелюбви к тебе — я все знаю.

Ананий Яковлев. Позвольте, судырь! Коли теперича эта бесстыжая женщина, окромя распутства, меня оглашает и порочит каждому стречному, так я, может, и не то еще с ней сделаю.

Чеглов. Ничего ты с ней не сделаешь. Только перешагнув через мой труп, ты разве можешь что-нибудь сделать. Я вот, Калистрат, тебе поручаю и прошу тебя: сде-

лай ты для меня это одолжение — день и ночь следи, чтоб волоса с головы ее не пало. Лучше что хотите надо мной делайте, чем над нею... Она дороже мне жизни моей, так вы и знайте, так и знайте!.. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Бурмистр и Ананий Яковлев.

Бурмистр. Дурак-мужик, дурак, а еще питерец, право! Господин хочет ему сделать экие милости, а он, ну-ко!

Ананий Яковлев. Может, тебе какие милости надо, а я не прошу их.

Бурмистр. Какие же тебе-то надо, султан великий? Другой мужик из того бы, что без оброку отпускают, готов был бы для господина сделать во всем удовольствие; а тут человека хотели навек счастливым сделать, хоша бы в том-то, сколь велика господская милость, почувствовал, образина эдакая чухонская!

Ананий Яковлев. Я еще даве, Калистрат Григорьев, говорил тебе не касаться меня. По твоим летам да по рассудку тебе на хорошее бы надо наставлять нас, молодых людей, а ты к чему человека-то подводишь! Не мне себя надо почувствовать, а тебе! Когда стыд-то совсем потерял, так хоть бы о седых волосах своих вспомнил: не уйдешь могилы-то, да и на том свету будешь... Может, и огня-то там не достанет такого, чтобы прожечь да пропалить тебя за все твои окаянства!

Бурмистр. Какие ж мои окаянства? Что потачки вам не даю, вот вас всех злоба за что,— и не дам, коли поставлен на то. Старым господам вы, видно, не служивали, а мы им служили,— вот ведь оно откедова все идет! Ни одна, теперича, шельма из вас во сне грозы-то такой не видывала, как мы кажинный час ждали и чаяли, что вот разразится над тобой. Я в твои-то года, ус-то и бороду только что нажимши, взгляду господского немел и трепетал, а ты чего только тут барину-то наговорил,— припомни-ка, башка твоя глупая.

Ананий Яковлев. Может, вам так служить надо, а мне не дляче: я барского хлеба не продаю и магарычей чрез то не имею... Последний какой-нибудь оброшник теперь барина удовлетвори, да и вам предоставь, так тоже надо все это заслужить, а я живу честно... своими труда-

ми... и на особые какие послуги... никогда на то не согласен.

Бурмистр. Ишь, господи, какой у нас честной человек и противу всех праведный выискался: дивуйтесь только и делайте всё по его! Давайте ему буянить над женщиной и командовать.

Ананий Яковлев. Кто ж может промеж мужем с женой судьей быть! Ты, что ль?

Бурмистр. И я буду, коли в начальство тебе поставлен.

Ананий Яковлев. Начальство есть и повыше вас, мы и до того тоже дорогу знаем.

Бурмистр. Да, так вот начальство сейчас и послушает тебя, рыжую бороду, так вот и скажут сейчас: «Сделайте одолжение, Ананий Яковлич, пожалуйте, приказывайте, как вам надо...» Ах ты, дурак-мужик необразованный, ехидная ты животина.

Ананий Яковлев. Ты не лайся, пока те глотку-то не заткнули...

Бурмистр. Я те еще не так полаю, я те с березовой лапшой полаю.

Ананий Яковлев. Шалишь!

Бурмистр. Шалят-то телята да малые ребята, а я не шалю.

Ананий Яковлев. Шалишь и ты!

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Золотилов.

Золотилов *(входя)*. Тс! Тише, что вы тут, скоты, орете!.. *(К Ананию.)* Ты, любезный, до чего довел барина-то: он, по твоей милости, без чувств теперь лежит. На смерть, что ли, ты его рассчитываешь? Так знай, что наследниками у него мы, для которых он слишком дорог, и мы будем знать, кто его убийца. Я все слышал и не так деликатен, как брат: если, не дай бог, что случится с ним, я сумею с тобой распорядиться.

Бурмистр. Мало, видно, он башки-то своей бережет; ему бы только на других указывать, того не зная, что, царство небесное, старый господин мой теперь, умираючи, изволил мне приказывать: «Калистрат, говорит, теперь сын мой остается в цветущих летах, не прикинь ты его!» Так я помню эти слова ихние, и всегда, в чем ни на есть господ-

ская воля, исполню ее: барин теперь приказал мне, чтобы волоса с головы бабы его не пало от него, и я вот при вас, Сергей Васильич, говорю, что ежели я, мало-мальски что услышу,— завтра же сделаю об ней распоряжение — на барский двор пшеницу мыть на всю зиму, на те: властвуй, командуй!

Ананий Яковлев. Никогда ты не можешь того сделать и никого я теперь не боюсь, коли никакой вины за собой не знаю.

Золотилов. Ну, будет, без рассуждений: можешь отправляться... Довольно с тобой, дураком, разговаривать... *(Уходит.)*

Ананий Яковлев *(тоже уходя и почти вслух)*. Я сам, может, еще менее того желаю, хошь бы какой там ни на есть, разговор с вами иметь.

ЯВЛЕНИЕ VII

Бурмистр *(вслед ему)*. Не сделаю я?.. Сделаю!.. Не сегодня ты мне на сердце-то наскреб. Коли ты теперь стал подкопы под меня подводить, что я там на межевке что сделал, али хлеб воровски продаю,— так я тебе еще не то всучу... не так еще наругаюсь, и не прочихаешься, змея-человек!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же изба, что в первом действии.

ЯВЛЕНИЕ I

Матрена сидит у растворенного окна, в которое глядит Спиридоньевна. Лизавета лежит за перегородкой, где повешена и зыбка с ребенком.

Спиридоньевна. Так, слышь, баунька, он его уговаривал,— все лаской сначала... Сергей Васильич тоже при этом ихнем разговоре был, бурмистра опосля призвали... Те пытали, пытали его усовещивать,— ничто не берет: они ему слово, а он им два! Родятся же, господи, на свет экие смелые и небоязливые люди.

Матрена. Ну, матушка, и ему тоже нелегко, и сам, может, не рад тому, что говорит и делает. Как по-божески теперь сказать, не ему бы их, а им бы его оставить надо — муж есть!

Спиридоньевна. Ну, а вот, поди, тоже бурмистр али дворовые другое говорят: барина очень жалеют. На Ананья-то тем разом рассердившись, вышел словно мертвец, прислонился к косяку, позвал человека: «Дайте, говорит, мне поскорей таз»,— и почесть что полнехонек его отхаркнул кровью. «Вот, говорит, это жизнь моя выходит по милости Ананья Яковлича. Не долго вам мне послужить... Скоро будут у вас другие господа...» Так и жалеют его оченно!

Матрена. Не знаю, мать; господин, вестимо, волен все сказать, а что, кажись бы, экому барину хорошему и заниматься этим не дляче было; себя только беспокоить, бабу баламутить и мужичка ни за что под гнев свой подводить... а псам дворовым, или злодею бурмистру, с полагоря на чужой-то беде разводы разводить...

Спиридоньевна. То, баунька, слышь, барин теперь насчет того оченно опасается, чтоб Лизавете он чего не сделал, только теперь о том и разговор с Сергеем Васильичем имеет.

Матрена. Ну, матушка, помилует ли он Лизавету! Подначальный тоже ему человек во всем, как есть! Толды, как он от барина-то пришел, человек это был, али зверь какой? Я со страху ажно из избы убежала: сначала слышу голосила она все, молила что ли его, а тут и молвы не стало.

Спиридоньевна *(с любопытством)*. Бил, значит, он ее?

Матрена. Вестимо, что уж не по голове гладил, только то, что битье тоже битью бывает розь; в этаком азарте человек, не ровен тоже час, как и ударит... В те поры, не утерпевши материнским сердцем своим, вбежала в избу-то, гляжу, он сидит на лавке и пена у рту, а она уж в постелю повалилась: шлык на стороне, коса растрепана и лицо закрыто!.. Другие сутки вот лежит с той поры, словечка не промолвит, только и сказала, чтоб зыбку с ребенком к ней из горенки снесли, чтоб и его-то с голоду не уморить...

Спиридоньевна. Как еще, мать, у нее молоко-то есть — не пропало и не иссушилось с этих страхов?

Матрена. Какое уж, поди, тоже молоко... Хошь бы и насчет пищи теперь, колькой день крохи во рту не бывало.

Спиридоньевна. Да где сам-то: дома, видно, нет?

Матрена. К священнику, что ли, пошел — не знаю... Меня вот сторожем приставил. «Сидите, говорит, мамонька, тут, чтобы шагу никуда Лизавета не могла сделать». Всю одежду с нее теплую и обувку обобрал и запер: сиди, пес, арестанкой, и не жалею я ее нисколько — сама на себя накликает это.

Спиридоньевна (*взглянув в сторону*). Идет, вон, матка!.. Назад ворочает... Сердитый, знать, такой, и господи: упер в землю глаза и ни на что не смотрит... Прощай, значит, баунька!.. Настудила я и то те избу-то.

Матрена. Да зашла бы — пирожка, что-либо, покушала.

Спиридоньевна. Спасибо, родимушка, неколды!.. К бурмистру забежать еще надо: пиво они новое ставили, так дрожжец на опару обещали. Прощай!

Матрена. Прощай, прощай!

Спиридоньевна уходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Матрена (*захлопнув окно*). Ой, горя и печали наши великие! Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его... На одну теперь, выходит, владычицу нашу, тихвинскую божию матерь, все и чаяния наши... Отверзи милосердия твоего врата̑, матушка... Ты бо еси един покров наш... Заступи и помилуй!.. Угодники наши святые, Николай-чудотворец и диакон Стефан-великомученик, оградите крылом вашим раб недостойных, аще словом, ведением или неведением согрешили перед господом... Батюшки наши страстотерпцы и милостивцы.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Ананий Яковлев.

Матрена тотчас же встает и становится в почтительное положение; Ананий Яковлев садится за стол.

Матрена (*после короткого молчания*). Батюшко, не прикажешь ли собрать пообедать? Кушанье у нас хорошее настряпано.

Ананий Яковлев (*облокачиваясь на стол и склоняя голову на руку*). Нет-с, неохота что-то... (*После неко-*

торого молчания.) Самоварчик, пожалуй, поставьте; а то в горле как-то уж очненно пересохло.

Матрена. Слушаю, сударь. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Ананий Яковлев и Лизавета за перегородкой. Опять молчание.

Ананий Яковлев *(взмахнув глазами на перегородку).* Лизавета! Что вы тут все лежите? Подьте сюда!.. *(Молчание.)* Сами худое делаете, да еще в обиду вламываетесь. Не наказывать вас хотят, а хоша бы мало-мальски внушить и на хорошее наставить, коли не совсем еще рассудок свой потеряли... Вставайте! Нечего тут.

Лизавета. Не смогу я... будет с меня... спасибо.

Ананий Яковлев. А мне легче твоего? Не из блажи али из самодурства, всамотка, куражатся над тобой... Не успели тебя за вину твою простить, как ты опять за то же принялась. Камень будь на месте человека, так и тот лопнет... Не будь, кажется, ничего такого,— так не токмо что руку свою поднимать, а взглядом своим обидеть вас никогда не желал бы!

Лизавета. Много взглядов-то ваших видала всяких... и напредь того.

Ананий Яковлев. Врешь, всесовершенно врешь!.. Ежели и было что, так сама знаешь, за што и про што происходило... Мы, теперича, господи, и все мужики женимся не по особливому какому расположенью, а все-таки, коли в церкви божией повенчаны, значит, надо жить по закону... Только того и желал я, может, видючи, как ты рыло-то свое, словно от козла какого, от меня отворачивала.

Лизавета. Не от радости и я тоже отворачивалась.

Ананий Яковлев. С какой же печали-то особливой? По замужеству вашему не из сапог в лапти обули вас, а словно бы понарядней супротив прежнего стали сарафаны-то носить... Хоть бы то теперича маненько поценили, что, живши в Питере, может, в каком-нибудь куске себе отказывал, а для чего и для кого все это было делано?.. Вот сейчас в кармане своем имею 500 целковых чистоганом... Думал: на будущий же год открою, хоша небольшую, свою лавочку; квартирку найму пообширнее; выпишу Лизавету и что ни есть стряпать самое не застав-

лю, а особую кухарку на то предоставлю: на, пей чай и кофей и живи в свое спокойствие.

Лизавета. Ничего мне вашего не надо: в Питере найдутся, окромя меня, охотницы на ваши деньги,— не позавидую им!

Ананий Яковлев. Ну да! Как же? Все вот она питерскими-то тычет глаза: коли знаешь что про Питер, так сказывай ясней; а я во всякий час хоша на суд господень к ответу готов идти...

Матрена в это время вносит самовар и начинает ставить на стол чашки и чайник. Лизавета молчит.

Ананий Яковлев (*продолжая*). То-то! Видно, и отвечать нечего, потому что сама лучше всякого знаешь, что никогда там ничего не было, да и быть не могло; а что теперича точно что: я, может, и хуже того на что пойду! Для какого рожна беречь себя стану?.. Взять, значит, эти самые деньги, идти с ними в кабак и кончить там... И с ними, и своей жизнию!

Матрена (*пододвигая к Ананью Яковлеву чашку*). Налила, батюшко, чай-то!

Ананий Яковлев. Вижу-с! Подайте уж и привереднице-то вашей.

Матрена. Подам и ей... (*Уходит за перегородку.*)

Ананий Яковлев (*отодвигая от себя чашку*). Мнением даже своим никогда не полагал, до чего теперь доведен стал. Все, что было думано и гадано, словно от дуновения ветра, пало и расстроилось.

Матрена (*возвращаясь с невыпитой чашкой*). Не хочет... не желает.

Ананий Яковлев. Что ж так? И тем уж, что ли, брезгует?.. (*Грустно улыбаясь и качая головой.*) Человек-то, как видно, заберет себе блажь в голову, так что хошь с ним делай, ничего понять не может: ты к нему с добром, а он все к тебе с колом. Я вот теперь не то, что с гневом каким, а истерзаючись всем сердцем моим и со слезами на очах своих, при матери вашей прошу вас: образумьтесь и станем жить, как и прочие добрые люди!

Лизавета. Добрые люди не указчики про нас!

Матрена. Так что ж те, али на худых глядеть надо? Ишь, что, псовка, говорит... Мало тебе еще, видно, было: смирен Ананий-то Яковлич, ей-богу, смирен.

Ананий Яковлев. То бы теперь, кажись, рассудить надо: ну, пускай так, я пропадать, значит, должен,

дурак, видно, и был, может, это еще за удовольствие для них будет; вы тоже, может, чрез то в могилу ляжете; что ж опосля того с самой-то последует? Царь небесный справедлив: он все это видеть будет и не помилует тебя, Лизавета, поверь ты мне!

Матрена. А я, батюшко, разве не то же ей долблю и наказываю?.. На то я ее при своем сиротчестве, почесть что мирским подаяньем да кровными своими трудами, вспоила и вскормила, чтобы видеть от нее экие радости... *(Начинает плакать.)*

Ананий Яковлев. Э, полноте, пожалуйста, хороши уж и вы! Говорить-то только неохота, а, может, не менее ее имели в голове своей фанаберию, что вот-де экая честь выпала — барин дочку к себе приблизил,— то забываючи, что, коли на экой пакости и мерзости идет, так барин ли, холоп ли, все один и тот же черт — страм выходит!.. Али и в самотка век станут ублажать и барыней сделают; может, какой-нибудь еще год дуру пообманывают, а там и прогонят, как овцу паршивую! Ходи по миру на людском поруганье и посмеянье.

Матрена. И ништо ей, батюшко, будет, ништо!..

Ананий Яковлев. Для чего ж доводить-то себя до того? Другое дело, кабы ее на худое-то толкали, а то только всеми силами отвести ее от того желают: сам свое сердце смирил, кажись, сколько только мог, и какой бы там внутри червяк ни сидел, все прощаю и забываю; ну, по пословице, что с возу упало, то пропало,— не воротишь! По крайности наперед себя поправить желается. И греха теперь бежавши, как и священник вот тоже советует, завтра же поедем со мною в Питер, а ежели насчет паспорта какое притеснение выйдет, так я и так увезу; прямо начальству объясню, почему и для чего это было делано.

Матрена. Да ты, батюшко, так и сделай! Что на ее смотреть?!. И я тебя прошу о том. Чего и кого тебе бояться тут?

Ананий Яковлев. Не о боязни речь! А говоришь тоже, все еще думаючи, что сама в толк не возьмет ли, да по доброй воле своей на хороший путь не вступит ли... А что сделать, я, конечно, что сделаю, как только желаю и думаю. Муж глава своей жены!.. Это не любовница какая-нибудь: коли хороша, так и ладно, а нет, так и по шее прогнал... Это дело в церкви петое: коли что нехорошее

видишь, так грозой али лаской, как там знаешь, а исправить надо.

Матрена. Да как же, батюшко, не исправить. Коли бы нас, дур, баб не били да не учили, так что бы мы были! Ты вот хошь и гневаться на меня изволишь, а я прямо те скажу: на моих руках ты ее и не оставляй. Мне с ней не совладать: слов моих бранных она не слушает, бить мне ее силушки не хватает, значит, и осталось одно: послать ее к черту-дьяволу.

Лизавета *(простонав)*. Проклинайте больше, проклинайте!

Матрена. Али не прокляну, чтобы провалиться тебе, дьяволице, в тартары-тартаринские, на муки веченские, вот тебе мое материнское слово!

Ананий Яковлев. Перестаньте, полноте тут с вашей пустой болтовней.

Матрена. Батюшко! Вывела уж она меня из всего моего терпения.

ЯВЛЕНИЕ V

Работница *(заглядывая в дверь)*. Ананий Яковлич! Бурмистр тамотка пришел: спрашивает тебя и Лизавету Ивановну.

Ананий Яковлев. Как Лизавету Ивановну?.. Подь сюда, взойди.

Работница *(не входя)*. Да больно, батюшко, я необрядна: спрашивает... Таково много мужичья с ним привалило.

Ананий Яковлев. Это еще что за выдумки ихние?.. *(Матрене.)* Погляди, что там такое?

Матрена и работница уходят.

Ананий Яковлев *(жене)*. Ежели, теперича, разбойник этот ворвется сюда, и вы слово при нем промолвите, я жив с вами, Лизавета, не расстанусь.

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и бурмистр.

Бурмистр. Ананий Яковлев дома?

Ананий Яковлев. Был да весь вышел... Что те надо?

Бурмистр *(входя.)* Надо нам!.. *(Обращаясь к дверям.)* Входите, братцы! Выборный, входи!

Выборный входит.

Федор Петрович, входи, батюшко! Матвей!.. Кирило!.. Проваливайте, кто там еще есть...

Входят Федор Петров, кривой мужик, рябой мужик, молодой парень и Давыд Иванов.

(Обращаясь к Ананью Яковлеву). Я еще вчерасятко тебя на сходку звал, ты не пришел!.. Сегодня бабенка Спиридоньевна прибегала к нам и новые известия об тебе дала... Значит, я сам к тебе с миром на дом пришел.

Ананий Яковлев. Милости просим... Понравится ли только вам угощенье мое, не знаю.

Бурмистр. Прозубоскалишься, погоди маненько... *(Обращаясь к мужикам.)* Я, теперича, господа мужички почтенные, позвал вас сюда, так как мне тоже одному с этим человеком делать нечего; на ваш, значит, суд и расправу предаю его, так вы то и заведомо свое имейте!

Федор Петров *(опираясь на клюку и шамкая).* Заведомо нам, Калистрат Григорьич, неча тут иметь, коли мы теперь ничего того не знаем, за што и про што привел ты нас сюда.

Бурмистр. А за то ты, старичок почтенный, приведен сюда, что мы вот, теперича, с тобой третьим господам служим; всего тоже видали на своем веку: у покойного, царство небесное, Алексея Григорьича, хоть бы насчет того же женского полу, всего бывало... И в твоем семействе немало происходило этого... не забыл еще, может, чай того.

Федор Петров *(обидясь).* Чтой-то, помилуй, каким ты меня, старого человека, словом попрекаешь... Оставь меня, пожалуйста, прошу о том.

Бурмистр. Не попрекают тебя, а что хошь бы тот же выборный... не потаит того: жена не жена, а все тоже близкий человек... сестра... Известно тоже, в каком в последние годы барина положеньи при нем была.

Выборный *(тоненькой фистулой).* Я, помилуйте, судырь, как, значит, совершенно все жил в Питере, как же, теперича, мог, значит, знать, какие там положенья есть?.. А хоша бы и теперича, как привязан, значит, стал в свою должность, тоже ничего не знаю ни про себя, ни про других кого.

Бурмистр. Не про то, глупый ты человек, говорят, а что хвалят вас очень, так как никогда никакого буянства от вас не было. Вон тоже и Давыд Иванов. Он тут, при нем скажу: давно бы, можетка, ему свою бабу наказать бы следовало за все ее художества, так он и тут, по смиренству своему, все терпит.

Давыд Иванов. О, батюшка, нашел, на кого указывать. Не с сего дня я наплевал на то: бог с ней!

Бурмистр *(показывая на Ананья Яковлева)*. Да, а тут вот другое говорят: дебош хотят делать.

Ананий Яковлев *(с трудом сдерживая себя)*. Послушай, Калистрат Григорьев, смеяться ли ты надо мной пришел с этими дураками, али совсем уж меня до худова довести хочешь,— скажи ты мне только одно?

Бурмистр. Нечего мне тебе сказывать! Я уж пел тебе свою песню-то: колькие годы теперь, жеребец этакой, в Питере живет; баловства, может, невесть сколько за собой имеет, а тут по деревне, что маненько вышло, так и стерпеть того не хочешь, да что ты за король-Могол такой великий?

Ананий Яковлев. Великий, коли сам себя знаю!.. И тебе меня не учить, как понимать себя.

Бурмистр. Не по своей воле тя учат, а барское приказание на то я имею... *(Обращаясь к мужикам.)* Барин, теперича, приказал с ответом всей вотчины, чтобы волоса с главы его бабы не пало, а он тогда, только что из горницы еще пришедши, бил ее не на живот, а на смерть, и теперь ни пищи, ни питья не дает; она, молока лишимшись, младенца не имеет прокормить чем: так барин за все то, может, первей, чем с него, с нас спросит, и вы все единственно, как и я же, отвечать за то будете.

Между мужиками говор.

Федор Петров. Почто ж мы отвечать за то будем, коли ничем тому не причиной?

Выборный. Господин, значит, помилуйте! Сам волен теперь: что прикажут, то мы и сделаем.

Кривой мужик. Известно, что — господская воля.

Рябой мужик. Не уйдешь от нее тоже, паря, никуда.

Давыд Иванов. Кабы мы теперь супротивники, что ли, какие были, ну так то бы дело было.

Молодой парень. У нас тоже просто насчет того; тогда меня на миру отбаловали, и сам не ведаю за что.

Давыд Иванов. Как же, голова, помилуй! Хошь бы и насчет Ананья Яковлича, какая воля барская есть, разе мы знаем то...

Ананий Яковлев. Какая ж тут воля барская?.. Ах, вы, окаянный, дикий народ; миром еще себя имянуют!.. Коль я вам, теперича, на суд ваш дурацкий предан, какая же и чья тут воля может быть?.. Али пословица-то, видно, справедливотка, что мирской разум везде ныне из кабака пошел, так я вам, лопалам, три бочки выкачу, только говори, помня бога и в правиле.

Федор Петров. Что ж мы сказали не в правиле... Это, братец, одна только напраслина твоя... Как вон, ну, на миру говорят о земельке, что ли, али по податной части, известно, мужичка кажиннова дело — всякий скажет, а тут, теперича, в эком случае, ничего мы того не знаем, и что ж мы сказать можем.

Ананий Яковлев. Нет, ты, старый человек, должен был бы сказать, и не то, что в ихней шайке быть, а остановить бы душегуба этого, да и другим тоже внушить, коли хоша маненько себя поумней и почестней других полагаешь.

Федор Петров. Мне тоже, Ананий Яковлич, не распинаться стать из-за тебя... Я сам, выходит, человек подначальный.

Ананий Яковлев. Вижу я, что вы все одинаковы Иуды-то предатели... Тебе вон только словом намекнули на твое дело прошлое и забытое, так ты и то со стыда-то всю рожу в бороду спрятал... Какой-нибудь пискун выборный про сестру свою посконную, и то от себя отпихивает,— за что ж вы меня-то опосля того почитаете? Али всамотка совсем к подлецу Давыдке применить хотите, коли в дом мой приходите и этакой смертельной обидой меня язвите? Души моей больше не хватает переносить того: я наперед вам говорю,— кому голова своя дорога, так убирайся отседова... топор у меня вострый!

Федор Петров. Как же это можно, братец, топором ты нам грозишь?.. Дураками и лопалами нас облаял да топором еще грозишь,— за что это?

Бурмистр. А за то, что вам мало еще, право! Хорошенько их, Анашка! Взял да и пошел валять того да дру-

гого в зубы: нате, мол, вам, господа миряне, коли дураки вы такие.

Молодой парень. Что ж вы так наши-то зубы очєнно уж дешево ставите — коли он нас начнет бить, так и мы его станем.

Бурмистр. Ты мне бей не бей его, а хоша свяжи, да бабу ослободи мне от него, потому самому, что не могу ее оставить при нем. Мне тут за ним не углядеть: с сего же дня она будет у меня во дворе, в особой келейке жить, коли я теперь за нее отвечать должон!

Ананий Яковлев. Будто?

Бурмистр. Ну да, будто!

Ананий Яковлев. Будто?.. А ежели я скорей по уши в землю ее закопаю, чем ты сделаешь то! *(Колотя себя в грудь.)* Не выводи ты меня из последнего моего терпенья, Калистрат Григорьев: не по барской ты воле пришел сюда, а только злобу свою тешить надо мной; идем сейчас к господину, коли на то пошло.

Бурмистр. Ну да, так вот сейчас и пойдут. Сидишь и тут хорош!

Ананий Яковлев. Не станут с тобой тут сидеть; ты к тому только, видно, и ведешь человека, что либо мне, либо тебе остаться жить на свете. Побереги ты своих седых волос!

Бурмистр. Ничего я тебя не боюсь, власти твоей не хватит ничего сделать ни мне, ни бабе твоей!

Ананий Яковлев. Бабе моей! Когда она, бестия, теперь каждый шаг мой продает и выдает вам, то я не то, что таючись, а середь белого дня, на площади людской, стану ее казнить и тиранить; при ваших подлых очах наложу на нее цепи и посажу ее в погреб ледяной, чтоб замерзнуть и задохнуться ей там, окаянной!

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Лизавета, быстро появляется из-за перегородки со всклокоченной головой, в худом сарафанишке и босиком.

Лизавета. Нету! Нету!.. Не бывать по-вашему никогда!.. Довольно вы надо мной поначальствовали... Я вот, господин бурмистр, теперь заявляю вам — он тиранил меня, а что напредь еще сделает, неизвестно то: сам про то не сказывает...

А н а н и й Я к о в л е в *(опуская руки)*. Лизавета, уйди... Бога ради, уйди, оставь меня при моем деле.

Л и з а в е т а. Это не ваше дело, а мое! *(Обращаясь к мужикам.)* Все вы, может, видели, как я повенчана-то за него была... в свадебных-то санях почесть что связанную везли. Честь мою девичью мне легче бы было кинуть разбойнику в лесу, чем ему — так с меня спрашивать тоже много нечего: грешница, али праведница через то стала, а что стыд теперь всякой свой потеряючи, при всем народе говорю, что барская полюбовница есть, и теперь, значит, ведите меня к господину — последней коровницей али собакой, но при них быть желаю, а уж слушаться и шею свою подставлять злодею своему не хочу. Он теперь обувку и одежду обобрал — не остановит меня то, уйду к барину... *(Начинает искать на голбце и по лавкам платье себе.)*

А н а н и й Я к о в л е в. Лизавета, еще раз тебе говорю, не делай ты этого.

Б у р м и с т р. Нечего тут, не делай. *(Молодому парню.)* Дай ей своего полушубка и сапог,— до усадьбы только довести ее.

М о л о д о й п а р е н ь отвечает ему на это только диким взглядом.

А н а н и й Я к о в л е в *(обращаясь к мужикам)*. Господа миряне! Что же это такое? Заступитесь, хоша вы, за меня, несчастного! Примените хоша маненько к себе теперешнее мое положенье: середь белого дня приходят и этакой срам и поруганье чинят. *(Становится на колени.)* Слезно и на коленях прошу вас, обстойте меня хоша сколько-нибудь и не доводите меня до последнего. Бог вас наградит за то... *(Кланяется общим поклоном всему миру в ноги.)*

Ф е д о р П е т р о в. Я, друг любезный, это что? Ничего: по тебе говорить надо!.. *(Лизавете.)* Как же ты, мужняя жена, сходишь от мужа и как ты смеешь то! Ты спроси, позволит ли и барин те сделать это.

Б у р м и с т р. Позволено, коли делают. Старый черт, суется туда же. *(Молодому парню.)* Говорят тебе, скорей разболокайся и давай полушубок и сапоги.

М о л о д о й п а р е н ь. Нет у меня про это ни полушубка, ни сапогов. *(Быстро уходит.)*

Б у р м и с т р. О, дьявол, грубиян-народ! На, Лизавета, надевай мою сибирку. *(Снимает с себя сибирку.)*

Лизавета. Давайте, судырь! Я в нее младенца, красавчика моего заверну, а сама и так добегу: мне ничего. *(Проворно уходит за перегородку.)*

Ананий Яковлев *(вскакивая и вбегая за ней).* Не дам я тебе младенца!

Бурмистр. Черт, прибьет еще бабу-то!.. Свяжите его, ребята, сейчас же!

Никто из мужиков не трогается

Голос Лизаветы. Подай младенца, подай, а то ослеплю тебя.

Голос Анания Яковлева. Ах ты, бестия, смела еще руку свою поднять на меня. На, вот, тебе твое поганое отродье!

Раздается страшный удар и пронзительный крик ребенка.

Голос Лизаветы. Батюшки, убил младенца-то.

Бурмистр. Согрешили грешные! Говорил вам, кажется, черти-дьяволы, вяжите его. *(Бьет по шее рябого мужика.)*

Рябой мужик. Чего вязать-то?.. Давайте веревку-то... Где веревка-то?

Давыд Иванов *(стаскивая с полицы веревку).* На, вот те веревку-то, входи туда!

Рябой мужик. Чего входить?.. Цапнет топором еще, пожалуй. Сунься-ко сам.

Голос Лизаветы. Батюшки, совсем уж не дышит, вся головка раскроена!

Выборный *(несмело заглянув в дверь).* Ничего, значит, не цапнет: окно высадил и убег.

Бурмистр. Караул! Бей скорей в набат и ловите его, окаянный народ!.. Что теперь барин-то с нами сделает — пропали наши головы!..

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Зала в доме Чеглова.

ЯВЛЕНИЕ I

Стряпчий сидит и пишет за столом. У того же стола сидит исправник. Перед ним стоит бурмистр.

Исправник. Отвечать, конечно, что будете, отчего не остановили его и не заарестовали.

Стряпчий. Удивительное дело это, каким образом у целой деревни один мужик убежал!

Бурмистр. Оробели, ваше благородие, так совершенно, что оробели: я в те поры, как он в окно-то махнул, почесть две версты за ним бежал, так он обернется да и грозит: «Только кто, говорит, подойди ко мне, так живой на месте не останется». Я, ваше благородие, человек тоже уж немолоденький: мне не очень с ним совладать; они вон пудов по семи говядины на башке носят.

Исправник. Где он, каналья, может скрываться?.. Другая ведь уж неделя теперь пошла...

Бурмистр. Поблизости ему, ваше благородие, тут быть негде; он бы давно уж себя заявил. Я по первоначалу-то и ждал, что он либо селенье выжжет, либо над нами кем что сделает; а коли все благополучно, так наверняк надо полагать, что в Питер махнул: мало там разве беспашпортных-то проживает. Старуха, теща его, сказывала, что у него тысяча целковых в кармане было, с экими деньгами везде спокойно проживет; а ты вот за него мучься и отвечай. Только теперь на вашу милость и надежду мы полагаем, коли вы защитите и помилуете нас.

Стряпчий *(ядовито)*. Нам тут много делать нечего — старше нас член есть. Губернаторских-то молокососов нынче этих развелось. Всю дорогу мне в тарантасе объяснял, как он тут всю подноготную выкапывать хочет.

Бурмистр. Позвольте, сделайте милость!.. Хошь, конечно, мы теперь точно мужики — народ необразованный, а всё тоже маненько понимать можем так, что господин этот чиновник смешнеющий: другой день теперь изволит ходить и под окнами по избам подслушивать, как будто кто из вотчины может что про господина сказать. Вон и Сергей Васильич приказать мне изволили: «Поди, говорит, Калистрат, переговори с господином исправником и господином стряпчим, а что, говорит, с этим губернаторским чиновником я и дела никакого иметь не хочу — не стоит он того!»

Исправник. Сергею Васильичу хорошо на нас указывать, а тут как после что выдет, так он и в стороне.

Стряпчий. Мало еще, что в стороне, да первый еще тебя перед губернатором подлецом и взяточником и облает... Не с сего дня мы его знаем.

Бурмистр. Позвольте, ежели теперича таким манером, так Сергей Васильич и знать про то совершенно не должен: мне не то что как другому вотчино-начальнику, барину, что ли, докладывать, али с вотчины по грошам да по гривнам сбивать надо. Вон я сейчас полтораста целковых имею и представляю их. Делить только, дурак, не умею как, а деньги готовы. *(Кладет торопливо из кармана на стол 150 целковых.)*

Исправник. Брать-то бы еще, братец, пока не за что: ничего еще не сделали.

Бурмистр. Да это не то, что за дело какое-нибудь, а так только из уважения моего к вам... приношу и земно о том только кланяюсь, принять их и не побрезговать.

Исправник. Для чего брезговать — не поганые... *(К стряпчему.)* Берите, получайте, сколько вам следует.

Стряпчий *(продолжая писать)*. Не знаю-с я, сколько мне, по-вашему, следует.

Исправник. Как же не знаете: всегда, кажется, с вами по-братски делили пополам, вот и тут 75 рублей ровно — берите... *(Подвигает стряпчему деньги; тот проворно и молча сует их в жилеточный карман и снова продолжает писать.)* Человечек уж — нечего сказать!.. *(Обращаясь к бурмистру с ласковостью.)* Да что барин-то в самом деле болен, али так?

Бурмистр. Оченно нездоровы! Горячка, сказывают... как тогда встревожились... слегли... все хуже и хуже... не знаем, и жив останется ли,— подлец и разбойник, что наделал... *(Увидя входящего сотского с палкою и бляхою на груди.)* Что те надо! Дурак! Лезет.

Сотский. Народ тамотка согнал.

Исправник *(стряпчему)*. Давайте спрашивать пока: что ж нам его дожидаться-то.

Стряпчий. Спрашивайте.

Бурмистр. Со старухи Матрены, может, ваше благородие, изволите начать.

Исправник. Да хоть с Матрены.

Бурмистр *(сотскому)*. Давай сюда Матрену.

Сотский уходит.

А насчет болтовни, ваше высокоблагородие, вы и опасаться не извольте. Сами можете увидать: у меня не то, что старшим всем на рот замки повешены, а какие малые

ребята были, так я и тех всех велел верст за тридцать отседова увезти, чтобы лишнего не наболтали.

ЯВЛЕНИЕ II

Матрена, робко входя, а за ней и сотский.

Бурмистр. Подходи тут ближе!.. Что рыло-то уж больно в землю уткнула...

Матрена подходит.

Исправник. Как тебя зовут?

Матрена *(то глядя на потолок, то себе на ноги)*. Ну, батюшко... Господи.

Исправник *(повторяя)*. Как тебя зовут?

Бурмистр. Матреной, ваше высокородие, верно так-с,— извольте писать.

Исправник. Да точно ли?

Бурмистр. Точно так — помилуйте, станем ли обманывать; для чего это.

Стряпчий пишет.

Исправник. Сколько тебе от роду лет?

Матрена *(дрожа всем телом)*. Ну, батюшко... сударики мои.

Бурмистр. Да, старый пес, сказывай... что и того не говоришь.

Матрена *(со страхом взглядывая на него)*. Я, батюшко, что!.. Помилуйте.

Бурмистр. Стара, ваше благородие, извольте писать. Живет только старая кочерга, а что оченно стара; на седьмой десяток, поди, идет...

Стряпчий пишет.

Исправник. Какой ты веры и бываешь ли на исповеди и у святого причастия?

Матрена *(продолжая дрожать)*. Ну, батюшко, вестимо что...

Исправник. Что же такое вестимо?

Матрена. Вестимо, батюшко.

Бурмистр. Бывает, ваше благородие, извольте писать: и в великий пост, и в Успенки, чай, исполняет это... Давно уж, тоже, поди, к савану-то себя готовит.

Исправник *(почесывая в голове)*. Каким это образом, бабушка, у тебя зять младенца-то убил?

Матрена *(еще больше задрожав)*. Я, батюшко, что!.. Господи!

Бурмистр. Ее не было, ваше благородие, совершенно так, что не было... Сказывай, что ли, дьявол эдакой, что тебя не было там.

Матрена. Не было, господин бурмистр, не было.

Стряпчий *(пишет)*. Не было, так не было.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и чиновник особых поручений — молодой человек с выдавшеюся вперед челюстью, в франтоватом вицмундире, с длинными красивыми ногтями и вообще, как видно, господин из честолюбивых, но не из умных.

Чиновник *(сотскому)*. Там я мужика привел!.. Задержать его, чтоб ни с кем тут не столкнулся... *(Подходит с важностию к столу.)*

Исправник *(с некоторым подобострастием)*. Мы уж, извините, начали без вас.

Чиновник. И что же?

Стряпчий *(молча пододвигая к нему бумагу)*. Показание вот-с!

Чиновник *(пробежав бумагу)*. Гм! Ничего-незнайка, по обыкновению. Ну, ты у меня, старая, будешь знать.

Матрена. Батюшко, господи!.. Виновата... *(Кланяется ему в ноги.)*

Чиновник *(толкая ее ногой)*. Прочь! Еще тут с поклонами!.. Нечего с ней проклажаться: вытащите ее и позовите сюда жену убийцы. *(С важностью садится на председательское место.)*

Бурмистр *(сотскому)*. Волоки ее, паря, и позови сюда поскорей Лизавету.

Сотский уводит Матрену.

Чиновник *(взмахнув глазами на бурмистра)*. Ты что тут за распорядитель и зачем здесь в следственной каморе?

Бурмистр *(струся)*. Так как, значит, ваше высокородие, народ тоже, теперича, привел сюда.

Чиновник. Это дело земской полиции, а не твое... *(Сильно вскрикивая.)* Пошел вон!

Бурмистр мгновенно скрывается; навстречу ему сотский вводит Лизавету.

Чиновник. Что ты ее ведешь таким образом? Оставь ее!

Сотский. Никак на ногах-то, ваше высокородие, не стоит: все, вон, и на помосте-то тут валялась.

Чиновник *(строго официальным тоном)*. Ты ли жена Ананья Яковлева?

Лизавета. Я... грешница, грешница... *(Склоняет голову.)*

Чиновник *(еще строже)*. С кем ты прижила незаконного ребенка?

Лизавета *(с тоской, разрывая рубашку)*. Нету его, батюшка, моего красавчика, нету! Убили, отняли его у меня!.. *(Склоняет еще более голову и, вырываясь из рук сотского, падает.)*

Чиновник. Держи ее, дуралей!

Сотский *(поднимая ее)*. Что все падаешь? Постой хоть немного перед начальством-то!

Чиновник. Притворщица какая, а?

Исправник. Какое уж тут притворщица... человек совсем, как видно, ошеломленный.

Сотский. В те поры, ваше благородие, как младенца-то убили, как ухватила его: руки окоченели... Я прибежал и едва, почесть, выцарапал его у ней, а теперь только то и вопит, что грешница да грешница... В рассудке что ли маненько тронулась?

Чиновник. Я приведу ее в рассудок. Она у меня сейчас опомнится. Я не из чувствительных и все знаю, как дело шло и происходило, сколько тут ни замазывали. Не пускать ее и посадить вот тут на кресло и позвать этого мужика из сеней... Я ей вотру в рожу краску, коли она совсем ее потеряла.

Сотский *(отводя в сторону Лизавету и заглядывая в дверь)*. Кликните, ребята, Никона. *(Сажает Лизавету на кресло.)* Ну, садись вот тут... не хочешь ли водицы испить?

Лизавета бессмысленно на него взглядывает и начинает опять всхлипывать.

Сотский. Ну-ну, не стану: нишкни только!

Чиновник *(со злобою глядя на них)*. Ах, вы, шельма народ! Я всех вас переберу и земскую полицию тут

же вместе... только пакости и мерзости заведены по всему уезду: убийство сделали да и убийцу убрали, чтобы совсем концы спрятать.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Никон.

Никон (*показываясь в дверях и обращаясь к мужикам*). О черти-дьяволы, право! Я завсегда могу быть перед господами чиновниками,— что вы?

В это время показывается Золотилов. Никон вытягивается.

Золотилов. Позвольте, господа, мне побеседовать тут. Я, как местный предводитель, имею, кажется, на это некоторое право.

Чиновник. Сделайте одолжение... (*К Никону.*) Поди сюда...

Тот подходит неровными шагами.

Говори, что ты мне давича рассказывал.

Никон. Говорить надо-то, ваше высокородие, по-божески, значит: с Анашкой мы, теперича, ехали... мало разе у нас пановшины-то с ним было. Пьяный человек, известно, ваше благородие, колобродит.

Исправник (*покачав головой*). Сам-то бы лучше зенки-то хорошенько продрал; а то, ишь, рожа-то у канальи: чертей в лесу пугать.

Никон. Это верно так, ваше высокородие, потому самому, что я человек порченый: первый, может, мастер в ампериии был, а чтобы, теперича, хозяина уважать... никогда того не моги: цыц! Стой! Слушай, значит, он моей команды... так ведь тоже, ваше высокородие, горько и обидно стало то: «На-ста, говорит, тысячу целковых и отшути ему эту шутку...» Человек, значит, и погибать чрез то должен,— помилуйте!

Чиновник. Имел ли господин ваш связь с женой Ананья?

Никон. Было, ваше высокородие, совершенно так, что происходило это: барин у нас, помилуйте, молодой, ловкий... А баба наша, что она и вся-то, значит — тьфу! — того же куричьего звания: взял ее сейчас теперь под папоротки, вся ее и сила в том... Барин мне, теперича, приказывает: «Никашка, говорит, на какую ты мне, братец,

бабу поукажешь...» — «Помилуйте, говорю, сударь, на какую только мановением руки нашей сделаем, та и будет наша...» Верно так!

Чиновник *(перебивая его)*. Действительно ли эта женщина имела незаконного ребенка?

Никон. Пригульной, ваше высокородие, мальчик был: не сказывают только, потому самому, что народ эхидный... Мы-ста да мы-ста; а что вы-ста? Мы сами тоже с усами... У меня, ваше высокородие, своя дочка есть... «Как, говорю, бестия, ты можешь?.. Цыц, стой на своем месте...» Потому самому, ваше высокородие, что я корень такой знаю... как сейчас, теперь, обвел кругом человека, так и не видать его... хошь восемь тысяч целковых он бери тут, не видать его.

Исправник *(махнул рукою)*. Черт знает, что такое городит.

Чиновник *(стряпчему)*. Запишите его показание...

Тот только взглядывает на него.

Золотилов. Я полагаю, господа, что нельзя этого записывать, потому что он мертвецки пьян, на ногах не стоит.

Никон *(приосанясь)*. Никак нет-с, помилуйте! Я только то, что человек, значит, нездоровый: московской части, теперь, третьего квартала, в больнице тоже семь месяцев лежал, а там, как сейчас привели нашего брата, сейчас его в воду, в кипяток самый, сажают, за неволю, батюшка, Сергей Васильич, у кажинного человека расслабят всякие суставы в нем какие есть.

Чиновник. Молчи! Это, наконец, не служба, а каторга становится.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Давыд Иванов.

Давыд Иванов. Ананья, ваше благородие, я поймал и привел.

Чиновник встряхивает головой.

Исправник *(с удовольствием)*. Ну, вот, слава богу.

Сотский *(крестясь)*. Слава те, господи!

Золотилов *(Давыду Иванову с неудовольствием)*. Где же ты поймал его?

Давыд Иванов. Я, батюшко, Сергей Васильич, виноват тоже, значит: на своей полоске боронил, глядь, он и выходит из-под Утробина, из лесу. «Давыд Иванов, говорит, начальство меня ищут?» — «Ищут, говорю, брат».— «Веди, говорит, меня к ним, хочешь связанного, а хочешь так...» — «Что, я говорю, мне тя связывать».

Чиновник. Кто ж ему тут пристанодержательствовал?

Давыд Иванов. Об этом, ваше благородие, тоже разговору не было. Я тоже-тка все поодаль от него шел... опасно было: человек в эдакой отчаянности, пожалуй, что и сделает над тобой.

Чиновник (*сотскому*). Поди, введи его сюда!

Сотский. Как ее-то, ваше благородие, прикинуть тут. Все вон понаваливается: попридерживаешь ее маненько.

Чиновник (*вскрикивая*). А хоть бы она сквозь землю провалилась, дурак эдакой.

Исправник (*вставая*). Бурмистр его может привести. (*Подходя к дверям.*) Скажите Калистрату, чтоб ввел сюда Ананья.

Чиновник. С кандалами на руках и на ногах.

Исправник (*повторяя*). Скованным.

Голос за стеной. Слушаем, ваше благородие.

Чиновник (*стряпчему*). Что же вы?

Стряпчий. Пишу-с, только как ведь тут,— я не знаю...

Золотилов (*вставая на ноги*). Я опять вам повторяю, господа, что нельзя этого писать. В противном случае я войду с отдельным мнением.

Чиновник. Я в вашем мнении совершенно не нуждаюсь.

Золотилов. А я вас буду просить нуждаться в нем. Если бы дело шло о какой-нибудь пропавшей лошади или корове, вы бы могли быть свободны в ваших действиях — законных и незаконных; но когда оно касается дворянства, которому я имею честь служить, я всегда тут буду иметь свой голос. Господин исправник, вы тоже избраны нами, а потому не угодно ли вам сказать ваше мнение.

Исправник (*струся*). Пьяных, конечно, что-с, не велено спрашивать.

Золотилов. Но кроме этого, господа, поймите вы: главное то, что вы тут пьяницу мужика ставите на одну

доску с дворянином, который, смею вас заверить, ничем не запятнал себя в уезде...

Чиновник *(перебивая его)*. Я служу правительству, а не дворянству, и во всяком случае прошу вас прекратить наш спор, потому что убийца приведен.

ЯВЛЕНИЕ VI

Показывается Ананий Яковлев с кандалами на руках и на ногах. Выражение лица его истощенное и совершенно страдальческое. В дверях набивается толпа мужиков и баб.

Одна из баб. Какой, мать, худой да ненарядный стал.

Мужик. Сам пришел — ну-ко?

Ананий Яковлев прямо подходит к столу. Бурмистр становится поодаль.

Чиновник *(оглядывая Анания)*. Молодец славный! Хоть тысячу плетей, так вынесет. *(Исправнику.)* Опросите его заголовок!

Исправник. Сколько тебе от роду лет?

Ананий Яковлев. Тридцать бы словно шесть минуло.

Лизавета, услышав голос мужа, начинает всхлипывать. Ананий Яковлев вздрагивает.

Сотский *(унимая ее)*. Ну, полно, полно.

Исправник *(Ананью Яковлеву)*. Какой ты веры и бываешь ли на исповеди и у святого причастия?

Ананий Яковлев. Веры церковной, и ко святым тайнам ходил тоже в Питере кажинный год.

Лизавета еще сильнее начинает рыдать и вытягивается всем телом.

Сотский *(Лизавете)*. Перестань,— право нишкни; а то хуже-тко накажут.

Ананий Яковлев *(бледнея и нетвердым голосом)*. Прикажите, ваше высокородие, ее, несчастную, отсюда вывести: и мне-то уж тоже очень непереносно.

Чиновник *(злобно смотря на него)*. Нет-с, я этого не сделаю; а нарочно буду ее держать, чтобы ты совесть почувствовал и говорил правду.

Ананий Яковлев потупляет только голову.

Где ж ты все это время пробывал?

Ананий Яковлев. В лесу на пустошах жил.

Чиновник (*значительно*). Я думаю. Кто ж тебе туда пищу доставлял?

Ананий Яковлев. Какая уж пища,— кто ее доставит? В первый-то день, только как уж очень в горле пересохнет, таки водицы изопьешь; а тут опосля тоже... все еще, видно, плоть-то человеческая немощна... осилит всякого... не вытерпел тоже... и на дорогу вышел: женщина тут на заделье ехала, так у ней каравай хлеба купил, только тем и питался.

Чиновник. Зачем же сдался? Жил бы там в пустыне, питался акридами.

Ананий Яковлев. Не жизни, судырь, я тамотка искать ходил, а смерти чаял: не растерзают ли, по крайности, думал, хотя звери лесные... от суда человеческого можно убежать и спрятаться, а от божьего некуда!

Чиновник. Гм! Философ какой! А давно ли и с кем именно жена твоя имела связь?

Ананий Яковлев молчит.

Чиновник. Может быть, с барином?

Ананий Яковлев (*краснея и потупляя глаза*). Ничего я того, судырь, не знаю... и, кажись, это и к делу вовсе не касающееся.

Чиновник. А, не касающееся! Вследствие чего же ты убил младенца?

Ананий Яковлев (*еще ниже потупляя голову*). Убил... что дело в азарте было.

Чиновник. А от чего же самый азарт этот произошел?

Ананий Яковлев (*тяжело вздыхая*). От того, что я с малолетства, видно, окаянным человеком на свете был: на всякую малость гнев свой срывал да не сдерживал себя; все это теперь чувствуешь и понимаешь, как ад-то кромешный разверзся перед тобою со всех сторон.

Чиновник. Об аде помышляешь, а сам лжешь. Взгляни-ка на образ и повтори, что ты сказал.

Ананий Яковлев потупляет глаза.

Ну, гляди же! Ах ты шельма, мерзавец! Ни бога, ни совести!.. (*К Никону.*) Поди, уличай его!

Н и к о н. Что мне, ваше благородие, уличать его?.. Нечего! Не очень они нас, стариков, слушают... ты его наставляешь на хорошее: «Делай-мо, паря, так и так...» — так он тебя только облает... Я сам, ваше благородие, питерец коренной: не супротив их, может, человек был; мне тоже горько переносить от них это,— помилуйте! *(Плачет.)*

Ч и н о в н и к. Ты говорил, что жена его была в связи с барином?

Н и к о н. Али нету? Она сама, ваше благородие, тут сидит... Что не говоришь?.. Сказывай, черговка!.. Нам вас тоже прикрывать не из чего!.. Немного, ваше благородие, от них вина-то видели... свое пьем,— верно так! Вон он из Питера пришел... полштофчиком поклонился, да и шабаш на том.

Л и з а в е т а снова начинает рыдать. С о т с к и й зажимает ей рот.

Ч и н о в н и к. О черт, кричит тут! Выведите ее.

С о т с к и й *(уводя Лизавету)*. Пойдем: экая какая ты!..

А н а н и й Я к о в л е в смотрит с чувством вслед за женою.

Ч и н о в н и к *(указывая Ананию Яковлеву на Никона)*. Что ж? Возражай ему!

А н а н и й Я к о в л е в. Нечего мне, судырь, возражать, пускай болтает, что хочет; а я только то и знаю, что мой грех до меня, видно, пришел, и никто тому не причинен.

З о л о т и л о в. Эти слова его, господа, не угодно ли вам записать?

Ч и н о в н и к. Нет, не угодно; потому что я знаю других сообщников. *(Показывая на бурмистра.)* Вон один тут налицо. *(Колотя по столу.)* Ты у меня, рожа твоя подлая, сегодня последний день не в кандалах, и одно твое спасенье, если ты станешь говорить правду.

Б у р м и с т р *(бледнея)*. Мне, ваше благородие, лгать тоже тут не гляче,— дело мое стороннее!.. Как перед богом, так и перед вами доложить, что я ни про што, почесть, тут совершенно неизвестен.

Ч и н о в н и к *(вставая и подходя к нему)*. А! Ты неизвестен, неизвестен!..

Б у р м и с т р *(пятясь)*. Совершенно так, ваше благородие.

Ч и н о в н и к. Неизвестен, борода твоя скверная!!.

(Хватая его за бороду и таская.) Неизвестен, как приходил к нему с народом и уводил от него насильно жену!..

Бурмистр *(вставая на колени)*. В том точно что, ваше благородие, виноваты, значит... Мы люди подчиненные, сами изволите знать; что прикажут нам, то мы и делаем.

Чиновник. Значит, ты приходил к нему?

Бурмистр. Помилуйте, ваше благородие, господин теперь приказывает, чтоб он бабу не забижал, а он промеж тем бьет и тиранит ее... должен же я, по своей должности проклятой бурмистерской, был остановить его.

Золотилов показывает бурмистру кулак.

Чиновник *(обращаясь к Ананью)*. Как же ты говоришь, что никто в твоем деле не причинен?

Ананий Яковлев *(с презреньем взглядывая на бурмистра)*. Коли говорит на себя, пускай по его будет... а я ничего того не помню и не знаю.

Чиновник *(пожимая плечами)*. О-то дурак, дурак!

Бурмистр *(вставая)*. Ваше благородие, теперь бить да наказывать ни за што изволите... За неволю наболтаешь, чего никогда отродясь и не бывало...

Чиновник *(повертываясь к нему)*. Опять уже не бывало — а?.. Сотского сюда, коли так... давайте мне сотских сюда...

Сотский является.

(Показывая на бурмистра.) Заковать его сейчас в кандалы и в холодную избу посадить.

Сотский. Нарукавников-то других, ваше благородие, нету.

Чиновник *(колотя его)*. Ты у меня, бестия, где хочешь возьми да закуй его.

Сотский *(струся)*. Пойдемте-с.

Бурмистр. Хоша на огне, ваше благородие, палить прикажите,— я ни в чем тут не виноват.

Чиновник *(ударяя себя в грудь)*. Иди, говорят тебе, покуда я не убил тебя на месте.

ЯВЛЕНИЕ VII

Чиновник *(некоторое время ходит по комнате в сильном азарте, а потом обращается к Ананью)*. А ты — дурак, совершенный дурак! Пойми ты, рожа твоя глупая,

что когда ты докажешь, что у жены твоей был незаконный ребенок, ты наказанье себе облегчишь: вместо того, чтоб тебя, каналью, отдать под кнут, сошлют, может быть, только на покаяние.

Ананий Яковлев. Все это, судырь, я сам оченно знаю, но и себя тоже чувствуешь: ежели паче чаяния, что и сделали они супротив меня, не мне их судьей и докащиком быть: мой грех больше всех ихних, и наказанье себе облегчить нисколько того не желаю; помоги только бог с терпеньем перенесть, а что хоша бы муки смертные принять готов, авось хоша за то мало-мальски будет прощенье моему великому прегрешенью.

Чиновник. Нет, ты не богу, а тому же дьяволу хочешь служить, потому что подкуплен.

Ананий Яковлев *(горько улыбаясь)*. Не для чего мне, судырь, теперь ни на какой подкуп идти: я вот свои, кровным трудом нажитые, 500 целковых имею и те представляю... *(Вынимая и кладя деньги на стол.)* Так как теперь тоже, может, доступу ко мне не будет, так я желаю, чтобы священник наш их принял. Дело мое они знают и как им угодно: младенца ли на них поминать, в церковь ли примут, али сродственникам — семейству моему — раздадут,— ихняя воля; а мне они не для чего.

Чиновник. Какой благочестивый! Ах, вы окаянный народец! Человека убил да свечку потолще поставил и думает, что бог простит ему. Нет, он лучше бы помиловал тебя, как бы ты говорил правду.

Золотилов. Какую еще правду ему говорить? Вы бьете и сажаете в кандалы людей, заставляя их пристрастные показанья делать, обещаете преступнику облегчить наказанье с тем только, чтоб он оговаривал... *(Обращаясь к стряпчему и исправнику.)* Не угодно ли, господа, обо всем этом составить особое постановление?

Чиновник *(вставая и беря фуражку)*. Сколько вам угодно, я ничего не боюсь и сейчас еду к губернатору, потому что тут все в стачке: и мужики и чиновники. Пускай пришлют, кого хотят... *(Уходит.)*

Исправник. Вот дурак-то! Наболтает он тут: пропадешь ни за грош.

Золотилов. Никогда этого быть не может. Я сам поеду к губернатору и объяснюсь... Нельзя же какому-

нибудь мальчишке-молокососу выдавать дворянина с руками и ногами.

Исправник. Известно что-с.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и сотский.

Сотский. Господин чиновник, ваше благородие, Ананья приказал беспременно, чтоб сейчас в острог под караулом справить.

Все потупляются. Ананий Яковлев слегка бледнеет. Между тем в комнату набираются мужики и бабы, и между ними Матрена вводит под руку Лизавету.

Исправник. А бурмистра что же? Тоже?

Сотский. Бурмистра, ваше благородие, они простили-с... Раз пятнадцать, пожалуй, им в ноги поклонился: «Коли, говорит, начальство теперь станет меня спрашивать, я все доложу».

Исправник. Гм?.. Собирайте, значит, подводу. *(Ананью.)* Отправляйся, братец, делать нечего.

Ананий Яковлев. Позвольте, ваше благородие, поклониться народу.

Исправник. Сделай милость.

Ананий Яковлев *(кланяется)*. Простите меня, христиане православные!.. *(Начинает со всеми целоваться и с первым бурмистром, а потом и с прочими мужиками.)*

Давыд Иванов. Прощай, Ананий Яковлич... виноват, брат, что привел тя... сам просился.

Никон *(обливаясь слезами)*. Все там, Анаша, будем, все — до единова.

Ананий подходит к матери и жене. Та бросается ему сначала на руки. Он целует ее в голову. Она упадает и обнимает его ноги.

Ананий Яковлев. Отнимите ее маненько... *(Потом прощаясь с Матреной.)* Прощайте-с... благословите, коли не очень гневаетесь.

Матрена его крестит. Он снова, обращаясь к народу.

Еще раз земно кланяюсь: не помяните меня окаянного лихом и помолитесь о моей душе грешной! *(Уходит.)*

Все его провожают; Матрена с другими бабами начинают выть: «Уезжает наш батюшка, отходит наше красное солнышко».

Занавес падает.

САМОУПРАВЦЫ

Трагедия в пяти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Князь Платон Илларионович Имшин, генерал-аншеф, плохо говорит и понимает по-французски, больше читал священное писание.

Княгиня Настасья Петровна Имшина, жена его, молодая и очень красивая женщина, но без всякого образования.

Князь Сергей Илларионович Имшин, советник посольства; сам с собою постоянно думает по-французски и только в разговоре с русскими переводит мысли свои на русский язык.

Княжна Наталья Илларионовна Имшина, в молодости была фрейлиной, а теперь старая провинциальная барышня: белится, румянится, пудрится и сильно душится.

Петр Григорьевич Девочкин, отец княгини Настасьи Петровны, отставной портупей-прапорщик; фигурой похож на Суворова, беспрестанно петушится, целый день пьян; курит из коротенькой трубочки корешки; человек, про которого можно сказать: «Черт его знает, что такое!»

Губернатор, высокий, худощавый и задумчивый мужчина с длинным носом.

Рыков, молодой гатчинский офицер.

Капитан-исправник, краснорожий, в отставном военном мундире.

Подьячий, как и следует быть подьячему.

Управитель князя Платона Илларионовича, ходит в немецком камзоле, кафтане, треугольной шляпе, видом похож на немецкого пастора.

Шут Кадушкин, до неистовства не любит, когда его «теленком» называют.

Дворецкий.

Ульяша, горничная.

Карлица, какой и следует быть карлице.

Митрич, старый садовник; человек умный, но хвастун и лгун; очень любит болтать.

Филька, молодой садовник, малый работящий, притворяется только, что думает, а совершенно не может этого.

Сарапка, горбатый, кривобокий и очень злой.
Буфетчик, официант и охотники.

Действие происходит в поместье князя Платона Илларионовича Имшина в 1797 году.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В огромном каменном доме князя Платона Илларионовича боскетная, с зеркалами, вделанными в стены и задрапированными с краев нарисованною зеленью; мебель тяжелая из красного дерева и обитая ярким желтым штофом. На одной стороне сцены огромный камин с стоящими на нем затейливыми часами; на другой стороне горка с фарфоровыми куклами и статуэтками. На потолке висит хрустальная люстра, тоже с зеленью из крашеной жести. На задней стене два портрета: императора Павла и Вольтера; на двух других стенах развешаны картины эротического содержания.

ЯВЛЕНИЕ I

Князь Платон Илларионович, в дорожном мундире, но с полным комплектом крестов, звезд и лент, в лосинах и ботфортах, в парике с косою в кошельке, сидит в креслах. Княгиня Настасья Петровна, в прическе «узел Аполлонов», в узеньком и с буфами на рукавах платье, сидит в других креслах рядом с мужем. Несколько поодаль помещается князь Сергей Илларионович в щеголеватом немецком кафтане и камзоле, с косою, увитою лентою, в сапогах сверх брюк. Сам он в манерах изящен и мягок. Шут Кадушкин, одетый совершенным маркизом, в чулках и башмаках, стоит в строго официальной позе у дверей.

Князь Платон (*обращаясь с нежностью к жене и кладя ей руку на плечо*). Ну, прощай, моя птичка, не скучай, да и не веселись очень; а главное, молись богу и будь здорова!

Князь Сергей. Это, я полагаю, вне душевной власти Настасьи Петровны: скучать она непременно будет.

Князь Платон. Что было тут делать?.. Я не был искателем счастия при новом дворе, хотел вот ей одной (*показывает на жену*)... посвятить всю жизнь мою, но государю самому угодно было избрать меня на столь важный пост. Кто смел бы не повиноваться воле его?.. Брать же ее с собой, когда она только еще неделю встала с постели...

Княгиня. Я теперь никак не могу ехать, совершенно еще слаба.

Князь Сергей. О да! Тем более, что и надобности такой неотклонимой нет.

Князь Платон *(вздохнув и с ударением)*. Надобность есть-с! Если бы кто побывал у меня на душе и посмотрел, какая печаль там внедряется от разлуки с ней, так не сказал бы *надобности нет.*

Кадушкин. Я тепель, васе сиясество, на войну поеду, сабью возьму, сьяжаться буду, вото-сто-с!

Князь Платон. Непременно, ты первый храбрец у меня будешь!

Кадушкин. Я пиеду с войны, князю Сейгею гоеву сьюбью.

Князь Сергей. Мне?.. За что?

Кадушкин. А помнись ли, ономнясь!.. *(Обращаясь к князю Платону.)* Я, васе сиясество, пьисой к нему с пьязником поздьявить, а он на-ка, собаками стай тьявить меня.

Князь Сергей. Но мне сказали, что не ты, а теленок зашел ко мне в сад, я и велел его травить собаками.

Кадушкин. Я те дам, теенок, чейт, дьявой, пьязо! *(Поднимает на князя Сергея кулак.)*

Князь Платон. Ну, нишкни, Кадушка! *(Обращаясь к жене.)* Я на время моего отсутствия просил брата погостить у тебя, во-первых, для развлечения твоего, а во-вторых, и по хозяйству; ибо моя Настасья Петровна хозяюшка никуда не годная.

Княгиня *(несколько обиженным тоном)*. Я никогда себя особенно хорошей хозяйкой и не считала!

Князь Платон *(Кадушке)*. Поди, вели подавать лошадей и сам одевайся!

Шут уходит.

Князь Платон *(жене)*. Ну, я желаю сказать несколько слов с братом наедине, а потом прощусь и с тобой, может быть, последним поцелуем в жизни.

Княгиня *(вставая)*. Почему же последним?

Князь Платон. А потому, что на войне, говорят, прежде всех чинов и крестов надобно чаять смерти!

Княгиня уходит.

ЯВЛЕНИЕ II

Князь Платон и князь Сергей.

Князь Платон. Так-то, братик, хоть мы с тобой и различествуем во многом: я уж стар, а ты еще в поре, я человек военный, служивый, ты светский, придворный; но

все-таки полагаю, мы не по названью одному братья, по крайности в моей душе, кроме пожелания тебе всякого добра, счастья и радостей, ничего другого не было.

Князь Сергей. Точно так же, братец, и я разделяю сие чувство с присовокуплением уважения, которое всегда питал к вам.

Князь Платон. Бог с ним, с уважением!.. Любви твоей я паче всего желал бы, и теперь хочу открыть тебе самые сокровенные мои помыслы. Господь бог, кажется, всем меня благословил: богатством, знатностью, чинами, царскою милостью,— а меж тем душа моя болит.

Князь Сергей. Ничего такого, братец, я не вижу в вашей жизни, что могло бы вас огорчать.

Князь Платон. Огорчает меня моя молодая жена...

Князь Сергей взглядывает с удивлением на брата.

(Продолжает.) Сколько я прельщен ее красотою и молодостью, сказать того не могу; но и опечален тоже. Каждоминутно, не успокаиваясь даже во сне, я ее ревную ко всем, кажись, и к каждому!

Князь Сергей *(потупляясь)*. А к этому вы имеете еще менее каких-либо оказий.

Князь Платон. Сам не ведаю того... Посмотри, однако, что выходит: из какой несладкой жизни взял я ее — бедная дворяночка, отец пьяница, буян!.. Окружил я ее почестями, довольством, а между тем все словно бы она печалится, о чем-то грустит; сидит по целым часам, слова не промолвит; окликнешь ее, встрепенется точно со сна.

Князь Сергей. Она, сколько мне кажется, от природы такого меланхолического характера...

Князь Платон. Нет. В девушках она была резвунья и шалунья. Но как бы то ни было, того уж не воротишь, по крайности, когда я около нее, я знал, что она не изменит мне, она трепещет моей ревности, но теперь я уезжаю!.. Положим, что опасность эта только во мнении моем существует, тем не менее она мучит меня, как бы на самом деле была... Чем я предотвращу ее, какие приму против нее меры?

Князь Сергей *(с усмешкою)*. Ceinture de virginité[1] вы, может быть, желали бы иметь.

Князь Платон. Да я и тем не успокоился бы!..

---

[1] Пояс девственности *(франц.)*

Душа моя в этом случае ненасытима, я хочу, чтобы она и мыслей своих никому другому не отдавала!.. Средство теперь одно: останься ты вместо меня стражем, наблюдай за ней, и если в полусловах ее, в мине, в улыбке заметишь что-либо подозрительное, сейчас же пиши мне: я брошу все и прискачу сюда.

Князь Сергей. Вы, братец, даете мне поручение... как это сказать по-русски... très embarassant [1]. Есть восточная басня, что один из персидских шахов, когда имел гнев на кого-либо из своих придворных, он сейчас же заставлял его стеречь верность одной из жен своих, а потом всегда находил, что тот не усматривал, и он казнил его за то.

Князь Платон (*обеспокоенным уже голосом*). И ты поэтому не надеешься усмотреть?

Князь Сергей. Au contraire [2]; я наперед уверен, что образ поведения Настасьи Петровны спасет меня от всякого нарекания с вашей стороны.

Князь Платон. Дай-ка бог твоими устами пить мед, но, впрочем, погоди, постой, открывать тебе, так уж открывать все. Есть тут у меня через реку сосед, молодой гатчинский офицерик — Рыков, так себе, из худородных... Только ты знаешь, как государь не любит, чтобы гатчинцы ездили в отпуск, а этот малый каждый год месяца по два пребывает здесь, всячески втирается ко мне в дом, юлит передо мной, перед прислугой даже...

Князь Сергей (*потупляясь и как бы скрывая свои мысли*). Mais... je trouve cela fort naturel [3], что молодой офицерик ищет чести быть принятым в вашем доме.

Князь Платон. Положим, так; но выслушай ты меня дальше: когда получено было мое назначение, но не решено еще было, что княгиня останется здесь, он вдруг является ко мне и просится в адъютанты; брать мне его никакой стати не было, но, чтобы повыведать его, говорю: «Хорошо!» Малый наш расцвел, как маков цвет; потом, когда слух прошел, что я еду один, он вдруг пишет мне письмо, благодарит, что я изъявил согласие на принятие его к себе на службу, но что он, по домашним обстоятельствам, воспользоваться сим не может.

---

[1] весьма затруднительное (*франц.*).
[2] Напротив; (*франц.*)
[3] Но... я нахожу это вполне естественным, (*франц.*)

Князь Сергей. Все это... мне трудно выражать мои мысли... есть одно... может быть, обыкновенное столкновение вещей.

Князь Платон. Ты думаешь?

Князь Сергей. Совершенно уверен в том, а, наконец, если это беспокоит вас, я не буду здесь в ваше отсутствие принимать господина Рыкова.

Князь Платон *(почти с плачем в голосе)*. Да, не принимай его. На пушечный выстрел, бога ради, не пускай его сюда!

Князь Сергей. Не пущу, soyez tranquille! [1].

Князь Платон. Спасибо!.. *(Целует его.)* Теперь ступай, позови сюда жену; я прощусь с ней.

Князь Сергей уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Князь Платон *(один, складывая руки)*. Великий боже, если в предвечном решении твоем назначено мне за грехи мои наказание на земле, то ниспошли мне какие только святой воле твоей благоугодно будет муки, но не измену жены моей!.. Молю о том не толико за себя, колико за нее.

ЯВЛЕНИЕ IV

Князь Платон и княгиня Настасья Петровна.

Князь Платон *(подходя к жене и заключая ее в свои объятия)*. Прощай, моя милушка, лапушка, прелесть! Покажи мне твои глазки: есть ли в них печаль и горе о моем отъезде.

Княгиня потупляется.

Или, может, они уже радуются и обращены в сторону?

Княгиня *(еще более потупляется)*. Никуда они не обращены, и вы только этим меня обижаете.

Князь Платон. Ну, ну, не буду!.. И на прощанье тебе скажу одно мое такое рассуждение: тебе 25 лет, а мне 65; живучи в молодости моей, я тоже, как говорится, поджигал себя со всех концов, а посему много-много проживу еще лет пять; не отравляй ты мне сего времени и не губи ни себя, ни меня!.. Я теперь именно, как в священ-

[1] будьте спокойны! *(франц.)*

ном писании сказано: что возлюбит человек жену свою, аки тело свое, так и я к тебе прилепился; но если ты отвратишься от меня, так и я поведу себя с тобою, как бы собственным телом своим: никого не боючись и никого не слушаясь!

Княгиня. Ничего я этого не боюсь, потому что никогда ничего того не может быть! Меня одно только теперь беспокоит, что князь Сергей будет жить у нас.

Князь Платон. Но почему же тебя может это беспокоить?

Княгиня. Он человек светский, жил всегда в столицах; я женщина простая, он будет скучать со мной.

Князь Платон. Но он сам с величайшей охотой и радостью принял мое приглашение.

Княгиня (*отворачиваясь в сторону и как бы несколько про себя*). Тем хуже для меня!

Князь Платон. Чем же хуже для тебя?

Княгиня. А тем... Зачем вам нужно, чтобы он оставался здесь?.. Чтобы присматривать за мной?..

Князь Платон (*сконфузясь*). Не присматривать, а он похозяйничает...

Княгиня. Что ему хозяйничать... У вас очень верный и усердный управитель... Вы вот ревнивы, а тут не видите ничего.

Князь Платон. Что такое ревнив и что такое мне видеть?..

Княгиня (*торопливо и с ударением*). А то, что князь Сергей кидает иногда на меня такие взгляды, что мне совестно делается, а вы оставляете меня жить с ним с глазу на глаз.

Князь Платон (*побледнев и сдерживаясь*). Какие же взгляды?

Княгиня. Такие взгляды, какие я не желаю, чтобы ни один посторонний мужчина на меня кидал.

Князь Платон (*притворно хохоча*). Ха, ха, ха! Сергей кидает взгляды!.. Ну, ты ошиблась! Я знаю, что он слаб, по парижской своей привычке, к актрисам, к девкам городским,— вообще к женщинам вольного поведения; но чтобы он стал кидать взгляды на женщину замужнюю, а тем паче на жену мою... Это не в его правилах... Ха, ха, ха! Сергея подозревать в влюбчивости и в сентиментальности,— этого даже всепредвидящая ревность моя не могла подметить...

К н я г и н я. Я ни в чем его не подозреваю, а говорю только, что он несколько раз позволял себе держать себя со мной очень вольно.

К н я з ь П л а т о н. Когда же он это делал?

К н я г и н я. Несколько раз!.. Я не хотела только говорить вам и расстраивать вас с братом.

К н я з ь П л а т о н. Все вздор!.. Ступай, прикажи собрать все к отъезду моему... Я сейчас уезжаю.

К н я г и н я *(уходя)*. Подействовало, вижу, а там письмами докончу... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

К н я з ь П л а т о н *(один, в сильном волнении)*. Что это такое она сказала? Только одно место в сердце оставалось здоровым,— и то поранили... Я теперь и уехать не могу... *(Приставив палец ко лбу.)* Нет, пусть они полагают, что я уехал, а я вот буду сидеть тут *(показывает на одну из боковых дверей)*, в библиотеке, и подслушивать. У меня давно там сделано отверстие в эту комнату, чтобы наблюдать за женой... *(Сначала свистит, а потом кричит.)* Кадушкина мне!

ЯВЛЕНИЕ VI

К а д у ш к и н мгновенно влетает в круглой шляпе с кокардой, в гороховой с несколькими воротничками шинели, перетянутой портупеей, на которой повешена сабля.

К н я з ь П л а т о н. Поди сюда!

К а д у ш к и н, приложив руки по швам, приближается.

Я отсюда выеду и у сада сойду, а ты с людьми и лошадьми поезжай до первой станции и дожидайся там меня день, два, неделю, пока я сам не приеду или не пришлю кого,— понял?

К а д у ш к и н. Поняй, васе сиясество!

К н я з ь П л а т о н. Если люди не будут тебя слушаться, покажи им вот мой перстень... *(Подает ему перстень.)*

К а д у ш к и н *(принимая перстень)*. Будут сьюсаться, васе сиясество, я им сказу: «Цыц!»

К н я з ь П л а т о н. Цыц и ты! Дворецкого ко мне позовешь!

Кадушкин. Сьюсаю, васе сиясество!.. *(Прикладывает руку к шляпе, повертывается налево кругом и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Князь Платон и дворецкий, сейчас же после шута явившийся; одет он во французском кафтане из камлотовой материи, в чулках и башмаках.

Князь Платон *(показывая на дверь в библиотеку)*. Запереть всю эту половину и никого не пускать туда!.. Если кто войдет туда и пропадет что-либо из вещей моих, ты мне отвечать за то будешь.

Дворецкий *(модно раскланиваясь)*. Никого не будет допущено, ваше сиятельство!

Князь Платон. А ключ от балкона в сад отдать мне!

Дворецкий *(проворно вынимая из кармана ключ, почтительно подает его князю)*. Смею представить оный!

Князь Платон кладет ключ в карман и уходит.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Дворецкий *(один, запирая дверь в библиотеку)*. Не будет допущено — а как ты сделаешь-то? У нас такой насчет этого народец, что покажи им на какую-нибудь пустую, валяющуюся на улице палочку и скажи только: не тронь этого! Так всякая бестия подойдет и дотронется!

Из противоположных дверей показывается Ульяша.

Дворецкий *(строго к ней)*. Что тебе надобно?.. Горничная ты, молоденькая девушка, а шляешься на мужскую половину.

Ульяша. Мне князя Сергея Илларионовича надо.

Дворецкий. Никакого тебе князя не надо, сиди ты в своей светлице и тки золотом,— вот ваше девичье дело!

Ульяша (*робко*). Мне нужно-с!

Дворецкий. Ну так вот что: князь приказал, чтобы духу вашего человечьего на этой половине не было, и ежели я теперь кого из этих дураков лакеев или из вас дур горничных здесь застану, так, как собаку паршивую, возьму за шивороток и прямо приведу к княгине на ее распоряженье!

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и князь Сергей Илларионович.

Князь Сергей. Что это, Федор Парменыч, так разглагольствовать изволите?

Дворецкий. Да вот-с молодой девице нотацию читаю, как себя вести надо.

Князь Сергей. Кому же и поучить их, как не вам, Федор Парменыч!

Дворецкий *(самодовольно)*. Нельзя без того, ваше сиятельство; нас старики наши родители учили, а мы их теперь учим.

Князь Сергей. Что же вы не провожали князя?.. Он уж уехал.

Дворецкий *(почти с ужасом)*. Как уехал?

Князь Сергей. Сел в экипаж и уехал.

Дворецкий. Боже мой, бегу хоть вслед им поклониться... *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Князь Сергей и Ульяша.

Ульяша *(робко подходя к нему)*. Как же, ваше сиятельство, письмо-то отправлено ли?.. Княгиня и сегодня меня об нем спрашивала.

Князь Сергей. Отправлено, отправлено! Какая хорошенькая — а!.. *(Берет ее за подбородок.)*

Ульяша. Сделайте милость, ваше сиятельство, чтобы отправлено было-с; я очень боюсь, сохрани бог, княгиня узнает, что не сама я носила, куда я тогда поспела!

Князь Сергей. Все сделано, все!

Ульяша. Сделайте милость!.. *(Приседает ему и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Князь Сергей *(один, мгновенно переменяя веселое выражение лица на озабоченное)*. Когда брат жал мне при прощаньи руку, son regard ètait plein de colère et de mépris. Que voulait il dire par là? Je voudrais bien le savoir! Mais, dieu, à quoi bon se tourmenter une fois qu'il est déjà parti. Occupons-nous de notre plan que

je brûle de réaliser au plus vite!..[1] Аббат Десюис говаривал: «Чего женщина не сделает из любви, сделает из страха!» C'est une femme privée d'éducation et de belles manières, mais n'importe, elle est fort jolie!..[2] она производит на меня... comment dire cela...[3] раздражение, mais chut![4] Она идет... начну сейчас же... не буду откладывать.

ЯВЛЕНИЕ XII

Князь Сергей и княгиня, входит печальная и серьезная.

Княгиня. Как, братец, вы думаете проводить ваше время?.. Я по вечерам и при князе всегда почесть сидела у себя одна наверху.

Князь Сергей. Ваше время совершенно в вашем распоряжении, и я прощу у вас только на сегодняшний вечер исключения, ибо имею надобность говорить с вами.

Княгиня *(неохотно садясь)*. Только, пожалуйста, не обыкновенные ваши пустяки, которые вы мне иногда говорите.

Князь Сергей *(пожимая плечами)*. Увы, кузина, быв с вами наедине, могу ли удержать себя, чтобы не повторить вам своей мольбы!

Княгиня делает недовольное движение.

(Продолжает тем же тоном.) Она, я знаю, в глазах ваших не имеет никакой цены; но тут есть, как бы сказать, un petit rien...[5] одна маленькая вещь, которая, может быть, вас заинтересует...

Княгиня. Какая бы это вещь ни была, она совершенно для меня неинтересна и неприятна.

Князь Сергей *(протяжным и знаменательным голосом)*. Не выслушав последнего куплета пьесы, нельзя говорить об ней своего суждения. Вчера брат прислал ко

---

[1] Его взгляд был полон гнева и презрения. Что он этим хотел сказать? Я хотел бы это знать! Но, боже, к чему мучить себя, если он уже уехал Возьмемся за наш план, который я горю желанием осуществить поскорее!.. *(франц.)*

[2] Это женщина простого воспитания и манер, но что нужды, она очень красива!.. *(франц.)*

[3] как это сказать... *(франц.)*

[4] но тише! *(франц.)*

[5] мелочь... *(франц.)*

мне своего лакея... он при мне начал из своего платка носового très sale[1] вынимать два письма: одно... адресованное рукою брата ко мне, а другое... надписанное вами к Рыкову.

Княгиня *(делая движение и вся побледнев)*. Где же это мое письмо теперь?..

Князь Сергей молчит.

Князь, вы такой добрый и благородный! Надеюсь, вы этого письма моего не перехватили, не прочли его?

Князь Сергей *(не спеша и с ударением)*. Я письмо ваше перехватил... прочел... и оно теперь у меня...

Княгиня опять делает движение.

(Смотря ей в лицо.) По вашему лицу, княгиня, видно, что вам поступок мой кажется неблагородным... c'est une action ignoble;[2] совершенно справедливо; но вспомните: из-за женщин люди десять лет сражались, из-за любви люди идут на плаху, в тюрьму, убивают коварно друзей своих, а потому, я думаю, мое маленькое неблагородство, особенно кто видел красоту вашу, извинительно.

Княгиня *(почти плача)*. Князь, я и без того теперь такая несчастная, а вы еще смеетесь надо мной!

Князь Сергей *(пододвигаясь к ней и страстным голосом)*. Не смеюсь я, кузина, а плачу... Как и чем мне доказать вам весь пламень сжигающей меня страсти?.. Я для вас... как это... j'ai brisé,[3] изломал всю мою жизнь!.. Мне скучен Петербург, двор... я живу более года, без всякой надежды, около вас и около ревнивой пасти вашего мужа, и мне остается, как утопающему, схватиться за соломинку, одна надежда воспользоваться вашим письмом!

Княгиня *(вставая и намереваясь уйти)*. Пустите меня! Я и то долго позволила себе слушать непристойные речи ваши.

Князь Сергей *(останавливая ее)*. Еще два слова, от которых, может быть, зависит ваша и моя жизнь: по письму вашему видно, что сердце и душа ваша вся принадлежит тому счастливцу *(задыхающимся голосом)*, но мне дайте счастие обладать вами только на самый краткий миг, потом я буду глух и нем к своим собственным

---

[1] очень грязного (*франц.*).
[2] это низкий поступок; (*франц.*)
[3] я разбил, (*франц.*)

чувствам, буду аккомодировать вашей любви к другому, буду скрывать ее.

Княгиня. Вы, князь, так уж низко меня разумеете, что прошу вас оставить мой дом.

Князь Сергей. Княгиня, я бешен и безжалостен буду к вам: я отдам письмо ваше вашему мужу!

Княгиня (*вся вспыхнув и с твердостью*). Кому хотите отдавайте!.. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XIII

Князь Сергей (*сердито топая ногой*). Она глупа, как последняя крестьянская баба, но мужу, вероятно, будет писать; надобно предупредить ее; сейчас пошлю камердинера, чтобы он воротил брата... (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XIV

В дверях библиотеки щелкает замок, и появляется князь Платон, бледный и весь дрожащий.

Князь Платон. Приятные речи я выслушал для себя... (*Ударив себя в грудь.*) Ни богу, ни государю моему я жаловаться не стану, но только и вы уже, добрые люди, не подивитесь, как я распоряжусь со всеми ими.

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Та же боскетная комната.

ЯВЛЕНИЕ I

Входят князь Платон и князь Сергей.

Князь Сергей. Вы так, братец, скоро вернулись, что я никак вас не ожидал.

Князь Платон. Я как получил от тебя весточку, сейчас и поскакал... (*Поднимает дрожащей рукой письмо.*) А что же я стану с письмом этим делать?

Князь Сергей (*пожимая плечами*). Что заблагорассудите.

Князь Платон. Я его, знаешь, пошлю по адресу;

пусть Рыков явится сюда... Мне все-таки любопытно видеть, как это он станет с женой моей обращаться!..

Князь Сергей. Он, кажется, недалеко тут живет!

Князь Платон. Недалеко, только через реку, к моему, а может, ведь, и к его несчастью.

Князь Сергей. Hélas! [1] Он был по крайней мере счастлив!

Князь Платон. Да, в самом деле это так! Здесь, пожалуй, может быть несчастлив и тот, кто вовсе и не был счастлив,— а, так?..

Князь Сергей. Кто же, братец, не был здесь счастлив?

Князь Платон. А я, например; я только был глуп, а счастлив не был.

Князь Сергей. Вы имеете так много твердости характера, что эту неприятность вашу перенесете... Comment dire cela, plus avec du mépris, que de douleur, [2] и меня, признаюсь, очень удивляет и беспокоит ваш теперешний расстроенный вид, ваш странно изменившийся голос, тон речи.

Князь Платон. Ну да, я удивился очень; хоть и подозревал несколько, но все-таки это была для меня нечаянность; точно обухом по голове ударили! Письмо, впрочем, прежде, чем посылать его, ты мне перечти: я не все понял, когда первый раз читал его; как-то в глазах у меня темнело при сем!

Князь Сергей *(берет письмо и начинает читать)*. «Бесценный голубчик мой, Митя! Наконец злодей наш уезжает...»

Князь Платон *(перебивая его)*. Злодей! Почему же я для нее и злодеем уж стал.

Князь Сергей *(читает)*. «Хожу я целые дни, и только и есть, что думаю об тебе... Вчера я от тоски зашла в нижний этаж нашего дома. Там увидала из одного коридора, в первый еще раз, подвальные тюрьмы, с цепями в них на стенах. Муж, говорят, сажал туда людей и пытал их, когда имение это бунтовало...»

Князь Платон *(перебивая его)*. *Тюрьмы с цепями!..* Славная мысль... отличная! Я запишу ее в своей памятной книжке... *(Вынимает бумажник и записывает в него.)*

---

[1] Увы! *(франц.)*

[2] Как это сказать, больше с презрением, чем с болью, *(франц.)*

Князь Сергей *(продолжает читать).* «Болтаю, дружок мой, с тобой и сама не знаю что. Приезжай в четверг; *старый медведь,* как ты его называешь, непременно уж уедет, а ты приезжай подольше ко мне погостить. Люди при мне остаются те же: Ульяша и дворецкий; они оба верны нам и преданы».

Князь Платон. *Старый медведь... Ульяша и дворецкий!..* Постой, мне все это надо записать; я должен с точностью все помнить!.. *(Записывает.)*

Князь Сергей *(продолжает читать).* «Я очень боялась, чтобы он не оставил шута Кадушки, этот дурак очень ему предан, и все ему передает от слова до слова...»

Князь Платон. А, Кадушка! Давайте мне его сейчас, я его расцелую... *(Обращаясь к брату.)* Ты понимаешь ли?.. Значит, есть еще человек около меня, на коего я могу положиться!.. Читай дальше!

Князь Сергей. Дальше тут обыкновенные фразы: «Обнимаю тебя» и прочее...

Князь Платон. А много она, чай, и со страстию его обнимала; но теперь я как-нибудь уж постараюсь, что она больше не будет обнимать его.

Князь Сергей. Вот это, братец, и я желал бы знать, что вы намерены предпринять.

Князь Платон. Мне это, знаешь, и самому как-то смутно еще представляется; но ревность и злоба, говорят, хитры на выдумки; может быть, и я выдумаю что-нибудь хорошее. Прежде всего ты пошли это письмо к Рыкову с каким-нибудь верным человеком.

Князь Сергей. С камердинером моим!

Князь Платон. Хорошо!

Князь Сергей *(кричит).* Jean! [1]

Является камердинер француз.

ЯВЛЕНИЕ II

Камердинер. Monsieur? [2]

Князь Сергей *(подавая ему письмо).* Allez chez monsieur Rikoff qui demeure de l'autre coté de la rivière... [3]

---

[1] Жан (Иван)! *(франц.)*

[2] Господин? *(франц.)*

[3] Идите к господину Рыкову, который живет на другом берегу реки... *(франц.)*

Камердинер. Oui, monsieur![1]

Князь Сергей. Remettez lui cette lettre![2].

Князь Платон. И скажи ему на словах, что меня дома нет; а что письмо от жены, которая просит его сейчас же к ней приехать.

Камердинер. Oui, monsieur!..

Князь Платон. И что письмо это подала тебе горничная Ульяша... *(К брату.)* Понимает он меня?

Камердинер. Oui, monsieur! J'ai compris tout ce que vous m'avez dit.[3]

Князь Сергей. La femme de chambre de la comtesse![4]

Камердинер. Je la connais, monsieur! Une très jolie petite.[5]

Князь Сергей. Allez![6]

Камердинер. Oui, monsieur!.. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Князь Платон и князь Сергей.

Князь Платон. Ну, а теперь, милый брат, ты поди скажи жене, что мне занездоровилось и что я воротился... Говори только это осторожнее и не вдруг, а то она, пожалуй, перепугается по любви своей ко мне; потом, когда она придет сюда, и ты также приходи, и я, что называется, проведу вечер между нежной женой и добрым братом.

Князь Сергей. В чувствах моих к вам и вашей жены есть, я полагаю, некоторое различие.

Князь Платон. Я и делаю сие различие: то нежная жена, а ты добрый брат; а потом подъедет молодой человек. Посмотрю я на него; какие же это такие он достоинства имеет, что так уж пленил ее. Ступайте, брат, известите жену и пошлите ко мне моего Кадушкина.

Князь Сергей. Повинуюсь... *(Уходит.)*

---

[1] Да, господин! *(франц.)*

[2] Передайте ему это письмо! *(франц.)*

[3] Да, господин! Я понял все, что вы мне сказали. *(франц.)*.

[4] Горничная княгини! *(франц.)*

[5] Я ее знаю, господин! Очень красивая девочка. *(франц.)*

[6] Идите! *(франц.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Князь Платон *(один)*. Хоть бы в слове, негодяй, заикнулся; но черт пока с ним!.. Паче всего мне теперь жена моя. Где силы она брала в своей маленькой душонке так долго и так хитро притворяться... Как велика была любовь моя к ней и как продолжительно было ее лукавство, так велико и продолжительно будет наказание ей мое.

ЯВЛЕНИЕ V

Тот же и Кадушкин.

Князь Платон. Ты приехал, мой милый, ну и прекрасно! Я тебя поценю и награжу скоро очень!

Кадушкин *(вытянувшись во фрунт)*. Я, васе сиясество, как вас пыкащик пыискакай: «Скаци, говоит, домой!»,— я запляг сейцас, поехаи мы: князя Сейгея фьянцузиска скацет: «Князя, говоит, пиосят домой!» — «Едем, говою, ницего, не догадайся, сто вас нет!»

Князь Платон. Ты молодец! А скажи, что бы ты делал, если бы три, четыре, а может, и пять человек очень меня обидели?

Кадушкин. Я им гойло пеегьизу, как собака: ам! ам!.. *(Лает.)*

Князь Платон. Отлично, бесподобно. Теперь поди и припаси мне дюжину охотников помолодцеватее, чтобы они стояли внизу дома и дожидались моих приказаний; а сам стой тут у дверей, как я хлопну в ладоши, так и являйся налицо.

Кадушкин. Сьюсаю, васе сиясество!.. *(Делает рукой под козырек, поворачивается налево кругом и идет; в дверях сталкивается с княгиней и также отдает ей честь.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Княгиня быстро и беспокойно входит.

Княгиня. Вы вернулись, не поехали... Я ничего не знаю, сижу там у себя...

Князь Платон. Да, мне занездоровилось, кровь или желчь прилила к сердцу, но только мне нехорошо.

Княгиня. Вы бы приняли что-нибудь успокоительное.

Князь Платон. То-то вот и есть: против моей бо-

лезни медицина не выдумала еще ничего успокоительного.

Княгиня. Но что же вы, по крайней мере, чувствуете? Долго ли ваша болезнь продолжится?

Князь Платон. Тебя более всего беспокоит: долго ли моя болезнь продолжится... скоро, вероятно, пройдет и я уеду... молодые жены ведь любят, когда от них уезжают старые мужья.

Княгиня. Я никогда, кажется, не давала вам поводу так думать; но все-таки я вас буду просить, что когда вы опять поедете, так князя Сергея не оставляйте здесь со мною.

Князь Платон *(смотря на жену)*. Отчего же?.. Он такой милый, славный!..

Княгиня. А оттого, что только что вы уехали, он сделал мне декларацию в любви.

Князь Платон *(как бы сильно удивленный)*. Князь Сергей?.. Декларацию в любви?..

Княгиня. Он и прежде говорил мне такие слова.

Князь Платон *(перебивая жену)*. Князь Сергей говорил такие слова?.. Вот кто бы подумал, повеса какой!.. Я ему попеняю за это серьезно.

Княгиня. Он, вероятно, будет вам говорить и про меня; примите это как вам будет угодно; но я вам повторяю, что он сам хотел меня соблазнить.

Князь Платон. Шалун, шалун! Я ему уши за это надеру... Однако он идет, прекратим разговор об нем.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и князь Сергей.

Князь Платон. Вот и все налицо!.. *(Князю Сергею.)* Садитесь, братец!

Князь Сергей садится.

Что же мы теперь будем делать?

Официант входит с чаем.

А вот, кстати, и чай подают... *(Берет и ставит чашку жене. Официанту.)* А я не хочу!..

Официант подает чай князю Сергею. Тот берет.

(Развалясь на кресле, как бы желая понежиться.) Ска-

жите вы мне, милые мои, какую-нибудь сказочку, убаюкайте вы меня, старика.

Княгиня *(улыбаясь).* Я только и знаю сказочку про белого бычка, не начать ли ее с конца?

Князь Сергей *(пожимая плечами).* А я и той не знаю.

Князь Платон. Ну так я вам скажу: одному французскому королю изменила жена; он вознамерился отравить ее, и для сего велел изготовить бульон с тончайшим ядом, и подал его в чашке жене, как вот я теперь подаю моей милой жене чай... *(Подает жене чашку.)* По этикету, когда король сам что подает, близкие ему и подчиненные сейчас должны выпить, и так как все-таки же я король здесь немножко, то приказываю вам, моя супруга, сейчас же выпить вашу чашку!

Княгиня. Может быть, она тоже с ядом?

Князь Платон. Может быть!

Княгиня. Ничего, все равно!.. *(Выпивает.)*

Князь Платон *(взглянув ей прямо в лицо).* Смела!.. *(Обращаясь к брату.)* А вы, братец, выкушаете вашу чашку?

Князь Сергей. Но я не жена ваша и не изменила вам!

Князь Платон. Можно изменить и не быв женою, вы знаете!.. И по этикету вы не имеете права отказаться.

Князь Сергей. Нет-с, я не буду пить чаю, вы меня напугали; я очень брезглив!

Князь Платон. Трус вы после того, и совесть, видно, у вас чем-нибудь не чиста против меня!..

Входит лакей.

Лакей. Дмитрий Яковлевич Рыков!

Князь Платон. Проси! Очень рад видеть молодого человека, очень рад!..

Князь Сергей потупляется, княгиня бледнеет.

Княгиня *(про себя).* Письмо мое, видно, дошло к нему!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Рыков.

Князь Платон. Милости просим, мой бывший, но не будущий адъютант! Скажите мне по совести: вы никак не чаяли застать меня здесь?

Р ы к о в (*почти совсем растерявшись*). Я?.. Нет, что ж?.. Конечно, что...

Князь Платон (*обращаясь к брату*). Какой ответ удовлетворительный... (*Рыкову.*) Как же это вы вошли в гостиную и не кланяетесь даме? Что это за неловкие нынче молодые люди, точно *молодой медведь* какой! Извольте сейчас подойти к моей супруге и поцеловать у ней руку.

Р ы к о в конфузится окончательно, но подходит к руке к н я г и н и. Та, вспыхнув и не вставая с места, подает ему руку.

(*С злобной насмешкой, обращаясь к жене.*) А как вам, княгиня, нравится мое прозвище ему *молодой медведь?*

К н я г и н я (*несколько овладевая собой*). Я ничего в этом не нахожу похожего на Дмитрия Яковлича!

Князь Платон. Ну, а *старый медведь,* как называют меня иные, неужели я так уж и похож совсем на *старого медведя.* (*Снова повертывается к Рыкову.*) Что же вы, садитесь хоть наконец!.. А то ни с кем не кланяетесь и стоите, как столб.

Р ы к о в. Ей-богу, ваш прием до того меня озадачил: я не могу еще прийти в себя; впрочем, по вашему желанию, я сажусь.

Князь Платон. Ну-с, и чаю выкушайте... (*Официанту.*) Подай господину Рыкову чай. Я сейчас рассказывал, что один французский король приревновал жену к придворному своему, и сам ему подал в такой чашке, в какой вы пьете, яд, и тот ведал, что это яд, и выпил его из уважения к королю, не поморщась.

Р ы к о в. Что ж тут, морщись, не морщись, не поможет!.. (*Выпивает чашку.*)

Князь Платон. Вы думаете? А что, скажите, вы не чувствуете, что чай чем-то отзывается?

Р ы к о в. Я не знаток в чаю; для меня решительно все равно, чем бы он ни отзывался!

Князь Платон (*брату*). Не в вас, князь, не брезглив... (*Обращаясь ко всем.*) Приношу, однако, всем вам маленькое извинение, что, в присутствии вашем, произведу расправу с некоторыми мерзавцами из людей моих... (*Хлопает в ладоши, является шут.*) Дворецкого пошли мне и горничную Ульяшу!

К а д у ш к и н. Сьюсаю, васе сиясество! (*Обертывается налево кругом и уходит.*)

К н я г и н я (*в сторону*). Он точно читал мое письмо!

ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, дворецкий, Ульяша и шут

Князь Платон *(дворецкому)*. Вы, Федор Парменыч, изобличаетесь в измене нам, в продаже нашей чести, в сокрытии от нас того, что оскорбительнее для нас всего.

Дворецкий. Я, ваше сиятельство?..

Князь Платон. Разговаривать еще после будем с вами... *(К Кадушкину.)* Велите охотникам наложить на него цепи и в подвал первого номера запереть; ключ принести ко мне!..

Шут уводит дворецкого.

(К Ульяше.) Ну, ты, красавица!..

Ульяша *(падает ему в ноги)*. Я, ваше сиятельство, батюшка, отец милосердный!

Князь Платон. И с тобой я тоже после поговорю!.. *(К вошедшему шуту.)* Сковать и ее и посадить в подвал второго номера.

Княгиня. Как же я останусь без горничной?

Князь Платон. Я к вам приставлю отличную горничную, усердную, не ветреную! Так-то-с! *(Встает и выходит на авансцену, как бы за тем, чтобы собраться с духом.)*

Княгиня *(пользуясь этим мгновением, подходит и говорит Рыкову)*. Поезжайте сейчас к отцу и скажите, чтобы он приезжал спасать меня: муж что-то затевает!..

Рыков *(подходит к князю Платону)*. До свиданья, ваше сиятельство.

Князь Платон. Вы уж уезжаете?

Рыков. Прошу позволения на то!.. *(Раскланивается княгине и князю Сергею и идет.)*

Князь Платон. Я хочу, по крайней мере, вас проводить!

Рыков. Что вы беспокоитесь!

Князь Платон. Нет-с, мы, старинные хозяева, вежливы!.. *(Уходит за Рыковым.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Княгиня и князь Сергей.

Княгиня. Безбожник вы этакой и бесстыдник!

Князь Сергей *(пожимая плечами)*. От вас зависело!..

Слышится шум и крик Рыкова.

Княгиня (*в испуге*). Что такое? Он убивает его?

Князь Сергей. Не думаю!

Княгиня. Я пойду туда и посмотрю, что такое... (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XI

Князь Сергей (*один*). Неприятно даже немножко становится: этот вепрь, пожалуй, бог знает что начудесит!.. (*Прислушивается.*) Что это такое? И княгиня, я слышу, плачет.

ЯВЛЕНИЕ XII

Тот же и князь Платон.

Князь Платон. Какой, однако, сильный, двоих без всякого оружия уложил, ну, а пятеро одолели!

Князь Сергей. Что вы такое сделали с вашим гостем?

Князь Платон. Гораздо меньше, чем он со мной; он лишил меня всякого душевного света, а я пока его только дневного и посадил в склеп, а через стену с ним и княгиню...

Князь Сергей. Княгиню?

Князь Платон. Да; она сама научила меня этому в письме своем к Рыкову. Вы ведь читали?

Князь Сергей. Братец, вы отвечать будете за то перед правительством вашим!

Князь Платон. Правительство мое ничего мне в этом случае не может помочь, а потому и судить не может!.. А гораздо лучше мы вместе с вами сообразим по всем законодательствам, что с ними надо сделать, то и сделаем.

Князь Сергей. Это будет, сами согласитесь, одна только смешная комедия, в которой я, je vous le dis sérieusement,[1] не только участвовать не желаю, но даже и видеть ее.

Князь Платон. А я вам говорю, что вы будете участвовать!..(*Хлопает в ладоши; являются двое охотников.*) Запереть людей и лошадей князя, а также и его са-

---

[1] я вам говорю это серьезно, (*франц.*)

мого не отпускать отсюда никуда!.. (*Кивает брату головой.*) До свиданья.

Князь Сергей остается в удивлении; охотники приближаются к нему

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Длинная, огромная комната в нижнем этаже дома со сводами. У одной из стен стоит стол, покрытый черным сукном, на нем горят две восковые свечки и лежат сложенные накрест две шпаги.

ЯВЛЕНИЕ I

Посредине стола, как бы на председательском месте, сидит шут Кадушкин в новом маркизском костюме, с прицепленной шпагою сбоку. Князь Платон все в том же дорожном мундире; глаза у него горят каким-то неестественным блеском; лицо бледно и искажено. В некотором отдалении от стола, с понуренною головой, стоит управитель. По задней стене стоят молодцеватые охотники в казацких казакинах, с кинжалами за поясами и с нагайками в руках.

Князь Платон (*с почтением обращаясь к шуту*). Вас, единственно верный нам друг, избрали мы в судии нашего дела. Ведомо вам, какою мы нежною любовью окружали супругу нашу, считая ее женою любящею и верною нам... Ныне же известились мы, что считает она нас первым злодеем своим, изменила супружескому долгу, предпочтя нам гатчинского офицера Рыкова.

Кадушкин. Ево, васе сиясество, пайками надо пьягнать!

ЯВЛЕНИЕ II

Входит князь Сергей, совсем взбешенный.

Князь Сергей (*обращаясь к брату*). Долго ли вы будете не пускать меня и не приказывать отдавать мне моих лошадей... Что же я, пленник, что ли, у вас?..

Князь Платон. Нет, не пленник, пока далеко еще не пленник... Не сердитесь и поприсядьте.

Князь Сергей (*садясь с досадою на другой стороне сцены*). Я никогда себе не прощу, что, из глупой моей преданности к вам, я вмешался в вашу семейную историю, что до меня совершенно не касалось!

Князь Платон. Вы поступили в этом случае как добрый брат, и как добрый же брат поможете мне и в настоящем моем горестном положении! *(К охотникам.)* Дворецкого и горничную Ульяну привесть! *(Обращаясь снова с почтением к шуту.)* Я начинаю с менее виновных преступников и надеюсь, что вы каждому воздадите должное по делам его!

Кадушкин *(горячась)*. Я им дам, васе сиясество!

Князь Сергей *(кусая губы, пожимая плечами и оборачиваясь в сторону)*. C'est incroyable![1]

ЯВЛЕНИЕ III

Двое охотников вводят дворецкого и Ульяшу, скованных по рукам и по ногам.

Дворецкий *(падая князю в ноги)*. Помилуй, государь-князь!

Князь Платон *(обращая на него грозный взгляд)*. В этом положении, подлый раб, и отвечай мне!

Дворецкий *(не поднимаясь)*. В каком прикажешь, государь-князь!

Князь Платон *(помолчав и подумав)*. Знал ли ты о любовной связи жены моей с офицером Рыковым?

Дворецкий. Нет, государь-князь! Раб ваш смеет ли думать-то о госпоже своей!

Князь Платон. Подолгу ли он в мое отсутствие пребывал здесь?

Дворецкий. Дня по два, по три гостил.

Князь Платон. Отчего же ты не докладывал мне об том по моем возвращении?

Дворецкий. Государь-князь, как приказ от тебя был: «чиновный или не чиновный, но ежели дворянин, так чтобы прием был!» — так мы его и принимали, не думая прогневить твою милость!

Князь Платон. Почему ты в письме жены моей назван слугою верным?

Дворецкий. Государь-князь, как я служил тебе, так супруге твоей и всему роду твоему одинаково.

Князь Платон *(обращаясь к шуту)*. Чего он достоин?

---

[1] Это невероятно! *(франц.)*

Кадушкин. На посеенье его, васе сиясество, подьеца!

Князь Платон (*обращаясь к управителю*). Со всем семейством свести в город и сослать на поселенье. (*Толкая дворецкого ногою в лицо.*) Пошел!

Дворецкий (*поднимаясь*). Твоя воля, государь-князь!

Князь Платон (*Ульяше*). Поди сюда!..

Та подходит.

Будешь ли ты все говорить?

Ульяша. Буду, ваше сиятельство!

Князь Платон. Ты носила письмо к Рыкову от жены моей?

Ульяша. Я-с!

Князь Платон. Когда снесла первое письмо?

Ульяша. Давно-с. Года уж два.

Князь Платон. Кто тебя послал с ним?

Ульяша. Сама княгиня-с... «Поди, говорит, снеси от меня к Рыкову писуличку!» Я говорю: «Сударыня-княгиня, ну как князь споведует это?» — «Ничего, говорит, тебе же хуже будет, коли ты мне этим не угодишь». Я и понесла.

Князь Платон. А брат твой носил?

Ульяша. Братец только раз, как его к князю Сергею Илларионовичу послали; я тоже через реку ходить — собак все боялась. «Снеси, говорю, письмецо!» Он и взялся.

Князь Платон. Не приводила ли ты когда-нибудь к княгине любовника ее ночью?

Ульяша. Нет-с!

Князь Платон. Где ж и когда они имели любовные свиданья? Отвечай мне все или сейчас же на дыбу отдам!

Ульяша (*побледнев, задрожав и прерывающимся голосом*). Ваше сиятельство... только и есть... Когда Дмитрий Яковлевич у нас ночевали-с... на другой день девушки станут убирать его комнату, и точно что шпильки княгини тут нахаживали... особенные у них, аглицкие... принесут мне и смеются: «Что это, говорят, где уж вы шпильки ваши теряете!»

Князь Платон (*глухим голосом*). От чувства и страсти их раскидывала и растеривала...

Ульяша. Да-с!

Князь Платон. Есть у тебя отец, мать?

Ульяша. Есть маминька и папинька; в садовниках в Гурьине.

Князь Платон (*к шуту*). Назначьте ей наказанье!

Кадушкин. И ее на посеенье, мейзавку!.. Дуя экая, смея байские шпийки теять!

Князь Платон (*управителю*). И эту всю семью на поселенье! Рыкова сюда!

Управитель уводит Ульяшу и дворецкого.

Князь Сергей (*обращаясь к брату*). Вы и господина Рыкова отдадите суду вашего шута?

Князь Платон (*странным голосом*). Господин Рыков, может, уж не господин Рыков. Вы в детстве, вероятно, слыхали сказки о чародее, который обращал людей в волков, в медведей!.. (*Встает со стула, отходит на другую сторону сцены и все время стоит, обернувшись лицом к публике. Обращаясь к шуту.*) Сейчас приведут злейшего моего врага; его надобно будет наказать строго.

Кадушкин. Я ему дам, подьецу, хоёшенько его, пьяво!

ЯВЛЕНИЕ IV

Вводят Рыкова, зашитого в медвежью шкуру, ноги и руки его скованы, и на лицо, тоже зашитое в медвежью шкуру, но только с прорезанными глазами и ртом, надет, как у медведя, недоуздок, и от него идет цепь. Его ввел медвежий вожак с дубиною в руке.

Князь Платон (*встает и кланяясь в пояс Рыкову*). Здравствуйте, *молодой Михайло Иванович!* Ну как вам нравится быть в моей шкуре, в которую вы прозвищем вашим одели меня; ведь нехорошо, жутко.

Рыков (*с скрежетом зубов*). Не надругательства твои мучат меня, а то, что я не могу ничем тебе отомстить за них!

Князь Платон (*обращаясь к шуту*). Когда молодой медвежонок сердится, что с ним делают?

Кадушкин. Пайками его бьют, вото-сто.

Князь Платон (*Рыкову*). Слышите, палками велит бить!

Рыков. Подлец!

Князь Платон (*бешеным, но сдержанным голосом*). Возвращаю тебе это имя сторицею, не мне оно при-

надлежит, а тебе. Я не вкрадывался в чужой дом и не соблазнял чужих жен! *(Обращаясь к шуту.)* От обязанности судьи мы вас избавляем; извольте явиться к нам в качестве горничной княгини, будьте одеты прилично и приведите сюда самое княгиню.

Кадушкин. Сисас, васе сиясество! *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, без шута.

Князь Сергей *(обращаясь к брату)*. Господин Рыков офицер, а люди нашего ранга в подобных случаях стреляются, а не надругаются друг над другом чрез своих лакеев.

Князь Платон. Что стреляться?.. Потешиться одну минуту; а они со мной делали то, что я во всю жизнь не буду ничем радоваться.

ЯВЛЕНИЕ VI

Шут, одетый в женское платье, вводит княгиню; лицо у ней заплакано, коса распущена. Отворотившись и с омерзением она опирается на руку шута.

Князь Платон. Кресло княгине скорей!

Князь Сергей, с тоской и досадой в лице, торопливо подвигает ей кресло.

Князь Платон *(княгине, показывая на Рыкова)*. Я хочу вам представить вашего старого знакомого, только в новой шкуре... Как он вам нравится: к лучшему или к худшему он изменился?

Княгиня *(кидая Рыкову нежный взгляд)*. Простите меня, бога ради, Дмитрий Яковлевич, что вам из-за меня делают такие оскорбления!

Князь Платон. Паче всего ей жаль его!.. Вам, может, даже поцеловать его желательно... Извольте, не только разрешаю это, но даже приказываю: я хочу видеть, так ли же вы целуете *молодого медведя,* как целовали прежде *старого!*

Княгиня и Рыков отворачиваются друг от друга.

(Княгине.) Я вас подвергну пытке, если вы не поцелуете

его. *(Рыкову.)* Я ее подвергну пытке,— целуйте ее скорей!

Рыков. Чтобы спасти несчастную, я готов все сделать! (*Подходит и целует княгиню.)*

Княгиня. Хоть бы вы перед людьми вашими постыдились срамить так меня. Если не боитесь суда человеческого, то есть суд божий!

Князь Платон. И вообразите, княгиня, суд божий также существует для меня, для вас, для этого малого, для братца моего, и еще неизвестно, кто будет на нем правее. Если я всегда ненавистен вам был, зачем же вы выходили за меня замуж?

Княгиня. Не тридцати лет шла за вас,— что понимала?.. А промеж тем отец хотел косу мне обрезать, в паневу одеть, если не пойду за вас...

Князь Платон. Жестокий родитель!.. Я всегда разумел его канальей. Вы же обижались этим, говорили, что я из гордости не велю его пускать к себе в дом; но, положим, то родитель; зачем же вы сами, не дальше, как вчера, притворялись женой верной мне и нежной?

Княгиня. Жизнь всякому дорога: покажи раз вам нелюбовь, так давно бы сидела в тюрьме, где очутилась теперь.

Князь Платон. Отчего же вы, по-нынешнему, помодному, не убежали от меня с вашим любовником?

Княгиня. Убежала бы, как бы грош свой какой был.

Князь Платон. Из-за грошей только не убегала?.. Не бесчестная ли вы после того женщина? На мое богатство вы хотели жить в довольстве, в почестях, носить мое княжеское имя и единовременно с тем, надругаючись и надсмехаючись над моими сединами, потешаться с вашим любовником... *(Обращаясь к брату и показывая на Рыкова.)* По французским законам, я мог убить его, как собаку, безнаказанно; а по аглицким, ее (*показывает на жену*) продать на площади; у нас только нет ничего против того; но я сам себе напишу законы! *(К жене.)* Изготовили ли вы письмо, которое я вам приказал?

Княгиня. Написала.

Кадушкин (*подавая письмо князю*). Вон оно-то тко-сь.

Князь Платон (*беря письмо и пробегая его*).

«Милостивый государь, князь Платон Илларионович! Уведомляю вас, что сего числа бежала я от вас с гатчинским офицером Рыковым и никогда не имею намерения прибыть к вам обратно». *(Обращаясь к брату.)* Вот вы укоряли меня в неблагоразумии; а посмотрите, как я осторожен: письмо это я буду показывать всем знакомым и незнакомым, буду печаловаться и жаловаться, что меня, бедного, жена бросила; а меж тем они будут сидеть тут, на веки вечные заключенные; потом я еще женюсь на другой, молодой, и над их головами буду веселиться, пиры и банкеты задавать, а они будут стенать в подземелье,— как вам нравится мой план, а?

Князь Сергей ничего не отвечает брату и еще более отворачивается от него.

Рыков. Вы выжили, генерал, из ума: неужели вы думаете спрятать нас? Что княгиня не бежала, знает про то родитель ее, а за меня заступится мой государь! Вспомните ваше звание и не бесчинствуйте!

Князь Платон. Воробью с орлами не летать; прапорщику генерала не учить! *(Вожаку.)* Веди его на прежнее место! *(Вожак ведет.)*

Рыков *(следуя за ним)*. Не княжеская у тебя душа, а зверя дикого!

Князь Платон *(шуту)*. Веди и ты госпожу свою!

Княгиня *(вставая)*. Бывают злодеи, но всё не такие, как вы!

Князь Платон. Я был злодеем для вас, когда не надохнул на вас, как на собственную свою душу!

Кадушкин *(княгине)*. Пойдемте-с!

Княгиня *(хватая себя за голову)*. Бедная, бедная я!..

ЯВЛЕНИЕ VII

Князь Платон и князь Сергей.

Князь Платон. Ну-с, братец любезный, теперь с вами счеты! В тот вечер, как я уехал и вы беседовали с супругою моею, я сидел рядом тут в комнате и все слышал.

Князь Сергей *(изменившись в лице)*. Что ж тут было слышать такого особенного?

Князь Платон. Тут было слышать то, что вы со-

блазняли жену мою и за то обещали быть медиатором ее с другим.

Князь Сергей. Вам, вероятно, послышалось это по вашей ревности. Если я что-нибудь подобное и говорил, так это был один светский дискур, который я веду со всеми женщинами и за который ни перед кем не считаю себя ответственным!

Князь Платон. Как! Ты не ответствен перед мужем, думая соблазнять его жену и медиаторствовать другому, не ответствен перед братом, который открывал тебе всю душу свою? Все могли меня обмануть, но не ты, мерзавец; ибо я тебя никогда ни в чем не подозревал.

Князь Сергей. Если вы вашими ругательствами и насилием коснетесь хоть волоса моего, то по моему положению в свете...

Князь Платон. Не защитит тебя от меня никакое положение твое... Я бы сейчас велел тебя колесовать, если бы не щадил в тебе крови отца моего... *(Берет со стола две шпаги и одну из них кидает брату.)* На, защищайся, подлый трус, если в тебе хоть капля чести осталась!

Князь Сергей. Волею государя моего и вашего дуэли запрещены, нам обоим угрожает за то каторга.

Князь Платон. Прежде, чем ты попадешь на каторгу, я распорю тебе живот и все кишки твои вымотаю тебе на шею! *(Бросается на брата со шпагою.)*

Князь Сергей. Я вас слабее и наверное должен быть жертвою!.. *(Почти нарочно натыкается плечом на шпагу и падает.)* Я ранен, я умираю!

Князь Платон *(людям)*. Вытащите его и бросьте в его экипаж; пусть едет куда хочет!

Люди поднимают князя Сергея и уносят его.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Князь Платон *(один, опуская в землю голову и руки)*. Будет! Комедия кончена! Маска снята; месть насыщена, но душа моя болит еще сильнее: горе им, но горе и мне!.. *(Склоняет голову.)*

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Темная аллея старинного барского сада. На одной стороне видна часть каменного дома, на другой забор сада, а через него в аллею прорезываются лучи низко спустившегося солнца. На самой аллее лежат бревна, приготовленные для постройки скамеек.

ЯВЛЕНИЕ I

Филька, со всклоченными волосами, в рубахе и лаптях, обчищает кусты, растущие около надземных, с железными решетками, окон дома. Митрич, в худенькой суконной куртке, со стриженой головой и бритой бородой, в дырявых чулках, в худых башмаках, стоит, опершись на метлу.

Митрич. Не хаживал он тут, паря, николи!.. Я вот уж годов двадцать при саде, не помню того; а тут вот лавочку и столик велел себе устроить... Управитель прибежал ко мне: «Подметите, говорит, и подстригите хорошенько в саду!..»

Филька *(сделав усилие над своим мозгом)*. Подметем! Нам что велят, то̀ и делаем.

Митрич *(видимо, довольный этим ответом)*. Так! Так!.. Господа, что сами хотят делают, а нам что велят делаем... Теперь взять — мельник и мельница... Мельник пустит мельницу, и мелет она сколько только душе его угодно, без остановки; а мельница мельнику не может приказать того: запер он ее, гуляет, пьянствует,— мельница стой, молчи. То и мы: господа — мельник, а мы — мельница!

Филька *(совсем не поняв Митрича)*. У нас ныне, дядя, очень мало мельница вымалывает; все плотину прорывает!

Митрич *(несколько озадаченный подобным замечанием)*. Мельник пустой человек, так и быть тому надо!.. Обирай почище около окон!..

Филька *(обирая и прикладывая ухо к стене)*. Никого что-то не чуть тут!

Митрич. Тут не тут, а есть с пуд, как говорят про брюхатых баб.

Филька *(обращая глупое лицо свое к Митричу и улыбаясь по обыкновению всем ртом)*. Дядя!.. Тут, говорят, княгиня посажена.

М и т р и ч. Тише, молчок!.. Вытянут те язык-то!.. Подь сюда!..

Ф и л ь к а подходит.

(Кладя ему руку на плечо и почти шепотом.) А болтовни, братец, боже ты мой, сколько насчет этого идет.

Ф и л ь к а глупо усмехается.

(Продолжает тем же полушепотом.) Ехал я этта из Ерёмина, нагоняет меня наш священник. «Митрич, говорит, пересядь ко мне, поговорим!» Сел я к нему. «А что, говорит, правда ли, что у вас княгиня в тюрьму посажена?» Я говорю: «Как, говорю, ваше священство, вы, по вашему сану, такие слова говорите?.. Я, говорю, сейчас князю донесу о том!..» Батюшки мои, попик наш тут же мне прямо в телеге в ноги бух! «Митрич, говорит, сделай милость, братец, не сказывай!» Завозит меня опосле того к себе в гости, водкой, ратафией угощает, студнем накормил; попадью с мягкой постели согнал и меня на место ее положил: «На, Митрич, нежься, только не сказывай». А на другой день поехал я от него, два рубля деньгами подарил.

Ф и л ь к а *(что-то такое сообразив)*. Угостил он тебя!

М и т р и ч. Лихо... Эго все теперь по барину нашему почет нам такой. Князь наш по государе второй человек в России; по его высокой и великой милости нам никто ничего не может сделать. Теперь рыковские сколько тоже много за барина своего зарятся на нас,— вот им всем! *(Показывая кулак.)* Ономнясь на торгу в Горках тоже выпито было ловко!.. Мне ведь везде угощенье. «Митрич, Митрич, пожалуйте, откушайте!» Только раскланивайся... Наперло на меня рыковских человек сорок. «Бей, говорю, только друг дружке не мешай!» И взял одного молодого парня, да как свисну его под микитки; смотрю, завертелся кубарем, упал на землю и дух из себя испустил. «Ах, думаю, беда!» Сейчас верхом на своего коня и к князю: «Так и так, мол, говорю, повинную несу!» — «Ты это, говорит, мне служил, ничего за то не будет! На̀ записку моей руки!» Так, паря, и проехало мимо!

Ф и л ь к а *(простодушно)*. Умер парень-то?

М и т р и ч. Нет, черт его дери, отдышался... Побогатырствовал я, паря, тоже на своем веку — довольно!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и управитель и за ним идет подьячий, в засаленных брюках, в дырявых чулках, в худом камзоле и кафтане и в вытертом рыжем парике.

Подьячий *(оглядываясь кругом и махая на себя худым носовым платком)*. Какой здесь воздух свободный и места восхитительные!

Митрич *(не выдержав, чтобы не поговорить)*. Места здесь привольные, легкие!

Управитель *(осматривая аллею)*. Всё вы пообчистили тут?

Филька. Все-то-тко-с!

Митрич *(с гордостью)*. Больше сделали, чем сказано было-с! *(Раскрывая тавлинку и подавая подьячему.)* Смею просить об одолжении!

Подьячий. Приемлю! *(Нюхает табак и отщелкивает пальцами.)* Сами стираете?

Митрич. Сам-с! И уж без золы-с, сумления не имейте,— терпеть всегда не мог этого!

Управитель *(Митричу)*. Поди-ка, старик, съезди на Бирючую отмель. Княжна приехала, скоромного не кушает, а у нас щеки свежей рыбы нет: купи стерлядей, а паче ершей и налимов... Поваренки-подлецы довели до чего: что князь ничего теперь не кушает, так ничего при доме и держать не надо!

Митрич. Теперь дело к ночи, Николай Макарыч, вся ваша воля: ехать опасно!.. На Волге баловство идет несосветимое!

Подьячий. Рапорт есть от водяной коммуникации поручика,— разбои сильные происходят.

Управитель *(Митричу)*. Так что же и сидеть все так дома, не ездить никуды?..

Митрич. Да помилуйте, за что же я-то несчастнее всех?.. *(Таинственным голосом)*. Вон Семена Гаврилыча Бахирева управитель Грузинки, барское поместье, продал, деньги-то господам повез ни много, ни мало двадцать тысяч: на Тарутинском мосту остановили, самого избили, деньги похитили, лошадь угнали, а господа думают, что он капитал этот весь у себя утаил,— наказывают его, истязуют, и погибай, выходит, человек!

Управитель. Да ты, старый черт, с деньгами, что ли, поедешь?.. Много что рыбу у тебя отнимут,

а тебя, если и схватят, так на другой же день отпустят назад,— ненадобен никому!

Митрич (*обидясь*). Что ж, ведь это про кажинного человека, пожалуй, то же самое можно сказать!

Управитель. Про кажинного не про кажинного, а ты, старик, рассуди то: не молокососов же мне посылать... А ты человек умный, толк в рыбе знаешь... Дворецкого теперь на поселенье услали, на кого ж мне понадеяться?

Митрич (*самодовольно*). Толк мы в рыбе знаем почище ваших дворецких.

Управитель. То-то и есть... Князь теперь узнает и дворецким, может, тебя сделает за то!.. Вон возьми Фильку с собой для безопасности и поезжайте с богом.

Митрич (*Фильке*). Пседем, Филя!.. Жили, видно, при господах и умирать за них надо!

Управитель. Не ропщи, старик, не ропщи!

Митрич (*укоризненным голосом*). Да я и не ропщу! Докладов-то только об нас что-то мало господам бывает! Зависть все в человеках-то живет... (*Уходит с Филькой.*)

ЯВЛЕНИЕ III

Управитель и подьячий.

Подьячий (*почти со слезами в голосе*). Осмелюсь вам доложить,— все жилы живота моего подвело: алчу и жажду коликий уж день!

Управитель. Погодите маненько!.. Сейчас выйдут князь сюда,— вы им доложите, а потом я вас поведу к себе: водочкой и пирожком угощу, баранинки жареной дам.

Подьячий (*голосом, исполненным чувства*). Всепокорнейше благодарю. Очень ныне нам по округе прием скуден стал... Квас выпускают, молоко разливают по другим селениям, в кои приедем мы; мимо винокурни едем, хоть бы стаканчик где плеснули.

Управитель. За что вам угощенье делать?.. Какая польза от вас?

Подьячий. Как же, помилуйте, служба-с!.. Порядок содержим; князь идет,— умолкаю!

ЯВЛЕНИЕ IV

Вдали аллеи показывается князь Платон, очень печальный и похудевший; с ним идет княжна Наталья, напудренная, в мушках, в фижмах. Карлица несет за нею шлейф ее. Управитель и подьячий почтительно склоняют перед ними головы.

Княжна *(приветливо кивая головой управителю)*. Здравствуйте, Макарыч!

Управитель. Честь имею с приездом поздравить, ваше сиятельство!.. *(К князю, показывая на подьячего.)* Приказный от господина капитан-исправника прибыл.

Князь Платон *(не поднимая глаз на подьячего)*. Что тебе надобно?

Подьячий *(склоняя голову и прижимая треугольную шляпу к животу)*. Господин капитан-исправник просит позволения явиться перед светлые взоры вашего сиятельства, понеже дан ему указ из земского суда по челобитной портупей-прапорщика Девочкина.

Князь Платон *(еще более нахмуриваясь и мрачно взглядывая на подьячего)*. Ты сам кто такой?

Подьячий *(потупляя глаза)*. Подьячий, ваше сиятельство.

Князь Платон *(строго)*. Зачем же капитан-исправник как гончую собаку засылает тебя допреждь себя?

Подьячий *(вытянувшись)*. Их высокородие по письменной части очень слабы, мыслей своих с ясностью на перо изливать не могут, а также насчет подводки законов, и приказывают, чтобы я был при них.

Князь Платон. Где же теперича сам капитан-исправник?

Подьячий. В полверсте, ваше сиятельство, в Марьине, чинит извет по рапорту водяной коммуникации поручика о разбоях.

Князь Платон. Пошел, скажи, что может приехать.

Подьячий. Еще просит их высокородие об милостивом одолжении: супруга их на конях ихних уехала на богомолье, они поехали в округу на обывательских, и просят, нельзя ли им хоть какую ни на есть подводу пожаловать — прибыть сюда и доехать обратно до града.

Князь Платон *(потерев себе лоб, управителю)*. Вели заложить мою крашеную сибирскую кибитку, запречь тройку вяток, надеть бляшную сбрую; Петру ве-

леть одеться в нарядную кучерскую одежду и ехать за исправником... *(Показывая на подьячего.)* А этому дай рубль деньгами. Отправляйтесь.

Подьячий. Земно кланяюсь и благодарю, ваше сиятельство... *(Раскланивается и, сопровождаемый управителем, уходит на цыпочках из сада.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Князь Платон, княжна и карлица.

Княжна *(карлице)*. Ну, теперь можешь и ты идти отдохнуть.

Карлица. Слушаю, княжна матушка!.. *(Приседает госпоже и уходит.)*

Княжна. Я нарочно, мой друг, услала ее, чтобы еще поговорить с тобою наедине. Как я предсказывала, так и случилось: исправник едет по тому же делу.

Князь Платон. Коли будет умен, так подарок сделаю; а нет, так велю нагайками прогнать.

Княжна. Ах, мой друг, не советовала бы я тебе это делать; при нынешнем государе просто опасно,— такие строгости пошли, что уму невообразимо. Брат Сергей приехал ко мне совершенно растерянный: «Брат теперь, говорит, на службу не едет, меня ранил...»

Князь Платон *(перебивая сестру)*. Он меня сам ранил поопаснее; моя царапина скоро у него пройдет, а рана, что он мне нанес, у меня неизлечима.

Княжна. Слышала я это, друг мой, он мне рассказывал все; но смею тебя уверить, что это был один только светский, придворный дискур... Я сама была фрейлиной при дворе покойной императрицы... Конечно, благодарю бога, что родилась от благочестивых родителей и сама всегда имела твердую мораль; но куртизанов имела сотни около себя: точно бабочки на огонь летят к тебе и как бы соловьиные голоса окружают тебя отовсюду и напевают тебе свои песенки — что ж из того?

Князь Платон. То, что христианину и неразвратнику жить становится невмоготу посреди вас, развратников.

Княжна. Только брат не таков, извини меня!.. И он тебя истинно любит и уважает. Наместник при мне к нему приезжал и прямо спрашивает: «Что такое у князя Платона Илларионыча происходит?» Сергей юлил, юлил

пред ним, а потом тот уезжает, он мне и говорит: «Сестрица, вы видите, я не знаю, своим влиянием успею ли отстранить, что брату, может быть, угрожает!»

Князь Платон. Ну, уж я лучше сам как-нибудь себя оберегу, и вообще я, как старший брат, приказываю тебе даже имени этого негодяя не произносить в моем доме.

Княжна. Ты это, мой друг, говоришь теперь в твоем встревоженном состоянии, но надобно же думать, что и дальше будет... должно же тебе с этой мерзкой бабенкой и с полюбовником ее сделать что-нибудь; нельзя же в самом деле их держать, как арестантов, взаперти.

Князь Платон *(устремляя на сестру пристальный взгляд)*. А что бы я по-твоему должен был с ними сделать?

Княжна. Во-первых: явись прямо к государю, проси развода, тебе сейчас же дадут его; а потом можешь жениться: не бойся своих шестидесяти лет, найдутся невесты тебе.

Князь Платон. Так... Совет хорош... А понимаешь ли ты то, что эта *скверная,* как ты называешь, *бабенка* стала мне милее во сто крат, чем когда-либо была. Я думал, что злобы против нее у меня хватит на целый век, а ее едва достало на два дня. В боях при мне младенцев на штыки поднимали, женщин убивали, целые города держал я в осадном положении и морил их голодом,— душа моя жалости не знала; а ее вот посадил в склеп, и как цепная собака хожу все тут кругом; каждый кусок, который несут к ней, я все осмотрю и оглядываю, хорош ли и вкусен ли; если послышу ее стон или вздох, так легче бы мне было, если бы каленое железо вонзили мне в сердце и ворочали им там,— понимаешь ли ты это, глупая, бесчувственная баба!.. *(Отзорачиваясь от сестры, закрывает лицо руками и плачет.)*

Княжна. Мало что понимаю, но предсказывала это: ты мужчина с твердым характером, но добр как ангел. Я даже брату Сергею говорила: он ее простит и будет опять с ней жить!

Князь Платон. Нет, я ее не прощу и жить с нею не буду: пока она у меня на глазах, я ее стану попрекать на каждом шагу и буду ревновать ее к каждому человеку, к каждому лакею моему.

Княжна. В таком случае отпусти ее лучше от себя!

Князь Платон. Чтобы она ушла к Рыкову, нет, уж мне легче ее мертвой видеть!.. *(Подумав довольно продолжительное время.)* Одно мне казалось лучше бы всего было: это, как у прежних царей бывало: когда господь не благословлял их счастием в браке, супруги их удалялись в монастырь и обрекали себя монашеству... пусть и она поступит в какую-нибудь женскую обитель и пострижется там. Позволение на это я ей выхлопочу... Самому мне с ней видеться и говорить об этом тяжело, да я и не могу... Поди сходи, спроси ее, согласна ли она это сделать?

Княжна. Изволь, мой друг, я рада хоть чем-нибудь тебе быть полезной... Вели только проводить меня к ней кому-нибудь, я трусиха большая.

Князь Платон *(свистит и кричит)*. Кадушкин!

Кадушкин является.

Проводи сестру к княгине.

Кадушкин. Пойдемте, матуска-баисня!.. *(Ведет ее под руку и неторопливо уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Князь Платон *(один)*. А может быть, Настя скажет: пусть бы он простил меня; я поценила бы то, а Рыкова и видеть не хочу; может быть, она скажет то!.. *(Смеется и плачет в одно и то же время.)* И я ее прощу!.. Непременно!.. Царь и владыко всех милостей для людей, дай мне сию светлую радость!

ЯВЛЕНИЕ VII

Из глубины сада подходит капитан-исправник.

Капитан-исправник. Честь имею представиться вашему сиятельству.

Князь Платон. О дурак!.. *(Совладев с собой и обращаясь к исправнику.)* По какому делу вам надо было видеть меня?

Исправник *(прижимая руки по швам)*. Дворянин Девочкин, явясь в земский суд, заявил, аки бы дочь его, состоящая в супружестве с вами, заключена вами в тюрьму.

Князь Платон. Дочь его не заключена мною в тюрьму, а сама сбежала от меня, вот ее письмо... *(Подает письмо.)*

Исправник *(не читая его, кладет в карман и опять продолжает, держа руки по швам)*. Господин Девочкин требует сделать обыск в усадьбе вашей. Я говорю: «Как же, говорю, мне в княжеском доме делать обыск, что вы, говорю...» Он выругался, знаете, по-своему, по-мужицки, и передавать-то даже его слова неприлично...

Князь Платон *(вдруг перебивая его)*. Скажите, вам нравится мой экипаж и лошади, на которых вы приехали сюда?

Исправник. Как птица, ваше сиятельство, прилетел!

Князь Платон. Ну, так садитесь опять в сей экипаж и поезжайте домой... лошади, кучер и кибитка — все ваше!

Исправник. Ваше сиятельство, достоин ли я принять такие благодеяния!..

Князь Платон. Уезжайте скорее, мне некогда!..

Исправник. Еще насчет подлеца этого, Девочкина, осмеливаюсь доложить... Слухи есть, что он стакнулся с волжскими грабителями: «Я, говорит, с ними побываю в гостях у моего зятька!»

Князь Платон. Может побывать у меня с кем ему угодно; у меня охотники всегда готовы. Отправляйтесь!

Исправник *(раскланиваясь)*. Я вам, ваше сиятельство, всегда ваш раб нижайший был! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Князь Платон *(один, нервным голосом)*. Что это сестра так долго нейдет,— толстая, неповоротливая дура? И что-то Настя скажет ей?..

ЯВЛЕНИЕ IX

Тот же и княжна, входит вся в волнении.

Княжна. Боже, как там страшно, гадко: духота... сырость... мыши... ящерицы... я чуть не задохнулась!

Князь Платон *(в сторону)*. А Настя сидела там целые дни и ночи. *(К сестре.)* Что же она тебе сказала?

Княжна. Ох, дай собраться только с духом... Она на все согласна и идет в монастырь и просит только за все это сейчас же освободить Рыкова, который за нее страдает.

Князь Платон *(отступая от сестры)*. Освободить Рыкова... Зачем ты мне это сказала... Она всей своей жизнию хочет освободить только Рыкова — что ты со мной сделала, безумная старуха!.. Слова твои зажгли во мне опять прежний огонь; я их опять буду пытать и мучить!..

Княжна. Что ты это?.. Не я безумная, а ты!

Князь Платон. Да, я безумец, но теперь уж вам меня не унять: плети и цепи сюда!..

ЯВЛЕНИЕ X

Ге же и вбегают Митрич и исправник.

Митрич. Батюшка-князь, народ какой-то с песнями, с гайканьем едут к усадьбе!

Исправник. Разбойники-с это, верно!

Кадушкин *(вбегая с другой стороны)*. Язбойники, васе сиясество, едут!.. Ой, я боюсетка!

Князь Платон *(бьет шута по лицу)*. Подлый трус, побледнел, как лягушка перед морозом! Охотников сюда, убью каждого, кто хоть шаг отступит назад!.. Все за мной! *(Выхватывает шпагу и проворно уходит из сада; шут убегает за ним.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Княжна, исправник и Митрич.

Княжна *(припрыгивая на одном месте)*. Ай, ай, разбойники!

Исправник *(стоя около нее и тоже подскакивая)*. Ничего, матушка-княжна, я сам около вас.

На заборе сада показываются несколько человек мужиков и Девочкин в отставном военном мундире нараспашку.

Девочкин. Вот они где,— все тут!

Княжна *(отворачиваясь от него и опуская голову почти до земли)*. Самый главный атаман это и есть! *(Убегает.)*

Д е в о ч к и н *(соскакивая с забора и хватая исправника за шивороток)*. Где моя дочь?

И с п р а в н и к. Я по вашему делу здесь; надо быть, где-нибудь тут. *(Оглядывается.)*

М и т р и ч. В склепе, вот тут-с, против этих окон!

Д е в о ч к и н *(показывая мужикам на лежащие на дорожке бревна)*. Выбивайте и выколачивайте бревнами эти окна!

М у ж и к и поднимают и выколачивают ими окна.

Г о л о с к н я г и н и. Кто это там?

Д е в о ч к и н. Я, моя милая!

К н я г и н я. Батюшка?

Д е в о ч к и н. Мы самые-с!

М и т р и ч *(показывая на другое окно)*. А здесь вон господин офицер посажен; вон они глядят.

Д е в о ч к и н. Выбивайте и это окно!

М у ж и к и выбивают бревном и другое окно.

Р ы к о в *(выскакивая из окна)*. Это вы, Петр Григорьич?

ЯВЛЕНИЕ XII

У п р а в и т е л ь *(вбегает)*. Петр Григорьевич, мужик, что с вами приехал, ранил очень князя, бросил в него топором; а другие мужики побежали усадьбу поджигать.

Р ы к о в. Как, ранил князя и усадьбу поджигать?! Этого нельзя! *(Управителю.)* Пойдем со мной! *(Уходит проворно за управляющим.)*

К н я г и н я. Кто это князя ранил и усадьбу поджигает?

Д е в о ч к и н. Ничего! Это мои молодчики! Я овины им велел зажечь. Первей всего, чтобы очистить дорогу к крепости, предместье надо выжечь... Суворовская тактика!.. Пусть несут мне ключи и знамена! Армеец сумеет проучить гвардиянца, будьте покойны!

Слышится шум, крик, и показывается пламя.

(Слегка похлопывая в ладошки.) Ого, как заиграло... Браво! Браво!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

На другой день.
Гостиная в доме князя Платона.

ЯВЛЕНИЕ I

Входят Рыков с озабоченным лицом и княгиня вся в слезах.

Княгиня. Что из-за меня мужу приключилось... Теперь глаза мне никуда показать будет нельзя.

Рыков. Родителя вашего благодарите... Теперь я не знаю, что с ним делать: с этой сволочью своей полонил всех людей, кого перевязали, кого секут, порют, сам он по усадьбе разгуливает.

Княгиня. Но я-то, друг мой, чем же виновата?.. За что ты на меня-то сердишься?.. *(Протягивает к нему руку.)*

Рыков *(отстраняя ее руку)*. Остерегитесь, люди сюда идут!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и дворецкий.

Княгиня *(овладев собой)*. Ты от князя?

Дворецкий. Точно так-с!

Рыков. Каким же образом тебя отпустили?

Дворецкий. Попервоначалу меня и Ульяшу губернатор изволил позвать к себе. «Вот, говорит, вам царская милость: государь не велел вас отправлять на поселенье. Отправляйтесь к господам вашим, кланяйтесь им и скажите, что сегодня я сам к ним в деревню приеду!»

Княгиня. Ты говорил об этом князю?

Дворецкий. Докладывал-с!

Княгиня. Не рассердился он?

Дворецкий. Лица их я не имел счастия зреть, за ширмами они изволят лежать; а по голосу не слыхать того было... Приказали только, чтобы прислуга вся была в мундирной форме и музыканты готовились.

Рыков и княгиня переглядываются между собой в удивлении.

Рыков. Это что такое еще он затевает?.. *(К княгине)*. Сходите, узнайте.

Княгиня. Но зачем же это?..

Рыков *(сердито перебивая ее)*. Как зачем?.. Бог знает, какая баламутица происходит...

Княгиня. Мне легче бы умереть, чем идти к нему— вот каково мне это.

Рыков. Бабья слабость, больше ничего.

Княгиня. Ну да, я знаю, что я глупая и слабая, но в такой жизни, как моя, и мужчина потеряется... *(Уходит неохотно.)*

Рыков *(про себя)*. Такая каша заварилась, что приведи бог и расхлебать ее!

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Девочкин.

Девочкин *(дворецкому)*. Водочки, водочки, любезный, выдай.

Дворецкий. Сию секунду-с! *(Уходит.)*

Рыков *(Девочкину)*. Долго ли вы с вашей сволочью тут останетесь?

Девочкин. Да ничего, погостим еще... что же вы так мало рады дорогим гостям?

Рыков. Дорогие гости! Хоть бы вы то вспомнили, что вы, дворянин, приехали к своему брату, дворянину, с мужиками и разбойниками.

Девочкин. А как же мне инако было ездить к моему высокочтимому зятюшке? Он меня с самой свадьбы дочкиной... тоже я тогда понапился немного... в подворотню к себе заглянуть не пущал; дураком и пьяницей именовал меня на все четыре стороны; я еще на прошлой балтировке хотел его за шивороток сгресть, да дворянство наше заступилось за него и оттащило меня.

Рыков. Благородные люди, коли кем кто обижен, не за шивороток берут друг друга, а в судах жалуются.

Девочкин. Пробовал, жаловался, да что-то мало толку из того выходило, а посему сам поймал, дал в рыло раз, два, и дело с концом...

Рыков. Дали в рыло? Ведь это не простой мужик, а князь... его ранить, усадьбу разорять и выжечь! Сейчас губернатор приедет сюда. Сколько за все то отвечать будете?

Девочкин. Сколькс? Нисколько! Я дочку освобождать приехал... Шалишь, паря!.. Сам государь при-

кажет мне сделать то; али теперь богатство зятя — тьфу мне оно! Он когда только еще предложение Настеньке сделал, раскошелился, жидомор этакой: «На-те, говорит, вам сто душ, собирайте, говорит, с них оброк и пользуйтесь...» — «Не надо, говорю, силой, говорю, ограблю, а даром — не надо!»

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Ульяша.

Ульяша *(обращаясь к Рыкову)*. Княгиня вас просит к себе!

Рыков. Вышла она от князя?

Ульяша. Вышла-с...

Оба уходят.

ЯВЛЕНИЕ V

Девочкин *(один, к публике)*. Я как понимаю, так Рыков отличный офицер, благородный!.. Сколько тоже князь ни наругался, он сейчас в защиту ему пошел. «Мало ли, говорит, что промеж господ бывает, зачем мужиков мешать в то!..» Благородно!.. *(Лукавым голосом.)* Парень-то, что ранил князя, есаулом у них именуется... из-за хорошей пищи в разбойники пошел... бурлаком был и еще маленьким как-то изловчился, украл из-под рыла лошади овес, та и фыркни на него; с тех пор ненаеда напала: что ни жрет, нажраться не может и пошел на мирские хлебы... Подлец исправник говорит: «Я, говорит, Петьку Девочкина словлю, пошто он разбойникам пристанодержательствует».— «Сам, говорю, ты первый разбойник и мироед...» У меня в указе об отставке сказано: «Жить ему вольной волею, подать не платить и к службе не нудить»,— и живу как хочу...

ЯВЛЕНИЕ VI

Девочкин и княжна, сопровождаемая карлицей.

Девочкин *(расшаркиваясь перед ней)*. Фу, сватьюшка, как расфрантилась да расфуфырилась!

Княжна. Что ты, совсем, что ли, уж над нами изнаругаться хочешь?

Д е в о ч к и н. Не изнаругаться, сватьюшка, а я тоже, худ ли, хорош ли, родитель есть! Мне больно было за мое детище... Пойду, думаю, выручу ее!.. Старый ведь рубака, сватьюшка, пехотинец, армеец, не больше-с! Позвольте вашу драгоценную ручку поцеловать.

К н я ж н а. Поди прочь от меня, недостойный человек! Не заступаться тебе надо бы за дочку-то, а хорошенько поучить ее, как надо с мужем жить.

Д е в о ч к и н. Я ее, сватьюшка, и учу, и браню. Бог ее теперь и наказует за непочтение к родителям... Я уж, сватьюшка, офицериком к покойной маменьке моей приехал; слепенькая уж она была, с клюкой ходила, да, что ли, как-то поутру к ручке к ней подойти и забыл... Она подкликнула меня к себе: «Подька, говорит, сюда, Петька!» и по спине-то клюкой лущила, лущила меня! А я только кланяюсь ей: «Матушка, помилуй, родимая, прости!».

К н я ж н а. И родители прежде не такие были, не были у них с утра до ночи глаза налитые вином.

Д е в о ч к и н. Это я, сватьюшка, не запираюсь, пью, потому мне нельзя, я ранен. Мне его высокопревосходительство господин генерал-штаб-доктор при отставке сказал: «Пейте, говорит, водку и табак курите! Табак, говорит, будет у вас мокроту вытягивать, а водка силу давать».

К н я ж н а. Даст она тебе силы, околеешь где-нибудь под забором.

Д е в о ч к и н. Никогда! Потому — водка мне не вредна; я все на воздухе и в моционе.

К н я ж н а. Ну, прах тебя возьми, делай, что хочешь! Убирайся только отсюда поскорее... *(К карлице.)* Сведи меня к брату. Заботит он меня очень, что с ним деется...

К а р л и ц а под руку уводит г о с п о ж у.

ЯВЛЕНИЕ VII

Д е в о ч к и н *(один, смотря вслед княжне)*. Старуха-то сдобная, как бы взять ее за шивороток да тряхнуть хорошенько,— боже мой, сколько бы денег из нее посыпалось... Да-с, да!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Тот же и дворецкий входит с водкой.

Дворецкий. Мужик, что с вами приехал, спрашивает вас-с.

Девочкин (*немного сконфузившись*). Ничего, подождет еще! (*Наливает и выпивает залпом рюмку.*) Первая, говорят, колом!.. (*Сейчас же наливает и выпивает другую рюмку.*) Вторая соколом! (*Наливает третью и четвертую и мгновенно выпивает их.*) Третья и четвертая маленькими пташками! (*Дворецкому.*) Позови мужика.

Дворецкий. Слушаюсь! (*Уходит.*)

Девочкин (*один, к публике*). Есаула нашего буду иметь честь представить вам.

ЯВЛЕНИЕ IX

Тот же и Сарапка, горбатый, кривобокий, в поддевке короткой, в смазных сапогах и с кистенем за поясом.

Сарапка. Что ж, Петр Григорьич, долго ли ж нам дожидаться тут?

Девочкин. Погоди, братец!.. Человек помирает, что мне тут делать.

Сарапка. Коли годить-то, помилуйте? Мы не то, что народ вольный,— может уходить за всякий час без страха. Вы сами говорили: как дочку ослободим вашу, вы сейчас сто рублей выдадите.

Девочкин. И выдадут.

Сарапка. Ну и выдайте коли!.. Атаман с меня спросит. Робята у меня уж голдят: «Либо, говорят, утекаем, либо на деревню пойдем!..» Исправник тоже скрылся, того и чай, с командой наедет.

Девочкин. А зачем ты, скотина, князя ранил? Не будь того, он сдался бы на капитуляцию, все бы тогда было: деньги, вино и пиво.

Сарапка. Кто его ранил-то; сам лез, я только отмахнулся топором, так ему голову-то и подставлять? Дворяне еще, право!

Девочкин. Ты не груби, пока цел! Зуба ни одного не оставлю. (*Поднимает руку.*).

Сарапка. Свои наперед береги. (*Прислушиваясь*

и задрожав всем телом.) Чу, это гарнизонный барабан... Влопался, право, я в это дело... Убегать надо! *(Вскакивает на окно, выбивает раму, свистит и соскакивает, ему отвечает несколько свистов.)*

Девочкин. И мне, черти, с ними надо убираться! *(Выпивает торопливо еще рюмку водки, вскакивает тоже на окно, свистит и соскакивает.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Сцена несколько времени остается пустою, слышны крики и выстрелы. Вбегает княжна, за ней карлица.

Княжна. Господи, опять уж там сраженья и драка. *(Падает в кресло.)*

Карлица. Сраженье, матушка, настоящее сраженье! *(Подбегает к окну и начинает в него смотреть; раздается выстрел.)*

Княжна *(вздрагивая всем телом)*. Царица небесная, приими последний мой конец!.. Не покарай меня в моих грехах: аще злобствовала, ехидствовала, коварствовала.

Карлица *(смотря в окно)*. Матушка, Митрий-то Яковлич Рыков ловит того мужика, что ранил князя; на-ка, матушка, как тот кистенем-то отмахнулся, ажно шпажку у Митрия Яковлевича переломил!

Княжна. Архангел Михаил, вручи ему меч всеразящий! Кроткий Давид победил Голиафа. Царица небесная, покрой его кровом твоим!

Карлица. Словил, матушка, он мужика-то!.. Охотники наши ему уж руки и ноги перевязали! И, матушка, от ворот-то пыль какая идет!.. *(Слышится звук труб и бой барабанов.)*

Княжна. В трубу уж затрубили,— последние дни и часы приближаются.

ЯВЛЕНИЕ XI

Те же и вбегает Кадушкин с радостным лицом; волосы у него все опалены; один глаз совсем вышибен.

Кадушкин. Матуска-княгинюска, губейнатой с сойдатами и двоянство едут.

Княжна. Откуда мне сие? Прииди помощь господа моего!.. *(К шуту.)* А ты жив еще, бедняжка?

Кадушкин. Они меня, матюска, заззеными вениками паии; тоскует так все тепей... Побегу посьмотьеть, как их, дьявоёв, коётить станут... *(Убегает.)*

Карлица *(продолжая смотреть в окно)*. Как, матушка, разбойники-то побежали, словно саранча посыпала.

ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Рыков, весь запыленный, тревожно входит.

Рыков. Все ли здесь благополучно?

Княжна. Все, мой друг, все!

Рыков. Где же княгиня?

Княжна. Там, у князя... Он услыхал шум и очень встревожился.

Рыков. Губернатор сам прибыл с командой и сейчас идет сюда.

Княжна. Хорошо, я сейчас вышлю княгиню. Спаситель ты наш, истинный спаситель, так я тебя и понимаю! *(Уходит, сопровождаемая карлицей.)*

Рыков *(почтительно отворяя дверь)*. Хозяева просят, ваше превосходительство, пожаловать сюда.

ЯВЛЕНИЕ XIII

Губернатор входит. За ним идет несколько человек дворян, капитан-исправник, земский заседатель и заседатель от дворянства.

Губернатор *(кивая с важностью Рыкову)*. Я слышал, князь ранен?

Рыков. Очень сильно-с!.. Причащался уж и исповедывался; не полагаем, чтоб и жив остался.

Губернатор *(грустным голосом)*. Грустные и печальные времена!

Капитан-исправник *(выдвигаясь несколько вперед и дрожащим голосом)*. Это, ваше превосходительство, Девочкин навел весь этот народ; мне никакого сладу с ним нет в уезде; он всем ворам и разбойникам пристанодержательствует, пищу и вино им доставляет.

Губернатор. Арестуйте поэтому его!

Капитан-исправник *(испуганным голосом)*. Он, ваше превосходительство, опять удрал с разбойниками;

те даже не пускали его, насильно к ним в телегу вскочил: погодите, говорит, еще увидимся!

Губернатор. Поэтому погоню за ним пошлите!

Рыков. Господин Девочкин, ваше превосходительство, приехал с этим народом за дочку заступаться, чтобы тоже кто-нибудь подсобил ему: у князя дворня большая.

Дворянин средних лет (*таинственным голосом*). У нас, ваше превосходительство, эти богачи вот где сидят. (*Показывает на шивороток.*) Он покормит тебя раза два в год обедцем, а потом и делает с тобой, что хочет: и поля у тебя мнет, и самого, коли попадешься, собаками затравит!

Другой молодой дворянин. Девочкин не таючись ехал с шайкой своей... Селенья через три на большой дороге проехал... сзади две пушки везут, а сам впереди верхом ехал!.. Всем рассказывал: «Князя Платона, говорит, полонить еду».

Третий старый дворянин (*сам уже не знает, зачем объяснил*). С нас, бедных дворян, что спрашивать: разбойники приедут к тебе на дом, за неволю к ним с хлебом, с солью выйдешь.

Губернатор (*окончательно грустным голосом*). Печальные времена!

ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и карлица, и за нею выступает княжна.

Карлица. Княжна Наталья Илларионовна желает видеть государя-губернатора.

Губернатор (*склонив голову*). Всегда готов быть ее покорным слугою.

Княжна входит и приседает; все подходят к ней к руке.

Княжна (*раскланиваясь всем общим поклоном*). Ох, с горя и печали и на приветствия ваши не умею как ответить... Братец сейчас идет сюда!

Губернатор. Лучше поэтому ему?

Княжна. Какое, чуть жив! Кажется, и в рассудке уж тронулся!

Одна из боковых дверей отворяется и показывается князь Платон, худой, в бархатном халате. С одной стороны ведут его лакей и княгиня Настасья Петровна, а с другой шут.

ЯВЛЕНИЕ XV

Князь Платон *(губернатору)*. Извините, ваше превосходительство, что я выхожу к вам в таком наряде.

Губернатор придвигает ему кресло. Князь Платон опускается в него, но княгиню не отпускает от себя. Той подвигают тоже кресло. Она садится около мужа. Все прочие окружают их.

Князь Платон *(снова обращаясь к губернатору, слабым и протяжным голосом)*. Ваше превосходительство, вероятно, приехали усмирять меня; но я уже сам усмирил себя.

Губернатор. Мы приехали к вам в гости и привезли вам здоровья.

Князь Платон. Благодарю!.. *(Опускает на несколько мгновений голову, потом поднимает ее.)* Я думал, что умереть мне так же легко будет, как кинуть в огонь старое платье; но нет, животолюбив, видно, человек, и геенна адская страшнее ему всех мук земных! *(Крестится и потом, обращаясь к губернатору, говорит.)* Мужика, ваше превосходительство, что меня ранил, не наказывайте... я сам искал смерти.

Губернатор. Будет исполнено ваше желание.

Князь Платон *(после нескольких секунд молчания как бы ищет кого мутными глазами и, наконец, останавливает их на Рыкове)*. Господин Рыков! Вы поступили со мной, как великодушный враг. Я крови и смерти вашей искал, а вы хотели спасти мне жизнь... *(Опускает голову; потом через несколько мгновений поднимает глаза на княгиню.)* С вами нас, княгиня, будет бог судить, кто из нас виноватее; но вы... после претерпенного от меня... оплакивали мои раны, а потому... *(Слабо хлопает в ладоши.)* Дворецкого мне!

Кадушкин. Двоесский!

Князь Платон. Сервирован ли там стол и готовы ли музыканты?

Дворецкий. Все готово-с!

Князь Платон. Вели играть веселый туш!

Дворецкий уходит.

Князь Платон. Вас, ваше превосходительство, и вас, господа дворяне, призываю я в свидетели, что, оставляя жену нашу, Настасью Петровну, наследницей всего нашего... состояния, желаю я сам отпраздновать

сговор ее за господина Рыкова. *(С горькой усмешкой.)* Стол готов, музыка играет, пожалуйте кушать! *(Склоняет совсем низко голову. Слышится музыка.)*

Княгиня *(плача)*. Простите меня, князь, не наказывайте так! *(Берет у него руку и целует ее.)*

Князь Платон *(горько усмехаясь)*. Я думал сим сделать вам приятное!

Княжна *(княгине)*. Не противоречьте уж ему!

Губернатор. Совершенно не нужно противоречить. Больной — что малый ребенок.

Князь Платон *(крестится и почти уже в бреду)*. Ваше превосходительство, соблюдите этикет... ведите сестру мою под руку... а господин Рыков мою жену и свою невесту... *(Умолкает.)*

Все остаются в немом недоумении. Музыка продолжает играть.

Кадушкин *(взглянув князю в глаза, вскрикивает)*. Умей!

Княгиня *(становясь на колени пред князем)*. Благодетель вы мой!

Занавес падает.

ХИЩНИКИ

Комедия в пяти действиях.

Лошадь волки съели,
да санями подавились!
Пословица.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Граф Зыров, главный начальник ведомства.
Андашевский, Алексей Николаич, товарищ его.
Вуланд, Владимир Иваныч, директор.
Мямлин, Дмитрий Дмитрич, камергер.
Князь Янтарный, Георгий Ираклиевич, камергер.
Генерал-майор Варнуха.
Шуберский, столоначальник.
Басаева, Ольга Петровна, дочь графа Зырова. Вдова.
Вуланд, Вильгельмина Федоровна, жена Владимира Иваныча Вуланда.
Сонина, Марья Сергеевна, вдова.
Горничные, слуги и курьер.

ДЕЙСТВИЕ I

ЯВЛЕНИЕ I

Утро. Большой кабинет. Пред письменным столом сидит Владимир Иваныч Вуланд, плотный, черноволосый, с щетинистыми бакенбардами мужчина. Он, с мрачным выражением в глазах, как бы просматривает разложенные пред ним бумаги. Напротив его, на диване, сидит Вильгельмина Федоровна (жена его), высокая, худая, белокурая немка. Она, тоже с недовольным лицом, вяжет какое-то вязанье.

Вильгельмина Федоровна. Я сегодня в газетах прочла, что на место Янсона товарищем назначен Андашевский.

В л а д и м и р И в а н ы ч *(не поднимая глаз от бумаг и мрачным голосом)*. Да!.. С неделю уж как решено было это назначение.

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Отчего ж ты мне не сказал об этом?

В л а д и м и р И в а н ы ч. Забывал все как-то.

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. А на каком основании тебя тут обошли?

В л а д и м и р И в а н ы ч *(как бы удивленный этим вопросом)*. Что же я тут такое!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. А то, что ты гораздо старше Андашевского и раньше его получил тайного советника.

В л а д и м и р И в а н ы ч. Это нынче ничего не значит.

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Наконец, ты, я думаю, лучше его знаешь дело... Опытней его, и полагаю даже, что умнее!

В л а д и м и р И в а н ы ч. Ты так полагаешь; а другие, видно, полагают иначе!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Что ж, ты и останешься на своем месте?

В л а д и м и р И в а н ы ч. Куда ж мне деваться!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Очень просто: проси у графа какой-нибудь высшей себе должности!.. Скажи ему, что ты унижен и оскорблен назначением Андашевского тебе в начальники: это самолюбие благородное, а не глупое!.. Граф должен это понять.

В л а д и м и р И в а н ы ч. Как же, поймет!.. Очень нужно ему до моего самолюбия.

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. И ты поэтому с докладом будешь ходить к Андашевскому?

В л а д и м и р И в а н ы ч *(покраснев в лице от досады)*. Конечно!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а *(тоже вспыхнув от досады)*. Ну, я женщина, а потому должна была бы иметь меньше самолюбия, чем мужчина, но я лучше бы сквозь землю провалилась, чем вынесла подобное унижение.

В л а д и м и р И в а н ы ч. Проваливайся, пожалуй!.. Как кого удивишь!.. Скажут только, что одной дурой на свете меньше стало.

Вильгельмина Федоровна *(рассердясь)*. Дурой!.. Ты сам после этого дурак!.. За что ты бранишься?

Владимир Иваныч. Как же не браниться? Говоришь какой-то вздор, фантазии какие-то!..

Вильгельмина Федоровна. Нет, это вовсе не фантазии, а мне действительно очень досадна несправедливость графа. Неужели же Андашевский был полезнее тебя на службе и больше твоего участвовал хоть бы в тех же реформах?

Владимир Иваныч *(с грустной усмешкой)*. Не думаю!.. По реформе бо́льшую часть работ производил я, а личные доклады графа уж исключительно писаны мною.

Вильгельмина Федоровна *(стремительно)*. Вот поэтому-то мне ужасно и хочется узнать, за что, собственно, сделан Андашевский товарищем?

Владимир Иваныч. За то, что льстил и подличал перед графом до такой степени, что гадко было видеть это!.. Только что ноги не целовал у него!..

Вильгельмина Федоровна. Ну, это пустяки: за одно подличанье он не сделал бы его товарищем!.. Тут непременно должно быть чье-нибудь постороннее влияние, какая-нибудь особая причина, а то графу не было бы никакого основания отдать Андашевскому предпочтение пред тобой.

Владимир Иваныч. Не было основания, однако он все-таки предпочел его.

Вильгельмина Федоровна. Предпочел, потому что на то была какая-нибудь особая причина; а потому ты тем больше имеешь права обидеться этим и требовать у графа, чтобы он выхлопотал тебе сенатора, например...

Владимир Иваныч. Безделицу!.. Сенаторство!.. Нынче, матушка, в сенаторство попасть не так легко, как в прежнее время: сажают все специалистов по судебной части...

Вильгельмина Федоровна. В таком случае проси, чтобы тебе оставили то же содержание, и выходи в отставку.

Владимир Иваныч. И того не сделают!.. На днях еще циркулярно по всем ведомствам объявлено, чтобы никаких представлений о пенсионных назначениях выше штатных не делать.

Вильгельмина Федоровна. А если так, то плюнь на все!.. Пусть тебе дадут, что следует по закону, и уедем за границу! Я лучше по миру, с сумой готова идти, чем видеть, что муж мой под начальством у мальчишки, который прежде за счастие считал, когда я позволю ему поцеловать мою руку или налью чашку чаю.

Владимир Иваныч что-то такое хочет возразить жене, но входит курьер.

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и курьер; потом Владимир Иваныч один.

Курьер. Камергер Мямлин и генерал-майор Варнуха.

Вильгельмина Федоровна. А я еще и не одета! Уйти скорее!..

Владимир Иваныч *(с досадой)*. Уходи!.. Что тебе тут сидеть!..

Вильгельмина Федоровна уходит.

Владимир Иваныч *(курьеру)*. Проси этих господ!

Курьер уходит.

Владимир Иваныч *(один)*. Эти женщины хуже змей!.. У меня и без того ад на душе, а она еще пилит своим милым язычком! Справедливо сказал какой-то философ, что человек не столько оттого страдает, когда ему самому скверно, как оттого, когда он видит, что другому хорошо! Вчера при мне господин Андашевский приехал в театр и проходит в первый ряд кресел, слышу, со всех сторон говорят: «Это Андашевский!.. Новый товарищ!..» А он оглоданной-то харей своей так всем и улыбается и ко мне вдруг чуть не с распростертыми объятиями. «Как, говорит, я счастлив, что вижу вас!» Пытку бы легче вынес, чем эту милую сцену, а между тем сиди, сам тоже улыбайся и делай вид, что, кроме удовольствия, ничего не чувствуешь!.. Будь кто хочешь, кажется, назначен со стороны, хоть столоначальнишка какой-нибудь из аристократов, я равнодушней бы перенес, зная, что в России в службе все делается по протекции; но тут предпочтен человек совершенно равный мне, стоявший решительно в одних условиях со мной,— это уж прямо насмешка!.. Плевок в лицо!..

ЯВЛЕНИЕ III

Владимир Иваныч; входит Мямлин, плешивый господин, с женской почти физиономией и с необыкновенно толстым задом, и генерал-майор Варнуха, худенький, мозглый малороссиянин, с длиннейшими усами, с неглупым, но совершенно необразованным выражением в лице.

Мямлин. Вашему превосходительству имею честь представиться!

На этих словах он вдруг останавливается и начинает делать из лица гримасы.

Владимир Иваныч (*протягивает ему руку*). А у вас это подергиванье в лице еще не прекратилось!

Мямлин. Лучше нынче, лучше!.. (*Продолжает гримасничать.*)

Владимир Иваныч (*с некоторым участием*). Но скажите, что такое, собственно, это за болезнь?

Мямлин. Нервная!.. То же самое, что и пляска святого Витта, как объясняли мне врачи...

Владимир Иваныч. И что же, вы боль при этом сильную чувствуете?

Мямлин. Нисколько!.. Ни малейшей!.. Непроизвольное только сокращение личных мускулов.

Владимир Иваныч. Но есть же против этого средства какие-нибудь?

Мямлин. Электричество больше всего тут помогает, и мне теперь гораздо лучше!.. Конечно, когда взволнуешься чем, так усиливаются припадки, а сегодня вот я являлся к графу, потом к нашему новому начальнику, Алексею Николаичу Андашевскому, и, наконец, к вашему превосходительству... Все это очень приятно, но не могло не подействовать.

Владимир Иваныч перенес свой взгляд на генерал-майора Варнуху, который все время стоял, не пошевелив ни одним мускулом; но как только взор Владимира Иваныча коснулся до него, так он мгновенно и очень низко поклонился ему и затем опять сейчас же вытянулся в струнку.

Владимир Иваныч (*к Варнухе*). Вы недавно причислены к нам?

Генерал-майор Варнуха (*бойко и отчетливо*). Точно так, ваше превосходительство!

Владимир Иваныч. Но по чьему, собственно, представлению?

Генерал-майор Варнуха. Господина товарища!

Владимир Иваныч. Стало быть, вы лично известны Алексею Николаичу?

Мямлин *(у которого лицо совершенно уже успокоилось)*. Дядя мой, князь Михайло Семеныч, просил за него Алексея Николаича... Господин Варнуха заведывал некоторое время именьем дяди.

Генерал-майор Варнуха. Тогда, оставимши военную службу, я занимался частными делами и почесть что все именья князя Михайла Семеныча пущал на выкуп, и так как он остался оченно доволен мной, то и сделал меня потом смотрителем Огюнского завода.

Владимир Иваныч *(как бы повторяя слова Варнухи)*. Смотрителем Огюнского завода вы были?.. Но завод этот, как мне помнится, производится этими несчастными ссыльными?

Генерал-майор Варнуха. Точно так, ваше превосходительство!.. Оченно трудно было управляться!.. На собственной руке даже имею несколько шрамов!.. *(Заворачивает рукав мундира и показывает несколько шрамов.)*

Владимир Иваныч. Это отчего?

Генерал-майор Варнуха. Бил их-с из собственных рук!.. Сечь не велено... По суду когда еще что будет, а между тем они буянствуют каждый день, только этим самым и усмирял их!

Владимир Иваныч. Вы там и получили чин генерал-майора?

Генерал-майор Варнуха. Точно так, ваше превосходительство!.. Три года уже состою генерал-майором и теперичe бы желал получить более высшую должность.

Владимир Иваныч. Да... Но у нас ведь, предварительно всякого назначения, дают обыкновенно поручения...

Генерал-майор Варнуха. Слушаю, ваше превосходительство!

Владимир Иваныч. И смотря по тому, кто как исполнит их...

Генерал-майор Варнуха. Слушаю, ваше превосходительство!

Владимир Иваныч. Прошу садиться! *(Движением руки своей приглашает гостей своих садиться и сам садится. Мямлин довольно свободно располагается на*

своем кресле, но генерал-майор Варнуха только притыкается на кончик стула.)

Мямлин *(заискивающим голосом)*. А я, ваше превосходительство, только вчерашнего числа возвратился из моей скучной и длинной командировки...

Владимир Иваныч *(насильно улыбаясь)*. Знаю это я!

Мямлин. В три тома дело произвел!.. Вот каких три тома!.. *(Показывает рукою на аршин от земли.)* Двести пятьдесят деревень объехал; с железными дорогами семь тысяч восемьсот верст сделал,— надобно было на это употребить времени и труда! *(На все эти слова Владимир Иваныч хоть бы малейшее выразил одобрение.)* И как вот сейчас я Алексею Николаичу докладывал: в самую нынешнюю страстную неделю, когда все истинно русские желают и ждут с семейством разговеться, я, один-одинехонек, живу в идолопоклоннической, мордовской деревнюшке; только один раз в неделю и оживаешь душой, когда услышишь благовест из соседнего русского села или съездишь туда к обедне; вдруг я читаю в газетах, что наш Алексей Николаич назначен товарищем; я всплакал даже от радости, потому что этот выбор прямо показывает, что в настоящее время в России можно служить и что достоинства и заслуги не пропадают даром! *(Владимир Иваныч, лицо которого становилось все более и более сердитым и недовольным, и на эти слова ничего не проговорил. Мямлин, обращаясь уже к генерал-майору Варнухе.)* Согласны вы с этим?

Генерал-майор Варнуха *(потупляя глаза и каким-то нерешительным голосом)*. Конечно-с!..

Мямлин *(совершенно не соображая, кому и что говорит)*. Про Алексея Николаича все, я думаю, даже враги его скажут, что он умен!.. Просвещен!.. Деятелен!.. Знающ! *(Каждое слово Мямлина как бы булавкой кололо генерала Варнуху, так что он слегка даже вздрагивал. Мямлин в окончательном пафосе своего увлечения и снова обращаясь к нему.)* И, наконец, души ангельской! Чего ж можно больше требовать от человека! *(Генерал-майор Варнуха при этом только уже выворотил белки свои на Мямлина, как бы желая тем выразить ему свое удивление. Мямлин, ничего этого не замечавший.)* Это назначение так меня ободрило, что, когда я радость мою по этому предмету передавал князю Михайле Семеновичу, так он,

сочувствуя, конечно, вполне выбору Алексея Николаича, посмеялся даже мне: «Ах, ты, говорит, добрая русская душа; каждому малейшему успеху России ты радуешься!..» Я что ж? Признаюсь: патриот!.. Люблю мое отечество! И теперь вот прямо самому графу и вашему превосходительству осмелюсь сказать и просить рассмотреть мои труды, может быть, и в них найдется что-нибудь полезное! Никакой поблажки или снисхождения не желаю себе; а прошу только рассмотреть их и оценить по достоинству.

Владимир Иваныч *(мрачным голосом)*. Наша обязанность просматривать все поступающие к нам дела.

Мямлин. А я только и желаю того! *(Начинает снова выделывать из лица гримасы.)*

Владимир Иваныч *(с нескрываемым отвращением.)* Какая, однако, у вас болезнь эта несносная.

Мямлин. Очень несносная! *(Встает и начинает раскланиваться.)* Поручаю себя вашему вниманию.

Владимир Иваныч *(тоже вставая и протягивая Мямлину руку)*. Весьма рад, что видел вас!

Мямлин *(склоняя перед ним голову)*. Супруге вашей прошу засвидетельствовать от меня глубочайшее уважение.

Владимир Иваныч. Благодарю вас! *(Обращается к генерал-майору Варнухе, но не протягивая ему руки.)* Рад, что с вами познакомился! *(Генерал-майор Варнуха проворно и низко ему кланяется.)*

Мямлин *(показывая ему рукою)*. Мы с генералом только и просим вас об одном: воздать каждому из нас по дело́м нашим! *(Оба затем еще раз раскланиваются с Владимиром Иванычем и уходят.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Владимир Иваныч *(оставшись один и каким-то тигром рассвирепелым садясь на свое место)*. Погодите: я воздам вам по дело́м вашим!.. Этот дуралей-то прокаженный с ключом воображает, что я его три дурацкие тома стану читать; да я, без всякого чтения, прямо доложу графу, что это чепуха великая, и наперед уверен, что не ошибусь!.. В Андашевском какого-то уж ангела открыл и говорит мне это прямо в глаза; одно это показывает, что он дурак набитый! Другой-то тоже хорош, штучка эта военная, воришка с какого-то заводишка, высшей должности себе ожидает! Что до меня касается, так я вас обоих уго-

щу: в службе только еще и осталось одно это наслаждение, что подобным скотам можешь ногу подставить!

Входит курьер.

ЯВЛЕНИЕ V

Владимир Иваныч и курьер.

Курьер. Чиновник Шуберский!

Владимир Иваныч. О, черт его дери! *(Сердито к курьеру.)* Что ему надобно от меня?

Курьер. Он с бумагами какими-то пришел-с.

Владимир Иваныч. Зови! *(Курьер уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Владимир Иваныч. Я уверен, что этот прощелыга пришел высмотреть, что у меня написано на лице.

Входит Шуберский, молодой еще человек, в вицмундирном фраке и с делами под мышкой.

ЯВЛЕНИЕ VII

Владимир Иваныч и Шуберский; потом на мгновение входит курьер.

Владимир Иваныч *(довольно сурово)*. Что у вас за дела такие спешные? *(Шуберский на это молча подает ему бумаги. Владимир Иваныч, подписывая эти бумаги.)* Это все пустяки какие-то, подтверждения!.. Разве они не могли полежать, пока я приеду? *(Почти швыряет к Шуберскому подписанные бумаги.)*

Шуберский *(скромно подбирая эти бумаги)*. Я еще и собственное дело имею к вам, Владимир Иваныч!

Владимир Иваныч. Что такое-с?

Шуберский. Я пришел попросить у вас позволения подать мне в отставку.

Владимир Иваныч *(видимо, удивленный этими словами)*. Это с чего вам вздумалось?

Шуберский *(грустно пожимая плечами)*. Мне при Алексее Николаиче невозможно оставаться служить. Он в первый же раз, как будет управлять за графа, начнет непременно преследовать меня.

Владимир Иваныч *(с некоторым вниманием)*. Но что такое, собственно, у вас с ним вышло?.. Я до сих пор не знаю хорошенько!..

Шуберский (*скромно потупляя глаза*). Я в одном фельетоне моем написал про Алексея Николаича!.. Тогда, может быть, вы изволите помнить дело это по Калишинскому акционерному обществу.

Владимир Иваныч (*с бо̀льшим уже вниманием*). Ну-с?

Шуберский (*с тем же скромным видом*). А у меня в этом обществе зять, муж сестры моей, слу̀жил...

Владимир Иваныч (*еще с бо̀льшим вниманием*). Ну?

Шуберский. Он как-то приходит к нам и рассказывает: «Ваш, говорит, Андашевский взял с нашей компании триста тысяч акциями».

Владимир Иваныч (*покраснев даже в лице от удовольствия*). Стало быть, это не утка газетная была?

Шуберский. Какая же газетная утка? Зять мой с управляющим компанией и возил к нему эти акции, и не на дом, а на квартиру к его любовнице.

Владимир Иваныч. Это к Марье Сергеевне Сониной?

Шуберский. К ней именно!.. Алексей Николаич у ней в гостиной и принял эти акции: сначала сосчитал их очень аккуратно, а потом просил Марью Сергеевну положить их на время в свою шифоньерку.

Владимир Иваныч. И вы все это описали?

Шуберский. Почти; но главным образом я провел в статье ту мысль, что как выгодно бывает иногда акционерным обществам открывать бесплатную подписку влиятельным лицам, и в пример тому указал на Калишинское акционерное общество и будто бы некоего господина Подстегина...

Владимир Иваныч. И что же, по поводу этого фельетона Андашевский имел с вами объяснение?

Шуберский. Очень большое!.. Именем графа призывал меня к себе и спрашивал: кто это писал? Я сказал, что я. Он спросил: про кого это писано, и кто именно господин Подстегин? Я отвечал, что лицо это совершенно вымышленное. Он, однако, не поверил тому и начал меня теснить, так что если бы вы не взяли меня к себе, то я службу должен был бы оставить.

Владимир Иваныч. Я теперь припоминаю: он мне тогда выговаривал, зачем я вас взял к себе!.. Да вы садитесь, пожалуйста!.. Что ж вы стоите?

Шуберский садится и принимает не столь уже подобострастный вид.

(Продолжает с важностью.) И рассказывал так, что когда вы сделались фельетонистом газеты, то беспрестанно стали являться к нему и просить себе наград и повышений, но он, не находя вас заслуживающим того, отказывал вам,— тогда вы написали на него этот пасквиль...

Шуберский *(с несколько вспыхнувшим лицом)*. Нет-с, я не пасквиль на него писал, а передал действительно случившийся факт!

Владимир Иваныч. А зять ваш, скажите, может подтвердить этот факт?.. Имеет какое-нибудь юридическое доказательство на него?

Шуберский. Зять мой не станет подтверждать этого факта, потому что он до сих пор служит в том же обществе, и от этой службы зависит весь его кусок хлеба; но всего лучше факт этот может подтвердить Марья Сергеевна Сонина.

Владимир Иваныч. Вона! Поднимет Марья Сергеевна руку на своего возлюбленного!..

Шуберский. Поднимет-с теперь!.. Он, говорят, покинул ее!

Владимир Иваныч *(восклицая в удивлении)*. Как покинул?

Шуберский. Совершенно покинул-с и женится, говорят, на какой-то княжне или графине...

Владимир Иваныч *(как бы в порыве благородного негодования)*. Ах, негодяй какой!.. *(Сильно звонит... Вбегает прежний курьер.)*

Владимир Иваныч *(ему)*. Позови сюда поскорей Вильгельмину Федоровну.

Курьер уходит.

Шуберский. Даже многие из наших чиновников удивляются этому поступку Алексея Николаича, зная, сколько лет он любил Марью Сергеевну.

Владимир Иваныч. Никогда он ее не любил, и никого в мире он не может любить! Этот человек до мозга костей своих эгоист и лицемер! Я начал знать господина Андашевского с самого его поступления к нам. Он шагу в жизни не сделал без пользы для себя и два фортеля в этом случае употреблял: во-первых, постоянно старался представить из себя чиновника высшего образования и

возвышенных убеждений и для этого всегда накупал иностранных книг и журналов и всем обыкновенно рассказывал, что он то, се, третье там читал,— этим, собственно, вначале он обратил на себя внимание графа; а потом стал льстить ему и возводил графа в какие-то боги, и тут же, будто к слову, напевал ему, как он сам целые ночи проводит за работой и как этим расстроил себе грудь и печень; ну, и разжалобит старика: тот ему почти каждый год то крест, то чин, то денежную награду даст, то повысит в должности, и я убежден даже, что он Янсона подшиб, чтобы сесть на его место.

Шуберский. Слухи есть и об этом.

Владимир Иваныч. Непременно-с это было, потому что граф очень любил Янсона и вдруг ни с того, ни с сего возненавидел его!.. Ту же самую маску господин Андашевский, вероятно, носил и пред Марьей Сергеевной: пока та была молода, недурна собой,— женщина она с обеспеченным состоянием и поэтому денег от него не требовала,— он клялся ей в своей любви и верности, а теперь себе, вероятно, приискал в невесты какую-нибудь другую дуру с огромным состоянием или с большими связями.

Шуберский. Я на днях узнаю, кто это именно невеста его.

Владимир Иваныч. Узнайте, пожалуйста, и мне передайте!

Шуберский. Очень хорошо-с!

Входит Вильгельмина Федоровна.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и Вильгельмина Федоровна.

Владимир Иваныч (*обращаясь к жене*). Слышала: наш Алексей Николаич бросил свою Марью Сергеевну!

Вильгельмина Федоровна (*отступая даже шаг назад*). Не может быть!

Владимир Иваныч. Бросил и женится на какой-то княжне.

Вильгельмина Федоровна. Господи, чего уж не выдумают!

Шуберский. Нет-с, это не выдумка! Собственный лакей Алексея Николаича на днях в трактире хвастал и

рассказывал, что господин его женится на какой-то графине или княжне, богатой, красавице из себя...

Вильгельмина Федоровна *(видимо, заинтересованная этой новостью и садясь на диван)*. Но, может быть, это перемешали только, а он именно на Марье Сергеевне и женится.

Шуберский. Вряд ли-с, потому что лакей к этому прибавлял, что прежнюю свою привязанность Алексей Николаич бросил: ни сам к ней не ездит, ни ее к себе не принимает.

Вильгельмина Федоровна. Бедная Марья Сергеевна! Я воображаю, что теперь с ней происходит: она, я думаю, не перенесет этого и с ума сойдет.

Владимир Иваныч. Если только есть ей с чего сходить! *(Обращаясь к Шуберскому.)* А вы не извольте оставлять службы: это вздор!.. При жене ничего, можно говорить все: господин Андашевский без меня не может сделать вам никакого существенного зла; но если он отнесется ко мне, то я прямо его спрошу, за что он вас преследует? Он мне, разумеется, скажет, что в каждом присутственном месте неудобно иметь чиновником газетного репортера, так как он может разгласить какие-нибудь даже государственные тайны. «Но где же, спрошу, статья закона, прямо воспрещающая газетным репортерам быть чиновниками, потому что в отношении наших подчиненных мы можем действовать только на основании существующих узаконений; если же, скажу, вы желаете употребить какую-нибудь произвольную меру, то я не знаю, во-первых, в чем она может состоять, а во-вторых, пусть уж она будет без меня!» Тогда я и посмотрю, что он вам сделает.

Шуберский. Сделает то, что велит подать мне в отставку.

Владимир Иваныч *(восклицая во весь голос)*. Никогда!.. Никогда!.. Как это вы, умный молодой человек, и не понимаете того!.. Если бы он действительно имел глупость вытеснить вас, так вы об этом можете напечатать во всех газетах, потому что это явное пристрастие и проведение в службе личных антипатий, и поверьте вы мне-с: господин Андашевский не только не станет вас преследовать теперь, а, напротив, он будет возвышать вас...

Шуберский. Ну, уж этого, я думаю, никогда не может быть.

Владимир Иваныч. Очень возможно-с! Мы обыкновенно смелы и деспотичны только против слабых. У нас есть, конечно, власть, чины, кресты, которые мы раздаем; а у вас есть другая сила и вряд ли не более могучая, чем наша: это печать, и в руках ваших, некоторым образом, общественное мнение.

Шуберский. Это совершенно справедливо, и если вы, Владимир Иваныч, так на это смотрите *(при этих словах он встает на ноги)*... то позвольте мне за все, что вы сделали и делаете для меня, этой печатью служить вам, в чем только вы прикажете...

Владимир Иваныч. Благодарю вас! Но, может быть, вам не совсем будет удобно писать, например, про наше ведомство, так как вы служите у нас: опять, пожалуй, выйдет какая-нибудь глупая история!

Шуберский. Я сам ничего и не буду писать; но у меня есть очень много приятелей-фельетонистов, которые напишут все, что я их попрошу.

Владимир Иваныч. Отлично это, бесподобно!.. И я, признаюсь, весьма был бы доволен, если бы, по поводу назначения господина Андашевского, которое все-таки считаю величайшей ошибкой со стороны графа, в газетах прошла такого рода инсинуация-статья, что отчего-де наше правительство так мало обращает внимания на общественное мнение и на довольно важные посты выбирает людей, у которых на совести дела вроде дел по Калишинскому акционерному обществу и которые женщину, двадцать лет бескорыстно их любившую, бросают при первом своем возвышении. Понимаете, чтобы в одно и то же время затушевано все было и прозрачно!

Шуберский. Понимаю, и не прикажете ли еще прибавить, что общественное мнение тем более бывает удивлено, что в подобных случаях иногда обходят людей, истинно призванных на известный пост.

Владимир Иваныч. Нет, это зачем же уж!.. Довольно и того!

Шуберский. Слушаю-с! *(Кланяется сначала Владимиру Иванычу, а потом Вильгельмине Федоровне и идет.)*

Владимир Иваныч *(вслед ему)*. Пожалуйста, когда будете иметь какую-нибудь просьбу ко мне, адресуйтесь без всякой церемонии.

Шуберский *(еще раз кланяясь в дверях)*. Не премину воспользоваться вашим добрым позволением. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Владимир Иваныч и Вильгельмина Федоровна.

Владимир Иваныч. С этой стороны мы, значит, дадим господину Андашевскому щелчок порядочный... *(Обращаясь к жене.)* А потом ты съездишь к Марье Сергеевне.

Вильгельмина Федоровна *(невинным голосом)*. Хорошо!.. Мне самой очень хочется навестить ее.

Владимир Иваныч. Во-первых, навестить ее надобно; а потом... помнишь ты это Калишинское дело, по которому господин Андашевский цапнул триста тысяч?

Вильгельмина Федоровна *(в удивлении)*. Триста тысяч, однако!

Владимир Иваныч. Триста тысяч — ни больше ни меньше, и прием этих денег, как сказывал мне сейчас Шуберский, происходил на квартире Марьи Сергеевны и даже в присутствии ее; а потому она, бог знает, может быть, какие доказательства имеет к уличению господина Андашевского.

Вильгельмина Федоровна. Но если и есть у ней такие доказательства, разве она скажет об них.

Владимир Иваныч. Скажет, потому что она зла теперь на Андашевского за его измену; а, наконец, она дура набитая: у ней всегда все можно выспросить и даже выманить; главное, нет ли у ней какого-нибудь документика обличающего: письмеца его или записочки?

Вильгельмина Федоровна. Положим, у ней найдется такой документ, и она отдаст его; но что ж потом будет?

Владимир Иваныч. Потом превосходно будет: я двадцать таких писачек, как Шуберский, найду и заставлю их называть в газетах прямо уже по имени господина Андашевского; мало того, я документ этот лично принесу к графу и скажу, что получил его по городской почте для доставления ему.

Вильгельмина Федоровна *(недоверчиво пожимая плечами)*. И граф, разумеется, рассердится на тебя за это, потому что Андашевский все-таки его создание,

и потом они уже вместе, вдвоем, начнут тебе мстить и преследовать тебя!

Владимир Иваныч. Да хоть бы они голову сняли с меня за то, так я сделаю это!.. Мне легче умереть, чем видеть, как этот плут и подлипала возвышается!..

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ II

Гостиная в квартире Марьи Сергеевны Сониной.

ЯВЛЕНИЕ I

Марья Сергеевна, нестарая еще женщина, но полная и не по летам уже обрюзглая, с земляным цветом лица и с немного распухшим от постоянного насморка носом; когда говорит, то тянет слова. Она полулежит на диване, кругом обложенная подушками. Как бы в противоположность ей, невдалеке от дивана, бодро и прямо сидит в кресле Вильгельмина Федоровна, в модной шляпе и дорогой шали.

Вильгельмина Федоровна. Я бы непременно давно у вас была, но полагала, что вы на даче, и только вчера спросила Владимира Иваныча: «Где, говорю, нынче на даче живет Марья Сергеевна?..»—«Какое, говорит, на даче; она в городе и больна!» — «Ах, говорю, как же тебе не грех не сказать мне!» Сегодня уж нарочно отложила все дела в сторону и поехала.

Марья Сергеевна. Я давно больна, третий месяц больна и даже посетовала в душе, что вы не побываете у меня!

Вильгельмина Федоровна. Да вы бы написали мне, я сейчас же бы и приехала к вам.

Марья Сергеевна. А этого я и не сообразила, а потом тоже полагала, что вы также на дачу переехали.

Вильгельмина Федоровна. Нет, мы другой год не живем на даче,— Владимиру Иванычу решительно некогда: он по горло завален делами!.. Наград никаких не дают, а дела прибавляют, так что я прошу его даже бросить лучше эту службу проклятую.

Марья Сергеевна (*махнув рукой*). Ох, эта уж нынче служба: она всех, кажется, от всего отвлекает!

Вильгельмина Федоровна. Как же не отвлекает!.. Но когда еще она вознаграждается, так это ничего; вот как нашему общему знакомому Алексею Николаичу

Андашевскому, тому хорошо служить: в сорок лет каких-нибудь сделан товарищем!

М а р ь я С е р г е е в н а. А вы думаете — легко ему! Он тоже никуда теперь не ездит; у меня каких-нибудь раза два был в продолжение всей моей болезни; пишет, что все делами занят!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а *(как бы в удивлении)*. Неужели он у вас всего только два раза был?

М а р ь я С е р г е е в н а. Всего!.. Это меня больше и огорчает; а вижу, что нельзя требовать: занят!

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Что ж такое занят! Это уж, видно, не одни занятия его останавливают, а что-нибудь и другое.

М а р ь я С е р г е е в н а *(с некоторым испугом и удивлением)*. Что же другое может его останавливать?

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Заважничал, может быть!.. Возгордился, что на такой важный пост вышел.

М а р ь я С е р г е е в н а. Но как же ему, душенька, против меня-то гордиться!.. Вы знаете, я думаю, мои отношения с ним!.. Что ж, я, не скрываясь, говорю, что пятнадцать лет жила с ним, как с мужем.

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Как же не знать!.. Все очень хорошо знаем и тем больше тому удивляемся! В газетах даже пишут об этом.

М а р ь я С е р г е е в н а *(окончательно испугавшись)*. В газетах?

В и л ь г е л ь м и н а Ф е д о р о в н а. Да!.. Сегодня Владимир Иваныч, как я поехала к вам, подал мне газету и говорит: «Покажи этот номер Марье Сергеевне; вряд ли не про нее тут написано!» Я и захватила ее с собою *(подает Марье Сергеевне газету)*. В этом вон столбце напечатано это!.. *(Показывает ей на одно место в газете.)*

М а р ь я С е р г е е в н а *(начинает неумело и вслух читать)*. «Мы сегодня луч нашего фонаря наведем во внутренность одного из петербургских домов, в небольшую, но мило убранную квартиру; в ней сидит с кроткими чертами лица женщина; против нее помещается уже знакомый нашему читателю г. Подстегин. Видно, что бедная женщина преисполнена любви и нежности к нему, но г. Подстегин мрачен и озабочен. Вдруг раздается звонок. Г-н Подстегин проворно встает со своего стула и выходит в залу. Там стоят каких-то двое неизвестных господ; они сначала почтительно кланяются г. Подстегину, а потом начи-

нают с ним шептаться. В результате этого совещания было то, что когда г. Подстегин проводил своих гостей и снова возвратился к своей собеседнице, то подал ей на триста тысяч акций Калишинского акционерного общества. «Ангел мой,— говорит он ей,— побереги эти деньги до завтра в своей шифоньерке!» *(Останавливаясь читать и качая головой.)* Да!.. Это так!.. Да!.. Правда!

Вильгельмина Федоровна *(стремительно).* Правда это, значит?

Марья Сергеевна. Совершенная правда!.. Два дня потом лежали у меня эти деньги: вечером он, по обыкновению, поздно от меня уехав, побоялся их взять с собою; а на другой день ему что-то нельзя было заехать за ними, он и пишет мне: «Мари, будь весь день дома, не выходи никуда и постереги мои триста тысяч!» Так я и стерегла их: целый день все у шифоньерки сидела!

Вильгельмина Федоровна *(с вспыхнувшим от радости лицом).* А у вас цела эта записочка?

Марья Сергеевна. Цела!.. О, у меня каждая строчка его сохраняется!.. Интересно, кто это пишет!

Вильгельмина Федоровна. Тут дальше еще интереснее будет!.. Позвольте мне вам прочесть: вам, кажется, трудно читать.

Марья Сергеевна. Да, я не привыкла читать; по-французски мне еще легче,— прочтите, пожалуйста!

Вильгельмина Федоровна *(берет газету и начинает бойко и отчетливо читать).* «Казалось бы, что одно это событие могло связать навеки г. Подстегина с его подругой, но ничуть не бывало: он кидает ее, как только нужно ему это стало. Напрасно бедная женщина пишет ему, он ей не отвечает! Она посылает к нему свою горничную,— он обещает к ней приехать и не едет!»

Марья Сергеевна *(со слезами уже на глазах).* И это совершенная правда!.. Но кто же, душа моя, мог все это узнать и описать?

Вильгельмина Федоровна *(с улыбкою).* Это пишет черт, который, куда наведет луч волшебного фонаря своего, везде все видит.

Марья Сергеевна. Как черт? Господи помилуй!

Вильгельмина Федоровна. Конечно, не черт, а человек, но у которого везде есть лазейки, шпионы свои, чрез которых он все знает.

Марья Сергеевна. Уж, действительно, настоящий черт: все описал.

Вильгельмина Федоровна. Но вы послушайте еще дальше! *(Читает.)* «Переменим направление нашего луча: перед нами богато убранная гостиная. Г-н Подстегин стоит уже на коленях пред прелестнейшей собой дамой. Она веером тихонько ударяет его по голове и говорит: «Я никогда не выйду за вас замуж, пока вы так дурно будете произносить по-французски!» — «Божество мое! — восклицает Подстегин.— Я учусь у француза произносить слова. Как вы, например, находите, я произношу слово étudiant?..[1]. Хорошо?» — «Недурно»,— отвечает дама и дает ему поцеловать кончик своего мизинца.

Марья Сергеевна. И это правда!.. Он очень дурно произносит по-французски.

Вильгельмина Федоровна. Француз, тоже говорят, как назначили его товарищем, каждый день ходит к нему и учит его.

Марья Сергеевна. Но кто же эта дама? Не я же это?

Вильгельмина Федоровна. Конечно, не вы!.. И я не знаю, правда ли это, но весь Петербург, говорят, понял так, что это Ольга Петровна Басаева.

Марья Сергеевна *(восклицает)*. Дочь графа?

Вильгельмина Федоровна. Да!.. Он действительно бывает у ней каждый вечер, по слухам, даже женится на ней; вот и верьте нынче мужчинам!

Марья Сергеевна *(с полными уже слез глазами)*. Славно, отлично со мной поступил!.. Но я не допущу этого; не позволю ему это сделать!

Вильгельмина Федоровна. Но как же вы не допустите? Чем? Каким способом?

Марья Сергеевна. А я приду в ту церковь, где их венчать будут, да и лягу поперек двери.

Вильгельмина Федоровна. Разве возможно это? Вы и не узнаете, где они обвенчаются.

Марья Сергеевна. Но не могу же, душа моя, я все это видеть и переносить равнодушно.

Вильгельмина Федоровна. Записочкой вот этой, где он пишет о трехстах тысячах, которые он в ва-

---

[1] студент?.. *(франц.)*

шем доме получил с калишинских акционеров, вы могли бы попугать его; но вы, конечно, никогда не решитесь на это!

Марья Сергеевна. Отчего же?.. Ничего!.. Если он сам со мной так поступает, то я решусь на все!.. Я добра и кротка только до времени!.. Но чем же я именно напугаю его этим?

Вильгельмина Федоровна. Тем, что вы записку эту можете напечатать.

Марья Сергеевна. Где же это я напечатаю ее?

Вильгельмина Федоровна. В газетах!.. В какой хотите газете можете напечатать.

Марья Сергеевна. Но, душенька, я решительно не сумею это сделать! Если я ему скажу это, он просто рассмеется. «Где, скажет, тебе напечатать!» Он знает, что я ни по каким бумагам ничего не умею сделать... Вы научите уж меня, пожалуйста.

Вильгельмина Федоровна. Да я сама хорошенько не знаю, как это делается; но Владимир Иваныч, если вы позволите, сегодня заедет к вам и поучит вас.

Марья Сергеевна. Ах, пожалуйста!.. Я несказанно буду рада ему; но только я наперед позову к себе Алексея Николаича и выспрошу у него все!.. Может быть, на него тут и клевещут?

Вильгельмина Федоровна. Только вы, бога ради, не проговоритесь как-нибудь ему, что мы с Владимиром Иванычем принимаем в этом участие!.. Вы можете вооружить его против нас навеки; а он все-таки теперь начальник мужа!

Марья Сергеевна. Понимаю я это, милушка, будто этого я не понимаю! Скажу, что в газетах прочла.

Вильгельмина Федоровна. И что газету не я вам привезла, а что вы ее купили.

Марья Сергеевна. Конечно!.. Понимаю!

Вильгельмина Федоровна. А потом, если насчет женитьбы Алексей Николаич станет запираться, то вы потребуйте от него, чтобы он на вас женился; это будет самым верным доказательством, тем больше, что он должен же когда-нибудь это сделать!

Марья Сергеевна (*обрадованная этим советом*). Как же не должен?.. Непременно должен!

Вильгельмина Федоровна. А теперь пока,

adieu!.. Я поеду сказать Владимиру Иванычу, чтобы он приехал к вам.

Марья Сергеевна. Да, да!.. Чтоб приехал!.. *(Обе дамы целуются, и Вильгельмина Федоровна уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Марья Сергеевна *(оставшись одна и беря себя за голову)*. Так расстроилась этим известием, что, пожалуй, не в состоянии буду и сообразить, что написать Алексею Николаичу. *(Садится к письменному столу и, начиная писать, произносит то, что пишет.)* «Я прочла в газетах, что вы женитесь на другой. Приезжайте сейчас же ко мне оправдаться в том. Если вы не приедете, то я напечатаю в газетах все ваши письма ко мне, в которых вы клялись меня вечно любить и где просили меня хранить ваши триста тысяч, которые вы получили в моем доме, и это показывает, до чего вы прежде были откровенны со мной». *(Останавливаясь писать.)* Ну, вот и все, слава богу; теперь только фамилию подпишу... *(Макает перо в чернильницу и хочет продолжать писать, но делает огромное чернильное пятно на письме и восклицает испуганным голосом.)* Вот тебе и раз! *(Слизывает чернильное пятно и вместе с тем смарывает самое письмо и марает себе нос чернилами.)* Ну, все письмо испортила!.. Господи, что я за несчастное существо в мире! Во всем-то мне в жизни неудачи! Больше писать не в состоянии; отправлю как есть. *(Кое-как складывает письмо и кричит.)* Даша!

Входит Даша.

ЯВЛЕНИЕ III

Марья Сергеевна и Даша.

Марья Сергеевна. Отнеси поскорей это письмо Алексею Николаичу. *(Отдает Даше письмо.)*

Даша. Слушаю-с! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Марья Сергеевна *(одна и начиная плакать)*. Уж именно несчастное существо!.. Больше двух лет, как Алексей Николаич заедет ко мне на какие-нибудь полчаса, никогда не посидит, ничего не расскажет; а теперь и совсем бросить хочет!.. Что я буду делать с собой? Мне

скоро жить даже не на что будет: все прожила с ним!.. Не к родным же мне идти на хлеба. Меня никто из них и знать не хочет, а все из-за него; должен он все это понять и хоть сколько-нибудь оценить! Вильгельмина Федоровна совершенно справедливо говорит, что ему надобно жениться на мне!.. *(Продолжает плакать.)*

Входит Даша.

ЯВЛЕНИЕ V

Марья Сергеевна и Даша.

Даша. Алексей Николаич сейчас придут к вам.

Марья Сергеевна *(утирая слезы)*. Хорошо!

Даша уходит.

ЯВЛЕНИЕ VI

Марья Сергеевна *(повеселевши несколько)*. Испугался, видно, немножко!.. Теперь я знаю, как держать себя с ним!.. Спасибо Вильгельмине Федоровне, что она научила меня насчет газет!.. Я теперь все буду печатать в газетах, что он против меня сделает.

ЯВЛЕНИЕ VII

Марья Сергеевна. Входит Андашевский, господин с рыжею, типическою чиновничьей физиономией; глаза его горят гневом, но рот его улыбается, и видно, что все его старание направлено на то, чтобы сохранить спокойный вид и скрыть волнующую его эмоцию.

Андашевский *(подавая Марье Сергеевне руку и садясь вблизи нее)*. Что это за странное письмо вы ко мне написали?

Марья Сергеевна. Как же мне не написать было тебе письма!.. Ты посмотри, что про тебя самого пишут в газетах. *(Подает ему газету.)*

Андашевский *(беря газету и тихо откладывая ее в сторону)*. Знаю это я, читал, но почему ж вы думаете, что это про меня писано?

Марья Сергеевна. Потому что тут пишут, как к тебе на квартиру ко мне приходили акционеры, как ты получил с них триста тысяч и дал мне их убрать.

Андашевский *(насильственно смеясь)*. Но то же самое могло случиться с тысячью других людей; а потому я никак не могу принять это прямо на свой счет.

Марья Сергеевна. А кто же, по-твоему, эта дама, перед которой ты стоишь на коленях?

Андашевский. Этого тоже я никак уж не знаю.

Марья Сергеевна. А я знаю!.. Это дочь графа, Ольга Петровна Басаева, на которой ты женишься.

Андашевский *(заметно сконфуженный)*. Делает честь твоей прозорливости.

Марья Сергеевна. Пора уж быть прозорливой! Не все оставаться слепой.

Андашевский *(пристально взглядывая ей в лицо)*. Мне интереснее всего знать, кто прислал тебе эту газету.

Марья Сергеевна. Никто; я сама ее купила!

Андашевский. Купить ты никак ее не могла; потому что каким же образом ты именно купила тот номер, где, по твоему мнению, напечатано обо мне,— стало быть, все-таки сказал же тебе кто-нибудь об этом!.. Кто тебе это сказал?

Марья Сергеевна *(опешенная этим вопросом)*. Я не скажу тебе, кто мне сказал.

Андашевский. Все равно, я после узнаю!

Марья Сергеевна. Ни за что!.. Никогда ты этого не узнаешь! И, пожалуйста, не отклоняйся в сторону от разговора и отвечай мне на мой вопрос: женишься ты на Ольге Петровне или нет? *(Андашевский на это только усмехается, но ничего не говорит. Марья Сергеевна, не отставая от него.)* Женишься или нет?

Андашевский *(довольно протяжно и потупляя в землю свои глаза)*. Нет, не женюсь.

Марья Сергеевна. А ты думаешь, что я так сейчас твоим словам и поверила!.. Ты мне должен доказать это!

Андашевский. Но чем же я могу тебе это доказать?

Марья Сергеевна. Тем, что женись на мне!.. Ты давно бы должен был сделать это.

Андашевский *(захохотав уже искренним смехом)*. Что за безумие выдумала!

Марья Сергеевна. Отчего же безумие?.. Тут ничего нет такого странного и смешного.

Андашевский. Да как же не смешно! Сколько лет жили, и вдруг ей пришло в голову, чтобы я женился на ней.

Марья Сергеевна. Муж мой только прошлого года помер; раньше и нельзя было; а теперь я непременно требую, чтобы ты женился на мне.

Андашевский. Нет, я не могу на тебе жениться!

Марья Сергеевна. Почему же не можешь?

Андашевский. Потому, что ни моя служба, ни мое положение в свете, ничто мне не позволяет того.

Марья Сергеевна *(очень оскорбленная последними словами)*. А, так это, значит, я унижу вас; но только вы ошибаетесь, кажется, в этом случае!.. Ты хоть и чиновен, но отец твой все-таки был пьяный приказный, а мой отец генерал-лейтенант! Братья мои тоже генерал-майоры! Ты вот по-французски до сих пор дурно произносишь и на старости лег должен учиться у француза; а я по-французски лучше говорю, чем по-русски, и потому воспитанием моим тоже не унижу тебя!

Андашевский *(в свою очередь тоже вспыхнувши от последних слов Марьи Сергеевны)*. Тут не об унижении говорят, а то, что, женясь на тебе, я, при моем высоком посте, не буду иметь жить на что! Я слишком беден, чтобы вести жизнь женатого человека.

Марья Сергеевна *(крайне удивленная этими словами)*. Как ты беден?.. Ты жалованье огромное получаешь и кроме того у меня в доме получил триста тысяч капитала — бедный какой!..

Андашевский *(еще более покраснев)*. Послушай, ты, наконец, выведешь меня из терпения этими тремястами тысяч! Ты говоришь о них на каждом шагу и сделала то, что об этом все газеты трубят!.. Понимаешь ли ты, какое зло мне можешь принести этим; а между тем это были казенные деньги, которые я случайно получил у тебя на квартире.

Марья Сергеевна. Ах, боже мой, скажите, пожалуйста, какую дуру нашел, в чем заверить хочет! Зачем же ты в записке своей, которую прислал мне об этих деньгах, прямо просил меня, чтобы я поберегла твои деньги?.. Казенные деньги ты не стал бы называть твоими.

Андашевский. В записке к тебе я и казенные деньги мог назвать своими!.. Это не официальная бумага! Но где ж у тебя эта записка?.. Разве цела еще она?

Марья Сергеевна. Цела и спрятана!

Андашевский. Отдай мне ее сейчас же.

Марья Сергеевна. Нет, не отдам.

Андашевский (*удивленный и взбешенный*). Как же не отдашь?.. Ты не имеешь права не отдать мне ее, потому что она у тебя может быть украдена; ты можешь умереть одночасно, и ее опишут вместе с другими вещами, а я со всех сторон окружен врагами и шпионами, которые изо всего готовы сделать на меня обвинение.

Марья Сергеевна. Зачем же мне умирать? Ты, вероятно, желаешь этого, а я нет!.. Украсть у меня этой записки тоже никто не украдет: я ее далеко берегу!

Андашевский (*показывая на шифоньерку*). В этой шифоньерке, конечно?

Марья Сергеевна. Нет, подальше!

Андашевский. Никак уж не подальше!.. Где у вас ключи от нее?

Марья Сергеевна. Ключи потеряны! (*При этом она поспешно закрывает руками одну из подушек своих.*)

Андашевский. Вот они, видно, где! (*Засовывает руку под ту же подушку.*)

Марья Сергеевна (*кричит*). Не дам я вам ключей!

Андашевский (*весь красный*). Нет, дадите!.. (*Вытаскивает из-под подушки руку Марьи Сергеевны, в которой она держит ключи, и начинает отнимать их у нее*).

Марья Сергеевна (*кричит на всю квартиру*). Не дам,— пустите!

Андашевский (*тихим, но вместе с тем бешеным голосом*). Если ты мне сейчас же не отдашь ключей и не возвратишь записки, я убью тебя,— слышишь! (*В это время раздается довольно сильный звонок. Андашевский тотчас же оставляет руку Марьи Сергеевны, которая, в свою очередь, убегает в соседнюю комнату и кричит оттуда.*) Я не отдам вашей записки!.. Я напечатаю ее!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Андашевский (*один и заметно сконфуженным тоном*). Какую величайшую неосторожность сделал я тогда, что посвятил эту дуру в мою тайну!.. В голову совершенно не пришло, что я должен с ней непременно буду поссориться; а между тем у себя на казенной квартире неловко было принять этих господ!.. Ее непременно

кто-нибудь тут учит и поддувает, а то она, по своей бестолковости и беспамятливости, давно бы все забыла... *(Подумав немного.)* Делать нечего, надобно ехать к Ольге Петровне, признаться ей во всем и посоветоваться с нею.

Входит Даша.

ЯВЛЕНИЕ IX

Андашевский и Даша.

Андашевский *(ей)*. Кто это звонил?

Даша. Владимир Иваныч Вуланд.

Андашевский. Понимаю теперь, откуда все это идет!.. Проводи меня черным ходом.

Даша. Пожалуйте-с!

Уводит Андашевского.

ЯВЛЕНИЕ X

Из дверей в залу входит Владимир Иваныч Вуланд.

Владимир Иваныч. Господин Андашевский, кажется, изволил здесь быть!.. Посмотрим, посмотрим, какая это записочка его!..

Потирает с удовольствием руки.

ЯВЛЕНИЕ XI

Владимир Иваныч. Входит Марья Сергеевна, сильно расстроенная.

Марья Сергеевна. Здравствуйте, Владимир Иваныч!

Владимир Иваныч. Что это вы больны изволите быть и как будто бы чем-то расстроены?

Марья Сергеевна. И больна и расстроена!.. У меня был сейчас Алексей Николаич.

Владимир Иваныч *(склоняя голову)*. Был; значит, приезжал!

Марья Сергеевна. Приезжал, и то себе позволил, что я понять не могу: я спросила его, что правда ли, что он женится на Ольге Петровне Басаевой. Он запирается. Тогда я, как Вильгельмина Федоровна мне советовала, сказала ему, чтобы он на мне женился; боже мой, взбесился, вышел из себя и стал мне доказывать, что он

не может на мне жениться, потому что беден, и что даже те триста тысяч, которые он получил при мне, не его будто бы деньги, а казенные!

Владимир Иваныч (*восклицает в удивлении*). Как казенные?

Марья Сергеевна (*насмешливо*). Казенные уж стали.

Владимир Иваныч. Казенные, так в казну и должны были бы поступить. Как же они у него могли очутиться?

Марья Сергеевна. Ну вот, подите!.. Я говорю ему: «Ты сам в записке своей ко мне называл их своими деньгами».

Владимир Иваныч. Слышал я от жены об этой записке и, собственно, за тем приехал, чтобы взглянуть на эту записку... Позвольте мне ее видеть!

Марья Сергеевна. Сейчас, сию минуту! (*Подходит к шифоньерке, отпирает ее и, вынув оттуда целый пук писем и записочек, подает его Владимиру Иванычу.*) Она тут должна быть где-нибудь!

Владимир Иваныч (*перебирая письма и просматривая их*). Вижу-с!.. Найду! (*Останавливается на одной записке.*) Вот она, и записка очень важная.

Марья Сергеевна. Должно быть, очень важная; потому что, как только я напомнила ему о ней, он сейчас же стал требовать ее себе; но я не дура: прямо сказала, что не дам ему этой записки... Тогда он, вообразите, силой решился взять ее.

Владимир Иваныч (*опять в удивлении*). Силой?

Марья Сергеевна. Да, бросился к ключам от шифоньерки, так что я едва успела их взять в руку, тогда он схватил мою руку и начал ломать ее.

Владимир Иваныч (*качая головой*). Скажите, пожалуйста!

Марья Сергеевна. Всю руку мне изломал! Я не знаю, как у меня достало силы не выпустить ключей!.. Ломает мне руку, а сам все шепчет: «Я тебя убью, убью, если ты не отдашь мне записки!..» И я теперь в самом деле боюсь, что он убьет меня.

Владимир Иваныч. О, полноте, господь с вами!

Марья Сергеевна. Нет, вы его не знаете! Он злец ужасный: я все ночи теперь не буду спать и ожидать, что он вернется ко мне в квартиру и убьет меня!

Владимир Иваныч. Если вы его уж так боитесь, так уезжайте куда-нибудь на время из Петербурга, а записочку эту передайте мне с письмом от себя, в котором опишите все, что мне теперь говорили, и просите меня, чтобы я эту записку и самое письмо представил графу, как единственному в этом случае защитнику вашему.

Марья Сергеевна. Что ж граф сделает ему за это?

Владимир Иваныч. О, граф многое может сделать ему: во-первых, видя из вашего письма, как бесчестно этот человек поступил уже в отношении одной женщины, он, конечно, не пожелает выдать за него дочь; да и сама Ольга Петровна, вероятно, не решится на это.

Марья Сергеевна. Это так!.. Да!..

Владимир Иваныч. А по случаю трехсот тысяч и записки, которую он писал к вам о них, граф, полагаю, посоветует Алексею Николаичу жениться на вас, так как вы владеете весьма серьезною его тайною.

Марья Сергеевна. Ах, я очень бы этого желала, потому что я до сих пор ужасно еще люблю его, да и привыкла к нему — сами посудите!

Владимир Иваныч. Вероятно, так это и будет, и мы месяца через три назовем вас «madame Андашевскою».

Марья Сергеевна. Благодарю вас за ваше доброе желание.

Владимир Иваныч. Записочку эту вы позволите, значит, мне взять с собою! *(Кладет записку себе в карман.)* А письмо от себя, как я вам говорил, вы потом пришлете!

Марья Сергеевна. Непременно пришлю! Только я хоть и больна теперь, но завтра же уеду из Петербурга: я ужасно боюсь здесь оставаться.

Владимир Иваныч. Это как вам угодно!.. Конечно, если ехать, так чем скорее, тем лучше! Главное, не забудьте письмецо-то ко мне написать и прислать!

Марья Сергеевна. Никак не забуду!

Владимир Иваныч целует у нее руку, а она его в лоб, и затем Вуланд уходит.

ЯВЛЕНИЕ XII

Марья Сергеевна *(оставшись одна и, видимо, поверившая всем словам Вуланда)*. Как только я сделаюсь

женою Алексея Николаича, так непременно стану покровительствовать Вуланду. Он и жена его такое участие показали мне в теперешнем моем неприятном положении, что, ей-богу, редко встретишь подобное от самых близких родных!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ III

Огромная и красивая дача, большая терраса которой, увитая плющом и задрапированная полотном, выходит в сад, простирающийся до самого взморья. На горизонте виднеется заходящее солнце.

ЯВЛЕНИЕ I

На одном конце террасы сидит граф Зыров, седой уже старик, с энергическим и выразительным лицом, с гордой осанкой и с несколько презрительной усмешкой: привычка повелевать как бы невольно выказывается в каждом его движении. Одет он довольно моложаво, в коротеньком пиджаке и с одним только болтающимся солдатским Георгием в петличке. На другом конце террасы поместилась дочь графа, Ольга Петровна Басаева, молодая вдова, с несколько сухой, черствой красотою, но, как видно, очень умная и смелая. Костюм ее отличается безукоризненным вкусом и самой последней моды.

Ольга Петровна (*заметно горячась*). Этот князь Янтарный, папа, или, как ты очень метко его называешь, азиатский князь, на вечере у madame Бобриной, на всю гостиную à pleine voix[1] кричал: «Как это возможно: граф Зыров на такое место, которое всегда занимали люди нашего круга, посадил никому не известного чиновничка своего!» Я вышла, наконец, из себя и сказала: «Князь, пощадите!.. Вы забываете, что я дочь графа!..» «Ах, pardon, madame, говорит, но я графа так люблю, так уважаю, что не могу не быть удивленным последним выбором его, который никак не могу ни понять, ни оправдать чем-либо...»

Граф (*презрительно усмехаясь*). Как же ему и понять мой выбор, когда он сам просился на это место.

Ольга Петровна. Я это предчувствовала и даже кольнула его этим: «Нельзя, говорю, князь, требовать, чтобы все назначения делались по нашему вкусу. Мало ли чего человек желает, но не всегда того достигает!» Его немножко передернуло. «Английская, говорит, аристокра-

[1] во весь голос (*франц.*)

...ция никогда не позволяет себе открывать такой легкий доступ новым людям в свою среду!» — «Позвольте, говорю, а Роберт Пиль и Д'Израэли?»—«Роберт Пиль и Д'Израэли и господин Андашевский две вещи разные: то люди гениальные!»

Граф *(с прежней презрительной усмешкой)*. А может быть, и Андашевский человек гениальный! Почем они знают его? Они его совершенно не ведают.

Ольга Петровна. Они нисколько и не заботятся узнать его; а говорят только, что это человек не их общества, и этого для них довольно.

Граф *(вспылив наконец)*. Что ж мне за дело до их общества!.. Я его и знать не хочу — всякий делает, как ему самому лучше: у меня, собственно, два достойных кандидата было на это место: Вуланд и Андашевский — первый, бесспорно, очень умный, опытный, но грубый, упрямый и, по временам, пьяный немец; а другой хоть и молодой еще почти человек, но уже знающий, работающий, с прекрасным сердцем и, наконец, мне лично преданный.

Ольга Петровна *(с некоторой краской в лице)*. Тебе он, папа, предан и любит тебя больше, чем сын родной.

Граф. Это я знаю и многие доказательства имею на то! Неужели же при всех этих условиях не предпочесть мне было его всем?

Ольга Петровна. Об этом, папа, и речи не может быть!.. Иначе это было бы величайшей несправедливостью с твоей стороны, что я и сказала князю Янтарному: «И если, говорю, граф в выборе себе хорошего помощника проманкировал своими дружественными отношениями, то это только делает честь его беспристрастию!»— «Да-с, говорит, но если все мы будем таким образом поступать, то явно покажем, что в нашем кругу нет людей, способных к чему-либо более серьезному».

Граф. И действительно нет!.. Хоть бы взять с той же молодежи: разве можно ее сравнить с прежней молодежью?.. Между нами всегда было, кроме уж желания трудиться, работать, некоторого рода рыцарство и благородство в характерах, а теперь вот они в театре накричат и набуянят, и вместо того, чтобы за это бросить, заплатить тысячи две — три, они лучше хотят идти к мировому судье под суд: это грошевики какие-то и алтынники!

Ольга Петровна. Все это, может быть, справедливо; но тут досадно, папа, то, что, как видно, все, старые и молодые, разделяют мнение князя Янтарного, потому что я очень хорошо знаю Янтарного: он слишком большой трус, чтобы позволить себе в таком многолюдном обществе так резко выражать свое мнение, если бы он ожидал себе встретить возражение, напротив: одни поддерживали его небольшими фразами, другие ободряли взглядами; наконец, которые и молчали, то можно наверное поручиться, что они думали то же самое.

Граф. И пусть себе думают, что хотят! Я на болтовню этих господ никогда не обращал никакого внимания и обращать не буду.

Ольга Петровна. Ты этого не говори, папа!.. Крик этих господ для людей таких значительных, как ты и Андашевский, гораздо опаснее, чем что-нибудь другое, а тем больше, что к этому присоединилась опять какая-то статья в газетах.

Граф *(нахмуривая брови)*. Опять статья?

Ольга Петровна. Опять!.. Очень резкая, говорят, и прозрачная. Ты бы, папа, какие-нибудь меры принял против этого.

Граф *(пожимая плечами)*. Какие же я могу принять меры?.. *(Насмешливо.)* Нынче у нас свобода слова и печати. *(Встает и начинает ходить по террасе.)* Нечего сказать,— славное время переживаем: всем негодяям даны всевозможные льготы и права, а все порядочные люди связаны по рукам и по ногам!.. *(Прищуривается и смотрит в одну из боковых аллей сада.)* Что это за человек ходит у нас по парку?

Ольга Петровна. Это, вероятно, Мямлин!.. Я привезла его с собою... Он один на вечере у madame Бобриной заступался за тебя и очень умно, по-моему, доказывал, что нынче все службы сделались так трудны, так требуют от служащих многого, что на важные места возможно только сажать людей совершенно к тому приготовленных.

Граф *(с презрительной усмешкой)*. Это, вероятно, он себя считает совершенно приготовленным на освободившееся место Андашевского.

Ольга Петровна *(стремительно)*. И ты, папа, определи его непременно!

Граф (*с удивлением взглядывая на дочь*). Что ты такое говоришь?.. Шутишь, что ли?

Ольга Петровна. Нет, не шучу, и я тебе сейчас объясню, почему я так говорю: ты вспомни, что Мямлин — родной племянник князя Михайлы Семеныча, и когда ты определишь его к себе, то самому князю и всему его антуражу будет это очень приятно и даст тебе отличный противовес против всех сплетен и толков у madame Бобриной, которыми, опять я тебе повторяю, вовсе не следует пренебрегать. (*Граф грустно усмехается.*) Ты поверь, папа, женскому уму: он в этих случаях бывает иногда дальновиднее мужского.

Граф. Но каким же образом дать Мямлину какое бы то ни было серьезное место, когда его корчит и кобенит почти каждоминутно?

Ольга Петровна. Это, папа, болезнь, а не порок; но что Мямлин умен, в этом я убедилась в последний раз, когда он так логично и последовательно отстаивал тебя. (*Граф отрицательно качает головой.*) Ты, папа, не можешь судить об его уме, потому что, как сам мне Мямлин признавался, он так боится твоего вида, что с ним сейчас же делается припадок его болезни и он не в состоянии высказать тебе ни одной своей мысли.

Граф (*усмехаясь*). Какие у него мысли?.. У него никогда, я думаю, не бывало в голове ни одной своей собственной мысли.

Ольга Петровна. Даже, папа, если бы и так это было, то я все-таки прошу тебя определить его; если не для него, так для меня это сделай.

Граф. Но почему ж тебе так желается этого?

Ольга Петровна. Желается, папа, потому что это будет полезно для тебя и, наконец, для меня самой.

Граф (*пожимая плечами*). Не понимаю, почему это тебе может быть нужно!.. Во всяком случае, я должен об этом прежде поговорить и посоветоваться с Андашевским.

Ольга Петровна. С Андашевским я говорила; он сам этого желает и сию минуту, вероятно, приедет просить тебя о том же.

Граф (*взглядывая пристально на дочь*). Где ж ты видела Андашевского?

Ольга Петровна. Он вчера вечер сидел у меня.

Граф. Стало быть, он бывает у тебя довольно часто?

Ольга Петровна. Бывает!.. Позволь мне позвать к тебе Мямлина, и обещай ему это место! Soyez si bon, cher pére, nommez le directeur[1]. *(Подходит и начинает ласкаться к отцу.)* Я позову его, папа?.. Да?

Граф *(пожимая плечами)*. Позови, пожалуй.

Ольга Петровна. Вот за это merci, papa! *(Целует отца в лоб и сбегает с лестницы.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Граф *(смотря вслед дочери)*. Умная женщина — Ольга! Как она скоро и хорошо поняла всю эту нашу глупую служебную махинацию, и только мне одно тут подозрительно, что она очень уж сблизилась последнее время с Андашевским, и что это такое: дружба ли, или более нежное чувство?.. Во всяком случае, я весьма бы не желал, чтобы из этого произошло что-нибудь серьезное, потому что какой бы по личным качествам своим этот господин ни был, но все-таки он parvenu[2] и хам по своему происхождению! *(Входит Ольга Петровна, ведя за собой Мямлина.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Граф, Ольга Петровна и Мямлин.

Ольга Павловна *(Мямлину)*. Граф здесь!.. Я просила его за вас, сколько могла.

Граф *(довольно приветливо протягивая Мямлину руку)*. Здравствуйте!.. Вы, как я слышал, желаете получить бывшее место Алексея Николаича?

Мямлин *(делая над собой страшное усилие, чтобы не начать гримасничать)*. Очень желаю, ваше сиятельство.

Граф. Но совладаете ли вы с ним? Это место очень трудное и ответственное.

Мямлин *(решительным тоном)*. Совладаю, ваше сиятельство. Я совершенно готов на это место.

Граф. Ну, смотрите: я вас назначу, только уж на себя после пеняйте, если что будет выходить между нами.

Мямлин *(обезумевшим от радости голосом)*. Благодарю вас, ваше сиятельство!.. *(Кидается к графу и хватает его руку, чтобы поцеловать ее.)*

---

[1] Будьте так добры, дорогой отец, определите его директором *(франц.)*.

[2] выскочка *(франц.)*.

Граф *(не давая ему руки и с презрением)*. Перестаньте!.. Как это можно!.. Вы сядьте лучше и успокойтесь! *(Все садятся. Лицо Мямлина начинает мало-помалу принимать более спокойное выражение.)*

Ольга Петровна *(обращаясь к нему)*. А какой мы милый спор с вами выдержали на вечере у madame Бобриной.

Мямлин *(пожимая плечами)*. Это невероятно!.. Это непостижимо!.. Требуют, чтобы на все высшие должности назначались их знакомые, на том только основании, что они люди хороших фамилий; но, боже мой, я сам ношу одну из древнейших дворянских фамилий; однако помыслить никогда не смел получить то место, которое занял теперь Алексей Николаич, сознавая, что он ученей меня, способнее, и что одним только трудолюбием и добросовестным исполнением своих обязанностей я могу равняться с ним, и в настоящее время за величайшую честь для себя и милость со стороны графа считаю то, что он предложил мне прежнее место Алексея Николаича.

Ольга Петровна. Князь Янтарный, видно, не так добросовестен, как вы, и больше об себе думает.

Мямлин. Что человек думает об себе больше, чем он, может быть, заслуживает,— это еще извинительно; но высказывать это так прямо и открыто, по-моему, дерзость!.. В этом случае надобно вспомнить об Европе и об ее общественном мнении: не дальше, как прошлым летом, я, бывши в Эмсе на водах, читал в одной сатирической немецкой газетке, что в России государственных людей чеканят, как талеры: если мальчика отдали в пажеский корпус, то он непременно дойдет до каких-нибудь высших должностей по военной части, а если в училище правоведения или лицей, то до высших должностей по гражданской части!.. Все это, может быть, очень зло, но, к счастию для нас, не совсем справедливо, а между тем что же бы заговорили подобные газеты о России, если бы еще устроился порядок, которого желают друзья madame Бобриной?

Ольга Петровна. Они, я думаю, очень мало заботятся о России: было бы им хорошо.

Мямлин. Да-с, но в то же время это показывает, что они совершенно не понимают духа времени: я, по моей болезни, изъездил всю Европу, сталкивался с разными слоями общества и должен сказать, что весьма часто

встречал взгляды и понятия, которые прежде были немыслимы; например-с: еще наши отцы и деды считали за величайшее несчастие для себя, когда кто из членов семейств женился на какой-нибудь актрисе, цыганке и тем более на своей крепостной; а нынче наоборот; один английский врач, и очень ученый врач, меня пользовавший, узнав мое общественное положение, с первых же слов спросил меня, что нет ли у русской аристократии обыкновения жениться в близком родстве? Этот вопрос точно молния осветил мою голову! Я припомнил, что действительно отец мой был женат на троюродной сестре, дед — вряд ли не на двоюродной, и что еще при Иоанне Грозном один из моих прадедов женился на такой близкой родне, что патриарх даже разгневался!.. Рассказываю я ему все это... «Вот, говорит, причина вашей болезни: в вашем роде не обновлялась кровь никакими новыми элементами. Жениться-с, говорит, непременно надобно на женщинах другого общества, иных занятий, чужеземках», и в доказательство тому привел довольно скабрезный пример!..

Ольга Петровна. Какой же это?

Мямлин. О, при дамах неловко повторять!

Ольга Петровна. Ничего, извольте говорить.

Мямлин (*конфузясь*). Привел в пример... наш... орловский лошадиный завод, которого все достоинство произошло от смеси двух пород: арабской и степной.

Ольга Петровна. Сравнение не совсем лестное, но, может быть, и справедливое.

Мямлин. Очень справедливое-с! Я передавал его князю Михайле Семенычу; оно тоже ему очень понравилось.

Граф (*которому, видимо, наскучило слушать все эти рассуждения Мямлина, обращаясь к нему*). А, скажите, вы рассказывали князю ваш разговор и спор на вечере у madame Бобриной?

Мямлин. От слова до слова-с!

Граф. Что же князь на это? Мне очень любопытно это знать!

Мямлин. Князь в раж пришел, в гнев. «Как, говорит, смеют они судить такие вещи: я пошлю к ним чиновника сказать, чтобы они замолчали!»

Граф. Стало быть, он нисколько не разделяет их толков обо мне?

М я м л и н. Нисколько-с! Он всегда с этим кружком был немножко в контре; но теперь вот вы меня выбрали, а они кричат против вас, это еще больше его восстановит; и за мое назначение он, вероятно, сам приедет благодарить вас.

Граф. Очень рад буду его видеть у себя. *(На этих словах Мямлин вдруг понуривает головой и начинает гримасничать. Граф, испугавшись даже несколько.)* Что такое с вами?

М я м л и н. Припадок опять начался... говорил много... взволновался несколько... Позвольте мне уйти в сторону.

Граф. Пожалуйста! *(Мямлин отходит в сторону и принимается как бы с величайшим наслаждением выделывать из лица разнообразнейшие гримасы, трет у себя за ухом, трет нос свой. Граф, смотря на него.)* Какой несчастный!

Ольга Петровна *(вполголоса)*. Да; но согласись, папа, что он очень умный человек!

Граф *(тоже вполголоса)*. Ничего себе: благёрствовать может!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и лакей.

Лакей. Алексей Николаич.

Граф. Говорил тебе, что принимать всегда без доклада.

Лакей. Алексей Николаич сам приказал доложить об себе.

Уходит. Мямлин между тем снова подходит к графу.

ЯВЛЕНИЕ V

Граф, Ольга Петровна и Мямлин.

Граф *(Мямлину)*. Что, вам лучше теперь?

Мямлин *(продолжая немного гримасничать)*. Прошло несколько!

ЯВЛЕНИЕ VI

Те же. Входит Андашевский; вид его совсем иной, чем был в предыдущей сцене: он как будто бы даже ниже ростом показывает; выражение лица у него кроткое, покорное и как бы несколько печальное. Он со всеми раскланивается.

Граф. Как вам не совестно, Алексей Николаич, велеть о себе докладывать.

Андашевский. Но я полагал, ваше сиятельство, что не заняты ли вы чем-нибудь.

Граф. Вы никогда не можете помешать никаким моим занятиям!.. А теперь я действительно занят был и извиняюсь только, что предварительно не посоветовался с вами: я на прежнее место ваше назначил Дмитрия Дмитрича Мямлина!.. Не имеете ли вы чего-нибудь сказать против этого выбора?

Андашевский *(почтительно склоняя перед графом голову)*. Ваше сиятельство, в выборе людей вы показывали всегда такую прозорливость, что вам достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы понять его, но Дмитрия Дмитрича вы так давно изволите знать, что в нем уж вы никак не могли ошибиться; я же с своей стороны могу только душевно радоваться, что на мое место поступает один из добрейших и благороднейших людей.

Мямлин *(со слезами на глазах)*. А мне позвольте вас, граф, и вас, Алексей Николаич, благодарить этими оросившими мои глаза слезами, которые, смею заверить вас, слезы благодарности, да стану еще я за вас молиться богу, потому что в этом отношении я извиняюсь: я не петербуржец, а москвич!.. Человек верующий!.. Христианин есмь и православный!.. *(Обращаясь к Ольге Петровне.)* А вам, Ольга Петровна, могу высказать только одно: я считал вас всегда ангелом земным, а теперь вижу, что и не ошибся в том; за вас я и молиться не смею, потому что вы, вероятно, угоднее меня богу.

Граф *(видимо, опять соскучившийся слушать Мямлина и обращаясь к Андашевскому)*. Вы завтра же потрудитесь сказать, чтобы о назначении господина Мямлина составили доклад.

Андашевский. Очень хорошо-с!

Граф. А теперь я желал бы остаться с Алексеем Николаичем наедине.

Мямлин *(почти струсив)*. Слушаюсь!.. Слушаюсь!.. *(Торопливо раскланивается со всеми общим поклоном и проворно уходит, виляя своим задом.)*

ЯВЛЕНИЕ VII

Граф, Ольга Петровна и Андашевский.

Ольга Петровна. Я тоже пойду и похожу по саду!.. Вы позовите меня, когда кончите. *(Уходит.)*

Граф и Андашевский остаются на террасе, а Ольга Петровна начинает ходить около, в весьма недальнем расстоянии от террасы.

Граф. Ольга мне сказывала, что в газетах опять появилась статья о Калишинском акционерном обществе.

Андашевский. Даже две-с!.. Одна в понедельничном номере, а другая в сегодняшнем.

Граф. И что же они в общих чертах, намеках только говорят?

Андашевский. В понедельничной только в намеках сказано; а в нынешней я прямо по имени назван и опозорен, как только возможно.

Граф. Это лучше наконец, что вас назвали прямо по имени. Теперь вы можете начать судебное преследование против автора этих статей; вы, конечно, знаете его?

Андашевский. Полагаю, что это один из наших чиновников, Шуберский, который прежде писал об этом и даже признался мне в том.

Граф. Но отчего его тогда же не выгнали?

Андашевский. Из моей экспедиции он тотчас после того вышел, но его взял к себе на службу Владимир Иваныч Вуланд.

Граф. Зачем же Вуланд это сделал?

Андашевский. Вероятно, чтобы досадить и повредить мне, и даже настоящие статьи, как известно мне, писаны под диктовку господина Вуланда.

Граф (*удивленный*). Вуланда?

Андашевский. Самые положительные доказательства имею на это. Он и прежде всегда мне завидовал, а теперь, по случаю назначения моего, сделался окончательно злейшим врагом моим.

Граф (*сильно рассердясь*). О, в таком случае я поговорю с господином Вуландом серьезно. Я не люблю, чтобы под мои действия вели подкопы!.. Шуберскому сказать, чтобы он сейчас же подал в отставку, а вас я прошу начать судебное преследование против него за клевету на вас, потому что я желаю, чтобы вы публично и совершенно были оправданы в общественном мнении.

Андашевский (*смущенным и робким голосом*). Нет, ваше сиятельство, я не могу начать против господина Шуберского судебного преследования!

Граф (*удивленным и недовольным тоном*). Это почему?

Андашевский. Потому, что он может доказать справедливость своих обвинений против меня!

Граф *(все более и более приходя в удивление)*. Но каким же образом и чем он может доказать это?

Андашевский. Тем, что, вероятно, даже письменные какие-нибудь доказательства имеет на то; так как происшествие, которое он описывает, в самом деле существовало.

Граф *(как бы пораженный громом)*. Как существовало?.. И вы действительно с этих акционеров взяли триста тысяч?

Андашевский *(с трепетом в голосе)*. Взял-с.

Граф *(все еще как бы не верящий тому, что слышит)*. Алексей Николаич, что вы такое говорите? Вы или помешались, или шутите надо мной, то я напоминаю вам, что шутки такие неприличны!

Андашевский. Я бы никогда, ваше сиятельство, не позволил себе шутить таким образом; но, к несчастию, все, что я докладывал вам, совершенно справедливо.

Граф. Но что же вам за охота такая пришла докладывать мне? Отчего вы не хотели скрыть от меня этого?

Андашевский. Оттого, ваше сиятельство, что я всегда и во всем привык быть откровенен с вами.

Граф. Но вы бы лучше пораньше были откровенны со мной, когда я вас не выбирал еще в товарищи себе, тогда я, может быть, и поостерегся бы это сделать.

Андашевский. Я полагал, ваше сиятельство, что дело это затухнет и что уже о нем никогда никакой огласки не будет!

Граф. Расчет благородный и особенно в отношении меня!.. Я ездил всюду, кричал, ссорился за вас и говорил, что за вашу честность я так же ручаюсь, как за свою собственную, и вы оказались вор!.. *(Андашевский вздрагивает всем телом.)* И что я теперь должен, по-вашему, делать? Я должен сейчас же ехать и просить, как величайшей справедливости, чтобы вас вышвырнули из службы, а вместе с вами и меня, старого дурака, чтобы не ротозейничал.

Андашевский *(совершенно сконфуженный)*. Ваше сиятельство, позвольте мне хоть сколько-нибудь оправдаться перед вами!..

Граф *(перебивая его)*. Чем-с?.. Чем вы можете

оправдаться, когда вы сами говорите, что пойманы почти с поличным?

Андашевский. Я, ваше сиятельство, не смел бы и просить вас о том, если бы от этого зависела только одна моя участь, но тут замешаны имя и честь вашей дочери.

Граф *(побледнев)*. Как моей дочери?

Андашевский. Вашей дочери, граф! Вы, конечно, изволите помнить, что, по бесконечной доброте вашей ко мне, вы мало что благодетельствовали мне на службе, но ввели меня в ваш дом, как гостя... Здесь я встретил Ольгу Петровну... Человек может владеть своими поступками, но не чувствами!.. Страсть безнадежная, но, тем не менее, пожирающая меня, зажглась в моем сердце к Ольге Петровне.

Граф. Врете-с! Лжете!.. Весь Петербург, я думаю, знает, что у вас всегда была любовница.

Андашевский. Любовь и любовница, ваше сиятельство, две вещи разные, и видит бог, что я десять лет уже люблю Ольгу Петровну, но, видя, что она была жена другого, понимая всю бездну, которая разделяла нас по нашему общественному положению, я, конечно, взглядом малейшим не позволял себе выразить чувства к ней и только уже в последнее время, когда Ольга Петровна сделалась вдовою и нам пришлось случайно встретиться за границей на водах, то маленькое общество, посреди которого мы жили, и отсутствие светских развлечений сблизили нас, и здесь я, к великому счастью своему, узнал, что внушаю Ольге Петровне то же самое чувство, которое и сам питал к ней.

Граф *(насмешливо)*. Но почему же чувство это заставило вас взять взятку, вот этого, признаюсь, не понимаю.

Андашевский *(трепещущим голосом)*. Вопрос ваш, ваше сиятельство, заставляет меня открыть вам то, что я думал унести в могилу с собою... Чувство мое заставило меня сделать это, потому что когда я возвратился в Петербург, то через два же месяца получил от Ольги Петровны письмо, где она умоляла меня достать и выслать к ней двести тысяч франков, которыми она могла бы заплатить долги свои; а иначе ей угрожала опасность быть посаженной в тюрьму!.. Я мог все в жизни вынести, но только не это!.. Своих денег у меня не было почти

нисколько... Я первоначально бросился было ко всем контористам, чтобы занять у них, но они мне без материального обеспечения не доверяли такой значительной суммы... В это время решалось дело по Калишинскому акционерному обществу: оно без всякого ущерба в справедливости могло быть решено так, как и решили его; но я поехал к учредителям, обманул их, напугал, говоря, что дело их тогда только будет выиграно, если они выдадут мне пай, и они мне выдали его в триста тысяч.

Граф *(насмешливо и пристально взглядывая в лицо Андашевскому)*. Сумма, немного превышающая долг моей дочери.

Андашевский. Я взял, сколько мне дали, ожидая, что у Ольги Петровны могут открыться другие долги!

Граф *(с едва сдерживаемым бешенством)*. Что ж, они открылись?

Андашевский *(покраснев немного в лице)*. Открылись!

Граф. Печный и предусмотрительный вы обожатель, и недостает теперь только одного, чтобы вы еще лично меня впутали в эту гнусную историю!..

Ольга Петровна, все время ходившая около, при последних словах графа вошла на террасу.

Ольга Петровна. Вы, Алексей Николаич, в рассказе отцу забыли ему напомнить, что прежде, чем я обратилась к вам, я писала ему и со слезами просила его заплатить мой долг, а он мне даже не отвечал на мои письма.

Граф. Нечем мне было платить твоих долгов!

Ольга Петровна. Было бы чем, папа, если бы у тебя деньги на другое не ушли!.. *(Снова обращаясь к Андашевскому.)* Графу, я вижу, Алексей Николаич, неприятен ваш великодушный поступок в отношении меня; но я его очень дорого ценю и завтрашний же день желаю сделаться вашей женой, с полною моей готовностью всюду следовать за вами, какая бы вас участь ни постигла.

В ответ на это Андашевский молча ей кланяется, а граф почти в отчаянии закидывает голову назад и произносит негромким голосом: «O, mon dieu, mon dieu!» [1]

---

[1] «О боже, боже!» *(франц.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и лакей; потом без лакея.

Лакей. Владимир Иваныч Вуланд!

Андашевский (*потупляясь*). Вероятно, с доносом на меня.

Граф (*дочери и Андашевскому*). Уйдите же... Не могу я с ним при вас объясняться.

Андашевский и Ольга Петровна уходят.

ЯВЛЕНИЕ IX

Граф. Входит Вуланд. Он несколько бледен и смущен.

Граф (*ему строго*). Очень кстати, что вы приехали. Я хотел было посылать за вами курьера.

Вуланд (*довольно грубым голосом*). Радуюсь, что предупредил желание вашего сиятельства.

Граф. Я хотел с вами поговорить по поводу глупых газетных статей, которые опять стали появляться о калишинском деле.

Вуланд. И я, собственно, ехал к вашему сиятельству отчасти по тому же делу.

Граф. Прекрасно-с!.. Мы сошлись поэтому в наших желаниях!.. Статьи эти пишет один из покровительствуемых вами чиновников, Шуберский. Я желаю, чтобы он минуты у нас не оставался на службе.

Вуланд. Эти статьи пишет не Шуберский!..

Граф. Кто ж их пишет?

Вуланд. Я не знаю, кто, но господин Шуберский, когда я брал его к себе, клятвенно мне обещался никогда не писать о том, что совершалось или будет совершаться в нашем ведомстве.

Граф. Ну, клятвы своей он не сдержал!.. Мало того-с: я знаю, что статьи эти вы ему диктуете; а я со шпионами и клеветниками служить не желаю — извольте искать себе другого места!

Вуланд (*побледнев*). Это, вероятно, господин Андашевский представил все вашему сиятельству в превратном виде; но в этих статьях ни я, ни господин Шуберский нисколько не участвовали; а что они являются, так потому, что дело это огласилось на весь Петербург и что оно не выдумано, а факт, так я даже доказательство имею на то: госпожа Сонина, бывшая близкою особою господина Андашевского, прислала мне письмо, удостоверяющее,

что все напечатанное в газетах совершенно справедливо, и к этому присоединила даже собственноручную записку господина Андашевского, подтверждающую этот факт, прося все это представить вашему сиятельству, что я и исполняю в настоящем случае!.. *(Подает графу письмо Сониной и записку Андашевского.)*

Граф *(бегло взглянув на то и на другое)*. Ничего этого знать я не хочу!.. Вот все это!.. Вот! *(Рвет письмо и записку.)*

Вуланд *(окончательно побледнев)*. Ваше сиятельство, вы уничтожаете документ!

Граф *(кричит)*. Никакого тут документа нет!.. Мало ли о каких деньгах он мог писать ей!.. Вот все ваши документы! *(Рвет письмо и записку еще на более мелкие куски и бросает их на пол.)* А я вам повторяю, что с доносчиками и клеветниками я служить не желаю!

Вуланд. Не желать со мной служить вы можете, но уничтожать документы вы не имеете права,— я жаловаться на то буду!

Граф. Никаких документов тут не было! Идите вон, когда вы так позволяете себе говорить!

Вуланд *(грубо и мрачно)*. Уйти я уйду, а жаловаться все-таки буду! *(Поворачивается и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Граф один; потом Андашевский и Ольга Петровна.

Граф *(кидаясь в кресло и начиная хохотать каким-то сумасшедшим смехом)*. Ха-ха-ха! Отлично, превосходно поступаю!..

Входят Андашевский и Ольга Петровна, подслушивавшие в соседней комнате предыдущую сцену. Граф, злобно и насмешливо обращаясь к ним.

Надеюсь, что вы довольны мною!.. И это делает, по милости вашей, шестидесятилетний человек, имя которого никогда и ничем не было запятнано! Да будьте вы прокляты!.. *(Уходит, сильно хлопнув дверьми, в комнаты.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Андашевский и Ольга Петровна.

Ольга Петровна *(пожимая плечами)*. Сумасшедший старик!

Андашевский *(как бы все еще не могший прийти в себя от предыдущей сцены с графом)*. Я, однако, ни-

как не ожидал, чтобы все это так благополучно кончилось! *(Подбирает с полу клочки разорванных писем и показывает их Ольге Петровне.)* Посмотри, пожалуйста, в какие мелкие кусочки он разорвал письма!..

Ольга Петровна. Я тебе это предсказывала! Сказать ему откровенно самое лучшее было!.. Он очень хорошо чувствует, что виноват тут! Он пять тысяч душ моей покойной матери прожил на разных своих балетчиц! Однако пойдем поскорее и сейчас же устроим, чтобы завтра нам и обвенчаться! Надобно скорей его этим связать.

Андашевский. О, да, необходимо!

Оба уходят озабоченной походкой.

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ IV

Изящно убранная гостиная в квартире Андашевских.

ЯВЛЕНИЕ I

Входит Мямлин и князь Янтарный. Первый, по обыкновению, с своим немного подергивающимся, бабьим лицом, в невычищенном вицмундире, с непричесанными клочковатыми волосами, с грязными ногтями, но зато в звезде и во всех крестиках и медалях, какие когда-либо получал. Князь Янтарный, довольно нестарый еще и красивый из себя мужчина, с большими черными и даже с поволокой, но вместе с тем ничего не выражающими глазами, напротив, выстрижен почти под гребенку и подбородок имеет тщательнейшим образом выбритый, который, однако, все-таки остается немного черноватым от необыкновенной густоты волос. Одет князь в белый галстук и в новенький, с иголочки, вицмундирный фрак; шляпа и лаковые сапоги его блестят почти до неприличия. Все слова свои он произносит, заметно важничая и закрывая для этого немного глаза свои, и вообще речь его должна быть несколько похожа на журчанье ручья.

Мямлин *(видимо, стараясь втолковать что-то такое князю Янтарному)*. Я вам говорю, что Ольга Петровна все это устроила... У ней при мне был разговор об этом с Алексеем Николаичем.

Князь Янтарный. Странно!.. Встречаясь в обществе, я всегда с ней немного пикировался и на ее маленькие стрелы отвечал довольно колко; но, может быть, этим самым я выигрывал в ее глазах,— qui peut comprendre la femme![1]

---

[1] кто может понять женщину! *(франц.)*

Мямлин. Непременно этим самым-с! Она женщина большого ума! Насквозь понимает людей! Хоть бы взять-с меня! Вуланд совершенно в грязь меня втоптал перед графом... Она меня спасла!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Ольга Петровна, уже madame Андашевская.

Мямлин (*быстро хватая князя Янтарного за руку и представляя его Ольге Петровне*). Madame!.. Permettez moi de vois présenter[1]: князь Янтарный!

Ольга Петровна. Мы с князем знакомы давно. (*Любезно протягивает обоим гостям свою ручку и затем, легким движением головы пригласив их садиться, сама тоже садится.*)

Князь Янтарный и Мямлин садятся в несколько церемонно-визитной позе.

Князь Янтарный (*немного привставая с своего кресла и прижимая вместе с наклонением головы руку к сердцу*). Pardon, madame, что я являюсь к вам в этой ливрее нашей,— но я приехал к вам почти официально, чтобы бесконечно благодарить вас за ваше доброе участие, которое, как вот Дмитрий Дмитрич (*показывает на Мямлина*) передавал мне, вы принимали в определении моем на место господина Вуланда.

Ольга Петровна (*с живостью*). А вы уже определены... Ах, я очень рада!

Князь Янтарный. Алексей Николаич еще недели две тому назад заехал ко мне и говорит, что Владимир Иваныч Вуланд скоропостижно помер. Это так меня фрапировало!.. Я перед тем только еще обедал с Вуландом в Английском клубе, и он был совершенно здоров!.. Как, почему и отчего человек умер?

Ольга Петровна (*немного сконфуженная этими словами*). У него, кажется, аневризм был.

Мямлин. Да и жизни был невоздержной — это что таить!

Князь Янтарный. И Алексей Николаич тут же предложил мне занять место Владимира Иваныча, но я уже имел подобную должность и оставил ее, что я и высказал откровенно Алексею Николаичу; но он был так добр, что в довольно ясных намеках дал мне понять,

---

[1] Мадам!.. Разрешите мне вам представить: (*франц.*)

что это место для меня пока, но что со временем я могу занять и *большее.*

Ольга Петровна. О, конечно, если это хоть сколько-нибудь будет зависеть от мужа, то вы получите и *большее,* и я надеюсь теперь, что вы помирились с ним в душе несколько...

Князь Янтарный. Я мало что помирился с Алексеем Николаичем, но я стал благоговеть перед ним, и в этом случае не беру ничего другого, как мой собственный пример: я, как хотите это назовите, имел глупость, неосторожность, но я, не зная человека, позволял себе говорить против него, и Алексей Николаич слышал это, конечно, потому что я говорил это всюду, говорил не только что при вас, но даже с вами. Вы, вероятно, в это время были уже невестой его, и полагаю, что должны были передавать ему это.

Ольга Петровна. Да, я ему передавала.

Князь Янтарный *(поднимая указательный палец свой как бы затем, чтобы придать более весу словам своим).* И Алексей Николаич, несмотря на все это, в видах уж, конечно, одной только пользы служебной и находя меня, не знаю почему, заслуживающим настоящей моей должности, сам первый приехал ко мне и предложил мне трудиться вместе с ним; так поступать из миллионов людей может только один!

Мямлин *(подхватывая).* И который, прибавьте, любит Россию истинной любовью!

Князь Янтарный. Именно любит Россию истинной любовью! Кроме того-с, последние два дня я имел счастье...— иначе не могу этого назвать!.. — имел счастье видеть Алексея Николаича в его служебной деятельности и убедился, что в этом отношении он гениальный человек!

Ольга Петровна. Да, очень способный! Я хоть и жена его, но тоже могу сказать, что он, как все люди, имеет, конечно, много недостатков; но, как служебный деятель, он решительно человек с государственным призванием.

Князь Янтарный. Решительно с государственным призванием: эта быстрота соображения!.. Удар прямо в цель!.. Способность обобщить, на группы разбить тысячи фактов, собранных со всей России...

Мямлин *(снова подхватывая).* А дар изложения!..

Князь Янтарный. Да-с!.. Изложенья дар! Бумаги, им написанные, усыпаны брильянтами, алмазами красноречия, и я сам видел, что они ничего ему не стоят: они так и льются, так и льются у него... Я теперь торжественно и всем говорю, что выбор Алексея Николаича и предпочтение его другим кандидатам показывает в графе Зырове величайшую прозорливость и величайшую мудрость.

Мямлин. А я всегда это самое говорил!.. *(Обращаясь к Ольге Петровне.)* Но скажите, как здоровье графа нынче? Я несколько раз к нему являлся, но ни разу не был принят.

Ольга Петровна. Папа был очень серьезно болен.

Мямлин *(с искренним участием)*. Но что было причиною его болезни?.. Простудился ли он, не соблюл ли диетки?.. Старички обыкновенно любят покушать.

Ольга Петровна. Нисколько!.. Нимало!.. Причина — его душевные потрясения!

Оба директора делают удивленные и как бы вопрошающие лица. Ольга Петровна продолжает.

Сначала его очень волновали эти крики по поводу назначения Алексея Николаича...

Князь Янтарный при этом потупляет глаза. Ольга Петровна, показывая на него пальчиком.

Ему совестно даже при этих словах моих смотреть на меня!..

Князь Янтарный *(держа униженно голову)*. Совестно,— каюсь в том.

Ольга Петровна *(снова продолжает)*. Потом эти гадкие газетные статьи пошли, где такой грязью, такой низкой клеветой чернили человека, им выбранного и возвышенного; а, наконец, и брак мой с Алексеем Николаичем добавил несколько; в обществе теперь прямо утверждают, что папа выбрал себе в товарищи Андашевского, чтобы пристроить за него дочку, и что Андашевский женился для той же цели на этой старой кокетке!

Оба директора *(хохочут и почти в одно слово восклицают)*. На старой кокетке!.. Кто ж может говорить это?

Ольга Петровна *(князю Янтарному)*. Да наша общая с вами приятельница, madame Бобрина, говорит

это, и я нисколько в этом случае на нее не претендую; но желала бы, чтоб ей растолковали одно: Алексей Николаич женился на мне никак не для получения настоящего своего места, потому что он имел его уже раньше, а что папа не для этой цели его возвышал, так это можно доказать тем, что граф, напротив, очень недоволен моим замужеством за Алексея Николаича, и entre nous soit dit:[1] он до сих пор почти не принимает нас к себе!

Князь Янтарный (*с удивлением*). Но почему же граф может быть недоволен вашим замужеством?

Ольга Петровна. Тут много причин!.. Прежде всего, разумеется, то, что Алексей Николаич плебей; ну и потом: мы с мужем, как молодые оба люди, женясь, ничего не помышляли о том, что будет впереди, и все нам представлялось в розовом цвете; но папа очень хорошо понимал, что каким же образом тесть и зять будут стоять на службе так близко друг к другу, и теперь действительно в обществе уже говорят об этом.

Мямлин. Говорят-с!.. Говорят! Я не решался только докладывать вам об этом, но толки есть.

Ольга Петровна. Очень большие, знаю это я!.. До папа̀ тоже это доходит, и все это его волновало, беспокоило, тревожило, и семьдесят его лет невольно сказались в этом случае.

Князь Янтарный. Графу, однако, семьдесят лет?

Ольга Петровна. О, да, около того!.. Мне тридцать с лишком лет, а он очень, очень немолодым женился!.. И я даже боюсь теперь... Опять-таки прошу, чтобы между нами это осталось; я с вами говорю совершенно как с друзьями своими: я боюсь, что нет ли у него маленького размягчения мозга.

Оба директора вместе и почти в ужасе восклицают.

Князь Янтарный. Скажите, какое несчастье!

Мямлин. Господи помилуй! (*Крестится при этом.*)

Ольга Петровна (*продолжает*). Потому что последнее время он газет даже не читает — не понимает!.. Какая же причина тому?..

Князь Янтарный (*глубокомысленно*). Но, может быть, граф озабочен чем-нибудь другим?

Ольга Петровна. Разве забота может помешать понять газету?.. Тут непременно должно быть что-нибудь

---

[1] между нами будь сказано: (*франц.*)

более серьезное, и вообразите мое положение теперь: с одной стороны, отец в таком нехорошем состоянии здоровья, а с другой — муж, который тоже бесится, выходит из себя. «Раз, говорит, можно перенести клевету, два, три; но переносить ее всю жизнь не хватит никакого человеческого терпения!» И я ожидаю, что он в одну из бешеных минут своих пойдет и подаст в отставку.

Оба директора опять в один голос восклицают: «Как это возможно?.. Мы не пустим его!.. Он погубит этим все наше ведомство».

Я тоже не советую ему это делать; но в то же время не могу не согласиться с ним, что есть оскорбления, которые нельзя перенести ни для каких благих целей.

На этих словах Мямлин вскакивает вдруг со своего места, как бы уколотый чем-нибудь, и произносит почти испуганным голосом: «Алексей Николаич приехал-с!»

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Андашевский; лицо у него взволнованное, озабоченное, но не печальное.

Ольга Петровна (*пристально взглянув на мужа*). Ты откуда?

Андашевский (*притворно-небрежным голосом*). У князя Михайлы Семеныча был.

Ольга Петровна (*изменившись несколько в лице*). И что же?

Андашевский (*тем же небрежным тоном*). После расскажу!.. (*Обращаясь к директорам.*) Здравствуйте, господа. (*Затем, дружески пожав им руки, садится в кресло и в заметном утомлении опрокидывается на задок его.*)

Князь Янтарный. Я счел себя обязанным лично поблагодарить Ольгу Петровну за участие ее в определении меня.

Андашевский. Да-с, да!.. По крайней мере почин в этом ей прямо принадлежит!.. Тогда этот несчастный Вуланд помер; экспедицию его, я знал, что по многим обстоятельствам нельзя было оставить без начальника, а между тем граф заболел, и таким образом обязанность выбора легла на мне; но я решительно не знал, кого назначить, так что говорю, наконец, об этом жене... Она

мне и посоветовала. «Чего ж, говорит, тебе лучше: попроси князя Янтарного принять это место!.. Может быть, он и согласится».

Князь Янтарный *(склоняя перед Андашевским голову)*. Правилом князя Янтарного всегда было и будет исполнять все, что возлагает на него правительство, хотя откровенно должен признаться, что в экспедиции Владимира Иваныча я нашел такой беспорядок, такой хаос...

Андашевский *(перебивая его)*. Я вас предуведомлял о том!.. Вы не можете на меня сетовать.

Князь Янтарный. Очень помню-с! Но я объясняю вам, собственно, затем, что Вуланд слыл трудолюбивым дельцом, и если теперь будут выходить какие-нибудь упущения, то прямо скажут, что Янтарный запустил это; а между тем, чтобы привести дела хоть в сколько-нибудь человеческий порядок, я должен употреблять громадный труд!.. Гигантский труд!

Мямлин *(давно уже желавший вмешаться в разговор)*. А я вот принял экспедицию Алексея Николаича, так ни одной бумаги не нашел неисполненной, а книги бухгалтерские таким почерком ведены, что я, право, думал — рисованные. *(Относясь к Андашевскому.)* А между тем, как Владимир Иваныч всегда завидовал вам и обижался вашим возвышением.

Андашевский *(как бы ничего не знавший по этому предмету)*. Он говорил вам об этом?

Мямлин. Больше чем говорил; я был жертвою этой его зависти!.. Тогда, как вас назначили в товарищи, я был в командировке и, конечно, прискакал сейчас же в Петербург; являюсь, между прочим, к Владимиру Иванычу и начинаю ему, по своей откровенности, хвалить вас!.. Говорю, как вы умны, просвещенны, трудолюбивы, а по болезни моей, надобно признаться, я не все и замечаю, что вокруг меня происходит, только тут же со мной вместе был бывший управитель дяди Михайлы Семеныча, генерал Варнуха, которого вы на днях, кажется, изволили назначить смотрителем Крестовоздвиженской богадельни.

Андашевский. Да, я его назначил.

Мямлин. Дяде очень это будет приятно!.. Очень!.. Выходим мы с ним тогда от Владимира Иваныча, он мне и говорит: «Зачем вы так Алексея Николаича хвалили

Владимиру Иванычу? Ему это очень было неприятно: он весь даже краснел со злости!» Я так себя по лбу и ударил: «Ну, думаю, будет мне за это отплата!» И действительно: на другой же день насказал на меня графу...

Ольга Петровна. А сколько самому Алексею Николаичу он, по своей зависти, делал неприятностей.

Князь Янтарный. Алексею Николаичу даже!

Ольга Петровна. Да, как же! Все эти газетные статьи против Алексея Николаича были писаны под диктовку господина Вуланда.

Князь Янтарный. О, какая низость это с его стороны!

Ольга Петровна. Он и госпожа Сонина, бывший предмет страсти моего супруга,— творцы их.

Князь Янтарный и Мямлин, как следует хорошим подчиненным, потупляют при этом глаза свои.

И можете себе представить, что могут изобресть и как наклеветать завидующий друг и ревнующая женщина!

Князь Янтарный *(поднимая с грустью глаза к небу)*. Воображаю!

Мямлин. Дьявол это речет в них и говорит их устами.

Ольга Петровна. Это, впрочем, послужит Алексею Николаичу прекрасным уроком не верить вперед в доброту глупых женщин и в дружбу умных мужчин!

Андашевский *(с улыбкой)*. Очень верное замечание! *(Относясь к Мямлину.)* Ах, кстати, по поводу газетных статей: вы объявляли господину Шуберскому, чтобы он подал в отставку?..

Мямлин. Как же-с!.. В тот же день, как вы приказали... Он даже заплакал сначала и стал уверять меня, что может представить удостоверение, что эти статьи писаны не им... «А что если бы, говорит, я захотел писать, так мог бы написать что-нибудь и посерьезнее».

Андашевский. Что же такое посерьезнее он мог бы написать?

Мямлин *(робея, не договаривая и стараясь свою мысль довыразить более жестами)*. Да там-с, я, ей-богу, и не знаю... Но что будто бы, когда там... Владимир Иваныч... поссорился, что ли, с графом... то прямо приехал в Немецкий клуб, и что господин Шуберский там тоже был... Владимир Иваныч подозвал его к себе и стал ему расска-

зывать, что там... граф кричал, что ли, там на него и что будто бы даже разорвал... я уж и не понял хорошенько, что это такое... разорвал письмо, что ли, какое-то...

Андашевский (*взглядывая на жену*). Еще новую историю сочинили.

Ольга Петровна (*пожимая плечами*). Их, вероятно, и много еще будут сочинять.

Мямлин. И что будто бы, изволите видеть, стал говорить господину Шуберскому: «Опиши все это!» Но что тот будто бы отказался... «Что, говорит, мне писать такие небылицы!» Тогда Владимир Иваныч очень рассердился на него и принялся пить пунш и что будто бы выпил его стаканов двадцать... так что Шуберский принужден был уложить его в карету и свезти домой, а на другой день Владимир Иваныч помер.

Андашевский. Все это очень может быть: Вуланд, действительно, говорят, опился, в пьяном виде мог бог знает чего наболтать; но к делу это нисколько нейдет.

Мямлин (*глубокомысленно*). Идет-с, по-моему!.. Там, как вам угодно, но, как я понимаю, господин Шуберский этот хоть и плакал-с передо мной, но он человек наглый!.. Дерзкий!.. Как видит, что слезами ничего не взял, так сейчас же поднял нос!.. «Если, говорит, меня заставят оставить службу, так я все, что мне рассказывал Вуланд, напечатаю, а если же оставят, так наоборот... напишу статью, опровергающую все прежние об этом статьи».

Андашевский (*заметно обрадованный*). А, это другое дело!.. Если он напишет такую статью, тогда его можно будет и оставить. (*Обращаясь к князю Янтарному.*) Как вы думаете?

Князь Янтарный. Разумеется!.. Это такая мелочь! И вообще вся наша пресса такая грязь и сало, что от нее можно только отворачиваться, но никак не обращать на нее большого внимания.

Андашевский (*Мямлину*). На том условии, чтобы господин Шуберский напечатал статью, опровергающую все прежние статьи, я могу его оставить.

Мямлин. Я сам тогда это тоже сообразил и думаю: черт его дери!.. Все лучше доложить об этом Алексею Николаичу, а теперь я так и передам ему ваше приказание.

Андашевский. Так и передайте.

Входит торопливо лакей.

ЯВЛЕНИЕ IV

Андашевский, Ольга Петровна, князь Янтарный, Мямлин и лакей.

Лакей. Граф прислал курьера и требуют к себе с делами и с бумагами князя Янтарного и господина Мямлина.

ЯВЛЕНИЕ V

Те же, кроме лакея.

Мямлин *(с испугом)*. Вот гебе раз. *(Начинает делать из лица гримасы.)* А у меня ничего и не готово.

Князь Янтарный *(также с вспыхнувшим лицом)*. И у меня тоже! *(Относясь к Андашевскому несколько смущенным голосом.)* Граф, вероятно, вступил в свою должность?

Андашевский *(насмешливо)*. Вероятно-с!.. Вероятно!.. «Час настал, и лев просыпается».

Мямлин *(Янтарному)*. Пойдемте скорее.

Князь Янтарный. Идемте!

Оба раскланиваются с Андашевским.

Ольга Петровна *(смеясь, им)*. Не завидую, господа, вашему положению.

Князь Янтарный *(тоже улыбаясь, но насильственно)*. Ужасное, и особенно мое, так как я никак не ожида́ю, чтобы граф встретил меня приязненно!

Мямлин. И мое положение не лучше вашего. *(Продолжает все более и более гримасничать.)*

Андашевский *(Мямлину)*. У вас даже опять появился в лице припадок вашей болезни.

Мямлин. Это уж всегда, как только чем-нибудь встревожусь.

Еще раз раскланиваются с Андашевскими и уходят.

ЯВЛЕНИЕ VI

Андашевский и Ольга Петровна.

Андашевский *(плотно притворяя дверь)*. Ушли, наконец, несносные.

Ольга Петровна *(стремительно мужу)*. Скажи, как ты очутился сегодня у князя Михайлы Семеныча?

Андашевский. Очень просто: еду я поутру мимо

его дома... На сердце у меня давно уже накипело: «Ну, думаю, что будет, то будет!» — велел карете остановиться и вошел в приемную; народу пропасть; адъютант, впрочем, как увидал меня, так сейчас же доложил, и князь сейчас пригласил меня в кабинет к себе. Вхожу. Князь очень любезно протянул мне руку: «Здравствуйте, говорит, Алексей Николаич, что скажете хорошенького?» Я говорю: «Князь, я приехал, во-первых, доложить вам, что покровительствуемый вами генерал-майор Варнуха определен мною смотрителем Крестовоздвиженской богадельни!» — «Благодарю!» — говорит.— «Это назначение, говорю, я чисто уже взял на свой страх, так как граф теперь болен и, как я слышал, очень недоволен этим замещением!» — «Это почему?» — говорит. Я говорю: «Я не знаю, но ожидаю, что у меня по этому поводу будет с графом весьма неприятное столкновение!» — «Как это, говорит, будет глупо со стороны графа!» Подготовил, понимаешь, почву немного!

Ольга Петровна (*внимательнейшим образом слушавшая мужа*). Понимаю!

Андашевский (*продолжая*). «Кроме-с того, говорю, князь, я приехал и по собственному очень важному делу, чтобы попросить у вас совета и содействия!» — «Рад, говорит, вам всем служить, чем только могу!» — «Дело-с, говорю, мое состоит в том, что с месяц тому назад я женился на madame Басаевой, дочери графа».— «Знаю, говорит, видел вашу супругу на бале у австрийского посла и поздравлял ее!»—«Брак этот, говорю, совершенно неожиданно для нас возбудил большие толки в обществе; отовсюду к нам доходят слухи об удивлении и недоумении общества, что каким образом на таких высоких постах тесть и зять будут так близко стоять друг к другу»... Остановился я на этих словах, жду, что он скажет... Он подумал немного, потер себе нос и говорит: «Действительно, говорит, в служебных сферах это не принято, и в подобных случаях обыкновенно всегда переводят кого-нибудь...» — «Не кого-нибудь, говорю, а уж, конечно, меня переведут; мною, как младшим, пожертвуют и принесут меня на заклание!» — «Почему ж, говорит, вас на заклание; вероятно, дадут назначение, равное теперешнему!» Ах, ты, думаю, старый волк!.. Ты, пожалуй, устроишь это!

Ольга Петровна. Воображаю, что ты должен был почувствовать в эти минуты!

Андашевский. Ужас! Я тебе говорю, ужас!.. И я помню только одно, что я тут, как бешеный конь, закусил удила и решился валять напролом. «Во всех моих служебных объяснениях, князь, говорю, я привык быть всегда совершенно откровенным; позвольте мне и с вами быть таким же!» — «Пожалуйста»,— говорит.— «В настоящем случае, говорю, есть еще одно довольно важное обстоятельство: ведомство наше, как небезызвестно вашему сиятельству, преобразовано, устроено и организовано исключительно мною и господином Вуландом, и если бы господин Вуланд был жив, то при теперешних обстоятельствах и вопроса никакого не могло бы быть: мне бы дали какое-нибудь назначение, а господин Вуланд сел бы на мое место, и дела пошли бы точно так же, как и теперь идут; но господин Вуланд умер, вновь назначенные директора — люди совершенно неопытные, я уйду, сам граф стар и болен. Князь! При соединении всех этих случайностей, я почти положительно уверен, что ведомство наше мало что потрясется в своем основании, но оно совершенно рухнет!»

Ольга Петровна. Ты отлично, бесподобно сделал, что сказал ему это!

Андашевский. Еще бы!.. Я очень хорошо знал, с каким господином я говорю и что на него можно только подобными вещами подействовать; вот тебе доказательство тому: как объяснил я ему это, он весь стал внимание, и у него глаза даже как-то разгорелись!.. Видно было, что его собственное самолюбие затронулось, что вот-де я все знаю, предусматриваю и предотвращаю. «Но чем же, говорит, граф нездоров; супруга ваша мне с большим горем рассказывала, что у него даже маленькое мозговое расстройство начинается!» Я пожал плечами. «Болезнь эта, говорю, до некоторой степени давно присуща графу, и я только, по своей глубокой преданности к нему, тщательно скрывал это; но более уже трех лет, как на мне лежит вся тяжесть его служебного труда, так что он не подписывает ни одной бумаги, предварительно мною не просмотренной и ему не рекомендованной. «А теперь что же, говорит, болезнь эта усилилась в нем?» — «Как кажется!»— говорю.— «Жаль, говорит, старика, очень жаль, и в таком случае уж лучше ему уйти на покой!» — «О, говорю, он об этом вовсе и не помышляет, а, напротив, с каждым днем становится честолюбивей и властолюбивее!» — «Ну, поло-

жим, говорит, на это не очень посмотрят, только кем же заместят его!.. Один только Карга-Короваев и мог бы еще занять его место».

Ольга Петровна. Вот приятный сюрприз будет, если назначат Каргу-Короваева!

Андашевский. Сюрприз, при котором невозможно будет оставаться служить, потому что господин этот мало того, что деспот в душе и упрям, как вол; но он умен, каналья, и если что захочет, так его не обманешь, как других, наружным только видом, что повинуешься ему и делаешь по его: он дощупается до всего. Это я и высказал отчасти князю. «Если, говорю, ваше сиятельство, к нам будет назначен Карга-Короваев, то я минуты не останусь в моей должности!» — «Это почему?» — говорит.— «Потому что, говорю, господин Карга-Короваев, сколько я знаю его, привык ценить и уважать только свои мысли и свой труд, и, вступив к нам в управление, он, без сомнения, примется нами созданное учреждение ломать и перестраивать по-своему, а мне присутствовать при этом каждодневно будет слишком уж тяжело, и я лучше обреку себя на нужду и бедность, но выйду в отставку!» Он на эти слова мне улыбнулся. «Не пугайтесь, говорит, очень,— я сказал вам только одно мое предположение; но Каргу-Короваева, кажется, прочат на другое место, где он нужнее... К вам же, говорит, если граф оставит службу, всего бы, конечно, справедливее было вас назначить; но только вы молоды еще... Сколько вам лет от роду?..» — «Сорок девять»,— говорю.

Ольга Петровна. Пять прибавил?

Андашевский. Пять прибавил!.. «Но, говорит, говорили вы когда-нибудь с самим графом о вашем желании занять его место?» Я говорю, что я никак не мог с ним говорить об этом, потому что оба мы так близко заинтересованы в этом случае. «По крайней мере, говорит, супруга ваша, дочь его, могла бы дать ему мысль!» — «И той, говорю, неловко сказать ему об этом. Вот если бы вы, говорю, ваше сиятельство, были так добры, что объяснили графу сущность дела. Он вас бесконечно уважает и каждое слово ваше примет за закон для себя!.. И я опять осмелюсь повторить вам, что прошу вас об этом не столько в видах личного интереса, сколько для спасения самого дела, потому что иначе оно должно погибнуть!..» Молчит он на это... минут пять молчал... Я убежден, что у меня

в это время прибавилось седых волос!.. Взгляни, пожалуйста, больше их стало?

Ольга Петровна (*взглядывая на волосы мужа*). Кажется, немного больше.

Андашевский. Наконец прорек: «Ну, хорошо, говорит, я повидаюсь со стариком, поговорю с ним и посоветую ему; а потом, как он сам хочет!..» — «Без сомнения-с, говорю, как сам пожелает потом...»

Ольга Петровна (*лукаво*). Пусть бы уж только он посоветовал!.. Отец очень хорошо поймет, что это равняется приказанию.

Андашевский. Конечно!

Ольга Петровна. Он, однако, для этого сам хотел приехать к отцу?

Андашевский. Непременно.

Ольга Петровна. Но когда же?

Андашевский. Я не знаю!.. Может быть, даже сегодня.

Ольга Петровна (*с беспокойством*). Мне поэтому сейчас же надо ехать к папа.

Андашевский. Ты думаешь?

Ольга Петровна (*с тем же беспокойством*). Непременно, а то князь приедет к нему, прямо скажет о твоем желании, это ужасно озадачит отца: он взбесится, конечно, и, пожалуй, чтобы повредить тебе, расскажет все про калишинское дело и про Вуланда.

Андашевский (*в свою очередь тоже с беспокойством*). Но чем же ты его от этого остановишь?

Ольга Петровна. Знаю я, чем мне его остановить... У меня многое есть, чем я могу на него действовать... Вели мне поскорее подать карету. Mamselle Эмилия, подайте мне шляпу.

Андашевский (*подходит к дверям и кричит*). Карету подавать для Ольги Петровны!

M-lle Эмилия, хорошенькая немка-горничная, подает Ольге Петровне шляпу и уходит.

Ольга Петровна (*надев торопливо шляпу и подавая руку мужу*). Прощай!

Андашевский (*почти умоляющим голосом*). Возвращайся, бога ради, скорее, не искушай моего терпенья!

Ольга Петровна. Прямо от отца и возвращусь сюда! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ VII

Андашевский *(начиная ходить взад и вперед по комнате)*. Говорят, в России служба очень приятная и спокойная деятельность; но один день такой, как сегодня для меня, пережить чего стоит, а иначе нельзя: не предусмотри и прозевай хоть одну минуту, из-под носу утащат лакомый кусок. Вся задача в том и состоит, чтобы раньше других забежать!.. *(Беспокойство и нетерпение все более и более овладевают им.)* Жена, вероятно, долго еще не возвратится... Просто не знаю, что и делать с собою!.. Опиуму, кажется, с удовольствием бы принял, чтобы заснуть на это время и ничего не чувствовать! *(Беря себя за левый бок.)* Такое биение сердца началось, что аневризм, пожалуй, наживешь!..

Входит лакей.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Андашевский и лакей.

Лакей *(несколько мрачным и таинственным голосом)*. Госпожа Сонина опять пришла к вам и желает вас видеть.

Андашевский. Только еще недоставало этого!.. *(Обращаясь к лакею.)* Я, кажется, сказал тебе один раз навсегда, чтобы ты не только что никогда не принимал ее, но даже не смел бы и докладывать мне об ее посещениях.

Лакей. Да я не хотел было докладывать, но она села на лестнице, на лавочку, и говорит, что будет дожидаться, пока вы пройдете.

Андашевский *(еще с большим бешенством)*. Ну, я тебе от места откажу, если ты ее сейчас же не протуришь!

Лакей. Да мне что!.. Я, пожалуй, протурю! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Андашевский. Какова наглость этой женщины!.. После того, как сделала против меня подлость и чуть было не погубила меня, она ходит еще ко мне! Чего надеется и ожидает?.. Что я испугаюсь ее или разнежусь и возвращу ей любовь мою?.. Глупость в некоторых людях доходит иногда до таких пределов, что понять даже невозможно! *(Звонит.)*

Входит тот же лакей.

ЯВЛЕНИЕ X

Андашевский и лакей, потом Андашевский один.

Андашевский (*нетерпеливо ему*). Что, ты отказал?

Лакей. Отказал-с, ушла!

Андашевский. Как же ты это сделал?

Лакей. Сказал-с, что если она не уйдет, так я за городовым схожу и вместе ее выведем; она заплакала и ушла.

Андашевский. Ну и хорошо!.. Спасибо! (*Смотрит с нетерпением на часы.*) А Ольги Петровны все еще нет! (*Лакею.*) Поди приведи мне извозчика к дому графа.

Лакей уходит.

Поеду к подъезду графа и буду на крыльце его дожидаться жены.

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ V

ЯВЛЕНИЕ I

Служебный кабинет графа Зырова. Огромный стол весь завален бумагами и делами. Граф, по-прежнему в пиджаке, сидит перед столом; лицо его имеет почти грозное выражение. На правой от него стороне стоят в почтительных позах и с грустно наклоненными головами Мямлин и князь Янтарный, а налево генерал-майор Варнуха в замирающем и окаменелом положении и чиновник Шуберский, тоже грустный и задумчивый.

Граф (*строго Варнухе*). Когда именно вы определены?

Генерал-майор Варнуха. Приказом 17 августа, ваше сиятельство.

Граф. Но Алексей Николаич, я думаю, должен был бы предуведомить меня о том и спросить моего согласия прежде, чем я буду иметь честь прямо уже встретиться с вами на службе...

Генерал-майор Варнуха (*плачевным тоном*). Я буду стараться, ваше сиятельство.

Граф. Стараться вы будете!.. Где вы прежде служили?

Генерал-майор Варнуха. Смотрителем Огюньского завода!

Граф. Отчего же там и не продолжать службы?.. На каком основании и на каких данных пришла вам в голову мысль искать настоящего места? Здесь надобно иметь христианские чувства, христианское направление.

Генерал-майор Варнуха. Я христианин, ваше сиятельство.

Граф. То есть почему вы христианин? Что в церковь ходите и творите земные поклоны перед образами... Тут нужно-с быть человеку религиозному в душе, сознательно и просвещенно верующему.

Мямлин *(вытягивая голову и произнося робким голосом)*. Генерал Варнуха, ваше сиятельство, назначен по ходатайству князя Михайлы Семеныча.

Граф. Я не с вами говорю, а потому прошу вас не вмешиваться!

У Мямлина сейчас же при этом задергало лицо. Граф, снова обращаясь к генералу Варнухе.

Я заранее вас предуведомляю, что я каждый день буду заезжать в богадельню, и горе вам, если хоть малейшие упущения встречать буду! Снисхождения никакого не ждите!.. Мало, что от службы уволю, под суд еще отдам, потому что всякий сверчок должен знать свой шесток: нечего было идти туда, куда вы не призваны ни по способностям вашим, ни по чему другому!..

Генерал-майор Варнуха. Семейство, ваше сиятельство, нужда заставляет.

Граф. Семейство не дает же человеку права на всякие места, какие только открываются. Отправляйтесь!

Генерал-майор Варнуха повертывается и уходит на цыпочках.

ЯВЛЕНИЕ II

Граф Зыров, князь Янтарный, Мямлин и Шуберский.

Граф *(взглядывая на Шуберского)*. Вы, если я не ошибаюсь, господин Шуберский?

Шуберский. Точно так, ваше сиятельство!

Граф. Но на каком основании вы в вицмундире? Вы продолжаете еще служить у нас?

Шуберский. Продолжаю, ваше сиятельство.

Граф. Но я Алексею Николаичу, кажется, довольно ясно сказал, чтобы он предложил вам подать в отставку.

Шуберский. Мне передавал это ваше приказание

Дмитрий Дмитрич Мямлин, но я прежде желал доложить вашему сиятельству, что статьи, за которые вам угодно было разгневаться на меня, писаны не мною: я имею удостоверение в том от редакции газеты, где помещены эти статьи. *(Подает графу удостоверение.)*

Граф *(почти не взглядывая на удостоверение)*. И вы думаете, что я этому поверю: господа газетчики и фельетонисты, я не знаю, чего ни способны написать и в чем ни готовы удостоверить.

Шуберский. Может быть, действительно, ваше сиятельство, это и справедливо, но редакция газеты, из которой я имел честь представить вам удостоверение, пользуется именем самой честной, самой добросовестной...

Граф. Все вы одинаковы! Все!.. Правительству давно бы следовало обратить на вас внимание и позажать вам рты!.. Как же вы говорите, что не вы писали статьи, когда вы сами признавались в том Андашевскому?

Шуберский. Первая статья, ваше сиятельство, действительно написана мною; но я в этом случае введен был в обман господином Вуландом.

Граф. На господина Вуланда теперь сваливаете!.. Господин Вуланд заставлял вас писать?

Шуберский. Господин Вуланд-с!.. И я на днях помещу статью, опровергающую мою прежнюю статью!.. В ней откровенно я признаюсь, как и кем был введен в обман.

Граф. Ну, я уверен в одном, что если бы господин Вуланд был жив, так вы бы не напечатали такой статьи.

Шуберский. Напечатал бы, ваше сиятельство.

Граф. Нет-с, не напечатали бы! Во всяком случае, я с фельетонистами служить не желаю.

Шуберский. Но где же, ваше сиятельство, закон, воспрещающий фельетонистам служить?

Граф. Есть закон-с!.. Я могу уволить вас, когда мне угодно и совершенно по своему усмотрению.

Шуберский. Ваше сиятельство, Алексей Николаич совершенно простил меня за мою статью.

Граф *(крича)*. Но я вас не прощаю, понимаете вы это!.. И если вы в 24 часа не подадите в отставку, то я велю вас уволить по 3-му пункту — другого решения вам от меня не будет. *(Слегка кивает головой Шуберскому, который ему тоже слегка кланяется и уходит, бледный и окончательно сконфуженный.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Граф Зыров, князь Янтарный и Мямлин.

Граф (*относясь к князю Янтарному*). Что у вас приготовлено?

Князь Янтарный (*очень модно и свободно подходя к графу и вместе с тем играя брелоками своих часов*). Я, ваше сиятельство, сегодня ничего приготовленного не имею, потому что все это время ревизовал мою экспедицию.

Граф (*с некоторым удивлением взглядывая на него*). Но что же такое, собственно, вы ревизовали? Не мои же распоряжения, надеюсь?

Князь Янтарный. О, конечно, нет!.. Но вообще весь этот ход и порядок дел.

Граф. То есть канцелярский порядок, вы хотите сказать?

Князь Янтарный. Да-с, я это именно и хотел сказать.

Граф. Ну, это вы совершенно напрасно трудились; потому что ваш предшественник так превосходно знал этот порядок, так добросовестно вел его, что вам за прошедшее время можно быть вполне покойному и заботиться о том, чтобы на будущее время порядок этот шел так же исправно, как шел он при Владимире Иваныче.

Князь Янтарный. Я так и ожидал это найти, ваше сиятельство, но, к великому моему удивлению, встретил в экспедиции Владимира Иваныча крайний беспорядок, страшные упущения.

Граф (*смеясь ему прямо в лицо*). Вот что вы встретили!.. А что, если я вам скажу, что вы это говорите неправду!..

Князь Янтарный. Совершеннейшую правду, ваше сиятельство!.. Я уже докладывал об этом и Алексею Николаичу.

Граф. Алексею Николаичу вы можете докладывать, сколько вам угодно, но меня вам не убедить в том; я старый воробей на службе — и цель всех вновь вступающих чернить деятельность своих предшественников очень хорошо понимаю: если дело пойдет хорошо у них, это возвысит их собственный труд; а если оно пойдет дурно, то этим может быть отчасти извинен допущенный ими беспорядок,— прием весьма старый и весьма известный в служебном мире!

Князь Янтарный (*потупляя свои глаза*). Мне очень грустно, ваше сиятельство, что мои слова вы изволили таким образом понять, и это мне некоторым образом показывает, что я не имею счастья пользоваться вашим добрым мнением о себе; но, смею вас заверить, я настоящей моей должности не искал, и мне ее Алексей Николаич сам предложил.

Граф. Алексей Николаич, вероятно, имел для этого какие-нибудь свои основания; но я с своей стороны буду требовать от вас настоящей службы и деятельности неманкирующей и в этом случае не стесняюсь никакими светскими соображениями.

Князь Янтарный. Я, ваше сиятельство, никогда ни на какие светские соображения и не рассчитывал, а привык заявлять себя своей деятельностью, которую Алексей Николаич отчасти уже видел и, как говорил мне, остался ею очень доволен.

Граф (*выходя из себя*). Опять Алексей Николаич! Скажите на милость: пока я сижу еще здесь, на этом стуле, кто ваш начальник — я или Алексей Николаич?

Князь Янтарный. Конечно, вы, ваше сиятельство!

Граф. Однако и вы, и какой-то генерал Варнуха, и господин Мямлин беспрестанно напоминаете мне то об Алексее Николаиче, то о князе Михайле Семеныче, недостает только назвать еще мне madame Бобрину; и я на это один раз навсегда говорю, что я стою уже одной ногой в могиле, а потому ни в каких покровителях не нуждаюсь и никаких врагов и соперников не боюсь!

Князь Янтарный. Я, ваше сиятельство, всегда вас и разумел таким и всегда знал ваше высокое беспристрастие.

Граф. Да-с, прошу вас и на будущее время разуметь меня таким, и если желаете служить со мной, то, во-первых, не играйте вашими брелоками!.. Я люблю дисциплину и нахожу это неприличным при разговоре с начальником...

Князь Янтарный мгновенно же перестает играть брелоками.

А во-вторых, не надейтесь ни на сыны, ни на князи человеческие, и вообще я желаю вам гораздо большего усердия в трудах ваших, чем я встретил это сегодня! (*Круто поворачивается к Мямлину.*) У вас хоть готово ли что-нибудь?

Мямлин. Имею-с доклад!

Князь Янтарный, с надувшимся и оскорбленным лицом, отходит и становится на прежнее место; а Мямлин подходит к графу и развертывает перед ним огромное дело, запинаясь на каждом почти слове и делая из лица гримасы.

Это-с дело крестьян Коловоротинской волости с казною!.. У них во владении были по левую сторону Оки поемные луга!.. Это геологический уж закон, что горная сторона реки всегда направо по течению, а налево низовая сторона-с,— это закон геологический...

Граф молча, но мрачно его слушает. Мямлин, все более и более конфузясь.

А на горной этой стороне, изволите видеть, земли и владения ведомства государственных имуществ... Оно взяло и примежевало себе луга... Крестьяне говорят, что у них десятилетняя давность владения, а им на это возражают, что для казны нет десятилетней давности.

Граф (*с удивлением взглядывая на Мямлина*). Как нет для казны десятилетней давности?

Мямлин (*утвердительно*). Нет-с!

Граф. Перестаньте, что вы говорите! Десятилетняя давность для всего в мире существует!

Мямлин (*снова утвердительно*). Нет, ваше сиятельство, прямая статья есть.

Граф. Нет такой статьи-с!

Мямлин. Есть, ваше сиятельство.

Граф (*показывая на шкаф с книгами*). Вон свод законов,— отыщите!

Мямлин подходит к этому шкафу, вынимает из него сразу несколько томов и начинает дрожащими руками перелистывать их, потеет при этом, краснеет, делает из лица маленькие гримасы и ничего не находит. Граф между тем просматривает докладываемое ему дело и при этом только слегка покачивает головой и грустно усмехается.

Мямлин (*с сильною уже гримасою в лице*). Не могу, ваше сиятельство, найти,— извините!.. Позвольте мне дома приискать!.. В подлинном деле это очень ясно прописано.

Граф (*продолжая грустно улыбаться*). А вы, скажите, читали это подлинное дело все?

Мямлин. Читал, ваше сиятельство!

Граф. Ну, я, признаюсь, гораздо бы лучше для вас желал, чтобы вы вовсе его не читали. В чем же, по-вашему, суть дела тут?

Мямлин. Это тяжба крестьян Коловоротинской волости с казною.

Граф. То есть была тяжба, и она уже решена, и земля возвращена в казну; так?

Мямлин. Точно так, ваше сиятельство!

Граф. Так к чему же вы мне говорите о какой-то геологии, о каких-то статьях закона несуществующих! В чем тут наша обязанность?.. Чего, собственно, от нас требуют?

Мямлин молчит и краснеет в лице.

Требуют, чтобы я дал заключение, что следует ли крестьян подвергать уплате в казну за неправильное владение, и, конечно, мое мнение должно состоять в том, что следует!

Мямлин *(снова оживленным тоном)*. Нет, ваше сиятельство, я не могу с этим согласиться и остаюсь в том убеждении, что если десятилетняя давность существует для частных лиц, то почему же она не должна существовать для казны?.. Это прямое нарушение справедливости!..

Граф *(выходя из себя)*. Господи помилуй, вы помешались, наконец, на этой десятилетней давности?.. К чему она вам?.. Зачем?..

Мямлин *(смущенным уже голосом)*. Затем, что вот-с в этой бумаге прямо сказано, что для казны не должно существовать десятилетней давности *(показывая на одну из бумаг в деле)*.

Граф. А вы дали себе труд подумать, что это за бумага?.. Это-с единоличное мнение министра государственных имуществ, который, когда был возбужден общий вопрос по сему предмету, то полагал с своей стороны, что на те случаи, где нарушены границы генерального межевания, не должно распространяться десятилетней давности, и с ним, однако, никто не согласился... Ведь это, наконец, несносно, Дмитрий Дмитрич: вы мало того, что не вникли нисколько в самое дело, но мне приходится еще спорить с вами, опровергать разные смутные мысли, которые случайно приходят вам в голову!.. На будущее время прикажите уж лучше докладывать мне вашим начальникам отделения, а сами пока посидите при этом и поучитесь!

Мямлин. Но мне это будет очень обидно, ваше сиятельство!

Граф. Но что ж мне делать? Как же быть?.. Мне са-

мому читать за вас все дела и объяснять вам их — я не имею на то ни времени, ни желания.

Входит лакей.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и лакей.

Лакей. Ольга Петровна приехала!

Граф. Что?

Лакей. Ольга Петровна приехала и говорит, что ей очень нужно вас видеть.

Граф *(подумав немного и обращаясь к директорам)*. Дочь, господа, приехала: прошу на время выйти!

Директора уходят.

ЯВЛЕНИЕ V

Граф и лакей, потом граф один.

Граф *(лакею)*. Проси!

Лакей уходит.

Нечего сказать — славный народ!.. А отчего?.. Оттого, что ни один из них службы никогда настоящей не нес! Я, бывало, адъютантом был, к генералу своему идешь с бумагою, дрожишь, что запятой какой-нибудь не забыл ли поставить, потому что у того пена у рта сейчас появится, и он месяц за эго с гауптвахты не спустит, а им что! Он стоит перед тобой да брелоками только поигрывает или несет чепуху вроде этого непропеченного калача московского — Мямлина.

ЯВЛЕНИЕ VI

Граф и Ольга Петровна.

Ольга Петровна *(входя)*. Ты занят, папа?

Граф. Да, пожинал труды твоего супруга за время болезни моей и наслаждался ими.

Ольга Петровна. Что же такое муж мой сделал за время твоей болезни?

Граф. То, что насажал мне таких умников, с которыми я не знаю, как и быть...

Ольга Петровна. Кого же это?

Граф. Во-первых, какого-то генерала Варнуху!

О л ь г а П е т р о в н а. Не какого-то, папа, а рекомендованного князем Михайлой Семенычем!.. Наконец, генерал Варнуха получил такое ничтожное место, что об этом, я полагаю, и говорить не стоит.

Г р а ф. Вместо дельного и трудолюбивого Вуланда выбрал какого-то лентяя восточного, князя Янтарного, и вдобавок еще злейшего врага моего, который бранил меня на всех перекрестках.

О л ь г а П е т р о в н а. Ему затем, папа, и дали это место, чтобы он не кричал против тебя.

Г р а ф. А, так это вы обо мне заботились!.. Какие, подумаешь, у меня добрые и нежные дети!

О л ь г а П е т р о в н а. Ты вот, папа, сердишься и разными пустяками тревожишь себя, а между тем я приехала к тебе по гораздо более серьезному и неприятному делу!

Г р а ф. У вас с супругом, кажется, только те дела и серьезны, когда что до вас касается.

О л ь г а П е т р о в н а. Нет, папа, это и до тебя касается!.. Мужа призывал к себе князь Михайла Семеныч...

Г р а ф (*насмешливо*). С чем его и поздравляю.

О л ь г а П е т р о в н а. И говорил ему, что в правительственных сферах очень неблагоприятно смотрят, что ты и муж, то есть тесть и зять, так близко служите друг к другу.

Г р а ф (*тем же насмешливым тоном*). Я говорил вам это еще прежде, предсказывал; а теперь и кушайте, что сами себе приготовили.

О л ь г а П е т р о в н а. Нельзя же, папа, чувствами владеть и душить их в себе для сохранения выгод по службе!.. Чувство дороже всего для человека!

Г р а ф. А когда дороже, так и наслаждайтесь им и уезжайте куда-нибудь в Аркадию.

О л ь г а П е т р о в н а. Мы бы и уехали, но мужа не пускают из службы.

Г р а ф. Кто ж его может не пустить?

О л ь г а П е т р о в н а. Не то что не пускают прямо, а просят для спасения самого дела; потому что Вуланд умер, новые директора неопытны, ты стар и часто бываешь болен.

Г р а ф. Опять я!.. Но я просил бы вас покорнейше оставить меня в покое: болен ли я, здоров ли, вам решительно до этого нет никакого дела.

Ольга Петровна. Нет, папа, мне есть до этого дело, и большое: твой доктор прямо мне сказал, что если ты так же усиленно будешь заниматься службой, как прежде занимался, так жизнь свою сократишь.

Граф. Какой прозорливый доктор, и как эти слова его должны тебе нравиться.

Ольга Петровна. Ты, папа, кажется, не хочешь понять ни чувства моего, из которого я тебе это говорю, ни того, что я хочу тебе сказать.

Граф. К несчастью, я все очень хорошо понимаю!.. Все!.. Тебе хочется спихнуть меня с моего места и посадить на него твоего мужа — вот что хочется тебе сделать!

Ольга Петровна. Да, папа, я очень желаю, чтобы ты вышел в отставку и чтобы на твое место поступил муж.

Граф (*горько усмехнувшись*). Откровенно сказано!

Ольга Петровна. Совершенно откровенно!.. Другая на моем месте стала бы, может быть, хитрить, скрытничать.

Граф. И знаешь: это гораздо было бы лучше!.. Гораздо!.. Есть такого рода откровенности, которые требуют большой бессовестности, чтобы высказывать их.

Ольга Петровна (*несколько смущенная этими словами*). Только не перед тобой, папа!.. Ты сам добротой своей ко мне приучил меня быть совершенно откровенной с тобою; и хоть тебе, может быть, и неприятно теперь выслушивать меня, но я все-таки хочу высказать еще несколько моих резонов...

Граф делает нетерпеливое движение.

Я объясню все в очень коротких словах: тебе и Алексею Николаичу нельзя вместе служить, это уже решено!.. Тебя, разумеется, если ты сам не пожелаешь того, не тронут: за тобой слишком много заслуг, и ты слишком много уважаем, чтобы тебя захотели огорчить! Поэтому пострадает тут бедный муж мой; ему дадут плохонькое местечко или просто даже велят подать в отставку,— словом, его карьера, так блистательно им начатая, будет подсечена в корень. Мало того, мы будем обречены на бедность, потому что у Алексея Николаича ничего нет...

Граф (*перебивая дочь*). А триста тысяч, которые он взял с Калишинской компании?

Ольга Петровна. Алексей Николаич уже тебе

говорил, куда ушли эти триста тысяч, и если ты вздумаешь этими деньгами сделать какой-нибудь вред мужу, то я буду требовать от тебя пять тысяч душ материнского состояния, из которого тебе следовала только седьмая часть.

Граф (*в ужасе и бешенстве*). Как?.. Седьмая часть?.. Как?.. Разве мать твоя делила когда-нибудь свое состояние со мной?.. Разве оно не принадлежало мне так же, как и ей самой?.. Если я не взял у ней клочка бумаги, называемой духовным завещанием, так потому оно твое?..

Ольга Петровна. Да, потому оно и мое! Адвокаты прямо говорят, что если опекун растратил состояние малолетней, так он должен возвратить его ей, а иначе его посадят в тюрьму.

Граф (*в окончательном бешенстве*). Ольга, молчи!!! Делай там, что знаешь; но не смей мне этого говорить в глаза...

Ольга Петровна. И ты, папа, молчи о трехстах тысячах!.. Если ты хочешь, чтобы я к тебе была нежная и покорная дочь, будь и сам ко мне нежным и печным отцом; служить тебе, я прямо теперь скажу, нет никакой цели. Состояния на службе ты уже не составишь, крестов и чинов получать не можешь, потому что они у тебя все есть...

Граф. Все высчитала! И забыла только одно, что я службе еще могу быть полезен; и пусть твой супруг не думает, что он тут нужней меня: я его нужней, и он пока еще выученик мой и щенок, которого я выдрессировал!..

Ольга Петровна. Муж мой всегда это говорил и говорит, а ты посмотри, папа, что выходит из собственных даже твоих слов: положим, ты оттеснишь мужа и прослужишь еще год, два, три, наконец утомишься и выйдешь в отставку,— тогда на твое место выберут совершенно случайно человека, который тобою созданное дело сломает и уничтожит, а с делом твоим, папа, связано твое имя!.. Ты с ним войдешь в историю, и один только Алексей Николаич способен продолжать его в том направлении, в каком ты ведешь его, потому что, как сам ты говоришь, он человек твоих взглядов и убеждений.

Граф. Ну, твой Алексей Николаич, я думаю, способен отказаться от всякого рода взглядов и убеждений и сломать всякое дело, если это хоть на мизинец будет лично ему полезно!

Ольга Петровна. Гнев, папа, представляет тебе

все в ином виде! Впрочем, каков бы Алексей Николаич человек ни был, но он муж мой, а ты мне, надеюсь, не враг же совершенный! Наконец, если не для нас обоих, то для твоего будущего внука, которого я ношу теперь под сердцем, ты должен желать устроить нашу участь.

Граф *(злобно усмехаясь)*. Даже тому, что ты будешь матерью, как говоришь теперь, я тебе не верю: до того я в вас изверился!

Ольга Петровна. Я могу, папа, на эти оскорбления твои отвечать только слезами!.. *(Начинает плакать.)*

Граф. И не плачь, пожалуйста, при мне!.. Слезам твоим я тоже не поверю и убежден, что они притворные.

Ольга Петровна. Говори, папа, все, что хочешь!

Проходят несколько минут молчания, в продолжение которых Ольга Петровна тихо плачет, а граф сидит, насупившись. Входит лакей.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и лакей.

Лакей. Князь Михайла Семеныч приехал!

Граф *(взмахивая глазами на дочь)*. Это по вашему приглашению, что ли?

Ольга Петровна *(продолжая плакать)*. Нет, папа, я не могла приглашать его.

Граф *(лакею)*. Проси князя наверх.

Лакей уходит.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Граф и Ольга Петровна.

Граф *(дочери)*. Я угадал, что у тебя слезы притворные!.. Ты плакала, чтобы протянуть время и подождать, пока приедет этот гость.

Ольга Петровна. Грех тебе, папа, так безжалостно оскорблять меня.

Граф. Мне же грех, ах, ты, негодяйка этакая! Они мне с супругом делают на каждом шагу козни и мерзости, а я и высказать того не смей — фу, ты, наглецы бесстыжие! *(Порывисто встает и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Ольга Петровна одна; потом Янтарный и Мямлин; позже Шуберский.

Ольга Петровна *(сейчас же утирает слезы и, притворив дверь в соседнюю комнату, говорит директорам).* Войдите сюда, господа!.. Граф ушел наверх!

Входят князь Янтарный и Мямлин. Ольга Петровна, снова заглядывая в двери.

А вы, monsieur Шуберский, что же остались там?

Шуберский тоже входит. Ольга Петровна, обращаясь ко всем им.

Вам, вероятно, граф наговорил всем неприятностей?

Мямлин *(поднимая значительно брови).* Да еще каких-с, надобно знать!

Князь Янтарный *(гордо).* Он себе позволил то мне сказать, что я службу мою брошу, потому что я не привык, чтобы начальники мои, кто бы они ни были, так обращались со мной.

Мямлин *(кротким голосом и разводя руками).* А из меня такого дурака он представил, что я до сих пор опомниться не могу!.. Еще одно такое объяснение, и со мной удар нервный случится!.. *(Начинает делать из лица гримасы.)*

Ольга Петровна. Ужасно, какой старик невыносимый стал! На Алексея Николаича он тоже взбешен до последней степени, и чем кончится эта ссора, я еще не знаю, тем больше, что к папа теперь приехал князь Михайла Семеныч.

Оба директора *(почти с испугом).* Приехал!.. Зачем?..

Ольга Петровна. Не знаю, собственно, зачем; но ожидаю, что отец, под влиянием досады на Алексея Николаича, наскажет на него князю.

Мямлин *(с одушевлением).* А я князю наскажу на самого графа, вот что-с!

Ольга Петровна. И объясните князю, что отец главным образом за то сердится на мужа, что вот он и я тогда очень хлопотали, чтобы вас определили на ваше теперешнее место!

Мямлин. И то скажу-с, доложу ему.

Ольга Петровна *(обращаясь к Янтарному).* За ваше назначение граф тоже бесится на мужа. «Каким об-

разом, говорит, определить ко мне на службу злейшего врага моего, который злословил меня на каждом шагу?»

Князь Янтарный. Я и теперь буду злословить графа, в этом случае, pardon, madame, но граф своим обращением сам вызывает это и делает себе из всех врагов.

Ольга Петровна. Совершенно понимаю это и извиняю вполне! *(Обращаясь к Шуберскому.)* А вас, monsieur Шуберский, зачем, собственно, граф призывал?

Шуберский *(с горькой усмешкой)*. Чтобы велеть подать в отставку.

Ольга Петровна. Это ужасно!.. Вот теперь вы и видите, кто вас преследует: муж или граф.

Шуберский. Теперь, конечно, вижу.

Ольга Петровна. То же самое и в других случаях, и даже это Калишинское дело, как оно происходило,— я не знаю; но знаю только одно, что муж мой тут чист... как ангел, и что если страдает за что, так за свою преданность к лицам, которые повыше его стояли, и вы уж, пожалуйста, заступитесь за него в печати, если его очень опять там злословить будут.

Шуберский. Это будет священной обязанностью для меня, потому что я так в этом отношении виноват пред Алексеем Николаичем, что, конечно, должен употребить все, чтобы загладить перед ним вину свою.

Ольга Петровна. А вы давно занимаетесь литературой? Давно получили призвание к ней?

Шуберский. С детских почти лет.

Ольга Петровна. Как это приятно! Все-таки это творчество, поэзия, а не сухая служебная проза!.. Однако я слышу, граф идет! Уйдите, господа!

Князь Янтарный, Мямлин и Шуберский поспешно уходят.

ЯВЛЕНИЕ X

Ольга Петровна и граф.

Граф *(с прежней злобной усмешкой и низко кланяясь дочери)*. Поздравляю вас: супруг ваш назначается на мое место...

Ольга Петровна *(бросаясь было к отцу на шею)*. Merci, папа!

Граф *(отстраняясь)*. Не благодари!.. Не я вам устро-

ил это, а вы сами!.. И я желал бы только спросить твоего мужа, что неужели в его гадкой и черствой душонке за все, что я сделал для него, не накопилось настолько благодарности ко мне, чтобы не ездить по городу и не сочинять, что будто бы он всегда все делал за меня, и что теперь я сумасшедший даже! Если уж ему так хотелось этого проклятого места моего, так лучше бы он пришел и поклонился мне, я уступил бы ему его и по крайней мере не считал бы его тогда подлецом совершенным.

Ольга Петровна. Мы для тебя же, папа, желали. чтобы ты вышел в отставку и успокоился.

Граф. Ничего вы мне не желали!.. Только пасть свою удовлетворить вы желали, хищники ненасытные!.. Что ты всегда была волчицей честолюбивой, это видел я с детских лет твоих; но его я любил и думал, что он меня любит! На прощанье я могу вам пожелать одного: пусть у тебя родится дочь, похожая душою на тебя, а он отогреет за пазухой у себя такого же змееныша-чиновника, какого я в нем отогрел; тогда вы, может быть, поймете, что я теперь чувствую! *(Быстро поворачивается и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Ольга Петровна одна, потом Андашевский; позже князь Янтарный, Мямлин и Шуберский и, наконец, граф.

Ольга Петровна *(одна и усмехаясь)*. Сердись теперь, пожалуй, сколько хочешь... Дело ж сделано!.. Ехать поскорее к мужу и обрадовать его! *(Идет, но в дверях встречается с Андашевским.)* Ты приехал?

Андашевский. Да!.. Я тут у подъезда дожидался и сейчас встретил князя Михайлу Семеныча: он говорит, что я буду назначен.

Ольга Петровна. Непременно будешь назначен!

Андашевский *(беря себя за голову)*. Господи, что же это такое!.. Я заплачу!

Ольга Петровна. Заплачь!.. Ничего!.. Тебе легче после того будет.

Андашевский начинает утирать выступившие у него на глазах слезы; у Ольги Петровны тоже глаза наполняются слезами.

Андашевский *(с чувством)*. Князь сказал, что старик сам даже желал оставить это место и передать его мне.

Ольга Петровна. Хорошо желал! Ты послушал бы, какими он именами нас обоих тут называл, так что я солгала даже ему, что буду требовать у него материнского состояния. Впрочем, бог с ним... Скажи лучше, кого ты думаешь взять на твое место?

Андашевский *(несколько задумавшись)*. Конечно, князя Янтарного!.. Во-первых, у него связи огромные, а во-вторых, он сам не опасен: не подшибет никогда!

Ольга Петровна. А на место Янтарного кого ты назначишь?

Андашевский. Право, уж не знаю!

Ольга Петровна. Назначь Шуберского: он в печати имеет значение!.. Не мешает и в этой сфере иметь преданного человека.

Андашевский. Мысль недурная!

Ольга Петровна. А теперь позови их скорее и объяви им о твоем назначении: они очень рады будут этому.

Андашевский. Сейчас позову! *(Приотворяя дверь.)* Пожалуйте сюда, господа! *(К вошедшим.)* Граф оставляет службу...

Все в один голос. Кто ж на место его?

Андашевский *(с некоторым трепетом в голосе)*. Я, кажется, назначаюсь!

Мямлин *(благоговейно складывая руки и возводя глаза к небу)*. Господи, благодарю тебя за то!

Князь Янтарный *(грустным тоном)*. Настоящее место ваше поэтому делается вакантным?

Андашевский. Да; если это случится... и в таком случае я буду иметь честь вас пригласить на него, а теперь все-таки позвольте мне, как будущего моего помощника, обнять вас...

Князь Янтарный. О, благодарю вас!

Оба обнимаются и целуются.

Андашевский *(Мямлину)*. А вас, даст бог, в новом году мы полечим от вашей болезни аннинской лентою!

Мямлин. Излечусь этим, совершенно излечусь!

Андашевский *(Шуберскому)*. Вам, господин Шуберский, я тоже бы желал предложить место Георгия Ираклича, когда оно освободится, если только это не повредит вашим литературным занятиям.

Шуберский *(задыхающимся от радости голосом)*. Нисколько-с это не повредит!

М я м л и н. Директор отличный он будет и похваливать нас иногда в газетах станет.

Ш у б е р с к и й. В отношении товарищей я уж, конечно, ничего другого не могу написать.

А н д а ш е в с к и й. Кабинет, таким образом, составлен!

Берется за свою шляпу; тому же примеру следуют и все прочие; А н д а ш е в с к и й начинает даже при этом насвистывать одну из арий; О л ь г а П е т р о в н а весело натягивает свои перчатки; физиономии директоров сияют удовольствием; вдруг в дверях из задних комнат показывается г р а ф З ы р о в.

Г р а ф *(делая довольно повелительный жест рукою)*. Прошу вас, господа, приостановиться на минуту и не расходиться!

Все останавливаются, г р а ф выходит на авансцену; выражение лица его печальное и серьезное. Г р а ф начинает медленно и довольно протяжно говорить.

Я сейчас получил письмо от князя Михайлы Семеныча, которое и имею честь предъявить вам! *(Подносит держимое им в руке письмо к глазам своим и читает его.)* «Любезный граф! Поздравляю вас кавалером ордена брильянтовых знаков и с пожалованием вам аренды в пять тысяч рублей серебром и вместе с тем спешу вас уведомить, что на ваше место назначен тайный советник Яков Васильич Карга-Короваев!»

Занавес падает.

ВААЛ

Драма в четырех действиях.

И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу.
Иеремия, 7, 9.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Бургмейер, Александр Григорьевич, богатый коммерсант.
Клеопатра Сергеевна, жена его.
Мирович, Вячеслав Михайлович, депутат от земства.
Куницын, Петр Федорович, вольнопрактикующий адвокат.
Толоконников, Измаил Константинович, техник-строитель.
Самахан, Авдей Игафраксович, известный врач.
Руфин, Симха Рувимыч, еврей.
Евгения Николаевна Трехголовова, молодая вдова.
Татьяна, кухарка.
Лакеи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Роскошно убранный, огромный мужской кабинет; в нем малахитовый камин с большим зеркалом; на стенах подлинные Ван-Дик и Рубенс.

ЯВЛЕНИЕ I

Клеопатра Сергеевна и Евгения Николаевна; обе красивые молодые женщины. Клеопатра Сергеевна, видимо, собиралась куда то ехать и была уже в шляпке; но, заинтересованная словами своей подруги, приостановилась ненадолго и, смотрясь будто бы в зеркало, слушает ее; а Евгения Николаевна сидит в кресле.

Евгения Николаевна. Как тебе угодно, но в этом ты никого не уверишь.

Клеопатра Сергеевна (*обертываясь к ней*). В чем мне и кого уверять?

Евгения Николаевна. В том, что будто бы ты ничего не видела и не понимала, что Мирович в тебя влюблен до безумия!

Клеопатра Сергеевна *(покраснев несколько в лице)*. Я вовсе этого не говорю!.. Я очень хорошо это видела и понимала; но что ж из того?

Евгения Николаевна. А то, что неужели, по крайней мере, ты жалости не чувствуешь к нему, или, лучше сказать, неужели тебе не совестно против него?

Клеопатра Сергеевна *(с удивлением)*. Почему же мне может быть совестно против него? Я с ним не кокетничала, я его не завлекала.

Евгения Николаевна *(устремляя внимательно на приятельницу свои проницательные глаза)*. Ты не кокетничала?.. Ты?.. Клеопаша!.. Ты можешь все говорить, все, только не это!..

Клеопатра Сергеевна *(несколько сконфуженная этими словами)*. Напротив, кажется, я очень смело могу говорить это.

Евгения Николаевна *(прищуривая уже свои глаза и снова устремляя их на приятельницу)*. А эти прогулки на даче вдвоем?.. А эти игранья в табельку по целым вечерам? Какая страстная картежница вдруг сделалась!.. Это что же такое?

Клеопатра Сергеевна *(еще более конфузясь)*. Вначале я действительно несколько неосторожно себя с ним держала; но мне просто было приятно его общество: он тут умней всех, собой красив, образованный, светский человек!.. Я полагала, что между нами может существовать дружба; но, разумеется, как только заметила, что в нем зарождается совершенно иное чувство ко мне, я спрятала все в своей душе и стала с ним в самые холодные, светские отношения.

Евгения Николаевна *(с ироническою улыбкой и пожимая плечами)*. И зачем ты это делала? Для кого и для чего?

Клеопатра Сергеевна *(снова с удивлением)*. Как для кого и для чего? Неужели ты, Жени, этого не понимаешь?

Евгения Николаевна *(опять пожимая плечами)*. Нет, не понимаю!

Клеопатра Сергеевна. Не понимаешь того, что

я замужняя женщина, что я люблю моего мужа, что муж мой любит меня и что мне, по всему этому, было бы очень глупо, смешно и, наконец, нечестно позволить себе увлечься почти мальчиком, с которым у меня никогда не может быть ничего серьезного!

Евгения Николаевна *(усмехаясь злою улыбкой)*. Во всех этих словах твоих, Клеопаша, что ни слово, то неправда. Ты говоришь: «любишь мужа». Так ли ты выразилась? Ты его уважаешь — это так! И он совершенно достоин того!..

Клеопатра Сергеевна. Но каким же образом ты знаешь мое чувство к мужу: любовь ли это, или одно уважение?

Евгения Николаевна. Таким, что тебе двадцать пять лет, а мужу твоему сорок пять лет; но, при такой разнице в летах, вряд ли женщине естественно питать к мужчине какую-нибудь особенно уж пламенную страсть, и у вас, я думаю, стремления даже совершенно разные: тебе, вероятно, иногда хочется поболтать, понежничать, поминдальничать, а почтеннейший Александр Григорьич, как я его ни уважаю, но совершенно убеждена, что он вовсе не склонен к этому.

Клеопатра Сергеевна. Что ж из того, что он не склонен к тому? Я вовсе его люблю не за это, а за то, что он меня любит!

Евгения Николаевна *(с сильным ударением на первом слове)*. Н-ну, любит!

Клеопатра Сергеевна. Что это за восклицание: «ну»?

Евгения Николаевна. Восклицание, что мне один очень умный и пожилой господин, много живший на свете, говорил, что он не знавал еще ни одного брака, в котором муж оставался бы верен своей жене долее пяти лет; а вы уж, кажется, женаты лет восемь.

Клеопатра Сергеевна *(с некоторым негодованием)*. Нет, твой пожилой господин немножко ошибается: Александр мне верен и до сих пор!

Евгения Николаевна *(пожимая плечами)*. Блажен, кто верует, тепло тому на свете! Господи, как мы иногда, женщины, в этом случае бываем слепы: муж мой, с которым я прожила всего три года, который, как сама ты видела, любил меня до безумия; но при всем том, когда он умер, я имела неудовольствие узнать, что моя хоро-

шенькая горничная была в некоторые минуты предметом его страсти.

Клеопатра Сергеевна. Но что, однако, Жени, ты хочешь всем этим сказать: что муж мой не любит меня и тоже изменяет мне?

Евгения Николаевна. Нисколько я не хочу этим ничего сказать, а так только мы рассуждаем вообще.

Клеопатра Сергеевна. Странные рассуждения! По любви твоей ко мне, я думаю, что если что-нибудь знаешь про мужа, так должна была бы не обиняками, а прямо и откровенно мне все сказать,— вот как бы я поступила в отношении тебя...

Евгения Николаевна. Но что же я могу сказать, когда я сама ничего не знаю?

Клеопатра Сергеевна. Тогда к чему же все эти разговоры, которые все-таки меня тревожат и которые ты вот уже несколько раз начинаешь?

Евгения Николаевна (*порывисто вставая с кресла и с каким-то даже азартом*). Я начинаю, потому что Мирович меня просил об этом!

Клеопатра Сергеевна (*снова с удивлением*). С какой же стати Мировичу было просить тебя? И что за дружба такая между вами вдруг началась?

Евгения Николаевна. Не дружба, но помилуй: я почти каждый день видала его у вас, и не мудрено, что давно уже смеюсь ему насчет этого, а вот это как-то на днях встретила его на даче и выспросила у него все.

Клеопатра Сергеевна (*недовольным и сконфуженным тоном*). И что же он тебе рассказал?

Евгения Николаевна. Рассказал, что он делал тебе признание в любви,— делал ведь?

Клеопатра Сергеевна (*с волнением*). Делал, к сожалению.

Евгения Николаевна. И что ты совершенно его отвергнула.

Клеопатра Сергеевна (*как бы усмехаясь*). Разумеется, конечно! Знаешь, Жени, какая это у тебя отвратительная привычка про всех все выведывать!

Евгения Николаевна. Почему же отвратительная? Напротив, очень приятно это.

Клеопатра Сергеевна. Только уж никак не для тех, про кого ты выведываешь.

Евгения Николаевна. Что же тем-то?

Клеопатра Сергеевна. То, что кому же приятно, чтобы его тайну, какая бы она пустая ни была, знали другие; тайна до тех пор только и тайна, пока ее никто не знает.

Евгения Николаевна. Что ж ты думаешь, я буду рассказывать, что мне говорил Мирович?

Клеопатра Сергеевна. Очень вероятно, что и расскажешь: ни одна женщина в этом случае не поручится за себя, хоть тут и рассказывать особенно нечего.

Евгения Николаевна. Если бы даже и было что, так, будь уверена, все бы во мне умерло. Я никак уж не сплетница! Слыхала ли ты, чтобы я про кого бы то ни было говорила что-нибудь дурное?

Клеопатра Сергеевна. Говорить ты, может быть, не говоришь, но зато сама-то с собою очень много дурного думаешь о других и уж охотница всех и во всем подозревать!.. Отчего вот я нисколько не интересуюсь и никого не расспрашиваю: ухаживает ли кто за тобой или нет?.. Сама ты любишь ли кого?..

Евгения Николаевна *(перебивая ее)*. Ах, пожалуйста, расспрашивайте и узнавайте! Я не рассержусь на это. Я вдова, а потому мне все позволительно. Я расспросила Мировича просто из жалости к нему, потому что последний раз, как я его видела, он был совершенно какой-то потерянный и в отчаянии теперь от мысли, что не рассердилась ли ты на него очень за его объяснение?

Клеопатра Сергеевна. Рассердиться я не рассердилась, а больше была бы довольна, если б он не делал мне его.

Евгения Николаевна. А бывать у вас в доме может ли он после этого?

Клеопатра Сергеевна *(усмехаясь и вместе с тем краснея в лице)*. Конечно, я тоже бы больше желала, чтобы он не бывал у нас; но все-таки не считаю себя вправе запретить ему это.

Евгения Николаевна. Но мужу ты не говорила об этом объяснении?

Клеопатра Сергеевна. Зачем же я мужу стану говорить обо всяком вздоре?.. Только ты, пожалуйста, предуведомь Мировича, что я буду с ним крайне осторожна и совершенно холодна.

Евгения Николаевна. О боже мой! Он ничего

не надеется и ничего не ожидает! Ему бы хоть только молча и издали любоваться на свое жестокое божество!

Клеопатра Сергеевна *(с притворной насмешкой)*. Может, если ему это не скучно, «любоваться издали на свое жестокое божество!..» *(Начиная надевать перчатки.)* Однако прощай!.. Мне пора ехать с визитами. Ты подождешь Александра Григорьича?

Евгения Николаевна. Да, мне нужно спросить его об одном моем деле.

Клеопатра Сергеевна *(идет к дверям, но на полдороге приостанавливается и, грозя пальчиком, говорит подруге)*. А об муже мне, я тебя прошу, не внушай никогда никаких подозрений. Я мнительна и самолюбива!.. Я в отношении его сделаюсь совершенно иною женщиной, если он мне изменит.

Евгения Николаевна. Хорошо, хорошо, не стану.

Клеопатра Сергеевна. Прошу тебя, не делай этого!.. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ II

Евгения Николаевна *(одна)*. «Изменит ей муж!..» Мне, я думаю, лучше других знать, как он тебе верен, хотя я тоже очень хорошо из разных мелочей замечаю, что он со мной сошелся так только, для шутки! Видит: женщина молодая, красивая; сама почти ему объяснилась в любви; отчего же с ней не сблизиться и не заплатить ей маленькую сумму денег за то? Но он тут только ошибается в одном: я вовсе не из таких глупеньких и смирных существ, чтобы любовью моею можно позабавиться и бросить меня потом, когда угодно... Я эту дурочку, супругу его, сведу с Мировичем... Она лжет!.. Она влюблена в него по уши, так что даже боится встречаться с ним, и только мужа притрухивает; но они сойдутся непременно... Бургмейера это, разумеется, взорвет; он сейчас же отстранит ее от себя, а я приду и сяду на ее место,— тогда Александр Григорьич и увидит, как со мной можно сближаться только для шутки! Это, право, какая-то несправедливость судьбы: я с этой Клеопашей росла и училась вместе, всегда была лучше ее собой, умней, ловчее, практичнее, наконец, и вдруг она выходит за богача, за миллионера; а я принуждена была выйти за полусумасшедшего

мальчика, который бог знает что мне насказал о своем состоянии, а когда умер, то оказалось, что я нищая!.. Если уж так мало счастья и удач в жизни, то по крайней мере умишком своим надобно что-нибудь для себя сделать: мужчины хоть и воображают, что они умней нас, проницательней, но уж насчет хитрости, извините: мы во сто раз их похитрее!.. Отчего это, однако, Александр Григорьич так мрачен последнее время?.. *(Взглядывая в окно.)* Вон он идет,— на что это похоже?.. Как будто бы к смерти приговоренный! Сегодня же я его расспрошу.

ЯВЛЕНИЕ III

Входит Александр Григорьевич Бургмейер, уже с проседью мужчина, со взглядом несколько суровым, но вместе с тем и со смущенным. На худощавых пальцах его виднеются два — три драгоценных кольца, на часовой цепочке и ключике тоже заметны драгоценные камни. Во всем костюме его чувствуется лондонский покрой.

Бургмейер *(протягивая руку Евгении Николаевне)*. Здравствуйте, друг мой!.. Клеопатры Сергеевны, вероятно, дома нет?

Евгения Николаевна. Нет, она уехала с визитами и просила меня без нее уж подождать вас!

Бургмейер *(ставя в сторону свою шляпу и палку)*. Не ревнива же она, видно!

Евгения Николаевна. О, нисколько! Она ничего даже не подозревает.

Оба садятся. Бургмейер сейчас же задумывается.

Евгения Николаевна *(устремляя на него внимательный взор и каким-то ласковым и заползающим в душу голосом)*. Я, собственно, приехала к вам и дожидалась вас, чтобы передать вам мою радость, которую я переживала за вас во вчерашнем собрании ваших акционеров: это невероятно, какой восторг во всей публике был к вам!

Бургмейер *(на минуту улыбнувшись)*. Да, криков много было!

Евгения Николаевна *(тем же вкрадчивым голосом)*. Это больше даже, чем крики... Вон в театре кричат иногда и беснуются какой-нибудь певице или актеру; но тут были слезы благодарности к вам, молитвы за вас. Около меня один старичок сидел: он небогатый, должно быть, и если получит, по вашему обещанию, на свой капи-

талец тридцать процентов, так будет иметь возможность безбедно существовать с двумя внучатами своими. Он все время шептал: «Господин Бургмейер пенсию мне дает!.. Пенсию!» Вы сами тоже очень интересны были... Когда вы кончили читать отчет и вам все захлопали, вы встали этак, оперлись слегка на стол рукою и бледный этакий, взволнованный были!.. Вот именно как, бывши еще молоденькою девушкою, воображала себе всегда великих людей в минуты их торжества: когда какого-нибудь победителя встречает народ или оратору аплодируют после его речи, они всегда должны быть бледные немножко, взволнованные...

Бургмейер, весьма невнимательно прослушавший все эти слова и, видимо, под влиянием какой-то внутренней муки, встал, вышел на авансцену и отвернулся даже от Евгении Николаевны, которая, в свою очередь, посмотрела на него сначала с некоторым удивлением, а потом сама тоже встала и, как кошка, подойдя к Бургмейеру, положила ему обе руки на плечо.

Евгения Николаевна. Положим, вы вчера могли быть грустны и взволнованы, но зачем же эта печаль продолжается и сегодня?

Бургмейер (*оборачиваясь к ней и стараясь ей приветливо улыбнуться*). Да так уж!.. Не веселит что-то ничто!

Евгения Николаевна. Но, друг мой, что же может быть за причина тому? Вот уж несколько месяцев, как вы на себя непохожи! Отчего и чему вы можете печалиться? Вы миллионер!.. У вас прекрасная жена, которая вас любит и которую вы любите тоже; наконец, Александр, у тебя, как сам ты видишь, хорошенькая любовница, которая от тебя ничего не требует и просит только позволить ей любить тебя и быть с ней хоть немножко, немножко откровенным.

Бургмейер (*как бы вспрянув*). Да, Жени, я и сам хочу тебе открыться. Я думал было Клеопатре Сергеевне рассказать, но зачем же еще ее рановременно тревожить? Притвори все двери и посмотри, чтобы кто не подслушал в соседних комнатах.

Евгения Николаевна (*заглянув во все двери, притворив их и возвратившись к Бургмейеру*). Там нет ни одной души человеческой.

Бургмейер (*беря ее за руку и во весь свой монолог легонько, но нервно ударяя своею рукой по ее руке*). Вот видишь, ты мне сейчас сказала: «Вы миллионер!.. Вы

благодетель общества!.. Имя ваше благословляют!.. За вас молятся старцы и дети!..» Ну, так знай, Жени, что я не миллионер, а нищий и разоритель всего этого благословляющего меня общества!

Евгения Николаевна. Александр Григорьич, возможно ли это после того, чему вчера я сама была свидетельницей? Не пугает ли вас в этом случае ваше болезненным образом настроенное воображение?

Бургмейер (*слегка, но грустно улыбаясь*). Ха-ха-ха!.. Воображение! К несчастью-с, не в воображении моем это только происходит, а в действительности существует; впрочем, прежде всего надо дело сделать!.. (*Подходит к своему письменному столу и, вынув из него довольно толстый пакет, подает его Евгении Николаевне.*) Тут вот ваш маленький капитал, который вы мне доверили и который я нахожу теперь нужным, для пользы вашей, извлечь из моих дел; кроме того, прибавлена некоторая сумма от меня,— это вам на память обо мне за вашу дружбу.

Евгения Николаевна (*испуганным голосом*). Александр, ты, значит, совсем меня удалить от себя хочешь?

Бургмейер. Нет, Жени, нет!.. Пожалуйста, этого не думай: но мало ли что̀ может случиться! Может быть, мне понадобится уехать вдруг за границу; наконец, я умереть могу неожиданно: в животе и смерти каждого человека бог волен.

Евгения Николаевна. Александр! Мне страшно уж начинает становиться от твоих слов... Как ты ни мало меня любишь, если даже совсем меня не уважаешь и не ценишь, но я тебя люблю, спокойствие твое дороже мне собственного!.. Я со слезами тебя прошу быть со мной откровенным!.. (*На глазах ее в самом деле показываются слезы.*)

Бургмейер. Сейчас, Жени, сейчас. Я все тебе расскажу откровенно... (*Видимо, делает над собой усилие, чтобы начать рассказывать.*) Последний подряд мой, что и ты, конечно, знаешь, есть одно из самых крупных моих предприятий: в нем заинтригованы состояния всех виденных тобою вчера акционеров и бо̀льшая часть моего состояния. Через несколько дней будет прием этому подряду, но он далеко не исправно и совершенно нечестно даже сделан.

Евгения Николаевна. Александр Григорьич,

я просто не верю словам вашим!.. Станете ли вы так делать!..

Бургмейер. Я и не делал прежде так, когда богат был, а теперь я нищий стал!..

Евгения Николаевна. Но куда же ваше состояние могло деваться?

Бургмейер. Все состояние мое, все почти деньги, которые следовали на этот подряд, у меня улетучились в прошлогодней игре моей на бирже, и весь этот подряд мой произведен на фу-фу, под замазку и краску, и то даже в долг!

Евгения Николаевна (*сильно пораженная*). Господи боже мой! Но зачем же вы это, Александр, играли на бирже?

Бургмейер. Зачем? Затем, что на землю ниспослан новый дьявол-соблазнитель! У человека тысячи, а он хочет сотни тысяч. У него сотни тысяч, а ему давай миллионы, десятки миллионов! Они тут, кажется, недалеко... перед глазами у него. Стоит только руку протянуть за ними, и нас в мире много таких прокаженных, в которых сидит этот дьявол и заставляет нас губить себя, семьи наши и миллионы других слепцов, вверивших нам свое состояние.

Евгения Николаевна. Но неужели же вам теперь никак и ничем нельзя поправить ваших дел?

Бургмейер. Совершенно возможно! Ничего не стоит!.. Через год же я мог бы сделаться вдвое богаче, чем был прежде... На днях вот мне должна быть выдана концессия, на которой я сразу мог бы нажить миллион, не говоря уже о том, что если я удержу мои павшие бумаги у себя, то они с течением времени должны непременно подняться до номинальной цены; таким образом весь мой проигрыш биржевой обратится в нуль, если еще не принесет мне барыша!.. Но дело все в том, что концессию эту утвердят за мной тогда только, когда не поколеблется мой кредит; а он останется твердым в таком лишь случае, если у меня примут последний подряд мой, но его-то именно и не принимают.

Евгения Николаевна. Но, друг мой, говорят, всегда можно подкупить принимающих лиц... Тут нужны только деньги, и вот возьмите для этого все эти мои деньги; кроме того, я попрошу у приятельниц моих денег для вас.

Бургмейер. Дело не в деньгах... Денег есть настолько, но в комиссии сидит человек, которого не купишь...

Евгения Николаевна. Кто это такой?

Бургмейер. Мирович, мальчишка, от земства приставленный!

Евгения Николаевна (*переспрашивая и как бы не веря ушам своим*). Мирович?

Бургмейер. Да.

Евгения Николаевна (*начинает уже хохотать*). Ха-ха-ха! Душенька, ангел мой, Александр Григорьич, вы каким-то ребенком мне теперь представляетесь! Неужели вы боитесь Мировича, одного только Мировича?

Бургмейер. Не его я боюсь, а протеста его и заявления. Пойми ты, что выйдет: это сейчас, разумеется, разгласится; акции нашего последнего дела шлепнутся с рубля на полтину. В правительственных сферах это увидят; концессии мне поэтому не выдадут, и я сразу подорван буду во всех делах моих.

Евгения Николаевна. Но Мирович не подаст, я думаю, никакого протеста.

Бургмейер. Однако ж он его подал. Это факт уже совершившийся.

Евгения Николаевна. Подал, потому что на него надобно было употребить некоторое особое влияние... Неужели же, Александр Григорьич, вы не замечали, что Мирович без ума влюблен в вашу жену?

Бургмейер (*весь вспыхивая при этом, нахмуриваясь и отворачиваясь от Евгении Николаевны*). Это я видел отчасти; но какая же польза может проистечь от того?

Евгения Николаевна. А такая, что Клеопаша в этом случае может быть отличною ходатайницей. Он, конечно, не в состоянии ни в чем будет отказать ей.

Бургмейер. Но почему же он не в состоянии ей отказать? Между ними, надеюсь, существует только то, что Мирович влюблен в жену мою, но никак не больше!

Евгения Николаевна. Между ними существует... Только вы, пожалуйста, не выдайте меня, я вам говорю это по секрету... Существует то, что Мирович объяснился вашей жене в любви; она его совершенно отвергла, но это еще лучше, потому что, если теперь она хоть сколько-нибудь польстит его исканиям, так он, я не знаю, на что не готов будет решиться.

Бургмейер (*продолжая оставаться нахмуренным и с явным раздражением в голосе*). Все это прекрасно-с! Но как же все это осуществить?

Евгения Николаевна (*как бы не поняв его*). Что такое тут осуществлять?

Бургмейер (*рассмеявшись уже какою-то злою усмешкой*). Ну да сказать жене и просить, что ли, ее, чтоб она известным образом действовала?.. Вы на себя, надеюсь, не возьмете этого сделать?

Евгения Николаевна. Ах, друг мой, нет никакого сомнения, что я сейчас же была бы готова, но я наперед уверена, что не успею ничего тут сделать. По-моему, вам лучше всего самому переговорить об этом с Клеопашей, потому что, как она ни хитрит со мною, но я хорошо вижу, что она не совсем равнодушна к Мировичу, и если теперь осторожно держит себя с ним, так это просто из страха к вам: она боится, что вас очень этим огорчит и рассердит!.. Но когда вы ей намекнете этак легонько, то она, конечно, сейчас же поймет, что это не будет для вас таким уж страшным ударом.

Бургмейер (*с судорожным смехом*). Как уж не понять тогда! Главное, я-то при этом являюсь очень красив пред ней в нравственном отношении!

Евгения Николаевна. Что же вы-то тут? Я, конечно, не знаю; но судя по себе, то хоть я и не жена ваша, однако, чтобы помочь вам... будь в меня влюблен Мирович, я, не задумавшись, постаралась бы свертеть ему голову, закружить его окончательно...

Бургмейер (*перебивая ее*). То вы, а то жена моя.

Евгения Николаевна. Какая же разница?.. Неужели вы хотите этим сказать, что для меня все возможно, а жене вашей наоборот?

Бургмейер. О, подите, господь с вами!.. (*Взглядывая в окно.*) Карета жены, кажется, въехала во двор.

Евгения Николаевна (*тоже взмахивая глазами в это окно*). Да, это Клеопаша... Она, конечно, прямо пройдет к вам. Мне оставаться или лучше уехать?

Бургмейер. Уезжайте лучше.

Евгения Николаевна (*сбираясь уходить, говорит Бургмейеру скороговоркой*). Если вы только, друг мой, вздумаете вдруг уехать за границу, то Клеопаша, вероятно, не поедет с вами; но меня вы возьмите, я рабой, служанкой, но желаю быть при вас. Денег моих я то-

же не возьму!.. *(Кладет деньги на стол.)* Они больше, чем когда-либо, должны теперь оставаться у вас!.. *(Уходит в одну из дверей.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Бургмейер *(прикладывая руку к одному из виско*з *своих)*. Какой демон внушил Евгении подсказать мне эту мысль, которая и без того смутно меня мучит несколько дней!.. И я сам... не насмешка ли это судьбы!.. Я сам должен идти к жене моей, этой чистой и невинной пока голубке, и сказать ей: «Поди, соблазняй и обманывай своими ласками и кокетством постороннего тебе мужчину, чтобы только он не вредил делам моим...» А что же другое мне осталось делать? Смело идти на разорение с тем, чтоб опять потом начать трудиться; но на каком поприще я могу трудиться? Я умею только торговать; для этого же надобно иметь или кредит, или деньги, а я того и другого лишусь. Значит, впереди у меня полнейшая, совершенная нищета; но это чудовище терзает нынче людей пострашней, чем в прежние времена: прежде обыкновенно найдется какой-нибудь добрый родственник, или верный старый друг, или благодетельный вельможа, который даст угол, кусок хлеба и старенькое пальтишко бывшему миллионеру; а теперь к очагу, в кухню свою, никто не пустит даже погреться, и я вместе с бедною женою моею должен буду умереть где-нибудь на тротуаре с холоду, с голоду!.. Я для спасения ее же самой принужден решиться на все...

ЯВЛЕНИЕ V

Входит Клеопатра Сергеевна; Бургмейер употребляет все усилия над собой, чтобы казаться спокойным.

Клеопатра Сергеевна. Ты один?.. Жени поэтому уехала!

Бургмейер. Уехала.

Клеопатра Сергеевна *(подходя к мужу)*. Отчего ты мне не рассказал, какие вчера овации получил!.. Жени мне говорила, что тебя аплодисментами встретили и аплодисментами проводили. Мне очень жаль, что ты не взял меня с собою. Я очень бы желала видеть твое торжество.

Бургмейер. Не приучай себя, Клеопаша, к моим

торжествам. Может быть, тебе скоро придется видеть и позор мой.

Клеопатра Сергеевна *(рассмеявшись даже)*. Позор твой?.. Но отчего же и где же?

Бургмейер. Оттого, что я на днях, вероятно, должен буду объявить себя банкротом.

Клеопатра Сергеевна *(уже с беспокойством)*. Но каким образом и на чем ты мог обанкротиться?

Бургмейер. На последнем подряде моем, который у меня не принимают, а если не примут его, так и не дадут мне другого дела, от которого я ожидал нажить большие деньги и ими пополнить все мои теперешние недочеты...

Клеопатра Сергеевна *(все с более и более возрастающим беспокойством)*. Кто ж это?.. Комиссия, значит, не принимает у тебя подряд?

Бургмейер. Не комиссия вся... Напротив, все почти члены принимают, за исключением одного только Мировича.

Клеопатра Сергеевна *(побледнев при этом имени)*. Почему ж он не принимает его?

Бургмейер. Говорит, что подряд дурно выполнен.

Клеопатра Сергеевна. Но в чем именно? Он и судить, я думаю, не может.

Бургмейер. Многое там нашел.

Клеопатра Сергеевна *(усмехнувшись, как бы больше сама с собой)*. Странно!.. *(После некоторого размышления обращаясь к мужу.)* Послушай, я, конечно, не хотела тебе и говорить об этом, потому что считала это пустяками; но теперь, я полагаю, должна тебе сказать: Мирович неравнодушен ко мне и даже намекал мне на это... Я, конечно, сейчас же умерила его пыл и прочла ему приличное наставление; но неужели же этот неприем — месть с его стороны?.. Я всегда считала его за человека в высшей степени честного.

Бургмейер. Вовсе не месть. Подряд, действительно, отвратительнейшим и безобразнейшим образом выполнен... Деньги, которые на него следовали, я все потерял в прошлогодней биржевой горячке.

Клеопатра Сергеевна. Это ужасно!.. Вот уж никак не ожидала того!.. Точно с неба свалилось несчастье.

Бургмейер. Ужаснее всего тут то, что, прими они от меня этот подряд и утвердись за мною новое дело мое,

я бы все барыши от него употребил на исправление теперешнего подряда, хоть бы он и был даже принят!.. Ты знаешь, как я привык мои дела делать!

Клеопатра Сергеевна. Еще бы! Но ты объясни все это Мировичу. Он, я все-таки убеждена, человек добрый и умный.

Бургмейер. Что ему объяснять? Разве он поверит мне!.. Он прямо на это скажет: «Всякий подрядчик готов с божбою заверять, что он исправит свой подряд после того, как у него примут его, а потом и надует». Он, кажется, всех нас, предпринимателей, считает за одинаковых плутов-торгашей.

Клеопатра Сергеевна. Как это глупо с его стороны, я нахожу...

Бургмейер. Глупо ли, умно ли, но он так думает... *(Усмехаясь.)* Вот если бы ты, что ли, съездила к нему и поумилостивила его. Кто ж может в чем отказать рыдающей младости и красоте?

Клеопатра Сергеевна *(заметно удивленная этим предложением мужа)*. Мне к нему съездить, ты говоришь?

Бургмейер *(опять с усмешкой)*. Да.

Клеопатра Сергеевна *(нахмуривая свой лоб и подумав немного)*. Нет, Александр, я не в состоянии этого сделать... Я оттолкнула от себя Мировича, и после того ехать к нему... унижаться... просить его,— это будет слишком тяжело для моего самолюбия. Я решительно от этого отказываюсь. Кроме того, я думаю, и пользы это никакой не принесет, потому что он, вероятно, затаил в отношении меня неприязненное чувство.

Бургмейер *(как бы совсем уже рассмеявшись)*. Ну, тогда полюбезничай, пококетничай с ним!

Клеопатра Сергеевна *(снова с удивлением)*. То есть как же это так я стану любезничать с ним?

Бургмейер *(все еще как бы шутя)*. Как обыкновенно женщины любезничают...

Клеопатра Сергеевна *(с вспыхнувшим лицом)*. Так ты поэтому желаешь, чтоб я не просто попросила Мировича, а чтоб даже пококетничала с ним?

Бургмейер на это ничего не отвечает и даже не смотрит на жену.

(Продолжает с более и более разгорающимся лицом.) А если я, Александр, сама в этой игре увлекусь Мировичем?

Бургмейер (*уже с гримасою в лице*). Что ж!..

Клеопатра Сергеевна. И если я... я скажу уж тебе прямо: я сама немножко неравнодушна к Мировичу и только не давала этому чувству развиться в себе,— ведь это, Александр, прикладывать огонь к пороху!

Бургмейер (*с судорогою во всем лице*). Очень понимаю, но что ж делать, если ничего другого не осталось!

Клеопатра Сергеевна (*с настойчивостью*). Так, стало быть, для тебя ничего не будет значить, если между нами что и произойдет?

Бургмейер (*опять как бы рассмеявшись*). Что ж особенно важного тут может произойти!

Клеопатра Сергеевна (*отступая даже несколько шагов от мужа*). Да, по-твоему, это и не особенно важно!.. (*Берет себя за голову.*) Господи!.. (*К мужу.*) Постой!.. Дай мне опомниться и сообразить все, что я от тебя слышала!.. (*Опускается на кресло; глаза ее принимают мрачное выражение.*) Ты, значит, желаешь и очень будешь доволен, если я, жена твоя, для того, чтоб убедить там в чем-то Мировича, сделаюсь даже его любовницей. Это ты, кажется, хотел сказать и к этому вел весь разговор твой?.. (*Со смехом, но сквозь слезы.*) А я-то, глупая, думала, что ты меня так любишь, что не перенесешь даже измены моей...

Бургмейер (*пораженный и испуганный словами жены*). Но почему же непременно любовницей? Каким образом ты вывела это из слов моих?

Клеопатра Сергеевна (*вставая с кресла*). А чем же, ты думаешь? Неужели ты полагаешь, что за то, что у меня хорошенькие глазки и губки, так всякий мужчина для меня все и сделает? И зачем, наконец, я стану останавливать себя?.. Чтобы ты смеялся над моею верностью с своими возлюбленными, которые, справедливо, видно, мне говорили, у тебя уже существуют!.. Нет-с!.. Довольно мне душить себя... Знайте, что я сама люблю Мировича, и теперь приказывайте мне, что я должна делать: ехать к Мировичу, что ли? Теперь, сейчас же?.. Заставить его подписать бумагу?

Бургмейер (*совсем уничтоженный*). Успокойся, Клеопаша, я только пошутил это... Я не ожидал, что ты так примешь слова мои.

Клеопатра Сергеевна. Как же ты ожидал, что я приму их?.. Я денно и нощно молила бога, чтобы он по-

мог мне совладеть с моей страстью, но ты сам меня кидаешь в эту пропасть, так и пеняй на себя!.. Я с удовольствием, даже с восторгом поеду к Мировичу, но только я уж и останусь там, не возвращусь к тебе больше.

Бургмейер *(с мольбой в голосе)*. Клеопаша, прости меня! Не делай ничего. Не езди никуда. Пусть я погибну. Извини мне минуту человеческой слабости.

Клеопатра Сергеевна. Поздно уж теперь! Достаточно, что ты мне раз это сказал. Я все теперь прочла, что таилось у тебя на душе в отношении меня. Теперь я не жена больше ваша, а раба и служанка, которая пока остается в вашем доме затем, чтобы получить приказание, что́ она должна делать, чтобы расплатиться с вами за тот кусок хлеба, который вы ей давали, и за те тряпки, в которые вы ее одевали. Буду ожидать ваших приказаний!.. *(Идет в свою комнату.)*

Бургмейер *(следуя за ней)*. Клеопаша, умоляю тебя!.. Забудь, что я сказал! Это дьявол двинул моими устами... Я никогда ничего подобного не думал... Потеря тебя будет для меня дороже всего.

Клеопатра Сергеевна *(обертываясь к нему и с глазами, пылающими гневом)*. Неправда-с!.. Не верю!.. Я поняла теперь вас насквозь: вы действительно, как разумеет вас Мирович, торгаш в душе... У вас все товар, даже я! *(Захлопывает за собою дверь и даже запирает ее.)*

Бургмейер *(в полном отчаянии)*. Боже, это выше сил моих!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Небольшая гостиная в квартире Мировича. Тут же стоит и его письменный стол со множеством бумаг и книг.

ЯВЛЕНИЕ I

Мирович, молодой человек с львиной почти гривой густых волос, с небольшою красивою бородкой, с лицом умным и имеющим даже какой-то поэтический оттенок. Одет он в серенький, домашний, с красною оторочкой пиджак и в широкие клетчатые шальвары. Куницын, приятель его, тоже молодой, очень рослый и смазливый мужчина, представляет собой отъявленного франта, хоть и не совсем хорошего тона, так что визитка на нем как-то слишком коротка, брюки крайне узки, сапоги на чересчур толстых подошвах, борода подстрижена, усы нафабрены и закручены несколько вверх.

Мирович *(заметно горячась)*. Тут, я тебе говорю, такие мошенничества происходят, что вообразить невозможно, и мошенничества, самым спокойным образом совершаемые: четыре месяца я знаком с господином Бургмейером и его семейством; каждый день почти бывал в его доме, и он обыкновенно весьма часто и совершенно спокойно мне говорил, что вот я буду принимать его подряд, что, вероятно, найдутся некоторые упущения; но что он сейчас же все поправит, так что я был совершенно спокоен и ни минуты не помышлял, что мне придется встретить тут столько подлости, гадости и неприятностей.

Куницын *(каким-то удалым тоном)*. Почему ж неприятностей?.. Ничего, сдери ты с этого Бургмейера денег побольше — вот и все!

Мирович. Прах его возьми с его деньгами,— очень они мне нужны! Но милей всего то с их стороны, что, кажется, они, наверное, рассчитывали поддеть меня на глупейшую шутку. В самый день осмотра господин Бургмейер вдруг заезжает за мной в коляске, вместе с ним и техник его,— это какой-то флюгер, фертик, но господин, как видно, наглости неописанной!.. Поехали мы все вместе, и, разумеется, в первом же здании оказывается, что одну половину нельзя показывать, потому что она почему-то заперта; в другом месте зачем-то завешены окна; тут завтрак подошел, после которого дождик сильный полил, и неудобно стало наружные стены осматривать; а там, при каждой остановке, шампанское, коньяк! Словом, пролетели с быстротою пушечного выстрела, и вдруг меня спрашивают: «Как я нашел?» Я говорю: никак, потому что ничего не видал! «Да как, помилуйте, мы думали... У нас и протокол осмотра уж готов. Ваши товарищи подписали его даже!» И действительно, показывают мне протокол, всеми этими господами подписанный.

Куницын. Так... так... Они все давным-давно куплены, и про тебя даже говорили, что вашу милость тут обработали посредством бабенки: ты, сказывают, влюблен в эту мадам Бургмейершу,— персона она изящная!

Мирович *(заметно сконфуженный этими словами)*. Если бы даже я и влюблен был в нее, так это ни к чему бы не послужило.

Куницын. Послужило бы к тому, что ломаться долго не стала, атанде-то бы не много раз сказала.

Мирович. Ври больше! У тебя на все один взгляд, тогда как мадам Бургмейер такое святое, честное и нравственное существо, что какие бы между нами отношения ни были, но уж, конечно, она никогда бы ни на какой черный поступок не стала склонять меня.

Куницын. Ну да, как же! «Честное, святое существо!» Как где, брат, сотни-то тысяч затрещат, так всякая из них, как карась на горячей сковороде, завертится и на какую хочешь штуку пойдет.

Мирович. Ну, поумерь, пожалуйста, несколько цинизм твой.

Куницын. Что мой цинизм!.. Я, брат, говорю правду... Как же ты, однако, поступил потом?

Мирович. Поступил так, что на другой день поехал уж со своим техником, осмотрел все подробно, и вот тебе результат этого осмотра... *(Подает Куницыну кругом исписанный лист.)*

Куницын *(просматривая этот лист)*. Ах, мои миленькие, душеньки!.. Сорок семь статей против контракта не выполнили!

Мирович. Ровно сорок семь статей.

Куницын. Тут уж, значит, никакая мадам Бургмейерша ничем не поможет!

Мирович. Полагаю.

Куницын. Хорошенько ты их, братец, хорошенько! Я сам тебе про себя скажу: я ненавижу этих миллионеров!.. Просто, то есть, на улице встречать не могу, так бы взял кинжал да в пузо ему и вонзил; потому завидно и досадно!.. Ты, черт возьми, год-то годенской бегаешь, бегаешь, высуня язык, и все ничего, а он только ручкой поведет, контрактик какой-нибудь подпишет,— смотришь, ему сотни тысяч в карман валятся!..

Мирович. Почему же ты-то так уж жалуешься? И твое адвокатское ремесло очень выгодное.

Куницын. Э, вздор, пустяки! Гроши какие-то, если сравнить его, например, с железнодорожным делом; там уж, брат, именно: если бы, кажется, меня только лизнуть пустили этой благодати, так у меня бы сто тысяч на языке прильнуло, а у нас что?.. Да и не по характеру мне как-то это!.. Все ведь, брат, это брехачи: «Господа судьи, господа присяжные, внемлите голосу вашей совести!» А сам в это

время думает: приведет ли мне господь содрать с моего клиента побольше да повернее; а те тоже — шельма-народец: как ему выиграл процесс, так он, словно из лука стрела, от тебя стрекнет; другого с собаками потом не отыщешь. Пустое дело! И я уж, брат, теперь другую аферу задумал. Видишь на мне платье,— хорошо?

Мирович. Отличное.

Куницын. На полторы тысячи целковых сделал себе всякой этой дряни и каждый день то в маскараде, то в собрании танцую. На богатой купеческой дочке хочу жениться, а это не вывезет, к какой-нибудь мужелюбивой толстухе в утешители пойду.

Мирович. Что это за страсть у тебя, Куницын, разные мерзости на себя взводить, которые ты никогда, я убежден, и сделать не способен!

Куницын. Отчего не способен?.. Непременно сделаю. Нынче, брат, только тем людям и житье, которые любят лазить в чужие карманы и не пускать никого в свой... Тут, смотришь, мошенник, там плут, в третьем месте канальи, а живя посреди роз, невольно примешь их аромат. Женитьбы я себе не вытанцую, заберусь куда-нибудь казначеем в банк, стибрю миллион и удеру в Америку,— ищи меня там!

Мирович. Но что такое ты за благополучие особенное видишь в деньгах?.. Нельзя же на деньги купить всего.

Куницын *(подбочениваясь обеими руками и становясь пред приятелем фертом)*. Чего нельзя купить на деньги?.. Чего?.. В наш век пара, железных дорог и электричества там, что ли, черт его знает!

Мирович. Да хоть бы любви женщины — настоящей, искренней! Таланту себе художественного!.. Славы честной!

Куницын. Любви-то нельзя купить?.. О-хо-хо-хо, мой милый!.. Еще какую куплю-то!.. Прелесть что такое!.. Пламенеть, гореть... обожать меня будет!.. А слава-то, брат, тоже нынче вся от героев к купцам перешла... Вот на днях этому самому Бургмейеру в акционерном собрании так хлопали, что почище короля всякого; насчет же талантов... это на фортепьянчиках, что ли, наподобие твое, играть или вон, как наш общий товарищ, дурак Муромцев, стишки кропать, так мне этого даром не надо!..

ЯВЛЕНИЕ II

Входит лакей и подает Мировичу три визитные карточки.

Мирович (*просматривая их*). Что это такое? Симха Рувимыч Руфин, московский купец первой гильдии.

Куницын (*подхватывая*). Зид, должно быть. Я-зи, ва-зи!

Мирович (*продолжая*). Измаил Константинович Толоконников, техник-строитель.

Куницын (*опять подхватывая*). Знаю!.. Бит даже был по роже за свои плутни и все-таки к оным стремится.

Мирович (*кидая карточки на стол*). И monsieur Бургмейер, наконец!

Куницын (*с каким-то почти восторгом*). Прибыл, значит, здравствуйте! Легок, выходит, на помине!

Мирович (*с досадой*). Пять раз он уже сам ко мне приезжал; а теперь с компанией даже какой-то прибыл. Чего они хотят от меня, желательно знать?

Куницын. Надо, видно!.. (*Берясь за шляпу.*) Я вот уйду, а ты их прими и пробери ты каждого из них, канальев, так, чтоб его, как на пруте, забило! Главное, жиденка-то этого, Симху Рувимыча,— шельма, должно быть, первостатейная! А самого monsieur Бургмейера, знаешь, если он даст тебе тысчонок пятьдесят — шестьдесят, так черт с ним: прости его!

Мирович (*с досадой*). Отвяжись ты с своими тысчонками!

Куницын. Нет, брат, тысчонки — отличнейшая вещь!.. (*Уходит, напевая куплет собственного сочинения: «Когда б я был аркадским принцем, тысчонки брал бы я со всех!»*)

Лакей (*все ожидавший приказания Мировича с видимым нетерпением*). Можно этим господам войти-с?

Мирович. А тебе что такое тут за беспокойство?

Лакей (*недовольным голосом*). Мне что-с? Они не ко мне приехали, а к вам... (*Поворачивается и хочет уходить.*)

Мирович (*крича ему вслед*). Прими их!

Лакей уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Мирович (*один*). Я убежден, что господин Бургмейер подкупил моего лакея, потому что этот дурак почти

за шиворот меня всякий раз хватает, чтоб я принимал его скорее; тут даже эти господа не могут без денег ступить!.. Куницын совершенно справедливо говорит, что их хорошенько надобно пробрать, чтоб они поняли наконец, что нельзя же мною злоупотреблять до бесконечности!.. *(Становится около одного из своих кресел и гордо опирается рукой на его спинку.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Входит Бургмейер и за ним смиренною походкой крадется Симха Рувимыч Руфин, очень молодой еще и весьма красивый из себя еврей. Оба они, издали и молча поклонившись хозяину, становятся в стороне; Толоконников же, с книгой в руке, подходит прямо к Мировичу и раскланивается с ним несколько на офицерский манер, то есть приподнимая слегка плечи вверх и даже ударяя каблук о каблук, как бы все еще чувствуя на них шпоры.

Толоконников *(совершенно развязным тоном)*. Вчерашнего числа-с вам угодно было прислать к нам замечания ваши касательно исполнения подряда.

Мирович *(в свою очередь, тоже резко)*. Да-с, я присылал их и желаю, чтобы замечания эти включены были в протокол, где и будут составлять мое отдельное мнение.

Толоконников *(слегка раскланиваясь пред Мировичем, но, тем не менее, с явно насмешливою улыбкой)*. Этому желанию вашему я, конечно, никак не могу воспрепятствовать и только позволяю себе заметить, что в эти замечания вкралось много неточностей.

Мирович *(гордо)*. А именно какие-с?

Толоконников *(с прежней усмешкой и вместе с тем совершенно пунктуальным тоном)*. Вы-с изволите писать, что здания скреплены вместо железных гвоздей деревянными... прекрасно-с! Но надобно было указать, где именно и во скольких местах; а то, может быть, действительно какой-нибудь один дурак, пьяный рабочий, поленясь идти за железным гвоздем, и вбил деревянный,— это ничего не значит... *(Приподнимает при этом плечи.)*

Мирович. Нет-с, тут не один деревянный гвоздь, а их сотни, и они выкрашены черною краской, чтоб издали казались железными.

Толоконников *(приподнимая еще выше плечи)*. Но все-таки они должны быть сосчитаны от первого гвоздя до последнего.

Мирович. Что же, мне для этого лазить по всем вашим крышам?

Толоконников *(с ударением).* Непременно-с!.. Непременно!.. Из этого, сами согласитесь, должен возникнуть иск к подрядчику; а потому это дело денежное, и данные для него должны быть определены с полною точностью... Далее-с потом: вы указываете, что щебенной слой только в вершок, тогда как он должен быть в четыре... На это я имею честь предъявить вам статью закона... *(Раскрывает держимую им книгу и с гордостью подает ее Мировичу.)* 1207 статья, параграф 2-й!..

Мирович начинает читать указанную ему статью.

(Продолжая на него по-прежнему насмешливо смотреть и как бы толкуя ему.) В статье этой прямо сказано, что даже в казне, при сдаче одним начальником дистанции другому лицу, на толщину щебенного слоя обращать внимание запрещено-с, потому что щебень-с не мука!.. Из него теста не сделаешь, чтоб он везде ровными слоями ложился!.. В практике случается обыкновенно так, что в одном месте слой этот на полвершка, а в другом и на восемь вершков.

Мирович *(возвращая Толоконникову книгу).* Статья эта нисколько не касается нашего случая!.. Это сказано для последующих сдач, а при первоначальном приеме всякий подряд принимается по контракту: в контракте говорится, что щебенной слой должен быть равномерный в четыре вершка, он и должен быть таким!

Толоконников *(восклицает).* Но этого невозможно выполнить физически, как на луну, например, прыгнуть!

Мирович *(довольно хладнокровно).* Если нельзя было подряд выполнить физически, так нечего было и брать его.

Толоконников *(опять поднимая плечи).* Что ж, нельзя было выполнить!.. Это будет, извините вы меня, прямым стеснением всякой предприимчивости... Каждый не юрист даже скажет вам, что закон выше всякого контракта... В наше время, когда все так двинулось вперед, ставить такие преграды! Мне, признаюсь, в вас, человеке образованном, очень странно встретить такие понятия.

Мирович. В моих понятиях вы, вероятно, еще многое найдете странным для вас, точно так же, как и я в ваших...

Толоконников *(насмешливо расшаркиваясь перед Мировичем)*. Мои-с понятия самые обыкновенные, самые вульгарные! Впрочем, перейдемте лучше к делу; в записке вашей затем объяснено, что деревянные здания выстроены из одних столбов, обшитых снаружи и снутри тесом... Совершенно верно-с! Но подрядчик иных и не обязан был делать.

Мирович *(отступая даже шаг назад)*. Как не обязан?

Толоконников *(с замечательною смелостью и с некоторым как бы самодовольством)*. Так-с, не обязан! В контракте только сказано, что выстроить столько-то зданий, такой-то величины, но каким способом — не указано.

Мирович *(выйдя, наконец, из себя и тоже сильно уже возвыся голос)*. Но ведь-с выстроены не здания, а бараки!

Толоконников *(с прежнею смелостью)*. Может быть-с, и бараки!.. Но всякий подрядчик, разумеется, желает воспользоваться недомолвками контракта.

Мирович *(побледнев даже от гнева)*. Послушайте, господин Толоконников, дайте себе хоть немного в том отчет, что вы говорите: то у вас контракт все, то ничего не значит!.. Что вы, запугать и закидать словами вашими меня думаете?.. Так, во-первых, я не из трусливых, а во-вторых, смею вас заверить, что я хоть и молод, но из молодых ранний и всякую плутню и гадость понять могу.

Толоконников *(в свою очередь, распетушась)*. Тут-с нет плутней и гадостей, извините вы меня!

Мирович *(хватая со стола тот лист, который показывал Куницыну, и тряся им почти пред носом Толоконникова)*. В этом деле, вы говорите, нет плутней и гадостей? В этом?

Толоконников *(отстраняя от себя бумагу)*. Позвольте-с, позвольте... Прежде всего я просил бы вас не совать мне в лицо бумаг ваших и не кричать на меня,— я не подчиненный ваш и повторяю вам, что тут никаких нет плутней, а что если вы находите их, то *(с ироническою улыбкой)*, вероятно, сами имеете какие-нибудь побочные причины на то...

Мирович *(подступая к нему)*. Какие я побочные причины имею на то? Какие-с?.. Я требую, чтобы вы сейчас же мне это объяснили, или я вас заставлю раскаять-

ся в том, что вы мне сказали, и научу вас быть осторожнее в ваших выражениях.

Бургмейер *(испуганный этой начинающейся ссорой)*. Господин Мирович, успокойтесь! Господин Толоконников, замолчите!

Толоконников *(с той же насмешливою, хоть и не совсем искреннею улыбкой обращаясь к Мировичу)*. Не следует ли вам самим-с прежде поучиться, как выражаться!.. Я сказал вам единственно потому, что вы сами мне гораздо больше сказали.

Мирович *(в окончательной запальчивости)*. Я вам имею право это говорить, а вы мне нет,— понимаете ли вы это?

Толоконников *(по наружности все еще как бы продолжавший усмехаться)*. Нет-с, не понимаю: кто, может быть, скажет, что вы имеете это право, а кто — и я... Во всяком случае, я вижу, что дальнейшие наши объяснения ни к чему не могут привести,— честь имею кланяться!.. *(Раскланивается, прищелкнув каблуками.)* Очень жаль, что мы всего только другой раз в жизни встречаемся с вами и должны так уж неприязненно расстаться!

Мирович. А мне вообще очень жаль, что я с вами в жизни встретился.

Толоконников *(вспыхнув в лице)*. Взаимно и мне тоже!

Уходит, не кланяясь более с Мировичем.

ЯВЛЕНИЕ V

Мирович, Бургмейер и Руфин.

Мирович *(с сильным неудовольствием)*. Это никакого терпения нет! Я, наконец, велю запереть двери и никого не пускать к себе.

Бургмейер *(сконфуженно и робко обращаясь к Мировичу)*. Господин Толоконников, Вячеслав Михайлович, собственно, хотел только объясниться с вами как техник и оправдаться перед вами в техническом отношении.

Мирович *(с тою же досадливостью)*. Что ему было оправдываться предо мной! Я совершенно убежден, что он в техническом, умственном и нравственном отношении невежда, нахал и подлец!.. *(Взглядывая на Руфина.)* Но что этому господину еще угодно от меня?

Бургмейер (*потупляя глаза и тем же смущенным тоном*). Это новый подрядчик, который желал бы взять на себя исправление моего подряда.

Мирович (*Руфину*). Вы еврей?

Руфин. Еврей, господин.

Мирович. А давно ли вы купцом первой гильдии стали?

Руфин. С двенадцатого апреля, господин.

Мирович. То есть со вчерашнего числа?

Руфин. Да, господин.

Мирович (*рассмеявшись*). Это уж смешно даже становится!.. Что же, вы подряд господина Бургмейера готовы взять на себя?

Руфин. Готов, господин. Мне ни копейки денег не надо вперед на то, ни полушки! Вами сорок семь пунктов неисправностей найдено! Я берусь так: я исправлю первый пункт, вы заплатите мне за первый пункт из залогов господина Бургмейера. Я исправлю второй пункт, вы заплатите мне за второй пункт из денег господина Бургмейера! Я исправлю третий, вы заплатите мне за третий!

Мирович. Все это очень хорошо-с, но, к сожалению, до меня нисколько не касается.

Руфин. Как же, господин, это вас не касается? Это выгода вашего начальства.

Мирович. Да-с, но начальство мое меня на то не уполномочило... Мне велено подряд принять, если я, по моему убеждению, найду его выполненным противу всех пунктов контракта; но я его не нашел таким, а потому не принимаю,— вот и вся моя роль!

Руфин. Но как же, господин, мне делать? Куда ж мне идти теперь?

Мирович. Идти вам, когда подряд от господина Бургмейера будет отобран,— исправлять его на счет залогов, вероятно, будут с торгов,— тогда идти на торги и заявить там ваше предложение.

Руфин (*как бы начиная уже горячиться*). Но я, господин, не могу тогда сделать этого моего предложения. Время уйдет: пора рабочая придет... народ и материалы, господин, вдвое дороже будут... Я тогда вчетверо, впятеро запрошу с вас... Мои цены, господин, выгодны. Вот мои цены!.. (*Подает Мировичу бумагу и почти насильно оставляет ее в руках его.*)

Мирович *(бросая на стол бумагу)*. Очень верю-с; но все-таки ничего не могу сделать.

Руфин *(опять как бы горячась)*. Я, господин, объявил вам мои цены!.. Если потом будут производиться поправки из залогов господина Бургмейера по ценам выше моих, господин Бургмейер станет с вас требовать убытки.

Мирович. Что ж делать, я и заплачу ему их, если меня присудят к тому. Все это, конечно, вы очень остроумно придумали, но не приняли в расчет одного: что я вас видал у господина Бургмейера и даже знаю, что вы один из приказчиков его.

Руфин *(нимало не конфузясь)*. А я был приказчиком у господина Бургмейера, но я отошел от него... Я имею свои подряды... Я купец первой гильдии.

Мирович. Со вчерашнего числа только, а потому вы не купец первой гильдии, а вы подкупное, подставленное лицо — вот вы кто такой!.. *(Обращаясь к Бургмейеру.)* Александр Григорьич, как вам самим не скучно разыгрывать все эти комедии? Вы мало что лично бог знает сколько раз со мной объяснялись, но вы еще напускаете на меня разных ваших благородных сподвижников, которые меня, как дурака какого-нибудь, хотят в глазах провести.

Бургмейер *(с потупленной головой)*. Я так, Вячеслав Михайлыч, растерян, что не знаю и сам, что делаю и что вокруг меня делается. Они, конечно, желали, чтобы хоть сколько-нибудь помочь мне, и я прошу у вас той лишь милости: позволить мне с вами говорить не как уже подрядчику, желающему вас обмануть, а как человеку, сокрушенному под гнетом своих обстоятельств.

Мирович. Что вам говорить, я не знаю! Говорите, если вам необходимо это... *(Становится опять к одному из своих кресел и опирается на спинку его рукою.)*

Руфин *(покорно обращая свой взгляд на Бургмейера)*. А я, господин, не нужен больше?

Бургмейер *(окончательно сконфуженный этим вопросом)*. Нет!

Руфин смиренно кладет под мышку свою фуражку и уходит медленною жидовскою походкой, как бы изображая всей своей фигурой: «Нет, не все еще испробовано; можно было еще попытаться!»

Мирович (*при этом смеется, глядя на публику, и затем обращается к Бургмейеру*). Я слушаю вас.

Бургмейер (*разбитым и прерывающимся голосом*). Подряд мой, Вячеслав Михайлыч, сам признаюсь вам в том, совершенно не выполнен и мало что должен быть исправлен: его надобно весь сломать и заново сделать.

Мирович (*почти надменно*). Зачем же вы его делали таким?

Бургмейер. Не для барышей, Вячеслав Михайлыч, видит бог, не для барышей, а потому только, что прошлым летом я потерял миллион моего состояния на американских бумагах.

Мирович. Все это, конечно, очень жаль; но как же тут быть?

Бургмейер. Быть тут очень бы просто было! При моих оборотах миллион этот для меня ничего не значит. На днях же мне должна быть выдана концессия на дело, которое даст мне такой же миллион, и я бы с этими деньгами не только что исправил и переделал мой подряд, но я бы сделал его образцом архитектурного и инженерного дела.

Мирович (*насмешливо*). Когда подряд ваш будет образцом архитектурного и инженерного дела, тогда я и назову его так, а теперь пишу, каков он есть.

Бургмейер. Но ведь мне, поймите вы это, добрейший и благороднейший человек, могут выдать концессию, пока я еще не заявлен несостоятельным подрядчиком, и я в этом случае уж прошу вас не за себя, а за моих несчастных акционеров: людей недостаточных, у которых в этих акциях весь кусок хлеба.

Мирович. Все это, опять я вам повторяю, мне очень грустно и тяжело; но при всем этом публично и нагло я ни для кого и ни для чего в мире лгать не стану.

Бургмейер. Ну, послушайте, вот еще другая комбинация: вчера я получил телеграмму... (*Вынимает из бумажника дрожащими руками телеграмму и показывает ее Мировичу.*) В ней, вы видите, пишут, что мне могут выдать концессию до сдачи этого подряда моего, а потому возьмите вы назад ваше заявление... Скажитесь больным... Пока на ваше место будут назначать другого, время протянется... Одного только промедления прошу у вас, Вячеслав Михайлыч! У меня пять тысяч рабочих собрано и

стоят наготове; как только я получу разрешение на новое мое предприятие, я всех их двину на мой теперешний подряд... Потом вы хоть опять вступайте в комиссию, хоть присылайте, сколько угодно, других еще комиссий, я не буду бояться за дело мое, потому что, клянусь вам всем святым для человека, оно будет исполнено в десять раз лучше того, чем я обязался его сделать... Мне мое торговое имя, Вячеслав Михайлыч, важнее всего.

Мирович. Нисколько не сомневаюсь в том, Александр Григорьич, но и того не могу для вас сделать. Я начал действовать в этом деле и должен продолжать это. Вот сейчас ваш техник сказал мне, что я, вероятно, имею побочные причины находить все дурным, и вдруг я найду или все хорошим, или благоразумно устраню себя!.. Тогда прямо скажут, что причины эти удалены каким-нибудь нечестным образом.

Бургмейер. Этого техника, дурака и болвана, я удалю, если хотите, за границу; я его десять, двадцать лет оттуда не выпущу.

Мирович. Но это не один ваш техник скажет, а в умах всего общества так это скажется и отразится... Я же, Александр Григорьич, только еще вступаю в жизнь, и мне странно было бы на первых шагах сделать одну из величайших подлостей.

Бургмейер. Общество ничего и знать не будет! Каким образом и почему общество узнает: худо ли, хорошо ли я исполнил мой подряд, почему и зачем вы отстранились от приема? Но если бы даже оно и узнало, так должно еще выше вас оценить и поблагодарить, потому что вы этим мало что спасете меня и состояние тысячи людей, вверивших мне свои капитальцы, но вы спасете самое предприятие! Вы, Вячеслав Михайлыч, молоды еще и не знаете, как эти дела делаются. Ну, вы мне повредите, у меня отнимут это дело... передадут другому лицу... Тот, разумеется, наблюдая свои выгоды, позачинит кое-что, позакрепит, позакрасит!.. Положим, вы и у него не примете, сдадите третьему лицу... Тот точно так же сделает... Наконец, вы примете же когда-нибудь, а дело будет все-таки не в должном виде, и только я один... я, согрешивший в нем и готовый принесть настоящую искупительную жертву, исправлю его совершенно! Во имя всего этого я на коленях осмеливаюсь умолять вас быть милостивым... *(Хочет стать на колени.)*

М и р о в и ч (*не допуская его это сделать*). Александр Григорьич, пожалуйста, перестаньте! Эти сцены, ей-богу, ни к чему не поведут!.. (*Взглянув в окно.*) Боже мой! Клеопатра Сергеевна приехала!

Б у р г м е й е р. Жена!.. Все кончено теперь!.. (*Быстро уходит, совершенно потерявшись.*)

М и р о в и ч (*в сторону и тоже сильно смущенный*). Неужели и с этой стороны будет еще нападение на меня!

ЯВЛЕНИЕ VI

К л е о п а т р а С е р г е е в н а (*входя и каким-то почти полупомешанным голосом*). Я уже не велела вам сказывать об себе, Мирович, и вошла... примите меня и не выгоняйте!.. Дайте мне стул!.. Я очень устала.

М и р о в и ч подает ей кресло.

К л е о п а т р а С е р г е е в н а (*сев*). Муж мой здесь или ушел?

М и р о в и ч. Ушел вдруг, не знаю почему-то!

К л е о п а т р а С е р г е е в н а. Он хорошо это и сделал! Сядьте и сами около меня, Мирович!

М и р о в и ч пододвигает стул и садится около нее.

К л е о п а т р а С е р г е е в н а (*кладя свою руку на его руку*). Скажите, правду ли вы говорили, что вы меня любите?

М и р о в и ч. Божество мое, неужели вы думаете, что я мог бы вас обманывать!.. (*Склоняет свою голову на руку Клеопатры Сергеевны и целует ее.*)

К л е о п а т р а С е р г е е в н а. Я вам верю, Мирович, и сама вам признаюсь, что я вас люблю. Но я хочу вам рассказать прежде про себя: я горда очень, Мирович, страшно горда и самолюбива!.. Может быть, меня бог за это и наказывает!.. Господин Бургмейер этот еще издавна благодетельствовал нашей семье; он выкупал отца из ямы; содержал потом мою бедную больную мать; меня даже воспитывал на свой счет!.. Мне беспрестанно говорили, что он спаситель наш и что я должна за него выйти замуж. Он мне очень не нравился, но я не хотела ему оставаться обязанной за себя и за семью мою и решилась собою заплатить ему за все это!.. После того я стала привыкать к нему... Мне казалось, что он-то уж очень меня любит: ка-

ждое слово мое, каждое маленькое желание мое были законом для него! Я капризничала над ним часто, он все это переносил; когда я делалась больна, он совершенно терялся. Мне думалось, что если я полюблю кого-нибудь другого, то это для Бургмейера будет ужаснее потери чести, состояния, самой жизни даже! В прошлом году я встретилась с вами, Вячеслав, и полюбила вас с первой же минуты!.. Вы заговорили со мной, я не помню о чем, но только совершенно о другом, о чем всегда другие говорили при мне. Я всю жизнь только и слышала, что какой товар выгоднее купить, чего стоит абонемент итальянской оперы; меня возили по модисткам, наряжали, так что вы показались мне совершенно человеком с другой земли. Сначала я была в восторге от моего чувства к вам, но потом я испугалась: мне сделалось жаль Бургмейера, сделалось страшно за самое себя — мне казалось, что ты меня любишь только мимолетною любовью! Я отвергла тебя; но надолго ли бы сил моих хватило на это, я не знаю, и, конечно, рано или поздно, а я сказала бы тебе всю правду, и теперь только случай поторопил это. Муж мой *(с грустной усмешкой)*, после всей-то воображаемой мною любви его ко мне, на днях мне говорит: «Дела мои запутались и зависят от Мировича; поди к нему, кокетничай с ним, соблазни его и выпроси у него согласие не вредить мне!» Слыхал ли ты, Вячеслав, чтобы какой-нибудь муж осмелился сказать жене своей, самой грязной, самой безнравственной, подобную вещь! Я в минуту же вырвала из души к Бургмейеру всякое малейшее чувство и пришла к тебе! Сделай по его, как он просит, заплати ему этим за меня и возьми меня к себе!

Мирович *(все с большим и большим волнением слушавший Клеопатру Сергеевну, при последних словах ее встал с своего места)*. Клеопатра Сергеевна, за откровенность вашу я и сам отплачу вам полной моею откровенностью: что обладать вами есть одно из величайших блаженств для меня, вы сами это знаете; но тут, подумали ли вы об этом, нас может, как вы сами желаете того, соединить только, я не скажу — преступление, нет, а что-то хуже того, что-то более ужасное!.. Соединить мой подлый и бесчестный поступок!

Клеопатра Сергеевна. Тут не будет, Вячеслав, бесчестного поступка с твоей стороны... Муж мой сам мне сказал... предо мной ему нечего было выдумывать

и лгать... сказал, что он весь свой подряд исправит потом.

Мирович. Какая ж польза будет от его исправления? Я все-таки войду с ним в плутовскую сделку; но, наконец, я ни слова бы не говорил, если бы только это касалось меня. Пусть меня клеймят и позорят! Тому, что я пылаю к тебе неудержимою любовью,— никто, конечно, не поверит. Нынче этому никто не верит! Все назовут меня сладеньким селадоном, готовым из-за хорошенькой женщины сделать всевозможный гадкий поступок. Я все бы это перенес, но, сокровище мое, тут тебя заподозрят и объяснят, что ты была сообщницей твоего мужа.

Клеопатра Сергеевна. Нет, Вячеслав, я не сообщница его!.. Я люблю тебя больше всего на свете и прошу тебя за мужа, потому что хочу навеки и навсегда с ним расстаться и расквитаться.

Мирович. Знаю я, Клеопаша, и все это вижу!.. Если бы ты только знала, какую я адскую и мучительную борьбу переживаю теперь!.. Тут этот манящий меня рай любви, а там — шуточка! — я поступком моим должен буду изменить тому знамени, под которым думал век идти! Все наше поколение, то есть я и мои сверстники, еще со школьных скамеек хвастливо стали порицать и проклинать наших отцов и дедов за то, что они взяточники, казнокрады, кривосуды, что в них нет ни чести, ни доблести гражданской! Мы только тому симпатизировали, только то и читали, где их позорили и осмеивали! Наконец, мы сами вот выходим на общественное служение, и я, один из этих деятелей, прямо начинаю с того, что делали и отцы наши, именно с того же лицеприятия и неправды, лишь несколько из более поэтических причин, и не даю ли я тем права всему отрепью старому со злорадством указать на меня и сказать: «Вот, посмотри, каковы эти наши строгие порицатели, как они честно и благородно поступают». Ты, Клеопаша, как женщина, может быть, не поймешь даже в этом случае моих чувств...

Клеопатра Сергеевна. Напротив, Вячеслав, я все это понимаю и больше еще начинаю тебя любить и уважать за то!.. Господь с тобой, иди своей дорогой!.. Я не буду тебе мешать... *(Встает с своего кресла.)* Прощай!

Мирович *(в тоскливом недоумении)*. Но куда же ты идешь?

Клеопатра Сергеевна. Куда? Домой!..

Мирович (*задыхающимся голосом*). Погоди, Клеопаша, еще одну минуту погоди!

Клеопатра Сергеевна (*покорно*). Хорошо.

Мирович (*схватывая себя в отчаянии за голову*). Что я за ничтожный и малодушный человек! Чего трепещу?.. Чего боюсь?.. Она отдает мне всю себя, всю жизнь свою, а я в прах уничтожаюсь пред фантомом, созданным моим воображением, и тем, что скажут про меня потом несколько круглоголовых Туранов! (*Садится за стол и опускает свою голову на руки.*)

Клеопатра Сергеевна (*тихо подходит к нему и, слегка дотрагиваясь до его плеча*). Послушай, Вячеслав, если для тебя то и другое так тяжело, то, изволь, я останусь у тебя и так: не делай ничего для мужа!.. Пусть с ним будет что будет!.. Я чувствую, что ты мне дороже его!

Мирович (*открывая лицо свое, обращая его к Клеопатре Сергеевне и каким-то иронически-грустным голосом*). Просто... не делая ничего — тебя взять у него! Но не очень ли уж это будет немилосердно против него: я у него отнимаю самую дорогую жемчужину, а ему за то не возвращаю ничего! Нет уж!.. Пусть, по крайней мере, он владеет своими миллионами!.. Я ему спасу их!

Клеопатра Сергеевна (*мрачно*). А если ты, Вячеслав, раскаешься потом?

Мирович. Как же я раскаюсь? Ты сама же хотела остаться у меня безо всякой жертвы с моей стороны, и если я поступил теперь так, то это было делом совершенно свободной воли моей! (*Садится за стол, начинает быстро и быстро писать. Написав торопливо и как бы сам не сознавая того, что делает, звонит.*)

Вбегает лакей.

(*С лицом совершенно пылающим, подавая сложенную бумагу лакею.*) Поди, ты знаешь эту нашу комиссию! Отнеси туда эту бумагу!.. Скажи, что я болен, что не буду больше у них участвовать и совсем в отставку выхожу, и чтобы мне прежнюю мою бумагу возвратили с тобой.

Лакей. Слушаю-с... (*Уходит.*)

Мирович (*обращаясь к Клеопатре Сергеевне и каким-то притворно-веселым тоном*). Клеопатра Сергеевна, я сделал все, что желал ваш муж!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Еще более богатый кабинет, чем в первом действии. Сзади письменного стола, уставленного всевозможными украшениями, виднеется огромной величины несгораемый шкаф.

ЯВЛЕНИЕ I

Бургмейер *(очень уже постаревший и совсем почти поседевший, сидит на диване около маленького, инкрустацией выложенного столика, склонив голову на руку)*. Такие приливы крови делаются к голове, что того и жду, что с ума сойду, а это хуже смерти для меня... В могилу ляжешь, по крайней мере, ничего чувствовать не будешь, а тут на чье попеченье останусь? На Евгению Николаевну много понадеяться нельзя!.. Я уж начинаю хорошо ее понимать: она, кроме своего собственного удовольствия, ни о чем, кажется, не заботится...

ЯВЛЕНИЕ II

Входит Руфин.

Руфин *(тихим и почти робким голосом)*. Доктор приедет, господин!

Бургмейер *(не взглядывая даже на него)*. Когда?

Руфин. Скоро, господин! Он меня сначала спросил: «Господин Бургмейер, этот капиталист здешний?» — «Да!» — говорю.— «Ну так, говорит, скажите ему, что я буду; но я, говорит, для этого с дачи в город должен приезжать, а потому желаю с него получить тысячу рублей серебром за визит!..» Я хотел ему сказать: господин доктор, дорого это очень; не для одного же господина моего вы поедете, и далеко ли ваша дача от городу, но побоялся: он сердитый, надо быть, этакий!.. Лютый!.. При мне тут двух лакеев прогнал. «Я, говорит, Христа ради ваших господ лечить не намерен!»

Бургмейер *(слегка усмехнувшись при этом рассказе, а потом вынув из кармана ключ и подавая его Руфину)*. В шкафу... на второй полке лежит отсчитанная тысяча. Вынь ее и подай мне.

Руфин довольно ловко и умело отпер этим ключом шкаф, вынул из него сказанную ему тысячу и, заперев снова шкаф, ключ вместе с деньгами подал с некоторым раболепством Бургмейеру, который то и другое небрежно сунул в боковой карман пальто своего.

Руфин *(все еще, видимо, занятый мыслью о докторе)*. Ежели теперь господин доктор в десять таких домов

съездит — это десять тысяч в день!.. Ни на каком деле, господин, таких барышей получить нельзя!

Бургмейер *(почти не слушавший его)*. А об этих господах... как я тебе приказывал, ты расспрашивал там на дачах?

Руфин. О господине Мировиче и нашей Клеопатре Сергеевне?

Бургмейер. Да!

Руфин. Расспрашивал, господин!.. Очень бедно живут... Так... в маленькой лачужечке!..

Бургмейер. Но нельзя ли как поискусней денег им послать?

Руфин. Да где ж это?.. Сколько раз я, господин, им носил деньги — не берут!.. Народ они глупый, молодой.

Бургмейер. Или, по крайней мере, постараться, чтобы занятье какое-нибудь приискать ему.

Руфин. Какое ж ему занятие, господин?.. Службу казенную он как-то все не находит!.. По коммерции ежели его пристроить? К нам он не пойдет!.. Гордость его велика! Покориться вам не захочет! Другим рекомендовать,— чтобы выговаривать после не стали. Человек он, надо полагать, ветреный, пустой!

Бургмейер. Но так бы и сказать кому-нибудь из наших знакомых коммерсантов, что он человек пустой, и чтобы ничего важного ему не доверяли, а что я секретно, будто бы это от них, стану ему платить жалованье.

Руфин. Кто ж на это, господин, согласится?.. Как, скажут, нам платить ему чужое жалованье и зачем нам пустой человек?

Бургмейер. Согласятся, может быть!.. Устрой как-нибудь, Симха, это, пожалуйста!

Руфин. Господин, служить вам готов!.. *(С несколько забегавшими из стороны в сторону глазами.)* Вот счета еще! Я заехал в два магазина! Мне их там подали!.. *(Подает Бургмейеру два счета.)*

Бургмейер *(взглянув на них)*. Что это?.. Опять Евгения Николаевна на восемь тысяч изволила набрать?

Руфин *(как-то странно усмехаясь)*. Ну да, дама молодая... Веселиться, наряжаться желает.

Бургмейер. Что ж такое наряжаться? Она в какие-нибудь месяцы сорок тысяч ухлопала!.. Притом я никаких особенных нарядов и не вижу на ней. Куда она их девает? Изволь сегодня же объехать все магазины и ска-

зать там, чтобы без моей записки никто ей в долг не отпускал; иначе я им платить не стану.

Р у ф и н. Но, господин, не сконфузим ли мы ее этим очень? Вы бы ей прежде поговорили!..

Б у р г м е й е р. Я ей двадцать раз говорил и толковал, что я хоть и богат, но вовсе не привык, чтобы деньги мои раскидывали по улице или жгли на огне, так от нее, как от стены горох, мои слова; она все свое продолжает! Сегодня же объезди все магазины и предуведомь их.

Р у ф и н. Внизу там адвокат какой-то стоит и желает вас видеть.

Б у р г м е й е р. Какой адвокат?

Р у ф и н. Не знаю, господин, я его в лицо никогда не видывал; видный этакий из себя мужчина, здоровый.

Б у р г м е й е р. Пригласи его.

Р у ф и н уходит.

ЯВЛЕНИЕ III

Б у р г м е й е р *(один)*. Странная игра судьбы! Маленьким мальчиком я взял к себе этого жидка Симху, вырастил его, поучил немного, и он теперь оказывается одним из полезнейших для меня людей и вряд ли не единственный в мире человек, искренно привязанный ко мне...

ЯВЛЕНИЕ IV

Входит К у н и ц ы н. Он, кажется, несколько конфузится и с необычайной развязностью раскланивается перед Б у р г м е й е р о м.

К у н и ц ы н. Честь имею представиться, кандидат прав Куницын!

Б у р г м е й е р, не привставши с своего места, кивает ему молча головой.

Извините меня, что я беспокою вас!.. Но, сколько мне кажется... я все-таки являюсь к вам по делу, которое должно вас интересовать.

Б у р г м е й е р *(опять сухо)*. Прошу садиться.

К у н и ц ы н *(садится и несколько овладевая собой)*. Надобно вам сказать-с, что я человек вовсе не из застенчивых; но бывают, черт возьми, обстоятельства, когда решительно не знаешь, следует ли что делать или не следует!

Б у р г м е й е р. Если не знаешь, так, я полагаю, лучше и не делать.

К у н и ц ы н. Но не делать, пожалуй, в настоящем, на-

пример, случае, выйдет... как бы выразиться? — Не совсем правдиво, что ли, с моей стороны, а уж для вас-то наверняк очень скверно будет!.. Дело это из ряду выходящее!.. В некотором роде романическое!

Бургмейер. Романическое даже!

Куницын. Очень романическое! И в предисловии к сему-с роману я должен вам объяснить, что года два тому назад, по моим финансовым обстоятельствам, которые, между нами сказать, у меня постоянно почти находятся в весьма скверном положении, я для поправления оных весьма часто бывал в маскарадах... распоряжался там танцами... Канканирую я отлично... Словом, известность некоторую получил. Только раз в одном из маскарадов подходит ко мне маска, богиней одетая. «Смертный, говорит, свободно ли твое сердце для любви?» — «Совершенно, говорю, свободно!» — «И может ли, говорит, тебе довериться любящее тебя существо?» — «Сколько, говорю, угодно, где угодно и когда угодно!» Затем она меня берет под руку, и начинаем мы с ней прохаживаться... Гляжу: ручка — прелесть!.. Знаете, точно из слоновой кости выточенная!.. Кожица на ней матовая, слегка пушком покрытая... Сама ручка тепленькая!.. Стан — тоже сильфида!.. Протанцевал я с ней канкан: ножка божественная!.. Платьицем вертит восхитительно! Ну, думаю, лицом, может быть, рыло! Случались со мной этакие примеры разочарования. Не желаете ли, говорю, прекрасная незнакомка, чтоб я ложу взял, где бы вы могли снять вашу маску и посвободней подышать? — «Нет, говорит, Пьер... (заметьте: прямо уж Пьером меня стала называть!) Здесь очень многолюдно, уедем, говорит, лучше куда-нибудь!» — «Eh bien, madame! [1]» — говорю, и отправились мы таким манером с ней в места прелестные, но уединенные: на Петровский бульвар. Здесь она сняла свою маску, — оказалось, что хоть немножко, как видно, подержанная особа, но все-таки чудо что такое: этот овал лица!.. Матовый тоже цвет кожи!.. Глаза большие, черные! Прямой носик! Очертание рта — восхищение!.. Так что я вам скажу: я влюбился в нее как дурак какой-нибудь набитый!

Бургмейер (*заметно все с бо́льшим и бо́льшим вниманием слушавший Куницына*). И когда же именно эта встреча ваша с этою госпожой была?

---

[1] Хорошо, сударыня! (*франц.*)

Куницын. Прошлого года еще осенью! Но странней всего в этой, как сами вы видите, немножко странной любви было то, что госпожа эта никак не сказывалась, кто она такая: «Варвара Николаевна, Варвара Николаевна» — и больше ничего! Я, впрочем, об этом много и не беспокоился: было бы то, что природой и богом дано человеку, а титул и званье что такое? Звук пустой!.. Путаемся мы с ней таким делом около года... Только однажды, именно в самый Варварин день, сошлись мы с ней в той же гостинице... Винищем она меня на этот раз накатила по самое горло: понимаете, что как будто бы эта она именинница и потому угощает меня!.. Сама тоже выпила порядком: эти чудные глаза у ней разгорелись, щеки пламенеют тоже и, знаете, как у Пушкина это: «Без порфиры и венца!» — «Пьер, говорит, знай: я замужняя женщина! Муж мой миллионер!.. Я его ненавижу; но он все адресуется ко мне с нежностями, и я не могу быть вполне верна тебе. Спаси меня от этого унизительного положения: достань где-нибудь два фальшивые заграничные паспорта, мы бежим с ними за границу, а чтоб обеспечить себя на это путешествие, я захвачу у мужа из шкатулки шестьсот тысяч». Мысль эта, грешный человек, на первых порах мне очень понравилась. С одной стороны, понимаете, ревность немножко во мне заговорила, а потом: бежать с хорошенькою женщиной за границу, поселиться где-нибудь в Пиренеях, дышать чистым воздухом и при этом чувствовать в кармане шестьсот тысяч,— всякий согласится, что приятно, и я в неделю же обделал это дельцо-с: через разных жуликов достал два фальшивые паспорта, приношу их ей. Она сейчас же их в кармашек и этаким каким-то мрачным голосом говорит мне: «На той неделе муж мой уедет; я выну у него шестьсот тысяч, и мы бежим с тобой!» Точно колом кто меня при этом по голове съездил, и я словно от сна какого пробудился; тут-то ей ничего не сказал, но прихожу домой и думаю: госпожа эта возьмет у мужа без его ведома и, разумеется, желания шестьсот тысяч, или, говоря откровеннее, просто его обокрадет, и я — ближайший сообщник этого воровства! Жутко мне сделалось... очень!.. Вам никогда не случалось думать, что вот вы через несколько дней должны украсть что-нибудь?

Бургмейер (*слегка усмехаясь*). Нет-с, благодаря бога, не случалось!..

Куницын. Скверная, я вам скажу, штука это,— от-

вратительная! Так что всю ночь я вертелся, а на другой день не вытерпел, побежал на условленное место свидания. «Ангел мой, говорю, плюнь, брось все это!.. Дело это неподходящее!..» Она этак сердито на меня воззрила, все лицо у ней даже при этом как-то перекосилось. «Так, говорит, ты так-то меня любишь!» — «Но, ангел мой, говорю, ведь это проделка мало что уж совсем подлая, но даже не безопасная: нас, как воров, и за границей найдут и притянут сюда.» — «Вздор, говорит, ты трус, всего боишься!» Я, делать нечего, съездил за законами, показываю ей. Ничему не внемлет и из-за злости-то еще проговорилась: «Если, говорит, ты не хочешь, так я и другого найду!» — и с тех пор скрылась от меня: ни слуху ни духу!

Бургмейер (*снова как бы с усмешкой*). Все это, конечно, весьма любопытно; но почему ж вы думаете, что меня это лично должно интересовать?

Куницын. Очень просто-с, потому что особа эта, о которой я сейчас имел честь докладывать вам, должна вас лично интересовать, что и узнал я совершенно случайно: иду я раз мимо вашего дома... Что он вам принадлежит и что с вами живет некая молоденькая барынька, я знаю это от известного вам человека, приятеля моего Мировича... Иду и вижу, что в коляске подлетает к вашему дому какая-то госпожа... прыг из экипажа и прямо в парадную дверь... Я заглянул ей под шляпку... Батюшки мои, это моя Варвара Николаевна!

Бургмейер (*удивленный и пораженный*). Как? Варвара Николаевна ваша?.. Ко мне?.. В дом?..

Куницын. Она самая-с! И я сначала, признаться, подумал, что не в гости ли она приехала к вашей этой мамзельке... Гостятся они иногда между собой... Подхожу к кучеру и спрашиваю: какую это даму ты привез к господину Бургмейеру? — «Это, говорит, его экономка». Сомненья тут рассеялись, завеса с глаз пала. Опешил, я вам скажу, сильно. Главное, не знаю, как тут быть: с одной стороны, бабенка молоденькая, хорошенькая, любил тоже ее — как ее выдать?.. Жалко!.. А с другой стороны, знаю, что по характеру своему она непременно какого-нибудь другого плута подберет, они обокрадут вас, и она потом головой может поплатиться за это. Думал-думал я и пошел к этому другу моему Мировичу. Он малый этакий благороднейший, умный... Рассказываю ему и спрашиваю, как

я должен поступить? Он-то, знаете, растерялся сначала. «По-моему, говорит, тебе следует идти к господину Бургмейеру, прежде всего связать его обещанием, что он судом эту госпожу не станет преследовать, а потом открыть ему все. Нельзя же, наверное зная, попускать, чтобы человека обокрали и, кроме того, этой не Варваре Николаевне, как она тебе сказывалась, а Евгении Николаевне не мешает дать хороший урок, так как она, по всему видно, негодяйка великая». Что я и исполнил.

Бургмейер *(сильно смущенный)*. Очень вам благодарен; но я в первый раз имею честь вас видеть, а потому чем же вы можете подтвердить справедливость того, что передали мне?

Куницын. Ей-богу, уж не знаю чем. Всего лучше поищите у ней в бумагах паспортов этих на французскую подданную Эмилию Журдан и бельгийца Клямеля.

Бургмейер *(нахмурив брови)*. Вы думаете, что они у ней целы?

Куницын. Думаю-с и полагаю даже, что если она еще не нашла кого-нибудь другого на место меня, так приискивает. Вы, как найдете у ней эти паспорты, так сейчас мне их возвратите: я им рванцы задам немедля, а то, черт, попадешься еще с ними, да и эту Евгению Николаевну, что ли, судом уж не преследуйте,— это для меня важнее всего!

Бургмейер. Вы поставили это условием открытия вашей тайны, и я его выполню.

Куницын. Пожалуйста... До приятного свидания.

Бургмейер *(подавая ему руку)*. До свидания. Если сказанное вами подтвердится, то я сочту себя обязанным поблагодарить вас некоторою суммой денег.

Куницын *(сначала очень обрадованным голосом)*. Хорошо-с, недурно это!.. *(Подумав немного.)* Только, знаете, не будет ли это похоже на то, что как будто бы я продал вам эту госпожу вашу?

Бургмейер. Где же вы ее продали? Вы, как сами это хорошо назвали, по чувству справедливости поступили так.

Куницын *(очень довольный таким объяснением)*. Конечно-с... конечно!.. Говоря откровенно, я, идучи к вам, смутно подумывал, что не следует ли господину Бургмейеру заплатить мне тысчонку — другую, потому что, как там ни придумывай, а я спасаю ему шестьсот тысяч.

Всякий человек, я вам скажу, внутри себя такая мерзость и скверность! Buona sera, signor![1] *(Раскланивается и уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Бургмейер. Предчувствие мое, что эта госпожа совсем потерянная женщина, сбылось. *(Дергает за сонетку.)*

Является лакей.

(Ему.) Евгении Николаевны, по обыкновению, дома нет?

Лакей. Никак нет-с. Они уехать изволили.

Бургмейер. Позови ко мне Симху!

Лакей. Он тоже ушел,— его нет!

Бургмейер. Ну, все равно, ты!.. Возьми плотника, поди с ним в комнату Евгении Николаевны и разломай там все ящики в столах и комодах и принеси их сюда.

Лакей стоит в недоумении.

Что ж ты стоишь?.. Слов моих не понимаешь? Поди, сломай без всяких ключей все ящики с бумагами Евгении Николаевны и принеси их мне!

Лакей уходит, сильно удивленный.

Если я не найду этих паспортов, Евгения непременно запираться будет!.. Не дальше еще, как третьего дня, жаловалась на мою холодность и уверяла меня в своей любви, а сама в это время яд, быть может, готовила, чтоб умертвить им меня и захватить мои деньги!.. Ништо мне, старому развратнику, ништо!.. Увлекся легкостью победы и красотою наружности, забыв, что под красивыми цветами часто змеи таятся! *(Подходя к дверям и с нетерпением крича.)* Что же вы там? Точно бог знает что им сделать надо!

Голос лакея: «Сейчас — несем-с!»

Бургмейер. Где же это сейчас, хорош у них сейчас!

Лакей и плотник вносят каждый по два ящика.

Бургмейер *(начиная торопливо рыться в одном ящике)*. Тут нет!.. *(Ищет в другом ящике.)* И тут тоже!.. *(Плотнику.)* Дай мне твои ящики... Что вахлаком-то стоишь?

Плотник подает.

(Разом ища в обоих ящиках и вдруг, побледнев даже, восклицает.) Они, кажется!.. Так и есть!.. *(Вынимая из ящика две бумаги и потрясая ими в воздухе.)* Вон они,

[1] Добрый вечер, сударь! *(итал.)*

мои сокровища!.. (*Кладет бумаги себе в карман.*) Ну, уж она теперь у меня не увернется, шалит!.. (*Обращаясь к лакею и плотнику, в недоумении смотревших на него.*) Отнесите все это назад и бросьте на пол!..

Лакей. И ящиков в столы не двигать-с?

Бургмейер. Говорят тебе: на пол все раскидать!

Лакей (*плотнику*). Пойдем!

Уносят ящики.

ЯВЛЕНИЕ VI

Бургмейер. Не увернется она теперь у меня — нет! Приехала, слышу, и прямо, видно, на лакея наткнулась!.. Ну!.. Заорать изволила!..

Из дальних комнат действительно послышались крики Евгении Николаевны: «Что это такое?.. Как вы смели?.. Вы — воры, разбойники после того!..»

Какова тигрица?.. Какова гиена из той кротости, которую прежде представляла из себя! Ко мне, вероятно, сейчас явится объясняться и гневаться!.. Милости прошу, пожалуйте!

ЯВЛЕНИЕ VII

Входит Евгения Николаевна, вся раскрасневшаяся и с какими-то взбившимися на висках волосами. С тех пор, как мы ее не видали, она пополнела и подурнела.

Евгения Николаевна (*прерывающимся от гнева голосом*). Александр Григорьич, у меня разломаны все ящики в комнате, и, говорят, что вы их приказали разломать.

Бургмейер (*по наружности спокойным тоном*). Да!.. Я их приказал разломать.

Евгения Николаевна. Но для какой цели — интересно было бы знать? Любовной переписки моей с кем-нибудь вы искали?

Бургмейер. Вероятно, нашел бы и любовную переписку, но я не ее искал, а другое; и то, что мне нужно, я нашел!

Евгения Николаевна. Что такое вы нашли?

Бургмейер. Нашел два заграничных, фальшивых паспорта, и теперь уж они у меня... в кармане!.. (*Показывает себе на карман.*) Вы их выправили, чтоб, обокравши меня, бежать с ними за границу.

Евгения Николаевна *(еще более краснея в лице и вместе с тем как бы сильно удивленная тем, что слышит)*. Обокрасть вас?.. Бежать за границу?.. С фальшивыми паспортами?.. Вы с ума, наконец, сошли?.. У меня действительно валялись какие-то два заграничных паспорта, которые я случайно подняла на улице и спрашивала кой-кого из знакомых, что мне с ними делать.

Бургмейер. На улице вы их подняли?!. Послушайте, Евгения, можно быть развратною женщиной!.. Иметь из-за старого любовника молодого!.. Красивого!.. Желать этого старого покинуть и обокрасть!.. Все это еще понятно! Но думать, что ты этого старого дурака можешь еще продолжать обманывать и уверишь его, в чем только пожелаешь,— это уж глупо с твоей стороны.

Евгения Николаевна. Нельзя же молчать, когда взводят такие клеветы!.. Я какой-то злодейкой, героиней французского романа являюсь в ваших словах!.. Кто мог, с какого повода и для чего навыдумывать на меня пред вами столько — понять не могу! *(Отворачивается и старается не смотреть на Бургмейера.)*

Бургмейер. Это мне все рассказал ваш бывший любовник Куницын, который и достал вам два фальшивых паспорта, чтобы бежать вместе с вами за границу.

Евгения Николаевна *(сохраняя более оскорбленный, чем сконфуженный вид)*. Какой-то еще Куницын любовником моим стал,— только этого недоставало!

Бургмейер. Однако вы этого какого-то Куницына знаете?

Евгения Николаевна. Да, я встречалась с одним Куницыным в обществе.

Бургмейер. Полно, в обществе ли? Не в уединении ли где-нибудь, в трактирных нумерах, например!..

Евгения Николаевна *(захохотав уже неискренно)*. Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!.. Чем дальше, тем лучше! Но допустим, что Куницын мой любовник!.. Что я где-то там видалась с ним и что он достал два паспорта!.. Для чего же, однако, Куницыну идти рассказывать вам все это про себя?

Бургмейер. Для того, что он не так еще, видно, развращен, как вы! Сам устыдился этого поступка своего!.. Кроме того, ему посоветовал это сделать один честный приятель его!..

Евгения Николаевна *(прерывая его)*. И приятель этот Мирович, конечно?

Бургмейер. Мирович — да!

Евгения Николаевна *(опять злобно захохотав)*. Ха-ха-ха!.. В сущности, это не Мирович, а жена ваша! Мне странно: вы, Александр Григорьич, считаетесь еще умным человеком, а такой простой лжи и выдумки понять не могли! Жене вашей, конечно, приятно поссорить нас и разлучить...

Бургмейер *(перебивая ее и сильно раздраженным голосом)*. О жене моей не смей ты и говорить своим богомерзким языком!

Евгения Николаевна *(тоже выходя из себя)*. Ах, этого вы мне никак не можете запретить! Никак! Я мало, что вам говорю, но и поеду и скажу еще ее любовнику!.. Пусть и он знает, как она его любит!.. Если она сама сделала против вас проступок, так не смей, по крайней мере, других чернить в том же.

Бургмейер *(тем же голосом)*. Кто ж тебя может очернить? Кто?.. Когда ты сама себя очернила кругом! Когда черна твоя душа и сердце!

Евгения Николаевна. Прекрасно!.. Благородно!.. И для кого же это я очернила себя? Я, кажется, для вас первого пала! И у вас, бесстыжий человек, достает духу кидать мне этим в лицо!.. *(Начинает плакать.)* Это, конечно, одна только бедность моя дает вам смелость наносить мне такие оскорбления!.. Как, однако, ни мало имею, но лучше обреку себя на голод и нищету, а уж не стану переносить подобного унижения.

Бургмейер. Голодом и нищетой вашей вы меня не поражайте! Кроме собственного вашего капитала, который утроился в делах моих, и тех денег, которые я платил за вас по магазинам и которые шли собственно не на наряды ваши, а переходили вам в карман,— это я тоже знаю и замечал! — но я даже дам вам возможность обокрасть меня!.. *(Подходя к шкафу и указывая на него.)*. Вы думали, что тут шестьсот тысяч... Их даже больше тут; но вы бы могли из них воспользоваться только десятью тысячами, потому что остальные положены на мое имя!.. *(Торопливо и дрожащими руками отпирая шкаф и вытаскивая оттуда огромную пачку денег.)* Нате вам эти деньги!.. Возьмите их. *(Кидает деньги почти в лицо Евгении Николаевне, которая как бы случайно*

ловит их в руку. Продолжает уже бешеным голосом.) Только сейчас же и вон из моего дома!.. Ни минуты не оставаться!.. Иначе я велю вас выгнать моим лакеям... *(В одно и то же время дергает за сонетку и кричит.)* Эй, люди!

Евгения Николаевна *(немного уже и струсив)*. Ты в самом деле, видно, совсем рехнулся. Лакеев своих еще призывать выдумал... Я сама вспыльчива: я тебе все глаза выцарапаю и в лицо тебе наплюю, дурак этакий. Подлец! Свинья! Козел старый!.. *(Идет к дверям.)*

Входит поспешно лакей.

Бургмейер *(показывая ему на уходящую Евгению Николаевну)*. Эта вот госпожа уезжает; вынести вслед за ней куда-нибудь в нумер и вещи ее. Чтобы синя пороха, ничего ее здесь не оставалось. И не пускать ее потом ни в дом ко мне, ни в кухню, ни в конуру, даже к подворотной собаке моей!

Лакей *(слегка улыбаясь)*. Слушаем-с, не станем пускать... Господин доктор к вам приехал.

Бургмейер *(не расслышавший его и обращаясь к публике)*. Лгать этой мерзавке так же легко, как пить воду, и никакого стыда при этом... В безделице я уличал ее? В покушении на воровство! Если бы даже это неправда была, так она, как женщина, должна была бы смутиться перед одним ужасом такого обвинения — ничего!! В какое, господи, время мы живем!..

Лакей. Господин доктор идет, Александр Григорьич.

Бургмейер *(услышав, наконец, его)*. Кто?

Лакей. Доктор приехал-с и идет к вам.

Бургмейер. Пусть идет!.. Бог какой и царь прибыл! *(Садится и начинает нервно постукивать ногою.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Входит доктор Самахан, рябой, косой, со щетинистыми черными волосами и вообще физиономией своей смахивающий несколько на палача. Лакей почтительно перед ним сторонится и уходит.

Самахан *(нагло и надменно взглядывая на Бургмейера)*. Вы хозяин дома и больной?

Бургмейер *(мрачно)*. Точно так-с.

Самахан. Желаете, чтоб я вас исследовал?

Бургмейер. Если нужно это.

Самахан. Конечно, нужно. Вы не лошадь, чтобы вас зря лечить... *(Берет стул, садится против Бургмейера и первоначально смотрит на него некоторое время внимательно, а потом довольно грубо прикладывает большой палец свой к одному из век Бургмейера, оттягивает его и как бы сам с собой рассуждает.)* Существует малокровие и заметно несколько усиленное отделение желчи... *(Затем, откинувшись на задок стула, Самахан начинает уже расспрашивать Бургмейера.)* Сколько вам от роду лет?

Бургмейер. Сорок восемь.

Самахан. Не имеете ли вы каких-нибудь ярких и в определенной форме выраженных болей?

Бургмейер. У меня голова очень часто болит, почему я послал за вами. Я страдаю тик-дулурё...

Самахан *(насмешливо)*. Представьте мне это определить, тик ли у вас дулурё или что другое. Не подвержены ли вы некоторым дурным физическим наклонностям, то есть не пьянствуете ли, не обжираетесь ли, не очень ли много забавляетесь с женщинами?

Бургмейер. Я никаких этаких наклонностей не имею.

Самахан *(с полной уже важностью)*. Так-с. Извольте встать на ноги.

Бургмейер встает.

(Прикладывает ухо к его груди, но потом тотчас же в удивлении отступает от него.) Что это у вас за страшное трепетание сердца? Меня, что ли, вы перепугались так?

Бургмейер. Нет-с, я на прислугу свою сейчас только очень рассердился.

Самахан *(презрительно улыбаясь)*. Стоило, признаюсь!.. В груди я ничего, кроме этого, не вижу дурного. Лягте на диван.

Бургмейер не совсем охотно ложится.

(Став перед Бургмейером.) Согните немного ваши ноги. *(Начинает его поколачивать по животу вынутым из кармана молоточком.)*

Бургмейер слегка при этом вскрикивает.

(Опять усмехаясь). Нежны уж очень, чувствительны. В животе тоже никаких нет страданий. Повернитесь спиной вверх.

Бургмейер совершенно уже нехотя поворачивается. Самахан большим пальцем проводит по всему его позвоночному столбу. Бургмейер уже закричал.

Самахан. Где вы почувствовали боль: в одном ли каком позвонке или во всем позвоночном столбу?

Бургмейер (*вставая и, видимо, не желая себя давать более исследовать*). Во всем... Вы чуть не сломали мне спины.

Самахан. Не вдруг ее сломаешь. Крепка еще она. Боль вы чувствовали оттого, что я вас сильно давнул пальцем. Сядьте теперь.

Бургмейер садится и почти не глядит на доктора.

Самахан (*тоже садясь*). И извольте слушать, что я буду говорить. По утрам вы чувствуете желание кислого и жажду...

Бургмейер. Это я чувствую; кроме того...

Самахан (*перебивая его*). Чувствуете потом желание быть скорее на воздухе...

Бургмейер. Может быть-с! Но, как я сказал вам, сверх того я...

Самахан (*закричал на него*). Пожалуйста, не прерывайте меня!.. Вы достаточно уже говорили, позвольте мне... Я без всяких ваших кроме того знаю, что у вас: болезнь ваша есть собственно малокровие и сопряженное с ним нервное расстройство. Лечение для вас должно состоять: ешьте больше мяса, будьте целый день на воздухе да и на прислугу вашу поменьше сердитесь.

Бургмейер. Я бы прежде всего желал, чтобы вы меня от тик-дулурё избавили.

Самахан (*передразнивая его*). Тик-дулурё! Тик-дулурё какой-то затвердил! Весь ваш тик-дулурё есть результат того же малокровия и по форме своей не что иное, как маскированная лихорадка. Я пропишу против нее вам мышьяку... (*Поднимается с своего стула.*)

Бургмейер (*восклицая*). Как мышьяку-с?

Самахан. Так мышьяку... (*Садится за письменный стол и пишет.*) Отравить, вы думаете, я вас хочу? Всякий яд зависит от степени концентричности, и кофе — яд, однако вы пьете его каждый день... (*Вставая из-за стола и показывая на рецепт.*) Принимать, как тут сказано... (*Берется за шляпу.*)

Бургмейер тоже встает и подает доктору приготовленную для него тысячу.

(Кладя деньги в карман.) Благодарю!

Бургмейер. Потрудитесь, доктор, и рецепт ваш взять назад: я по нем принимать не стану.

Самахан *(рассмеявшись)*. Что ж вы мышьяку, вероятно, испугались?

Бургмейер *(с волнением в голосе)*. Нет, я не того испугался!.. Я испугался еще, когда вы заранее велели мне сказать, что желаете получить с меня тысячу рублей! Врачу, который так относится к больным, я не могу доверять.

Самахан *(насмешливо взглядывая на Бургмейера)*. А как же, вы думаете, я должен был бы относиться? Меня тысячи людей требуют в день, и чем же, при выборе, могу я руководствоваться? Кто мне дороже даст, к тому я и еду.

Бургмейер *(с возрастающим волнением)*. При выборе, я полагал бы, что вы должны ехать и спешить туда, где больной опасней и серьезней болен.

Самахан *(заметно обозлясь)*. Скажите, какой новый моралист выискался: только вам-то бы, господин Бургмейер, меньше, чем кому-либо, пристало быть проповедником... Ежели я получаю много денег и получаю... не скрываю того... несколько грубо и с насилием, то мне дают их за мое докторское провидение, за то, что я... когда вы там... я не знаю что... в лавке ли у родителей торговали или в крепостной усадьбе с деревенскими мальчишками играли в бабки, я в это время учился, работал!.. Но чем вы-то, какими трудами и знаниями нажили ваши миллионы, спросите-ка вашу совесть и помолчите лучше! А по рецепту моему я советую вам принять! Мышьяк, вероятно, вам поможет. *(Кивает слегка хозяину головою и, в комнате еще надев шляпу, уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ IX

Бургмейер *(оставшись один и в совершенно озлобленном состоянии)*. Поможет, я думаю! Какое, однако, приятное положение: к помощи доктора я не могу даже отнестись с полным доверием, потому что каждому из этих шарлатанов, конечно, гораздо приятнее протянуть мою болезнь, чем вылечить, да еще дерзости от

них выслушивай! Вот вы все, жаждущие и ищущие миллионов, придите, полюбуйтесь на меня и посмотрите, какие великие наслаждения дают мне эти миллионы! Я перестал даже быть человеком для прочих людей, а являюсь каким-то мешком с деньгами, из которого каждый, так или иначе, ожидает поживиться! Куда бы я ни устремился, чего бы ни пожелал, что бы ни полюбил — всюду, на всех путях моих, как враги недремлющие, стоят эти деньги, деньги и деньги мои! А в конце концов, когда умру, так и оставить их еще некому, кроме дурака Симхи! Жене ежели завещать, так примет ли еще она их? Кроме того, она все-таки бросила меня, осрамила на весь мир. Но не сам ли я толкнул ее на то?.. Нет!.. Видит бог, я не желал этого!.. Я сказал ей тогда, думая, что она, для спасения нашего общего благосостояния, похитрит только с Мировичем, позавлечет его: он исполнит ее желание... Кто ж ожидал, что она сама влюблена в него до такой степени и что просьба моя в одно и то же время оскорбит ее и обрадует! Когда она пришла при мне к Мировичу, я глупо, конечно, сделал, что не увел ее насильно от него, хоть бы даже за руку... Но разве бы она послушалась меня? Характер у нее тоже не из покорных!.. Вышел бы еще, пожалуй, большой скандал!.. Главная вина моя в том, что я слишком заботился собирать те сокровища, которые и тать ворует и тля поедает, но о другом-то мало помышлял, и потому доктор прав: не мне кого-либо осуждать... Жена как хочет потом, но я с своей стороны дело сделаю... Симха!.. Позовите его ко мне!

ЯВЛЕНИЕ X

На этот зов вбегает Руфин.

Бургмейер. Где ты все бываешь?.. Точно не знаешь, что ты один у меня!

Руфин. Я, господин, ходил об господине Мировиче хлопотать, и компания «Беллы» берет его, чтоб он уехал только в Америку. «Мы, говорит, его знаем: он человек честный, а нам честного человека там и надо!»

Бургмейер *(побледнев даже)*. Вот еще хорошо выдумал! Тогда Мирович совсем уже увезет у меня жену, не узнаешь, где и будет она!

Р у ф и н *(с лукавством)*. О, нет, господин, не увезет! Не на что будет увезть, да и Клеопатра Сергеевна не поедет с ним!.. *(Таинственно.)* Все ссорятся, говорят, теперь!..

Б у р г м е й е р *(почти довольным голосом)*. В чем же они ссориться могут?

Р у ф и н. От бедности! В бедности, господин, все кажется, что тот и другой нехорошо делают.

Б у р г м е й е р. Неужели же, Симха, Клеопатра Сергеевна и после смерти моей ничего не захочет получить от меня?

Р у ф и н. Не знаю, господин, этого, не знаю...

Б у р г м е й е р. Впрочем, это все равно!.. Позови какого-нибудь поумней нотариуса!.. Я хочу написать духовную, и тебя я тут обеспечу... вполне обеспечу...

Р у ф и н *(целуя Бургмейера в плечо)*. Благодарю вас, господин... *(Постояв некоторое время и переминаясь с ноги на ногу.)* Я еще, господин, просьбу мою приношу к вам: на Евгению Николаевну вы изволили теперь разгневаться!.. Изволили удалить ее от себя!.. Что же теперь вам в ней?.. Не позволите ли, господин, мне жениться на ней?

Б у р г м е й е р *(сильно удивленный)*. Тебе?.. На Евгении Николаевне?..

Р у ф и н *(смешавшись немного)*. Да, господин!.. Теперича она встретилась мне: «Господин Руфин, говорит, если вы желаете, то можете жениться на мне!»

Б у р г м е й е р *(со сверкнувшим гневом в глазах)*. С какого же повода она могла сказать тебе это?.. Стало быть, ты прежде говорил с ней что-нибудь подобное?

Р у ф и н *(покраснев в лице)*. Как же я, господин, мог говорить с ней?..

Б у р г м е й е р. Но отчего же у тебя глаза забегали и все лицо твое загорелось заревом?

Р у ф и н. Господин, я очень боюсь, что не прогневал ли вас совершенно!

Б у р г м е й е р *(берет себя за голову)*. Теперь, кажется, все начинает для меня проясняться!.. *(Показывая публике на Руфина.)* Он поэтому... взят был Евгенией вместо Куницына, и вот почему он так всегда умиротворял меня по случаю разных долгов ее!.. И я таким образом совсем уж кругом был в воровской засаде... *(Повертывается вдруг к письменному столу, проворно*

берет с него револьвер, подходит с ним к Руфину, хватает его за шиворот и приставляет ему ко лбу револьвер.) Говори: ты был любовником Евгении Николаевны?

Руфин *(дрожа)*. О, нет, господин!

Бургмейер *(почти с пеной у рта)*. Говори! Иначе я тебя, как собаку, сейчас пристрелю, если ты хоть минуту станешь запираться...

Руфин *(склоняясь было на колени)*. Виноват, господин, я только влюблен в нее был и глазки ей делал.

Бургмейер *(не давая ему стать на колени и продолжая держать его за шивороток)*. А обокрасть меня сбирался вместе с нею и бежать за границу?.. Признавайся, или я немедля спущу курок!

Руфин *(совсем потерявшись)*. Это она, господин, говорила мне: «Уедем, говорит, и возьмем из этого шкафа деньги!» — «Зачем, говорю, у вас свой капитал есть!»

Бургмейер *(тряся его)*. Отчего ж ты мне не сказал об этом и не предуведомил меня?.. Я тебя от голодной смерти спас!.. Я тебя вырастил... воспитал!.. Я хотел тебя сделать наследником моего состояния, а ты вошел в стачку с ворами, чтоб обокрасть меня! Убивать я тебя не стану: из-за тебя в Сибирь не хочу идти!.. *(Бросает в сторону револьвер и кричит.)* Люди! Люди!

Вбегают лакеи.

Бургмейер *(почти швыряя им в руки Руфина)*. Посадить его в каземат, в подвал!.. И полицию ко мне скорее. Полицию!..

Руфин *(едва приходя в себя)*. Господа лакеи! Господин повышибал мне зубы!.. Окровянил меня!.. *(Плюет себе на ладонь и показывает ее лакеям.)* Вот же кровь моя!

Бургмейер *(с неистовством)*. Тащите его сию же минуту!

Лакеи тащат Руфина. Он продолжает восклицать: «Господин окровянил меня!.. Я буду жаловаться на него!»

ЯВЛЕНИЕ XI

Бургмейер *(один)*. И этот обманул меня!.. У каждого из поденщиков моих есть, вероятно, кто-нибудь, кто его не продаст и не обокрадет, а около меня все враги!.. Все мои изменники и предатели! Мне страшно,

наконец, становится жить! На кинжалах спокойно спать невозможно. Мне один богом ангел-хранитель был дан — жена моя, но я и той не сберег!.. Хоть бы, как гору сдвинуть, трудно было это, а я возвращу ее себе... *(Громко кричит.)* Кто там есть!.. Введите ко мне опять этого Симху.

ЯВЛЕНИЕ XII

Два лакея вводят Руфина под руки. Он дрожит, как осиновый лист, между ними.

Бургмейер *(Руфину)*. Послушай, мошенник!.. Я думал сто тысяч истратить на то, чтобы сослать тебя на каторгу!.. Но я все тебе прощу!.. Все! Понимаешь?.. Я позволю тебе жениться на Евгении Николаевне, даже дам гебе приданое за ней, только разлучи ты Мировича с моей женой и помири ты меня с нею.

Руфин *(сейчас же оправившийся и совсем как бы не битый)*. Господин!.. Но как же мне сделать то, я не знаю.

Бургмейер. Врешь, врешь!.. Ваша жидовская порода через деньги миром ворочает, а ты неужели не можешь помирить меня ими с одной женщиной?

Руфин *(видимо начинающий кое-что соображать по этому предмету)*. Позвольте, господин!.. Теперь господин Мирович, может быть, уедет в Америку; он сам вам оставит Клеопатру Сергеевну.

Бургмейер. Да не поедет он, пойми ты это! Ведь у него не твоя подлая душа, чтобы за деньги продать любовь свою!

Руфин *(как бы с некоторым остервенением даже)*. А тогда я скуплю его сохранную расписку. Я видел на две тысячи его расписку, я куплю ее и посажу его в тюрьму ею...

Бургмейер *(смотря в упор на Руфина)*. Расписку? В тюрьму?.. *(Отворачиваясь потом от Руфина и махая рукой.)* Скупай! Сажай!.. Он больше чем свободу отнял у меня. Он отнял счастье и радости всей моей жизни,— сажай!

Руфин *(совсем отпущенный лакеями и поднимая пред публикой обе руки)*. Посажу!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Внутренность избушки дачной в Зыкове. На одной стороне сцены дрянной письменный столишко с некрашеным деревянным стулом перед ним, а на другой — оборванный диванишко.

ЯВЛЕНИЕ I

Мирович (*с сильно уже вылезшими волосами, в очень поношенном пальто и в зачиненных сапогах, в раздумье шагая по комнате*). Что хочешь, то и делай: ни за дачу заплатить нечем, ни в городе нанять квартиры не на что, а службы все еще пока нет! Сунулся было попроситься в судебное ведомство,— прямо дали понять, что я увез у богатого подрядчика жену и за это промиротворил ему. Каким же образом дать такому человеку место? Впрочем, нашлась какая-то сердобольная компания «Беллы». Сама, неизвестно с какого повода, прислала вдруг приглашение мне, что не желаю ли я поступить к ней на службу с тем, чтоб отправиться в Америку: «Вы-де человек честный, а нам такого там и надобно»... (*Грустно усмехаясь.*) Очень благодарен, конечно, за такое лестное мнение обо мне, но все-таки этого места принять не могу. Если бы один был, то, разумеется, решился бы, а тут где? У меня на руках женщина, и здесь еле перебиваемся, а заедешь в неизвестную страну, рассоришься как-нибудь с компанией и совсем на голой земле очутишься. Да. Стоит человеку шаг только один неосторожный сделать, так уж потом ничем его не поправишь: ни раскаянием, ни готовностью работать, трудиться — ничем. Сгинь и пропадай он совсем. Однако что же я? Пора корректуру поправлять... (*Снова с грустной усмешкой.*) Корректором уж сделался, а то хоть с голоду умирай... (*Подходит к письменному столу, садится за него и начинает заниматься.*)

ЯВЛЕНИЕ II

Входит кухарка, толстая, безобразная, грязная старуха и порядком пьяная. Выйдя на середину комнаты, она останавливается, растопыря ноги.

Кухарка. Барин, а барин!

Мирович (*не глядя на нее*). Что тебе?

Кухарка. Тебя барин какой-то с барыней спрашивают.

Мирович (*все-таки не глядя на нее*). Меня?

Кухарка. Да, тебя. Он словно не русский. Черномазый такой, как цыган, а барыня с ним — та русская.

Мирович. Что такое русская, не русский? А Клеопатра Сергеевна дома?

Кухарка. Нету-ти, не приехамши еще. Они не Клеопатру Сергеевну спрашивают, а тебя.

ЯВЛЕНИЕ III

Во входных дверях показываются Евгения Николаевна, в прелестной шляпке и дорогом шелковом платье, и Руфин, тоже в новом фраке, при золотой цепочке, в белых перчатках и с новенькою пуховою шляпой в руках.

Кухарка (*показывая им пальцем на Мировича*). Вон он сидит сам!.. (*Поворачивается и хочет уйти, но не попадает в двери, стукается головой в косяк и при этом смеется.*) Не попала!.. (*Откидывается в другую сторону и произнеся при этом.*) Тёла, стой, не разъезжайся! (*Уходит.*)

Мирович, поднявши при этом голову и увидя перед собой Евгению Николаевну и Руфина, приходит в удивление и привстает с своего места.

Евгения Николаевна (*любезным и развязным тоном*). Вы, Вячеслав Михайлыч, никак уж, конечно, не ожидали меня видеть.

Мирович (*пожимая плечами*). Признаюсь, не ожидал.

Евгения Николаевна (*выходя на авансцену*). Я знала, что Клеопатры Сергеевны дома нет. Нарочно так и приехала лично к вам... (*Показывая на Руфина.*) Рекомендую, это муж мой Руфин.

Мирович (*еще с бо̀льшим удивлением*). Муж ваш?

Евгения Николаевна (*несколько сконфузившись*). Да, мы третьего дня только обвенчались.

Мирович (*всматриваясь в Руфина*). Я немного знаком с вами. Вы поэтому окрестились?

Руфин. Окрестился. Господин Толоконников был моим восприемником. (*Слегка улыбаясь.*) Я уж теперь Семион Измаилыч называюсь, по папеньке моему крестному.

Мирович. И денежную награду, вероятно, за это получите?

Руфин. Получу; пятьдесят рублей, говорят, дают. Я получу.

Мирович. Конечно. Зачем же терять? А у господина Бургмейера вы продолжаете еще быть приказчиком?

Руфин. Нет, я сам по себе живу.

Мирович. То есть как же? Как и тогда же сами по себе жили?

Руфин. Нет, теперь уж я совсем не у него.

Евгения Николаевна *(сильно волновавшаяся от всех расспросов Мировича и перебивая мужа)*. Мы в совершенно отдельном доме живем. У мужа никаких даже дел нет от Бургмейера, кроме самых незначительных и, между прочим, вашего дела.

Мирович. Какого это моего дела?

Евгения Николаевна. Сейчас расскажу. Но вы, однако, позвольте нам поприсесть у вас. Сами вы нас не приглашаете к тому. *(Мужу.)* Садись.

Руфин сейчас же сел на один из стульев и только никак не мог сладить со своими неуклюжими и вдобавок еще в перчатки затиснутыми руками. Сама Евгения Николаевна, с чувством брезгливости смахнула с дивана пыль, уселась на него, вынула из кармана своего платья очень красивую папиросницу, взяла из нее спичку и папироску и закурила. Во всех манерах Евгении Николаевны, вместо прежней грациозной женщины, чувствуется какая-то чересчур уж разбитная госпожа, так что, усевшись, она сейчас же выставила из-под платья свою красивую ботинку и начала ею играть. Мирович также опустился на свой стул.

Евгения Николаевна *(как-то в сторону и наотмашь, попыхивая своею папиросочкой)*. Прежде, Вячеслав Михайлыч, вы, как мне казалось, по крайней мере верили в мою дружбу, но теперь, я боюсь, вы разочаровались немножко во мне.

Мирович. Отчасти-с.

Евгения Николаевна. Очень жаль. Но настоящий визит мой, впрочем, надеюсь, опять убедит вас несколько в ней. Что я жила в доме у Александра Григорьича Бургмейера и что в последнее время рассорилась с ним, вы, конечно, знаете.

Мирович. Да-с, я слышал это.

Евгения Николаевна. И слышали тоже, что Бургмейеру ваш приятель Куницын, который бог знает каким лгуном уж тут является, наплел на меня целую ахинею. Бургмейер сначала всему верил, но теперь, кажется, несколько поколебался... *(С иронической улыбкой.)* Так что, даже наградивши меня маленьким приданым, постарался пристроить за своего бывшего управ-

ляющего, как обыкновенно старые богатые вельможи делали.

М и р о в и ч при этом презрительно улыбнулся.

Е в г е н и я Н и к о л а е в н а *(заметив это)*. Что Куницын по своей ветрености способен все сделать, мне не удивительно, но говорят, будто бы он — что меня очень уж поразило — явился к Бургмейеру по вашему, между прочим, совету. Правда это или нет?

М и р о в и ч *(подхватывая)*. Совершенная правда!

Е в г е н и я Н и к о л а е в н а *(несколько опешенная этим)*. Вас, впрочем, я тут много не виню: вы сами, вероятно, были введены в обман, потому что я очень подозреваю, что всю эту историю выдумала и заставила Куницына рассказать ее Бургмейеру, собственно, ваша Клеопатра Сергеевна!

М и р о в и ч *(уже строгим голосом)*. Как-с Клеопатра Сергеевна?

Е в г е н и я Н и к о л а е в н а. Почти уверена в том и сделала это затем, что сама желает воротиться к мужу. Этим словам моим вы, конечно, не поверите.

М и р о в и ч *(тем же голосом)*. Вы не ошиблись!.. Я всем даже словам вашим совершенно не верю!..

Е в г е н и я Н и к о л а е в н а. Ваше дело, хотя я в то же время опять должна сказать, что про Клеопатру Сергеевну я только подозреваю, но что господин Бургмейер желает с ней сойтись, на это уж я имею положительные и неопровержимые доказательства.

М и р о в и ч. Он может желать, сколько ему угодно, это ему никто не мешает.

Е в г е н и я Н и к о л а е в н а. Но он, по-видимому, кроме желания, имеет полную надежду привести это в исполнение... Первое его намерение было удалить вас куда-нибудь подальше отсюда. Для этого он упросил компанию «Беллы» сделать вам предложение ехать в Америку. Вы, я знаю, получили такое приглашение?

М и р о в и ч молчит.

(Продолжая.) Но вы, как я слышала, были так умны и проницательны, что поняли ловушку и отказались от этого прекрасного предложения; тогда господин Бургмейер решился употребить против вас более верное средство... Муж мой теперь налицо и может подтвердить то, что я вам говорю... Он велел ему скупить какое-то взыскание на вас, по которому ежели вы не заплатите Бургмей-

еру, то он поручил мужу посадить вас в тюрьму, и тогда уж, конечно, Клеопатре Сергеевне очень удобно будет возвратиться к супругу своему.

Мирович *(со вспыхнувшим лицом)*. Что господин Бургмейер готов мне сделать всевозможное зло, я никогда в этом не сомневался.

Евгения Николаевна. Н-ну! Может быть, тут и не один Бургмейер виноват... Я, собственно, затем и приехала, чтобы повторить вам несколько раз: «Остерегитесь и остерегитесь!..» *(Обращаясь к мужу.)* Но скоро ли же будут взыскивать с господина Мировича?

Руфин. Скоро! Господин Бургмейер приказал спешить мне... Исполнительный лист выдан судом! Сегодня или завтра по нем станут взыскивать!

Евгения Николаевна. Уже!.. *(Мировичу.)* Поэтому сегодня или завтра вы окончательно убедитесь...

ЯВЛЕНИЕ IV

Входит кухарка.

Кухарка. Барин!... Барыня воротилась и спрашивает, кто у тебя в гостях сидит?

Мирович. Скажи, что Евгения Николаевна... или, впрочем, ты переврешь?

Кухарка. Переврү, барин!

Мирович. Подожди, я тебе напишу, и ты отдашь это барыне! *(Пишет на клочке бумаги и подает его кухарке, которая по-прежнему нетвердой, но заметно остерегающейся походкой уходит и на этот раз прямо уже попадает в дверь.)*

Евгения Николаевна *(вставая)*. Мы, однако, позасиделись! Клеопатре Сергеевне, вероятно, не будет большого удовольствия видеть меня... *(Мужу.)* Поедем.

Тот сейчас же поднялся на ноги.

(Мировичу.) До свидания, Вячеслав Михайлыч! Дайте мне по крайней мере на прощанье вашу руку!

Мирович *(не подавая ей руки)*. Нет-с, извините вы меня: я клеветникам и клеветницам не подаю моей руки.

Евгения Николаевна *(усмехаясь)*. А вы все еще считаете нас клеветниками! Увидите сами потом...

Уходит вместе с мужем.

ЯВЛЕНИЕ V

Мирович (*оставшись было один, начинает говорить*). Еще новые радости!.. Час от часу не легче!

Но в это время из внутренней комнаты показывается Клеопатра Сергеевна. Она в черном шелковом, но почти худом платье.

Клеопатра Сергеевна. Ушли твои гости?

Мирович. Ушли!

Клеопатра Сергеевна. Но кто такая Евгения Николаевна Руфина?.. Жени, что ли?

Мирович. Жени!

Клеопатра Сергеевна. Но почему же она Руфина?

Мирович. Потому что на днях вышла замуж за управляющего господина Бургмейера — Руфина.

Клеопатра Сергеевна. Вот новость!.. (*Подходит и садится на диван. Она заметно утомлена.*) Но зачем же к нам она пожаловала? Я вовсе не желаю ее видеть.

Мирович. Она не к тебе и приезжала, а ко мне.

Клеопатра Сергеевна. А к тебе зачем?

Мирович. С новостями разными... (*Всматриваясь в Клеопатру Сергеевну.*) Но что такое с тобой, Клеопаша? Посмотри: у тебя все платье в грязи... Лицо в каких-то красных пятнах... Волосы не причесаны...

Клеопатра Сергеевна (*сначала было слегка усмехаясь*). Я устала очень!.. Пешком пришла из города... Жалко было денег на извозчика, да к тому же рассердилась... (*Помолчав немного и с навернувшимися слезами на глазах.*) Госпожа, которой относила я платье, ни копейки мне не заплатила.

Мирович. Это отчего?

Клеопатра Сергеевна (*совсем сквозь слезы*). Говорит, что я испортила ей платье, что она будет отдавать его переделывать и прикупит еще материи, а потому я даже ей останусь должна, а не она мне... (*Закрывает лицо платком, чтобы скрыть окончательно полившиеся слезы.*)

Мирович. Но слезы-то такие о чем же?.. Из-за таких пустяков! Как тебе не стыдно, Клеопаша!.. На, выпей лучше воды!.. (*Наливает стакан и подает его Клеопатре Сергеевне.*)

Клеопатра Сергеевна (*отталкивая стакан и капризным голосом*). Не надо!.. Отвяжись!..

Мирович, видимо, этим оскорбленный, отошел от Клеопатры Сергеевны, поставил стакан на стол и сел заниматься.

Клеопатра Сергеевна (*продолжая плакать*). Дура этакая!.. Скупая!.. Жадная!.. Всякую бедную готова обсчитать.

Мирович (*не оставляя своей работы и с некоторой как бы ядовитостью*). Но, может быть, ты и в самом деле дурно сшила.

Клеопатра Сергеевна. Хорошо я сшила!.. Она придралась только так...

Мирович (*опять как бы с ядовитостью*). Ну не думаю, чтоб очень уж хорошо...

Клеопатра Сергеевна. Почему ж ты не думаешь?..

Мирович. Потому что все русские женщины, кажется, не совсем хорошо умеют шить, особенно вы, барыни.

Клеопатра Сергеевна. Вы, мужчины, лучше!

Мирович. Мужчины все словно бы подаровитей немного и потолковей.

Клеопатра Сергеевна (*рассердясь*). Ужасно как толковы! И что это за страсть у тебя, Вячеслав, в каждом разговоре подставить мне шпильку и сторсной этак намекнуть мне, что я глупа и делать ничего не умею.

Мирович. Когда ж я это говорил?

Клеопатра Сергеевна. Ты всегда это хочешь сказать и разными доводами убедить меня в том!.. Но я тебе несколько раз говорила, что я очень самолюбива и если увижу, что человек меня не уважает, смеется надо мной, я не знаю на что готова решиться.

Мирович. Бога ради, не развивай по крайней мере далее этих сцен!.. У нас есть очень многое более серьезное, о чем мы можем беседовать и горевать...

Клеопатра Сергеевна. Не знаю: для меня это очень серьезное, и что же еще для нас может быть серьезнее этого?

Мирович. Да хоть бы то, что вот сейчас твоя бывшая приятельница, Евгения Николаевна, рассказывала мне.

Клеопатра Сергеевна. Что такое она могла рассказывать тебе?

Мирович. Уверяла, что вся эта история, которую про нее повествует Куницын, ложь совершенная и что будто бы даже ты все это выдумала и научила Куницына...

Клеопатра Сергеевна. Я?.. Ах, она дрянь этакая. Очень мне нужно что-нибудь про нее выдумывать, я и про существование ее совсем забыла.

Мирович. Потом она меня предостерегала, что муж твой очень желает опять с тобой сойтись и для того, чтобы разлучить меня с тобой, велел даже скупить одно мое обязательство и засадить меня за него в тюрьму.

Клеопатра Сергеевна (*побледнев*). Тебя... В тюрьму?

Мирович. Да!..

Клеопатра Сергеевна (*все еще как бы желая не верить тому, что слышит*). Вот уж про нее это можно сказать, что она сама тут все навыдумывала...

Мирович. Почему ж навыдумывала? От твоего супруга всего можно ожидать.

Клеопатра Сергеевна. Но надолго ли же он может тебя посадить?

Мирович. Пока я денег не заплачу!

Клеопатра Сергеевна. Но заплатить ты не можешь никогда, потому что у тебя нет денег.

Мирович (*насмешливо*). Денег нет!

Клеопатра Сергеевна. Ну, нет-с!.. Это извините!.. Я мужу не позволю этого сделать.

Мирович. Но каким же способом, желал бы я знать, ты ему не позволишь?

Клеопатра Сергеевна. Так!.. Не позволю!.. (*Встает и начинает ходить по комнате.*) Ты эти деньги занял и прожил на меня, а потому мой муж и должен их заплатить: я все-таки его жена.

Мирович (*разводя руками и усмехаясь*). Совершенно женская логика и даже женская нравственность: любовник женщины прожил на нее деньги, и потому муж ее должен заплатить их!

Клеопатра Сергеевна (*с возрастающим жаром*). Должен!.. Да!.. Он заел у меня молодость, всю жизнь мою, и это уж не твое дело, а мое: пусть будет моя логика и моя нравственность! (*Подумав немного.*) Все это, конечно, пустяки!.. Я не допущу этому быть! Для меня гораздо важнее тут другое! (*Вдруг останавливается.*) А теперь, пожалуйста, дай мне воды!.. Я чувствую, что мне в самом деле что-то очень нехорошо делается!.. (*Показывает себе на горло.*)

Мирович подает ей воды.

Клеопатра Сергеевна (*жадно выпивает целый стакан*). Ну и поцелуй меня поласковей, знаешь, как в первое время нашей любви ты меня целовал.

Мирович обнимает ее; она сама его страстно целует, а потом как бы отталкивает его.

Довольно!.. Садись на свое место!.. Я тоже сяду: у меня ноги подгибаются... (*Опускается на диван.*)

Мирович также садится. Заметно, что он заранее предчувствует несколько щекотливое для него объяснение.

Клеопатра Сергеевна (*в каком-то трепетном волнении*). Послушай, я давно хотела тебя спросить, но все как-то страшно было: вопрос уж очень важный для меня!.. Скажи!.. Но только, смотри, говори откровенно, как говорил бы ты перед богом и своей совестью!.. Говори, наконец, подумавши и не вдруг!.. Скажи: любишь ли ты меня хоть сколько-нибудь или совсем разлюбил?.. По твоему обращению со мной я скорей могу думать, что ты совсем меня разлюбил или даже почти ненавидишь.

Мирович (*нахмуриваясь*). Клеопаша!..

Клеопатра Сергеевна (*настойчиво*). Нет, ты говори мне всю правду, совершенную.

Мирович (*понурив голову*). Как мне сказать тебе правду?.. Определить тебе решительно, разлюбил ли я тебя или нет, я не могу, потому что это для меня самого тайна. Я одно только совершенно ясно сознаю, что мужчине при благоприятных даже условиях жизни, когда ему не нужно ни заботиться, ни трудиться, сидеть все время около женщины и заниматься только ее любовью и ласками с ней невозможно!.. Это унизительно почти и позорно!

Клеопатра Сергеевна (*глухим голосом*). Так!.. Совершенно верно!

Мирович (*продолжает*). Но когда еще при этом окружает нужда, когда знаешь, что надобно заработать кусок хлеба для себя и этой несчастной женщины, а работы в то же время нет, то это пребывание исключительно в одной области любви есть пытка! Пытка, слагающаяся из каждоминутных угрызений совести, скуки... презрения к самому себе... досады, если ты хочешь, доходящей, пожалуй, и до ненависти!

Клеопатра Сергеевна (*вспыхнув в лице*). Это я предчувствовала и в то же время совершенно понимаю

и довольна этим!.. В тебе я вижу опять настоящего мужчину, который хочет идти приличным ему путем; но отчего ж ты, друг мой, после этого не хочешь решительно и настойчиво искать себе место?.. Не здесь, наконец, а куда-нибудь в отъезд, в провинцию! Находят же люди места!

Мирович *(с презрительной усмешкой)*. Вот мне дает место компания «Беллы». В Америку только ехать — не угодно ли?

Клеопатра Сергеевна. Отчего тебе и не ехать в Америку?

Мирович *(насмешливо)*. Очень уж далеко!.. Господин супруг твой изобрел для меня это путешествие; по его инициативе делают мне это предложение, а потому никак нельзя ожидать, чтобы оно было благоприятно и выгодно для меня! Кроме того, он, наверняка, кажется, рассчитал, что, уезжая за такую даль и имея впереди столько случайностей, я никак не могу тебя взять с собой.

Клеопатра Сергеевна *(тем же глухим голосом)*. Меня тебе брать и не для чего.

Мирович. Но как же мне тебя здесь оставить? Не говоря о разлуке, которой и конца не предвидится, я в этом случае прямо должен буду обречь тебя на бедность.

Клеопатра Сергеевна *(как бы соображая что-то такое)*. Почему же на бедность?

Мирович. Потому что от себя я ничего не могу тебе уделить: мне назначают очень маленькое жалованье; но если ты надеешься на работу свою, так ты ошибаешься: работать ты не можешь даже по здоровью твоему, и что тебе тогда останется?.. *(С саркастической усмешкой.)* Разве возвратиться опять к мужу?

Клеопатра Сергеевна *(тяжело переводя дыхание)*. А если бы и то даже?

Мирович *(побледнев)*. Ну, это, знаешь, ужаснее всего бы для меня было! Это заставило бы меня потерять к тебе всякое уважение.

Клеопатра Сергеевна *(огорченным, но вместе с тем и твердым голосом)*. За что? За что, скажи мне на милость, ты потерял бы уважение ко мне?.. Ты, я вижу, Вячеслав, в самом деле ко мне какой-то жестокий и немилосердый эгоист!.. Ты меня разлюбил!.. Я тебе в тягость нравственно и материально, и ты требуешь. чтоб я,

как деревяшка какая-нибудь, ничего бы этого не понимала и продолжала тебя обременять собой. А что я к мужу опять уйду, что ж для тебя такого? Я не любовника нового сыщу себе!

Мирович. Но последнее было бы для меня менее унизительно!.. Тогда значит только, что ты встретила человека лучше, чем я, а таких на свете много; но, сходясь с мужем, ты как бы снова оцениваешь и начинаешь любить заведомо дрянь-человечишку, который весь состоит из жадности и вместе какой-то внешней расточительности, смирения пред тем, кто сильней его, и почти зверства против подчиненных; человека, вечно жалующегося на плутни других в отношении его, тогда как сам готов каждоминутно обмануть всякого — словом, квинтэссенцию купца.

Клеопатра Сергеевна (*отрицательно качая головой*). Нет, Бургмейер не таков! И потом, неужели купец не может быть хорошим и честным человеком?

Мирович. Нет, не может!.. Знаешь ли ты, что такое купец в человеческом обществе?.. Это паразит и заедатель денег работника и потребителя.

Клеопатра Сергеевна. Но нельзя же обществу быть совсем без купцов. Они тоже пользу приносят.

Мирович. Никакой! Все усилия теперь лучших и честных умов направлены на то, чтобы купцов не было и чтоб отнять у капитала всякую силу! Для этих господ скоро придет их час, и с ними, вероятно, рассчитаются еще почище, чем некогда рассчитались с феодальными дворянами.

Клеопатра Сергеевна. По-твоему, значит, все уж купцы, без исключения, дурные люди?

Мирович (*пожимая плечами*). Между теми из них, которые по рождению своему торгуют, может быть, еще найдется несколько порядочных человек, так как очень возможно, что сила обстоятельств склоняла их к тому; но ведь супруг ваш по личному вкусу избрал себе ремесло это! Душой, так сказать, стремился плутовать и паразитствовать, и если ты его предпочитаешь мне, чем же я, после того, являюсь в глазах твоих? Дрянью, которой уж имени нет, и ты не только что разлюбить, но презирать меня должна!

Клеопатра Сергеевна. Разлюбила ли я тебя, Вячеслав, или нет,— это я не знаю, а если ты не видишь

того, так бог тебе судья за то!.. И тоже знаю, что любовью моею я наделала тебе много зла; но пора же и опомниться: теперь я не прежняя глупенькая мечтательница. Впрочем, довольно, я утомилась очень!.. Я столько сегодня пережила!.. Поди, дай мне еще поцеловать тебя!..

Мирович подходит к ней, обнимает ее; она его страстно целует.

А теперь я пойду лягу! Мне что-то очень уж нездоровится... *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VI

Мирович *(один)*. Несчастные, несчастные мы с нею существа!.. И что тут делать, как быть? Хорошо разным мудрецам, удивлявшим мир своим умом, силой воли, характера, решать великие вопросы... Там люди с их индивидуальностью — тьфу! Их переставляют, как шашки: пусть себе каждый из них летит и кувыркается, куда ему угодно. Нет, вот тут бы пришли они и рассудили, как разрубить этот маленький, житейский гордиев узел!

Слышится звонкий голос и смех.

(Прислушиваясь.) Что это, никак Куницын?

ЯВЛЕНИЕ VII

Входит действительно Куницын.

Куницын *(разводя словно в удивлении руками)*. Какой случай, какой случай! — как говорят в водевилях.

Мирович. Что такое?

Куницын *(повторяя свое)*. Какой случай!.. Какой случай! Но погоди, наперед надо произвести уплату!.. Танюшка, а Танюшка, милая моя кухарочка!

Уходит в ту дверь, из которой появлялась кухарка.

Мирович *(с досадой)*. Вот уж не в пору гость!

Куницын *(возвращаясь)*. Никого!.. Пуста кровать! Девочка одна только сидит!

Мирович. Но где ж Татьяна?

Куницын. Девочка говорит, что ее барыня услала в Москву с письмом.

Мирович *(в недоумении)*. Как в Москву с письмом? Зачем?

Куницын. Не знаю! Врет, вероятно: прелестная Танечка просто, я думаю, в кабак убежала! Начинаю,

впрочем, мой рассказ: въехав в парк, я захотел попройтись пешком. Голова очень трещала: пьян вчера сильно был, и у самой церкви, нос к носу, сталкиваюсь с Евгенией Николаевной. В первый раз еще мы с ней встретились после роковой разлуки! Идет какой-то, батюшка, парижанкой... Экипаж отличнейший около нее едет... Оказывается, что супруг даже при ней есть, этот бургмейеровский жидок!.. Как увидала меня Евгения Николаевна, так сейчас и вцепилась и разругала меня, я тебе скажу, почти непристойными словами!.. Я ее таковыми же. Супруг было ее тут вступился... Я погрозил оному палкой... Не сойдясь таким образом в наших убеждениях, мы разошлись, и вдруг у ворот уж твоей дачи зрю: помнишь ты этого Хворостова, что еще с первого курса вышел, по непонятию энциклопедии правоведения, и которого, по случаю сходства его физиономии с мускулюс глютеус, обыкновенно все мы называли: «господин Глютеус». Он здесь, изволите видеть, судебным приставом служит... «Здравствуйте, говорю, господин Глютеус! Куда это вы путь ваш держите?» — «Что, говорит, ты бранишься все...» Знаешь, с этими надутыми щеками своими и глупой харей шепелявит. «Я, говорит, иду по службе!» — «Ну, пошлют ли, говорю, тебя, Глютка, куда-нибудь по службе! Что ты врешь!» Еще более обозлился. «Где, говорит, я вру: я иду к Мировичу деньги с него взыскивать, две тысячи рублей!» — «Что ты брешешь, говорю, показывай сейчас, какие это деньги?» Подал он мне бумагу; в самом деле взыскание. Я думаю: у парня ни копейки нет; чего доброго, в тюрьму потянут. Хвать себя за бумажник: хорошо, черт возьми, что у меня-то на этот раз деньги случились... Сунул я этому дуралею в руку две тысячи целковых, завел его в лавочку, взял с него расписку и, выведя опять на тротуар, будто шутя, повернул его и трах в шею, так что он носом почти у меня в грязь ткнулся. Заругался, заплевался. «Ничего, говорю, подлец, лайся! Не станешь вперед ходить со старого товарища деньги взыскивать!» И вот тебе оная расписка! *(Кладет с торжеством расписку на стол.)*

Мирович *(сгоревший при этом рассказе приятеля со стыда и беря его потом за руку)*. Благодарю тебя, добрый друг, но, право, мне совестно... Зачем и для чего ты это сделал? Наконец, где ты взял денег, и какие у тебя могут быть лишние две тысячи целковых?

Куницын *(наивно)*. Деньги эти у меня, брат, бургмейеровские. Помнишь, он обещался меня поблагодарить, если слова мои оправдаются; а сегодня поутру вдруг подают мне пакет, с виду ничего особенного не обещающий; распечатываю его... Вижу: деньги!.. Пересчитал — две тысячи рублей и коротенькая записочка, что это от господина Бургмейера,— кратко, деликатно и благородно!

Мирович *(почти в ужасе отступая от приятеля)*. И ты мой долг заплатил бургмейеровскими деньгами?.. Послушай, Куницын, у тебя действительно, видно, нет в голове никакого различия между честным и бесчестным. Как тебе самому-то не совестно было принять эти деньги от Бургмейера, потому что ты этим теперь явно показал, что продал ему любившую тебя женщину, и ты еще платишь этими деньгами за меня, любовника жены Бургмейера. Понимаешь ли ты, какое тут сплетение всевозможных гадостей и мерзостей? Наконец, ты меня ставишь в совершенно безвыходное положение. Я должен теперь бежать кланяться всем в ноги, чтобы мне дали две тысячи рублей, которые я мог бы швырнуть господину Бургмейеру назад! Но кто ж мне поверит такую сумму? Это жестоко, бесчеловечно с твоей стороны, Куницын! Если ты сам не понимаешь, так спросил бы прежде меня: нельзя же честью другого так распоряжаться.

Куницын *(совершенно опешенный и почесывая голову)*. Да, это так! Теперь я сам вижу, что тут есть маленькая неловкость. А вначале мне казалось, что я приятное для тебя делаю: все-таки человека не посадят в тюрьму!

Мирович. Что ж такое в тюрьму? Меня не за преступление посадили бы в тюрьму, и в этом случае гораздо бы меньше было уязвлено мое самолюбие, чем теперь.

Куницын *(почти сквозь слезы)*. Понимаю я!.. Извини, брат! Ей-богу, я не ожидал, что так тебя огорчу этим. Но погоди!.. Это поправить можно. На днях у меня еще получка будет, только по совершенно уже частному делу: свое последнее именьишко жеганул побоку — не хочу быть проприетером, и от меня бы ведь ты, конечно, принял деньги, чтобы заплатить там какому-нибудь дьяволу долг твой, иначе я рассорился бы с тобой навек.

Ergo[1]: как только я получу эти деньги, немедля же отправлю к господину Бургмейеру его две тысячи целковых и напишу ему: «Merci, я бабьим мясом не торгую!» — и ты тогда, выходит, мне уж должен будешь.

Мирович *(снова растроганный)*. Благодарю... Я в дружбе твоей, конечно, никогда не сомневался, но только на средства являть эту дружбу ты неразборчив.

Куницын. Что делать, братец, очень уж я нанюхался роз-то российских. Там-сям нюхнешь мошенников-то, смотришь, и сам сбрендил!.. Кто это точно стучится?.. *(Прислушиваясь.)* Так и есть... *(Поет.)* «Отперите, отперите!» — как пела у нас Рехт. *(Мировичу.)* Отворить, что ли?

Мирович. Отвори.

Куницын *(отворяя дверь и с удивлением на лице)*. Господин Бургмейер.

Мирович *(тоже восклицая)*. Бургмейер!

ЯВЛЕНИЕ VIII

Входит Бургмейер.

Бургмейер *(с потупленной головой и не обращаясь, собственно, ни к кому)*. Могу я видеть Клеопатру Сергеевну?

Мирович *(гордо встряхивая пред ним своими кудрями)*. Нет-с, не можете.

Бургмейер. Она сама прислала ко мне свою женщину и просила меня, чтоб я к ней приехал.

Мирович *(вспыхивая в лице)*. Клеопатра Сергеевна присылала к вам?

Бургмейер. Да, вот ее записка... Тут вышло некоторое недоразумение: я велел управляющему своему скупить одно ваше обязательство с тем, чтоб уничтожить его; а он не понял меня и подал это обязательство ко взысканию.

Мирович *(смеясь ему в лицо)*. Какой, однако, у вас непонятливый управляющий! Зачем же вы держите его?

Бургмейер *(потупляясь)*. Я уже отказал ему и теперь, собственно, приехал затем, чтоб уничтожить это его распоряжение.

[1] Следовательно: *(лат.)*

Мирович. Напрасно в этом случае беспокоились: взыскание это уже оплачено.

Бургмейер (*еще более смутившись*). Очень жаль, что не поспел поправить этой ошибки... Но я все-таки просил бы позволения видеть Клеопатру Сергеевну, потому что я и о другом еще желаю с ней переговорить.

Мирович. Клеопатра Сергеевна больна и, вероятно, не примет вас.

Бургмейер. Но она ж сейчас сама писала мне записку.

Мирович. Когда писала, то была здорова, а теперь сделалась больна.

Бургмейер. Муж, полагаю, и больную даже жену свою, лежащую в постели, может видеть.

Мирович. Муж?.. Да!.. Но вы, кажется, немножко утратили это право. Вы забыли, что я вам за эту женщину спас ваши миллионы и приплатил еще к тому более, чем собственной кровью, приплатил моей честью; а потому я вас не считаю мужем Клеопатры Сергеевны.

Бургмейер. Вы можете считать или не считать меня мужем, но закон еще пока не лишает меня этого права.

Мирович. А, да, вот что-с! Вы на закон думаете опираться? В таком случае убирайтесь, откуда пришли, и приходите сюда с полицией, а иначе я вас в подворотню мою заглянуть не пущу.

Бургмейер (*подняв, наконец, голову*). Вячеслав Михайлыч, видит бог, я пришел к вам не ссориться, а хоть сколько-нибудь улучшить участь моей бедной жены. Я отовсюду слышу, что она очень расстроила свое здоровье, а между тем по средствам своим не может пригласить к себе доктора; у ней нет даже сухого, теплого угла и приличной диетической пищи; помочь мне ей в этом случае, я думаю, никто в мире не может запретить.

Мирович. Да-с, никто, кроме самой Клеопатры Сергеевны.

Бургмейер. Но и она, я надеюсь, не воспретит мне этого.

Мирович. Если не воспретит,— это ее дело, но я лично не желаю быть передатчиком ей ваших благодеяний, а тем более разделять их с ней.

Бургмейер. Об вас и об вашем положении я знаю, что никакого права не имею ни думать, ни заботиться.

Мирович. То-то, к несчастью, вы очень заботитесь и думаете обо мне: вы были так добры, что приискали даже мне место в компании «Беллы», чтобы спровадить таким образом меня в Америку. Управляющий ваш по ошибке хлопочет засадить меня в тюрьму и устроить там мне бесплатное помещение; на это я вам, милостивый государь, скажу, что порядочные люди подобных подлых путей не избирают, и если возвращают себе жен, так пулей или шпагой.

Бургмейер. Я слишком стар и слишком явно для меня, что я тут проиграю, чтобы прибегать мне к подобным средствам.

Мирович (*засмеясь*). Вы, я думаю, давно уже для всяких благородных средств были стары!.. Давно... с детства даже...

Бургмейер (*вспыхнув, наконец*). Господин Мирович!

Мирович. Что Мирович?.. Обижайтесь!.. Оскорбляйтесь! Я с открытым забралом и без щита готов принять ваш вызов.

ЯВЛЕНИЕ IX

Входит Клеопатра Сергеевна.

Клеопатра Сергеевна (*прямо обращаясь к Бургмейеру и протягивая ему руку*). Здравствуйте, Бургмейер, благодарю вас, что вы приехали ко мне. Извините, что я долго заставила вас ожидать себя.

Мирович (*едва сдерживаемым голосом говорит Клеопатре Сергеевне*). Болезнь ваша, значит, кончилась уже?

Клеопатра Сергеевна (*скороговоркой*). Кончилась... (*Снова обращаясь к Бургмейеру.*) Я бы прежде всего просила вас, Александр Григорьич, заплатить две тысячи долгу по взысканию на нас.

Бургмейер. Но они, я слышал, заплачены уже.

Клеопатра Сергеевна (*с удивлением*). Кто ж их заплатил?

Куницын (*краснея в лице, робко взглядывая на Мировича и не решаясь, говорить ли ему или нет*). Я-с это.

Бургмейер (*обрадованный этим признанием и берясь за свой бумажник*). Если вы, то позвольте мне сейчас же заплатить их вам.

Куницын (*останавливая его*). Атанде-с немного! У нас, и кроме этого, есть еще с вами счеты; мы поговорим потом.

Клеопатра Сергеевна. Отчего же, Куницын, вы не хотите взять ваши деньги?

Куницын (*опять краснея*). Сделайте милость, прошу вас, извольте заниматься вашим разговором и не беспокойтесь обо мне.

Бургмейер (*опять относясь к Клеопатре Сергеевне и очень нерешительным голосом*). Вы, кроме этого долга, Клеопатра Сергеевна, не имеете ли еще в чем нужды?

Клеопатра Сергеевна (*перебивая его*). Нет... что ж... Особенной нет. Но я желала бы, Александр Григорьич, попросить вас о гораздо большем: теперь я очень хорошо сама сознаю, сколько виновата перед вами. Я тогда... за одно неосторожное ваше слово... чувству моему, которое следовало бы задушить в себе... я позволила развиться до безумия, и безумием этим я погубила было того человека, которому больше всех на свете желала счастья. Дайте мне, Александр Григорьич, возможность поправить это, возьмите меня опять к себе — не женой!.. Нет... зачем же это... Но я буду вашим другом... дочерью... сестрою... а Мировичу дайте еще лететь в жизнь: мы связываем ему только крылья.

Мирович (*бледный, как мертвец, и потирая себе руки*). Евгения Николаевна, видно, вполне справедливо мне говорила о вашем давнишнем намерении сойтись с вашим супругом!

Клеопатра Сергеевна (*опять скороговоркой*). Да, она все справедливо обо мне говорила... (*Бургмейеру.*) Вы берете меня?

Бургмейер. Клеопатра Сергеевна, разве вы могли сомневаться в этом? Я все готов исполнить, что вы желаете, и сочту за счастье для себя, что около меня будет жить хоть сколько-нибудь жалеющее меня существо, а не люди, готовые отнять у меня почти жизнь!

Клеопатра Сергеевна (*с усилием над собой подходя к Мировичу*). Прощайте, Вячеслав, не сердитесь на меня и не проклинайте очень, и если будете вспоминать меня, то знайте: мы, женщины, тоже имеем свое честолюбие, и когда женщина кого истинно любит, так ей вовсе не нужно, чтоб этот человек вечно сидел около нее и чтобы вечно видеть его ласки. Напротив. Для нее

всего дороже, чтоб он был спокоен и доволен, где бы он ни жил — вместе или врозь с нею!

Мирович (*настойчиво и с твердостью*). Полноте, Клеопатра Сергеевна, казуистикой ни себя нельзя ни в чем убедить, ни другим ничего доказать! Образумьтесь лучше и поймите хорошенько: на что вы решаетесь?

Клеопатра Сергеевна (*потупляясь*). Я решаюсь на то, что говорит мне моя совесть! (*Как-то торопливо относясь к Куницыну.*) Вы, Куницын, были всегда так добры ко мне... Я вам очень благодарна, и, пожалуйста, возьмите у мужа деньги!

Куницын (*опять вспыхнув*). После-с, после мы об этом потолкуем!

Клеопатра Сергеевна (*взглядывает еще раз на Мировича и идет к дверям, но потом схватывает вдруг себя обеими руками за грудь и восклицает*). Господи, что же это я делаю!.. (*И затем в каком-то почти исступлении вскрикивает.*) Александр Григорьич, уведите меня отсюда, поскорее уведите!

Бургмейер поспешно подает ей руку и вместе с Куницыным уводит ее.

Мирович (*делая сначала движение как бы идти за ними, но тотчас же и останавливаясь*). Зачем? Для чего? Роман как следует прошел уже по всем своим темпам: было сначала сильное увлечение... Любовь!.. Но натянутые струны поослабли и перестали издавать чарующие звуки, а тут еще почти неотразимые удары извне, и разлука неизбежна!

Возвращается Куницын; он какой-то опешенный.

Куницын (*выходя прямо на авансцену*). Вот уже именно словами Шекспира могу сказать: «Сердце мое никогда не знало жалости, но, рассказывая эту грустную повесть, я буду рыдать и плакать, как черноликий Клиффорд!»

Мирович (*обращаясь к нему и каким-то задыхающимся голосом*). Что там такое еще происходило?

Куницын (*сверх обыкновения с чувством*). Это ужасно что такое! Клеопатра Сергеевна удержаться, главное, никак не может: рыдает на всю улицу, да и баста!.. Дурак этот Бургмейеришка тоже растерялся совершенно! Тут оставаться, видит, срам, а везти боится — хуже обеспокоишь! Так что уж я даже закричал ему: везите, говорю, ее; может быть, лучше протрясет!

Мирович *(с каким-то искривленным ртом)*. Сама пожелала того и выбрала!

Куницын. Нет, братец, нет, как хочешь, ты тут во всем виноват!.. Каким же образом женщину, привыкшую к довольству, держать в этакой конуре и кормить протухлой колбасой и картофелем! Это какая хочешь уйдет — не выдержит. Я тебе всегда говорил, что деньги нынче все значат! Ну, если их нет, а они надобны, так украдь их, черт возьми! Поверь, что на деле моя философия всегда твоей верней будет!

Мирович *(уже с гневом)*. Ты дурак после этого совершеннейший, если не понимаешь того, что я слишком сегодня несчастлив и слишком страдаю, чтоб издеваться надо мной и делать наставления мне...

Куницын. Не стану, не стану, бог с тобой! В Америку едешь?

Мирович. Еду.

Куницын. Когда?.. Скоро?

Мирович. Послезавтра, вероятно.

Куницын. Ну, приду на чугунку проводить!.. Прощай! *(И, не смея подойти проститься с приятелем, уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Мирович *(один и взмахивая как-то решительно головой)*. Прими, Ваал, еще две новые жертвы! Мучь и терзай их сердца и души, кровожадный бог, в своих огненных когтях! Скоро тебе все поклонятся в этот век без идеалов, без чаяний и надежд, век медных рублей и фальшивых бумаг!

Занавес падает.

ПРОСВЕЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Драма в четырех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ираклий Семеныч Дарьялов, отставной корнет, по прежнему своему занятию шулер, а ныне директор компании «по выщипке руна из овец».

Софья Михайловна, жена его.

Аполлон Алексеевич Аматуров, богатый помещик, лошадиный охотник и господин, вообще живущий в свое удовольствие; не молодой уже, но очень еще красивый и молодцеватый собою.

Аника Матвеич Блинков, молодой купчик и тоже очень богатый.

Эмилий Федорович Гайер, другой директор компании «по выщипке руна из овец».

Петр Петрович Прихвоснев, агент по всевозможным делам и содержатель увеселительного сада, называемого «Русская забава».

Секретарь компании.

Надя, горничная Софьи Михайловны.

Хожалый.

Акционеры компании «по выщипке руна из овец»

Абдул-Ага, татарин и зажиточный владелец мыльного завода.

Агей-Оглы-Эфенди, мулла киргизский.

Гаспар Гаспарович Безхов-Муритский, старый ростовщик из армян, подслеповатый и с трясущейся головой.

Один молодой армянин.

Другой молодой армянин.

Г-жа Трухина.

Препиратов, поверенный ее.

Три чиновника.

Шесть человек артельщиков.

Дьячок.

Кучер.

Лакеи.

ДЕЙСТВИЕ I

Женский будуар, с коврами, с мягкой ситцевою мебелью и со множеством модных безделушек.

ЯВЛЕНИЕ I

Софья Михайловна сидит на одном кресле около стола, а Аматуров — на другом, невдалеке от нее.

Софья Михайловна *(смотря со страстью на Аматурова)*. Ты очень меня любишь?

Аматуров *(потупляя несколько свои красивые глаза)*. Очень!

Софья Михайловна. Но за что?

Аматуров *(пожимая плечами)*. Во-первых, за то, что хороша собой!..

Софья Михайловна *(слегка вспыхивая)*. Ну да, я знаю: ты мне это уже говорил; но это, собственно, чувственная привязанность... А за что же еще ты меня любишь?

Аматуров *(как бы несколько затрудняясь)*. За то, что ты умна.

Софья Михайловна *(довольным голосом)*. Нет, ты не шутишь?.. Я в самом деле кажусь тебе умна?

Аматуров. Нисколько не шучу!

Софья Михайловна. Ну, а еще за что любишь?.. Скажи мне, милый мой, мне так отрадно это слышать!

Аматуров *(опять пожимая плечами)*. Еще за то, пожалуй, что ты сама меня любишь.

Софья Михайловна. Ах, я тебя ужасно люблю!.. Но вот еще в чем ты признайся мне: других женщин, прежде меня, ты, конечно, любил?.. Без сомнения?

Аматуров *(усмехаясь)*. Был грех!

Софья Михайловна *(быстро подхватывая)*. Разумеется! Но которую же из них ты больше любил?

Аматуров. Полагаю, что к тебе у меня самое серьезное и большое чувство.

Софья Михайловна. Поклянись, что это ты говоришь правду!

Аматуров. Клянусь, или, по крайней мере, в настоящую минуту мне это так представляется.

Софья Михайловна *(с досадой)*. О настоящей минуте и не говори, а скажи, что ты всю жизнь будешь это чувствовать!

Аматуров. Полагаю даже, что всю жизнь.

Софья Михайловна. И какую бы, значит, большую жертву или испытание и самоотвержение тебе ни пришлось перенести за меня, ты перенесешь и не разлюбишь меня?

Аматуров. Зачем же разлюблять?

Софья Михайловна. И теперь вот, когда мы так сидим здесь, тебе хорошо со мной?

Аматуров. Еще бы!

Софья Михайловна. А как мне-то хорошо! Я бы всю жизнь так сидела и глядела на тебя! *(Вдруг берет Аматурова за руку и начинает целовать.)*

Аматуров *(несколько смущенный этим)*. Ну, полноте! *(Сам начинает целовать руку Софьи Михайловны.)* Но ты скажи, собственно, за что меня любишь?

Софья Михайловна *(стремительно)*. Я?.. Тебя?.. За все! За твой ум! За сердце твое, доброе ко мне! За твое лицо! За чудные глаза твои! Ты бог какой-то для меня! Идол!.. И меня теперь пугает одно, что неужели это когда-нибудь изменится и мы должны будем расстаться!.. У меня при одной мысли об этом холод пробегает по всей.

Аматуров *(несколько встревоженным тоном)*. Зачем же и с какой стати нам расставаться?

Софья Михайловна *(почти гневно)*. Мало ли что может произойти! Разумеется, если б я была свободная женщина, тогда другое дело, но я замужем...

Аматуров *(по-прежнему с некоторым беспокойством)*. А разве муж думает уехать или переехать куда-нибудь?

Софья Михайловна. Не знаю! Кто ж его ведает, что он думает! Ему, конечно, не должны нравиться наши отношения... *(Торопливым голосом.)* Однако я слышу его шаги! Поотодвинься от меня подальше!

Аматуров отодвигается от стола, а Софья облокачивается на спинку своего кресла.

ЯВЛЕНИЕ II

Входит Дарьялов с сердитым и недовольным лицом.

Дарьялов *(грубо жене)*. Что ж ты, готова? *(Кивая небрежно и почти с презрением Аматурову головой.)* Здравствуйте!

Аматуров, в свою очередь, тоже ему довольно сухо кланяется.

Софья Михайловна. Я вовсе и не думала быть готовой.

Дарьялов (*покраснев от злости*). Значит, ты не поедешь?

Софья Михайловна. Я еще давеча тебе сказала, что не поеду.

Дарьялов. Почему ж ты не поедешь?

Софья Михайловна. Потому что я совершенно не нужна тут.

Дарьялов. Нет, нужна!

Софья Михайловна. Зачем?

Дарьялов. Затем, что это дело серьезное, вековое. Мне, может быть, нужно будет посоветоваться с тобой.

Софья Михайловна. Я тебе ничего не могу посоветовать, потому что ничего не понимаю.

Дарьялов. Положим, что не понимаешь; но если я хочу этого?

Софья Михайловна (*с усмешкою*). Странное желание!

Дарьялов. Вовсе не странное! Я объяснил тебе, почему я желаю; объясни и ты, почему ты не хочешь ехать!

Софья Михайловна. Так... просто не хочу...

Дарьялов. Но совершенно беспричинных желаний быть не может!

Софья Михайловна. Отчего ж не может? Может.

Дарьялов (*передразнивая жену*). «Может»! Бычок по обыкновению нашел... Все равно что стриженый, а не бритый.

Софья Михайловна (*насильственно усмехаясь*). Ну, да, конечно! Все равно что стриженый, а не бритый.

Дарьялов. Значит, ты дура, и больше ничего!

Софья Михайловна (*вспыхнув вся в лице, но по-прежнему насильственно усмехаясь*). Если так по-твоему, считай как хочешь.

Дарьялов (*окончательно выходя из себя*). Наконец, ты не имеешь права поступать таким образом! Я это дело затеваю для выгоды, для семейного благосостояния, в котором и ты, я думаю, будешь участвовать! А человек, получая какие бы то ни было для себя выгоды, должен же для этого потрудиться; иначе это будет подло с его стороны!

Софья Михайловна *(тем же насмешливым тоном)*. Каким же особенным благосостоянием я пользуюсь?

Дарьялов. А таким, что ты пьешь, ешь вкусно, сидишь в теплой, красивой комнате! Стоит это чего-нибудь?

Софья Михайловна *(потупляя глаза)*. Куском хлеба уж ты даже укоряешь меня?

Дарьялов. Я не укоряю тебя, а говорю только, что наши труды должны быть общие.

Аматуров *(слушавший всю эту сцену с понуренной головой, поднимая, наконец, лицо и обращаясь к Софье Михайловне)*. Но куда это вам так не хочется съездить?

Софья Михайловна. Он едет дом покупать и смотреть,— поезжай и я с ним...

Дарьялов. Да, поезжай, потому что, не говоря уж о том, что покупка эта не шуточная — в пятьдесят, в шестьдесят тысяч,— но в этом же доме будет и квартира наша. Должна ты, я думаю, видеть ее расположение. Ты же с разными тряпками переедешь в нее, и, может быть, негде будет поставить их.

Аматуров *(Софье Михайловне)*. Конечно, вам нужно посмотреть вашу будущую квартиру!

Софья Михайловна. Какая же польза будет, что я ее посмотрю? Положим, что она мне понравится, но он *(показывая головой на мужа)*, как только купит дом, так все переделает и переменит по-своему.

Дарьялов. Непременно переменю, но что ж из того?

Софья Михайловна. А то, что зачем же я буду теперь смотреть на эту квартиру? Тогда и посмотрю...

Дарьялов. А два раза невозможно посмотреть? Ослепнешь ты от этого? Умрешь?..

Софья Михайловна. Очень возможно, что и умру. Я без того себя дурно сегодня чувствую, а выеду, еще более простужусь.

Дарьялов. Ничего ты не чувствуешь дурно, не ври, пожалуйста! Я сказал уж тебе, что ты дура, и мог бы еще прибавить эпитет! Я очень хорошо понимаю, почему ты не едешь! *(Сердито надевая шляпу, уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Софья Михайловна и Аматуров.

Софья Михайловна. Вот так каждый день почти такие сцены: никакого терпения не хватает. *(Начинает плакать.)*

Аматуров *(пододвигаясь к ней и беря ее за руку)*. Ангел мой, не плачь! Умоляю тебя! И отчего, в самом деле, ты не хотела съездить и потешить его? Черт бы с ним!

Софья Михайловна *(с горестью и досадой в голосе)*. Не хотела, потому что я желала с тобой остаться, а с его стороны это один только фарс и глупая выходка! Я еще поутру ему говорила, что я не поеду, и он ничего, а тут каким тигром рассвирепелым влетел...

Аматуров. Но какая же причина тому, как ты думаешь?

Софья Михайловна молчит.

Аматуров. Уж не то ли, что я приехал, его рассердило?

Софья Михайловна *(не вдруг)*. Я думаю, что это! Что ж другое может быть? Невежа этакий, забыл всякое приличие: вошел... не поздоровался... не поклонился тебе путем.

Аматуров *(грустно усмехаясь)*. Ревнует, видно!

Софья Михайловна. Вероятно!

Аматуров. Что ж, он выражал это каким-нибудь образом?

Софья Михайловна. Сколько раз, по крайней мере, все без посторонних, а тут и при тебе даже не выдержал. Ты заметил его последнюю милую фразу?

Аматуров. Заметил! Но отчего ты никогда не говорила мне об его ревности?

Софья Михайловна. Зачем же тебя было тревожить? Это мое дело, я и должна все переносить на себе.

Аматуров. Как же, он так прямо и называл, что вот ты любишь Аматурова?

Софья Михайловна. Почти!

Аматуров. Но в каких именно выражениях, я желал бы знать!

Софья Михайловна. Да разные там! Мало ли человек под влиянием злости что может наговорить: что вот он мыкается и работает с утра до ночи, а что у меня только гости и, между прочим, вот ты сидишь целые дни...

А м а т у р о в. Что ж ты ему на это сказала?

С о ф ь я М и х а й л о в н а (*с мрачным выражением в лице*). Я ему на это говорю: «Отчего ж у тебя могут бывать гости, а у меня нет? Обедал же у нас прежде Гайер беспрестанно, а теперь Матлетов и Дементьев каждый вечер являются». — «То, говорит, большая разница: с этими людьми у меня дела общие, а с Аматуровым какие у меня дела?» — «А Аматурову, говорю, со мной весело». Это его ужасно обозлило!

А м а т у р о в. С какой же целью ты его еще больше злишь?

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Я нарочно это! Что ж, мне так все от него и переносить, как бы он ни поступал против меня и что бы он ни сказал мне! Но что хуже всего в нем: сколько бы он ни сердился, он никогда не выскажет того, что думает и чувствует, и у него всегда под этим таится совсем другое!.. Я-то его уж очень хорошо знаю, и мне иногда страшно подумать, что это за человек...

А м а т у р о в (*пожимая плечами*). Но согласись, что такая жизнь невозможна и нельзя ж тебе постоянно оставаться в подобном положении.

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Конечно, тяжело, тем больше, что я... (*Грустно усмехаясь.*) Я даже опасаюсь, чтобы он чего-нибудь еще хуже не предпринял против меня.

А м а т у р о в (*с беспокойством*). Что ж он может еще хуже предпринять?

С о ф ь я М и х а й л о в н а на это молчит.

А м а т у р о в (*продолжает*). Если действительно, как ты говоришь, его в настоящую минуту больше всего возмущает то, что я езжу к вам, изволь: я буду бывать реже, и мы станем видаться в других местах.

С о ф ь я М и х а й л о в н а (*с некоторым удивлением*). В каких других местах?

А м а т у р о в. Очень просто: езди чаще к нам в дом.

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Что же за радость — ездить к вам в дом! Ты живешь с сестрами, с братьями! Взглянуть на тебя лишний раз не будешь сметь! Это пытка обыкновенно какая-то для меня, когда я бываю у вас; кроме того, муж будет знать, где я часто бываю, и это ему еще неприятнее будет, чем то, что ты у нас бываешь...

А м а т у р о в (*пожимая плечами*). Надобно же, однако, что-нибудь попридумать?

Софья Михайловна (*грустным голосом*). Что ж попридумать? (*Берет себя за голову и на несколько мгновений задумывается.*) Несчастная и несчастная я женщина, вот что! Одно, что (*при этом все лицо ее вспыхивает*) тогда мне в голову пришло, когда он мне сказал, что Матлетов и Дементьев ничего что у нас бывают, потому что у него дела с ними, я тут же и подумала, что если бы ты вошел с ним в дело.

Аматуров (*несколько удивленный*). Я?

Софья Михайловна (*как-то мрачно*). Да!

Аматуров (*по-прежнему с удивлением*). Но неужели бы это могло обмануть и успокоить его?

Софья Михайловна (*не совсем уверенно*). Полагаю, что могло бы.

Аматуров. На каком же основании?

Софья Михайловна (*с несколько забегавшими глазами*). Оснований много!

Аматуров. А именно?

Софья Михайловна (*видимо придумывая*). Именно... что Дарьялов сам про себя говорит, что у него нет ни друзей, ни приятелей, а есть одни только нужные люди. Ты тогда будешь нужный ему человек, а это положит большую узду на него!

Аматуров при этом усмехается.

Софья Михайловна. Потом ревности настоящей, то есть ревности по любви, в нем ко мне нет, потому что он давно уже любит других женщин.

Аматуров. Но, может быть, это не мешает ему продолжать любить тебя!

Софья Михайловна (*вспыхнув*). С какой же стати? Чем же ты меня после того считаешь? Я вовсе не из таких женщин, чтобы меня совсем уж можно держать в рабском подчинении. Если бы мы с мужем любили друг друга, тогда, вероятно, я тебя бы не полюбила, но если бы это случилось и муж мой все-таки продолжал любить меня, я бы ему во всем призналась, хоть бы он даже убил меня за то! Дарьялов же чисто ревнует меня из самолюбия... Боится, чтобы в обществе ему не посмеялись, что ты у нас беспрестанно бываешь; а когда ты будешь иметь дела с ним, тогда никто, конечно, не посмеет ему и сказать того, потому что он оборвет всякого и ответит, что мало ли кто у него часто бывает по делам.

Аматуров (*внимательно выслушавший весь этот монолог и с прежней усмешкой*). Все это, может быть, весьма справедливо, но я тут бы несколько вопросов желал сделать.

Софья Михайловна. Пожалуйста!

Аматуров (*довольно протяжно*). Во-первых, какую же сумму денег я должен затратить в его дела?

Софья Михайловна. Ах, боже мой, какую хочешь! Вы, мужчины, лучше это должны знать.

Аматуров (*тем же протяжным тоном*). Тысяч тридцать довольно?

Софья Михайловна. Да! Полагаю, что довольно!

Аматуров (*подумав немного и усмехаясь*). Супруг ваш, скрывать этого нечего, великий аферист и плут. Что, если он надует и обманет как-нибудь меня?

Софья Михайловна (*покраснев*). Нет, не думаю... Ты, впрочем, сделай с ним на бумагах.

Аматуров. Бумаги с этими господами ничего не значат...

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и лакей.

Лакей. Барин приехали и спрашивают, скоро ли будет готов обед.

Софья Михайловна (*Аматурову*). Начинает уж придираться. (*Лакею.*) Ты же ведь накрываешь! Скажи, что скоро.

Аматуров (*вставая и берясь за шляпу*). Мне, полагаю, лучше теперь уехать, а завтра, что ли, заехать переговорить с Ираклием Семеновичем об деньгах?

Софья Михайловна (*нерешительно*). Нет, зачем же завтра?.. Мне очень не хочется отпустить тебя! Если бы тебе сейчас идти переговорить с ним? Непредуведомленный, он, пожалуй, дерзость тебе какую-нибудь скажет. Погоди! Постой! (*Встает.*) Я пойду подготовлю его немного и позову его к тебе!

Аматуров. Отлично, это бесподобно!

Софья Михайловна уходит.

ЯВЛЕНИЕ V

Аматуров (*обращаясь к публике и показывая головой на ушедшую Софью Михайловну*). Прелестная жен-

щина! Она вся огонь и нервы! Мечтательница, каких мир не производил... Воображает, например, что между мужчиной и женщиной может существовать вечная любовь. Разве между обезьянами где-нибудь на необитаемом острову она еще осталась, а между людьми что-то не видать ее. Но попробуй Софье Михайловне растолковать эту простую истину! Скорей с ума сойдет, чем поверит: расплачется, разрыдается, отнесет непременно это к личности, скажет: «Это вы меня разлюбили, вы такой ветреник»,— тогда как все мужчины таковы, да и женщины тоже; она сама же, вероятно, года через два разлюбит меня! *(Пройдясь по сцене.)* Неприятно тут еще то, что беспрестанно приходится встречаться с ее мужем. Это скотина какая-то: на каждом шагу, явно, что с умыслом, делает мне грубости и дерзости, а теперь еще денег ему давай, которые, разумеется, ухнут у него, и мне уж никакими баграми не выцарапать их из дел его! Глупо я немножко сделал, что сказал тридцать тысяч,— слишком много!.. Сказал бы, десять, может быть, и тем бы удовольствовались.

ЯВЛЕНИЕ VI

Входит Дарьялов. Лицо его не так уже мрачно и гневно.

Дарьялов. Еще раз здравствуйте! *(Протягивает Аматурову руку, которую тот, в свою очередь, пожимает.)* Я давеча, рассердившись на жену, и не простился с вами! Садитесь, пожалуйста!

Оба садятся.

Жена мне сейчас сказала, что вы ездили к нам и теперь даже приехали по одному делу вашему?

Аматуров. Да, по делу...

Дарьялов *(с заметной важностью)*. Слушаем-с! Будем слушать!

Аматуров. Дело мое очень простое: у меня есть свободного капиталу тысяч двадцать или двадцать пять!

Дарьялов. Жена мне говорила, что даже тридцать...

Аматуров *(несколько сконфузившись)*. Пожалуй, что и до тридцати наберется! Получаю я с них всего по шести процентов. Согласитесь, что в настоящее время это смешно; а потому не возьмете ли вы их в какое-нибудь

ваше дело хоть сколько-нибудь на более выгодных для меня условиях?

Дарьялов (*как бы размышляя*). На более выгодных для вас условиях?.. Но в какое же, собственно, дело мое? Я недоумеваю!

Аматуров. В какое хотите! У вас их много.

Дарьялов. Есть, конечно! Но все это как-то неподходящие. Прежде всего, как вы знаете, я директор компании «по выщипке руна из овец». Не акций же этой компании дать вам на тридцать тысяч? Вы их можете сами приобрести в каждой конторе.

Аматуров (*усмехаясь*). Без сомнения!..

Дарьялов. Затем-с у меня пароходство по реке Безводне. Расширять это дело нет цели, потому что местные потребности не требуют того; улучшать тоже нет надобности, так как оно в отличном виде!

Аматуров. Нового какого-нибудь предприятия вы не затеваете ли?

Дарьялов. Новое у меня одно предприятие: я покупаю дом! Если хотите, дайте мне эти ваши тридцать тысяч под вексель на покупку дома,— я вам двенадцать процентов дам!

Аматуров. А если бы под закладную?

Дарьялов. Под закладную мне даром, без процентов ваших денег не надобно! Очень мне нужно связывать себя закладной! Я их могу взять только под вексель, с поручительством жены, разумеется!

Аматуров. Зачем же супругу вашу беспокоить?

Дарьялов. Нет-с, нет! Извините! Я люблю делать дела честно и аккуратно: два человека вернее одного! Согласны?

Аматуров (*подумав немного*). Извольте, мне все равно! Двенадцать процентов на рубль хорошо!

Дарьялов (*знаменательно*). Я думаю, что недурно! Когда ж, однако, я могу получить от вас деньги?

Аматуров. Если они вам нужны, я сейчас же могу за ними съездить!

Дарьялов. Нет, прежде лучше отобедайте у нас; надобно выпить бутылочки две клико, чтобы спрыснуть нашу сделку; потом вы посидите с женой, а я сосну немного; затем вместе отправимся: вы — за деньгами, а я — к маклеру за векселем! (*Громко кричит.*) Софья Михайловна!

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и Софья Михайловна.

Дарьялов. Обедать, пожалуйста, поскорей!

Софья Михайловна. Я думала, что вы заняты. Там все готово.

Дарьялов. Кончили уж мы, и вы ступайте в залу, а я пойду и распоряжусь о шампанском... Мы тут дело одно сварганили! *(Проворно уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII

Аматуров и Софья Михайловна.

Аматуров *(с насмешкой)*. Совсем другой человек стал, как денег понюхал; вежливый, любезный сделался.

Софья Михайловна. У него, кажется, не хватало их на покупку дома, который, он говорит, очень выгоден!

Аматуров. Я уж ему их под вексель даю,— не берет иначе!

Софья Михайловна *(видимо, думавшая не о делах, а совсем о другом)*. Все равно это!.. О, милый мой! Ненаглядный! *(Обнимает Аматурова.)*

Аматуров *(прижимая ее к груди)*. Красавица моя, бесценная, сокровище мое!

Голос Дарьялова из залы: «Идите же обедать!»

Софья Михайловна. Сейчас! *(Снова неоднократно целует и обнимает Аматурова.)*

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ II

Большая зала в доме Дарьялова. В левой стороне ее на небольшом возвышении стоит покрытый зеленым сукном стол с бумагами, с разными письменными принадлежностями и колокольчиком. Пред столом поставлены два кресла. По левой стороне, кроме дивана со столом и нескольких кресел, расставлены рядами стулья.

ЯВЛЕНИЕ I

Входит Дарьялов во фраке, в белом галстуке, белых перчатках, но по-прежнему чем-то раздосадованный и озабоченный. За ним идет Прихвоснев, лопоухий господин, с огромными ноздрями, в пестром платье, с золотой толстой цепочкой, с перстнями, кольцами.

Дарьялов *(почти крича на Прихвоснева)*. Что это такое! Я жду, жду вас! Вся внутренность перекипела.

Прихвоснев *(разводя руками)*. Да помилуйте, я

вчера в десять часов вечера только получил от вас записку!

Дарьялов. Значит, вы ничего и не сделали? И не привели акционеров?

Прихвоснев. Я сделал, что можно сделать в одно утро: пригласил вон трех чиновников...

Дарьялов (*нетерпеливо*). Ну!

Прихвоснев. Потом заехал в компанию «Сыродровка» и привел оттуда человек шесть артельных.

Дарьялов. Ну!

Прихвоснев. Да еще, ехавши уже сюда, дорогой дьячка из нашего прихода Христом и богом упросил, чтобы пришел на собрание.

Дарьялов (*с досадой*). Черт знает, дьячков каких-то наприглашал!

Прихвоснев (*покойно*). Дьячок — особа неподозрительная.

Дарьялов. Что ж все это будет стоить?

Прихвоснев (*подумав немного*). Стоить будет... Мне за утренние хлопоты и за вечер, что сидеть здесь буду, пятьдесят рублей.

Дарьялов. А не жирно ли это будет!

Прихвоснев. Нет-с, не жирно! Я полгорода обскакал... Одна компания «Сыродровка», сами знаете, на краю города; чиновники также все в разных пунктах. Экипаж уж нарочно держу на этакие случаи!

Дарьялов. Не для одного же моего дела вы экипаж держите!

Прихвоснев. Как не для одного? Я сегодняшний день, кроме вашего поручения, ничего не успею сделать.

Дарьялов. Успеете и другое многое! Сколько же прочим следует заплатить?

Прихвоснев. Прочим следует: чиновникам менее пяти рублей серебром нельзя дать, а то потом их ни на какое собрание и не докличешься; артельным, конечно, можно заплатить и по три, а дьячку тоже пять.

Дарьялов. Это выходит восемьдесят восемь рублей?

Прихвоснев. Да уж положите на круг сто! Лучше стараться будем!

Дарьялов (*с досадой*). Сто ему положить! На вес золота скоро вы станете ценить себя! Будет с вас и восьмидесяти! (*Проворно вынув из кармана бумажник и вы-*

тащив из него восемьдесят рублей, подает их Прихвосневу.)

Прихвоснев *(сосчитав деньги)*. Откуда же я восемь-то рублей возьму? Свои, что ли, прикладывать?

Дарьялов. Откуда хотите! Вы тогда, помните, с госпожой той познакомили меня и порядочно за то получили, а она недавно тягу от меня дала.

Прихвоснев *(огорченным голосом)*. Слышал это я, ветреница этакая! Кто им нынче в душу влезет! Горевать вам, впрочем, много нечего, по пословице: «Было бы болото, а черти будут!»

Дарьялов *(усмехаясь)*. Значит, много этих чертенят?

Прихвоснев. Много... В один мой увеселительный сад сколько их ездит! Вот даже теперь со мной несколько фотографических карточек имею, выпросил у некоторых, будто на память себе! Хотите полюбопытствовать?

Дарьялов. Кажите!

Прихвоснев вынимает из кармана несколько фотографических карточек и подает Дарьялову.

Дарьялов *(рассматривая их)*. Это кто такая, например?

Прихвоснев *(с гордостью)*. Горничная одна.

Дарьялов *(внимательно всматриваясь в карточку)*. Прелесть что такое!

Прихвоснев. Да-с; лучше, пожалуй, другой благородной.

Дарьялов *(продолжая рассматривать карточки)*. А эта толстогубая?.. Точно негритянка какая.

Прихвоснев. Толстогубая эта — дочка статского советника.

Дарьялов. Уж и дочка статского советника. Врет ведь как!

Прихвоснев. Верно, так-с.

Дарьялов. Но это что еще за госпожа? Красками даже себя расписала. Не молодая уж, видно! И набеленная, должно быть, нарумяненная?

Прихвоснев. Это есть немножко! Подрисовывается! Жена тут одного богатого купца, и женщина, надо полагать, этакая стыдливая, самолюбивая: в сад ко мне ездила по вечерам с одним господином, часу уж в двенадцатом, и то под вуалью.

Дарьялов. Да на кой черт ей сад ваш понадобился?

Прихвоснев. Дома, вероятно, строгонько! Если она с кем очень амурничать начнет, так муж может заметить. А он действительно, как я слышал, человек дерзкий этакий на руку! Пожалуй, ей и амуру ее шею за то намылит, а ведь у меня в саду все шито и крыто! Умерло тут!

Дарьялов *(возвращая ему карточки)*. Что уж про вас и говорить! Благодетель вы человечества. *(Звонит в колокольчик.)*

ЯВЛЕНИЕ II

На звонок этот является секретарь, молодой еще человек, крайне мизерной наружности, с глуповатым лицом, но тоже во фраке, белом галстуке и белом жилете.

Дарьялов *(ему)*. Там собрались акционеры. Опросите их имена и фамилии... Внесите все это в список акционеров и против каждого из них отметьте, что акции были ими представляемы, а также запишите и нашего кучера — у него очень приличная физиономия,— а потом всех их введете сюда и посадите в задние ряды.

Секретарь. Хорошо-с! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III

Дарьялов и Прихвоснев.

Прихвоснев. Вы нам, Ираклий Семеныч, все-таки маленькую программку дайте, что нам делать, а то мы, чего доброго, собьемся с ролей своих.

Дарьялов. Делать только то, чтобы прошли и были утверждены некоторые мои предложения! Значит, как я сделаю какое-либо заявление и скажу, что кто с этим согласен, пусть тот встает,— так вы сейчас все и вставайте!

Прихвоснев *(качая головой)*. Понимаю-с, понимаю!

Дарьялов. А потом, если что нужно будет сказать за меня и в мою пользу, вы вставайте и скажите.

Прихвоснев. Это уж конечно! Непременно! Партия поэтому против вас довольно сильная есть?

Дарьялов *(даже восклицая)*. Огромная! Как тигры разъяренные, так и рычат на меня!

Прихвоснев *(тоже с одушевлением)*. Но из кого ж она может состоять? Кто коновод у них?

Дарьялов. Да вот в первую голову этот Абдулка-татарин. Муллу, говорят, какого-то киргизского выписал с доносом на меня.

Прихвоснев. Ах, он, мыло казанское!

Дарьялов. Да, каково это мыло-то казанское! Поддул также и этого армяшку Безхова-Муритского; тот вчера еще заходил и записался с двумя какими-то дураками, на людей даже непохожи, точно черкесы какие!

Прихвоснев *(с удивлением)*. Поди ты, черкесы даже!

Дарьялов. Разумеется, какие-нибудь приятели его, которым он надавал своих акций; но все эти господа мне, черт их дери, мерзавцы они были, мерзавцами и останутся, но кто меня удивил и, как говорится, ранил меня в душу, так это друг мой и товарищ Эмилька Гайер. Сам, каналья, участвовал в составлении проекта, я ему за то из собственных рук десять тысяч заплатил, а он меня из благодарности припереть к стене теперь хочет!

Прихвоснев *(как бы с чувством даже)*. Но за что же так именно?

Дарьялов. Вот зачем дела компании расстроились. А чем я тут виноват? Пошли такие несчастья. Кто же с богом может бороться?

Прихвоснев *(разводя руками)*. Иаков поборолся с ним, и тот хром вышел!

Дарьялов *(подтверждая)*. И тот вышел хром! Вообще, я вам скажу, все эти восточные человеки да немцы у нас — просто житья с ними нет! Вон русские у меня. Сколько их ни есть акционеров... все молчат, а эти господа, если где грош их затронут, так живого загрызут.

Прихвоснев. Действительно, жадный народ и, главное, дерзкий этакий, дикий, неблагодарный!

ЯВЛЕНИЕ IV

Входит секретарь и за ним акционеры, несколько артельщиков, три чиновника и кучер Дарьялова.

Секретарь *(им)*. Вы в задних рядах потрудитесь поместиться.

Те несколько робко и неумело садятся.

Дарьялов *(Прихвосневу)*. И им тоже надо рассказать, что они должны делать?

Прихвоснев. Да-с, не мешает немножко растолковать.

Дарьялов *(довольно гордо обращаясь к акционерам)*. Вас, собственно, господа, я прошу не вмешиваться

в прения и разговоры, которые тут будут происходить, так как дело это для вас совершенно чуждое; но будет говорить господин Прихвоснев, с которым вы и должны безусловно соглашаться; поэтому, как только я пущу вопрос на голоса и спрошу: «Кто согласен с господином Прихвосневым, тот встает!»,— так вы сейчас и вставайте, а когда я буду голосовать мнения других, то вы сидите!

Один из чиновников. Знаем-с эти порядки! Не в первый раз, я даже на прошлой неделе в двух собраниях был! Не ошибемся!

Дарьялов. Пожалуйста! *(Прихвосневу.)* Потрудитесь им теперь же раздать следующие деньги.

Прихвоснев *(как бы несколько уже и обиженным голосом)*. Раздам-с, не задержу! *(Начинает раздавать.)*

Один из артельщиков *(Прихвосневу)*. За что ж, Петр Петрович, нам меньше супротив других? Одно, кажись, станем делать дело!

Прихвоснев. А что ты, чиновник или мужик?

Тот же артельщик. Что ж, что мужик! Мужик разве не человек?

Прихвоснев. То-то, говорят, маленько из другого теста состряпан.

В это время секретарь подходит к Дарьялову и что-то негромко докладывает ему.

Дарьялов *(ему)*. Хорошо, позовите, я переговорю с ним.

Секретарь кивает головой, в дверях показывается хожалый.

Хожалый *(громким и диким голосом)*. Здравья желаем, ваше высокородие!..

Дарьялов. Подойди сюда ко мне поближе, любезный.

Хожалый подходит.

Дарьялов. Тут у меня будут пускать акционеров по билетам; не всякий же, понимаешь, может лезть сюда.

Хожалый. Слушаю-с, ваше высокородие!

Дарьялов. Ну, если кто там будет без билета силой врываться и его станут не пускать, надеюсь, что ты, по обязанности твоей службы, посодействуешь.

Хожалый. Зачем, ваше высокородие, пущать без билетов! Без билетов пущать никуда не велено.

Дарьялов. Потом здесь, собственно, в зале, если выйдет какое замешательство и я вынужден буду позвать

тебя — постоять около себя,— ты, сделай милость, не откажись, постой.

Хожалый. Слушаю-с, ваше высокородие!

Дарьялов. Мало ли таких негодяев, которые могут поднять шум, гам...

Хожалый. Шуметь нельзя, ваше высокородие! Нам и начальство приказывает: не позволять шуметь на улице даже, не то что в комнатах.

Дарьялов. Еще бы позволять! Ты поэтому в дверях вот тут и встань, повыставившись немного, так, чтоб я тебя видел.

Хожалый. Стану, ваше высокородие! *(Уходит и становится, как ему приказано.)*

Дарьялов *(секретарю)*. Позовите Софью Михайловну, что она там сидит, и Аматурова тоже! Скажите им, что собрание сейчас откроется.

Секретарь уходит.

Прихвоснев *(Дарьялову)*. Это уж не Аполлон ли Алексеич Аматуров?

Дарьялов. Аполлон Алексеич! Он самый!

Прихвоснев. Вот тоже господин насчет прекрасного пола — любитель!

Дарьялов при этом нахмуривается и как бы не слышит Прихвоснева.

ЯВЛЕНИЕ V

Секретарь возвращается, и за ним идут Софья Михайловна и Аматуров.

Дарьялов *(по обыкновению грубо и сердито жене)*. Что ты там сидишь? Не насиделась еще?

Софья Михайловна *(садясь на диван)*. Я думала, что рано.

Дарьялов. «Рано!» Она думала! *(Аматурову, усевшемуся рядом с Софьей Михайловной.)* Я вас тоже записал в число членов собрания.

Аматуров. Это с какой стати?

Дарьялов. С такой, что нельзя же, ведь... *(Недоговаривает.)*

Аматуров *(пожимая плечами)*. Странно! Я вовсе не желал этой чести.

Софья Михайловна кидает на него умоляющий взгляд.

Дарьялов (*продолжает*). И я вас прошу во всем соглашаться с господином Прихвосневым! (*Показывает на него.*)

Аматуров при этом только уж презрительно усмехается.

Прихвоснев (*раскланиваясь перед Софьей Михайловной*). Честь имею рекомендоваться!

Софья Михайловна слегка кивает ему головой.

Прихвоснев (*раскланиваясь также и с Аматуровым*). Давно не имел удовольствия вас видеть! И не заедете уж нынче никогда!

Аматуров (*как бы несколько смущенный его словами*). Не все же к вам заезжать. Будет уж!

Прихвоснев. Довольно, значит?

Аматуров. Довольно!

Прихвоснев смеется каким-то подлым смехом и садится около своей партии.

ЯВЛЕНИЕ VI

В дверях показываются Абдул-Ага в золотой ермолке, в халате из тармаламы и в туфлях, а за ним Агей-Оглы-Эфенди, мулла киргизский, в темном халате и белой чалме.

Абдул-Ага (*показывая хожалому кипу бумаг*). Ты, барина, не мешай мне. На, нюхай!.. У меня тут пять десятка тысяч! С этими, чай, можно и без билета ходить! (*Входит и, садясь в переднем ряду, обращается к мулле, показывая ему на место около себя.*) Садись, Агей Оглыч!

Мулла с необыкновенной важностью рассаживается около него. Затем появляются Безхов-Муритский в умеренно-черкесском костюме, то есть только в длиннополом чепане и серебряном с чернетью поясе, и вместе с ним два молодые армянина в настоящих уже черкесках, с патронташами и даже с кинжалами. Все они расшаркиваются Абдул-Аге, который им кивает головой и улыбается. Армяне тоже садятся в переднем ряду. Лица у всех у них черные и исполнены озлобленного выражения.

Дарьялов (*секретарю, показывая на пришедших*). Попросите этих господ предъявить свои акции.

Секретарь (*подходя к Абдул-Аге и довольно робким голосом*). Ваши акции позвольте видеть.

Абдул-Ага. На, смотри, не фальшивые! (*Показывает ему акции.*)

Секретарь. А акции вашего товарища?

Абдул-Ага. Они тут же! Считай его тут! Их хватит на всех на двух!

Секретарь. Но если они вам принадлежат, господин мулла не может на них участвовать в собрании.

Абдул-Ага. А коли я ему подарю, ты можешь мне запретить то? На, Агей Оглыч, пять тысяч, держи их в руках. Пиши его: мулла Агей-Оглы-Эфенди.

Секретарь *(обращаясь к Дарьялову)*. Можно их записывать?

Дарьялов *(пожимая плечами)*. Запишите, хоть подобных вещей никогда открыто не делается!

Абдул-Ага. Э, барина, открыто делать лучше, чем потайком.

Секретарь *(армянам)*. Ваши билеты?

Те молча показывают ему свои билеты.

ЯВЛЕНИЕ VII

Те же и хожалый.

Хожалый *(не выступая из дверей, Дарьялову)*. Там, ваше высокородие, дама с господином просится переговорить с вами.

Дарьялов. Проси!

Хожалый отворяет дверь. Входит Препиратов, молодой еще человек, со всклокоченными курчавыми волосами, с выдавшимся вперед лбом и в очках. Он ведет под руку толстейшую г-жу Трухину, которая с заметной нежностью опирается на его руку. Оба они подходят к Дарьялову.

Г-жа Трухина. Вы господин директор?

Дарьялов. Ваш покорнейший слуга.

Г-жа Трухина. Я вот тоже желаю говорить, но я женщина — не могу того, а я вот доверяю господину Препиратову.

Препиратов *(густым басом)*. Я поверенный госпожи Трухиной.

Дарьялов *(Препиратову)*. То есть как же: на настоящее только собрание или по всем делам госпожи Трухиной?

Препиратов. Я имею полную доверенность от госпожи Трухиной.

Г-жа Трухина. Я им во всем доверяю!

Д а р ь я л о в *(ей)*. Прекрасно-с! Но нам все-таки нужно видеть самые акции ваши!

Г-ж а Т р у х и н а. Я им и акции доверяю; я им доверенность и акции могу доверить! *(Подает акции секретарю.)*

С е к р е т а р ь *(сосчитав акции, возвращает их Трухиной)*. Верно-с!

Г-ж а Т р у х и н а *(суя в карман акции, говорит Препиратову)*. Вы сядьте рядом, поближе ко мне, а то, пожалуй, украдут у меня билеты эти тут! *(Усевшись на один из стульев и ощупывая его.)* О, пес, жесткий какой да маленький! Словно на кол какой села!

П р е п и р а т о в *(басом)*. Угодно кресло? *(Дарьялову.)* Могу даме кресло взять?

Д а р ь я л о в. Сделайте одолжение.

П р е п и р а т о в пододвигает было кресло.

Г-ж а Т р у х и н а *(взглянув на кресло)*. Ой, нет! Полно! Я увязну тут; лучше на двух стульях посижу... *(Садится на два стула.)* Посдвинь-ка их полегоньку.

П р е п и р а т о в осторожно сдвигает под ней два стула.

ЯВЛЕНИЕ VIII

Входит Э м и л и й Ф е д о р о в и ч Г а й е р, рассвирепелый немец. Он тоже во фраке и белом галстуке и заметно выпивши. При входе его х о ж а л ы й делает под козырек, с е к р е т а р ь вытягивается. Г а й е р прямо подходит к директорскому столу и, сев на кресло, вынимает из кармана большую пачку акций общества и кладет ее на стол. Рядом с ним помещается и Д а р ь я л о в.

Г а й е р *(не обращая никакого внимания на Дарьялова, встает и с видимым азартом, так что у него щеки даже дрожат, говорит акционерам)*. Три года, милостивые государи, тому назад я имел честь быть вами избран в директоры! Теперь не хочу оставаться! Я обманут, как болван, как свинья! Господин Дарьялов при начале мне говорил: «Напишите нам проект упрощенного способа выщипки руна из овец!» Я ученый! Я зоолог! Я химик! Я знаю это! Мне, говорит, за то заплатят десять тысяч. Я пишу, проект утверждают, и мне дают не деньгами, а акциями; я иду на биржу, мне там дают за них пять тысяч; я прихожу... «Дайте мне, говорю, остальные деньгами!» — «Подождите, говорят, акции поднимутся, и мы вас выберем в директоры!» Я опять был, милостивые

государи (*колотя себя в грудь*), дурак и свинья великий! Я поверил! Я жду! Иду через год, мне треть за них дают. Иду нынче — ничего! Я вам принес их назад... Заплатите мне деньгами... А не заплатите, я буду иск иметь к господам акционерам!

Препиратов (*вдруг вставая и густейшим басом*). Требую себе слова!

Дарьялов (*качнув ему головой*). Разрешаю вам.

Препиратов (*сначала откашлянувшись и тем же густым басом*). Во всех европейских законодательствах правила для акционерных компаний находятся еще, так сказать, в первичном и начинающем состоянии, так как это явление нового мира, новой цивилизации и новой культуры; но, тем не менее, сколько можно судить по духу всех законоположений, то иски от частных лиц могут быть обращаемы только к запасному капиталу общества или к его имуществу, но никак не к имуществу акционеров! (*Поворачивается и снова садится на свое место.*)

Гайер (*еще более раздраженным голосом*). Я знаю-с... Я вот его предъявлю к господину Дарьялову; а теперь говорю: не хочу быть директором больше, и вот вам акции и бумаги все! (*Пихает лежащие на столе бумаги и акции.*) Я ухожу! (*Встает с кресел и садится на одном из стульев в рядах акционеров.*)

Абдул-Ага (*ему*). Ты, барина, не пошвыривай очень! Это там ваши с ним дела.

Гайер (*в окончательном азарте*). Да, мои дела!.. Я имею дела! Я у Прохора Прохорыча на пять миллионов заводом правлю... Мне за каждую минуту жалованье платят!

Абдул-Ага. Это дай те бог и больше того! (*Дарьялову.*) Читай-ка нам, барина, лучше про наши-то дела.

Дарьялов (*весь красный, встает и начинает говорить совершенно дрожащим голосом*). Милостивые государи! К великому моему прискорбию, действительно я должен заявить почтенным членам собрания, что дела нашего общества находятся в критическом, или, точнее сказать, отчаянном положении. Единственным средством к поправке их или, по крайней мере, к некоторой поддержке цены на акции... это, как я полагал бы с своей стороны... если бы собрание мне разрешило выдать хоть три процента дивиденда из запасного капитала общест-

ва, который, не могу скрыть, таким образом иссякнет весь.

Прихвоснев (*подмигнув своей партии и встав*). Господин директор, я просил бы вас настоящее ваше предложение голосовать, чтоб узнать мнение большинства.

В это время встает Безхов-Муритский, все что-то писавший и считавший на бумажке.

Безхов-Муритский (*останавливая движением руки Прихвоснева*). Позвольте-с, я еще прежде желаю говорить! (*Подносит исписанную им бумажку к самому почти глазу своему, который у него немножко еще видит, и, слегка потрясывая головой, обращается к Дарьялову.*) Три процента дивиденда, я сосчитал, на все акции общества составят семьдесят тысяч! Так?

Дарьялов. Вероятно, так.

Безхов-Муритский (*продолжая смотреть в бумажку*). В отчете же прошлого года вы печатали, что запасного капитала у нас двести тысяч. Куда же сто тридцать уплыло? (*Обращаясь уже к товарищам своим и лукаво им подмигнув единственно видящим глазом.*) Так? Куда?..

Те (*оба в один голос*). Да! Куда?

Дарьялов. Вы не дали мне договорить; я сейчас хотел объяснить, что деньги эти издержаны мной по случаю ужасных несчастий, постигших прошедший год наше предприятие: у нас сгорел завод и все хозяйственные при нем учреждения.

Гайер (*гордо державший ногу на ноге и с каким-то презрением слушавший Дарьялова*). Врете! Это не несчастье; завод был застрахован. Это еще польза обществу.

Дарьялов. Он застрахован был в весьма маленькой сумме.

Гайер. Врете, в большой! Я-то уж это знаю.

Дарьялов (*только при этом пожимает плечами и снова продолжает свою речь*). Потом недостача шерсти! А между тем я исполнял контракты и, чтобы не подвергаться взысканию неустоек, должен был шерсть перекупать из вторых и из третьих рук.

Безхов-Муритский (*все еще стоявший на ногах и державший ухо по направлению к Дарьялову*). Отчего же вы при таких несчастьях не созвали собрания, не заявили их и не испросили на ваши действия согласия общества?

Дарьялов. Я не мог этого сделать потому, что встретил их на месте, в степи, в орде кочующей.

Абдул-Ага (*вставая*). Э, полно, барина, на степь-то воротить! Степь тут ни при чем! Ты вон в писулечках своих... читали мне в трактире... пишешь, что у тебя шерсти не хватило и овцы переколели. Сколько их у тебя колело?

Дарьялов. Сто тысяч.

Абдул-Ага. Много это, много! Верно ли ты сосчитал?

Дарьялов. Верно! Я сам два раза заболевал этой ужасной болезнью. (*Показывая на свою руку.*) Вон следы выжигов.

Абдул-Ага. Да хранит тя бог! Сколько же ты продал овцы мулле? (*Обращаясь к мулле.*) Агей Оглыч, сколько ты компанейской овцы купил?

Мулла (*вставая*). Компанейска овца мы купили пятьдесят тысяч.

Дарьялов. Вы могли и сто тысяч купить на базаре.

Мулла. Нет, вся компанейска овца была начисто.

Абдул-Ага (*мулле*). Кажи-ка шкурку-то, что привез.

Мулла (*вынимая из-под полы халата овечью шкурку и поднимая ее на глаза всех акционеров*). Это тавро компанейское.

Дарьялов (*совершенно растерявшись*). Но может быть, и не компанейское!

Абдул-Ага. Кажи тавро правленское — сличим.

Дарьялов. Правленское тавро затеряно.

Гайер. Покажите мне шкурку.

Ему показывают ее.

Гайер. Компанейское тавро.

Абдул-Ага (*Дарьялову*). Так, барина, честные господа не делают.

Дарьялов (*выйдя, наконец, из себя*). Позвольте, господа, что такое: следствие, что ли, здесь надо мной производят, или я председательствую в собрании? Я желаю голосовать вопрос: угодно ли собранию разрешить выдачу дивиденда из запасного капитала или нет? Кто разрешает, тот встанет.

Прихвоснев и вся его партия мгновенно встают.

Безхов-Муритский (*взглянув на вставших акционеров*). Мы ихняго вставанья слушаться не будем. (*Дарьялову.*) Вон кучеров-то ваших нагнали! Я слеп, да ви-

жу: он у меня сначала жил и к вам перешел, подтасовщик вы этакий и жулик!

Дарьялов. Вы не смеете мне так говорить!

Безхов-Муритский. Говорить я и не буду! А я вас палкой буду бить! *(Стукает палкой своей об пол и затем обращается к товарищам своим, тоже вскочившим на ноги.)* Палками его надо бить!

Те *(хватаясь за кинжалы)*. Мы вас палками и кинжалами будем бить!

Дарьялов. Кинжалами я вам не позволю бить! Эй, хожалый, шумят здесь!

Хожалый *(входя)*. Господа, кричать не велено!

Безхов-Муритский. Я буду кричать! Он наши деньги все разворовал!

Дарьялов. Денег ваших я не разворовывал: я сам нищий! А когда вы так бесчинствуете, я закрываю собрание! *(Встает и идет к дверям во внутренние комнаты.)*

Все армяне *(следуя за ним)*. Нет, погоди! Мы тебя палками будем бить!

Хожалый *(растопыривая пред ними руки)*. Позвольте, господа, шуметь и буянить нельзя!

Все армяне *(в один голос)*. Мы будем буянить!

Дарьялов в это время скрывается за дверь, а хожалый становится для защиты ее спиной к ней. Начинается всеобщий шум.

Трухина *(подойдя к Софье Михайловне)*. Вы теперича, говорят, супруга ихняя! Вы им должны сказать, пошто же они нам этакие подлости делают.

Софья Михайловна *(все время с большим волнением следившая за ходом собрания и по временам почти страстно взглядывавшая на Аматурова, встав, наконец)*. Ничего я не знаю! *(Аматурову.)* Аполлон Алексеич, спасите меня!

Аматуров *(тоже вставая)*. Пойдемте.

Абдул-Ага *(показывая армянам на Софью Михайловну)*. Хоть бы барыньку-то маненько аманаткой задержать!

Аматуров *(поднимая кулак)*. Убью всякого, кто подойдет ко мне!

Прихвоснев *(тоже охраняя Софью Михайловну)*. Так, господа, поступать с дамой нельзя-с! Нельзя!..

Оба они уводят ее в ту же дверь, в которую скрылся и Дарьялов. Шум еще более усиливается; одновременно армяне схватываются с Прихвосневым.

Прихвоснев *(им кричит)*. Мало ли, господа, с кем может быть несчастье: пожар... сибирская язва!

Армяне *(тоже кричат)*. Мы ему дадим «сибирская язва»! Ты сам мошенник, коли за него.

Прихвоснев. Я не мошенник, я держусь только справедливости.

Один чиновник *(толкует другому)*. Помилуйте, не дали ни одного вопроса голосовать! Где же это бывает?

Гайер *(в свою очередь кричит на него)*. Как вы смеете голосовать, когда вы все купленные!

Тот же чиновник. Просим вас не обижать нас: мы чиновники.

Гайер. Чиновники вы — хуже сапожника!

Абдул-Ага *(кричит)*. Тавро компанейское... Вся овца компанейская была!

Мулла *(кричит ему в ответ)*. Компанейская вся!

Хожалый *(охраняя по-прежнему дверь, кричит с своей стороны)*. Господа, не шумите, пожалуйста, а не то я свисток дам: стражу позову!

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ III

Небольшая, но очень мило убранная гостиная.

ЯВЛЕНИЕ I

На среднем диване пред круглым столом, на котором стоит прекрасный дорогой букет в вазе, сидит Софья Михайловна в шелковом платье и нарядном головном уборе. Она стала еще красивее, но заметно похудела и невесела. В этот день ее именины. На креслах помещаются приехавшие с поздравлением: юный Блинков, с очень маленькими усиками, пухлый, румяный и, как следует для утреннего визита, в черном сюртуке, и Прихвоснев, тоже какой-то вымытый, причесанный и также в черном сюртуке и даже в лаковых сапогах с пуговками. Оба они заметно модничают и тонируют.

Блинков *(Софье Михайловне, слегка пришептывая)*. Вы изволили слышать Патти?

Софья Михайловна. Уж три раза слышала! Я абонирована.

Блинков. Прекрасная певица, не правда ли?

Софья Михайловна. Превосходная!

П р и х в о с н е в. Не нравится мне, господа, ваша Патти, что угодно!

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Почему же?

П р и х в о с н е в. Души нет в пении!

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Как нет души в пении? Поет так божественно, собой прелестна!

П р и х в о с н е в. Это так-с, собой прелестна; но чувства в голосе не слыхать. Как ее можно сравнить с Виардо; у той точно, что душа лилась в каждом звуке. Как это она пела: «Я все еще его... пламенно, что ли, люблю!» И этак, знаете, не совсем тоже чисто выговаривала по-русски,— прелесть что такое!

С о ф ь я М и х а й л о в н а. В котором же это году была здесь Виардо?

П р и х в о с н е в. В пятьдесят третьем! Я старинный театрал!

Б л и н к о в *(показывая на Прихвоснева)*. Он сам в балетах танцевал; танцмейстером был!

С о ф ь я М и х а й л о в н а *(с удивлением)*. Вы?

П р и х в о с н е в *(немного сконфуженный)*. Да-с, по балетной части служил! Но всегда как-то к театральной службе не имел расположения, особенно в то время: строго очень было и безвыгодно! Я как тогда получил маленькую возможность бросить это дело, так сейчас же и бросил!

Б л и н к о в. Он в балетах только чертей и играл, ничего другого не давали — неловок очень!

П р и х в о с н е в. Не одних чертей, а и маркграфов иногда изображал! *(Обращаясь к Софье Михайловне и, видимо, желая переменить тему разговора.)* Супруг ваш так-таки совсем и уехал отсюда?

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Он не то что уехал: он бежал! Его, говорят, хотели убить эти армяне или в тюрьму посадить — не знаю уж!

П р и х в о с н е в. А вас так и кинул без всяких средств?

С о ф ь я М и х а й л о в н а. Кинул без всяких средств. Даже всю посуду, всю мебель продал заранее, и, когда я проснулась поутру после его отъезда, приходят купцы и все взяли.

П р и х в о с н е в *(как бы рассердившись даже)*. Фу ты, боже ты мой!.. Муженьки нынче какие, хуже посторонних, право!

С о ф ь я М и х а й л о в н а на это промолчала.

Прихвоснев (*размышляющим уже тоном*). Как у вас умения хватило поустроиться потом?

Софья Михайловна и на это ничего не ответила. Блинков при этом как бы несколько краснел и старался смотреть по сторонам.

Прихвоснев (*тем же размышляющим тоном*). Да-с, да!.. Жизнь человеческая! Кто знает, как и в какую сторону она повернет!

ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Надя в чистеньком платьице, в хорошеньких ботиночках, причесанная. Она принесла на подносе две чашки кофе и сухари.

Надя (*подавая Прихвосневу первому, с усмешкой*). Здравствуйте, Петр Петрович!

Прихвоснев (*тоже с усмешкой*). Здравствуйте, сударыня, здравствуйте! (*Софье Михайловне, показывая ей на Надю.*) Именинница тоже сегодня!

Софья Михайловна. Да! А вы разве знаете ее?

Прихвоснев. Как мне не знать-с, я вам ее и поставил. Аполлон Алексеич тогда заехал ко мне и говорит: «У Софьи Михайловны нет горничной, пришлите к ней какую-нибудь понадежнее».

Надя (*подавая не без кокетства кофе Блинкову*). Сухарей прикажете-с?

Блинков. Нет, благодарю.

Надя, подняв гордо головку, уходит.

Блинков (*Софье Михайловне*). Какая у вас горничная хорошенькая!

Софья Михайловна. Очень хорошенькая...

Прихвоснев (*Софье Михайловне*). Но довольны ли вы ею? Это главное.

Софья Михайловна. Пока довольна. А я и не знала, что вы прислугу рекомендуете.

Прихвоснев. Несколько уж лет этим занимаюсь, и у меня это на твердых основаниях устроено: как пришел кто из прислуги и записался, я первый вопрос ему: «Где изволил жить?» А потом через одного человека и разведаю, как и что он, а потому пьяницу, или вора, или с какими-нибудь другими качествами уж я не пришлю!

Блинков. Присылаете и вы. Рекомендовали же нам лакея, он через неделю все столовое серебро украл у нас.

Прихвоснев (*как бы даже вспылил*). Это-с не он

украл, а прежняя ваша прислуга, вот что-с! А на него, как на нового человека, свалили.

Софья Михайловна. Но сколько же дел у вас? Вы и в акционерных собраниях... Помните это ужасное у мужа собрание? Потом мебель мне страховали.

Прихвоснев. Агент-с я там! Я, собственно, агентирую по разным отраслям.

Софья Михайловна. Наконец, у вас сад и кофейная ваша эта «Русская забава»! Так, кажется, она называется?

Прихвоснев. Так-с. Нарочно, знаете, в русском духе ее назвал для привлечения купечества, а в сущности это salle de danse[1], публика приедет, танцуют, выходят, одни — в сад, другие — в соседние комнаты!.. Кто требует себе прохладительного! Кто водочки выпьет! Кто закусит!

Софья Михайловна. И публика порядочная бывает?

Прихвоснев. Отличная-с, первый сорт! *(Показывая на Блинкова.)* Вот он со своими друзьями каждый раз бывает.

Софья Михайловна *(Блинкову)*. И весело вам там?

Блинков *(как-то глупо смеясь)*. Не знаю-с, как другим, а нам весело! *(Показывая на Прихвоснева.)* Ему только счастья нет от газет! Пишут, что у него в саду ему же самому студенты бока намяли...

Прихвоснев *(опять вспылив)*. Что это за вздор какой вы повторяете! Не стыдно ли вам! Когда это было, в какое время?

Блинков. Я не знаю. Вы же судились и на суде еще заперлись и сказали, что никогда этого не было.

Прихвоснев. Да, сказал, потому что действительно не было.

Софья Михайловна *(наивно)*. Чего же не было?

Прихвоснев *(несколько заминаясь)*. Того, что я будто бы действием был оскорбляем. Это все выдумал господин писачка, который, прямо уже теперь скажу, приходил ко мне и просил двадцать пять целковых. Я ему не дал, вот он и написал на меня. Он еще погоди: я его притяну к суду; он посидит в Титовке! *(Софье Михайловне.)* Не верьте, сударыня, все это клевета, и вы не будете ли так добры, не посетите ли вы мой сад?

[1] танцевальный зал, *(франц.)*.

Софья Михайловна. Аполлон Алексеич несколько раз меня звал; может быть, как-нибудь соберусь и приеду.

Прихвоснев. Сделайте милость! Билетов прошу не брать, а даром, и увидите, что у меня все чинно, прилично и на благородную ногу.

Блинков (*Софье Михайловне*). Когда вы будете, то позвольте пригласить вас на две кадрили и на мазурку.

Софья Михайловна (*улыбаясь*). Хорошо!

Блинков (*раскланиваясь пред ней*). А теперь имею честь кланяться.

Софья Михайловна (*протягивая ему руку*). Прощайте! Merci за букет.

Блинков. Если вам угодно, я другой еще привезу.

Софья Михайловна. Нет, благодарю; я до цветов не большая охотница!

Блинков (*Прихвосневу*). До свидания!

Прихвоснев (*ему*). Обед в «Славянском базаре» не забудьте, я не прощу вам его!

Блинков (*смеясь*). Не знаю, будете ли еще стоить! (*Вторично раскланивается с Софьей Михайловной.*) Мой поклон, madame! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ III

Софья Михайловна и Прихвоснев.

Софья Михайловна. За что это вы с него обед в «Славянском базаре» требуете?

Прихвоснев (*смеясь*). Да так, дурачимся! Счета разные с ним имеем! (*Более уже серьезным тоном.*) Прекраснейший молодой человек!

Софья Михайловна. А он, однако, все что-то над вами подтрунивал?

Прихвоснев. Манера этакая глупая, купеческая; но все-таки должен сказать: ангельской души мальчик и при этом страшно богат.

Софья Михайловна. Он, мне кажется, очень недалек?

Прихвоснев. Ай, нет-с, напротив! В языке только не чист, а умный и, главное, любознательный; за границу нынешним летом сбирался было ехать, да тут грех с ним маленько случился.

Софья Михайловна. Какой грех?

Прихвоснев. Обыкновенно какой у молодых людей грех бывает: влюбился!

Софья Михайловна. Вот как! В кого же это он влюбился?

Прихвоснев. В вас!

Софья Михайловна (*удивленная и пораженная*). В меня?

Прихвоснев. Да-с! До безумия! До сумасшествия! Ночи все не спит... Нервы даже расстроил себе! Водой теперь лечится.

Софья Михайловна. Но где же он мог влюбиться в меня? Он всего два раза или три был у меня.

Прихвоснев. Страсть мгновенно людьми овладевает! Плачет иногда, бедный! Жаль даже его!

Софья Михайловна (*усмехаясь и слегка качая головой*). В таком случае я еще больше убеждаюсь, что он глуп. (*Покраснев немного.*) Разве он не знает, что я люблю другого человека?

Прихвоснев. Как не знать-с? Знает. Я даже говорил ему об этом, вы уж извините меня!

Софья Михайловна. Я нисколько этого и ни от кого не скрываю.

Прихвоснев. Что тут скрывать! Говорю ему, что вот что... «Что ж, говорит, этот другой не стоит любви Софьи Михайловны».

Софья Михайловна (*по-прежнему усмехаясь*). Почему же он не стоит моей любви?

Прихвоснев (*замявшись немного*). Потому что сам, что ли, не любит или мало вас любит...

Софья Михайловна. Из чего же Блинков заключает, что Аматуров мало меня любит?

Прихвоснев (*еще более запинаясь*). Да там я не знаю; изменяет, что ли, вам...

Софья Михайловна. Мне Аполлон Алексеич изменяет?

Прихвоснев. Блинков говорит, что изменяет.

Софья Михайловна. А как же Блинков может знать это?

Прихвоснев. Знает уж, видно! Не скрывают в этом случае мужчины друг от друга.

Софья Михайловна (*побледнев*). Послушайте, Прихвоснев, вы шутите это или нет?

Прихвоснев. Сударыня, смел бы я шутить? Я, ко-

нечно, глупо сделал, что сказал вам... Теперь вас только обеспокоил...

Софья Михайловна *(с рыданием в голосе)*. Нет, вы хорошо сделали, что сказали мне! Вы, как честный человек, должны были это сказать! Я сама замечала: он постоянно куда-то рвется от меня, куда-то все ему надо... Говорите, изменяет он мне или нет?

Прихвоснев. Ей-богу, сударыня, не знаю!

Софья Михайловна. Нет, вы знаете это! Вы должны это знать! Я на коленях вас буду умолять, буду целовать ваши руки! Ну, добрый, милый Прихвоснев, говорите! *(Старается взять его за руки.)*

Прихвоснев. Что мне вам говорить, ей-богу!

Софья Михайловна. Умоляю вас, умоляю! Иначе я с ума сойду. У меня уж голова обесчувственела... Вот она, ничего не чувствует!.. Ничего! *(Хватает себя за голову и вся дрожит.)*

Прихвоснев *(не на шутку струсивший)*. Ну, извольте, сударыня, я скажу вам... Только вы после, как-нибудь в сердцах, не скажите Аполлону Алексеичу, что от меня слышали.

Софья Михайловна *(стремительно)*. Никогда! Клянусь вам: никогда! *(Как бы машинально беря его за руку и выводя его на авансцену.)* Если бы пытку мне даже делали, на медленном огне меня жгли, я никому не проговорюсь, что это вы мне сказали. Я скажу, что по городской почте мне написали... Говорите, есть у него любовница?

Прихвоснев *(с грустью пожимая плечами)*. Есть.

Софья Михайловна *(по наружности как бы твердым и спокойным голосом)*. Кто она такая?

Прихвоснев. Да так, обыкновенная.

Софья Михайловна. Наемная, значит.

Прихвоснев. Неужели из любви! Квартиру ей нанимает. Пожалуй, не хуже этой.

Софья Михайловна *(с каким-то пылающим уже взором)*. Значит, когда я была больна, когда я умирала, он за всю-то любовь мою к нему ни одного вечера не хотел просидеть у меня, говорил, что ему по делам надо,— это он к ней ездил?

Прихвоснев. Без сомнения-с. Пиры даже задавал там. Приедет со своими приятелями... Те тоже со своими

аманками. Кутят. Песни поют. Бывал я иногда у них на этих собраниях.

Софья Михайловна *(как бы смеясь)*. Вот что, как он веселился! Но только я теперь постараюсь сделать, чтобы ему не было уж больше весело там! Поедемте сейчас же и проводите меня к этой моей сопернице. Я хочу ее видеть!

Прихвоснев. Полноте, сударыня, как это вам не стыдно: унижать себя и ехать к какой-нибудь дуре! Браниться, что ли, вы с ней будете!

Софья Михайловна. За что я буду с ней браниться? Чем она тут виновата? Я только хочу посмотреть, хороша ли она? Лучше ли она меня? Потому что я знаю, что я еще красивее многих женщин! *(Глаза ее при этом полны слез.)*

Прихвоснев. Где ж ей быть, помилуйте, против вас!

Софья Михайловна. Так за что же он предпочел ее мне? Может быть, она больше и сильней его любит, чем я. В таком случае я предостерегу ее, несчастную! Я скажу ей, что этому человеку ни души, ни сердца женского не надо. Я тоже любила его глубоко! Я жизнью готова была для него пожертвовать; но он ничего этого не оценил и ушел к другой женщине! Что же это такое? Прихоть! Разврат! Пусть эта госпожа знает, какой он негодяй и чувственник!

Прихвоснев. Госпожа эта очень хорошо все это знает и нисколько об этом не беспокоится. Вы-то по благородству чувств ваших судите по себе...

Софья Михайловна *(колотя себя в грудь)*. Да! Я сужу по себе... В продолжение трех лет я в мыслях даже не подумала не только что разлюбить его, но даже немножко охладеть к нему, а он-то, он-то!.. Боже мой! Надя, дай мне бурнус и шляпку! *(Уходит в соседнюю комнату.)*

ЯВЛЕНИЕ IV

Прихвоснев *(почти в отчаянии разводя руками)*. Влопался теперь в эту историю — беда! И не расхлебаешь! А все этот дурак Блинков! Пристал, как с ножом к горлу: «Скажи да скажи про Аматурова Софье Михайловне: это скорей дело подвинет!» Вон оно как подвинуло! Баба бешеная, вцепится Аполлону Алексеевичу в гла-

за; он как-нибудь узнает или догадается, что я тут маненько химостил, и живой от него не уйдешь! Не смешно было бы, если б еще выгода какая-нибудь особенная открывалась, а то вздор: разве вот этот обедишко в «Славянском базаре». Очень он мне нужен!

ЯВЛЕНИЕ V

Софья Михайловна в бурнусе и шляпке.

Софья Михайловна. Поедемте, покажите мне дорогу. Я продам мои вещи и брильянты и заплачу вам за это.

Прихвоснев (*следуя за ней с понуренной головой, недовольным голосом*). Ничего, сударыня, мне не надо! Миллионов бы не взял за это!

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ VI

Надя (*проворно выбегая из соседней комнаты*). Батюшки, я не спросила барыню, скоро ли она приедет! (*Отворяет окно и кричит.*) Софья Михайловна, вы когда приедете, если спросит Аполлон Алексеич? Ну, и не отвечает ничего! Сердитая такая отчего-то! Но куда это она поехала? В город, должно быть, закупить что-нибудь для вечера. У меня самой сегодня бал будет. Шоколаду купила, стану шоколадом всех поить. Удивляюсь я, как это другие девушки простую водку пьют, я даже виноградного вина не могу; зато конфет или фруктов сколько хотите съем... Пуд бы, кажется, съела, если бы кто подарил! (*Слышится звонок.*) Аполлон Алексеич, верно, это приехал!..

Бежит отворять.

ЯВЛЕНИЕ VII

Входит проворно Аматуров, а за ним возвращается и Надя.

Аматуров. Софьи Михайловны дома нет, и прекрасно! (*Наде.*) Пожалуйте сюда поближе ко мне.

Надя подходит.

Аматуров (*подавая ей небольшую коробочку*). Прошу принять и не побрезговать!

Надя (*с недоумением*). Что такое, барин?

Аматуров. Брошка и сережки с брильянтиками на именины тебе.

Надя *(вся вспыхнув)*. С какой же стати это, барин?

Аматуров. Так, подарить хочу.

Надя. Да, барин, я и надеть не буду сметь. Вдруг Софья Михайловна спросит меня, где я взяла. Я скажу, вы подарили. Она бог знает что может подумать.

Аматуров. Кто ж тебя заставляет сказать, что я подарил! Разве кто-нибудь другой тебе не мог подарить?

Надя. Это так, барин, но все как-то опасно...

Аматуров. Нечего, нечего! Клади в карман!

Надя кладет коробочку в карман себе.

Аматуров. Ну, а теперь еще я, моя прелестная, желаю с тобой переговорить: неужели тебе не противно жить в горничных?

Надя. Что уж, барин, хорошего! Точно, что самая противная должность!

Аматуров. Но ведь ты портниха?

Надя. Портниха-с; но нам у хозяев, пожалуй, еще труднее жить-с. У меня даже грудь начала болеть, сидишь все согнувшись...

Аматуров *(перебивая ее)*. Я тебе не про хозяйку и говорю, а открой сама свою мастерскую. Полюби какого-нибудь человека с состоянием, он тебе купит швейную машину, даст на первое обзаведение и потом слегка станет тебя поддерживать — и живи, значит, на своей воле.

Надя. Разве, барин, такого человека на улице, что ли, найдешь...

Аматуров. Да полюби меня, я тебе все это сделаю!

Надя. Вы? Ха-ха-ха! Вот это отлично, бесподобно! А барыню как же вы будете любить? Она по вас жива сгорела!

Аматуров *(вздохнув)*. Что делать, барыню я разлюбил! С сердцем своим не совладаешь.

Надя *(качая головой)*. Ах, вы, мужчины, мужчины гадкие!

Аматуров. Может, и гадкие! Но как же, полюбишь?

Надя. Нет, барин, никогда не буду согласна на это.

Аматуров. Почему?

Надя. Потому, барин, что я лучше замуж пойду за равного себе.

Аматуров. За какого за равного?

Надя. Хоть за какого-нибудь клубского лакея; он станет служить, а я буду жить на квартире.

Аматуров. И будет к тебе этот клубский лакей приходить каждый вечер и колотить тебя.

Надя. Ну, а то, что вы, барин, говорите, разве лучше? Мало ли нас, дур, от того погибает!

Аматуров. Это уж извини; я тебя не погублю, потому что это не простое волокитство с моей стороны, а я влюблен в тебя самым искренним образом.

Надя (*усмехаясь*). Мне, барин, смешно даже слышать, как вы говорите, что вы влюблены в меня. Вы вот любите барыню мою... Кучер ваш рассказывал, что у вас есть где-то там еще другая барыня.

Аматуров. Положим, что я люблю твою барыню и что есть еще у меня где-нибудь другая барыня; но если я всех их брошу для тебя?

Надя. Не бросите, не посмеете! Это не то, что нашу сестру.

Аматуров (*прижимая руку к сердцу*). Уверяю тебя честью...

Надя. А когда бросите, тогда и видно будет, а теперь я и разговору такого не хочу иметь с вами! Адье-с, мусье! (*Кокетливо приседает ему и проворно уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ VIII

Аматуров (*оставшись один и как бы размышляющим несколько тоном*). Ушла! Что это значит? В самом ли деле она prude [1] этакая или просто плутовочка; но как бы то ни было, удивительно, что у меня за характер: девочка эта сделалась теперь венцом всех моих желаний! Я полсостояния готов истратить на то, хотя наперед знаю, что она скоро наскучит мне; потому что, как делают вон другие мужчины, любить долго одну женщину я никогда не мог, скорей бы застрелился! И теперь вот еще черта у меня: Софью Михайловну я разлюбил совершенно; ее ласки и нежности просто невыносимы мне, но попробуй она сама отстранить меня от себя или, что еще хуже того, полюбить другого, мучиться ведь буду... терзаться... ревновать стану... мстить даже готов!

---

[1] недотрога (*франц.*).

ЯВЛЕНИЕ IX

Входит Софья Михайловна. Выражение лица ее почти ужасное.

Аматуров *(увидев ее)*. А, вот и дорогая именинница наша! Поздравляю вас с днем вашего ангела!

Софья Михайловна *(слегка кивая ему головой)*. Очень вам благодарна!

Садится на диван и отворачивается от Аматурова. На глазах ее, несмотря на строгое выражение их, искрятся слезы.

Аматуров *(все это заметивший и уже несколько смущенным голосом)*. А насчет подарка, извини, мой ангел! Какой случай вышел! Третьего дня я заехал к ювелиру; вижу, один браслет — чудо что такое, в середине яхонт, а кругом на золотых цветочках изумруды. Денег со мной не было, а он довольно ценный, так что я решился заехать на другой день. Вообрази: приезжаю, а его уже купили... Я, впрочем, заказал тебе сделать точно такой же... Ты, надеюсь, подождать можешь?

Софья Михайловна. Отчего ж не подождать! Могу, могу... *(Как-то странно смеется.)*

Аматуров *(это тоже заметивший и садясь на довольно отдаленное от Софьи Михайловны кресло, тем же смущенным голосом)*. Теперь-с второе дело, и опять денежное: милейший супруг ваш бог знает до какой наглости дошел... Слышу ото всех, что он там богатеет, и вдруг вчера получаю от него письмо, в котором он почти приказывает мне немедленно выслать ему на какую-то временную перевертку шесть тысяч рублей серебром. Не говоря уже о том, что я никогда бы и ничем не желал ссужать подобного господина, но теперь даже лишен возможности сделать это, потому что наличные деньги, какие у меня были, я все ему отдал, а больше у меня таковых не имеется!

Софья Михайловна. И не посылай! Кто ж тебя заставляет?

Аматуров. Прекрасно-с; но если он тебе начнет за это делать неприятности?

Софья Михайловна *(гордо взмахивая на него глазами)*. А тебе что за дело до того?

Аматуров. Дело, потому что мне твое спокойствие дорого.

Софья Михайловна. Спокойствие мое дорого

вам? А я и не знала этого! *(Опять как-то странно смеется и постукивает ногой.)*

Аматуров. Но что ж тут смешного и что у тебя за тон сегодня? Сердишься, что ли, ты на меня за что-нибудь?

Софья Михайловна. Спроси свою совесть, есть ли мне за что на тебя сердиться или нет, да сам и отвечай на этот вопрос!

Аматуров. Спрашиваю и решительно отвечаю, что не за что: я сегодня такой же, каким был и вчера.

Софья Михайловна. Да, я знаю, что ты сегодня такой же негодяй, каким был вчера и третьего дня!

Аматуров *(перебивая ее)*. Софья Михайловна, остерегитесь в ваших выражениях!

Софья Михайловна. Таким именем тебя назовет еще и другая женщина! Я сейчас была у другой твоей любовницы! На, смотри, кому ты дарил этот портрет! *(Показывает Аматурову его фотографический кабинетный портрет.)* Она также не хочет держать его у себя и пускать тебя к себе.

Аматуров *(сильно смущенный)*. Я в этом нисколько не нуждаюсь!

Софья Михайловна. Не лги уж, пожалуйста! Ну, разлюбил, приди скажи! По крайней мере, честным человеком бы остался; но в тебе даже откровенности ко мне, искренности в отношении меня не было.

Аматуров *(несколько оправившись)*. Позвольте, Софья Михайловна! Искренности и в вас в отношении меня никогда не было.

Софья Михайловна. Где? В чем? Говори!

Аматуров. Да вот с пустяков взять: вон на столе у вас букет стоит. Я не ревную и не спрашиваю, кто вам его подарил.

Софья Михайловна. Напрасно! Я тебе сейчас скажу: букет этот подарил мне молодой Блинков, страстно в меня влюбленный.

Аматуров. Вот видите, что оказалось на поверку, да и в другом во многом...

Софья Михайловна. В чем еще другом? Говори!

Аматуров. Что ж говорить? Я никогда не хотел напоминать вам об этом.

Софья Михайловна. Нет, я требую, чтобы ты напомнил, если уж начал!

Аматуров *(как бы сам с собой)*. Хороша искренность! В то время, как бог знает в какой любви меня уверяли, вы отличнейшим образом действовали в пользу кармана своего супруга. Вы думали, что я не понял ничего этого; но я, к несчастью, все это уразумел.

Софья Михайловна. Да, действовала в пользу кармана своего супруга! Но знаешь ли ты, жадный скупец, отчего и почему я это делала? Я делала это, чтобы спасти любовь нашу: еще накануне муж хотел услать меня в деревню и разлучить нас, а я тогда жить без тебя не могла, да полагаю, что и ты тоже.

Аматуров. Если жить без меня не могли, то гораздо бы проще было прямо уехать от мужа.

Софья Михайловна. Конечно! Так бы вот он сейчас и пустил меня! Смирненького какого нашли! Он бы и через полицию вытребовал меня к себе. Впрочем, я все-таки сознаюсь, что я тут подло и бесчестно поступила, но я не знала вас: я думала, что я дороже для вас тридцати тысяч, в чем прошу у вас извинения, а еще более в том, что и потом продолжала обременять вас собою и жить на ваш счет, чего уж, конечно, теперь ни одной минvты себе не позволю! Надя!

ЯВЛЕНИЕ X

Надя, все время подслушивавшая у дверей, вбегает.

Софья Михайловна. Поди принеси мне из спальни мою красненькую коробочку.

Надя уходит.

Софья Михайловна *(Аматурову)*. Ничего не беру из вашей квартиры, возьму только свои приданые брильянты и еще раз прошу у вас прощенья, что заставила вас тратиться на себя.

Надя возвращается и подает Софье Михайловне ящичек.

Софья Михайловна *(ей)*. Поди найми мне извозчика! Недалеко тут в номера!.. Я сейчас туда переезжаю.

Аматуров *(желая ее успокоить)*. Софья Михайловна, перестаньте же безумствовать и глупости делать! Если действительно была с моей стороны маленькая ветреность, то, заверяю вас, она уж более не повторится! Помиримтесь! *(Хочет было приблизиться к ней.)*

Софья Михайловна *(отстраняясь от него)*. Не подходи или иначе я убью тебя!

Аматуров. Ну, убивайте, когда хотите. *(Подходит было к ней.)*

Софья Михайловна *(кидая в него портрет)*. На, вот тебе портрет твой отвратительный!

Аматуров *(отскакивает от нее)*. Сумасшедшая женщина!

Софья Михайловна *(с окончательно раздувшимися ноздрями, Наде)*. Найми извозчика и поедем со мной!

Аматуров *(Наде, тоже взбешенным голосом)*. Не езди, Надя, оставайся здесь, и уж не служанкой, а барыней!.. Это все и вся квартира принадлежат тебе, и три тысячи годового дохода.

Софья Михайловна *(строго Наде)*. Едешь или нет?

Надя *(со слезами в голосе)*. Барыня, я в номерах жить не могу!

Софья Михайловна. Ха-ха-ха! И тут уж есть! *(Быстро поворачиваясь к Аматурову.)* Человек ты или зверь? Ты исключенье из людей! Чудовище какое-то!.. Что же это такое, господи?!. *(Поднимает в ужасе руки.)*

Аматуров, обозленный, стоит на одной стороне авансцены, а Надя, очень смущенная, на другой.

Занавес падает.

ДЕЙСТВИЕ IV

Общественный сад с отдельными столиками и плетеными стульями около них. На заднем плане виднеется довольно красивое в русском вкусе здание с надписью «Русская забава». В саду около кустов стоят несколько лакеев в вытертых черных фраках и с металлическими номерами на груди. Летний вечер.

ЯВЛЕНИЕ I

Блинков в модном пиджаке и Прихвоснев в летнем гарусном пальто и соломенной шляпе сидят около столика, ближайшего к авансцене на правой стороне.

Блинков *(по обыкновению, слегка пришептывая)*. Сколько времени уж, брат, прошло, а дело на аршин не подвинулось!

Прихвоснев (*поучительным тоном*). Терпение и терпение!

Блинков. Пожалуй, терпи! Она вон все плачет!

Прихвоснев. Непременно-с должна плакать.

Блинков. Стало быть, она по этом Аматурове плачет?

Прихвоснев. Нисколько-с, нисколько!

Блинков. О ком же она плачет?

Прихвоснев. О своем положении! Вы не знаете, а я ей последние брильянтишки ее продал! И она сегодня приедет сюда за деньгами.

Блинков (*уже горячась*). Кто же ее заставляет? Разве я не могу ей помочь и держать на всем готовом?

Прихвоснев. Вона какую маленькую штуку выдумал: «держать на готовом»! Она не простая девушка, а женщина благородного звания, свой гонор и амбицию имеет!

Блинков. А отчего она у Аматурова жила на его счет?

Прихвоснев. То другое-с было! По любви началось! А потом, когда случай такой вышел: муж бросил! Теперь же думает: любила одного, но тут выходит, надо любить другого — как этому вдруг сделаться! С какой-нибудь Надей, спросите-ка Аматурова, сколько он хлопотал! Сначала ни квартиры, ни вещей Софьи Михайловны, ни даже жалованья в три тысячи целковых брать не хотела, ушла от него, и только уж месяца через три, как ей очень невтерпеж пришлось жить в горничных, мы разными ее катаньицами, гуляньицами и винцом сладким сманили...

Блинков. Меня, значит, Софья Михайловна уж и не полюбит никогда?

Прихвоснев. Да полюбит! Господи, погодите немножко! Она мне сама говорила: «Я в него еще всматриваюсь, серьезное ли он чувство ко мне имеет».

Блинков. Еще бы не серьезное, мне ничего не жаль для нее!

Прихвоснев. Знаю-с! Но вот она увидит это, поймет и оценит! Кто-то, однако, приехал! (*Глядит вдаль.*) Батюшки, Аматуров с Наденькой своей! (*Блинкову.*) Вы с ним встречались после его разлуки с Софьей Михайловной?

Блинков (*не совсем спокойным голосом*). Встречались!

Прихвоснев. И что же, ничего?

Блинков *(тем же неспокойным голосом)*. Ничего, кажется!..

ЯВЛЕНИЕ II

Входят Аматуров и Надя, франтовски одетая.

Аматуров *(Прихвосневу, который его почти раболепно встречает)*. Вот и мы к вам на гулянье приехали!

Прихвоснев. Очень-с рад, очень! *(Кланяется Наде.)* Какая вы, Надежда Дмитриевна, прелесть стали! Чудо что такое!

Надя *(перебивая его)*. Пожалуйста, без насмешек.

Прихвоснев. Какие насмешки! *(Аматурову.)* Я вот этта как-то встретил вас: едете вы на ваших рысаках... сбруя горит, экипаж отличнейший, сами молодцом сидите, около вас *(показывая на Надю)* этот ангелочек... Просто народ ахает и рот разевает, глядя!

Аматуров *(самодовольно)*. Действительно, у меня эта пара недурная! *(Проходит и вместе с Надей садится около столика на левой стороне авансцены.)*

Прихвоснев *(следуя за ним)*. Чем прикажете потчевать?

Аматуров. Нам пока ничего не надо, а об лошадях похлопочите: велите вашему кучеру их отпрячь, чтобы повыстоялись они немного, и овса им дайте.

Прихвоснев. Сами, значит, правили, в одноколке приехали?

Аматуров. Сам. Но, однако, спешите, не раздабаривайте.

Прихвоснев. В минуту все устроим. *(Уходит.)*

Аматуров *(надев пенсне и осматривая сад, говорит Наде.)* Это, кажется, господин Блинков?

Надя. Он... То-то, я думаю, у вас как в сердце закипело! Так бы и съели его сейчас!

Аматуров *(с усмешкой)*. Напротив!

Надя *(перебивая его)*. Уж сделайте милость, не запирайтесь! Досадно уж!

Аматуров *(с той же усмешкой)*. Почему ж досадно?

Надя. Да как же! Прежде Софья Михайловна вас любила, а теперь, говорят, его любит.

Аматуров. И на здоровье ей! Вот мы сейчас даже

оприветствуем друг друга! *(Громким голосом и кивая головой Блинкову.)* Здравствуйте, Блинков.

Блинков *(вскакивая с места и несколько трусливо).* Ах, здравствуйте!.. Как ваше здоровье?

Аматуров. Ничего, живем... Не хотите ли в следующее воскресенье на бегах потягаться на рысаках?

Блинков *(скаля от удовольствия рот).* Извольте-с. У нас нынче новый каурый рысак есть.

Аматуров. А мы на старом еще поплетемся. С Софьей Михайловной Дарьяловой часто видаетесь?

Блинков *(опять струсив).* Нет-с, нечасто.

Аматуров. А как этак?

Блинков. Да так... иногда бываю-с. А вы видаетесь?

Аматуров. Нет, мы не видаемся. Прежде уж часто видались, надоели друг другу.

Блинков. Вот что-с! До свиданья! *(Встает и хочет уйти.)*

Аматуров *(ему).* Куда ж это вы?

Блинков. На бильярде в кофейную *(показывает головой на заднее здание)* иду поиграть! *(Скрывается.)*

Аматуров *(слегка усмехаясь).* Убежал, каналья. Думает, верно, что я стану претендовать на него; а я рад, очень даже, что он утешил безутешную...

Надя *(щуря глаза).* Ах, как вы злы на Софью Михайловну, ужасно! Сейчас и насмешничать над ней! Что и надоели друг другу и что утешил безутешную!

Аматуров *(уже серьезным голосом и с ударением).* Ну, я еще мало на нее злюсь! На нее следовало бы больше злиться за все ее деянья против меня.

Надя. Какие же деянья ее против вас были?

Аматуров. Да вот хоть бы то, что меня ревновала, никуда от себя не пускала, только что не на цепочке держала; а сама в это время под сурдинкой любовника другого приобрела себе.

Надя *(с удивлением).* Какого любовника? Что вы выдумываете?

Аматуров. А Блинкова этого?

Надя. Да если она и полюбила его, так после того, как вы ее кинули.

Аматуров *(вспылив даже).* Что ты мне говоришь: после! У ней на именинах стоял букет от него. Они давно уж, я думаю, обожают друг друга!

Надя. Где ж давно? Он всего два раза у ней и был тогда... На моих глазах все это происходило.

Аматуров. При тебе два раза, а вот, может быть, в этом же саду, у этого мерзавца Прихвоснева, каждый день видались; но все это — люби она там кого ей угодно, сколько угодно; но, главное, как она смела бросить мне портрет в лицо!.. Она прямо тут рассчитала, что она женщина и что я ничем не могу отплатить ей за то... Не хлыст же взять и самое ее отдуть! Мы не в том веке живем.

Надя *(грозя ему пальчиком)*. Погодите, Аполлон Алексеич, постойте! Отчего ж вы на другую, которая у вас была вместе с Софьей Михайловной, не сердитесь? Та тоже вас оставила!

Аматуров. Та оставила меня благороднейшим образом; она возвратила мне мой портрет и написала мне письмо, чтоб я больше к ней не ездил.

Надя. Нет, не потому! Не проведете меня.

Аматуров. А почему же?

Надя. А потому, что и теперь еще к ней ездите.

Аматуров *(заметно смущенный этими словами)*. Пустяки какие! Когда же я езжу?

Надя. Знаю я, знаю!.. И подстерегу даже вас и тоже в лицо вам брошу — помело даже! Я злая тоже.

Аматуров *(продолжая оставаться несколько смущенным)*. Ты можешь кидать. Ты другое дело!

ЯВЛЕНИЕ III

Входит Препиратов, мрачный, сильно похудевший.

Препиратов *(одному из лакеев басом)*. Одолжите мне, любезный, чаю!

Лакей. Сейчас-с! *(Уходит.)*

Препиратов, обернувшись в сторону к Аматурову, начинает всматриваться в него. Тот на него тоже смотрит.

Аматуров *(про себя)*. Где я видел этого господина, не помню!

Препиратов *(к нему и по обыкновению басом)*. Я, кажется, имел удовольствие встречаться с вами в собраниях компании «по выщипке руна из овец».

Аматуров *(припомнив)*. Ах, да! Там! Действительно! Вы, кажется, адвокат?.. Господин Препиратов, если я не ошибаюсь?

П р е п и р а т о в. Точно так! *(Подумав немного.)* Что же, эта компания так и лопнула?

А м а т у р о в. Совершенно.

П р е п и р а т о в *(нахмурив брови)*. А где же этот обманувший всех господин директор?

А м а т у р о в. На юге себе благоденствует. Пароходством своим управляет и еще, говорят, новое какое-то предприятие затевает! В двухстах тысячах считают.

П р е п и р а т о в *(глубокомысленно качнув головой)*. Какая безнаказанность!

А м а т у р о в. Да, нынче плутовать можно, кто умеет прятать концы. Вон и по вашей адвокатуре есть ведь тоже это?

П р е п и р а т о в *(грустным голосом)*. Есть! К великому сожалению, должен сознаться, что есть.

А м а т у р о в *(всматриваясь в него)*. Но вы что-то очень похудели? Страдаете чем-нибудь?

П р е п и р а т о в *(мрачно)*. Грудью! В молодости я учился в семинарии, и нас тогда сильно там истязали... Классы были почесть нетопленные; сами профессора сидели в шубах, мы в своих халатишках — простуда, значит! Потом дурное питание: я все время ученья ел только так называемые купоросные щи, то есть из одной протухлой капусты, без всего! Наконец наказания несоразмерные: ежели мало-мальски в уроке не тверд, профессор подкликнет тебя к себе: «Дай-ка, говорит, твои аксиосы!» — и таскает, таскает тебя за волосы; а бросит, его же поблагодари, что наказал.

А м а т у р о в. Что за варварство такое!

П р е п и р а т о в. Жестокое проходили воспитание...

Л а к е й *(подходит к нему)*. Чай готов.

П р е п и р а т о в. Благодарю! *(Идет к столику, за которым усевшись, начинает с мрачным выражением пить чай.)*

А м а т у р о в *(снова относясь к нему)*. А скажите: у той госпожи, с которой я вас видел, вы до сих пор поверенным?

П р е п и р а т о в *(с окончательно помрачившимся взором)*. Нет-с, она другого уже поверенного имеет! Мы с ней более года, как разошлись.

А м а т у р о в. Вследствие чего же?

П р е п и р а т о в. Вследствие того, что она женщина неблагодарная и развращенная.

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Софья Михайловна. Она появляется из ворот сада. За ней, едва поспевая, следует Блинков.

Блинков (*ей негромко и торопливо*). Я вас все тут у ворот дожидался... Аматуров здесь в саду сидит.

Софья Михайловна. А мне что за дело до того! Он может сидеть и бывать где ему угодно! (*Подойдя к столу направо и обращаясь к Блинкову.*) Муж приехал и был у меня.

Блинков (*побледнев*). У вас даже был?

Софья Михайловна. Да, но не застал меня дома. Я нарочно уехала из дому... Позовите ко мне поскорее Прихвоснева, чтоб он отдал мне мои деньги, я сейчас же уеду.

Блинков. Куда-с?

Софья Михайловна. Не знаю еще и сама, куда.

Блинков хотел было идти, но из кофейной вышли Прихвоснев и Дарьялов.

Прихвоснев (*искренним голосом*). Ей-богу, Ираклий Семеныч, вашей супруги здесь нет.

Дарьялов (*взбешенным голосом*). Что вы мне говорите! Я по пятам почти ее ехал! (*Увидав Софью Михайловну.*) А это что?

Прихвоснев. Сейчас только, вероятно, приехала.

Дарьялов (*передразнивая его*). Приехала сейчас! (*Как бы несколько в сторону.*) Мошенники!

Прихвоснев. Вы не ругайтесь, а не то я велю вас вывести!

Дарьялов. Как же, вывести тебе меня!

Прихвоснев. И выведу, да! (*Сам, впрочем, уходит в кофейную.*)

Дарьялов (*осматривая публику*). А, и господин Аматуров здесь! Вся компания, значит, в сборе. (*Жене.*) Почему ты не приняла меня давеча?

Софья Михайловна (*твердым и как бы спокойным голосом*). Давеча меня дома не было.

Дарьялов. Но я оставил тебе записку, где писал, что приеду в восемь часов, отчего ж ты меня не подождала?

Софья Михайловна. Я нарочно уехала, чтобы ты не застал меня.

Дарьялов *(в бешенстве повторяя)*. А, нарочно!.. Ну, погоди, я еще после с тобой поговорю! Прежде с этим господином! *(Подходя к Аматурову почти с сжатыми кулаками.)* Послушайте, что за подлости вы делаете против меня?

Аматуров *(тоже вставший на него, гордо и грозно выпрямившийся и как-то зловеще поигрывая своим хлыстиком)*. Какие-с?

Надя не знает, куда и глядеть; она то опускает глаза в землю, то взмахивает их на Софью Михайловну, которая стоит неподвижно, как статуя. Препиратов мрачно прислушивается к начинающейся ссоре.

Дарьялов. Такие, что... за каким-то там дьяволом представляете векселя на меня! Я должен был для этого за семьсот верст прискакать!

Аматуров *(насмешливо)*. За таким, чтобы деньги получить, которых вы мне не платите. Я вовсе не желаю, чтобы вексель мой пропадал!

Софья Михайловна при этом презрительно улыбнулась.

Дарьялов *(почти крича)*. Не на меня же вы должны представлять его ко взысканию, а должны обращаться к моей поручительнице, к жене моей!.. Вон она сидит тут с вами — хоть съешьте ее!

Аматуров *(опять усмехаясь)*. Месяц уж давным-давно истек после срока, да и во всяком случае я должен был бы первоначально обратиться к вам.

Дарьялов. Нет-с, не ко мне, извините! Я законы знаю! Я жену нарочно поручительницей и поставил, чтоб она первая платила вам! Это вы с ней дела делали, с ней и разделывайтесь.

Аматуров *(как бы даже в удивлении)*. Если вы так рассчитывали, то ошиблись! И всего лучше, я полагаю, наш спор может разрешить господин Препиратов как юрист! *(Обращаясь к Препиратову.)* Скажите, имею ли я право после пропуска месячного срока обращаться к г-же Дарьяловой, как к поручительнице?

Препиратов *(откашлянувшись и басом)*. Если месячный срок истек, то никакого.

Дарьялов *(опешенный и обращаясь к Препиратову)*. То есть как же? Кто же теперь в настоящую минуту должен платить господину Аматурову: я или жена?

Препиратов. Вы!

Дарьялов. А жена так-таки и ничего?

Препиратов. Ничего! Через месяц после срока, если вексель не подан был ко взысканию, с поручителей спадает всякая ответственность.

Дарьялов (*в бешенстве махая руками и покраснев, как рак.*) Это черт знает что! Это грабеж дневной! Там устроили какие-то шушуканья между собой, пришли, сами предложили мне денег под вексель! Я человек военный: всех тонкостей в этих делах не знаю!.. Просто как на большой дороге ограбили!

Аматуров (*приподнимая немного хлыст и сильно возвысив голос*). Кто вас грабил? Вы всех грабили и тысячи людей обворовали, и я вытяну с вас свои деньги.

Дарьялов (*передразнивая несколько его*). Вытяну! Вытяну! Да!.. Да!.. Как вам не вытянуть! Развратитель этакий! Вкрался в честный дом, разрушил семейное счастье да векселя там какие-то заставил подписать ему!

Аматуров (*все более и более наступая на Дарьялова*). Разве я вас заставлял подписывать? Вы сами просили взять с вас вексель, и я чистые деньги отдал вам под него.

Дарьялов (*немного уже отступая.*) Не для меня же вы их отдавали, а для жены... Пять лет его женщина любит, как дура какая-нибудь, а он грошами какими-то не хочет пожертвовать за то. Только одни жидоморы так делают.

При последних словах Софья Михайловна вздрогнула даже всем телом.

Дарьялов (*жене*). Извольте сейчас же заставить господина Аматурова изорвать свой вексель на меня!

Софья Михайловна (*насмешливым голосом*). Не послушает он, я думаю, теперь меня!

Дарьялов. А не послушает, я в деревню увезу тебя.

Софья Михайловна (*по-прежнему насмешливо*). И то, полагаю, не поможет, да в деревню я и сама с тобой не поеду.

Дарьялов. Нет, поедешь, будь покойна. Если я силой посажу в вагон, так поедешь.

Софья Михайловна. Никогда ты не посмеешь этого сделать. Никогда!.. Я талисман против тебя имею могущественный... сильный...

Дарьялов (*насмешливо*). Талисман она там имеет.

Софья Михайловна. Да. Талисман... талисман... *(Протягивая в сторону руки и как бы ища кого-то.)* Послушайте, этот... Блинков...

Блинков приближается к ней.

Софья Михайловна. Есть с вами деньги и большие деньги? А если нет, то съездите сейчас за ними.

Блинков *(обрадованным голосом)*. Со мной-с теперь чек... Сегодня ездил в банк получать...

Софья Михайловна. Ну, и хорошо это. Потрудитесь вы теперь же заплатить *(показывает на Аматурова)* этому господину тридцать тысяч и сделайте так, чтобы вексель его на мужа принадлежал мне. Можно это?

Блинков *(сконфуженный и обрадованный)* Я думаю, можно-с.

Софья Михайловна *(Препиратову)*. Делается так?

Препиратов *(по-прежнему мрачно стоявший около своего стула)*. Всегда так и делается и совершенно законно будет.

Блинков *(подойдя к Аматурову)*. Угодно вам получить чек?

Аматуров *(насмешливо)*. Сделайте одолжение.

Блинков пишет чек, а Аматуров — расписку в получении денег; тем и другим они обмениваются между собой; затем Блинков подает расписку Софье Михайловне.

Софья Михайловна. Благодарю. *(Мужу.)* Ты вот смеялся над талисманом против тебя, а он у меня оказался. *(Показывает ему расписку Аматурова.)* С ним ты меня, надеюсь, не повезешь в деревню, а иначе я деньги взыщу.

Дарьялов *(не глядя на нее и притоптывая ногой)*. Очень ты мне нужна!

Софья Михайловна. Конечно. *(Обращаясь к Аматурову.)* Вам мне следует еще заплатить те деньги, которые вы мне последний год передавали; я сочту, сколько их, и заплачу вам.

Аматуров *(по-прежнему насмешливо, но внутри, видимо, терзаемый совестью)*. Слушаю-с.

Софья Михайловна *(как бы с просветлевшим на мгновение лицом)*. А мне теперь одна фантазия пришла: мне кутить хочется!.. *(Блинкову.)* Прикажите Прихвос-

неву, чтоб он дал нам ужинать и вина человек на шесть, на семь.

Блинков. Сию секунду-с. *(Убегает.)*

Софья Михайловна *(всем)*. Останьтесь со мной поужинать. Может, в жизни мы никогда уж и не встретимся. *(Аматурову.)* Согласны, Аматуров, хоть в память того, как мы когда-то с вами ужинали?

Аматуров *(грустно улыбаясь)*. Если вы желаете того.

Софья Михайловна *(Наде)*. Поужинай, Надя, и ты со мной.

Надя *(совсем опуская глаза)*. Извольте-с.

Софья Михайловна *(мужу)*. А ты останешься?

Дарьялов *(грубо и насмешливо)*. Можешь ужинать и без меня!

Софья Михайловна садится за один из столиков, за который также садится и Аматуров. В продолжение всей последующей сцены он заметно расстроен и все кусает себе губы. Наде тоже, как видно, очень неловко сидеть с Софьей Михайловной.

Софья Михайловна *(Препиратову)*. Присядьте и вы к нам.

Препиратов *(басом)*. Благодарю вас! Я не ужинаю. *(Остается на своем месте.)*

ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Блинков с Прихвосневым, а за ними лакеи вносят ужин и вино и ставят все это на стол. Блинков садится рядом с Софьей Михайловной, а Прихвоснев около него.

Софья Михайловна *(подвигая гостям своим блюда)*. Кушайте... А мне дайте еще проплакаться... Слез уж много накопилось. *(Закрывает себе лицо руками.)*

Все смотрят на нее с удивлением и даже некоторым страхом.

(Вдруг открывая лицо, хватая бокал и обращаясь к Блинкову.) Налейте мне вина и всем налейте!

Блинков наливает.

(Поднимает бокал.) За здоровье всех лореток, кокеток и камелий! *(Гостям своим.)* Что ж вы не пьете? Вы только их и любите нынче! Они вам милей всякой честной женщины, и не почему другому, как потому, что менее

затрагивают ваш эгоизм: их можно бросить ежеминутно, без всякого зазрения совести, хоть умри она от того, и сейчас же найти другую, лучше, моложе... красивее!.. Пейте. *(Выпивает залпом бокал свой.)*

Вслед за ней и прочие выпивают вино свое, и при этом один только Прихвоснев негромко восклицает: «Ура!»

Аматуров *(грустно-насмешливым тоном)*. Вы, может быть, не хотите ли, как Лукреция Борджиа, отравить нас?

Софья Михайловна *(устремляя на него проницательный взгляд)*. А хорошо было бы... хорошо! И с вас начать первого... Впрочем, где же всех перетравить! Все вы такие: и здесь все сидящие и там вон! Но зачем же уж вас так во всем винить? Вон он *(показывает на мужа)* бил меня, когда я не хотела участвовать в некоторых проделках его.

Дарьялов *(ходивший в глубине сцены)*. Когда ж это было?

Софья Михайловна. Было! Не запирайся! *(Снова обращаясь к Аматурову.)* Но вы... Вы, пожалуй, еще хуже его были против меня. Я вас любила как высшее какое-то существо... Я думала, что вы уврачуете вашим участием все душевные страдания мои, которые у меня накопились от жизни с этим человеком... *(Показывает опять на мужа.)* Но вы... Я не говорю уже об изменах, а когда вы, может быть, и верны еще были мне, вы всегда видели во мне какую-то чувственную игрушку вашу... Помните, сколько раз я плакала и говорила вам, что я женщина, а не животное и хочу, чтобы меня любили не за одно красивое лицо. Вы мне отвечали на это одними полусловами. Вам, кажется, смешно было слышать такое мое желание... А этот *(показывает на Блинкова)* совсем уж меня, как вещь какую простую, купить хочет! *(Строго Блинкову.)* Но только я не дамся вам!.. Вы меня не купите! Я не хочу вас обманывать: вы мне гадки!.. Нате вам ваши деньги! *(Бросает ему расписку Аматурова.)*

Блинков, совсем растерявшийся, берет эту расписку.

Софья Михайловна *(вставая)*. Хотела было с добрым чувством проститься с вами, но и того не могу. *(Идет к выходу.)*

Все прочие тоже встают из-за стола.

Надя (*слушавшая Софью Михайловну с потупленным лицом, вдруг бежит за ней*). Софья Михайловна, возьмите и меня с собой, хоть опять в горничные!

Софья Михайловна (*оборачиваясь к ней и каким-то мрачным голосом*). Зачем?.. Разве ты спасешься куда-нибудь от этих людей? От них уйдешь, других встретишь, и, может быть, полгода, год какой-нибудь поборешься, но в конце концов опять будет то же! Иначе жить нельзя, пойми ты это! Не порок!.. Как вот он же выучил меня этой фразе! (*Показывает на Аматурова.*) Не порок, а добродетель должна умолять, чтоб ей позволили существовать! (*Окончательно мрачным голосом.*) Я иду на презрение, на нищету и на что-нибудь еще худшее, а тебе разве хочется того?.. Да и зачем это делать? Смотри: вас тут уважают, вам весело тут, привольно, нарядно! Оставайся!.. (*Машет рукой и уходит.*)

Надя остается в глубине сцены сильно смущенною.

Аматуров (*на авансцене*). Это бог знает что такое! Бред какой-то!

Блинков (*почти плачущим голосом*). За что это на меня Софья Михайловна рассердилась, сам не знаю.

Дарьялов (*снова с каким-то рассвирепелым лицом*). Но кому же все-таки я должен теперь остаюсь? (*Блинкову.*) Вам, что ли?

Блинков. Ничего не мне-с! Я вот сейчас разорву расписку господина Аматурова! (*Рвет расписку, которую ему подала Софья Михайловна.*)

Дарьялов. (*Аматурову*). Вам, значит?.. Не доберусь — какая путаница вышла!

Аматуров (*ему с досадой*). Убирайтесь вы с вашим долгом! Очень он мне нужен! Я так тогда подал в сердцах ко взысканию... Я завтра же напишу в суд, что вы мне заплатили. (*Блинкову, кидая ему чек его.*) Возьмите и вы ваш чек назад.

Блинков (*каким-то почти героическим тоном*). Нет, уж вы его взяли и получите по нему. Это извините... Софья Михайловна хоть и говорит, что я хотел ее, как вещь, купить! Я не хотел того! Я только влюблен был в нее, в этом каюсь.

В это время раздается выстрел.

Все (*в один голос*). Что такое?

Вбегает лакей.

Лакей (*перепуганным голосом*). Госпожа, что вышла сейчас, застрелилась на дорожке.

Блинков и Надя (*совсем опешенные*). Господи!

Препиратов (*значительно мотнув головой и в сторону*). Я ожидал этого!

Аматуров (*побледневший, как полотно*). Но где же и откуда она могла взять пистолет?

Блинков (*от страха окончательно пришептывая, так что едва можно понять, что он говорит*). Она давно его носила, говорила все, что вас хочет застрелить!

Все бегут в ту сторону, откуда раздался выстрел.

Дарьялов (*оставшийся еще на сцене и тоже, как видно, сильно пораженный*). Какова соколиха?.. А?.. Какова?..

Прихвоснев (*совсем склоняя голову перед публикой*). Странная женщина, особенно в наше просвещенное время.

Зачавес падает.

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ



Подготовка текста
и примечания
А. А. Рошаль.

АСТРАХАНЬ

Выехав из Саратова, я уже был на настоящем юго-востоке: солнце пекло, как у нас в последних числах марта. Везли меня по Волге, на которой чувствительно потрескивал лед, а по сторонам виднелись полыньи и проруби, ничем почти не огороженные. Вместо правильно расположенных и плотно выстроенных деревень наших верховых губерний я видел на обрывистых берегах какие-то хатки-мазанки, а около них непокрытые, из плетня, загородки для скота. Из попадавшихся сельских церквей хоть бы одна каменная. Все это, если хотите, довольно живописно при заходящем солнце, но и только.

В Дубовке я увидел в первый раз волжских казаков, которые дожидали там проезда из Оренбурга астраханского губернатора, чтобы держать ему почетный караул. У большей части из них тип лиц и одежды довольно характерен и представляет смесь служивого человека и мужика. История волжского казачества коротка: это частью казаки-переселенцы с Дона, частью сосланные Петром стрельцы, перекрещенные калмыки, татары и, наконец, беглые беспаспортные русские люди. Из всей этой смеси теперь образовано три или четыре полка. Понятно, что правительственная цель поселения их была в противодействие набегам кочующих племен, чему они, надобно сказать, и противодействовали по пословице: «Кулак на кулака нашел»,— хотя в то же время и сами были не безгрешны. Такова, по крайней мере, народная молва, которую удалось мне подслушать при проезде моем чрез Антипинскую станцию[1]. Там загорелась церковь. Народ, по обыкновению, бестолково принялся тушить пожар: кто таскал церковную утварь, кто кидал лопатами

[1] В 30-ти, кажется, верстах от Саратова. *(Прим. автора.)*

снег в разбитые окна; двое или трое плотников отвязывали и спускали колокола с колокольни, но вдруг пламя вырвалось из-под церковной крыши и сразу охватило дымом и огнем колокольню и людей. Толпа дрогнула; мальчишки заревели, бабы завыли, мужики только крякнули.

— Ну, паря, попали наши ребятки, не вывернутся,— проговорил один из них.

— Господи, что же это такое!— невольно воскликнул я.

— Не на угодные, сударь, видно, богу деньги сооружен наш храм божий, — проговорил стоявший около меня старик.

— Это отчего? — спросил я.

— Казаки ведь его выстроили! Другой наворовал да награбил, может, не одну душу человеческую загубил, так и давай строить храм, чтобы отпущение грехам было. Казацкая денежка тоже всякая.

Человека два или три стоявших около мужиков подтвердительно кивнули головами.

— Каинской жертвы, видно, бог не приемлет, вот теперь душа душу и окупает, — заключил старик.

За Царицыным дорога пошла, к вящему моему удовольствию, горами, но — увы! — это приятное ощущение было только на первых порах, а потом пожалел я и о Волге. Не знаю, как летом, но зимой трудно вообразить себе что-нибудь безотраднее этого пути. Представьте себе снежную поляну, испещренную проталинами, а над ней опрокинутое небо. Хоть бы деревенька, огородик, дымок на горизонте, только изредка попадаются таловые без листьев деревья да мелькают однообразно столбы. Из живых существ разве увидите медленно тянущиеся возы да десятка два — три ворòн, которые пронесутся бог знает откуда и куда, и все это еще в хорошую погоду; но бывают метели. Я, как выросший в лесной губернии, не мог никогда вообразить себе, что это такое: среди белого дня за две сажени ничего уже нельзя видеть; что-то вроде крупы, песку, снегу падает сверху, поднимается с земли, наносится с боков. Захваченный такою метелью, я с человеком приютился в кибитке за рогожей, но бедный извозчик с залепленными глазами поворотил лошадей как-то назад и проехал таким образом, не догадываясь сам, несколько верст, и только попавшиеся навстречу обозники надоумили его.

Степной характер, чем ниже спускаться, тем ясней и ясней обозначается. Стали попадаться арбы, запряженные волами, верблюды, навьюченные и под верхом, и, наконец, показались калмыцкие кибитки, издали похожие на копны сена, а вблизи не что иное, как войлочные шатры.

С самими калмыками я познакомился на первый раз в Енотаевске, маленьком и грязном городишке, и долго, вероятно, не забуду этого впечатления. Я въезжал в сумерки и вижу, что со всех сторон проходят какие-то мрачные и на вид подозрительные фигуры в малахаях, овчинных тулупах и штанах и флегматически меня осматривают.

— Что это за народ? — спросил я извозчика.

— Калмык, — отвечал он.

— Экие некрасивые, — заметил я.

— С чего ему красивому быть, — подхватил извозчик. — Зверем в степи живет, всяку падаль трескает; ребятишки, словно нечистая сила, бегают голые да закопченные.

— А ты не здешний?

— Нет, не здешний, какой здешний! Я верховой.

— Что же, тебе не нравятся калмыки?

— Да чему же нравиться? Дикий народ, — отвечал извозчик, — а сердцем так прост, — прибавил он.

— Прост?

— Прост. Приезжай к нему теперь в кибитку хошь барин, хошь наш брат мужик, какое ни на есть у него наилучшее кушанье, сейчас тебе все поставит. Меня, псы, за незнамо, кобылятиной накормили, с год после того тошнило.

— А буянят иногда по дорогам?

— Нет. Лошадей воровать али другую скотину — так ловки, и промеж себя, да, пожалуй, и наш брат извозчик не зевай, как раз шею намылят, и огобьют коней, да и угонят в степнину, — поди ищи там, как знаешь.

Почтовая езда становилась все хуже и хуже; измученные лошади, отсутствие хоть сколько-нибудь устроенной дороги и ко всему этому по времени года распутица; то вы едете в санях по льду на отмелях Волги, то в кибитке по буеракам и косогорам. В воздухе тепловато, но сыро, и скорее походит на гнилую нашу осень, чем на зиму. «Так вот он, — думал я с грустью, — наш благословенный юго-восток, который я в таком приятном свете

представлял себе в холодном Петербурге; так вот это наше волжское приволье с его степями, табунами и кочевниками!» Летом, вероятно, все это оживится, но теперь бедно, неприглядно, а главное, пустынно. Много надобно труда, много надобно поселить людей и других людей, чтобы оживить эти пустыни; степняк вряд ли сам по себе способен к улучшению: его надобно сильно понукать и знать, в чем понукать. Проезжая теперь по этим безлюдным и полным безмятежного покоя окрестностям, странно даже подумать, что некогда тут существовало воинственное царство Золотой Орды, что наши великие князья ездили чрез эти степи на поклонение своим грозным завоевателям, встречая или унизительное покровительство, или, чаще того, позор и даже смерть; но всему прошла своя пора; время поглотило и людей, и силу их, и власть, и даже память об них, так что теперь трудно отыскать достоверное сказание о том, что было и как было. Еще Самуил-Георг Гмелин, доктор врачебной науки императорской Академии наук и разных ученых обществ член, путешествовавший по Астраханской губернии в 1770 году, говорит: «Кто желает в неизвестностях или сумнительствах бытописания упражняться, тот нигде лучше своих догадок употребить не может, как при древней и средней истории города Астрахани, а потому довольно будет начать с тех времен, в которые сей город и все Астраханское царство присоединено к Российскому государству».

Не желая в сих «сумнительствах обретаться», последуем и мы примеру Гмелина и начнем с того, что покорил Астрахань и вознес над ней главу свою царь Иван Васильевич при астраханском хане Этмурчее. Этмурчей, а по-татарски Джан-Турчей, прислал в Москву посланником князя Ишима с просьбою к царю — принять его под свое покровительство. Царь, приняв посла милостиво, согласился на его прошение и на другой год отослал его обратно к Этмурчею вместе с своим посланником Себастианом, которому наказано было разведать и привести весь народ по их вере к шерти (присяге).

Между тем прибыли в Москву послы из Нагаи от Измаил-Мурзы и других татарских князей с жалобой к царю на несправедливости Этмурчея, прося его о помощи и обещаясь служить ему не щадя живота. Отношения, как видите, не совсем искренние. Пронырливый хан как

будто бы добровольно отдает себя во владение, а в сущности для того, чтобы удобнее теснить других татарских князьков; а царь, с своей стороны, тоже как будто бы обещает только покровительство, но в то же время принимает милостиво жалобы на Этмурчея и посылает к нему посла приводить народ к присяге. Дело разрешилось тем, что хан ограбил нашего посла, и возгорелась война... Но здесь я лучше буду продолжать по возможности подлинными словами единственного письменного сказания о покорении Астрахани, напечатанного Рычковым в 1774 году, которое, мне кажется, своим тоном яснее и нагляднее, чем мои передаточные речи, представит читателю столь отдаленную эпоху.

«И он, Великий Государь, царь Иван Васильевич, — говорит сказание, — не стерпя своей обиды и от нагайских мурз не презрев к себе челобитья, изволил послать на Астрахань на Этмурчея царя с орды его Дербишь-Алея царя Касимовского и с ним воевод своих князя Юрия Ивановича Пронского-Шемякина с товарищами, разверстав их на три полка. И указал Великий Государь быть большому полку воеводою князю Юрию Ивановичу Пронскому да Михайлу Головнину, да в том же полку приказал Великий Князь Государь идти князю Александру Ивановичу Святыне. В среднем полку идти постельничему своему Игнатию Михайлову сыну Вишнякову, да Ширяю Кобякову-Вяземскому. В третьем полку — Степану Григорьевичу Барятинскому да Андрею Булгакову и с ним другим воеводам и детям боярским из разных городов, атаманам и казакам Федору Павлову с товарищи и всяких чинов людям.

«Поехали воеводы Волгою рекою в больших судах и, приехав на переволоку, что к Дону, отпустили наперед себя князя Александра Вяземского да Данилу Лучкова и с ним детей боярских, атаманов и казаков, Федора Павлова с товарищи для языков, которым повстречались астраханские татары выше Черного острова и они ушли было в ширях (в лодках); но их, нагнав, всех побили, только начального их Сяймыша с небольшими людьми, поймав, живых отослали к воеводе князю Юрию Ивановичу Пронскому, и те языки в допросех сказали: послал-де нас из Астрахани Янгурчей князь от себя проведати от Астрахани на пять верст и осмотреть людей, а в городе-де Астрахани людей немного, все стоят по ост-

ровам и своим улусам, а царь-де Янгурчей стоит на Цареве протоке. Воеводы, по тем речам, выбрав князя Данилу Кандаурова, князя Тимофея Кропоткина да Григорья Жолобова и Данилу Сулкова, и с ними дворян и детей боярских и всяких чинов людей, послали в прибавку к князю Вяземскому и велели им идти на стан, где стоял Янгурчей царь; а сами воеводы пошли ко граду Астрахани. Того же году мая в 29 день прошли воеводы с силою ниже города Астрахани и, призвав господа бога и Пречистую Его Матерь и всех святых, вышед из судов, пошли к городу Астрахани, и астраханцы-татары, увидя их, побежали все из города, и в то время, помощью божиею, а Великого Государя счастием, они, воеводы, Астраханское царство взяли, а татаровей, которые побежали из города, нагнав, всех порубили, а иных многих и в полон побрали. Князь же Александр Вяземский с товарищи в те поры пришел на царев стан, где стоял царь Янгурчей; но он, уведав про взятие Астрахани, пометался на своих коней и незадолго перед сим утек не со многими людьми, а жен и детей своих наперед себя отпустил к морю в ширях, которых же на стану застали татар, тех изрубили, а иных живых побрали. Пушки, и пищали, и всякую рухлядь поймали; а за беглыми татарами с того стану ходил атаман казачий Федор Павлов с товарищи, и догнав в шире (на судне) за царевыми деревнями, с набатами и пищалями, многих людей тут порубили, а иных многих живых взяли, и те языки про царя Этмурчея, куда он наутек пошел, ничего не сказали. И по указу Великого Государя, воеводы князь Юрий Иванович Шемякин-Пронский с товарищи, посадя во граде Астрахани Дербишь царя Касимовского на царство, приведя всех астраханских татар, которые побраны, к правде и шерти, по их вере, чтобы им служить Великому Государю неизменно, отпустили гонца к Москве к Великому Государю царю Ивану Васильевичу. Потом, оставя воеводы в Астрахани, у Дербишь-Алея царя,— князя Андрея Барятинского, да Петра Тургенева, да выбором детей боярских и стрельцов и казаков, сами воеводы пошли за Янгурчеем царем, а напредь себя послали к морю князя Александра Вяземского и с ним нижегородских детей боярских, атаманов и казаков — Федора Карпова; на Абдул реку — голов стрелецких Кузьму Масальского да дьяка Козьмина; на Казань реку послали передового полку воевод, постельничего Игнатия

Михайлова сына Вишнякова, да Ширяя Кобякова с товарищи. А в Евангусь реку — голов стрелецких Полутка Тимофеева да князя Давыда Кандаурова — и те воеводы, нашед на астраханских татар, их порубили, а иных живых побрали и полон русский от них отполонили. И те сказали, что Янгурчей царь с людьми своими пошел в Мочаг, по которым вестям воеводы пошли за Янгурчеем в Мочаг к морю и, пришед на Белое озеро, взяли языков, кои сказали, что Янгурчей царь утекать будет со всеми своими людьми в Тюмень, и по тем вестям воеводы возвратились вспять, а дороги, куда ему Янгурчею ехать, объехали и послали искать его на море и по островам, но самого нигде не нашли, только людей его, астраханских татар, много перебили, а много живых побрали, да взяли ж богатыря Киязя с товарищи, кои языки сказали: царицы-де со многими людьми пошли в Батыев мочаг, а про царя ведомости не сказали. В том урочище атаман казак Федор Павлов с товарищи, толмач Федор Шишков да Данило Шадринский полонили трех цариц — Тевкелю Гутееву Мурзину дочь, другую царицу Крымшалкову дочь Кулдусову, третью Янгурчееву ж дочь Ульясавити-Марию, коя, по взятии, родила сына; царевичеву же Ембуматеву жену Мергивину; царевичу ж дочь Бамбичеву царевну, и порубили у них многих татар, а иных живых побрали, и те языки сказали, что Янгурчей царь, князи и мурзы, и улanове и все астраханские татары пошли узким мочагом к Карбулатову озеру, по которым словам пошли воеводы вверх узкого мочага на Карбулат озеро и, дошед их, порубили из них многих, а Янгурчей царь и с ним немногие люди ушли, иных же, догнав у Белого озера, многих живых побрали и полону русского отполонили много. В те поры от князей, от мурз и уланов и от всех астраханских людей приехал Ираклит князь и бил челом Великому Государю, его царскому пресветлому Величеству, чтоб царь пожаловал их, казнить и рубить не велел, а велел бы служить себе, Великому Государю и служилому его государеву Дербишь-Алею царю Касимовскому, а они б на то дали правду. Воеводы взяли от него Ираклита (и других улусных и черных людей) клятву, чтоб служить ему, Великому Государю, его царскому пресветлому Величеству и детям его царским и служилому его царскому Дербишь-Алею царю Касимовскому, да по всякий год давать ему, Великому Государю и его царским детям по тысяче

рублей денег, да по три рыбы матерыя, и, сбирая тое дань меж себя самих, на всякий год посылать к нему, Великому Государю и к его царским детям со своими послы. А полон русский, что у них ни есть, купленный или взятый, беспохоронно отдать им весь, а ловцам его, Великого Государя, ловить рыбу в Волге реке от Казани по Астрахань и до моря без пошлин, не явясь в Астрахани и не с их астраханскими ловцами, без кривды.

«Между тем Дербишь-Алей царь, приняв царство Астраханское, отрядил к Москве к Великому Государю гонцов на его Великого Государя жалованье, за приимство астраханского царства бил челом, и астраханские люди татарове все от себя к Великому Государю к Москве гонца ж отряжали на его Великого Государя жалованье с челобитьем за то, что их Великий Государь, его царское Величество пожаловал бы, казнить и развозить их не велел и, дав им царя, повелел бы служить себе, Великому Государю. А потом и воеводы царские послали Великому Государю донос о взятии Астрахани и объясняя, что до указа твоего, Великого Государя, ехать мы не смеем». Разрешение было получено, и в сентябре месяце (7064 г.) войска возвратились в Москву. «И Великий Государь царь и Великий Князь Иван Васильевич воевод своих царских Юрия Ивановича, сына Пронского-Шемякина с товарищи, такожде и дворян, и голов, и полковников, и детей боярских, и разных людей за ту их службу, что они Астраханское царство взяли и по его Великого Государя указу в Астрахани служивого его Дербишь-Алея царя Касимовского посадили и всех астраханских татар к их правде и шерти привели, жаловал своим царским жалованьем».

Таким образом было взято и покорено царство Астраханское.

Пропускаю здесь об измене и изгнании Дербиша, о неудачном нападении турецкого султана; пропускаю о бежавших в Астрахань Марине Мнишек с Заруцким; но как не пересказать о взятии Астрахани Стенькой Разиным, славным ворсм и морским разбойником, о котором мы все слыхали еще в детстве, учили кое-что в истории, имя которого знает, наконец, весь народ. Появился он на Волге с шайкою донских казаков около 1665 года, грабил и захватывал все суда, идущие в г. Астрахань, перебрался потом морем к Гурьеву, разбил наголову

посланную из Астрахани нарочитую команду стрельцов, взял город и произвел там страшное кровопролитие.

Перезимовав в Гурьеве, Разин отправился весною в Персию, разорил и разграбил там многие прибрежные города и селения, соединился потом с другим разбойником, Сережкой Кривым, осмелился, наконец, биться с самим персидским шахом и победил персиян. Русское правительство приняло, наконец, более решительные меры. Стольник Львов послан был для преследования Разина и нагнал его у взморья. Стенька прислал повинную и принял указ государев, которым призывали его в отечество с тем только, чтобы он жил смирно; но, привезенный в Астрахань, бежал оттуда на Дон и снова появился на Волге, завладел в стороне царицынской многими калмыцкими и татарскими улусами, осадил город Царицын и, подкупив гарнизон, состоявший из стрельцов, вошел в оный и убил воеводу Петра Турчанинова. Государева казна и все государственные суда сделались его добычею. Для усмирения Разина прибыл из Москвы Иван Лопатин с многочисленным войском из стрельцов. Стенька Разин вышел к нему навстречу и так его поразил, что он в сражении лишился жизни, а оставшиеся в живых из войска взяты в полон.

Первые принесли эту весть в Астрахань татары. Прибывший из Черного Яра сотник Данило Тарлыков объявил, что и сию крепость взяли неприятели и что при взятии оной все дворянство лишилось жизни, выключая только одного князя Симеона Ивановича Львова (вероятно, изменившего).

Астрахань приготовилась к обороне: починили городские стены; астраханский воевода Прозоровский, узнав об опасности, в которой страна находилась, послал донесение к царю, однако оно не дошло: посланный с ним Тарлыков, ехавший для безопасности в Москву объездом, утонул в Тереке. Между тем Разин приближался к городу и, остановясь в восьми верстах повыше оного, при Шарском бугре, отправил два легких струга; на них съехали астраханский священник Василий Маленков и слуга князя Львова, которые в нищенском платье пробрались было в город лазутчиками, но были пойманы и, приведенные к воеводе, сознались ему; слуга подвергнут был пытке и потом повешен на стене ввиду неприятельских стругов, а попа, заклепавши ему рот, отвезли в темницу.

Архиерей установил общенародное молебствие. Прозоровский, с своей стороны, поставил на воротах вооруженных людей, расставил по стенам пушки, ополчая весь город: иностранец, мальчик, всяк, кто только мог держать оружие, должен был занимать назначенное ему место. Обо всех этих распоряжениях Разин был уведомлен астраханскими переметчиками Андреем Лебедевым и Самсоном Курятниковым, и, так как в этом году полая вода была чрезвычайно велика, он поехал сначала в волжский пролив Богда, а оттуда ручейком Черепахой — в Кутум, а из Кутума — в речку Кривушу. Здесь начал он для осады заготовлять лестницы. Между тем архиерей приказал в болото, отделяющее городские стены от Кривуши, пустить из Волги воду; того ж 19 июня двое нищих ушли из Астрахани к Разину; он подкупил их деньгами, и они обещали во время осады зажечь город в разных местах, но, возвратившись, признались в своем замысле и были казнены. Но, кроме того, архиерей и воевода сомневались и в верности гарнизона; с этой целью Прозоровский позвал к себе войсковых начальников, советовал им быть в повиновении и напомнил им долг присяги.

21 числа в вечеру воевода с своим братом и сыном, с головами стрелецкими Табунцовым и Фроловым, надевши на себя воинское платье и доспехи, приказал играть на трубах и пошел к Вознесенским воротам, оттуда полагал, что Разин сделает первоначальное свое нападение. Он еще раз увещевал здесь войско храбро биться и стараться не допускать неприятеля приближаться к городу; но с наступлением ночи, когда разбойники приступили к городу и приставили для приступу лестницы, подозреваемая измена обнаружилась; расставленные по городским стенам стрельцы не только не отбивали неприятелей, но еще прикликали заранее условленным словом; пушкари, которые должны были стрелять, оставались в бездействии; несколько храбрых и верных защитников из дворян и мещан были побиты. Сам воевода Прозоровский, раненный насквозь копьем, отнесен своими слугами в кремль, в соборную церковь, куда собралось великое множество астраханских жителей, как в более безопасное место, и где пришедший архиерей причастил св. таин умирающего воеводу.

С наступлением дня разбойники овладели внешними

стенами и стали осаждать Кремль. Ворвавшись чрез разломанные Пречистенские ворота и по невысокой стене около магазинов в самую крепость, они приступили к собору. Находившийся здесь в преддверии пятидесятник Фрол Дура, защищая вход с одним ножом, умертвил несколько человек неприятелей; однако двери были, наконец, взломаны и Дура изрублен в куски. После чего разбойники взяли едва дышащего Прозоровского и, отнеся на раскат, находившийся при преддверии церковном, сбросили его оттуда на землю. Все бывшие в церкви мещане, головы Табунцов и Фролов, все дворяне, дьяки за церковью побиты, и когда по приказу Разина отнесены в Троицкий монастырь, то монах, который их погребал, насчитал шестьсот мертвых тел.

За убийствами следовали грабительства: государственная казна, состоявшая из наличных денег и куниц, сделалась первая добычею бунтовщиков. Домы Прозоровского, дьяков, дворянские и купеческие, дворы гилянские, индейские, бухарские были расхищены. Пощады не было никому. Сам Стенька Разин ездил по улицам, и если кто ему нечаянно попадался, того приказывал колоть, или топить в воде, или вешать. Шайка его делала то же, в том числе и стрельцы, предавшие город.

13 июля Разин, будучи пьян, послал своего есаула к архиерею требовать у него старшего сына Прозоровского, и когда тот пришел, Разин спросил, куда употребил его отец пошлинные деньги? Молодой Прозоровский отвечал, что оне розданы стрельцам на жалованье. Дьяк Алексеев подтвердил то же. А когда Стенька спросил, где схоронены пожитки его отца, Прозоровский отвечал, что есаул его Ивашка Хохлач все захватил и держит у себя. За такие ответы Разин велел связать ему ноги, а дьяку Алексееву запустить за ребра крюк и таким образом обоих повесить на стене. Чрез полчаса Разин позвал и младшего сына Прозоровского и велел его также повесить подле брата; хотя оба они потом были сняты живые, но старший вскоре помер. Совершив сии злодеяния, Разин пошел с своею шайкою и с частью астраханских стрельцов в Симбирск, поручив правление города Ваське Усу и Федьке Шелудяку, коих он сделал атаманами.

Во время бывшего третьего числа августа собрания, называемого по их *кругом,* разбойники сделали новый

бунт: побили всех астраханских приказных людей, иных в домах, а иных на улице, и, приступая ко двору архиерея Иосифа, требовали, чтоб скрывавшийся там дьяк Иван Турчанинов был им выдан; но, не найдя его, ругали самого архиерея поносными словами и укоряли, что он держит более сторону знатных, а не казаков.

Вслед за тем мурза Емашед Енаев привез к архиерею Иосифу государев указ из Москвы, коим находившиеся в числе изменников астраханские жители увещевались, чтобы они, оставив бунтовские замыслы, опять истинному своему государю покорились. Архиерей написал с указа копию, послал оную к игумену Вознесенского монастыря Сильвестру с приказанием, чтоб он ослушников Андрея Лебедева и Сергея Баранова к себе призвал и, прочитав указ, отводил их от измены. Лебедев, вышедши из кельи игумена, прямо пошел к своим товарищам и сказал, что архиерей вместо царского издал свой указ и намерен всех заговорщиков отдать в руки знатным. Архиерей же приказал в колокола звонить и велел, чтоб все собирались в соборную церковь, где священник Федор Негодяев прочитал государев указ и хотел было вручить его архиерею, но бывшие тут из бунтовщиков казак Ивашка Самарянин и астраханские жители Федюшка Панов, Ермолка Власов, Ивашка Ярило и другие вырвали у него из рук указ и отнесли его к атаману своему Ваське Усу, который, сковав на другой день Негодяева, мучил его жесточайшим образом и спрашивал, царский ли тот указ или архиерейский был? Негодяев стоял на одном, что архиерей получил указ из Москвы, и был, наконец, освобожден от мучений.

Двадцать первого числа апреля стрелец Гаврила Ларионов, прозываемый Шелудяк, объявил архиерею, что юртовские татары вторично из Москвы привезли государев указ и стоят на другой стороне Волги. Архиерей послал к главным бунтовщикам Ивашке Красулину и Абрамке Андрееву и требовал их к себе, приказывая сказать, что он имеет с ними говорить о делах крайней важности, но они к нему не пришли, а пошли на рынок. Архиерей, узнавши об этом, сам пришел туда и, объявив, что татары привезли от государя указ и стоят на другой стороне Волги, говорил, чтобы главные из бунтовщиков или сами они оный взяли, или кого-нибудь от себя отправили. Красулин с своими товарищами отвечал, что он не смеет

ничего сделать без ведома главного своего атамана, и пошел к Ваське Усу, который, получив это известие, пришел в соборную церковь, ругал архиерея поносными словами и грозил смертью, если он ему не отдаст присланного из Москвы указа. Архиерей отвечал, что он никакого указа не имеет, но только слух носится, что оный пришел, и потому просит, чтоб его приказано было взять. Ради чего Ивашко Овощников поехал на западный берег Волги, осведомился об указе и, действительно найдя его там, принес к архиерею, который поспешил с тем указом в церковь и, распечатав оный в присутствии бунтовщиков, хотел тотчас прочитать, но крамольники, вышед из церкви, побежали в свой круг. Архиерей, следуя за ними, взял с собою значительное число священников и служителей церковных и, придя в круг, приказал снова прочитать указ, писанный, собственно, к бунтовщикам, а потом другой, который он получил особливо. Когда оба указа были прочитаны, то вместо того, чтоб усовеститься, бунтовщики кричали и говорили, что господа в государстве все, что хотят, писать могут, но сие до них не касается. «Если бы-де читанные указы были государевы, — толковали они между собою, — то была бы под ними красная царская печать, а может-де, и сам архиерей сочинял оные».

— Давно уже тебя, архиерей, — продолжали крамольники, — ждет раскат, где покончил свою жизнь Прозоровский; мы сожалеем только, что не такие теперь подошли дни [1], а то бы ты узнал, сколь великое дело столь многие казакам делать затруднения. От тебя и от твоих выдумок рождаются все беспокойства: ты посылал письма на Терек и на Дон и оными сделал то, что донские и терекские казаки от нас отстали.

Архиерей на это, обратившись к астраханским стрельцам, сказал:

— Вам надлежит сих донских разбойников перехватить, наложить на них цепи и оковы, и если это сделаете и обратитесь к своей службе, то я вас обнадеживаю, что получите от государя прощение за ваши преступления.

Стрельцы на это отвечали:

— Кого нам хватать, мы все разбойники.

Первого числа мая того ж года бунтовщики снова

[1] Была страстная неделя. (*Прим. автора*)

взяли священника Негодяева в свой круг, мучили его бесчеловечно, вынуждая сказать, что указы сочинял сам архиерей, но он стоял неизменно за правду и был убит. Тем же жестоким истязаниям обречены были двое знатных дворян, жившие в доме архиерейском, но когда злодеи увидали, что и тут ничего не успели, то положили, наконец, убить самого архиерея. Одиннадцатого мая пришло несколько бунтовщиков в церковь и звали святителя в свой круг; он обещал прийти, однако прежде того приказал звонить в колокола, что для священников было знаком собираться в соборную церковь. Они облачили его в архиерейские одежды, в коих он вошел в круг бунтовщиков и спросил, для какой его причины туда призвали. Тогда Васька Ус, обратившись к казаку Коченовскому, сказал:

— Что ж ты стоишь, пень? Выдь и скажи, что ты именем главного нашего атамана здесь сказать имеешь.

Коченовский начал так:

— Именем Стеньки Разина, нашего предводителя, здесь я предстою и тебя, архиерей, спрашиваю: какая тебе была причина писать к братьям нашим на Дон и Терек письма, ибо твои письма сделали то, что донские и терекские казаки от нас отстали?..

Архиерей на это сказал, что он ни на Дон, ни на Терек никаких писем не писал, а хотя бы, прибавил к тому, и писал, то он думает, что тем никакого злодейства не сделал, ибо донские и терекские жители не неприятели, но подданные одного и того же великого государя, и что советовал бы он также и им постараться заслужить сие имя: отложив свои мятежнические и разбойнические замыслы, испрашивать прощения. Ответ этот ожесточил еще более мятежников.

— Так зачем же ты, архиерей, скрываешь свои плутовства и зачем к нам выходишь в сем одеянии?— кричали они и хотели с него снять насильно облачение.

— Не подобает на архиерея возлагать рук в его святительском одеянии,— сказал один из казаков, Мирон, и был за то вытащен из круга и тут же изрублен на части.

— Снимайте с архиерея одежды!— кричали бунтовщики священникам, но архипастырь, видя, к чему это все клонится, сам вручил крест, панагию и митру священникам и, сказав: «Прииде час мой, прискорбна душа моя до смерти»,— приказал протодиакону разоблачать себя.

Когда все было готово, злодеи, вытолкав священников из круга, потащили святителя в Кремль на *зеленый двор*. Палач Ларька с злодеем Ветчиной сорвали с святителя подрясник и, оставив его в одной власянице, связали ему руки и ноги и повесили на огонь.

Казак Сука стал допрашивать мученика, не сам ли он сочинял указы и не писал ли еще писем на Терек и Дон,— но никакого ответа не получил.

После пытки повели Иосифа на раскат.

— Пех? — закричали палачи к народу.

— Пех, перепех, пех!— отвечала толпа мятежников, и святитель был сброшен, и когда он упал на землю, говорится в записках семинарии, то в то время сделался великий стук и страх, отчего и воры, будучи в кругу, устрашились и замолчали на долгое время, с треть часа стояли повеся головы и друг с другом ничего не говорили, яко изумленные. Но когда священники хотели собраться к телу своего архипастыря, то бунтовщики их палками отогнали; однако они на другой день, поливши оное миром, погребли в соборной церкви [1].

Все эти бунты и убийства прекращены были боярином Милославским. Сам Стенька Разин был разбит и пойман Долгоруким и привезен в Москву, где возили его на поругание по всему городу на телеге под виселицей, а потом он был живой четвертован и части тела его были воткнуты на колья, а внутренности брошены на *съедение псам*. При всех сих мучениях Стенька показал себя неустрашимым. Но брат его Фролка, вместе с ним пойманный и водимый позади телеги, обнаружил страх и малодушие; однако ему дарована была жизнь за то, что он открыл, где хранились спрятанные сокровища брата.

Таковы некоторые подробности из истории города Астрахани. Обращаюсь, впрочем, к настоящему.

Я еду по краю Волги; солнце обливает ярким светом окрестность и, отражаясь от бело-глянцевитого льда, беспокоит глаза; посередине реки виден целый ряд треугольной пирамидой поставленных жердей; около них ходят, нагибаются по две, по три черноватые фигуры мужиков.

— Это что такое? — спросил я извозчика.

— Снасти, рыбу ловят, — отвечал он.

---

[1] Я видел в астраханском соборе изорванную власяницу святителя, в которой он был мучим. *(Прим. автора.)*

По сторонам сидят там и сям какие-то большие птицы, и об них я спросил извозчика.

— Орлята это, — отвечал он.

«Вот, наконец, и орлята», — подумал я не без удовольствия и бросил в одного из них кусок льду. Он неторопливо поднялся, взмахнул несколько раз крыльями и потом, вытянув их в прямую линию, полетел; я думал, что прямо к солнцу, однако нет: просто в сторону; за ним уцепились две вороны и заигрывают с ним.

— Вороны, видно, не боятся орлов, — заметил я извозчику.

— Да что ж им бояться? — возразил он.

— А убьет, съест.

— Пошто съест, он и рыбой сыт.

— Где же он берет рыбу? Ловит?

— Нет, на ватаге[1] подхватывает мелочь которую али внутренность. Вон ватага,— пояснил извозчик, показывая мне кнутом на довольно большие у берега подмостки, на которые кладут и потрошат пойманную рыбу.

Город между тем становится все видней и видней. Издали он напоминает собой всевозможные приволжские города, виды которых почти можно описывать заочно: широкая полоса реки, на ней барки с их мачтами, кидающийся в глаза на первом плане собор, с каменными казенными и купеческими домами, а там сбивчиво мелькают и другие улицы, над которыми высятся колокольни с церквами, каланчи, справа иногда мельницы, а слева сады, и наоборот. Таковы Ярославль, Кострома, Нижний, такова и Астрахань; но вблизи — другое дело. Измученная, едва передвигая ноги, пара лошадей подвезла меня, наконец, к почтовому двору, но надобно еще было переехать через Волгу, а это оказалось не совсем удобно: нельзя ни по льду, потому что лед проломится, ни на пароме, потому что лед, а перевозят калмыки на салазках: вас само по себе, человека само по себе, а вещи само по себе. Так потащили и меня двое калмычонков. Сначала они бежали рысью; лед между тем выгибался на трещинах, из которых выступала вода; в стороне, не больше как на сажень, была полузамерзшая прорубь для прохода парома; с половины реки калмычонки что-то болтнули между собой по-своему и пошли шагом.

---

[1] Ватагами называются селения, где живут рыбопромышленники. (*Прим. автора.*)

— Что же вы не бежите? Везите проворнее! — сказал я.

Они оглянулись на меня и улыбнулись.

— Нет, барин, ничего, тут крепко, — сказал один из них совершенно чисто по-русски.

— А у того берега опасно? — спросил я.

— Там провалишься, пожалуй, хлибит, а тут ядреный лед, — отвечал калмычонок и опять что-то болтнул товарищу.

Но как же идут обозы, спрашивается. Идут и проваливаются, а иногда и тонут; на счастье: вывезет — так ладно, а не вывезет — так тоже ладно!

С калмыцких салазок я попал по колено в грязь, а из грязи взмостился на подъехавшую за мной почтовую телегу и велел себя везти в гостиницу, с жадным любопытством смотря на всех и на все. Азиатский характер дает себя чувствовать сразу: маленькие деревянные домишки, по большей части за забором, а который на улицу, так с закрытыми окнами, закоптелые, неуклюжие, с черепичными крышами, каменные дома с такими же неуклюжими балконами или, скорей, целыми галереями, и непременно на двор. После безлюдного степного пути мне показалось, что я попал в многолюднейший город, и то на ярмарку: народ кишмя кишит на улицах. И что за разнообразие в костюмах: малахай, персидская шапка, армяк, халат, чуха! Точно после столпотворения вавилонского, отовсюду до вас долетают звуки разнообразных языков, и во всех словах как будто бы так и слышится: *рцы*. Пропасть грязных мелочных лавочек, тьма собак, и все какие-то с опущенными хвостами и смирные; наконец, коровы, свиньи и толстоголовые татарские мальчишки, немного опрятнее и красивее свиней. Я каждую минуту ждал, что кувыркнусь, хотя и ехал шагом: мостовой и следа нет, улицы устроены какими-то яминами в середине, в которых стоит глубокая грязь, и вас везут почти по тротуарам.

В гостинице, куда меня привезли, отвели мне, как водится, сыроватый и темноватый нумер с диваном, со столом и картинками, которые на этот раз изображали поучительно печальную историю Фауста и Маргариты.

Итак, подумал я не без удовольствия, для меня миновался этот степной путь с его вьюгами, голодом и дев-

ственной природой, не зараженной людским дыханием и не изуродованной ни шоссе, ни железными дорогами.

— Дай мне, братец, есть,— сказал я провожавшему меня номерщику.

Он подал огромную порцию стерляжьей ухи, свежей осетрины и жареного фазана, при котором место огурцов занимали соленая дыня и виноград.

— Вот с этой стороны Астрахань красива,— сказал я сам себе и заснул, как может заснуть человек, проехавший в перекидной повозке, на почтовых две тысячи верст.

БИРЮЧЬЯ КОСА

С кем бы вы в Астрахани ни заговорили о море: с морским ли, с чиновником ли земской полиции,— от всех вы услышите на втором — третьем слове: *Бирючья коса.* Это маленький островок, на котором содержится брандвахта, устроены карантин и таможенная застава. Адмирал поехал туда и пригласил меня. Выезд был предположен 23 марта. Дул верховой ветер. Слухи носились, что на Волге еще много льду. Съехавшись в порт, мы действительно увидели весь около берег замерзшим. Проламывая и расталкивая лед, добрались мы кое-как в катере до парохода, дали ход и стали сниматься с якоря. Пароход сначала было двинулся, но, затираемый льдом, не слушался руля и не ворочался, и, только употребив завозы, мы выбрались на фарватер. Все стояли на палубе, хоть ветер и продувал до костей. Скоро миновалась Астрахань, миновалось и Царево, а там и пошли тянуться однообразные и мертвенные берега: то ровные пустыри, то высокий камыш, очень похожий на поспевшую рожь, только в десять раз крупней ее. Местами он горел. «Это отчего?» — спросил я.— «Нарочно жгут, иначе он на следующий год не вырастет»,— ответили мне.

С пятнадцатой, кажется, версты виды несколько пооживились: стояли на якорях кусовые[1], и бойко шли косные, из которых некоторые едва отставали от парохода. По берегу стали показываться рыбные ватаги[2] и калмыцкие кибитки, пред которыми толпились задымленные и волосатые калмыки и нагие их мальчишки. В стороне на одной из отмелей сидели белые, довольно большие,

[1] Большая лодка. *(Прим. автора.)*

[2] Небольшие селения, вроде наших деревень. *(Прим. автора.)*

и черные, поменьше, птицы. Это пеликаны и бакланы, две разные породы, но живущие между собой в замечательно оригинальных отношениях: бакланы составляют для пеликанов какой-то чернорабочий класс. Они подгоняют и ловят для пеликанов рыбу и будто бы даже кладут им ее в рот, засовывая при этом случае свой клюв в их глотку, но чем вознаграждают их пеликаны за эту услугу, неизвестно; кажется, ничем: ни дать ни взять как на новой половине земного шара белая и черная породы людей.

Для здешнего плавания только и спасение, когда дует ветер с моря и дает возможность проходить через три главные мели: Княжевскую, Харбайскую и Ракушинскую. Маленький пароход наш сидел в воде только четыре фута, но и того было много: на Княжевской россыпи пошли мы тихим ходом и стали кидать лот: «6 фут, 5 фут, $4^3/_4$»,— кричал матрос.

— Авось, пройдем и Харбайскую, она меньше Княжевской на один только фут,— сказал капитан; но Харбайскую не прошли. Надобно было пересесть на катер. Невдалеке виднелась деревня Оля, в которой поселены русские мужики, бывшие некогда в плену в Хиве. Адмирал благоразумно приказал грести к этому селению. Подъехали. Навстречу к нам вышло несколько мужиков. Мы стали расспрашивать их. «На катере, говорят, не проедете Ракушинскую россыпь: мелко».— «Давайте ваши лодки».— «Да и на лодках, которые побольше, нельзя, а на бударках»,— ответили нам и стали снаряжать бударки. Я пришел в ужас, взглянув на маленькую и едва сколоченную лодчонку, в которой сверх того случай усадил меня с почтенным и значительно полным полковником Б. До сих пор не могу я без неприятного ощущения представить себе его массивной фигуры. Мне казалось, что мы оба с ним поместились в суповой ложке и что достаточно с нашей стороны одного движения, чтобы бударка кувыркнулась вверх дном, а полковник между тем находил какое-то странное наслаждение осматривать окрестность и беспрестанно ворочался из стороны в сторону. Проехав мель, нам пришлось ехать почти морем. Солнце село. Ветер разыгрывался, волны выше и выше поднимались. Я только и смотрел на мелькающие вдали огоньки с Бирючьей косы и думал: «Господи, настанет ли когда-нибудь такая счастливая минута, когда

я буду там, на земле, не буду чувствовать этого неприятного покачивания, не буду видеть этих сероватых, как бы белой гривой взмахивающих волн!» Ехавшая впереди лодочка, на которой сидел адмирал, остановилась. «Что такое?» — спросили мы, подъехав.— «Нельзя дальше ехать: лед!» Надобно было проламываться. Принялись работать. Но еще несколько сажень, и бударка остановилась: мелко. Делать нечего, оставалось одно: кричать. Услыхавшие нас матросы пришли, наконец, к нам на помощь и перетаскали нас на своих плечах на берег. Так совершился мой первый водяной вояж; на обратном пути пришлось испытать не лучше. На другой день задул верховой ветер еще сильнее и холоднее. Весь фарватер мы увидели замерзшим. Оставленный нами катер, говорят, обмерз весь кругом. Положили переночевать и в ожидании, что будет завтра, пошли мы осматривать *Бирючью косу*. Замечательного немного, кроме разве совершенно бесплодной почвы, которая вся состоит из ракуши, плотно связанной глиняным цементом, так что представляет собой нечто вроде мозаического паркета, а остальное: дом брандвахтенного начальника, в стороне таможня, чрез поле — казармы для карантинной стражи и, наконец, самый карантин, обведенный рвом.

— Вот здесь умирали чумные и холерные,— говорили нам, указывая на маленькие комнатки.

«Ну, чтобы только видеть это, не стоило ехать сквозь лед, через отмели»,— подумал я.

— Спал верховой ветер, дует с моря,— обрадовали нас на другой день.

Свойство здешнего фарватера таково, что достаточно двух — трех часов моряны, и вода нагонится на два, три фута. Стало быть, откладывать было нечего, все поспешили одеться и отправиться. Льду почти было не видать. У ближайшей кусовой виднелся наш катер; но, чтобы добраться до него, мы должны были сначала въехать на долгуше, запряженной лошадью, в воду, потом пересесть на маленькие лодочки, которые и подвезли нас к катеру. Дружно хватили 12 человек гребцов, все севастопольские георгиевские кавалеры; после востроносой бударки мне казалось, что я еду на могущественнейшем винтовом пароходе; верст пять пролетели мы в полчаса, но тут — увы! — подошла Ракушинская мель и сплошь оказалась покрытою льдом; надобно было опять про-

ламываться. Гребцы стали у носа колоть лед, а мы, пассажиры, раскачивать катер — вставая и ударяясь об его бока. Вдали, наконец, показался наш пароход. Давно я не бывал так доволен своим положением, когда вбежал по трапу на гладкую и чистую палубу парохода. «О, мудрость человеческая! — воскликнул я.— Хвала тебе за изобретение больших судов с каютами, каминами, кухнями, паровым двигателем, и здесь тебе остается только очистить фарватер и устроить хоть какую-нибудь пристань на Бирючьей косе!»

БАКУ

Наконец, я был в море. Адмирал пошел в Баку и пригласил меня. В 9 часов утра вышли мы из Астрахани. Я еще хорошо помнил мою поездку на Бирючью косу, но на этот раз дула моряна: ни Княжевская, ни Харбайская, ни даже Ракушинская россыпи нас не задержали. К пяти часам мы прошли Волгу, подошли к Бирючьей косе и пересели на большой пароход «Тарки». Впереди за Знезинской россыпью виднелся четырехбугорный маяк, место для которого будто бы выбрано было еще Петром Великим, а там уж и море, настоящее море; но дальше мы не пошли: дул свежий ветер, и пароход не в состоянии был выгрести.

Проснувшись на другой день поутру, я по стуку машины догадался, что мы идем, поспешил одеться и вышел на палубу. Надо мной было небо, а кругом вода. Приятное и вместе с тем какое-то боязливое чувство овладело мною: на телеграфах, на железной дороге, на пароходах как-то невольно начинаешь больше уважать человека, больше верить в силу его разума, видя, как он почти с волшебной силой пробегает пространства, на враждебной ему среде строит себе дом, заставляет этот дом слушаться руля, воспользовался ветром, изобрел компас и, наконец, приложил новый двигатель — пар; но, с другой стороны, сильна и неразумная стихия; новичков обыкновенно пугают качкой, и это еще, говорят, ничего, но бывает шторм: руль сломан, компас бесполезен, пар бессилен. При этой мысли мне невольно захотелось увидеть хоть бы где-нибудь вдали землю.

— Будут ли на нашем пути острова? — спросил я штурманского офицера.

— Не скоро; ближе всех Тюлений остров, да и тот вряд ли увидим,— отвечал он.

«На землю, стало быть, рассчитывать нечего»,— подумал я. Между тем задул небольшой ветерок, нанеслись облака, и стал накрапывать дождик.

— Непогодь делается,— сказал я простодушно капитану.

— Какая непогодь? — спросил он.

— А ветер и дождик,— отвечал я.

— Это хорошо, зыбь скорей уляжется,— объяснил он мне.

У моряков на все свой расчет.

Тюленьего острова мы действительно не видали, но зато видели целый косяк тюленей; там и сям стали показываться на море одно, два, более двадцати черных пятен: вынырнут, поиграют и скроются, а потом опять вынырнут. Хоть все это не очень любопытно и живописно, однако среди морской пустыни нас заняло на целый час.

К вечеру на другой день мы подошли к острову Чечень; но было уже темно, так что я едва рассмотрел что-то зеленеющее вдали.

— Вот мы теперь в настоящем море,— сказал мне поутру адмирал.

— А там? — спросил я, указывая назад.

— Там лужа, мелко, а здесь глубоко.

— Глубоко?

— Да, совсем дна нет, нельзя смерить,— отвечал адмирал.

«Мало, что я в море, да еще в бездонном», — подумал я и невольно посмотрел на ровно идущие одна за другой волны, которые как будто бы похожи на речные, только шире разливаются и совершенно аквамаринового цвета,— а там, внизу, под водою,— продолжал я рассуждать сам с собой,— поглощены, может быть, горы, леса, города.— Предположение, что море Каспийское некогда было соединено с морем Черным, не имеет в настоящее время никакого сомнения. Начиная от Кубани, через всю землю Войска Донского и поднимаясь вплоть до Каспия, можно проследить одни и те же породы раковин, одинакового свойства наносный грунт, всюду раскиданы соленые озера, озерки, ясно свидетельствующие, что некогда все это пространство было морским дном. Но куда девалась вода? Испарения тут недостаточ-

но. Я говорил об этом любопытном факте с Бэром. Он полагает, что Каспийское море в соединении с Черным занимало только северную часть свою, но последовавшим действием вулканических сил подняты восточные Кавказские горы, и образовалась пропасть, составляющая ныне южную часть Каспия; вода хлынула в нее, мелкие места обмелели еще более, обсушились, и море разделилось.

К полудню на горизонте забелелось что-то вроде туманной полосы. Это Кавказские горы. Чем дальше, тем берег виднее, наконец, показались и *«Два брата»,* два огромных камня, стоящих вдали от берега и на довольно значительной глубине.

Адмирал желал бы устроить здесь маяк; но как его укрепить от напора волн и ветров? Мы знаем, сколько хлопотали англичане со своим Эддистонским маяком. Вставши в параллель с каменьями, мы увидели на них целую стаю тюленей, выстрелили из пушки ядром и не убили ни одного: все нырнули в море.

Апшеронский пролив был уже недалеко. Его образует морской берег и голый, пустой, низменный остров, называемый «Святым» — от могилы какого-то благочестивого дервиша, на поклонение которой ходили некогда персияне. На берегу, между тем, показалась башня, потом другая, третья. Кавказское предание говорит, что это сторожевые башни, построенные Александром Македонским (Искендером), который, между нами сказать, совсем и не бывал в этих краях.

Вечером обогнули мы Шахову косу и вошли на Бакинский рейд, а к утру подтянулись к пристани. «Где ж Баку?» — спросил я, выходя на палубу; мне указали на другую сторону. Я обернулся и чуть не вскрикнул: впечатление мое очень походило на впечатление человека, который вдруг неожиданно взглянул на театральную сцену, где давали какой-нибудь восточный балет. Представьте себе дугообразный морской залив, в недальнем от него расстоянии крепость, над которой идут, возвышаясь по берегу, белые, без крыш, вроде саклей, домики и, образуя как бы пирамиду, коронуются ханским дворцом с высоким минаретом. Ко всему этому прибавьте благорастворённейший воздух, которым где-либо дышат смертные, воздух, которым грудь не надышится. Сначала я думал, что это личное мое ощущение, но оказалось, что

и другие то же самое чувствуют: сухой и горный притекает он с берега и здесь увлажняется и смягчается морем и пропитывается нефтяными газами. «Душа наша»,— называют персияне Баку за ее климат. Для наших астрабадских крейсеров она служит лечебницей: часто болезненные и изнуренные лихорадкой приезжают они из Астрабада в Баку и в неделю поправляются.

Баку, некогда столица ханства, присоединена была к России в первый раз при императоре Петре I генерал-майором Матюшкиным, которому она после осады сдалась на дискрессию; но по ганджинскому миру снова поступила во власть Персии и управлялась ее наместниками, или, скорей, особыми ханами: первым из них был Надир, потом Мирза-Мухаммед-хан, потом сын Мухаммеда Мелик-Мухаммед-хан, еще Мирза-Мухалик, сын Мелика, у которого отнял престол дядя Мухаммед-Кули-хан, и, наконец, последним бакинским ханом был Хюссейн-Кули-хан, присягнувший на подданство России, а между тем сносившийся с Персией и теснивший нашу торговлю. Для усмирения его послана была эскадра с войском, под командою генерал-майора Завалишина; Баку была осаждена, но безуспешно. Князь Цицианов, тогдашний главнокомандующий кавказскою армиею, после этой неудачи пошел сам. Хюссейн-Кули-хан вызвал его на свидание у городской стены, будто бы для переговоров о сдаче. Главнокомандующий выехал — и был изменнически убит. Хюссейн-Кули-хан бежал после того в Персию, и Баку сдалась генералу Бурлакову без сопротивления: с тех пор она осталась навсегда в наших владениях и теперь составляет уездный город Шемахинской губернии. В настоящее время есть предположение устроить в Баку порт. Адмирал со своими офицерами объездил для испытания всю бухту: глубина оказалась достаточною, грунт для якорных стоянок удобный, а защиту от ветров мы сами испытали: в день нашего приезда, к вечеру, задул сильнейший SO, а пароход хоть бы колыхнулся. Говорят, еще Петр Великий по своему гениальному историческому провидению думал связать Кавказ с Россиею Каспийским морем. Дело, по-видимому, очень простое: достаточно взглянуть на карту, чтобы убедиться, какие преимущества представлял этот естественный и самой природой устроенный путь, но истина редко дается человеку прямо в руки: целое столетие мысль эта была

забыта, и только в настоящее время является она снова в своей неотразимой силе.

По общему желанию, мы прежде всего пошли осматривать ханский дворец и, пройдя таможню, тотчас же должны были подниматься на гору. Прелесть первого впечатления Баку совершенно пропадает, когда войдешь во внутрь ее. Кто не бывал в азиатских городах, тот представить себе не может, что такое бакинские улицы: задние, грязные закоулки наших гостиных дворов могут дать только слабое о них понятие; мы шли между стенами без окон, по двое в ряд, и уж третий с нами не уставился бы; над собой видели только полосу неба, а под ногами навоз. Задыхаясь от усталости, мы добрались, наконец, до обиталища властителей. Каково оно было в свое время внутри, судить невозможно: в главном здании теперь сделаны казармы, а в мечети хранятся оружие и артиллерийские принадлежности. Наружный вид сохранился еще довольно цельно. Галерея, идущая вокруг дворца, и некоторые входы, украшенные резьбой, прекрасны; видимо, что это — дело греков и никак не персидского вкуса; но что лучше всего, перед чем действительно можно простоять несколько минут в восторге,— это вид с террасы на спускающуюся вниз уступами Баку, на раскинувшееся в стороне предместье и, наконец, на море, уставленное судами и сливающееся вдали с горизонтом, и все это как бы облитое ярким солнечным светом.

Из ханского дворца мы пошли к чрезвычайно высокой башне в левой стороне крепости. Вероятно, это был прежде тоже сторожевой пункт, но народное воображение, назвав ее «Девичьей башней», украсило такого рода преданием, что один из древних ханов воспылал страстью к родной своей дочери и долго склонял ее на свои преступные желания; дочь противилась, наконец, объявила, что готова разделить любовь в таком только случае, если для нее построена будет на берегу морском особая башня. Безумный отец согласился и выстроил эту самую башню. Дочь перешла и в ту же ночь, спасая свое девство, бросилась в море.

Осмотрев таким образом город, мы предприняли прогулку на море. Верстах в двух от пристани и в очень недальнем расстоянии от берега, на шестифутовой глубине, существует подводное здание; оно состоит из нескольких башен, между которыми идет стена; внизу у башен

есть на морское дно сходы уступами, наподобие лесенки. Вообще вид его совершенно напоминает некогда бывший Караван-сарай, но каким образом он очутился под водою? Предания об этом, как водится, и бестолковы и противоречат друг другу. Одни говорят, что уровень моря поднялся, а другие, наоборот, рассказывают, что прежде море обмывало основание «Девичьей башни», которая теперь стоит довольно далеко на берегу; всего, кажется, вероятнее объяснить это явление присутствием в огромном количестве нефтяного газа по всему Бакинскому полуострову, который заставляет предполагать пустые пространства в самом материке: очень может быть, что над одной из этих подземных пустот берег обрушился и с находившимся на нем зданием опустился на дно морское; но в таком случае трудно понять, каким образом при провале каменное строение могло так цельно сохраниться.

От Караван-сарая мы отправились дальше. Темнело. Море слегка колебалось и вместе с небосклоном более и более тускнело, как бы подергиваясь матовыми черноватыми пеленами. Верст через шесть нас вдруг обдал сильный запах нефти, и мы рассмотрели, что море невдалеке от нас слегка пенилось и шипело. Подъехав к этому месту, мы бросили зажженную пеньку; вспыхнуло ярко-светлое пламя и разлилось на большое пространство[1].

На другой день приехал шемахинский губернатор для совещания с адмиралом по случаю устройства порта и пригласил нас съездить на так называемые индийские огни. Близ селения Суруханы почва до того пропитана нефтью и углеводородным газом, что стоит на каком угодно месте раскопать немного землю, приложить огня — и тотчас появится пламя, которое не угаснет до тех пор, пока его не задует ветер. На месте этом существует монастырь, обитаемый огнепоклонниками. Несколько лет тому назад некто индийский купец Собра-Магундас, откупщик сальянских рыбных промыслов, покровительствовал обители, и в ней было до восьмидесяти отшельников; но в персидскую кампанию он разорился, обитель оскудела в средствах, братия перемерла, новые не приходили, и теперь налицо осталось только всего двое. Самое бли-

[1] Здесь отделяется углеводородный газ, как продукт нефти. (*Прим. автора*)

жайшее, по-видимому, предположение, что монастырь устроен персидскими огнепоклонниками (гебрами); но выходит не так. Наш ориенталист Березин в своем путешествии по Дагестану и Закавказью положительно говорит, что на Апшеронском полуострове никогда не было собственно гебров, а всегда обитали индусы, которых некоторые ученые, как, например, Лангле и Сузане, принимали за гебров; исповедуемая ими религия, обряды, идолослужение, язык, родина и, наконец, самая физиономия — все говорит об их индийском происхождении. Персидские гебры, с которыми г. Березин имел случай познакомиться в Тегеране, не имеют ничего общего с индусами апшеронскими, и на вопрос его о бакинских неугасаемых огнях отвечали отрицательно и даже с любопытством спрашивали: «Что это у вас там за атешгар? Нам и дела нет до него. Огонь мы уважаем, как начало, но никакого почтения к бакинскому атешгару не питаем».

Часов в пять вечера мы отправились на огни в трех экипажах; впереди нас скакали казаки, а сзади конвоировали комендант и несколько морских офицеров верхами. Дорога шла довольно ровная, и я с любопытством оглядывал окрестности; последнее время я видел то великолепный Невский проспект, то холодные, но прелестные и сотни тысяч стóящие дачи на Крестовском, на Елагином, то Неву с ее пароходами, то мертвые приволжские степи, то грязные улицы Астрахани; но вот, наконец, передо мной старые знакомые — хлебные поля, и какие поля! Земля здешняя удобрения не знает, пашут ее, едва поднимая верхний дерн, а между тем пшеница родится сам-восемьдесят. Припоминая кровавые труды наших северных мужиков, я невольно подумал: «Что бы они сделали на этой почве? Или, может быть, так же бы обленились, как ленив и здешний туземец?»

Подъезжая к монастырю, мы увидели бедно одетую толпу народа с музыкантами, которые при нашем приближении заиграли на зурнах, заколотили в барабаны. Напрасно я старался в этих оглушительных звуках уловить хоть какое-нибудь сочетание — каждый, кажется, выколачивал и выигрывал, что ему вздумалось и захотелось. Утешив нас музыкой, старшие из народа предложили видеть их пляску. Для этого один из музыкантов снял с себя верхний кафтан, сапоги и пошел выхаживать, складывая руки, нагибая голову и закатывая глаза, а

между тем музыканты старались, насколько хватало сил, особенно зурнисты, у которых от напряжения лица были красные и глаза налились кровью. Окружающая толпа народа принимала, в свою очередь, тоже немалое участие: кто прихлопывал в ладоши, кто прикрикивал, и вообще приветствовали нас с самым неподдельным и искренним радушием. Мне объяснили, что все это татары, хоть они совершенно не похожи на татар астраханских: горский лезгинский характер ярко отпечатывается и в одежде, и в стройном складе тела, и в каком-то благородном и воинственном выражении лица.

В монастырских воротах нас встретили двое индийских отшельников, желтолицых, худых и босиком. Один из них уже несколько лет исполняет положенный на себя обет нечесания волос, и потому можно судить, в каком положении была его голова; другой тоже, кажется, не чешется, но уж так, без искуса.

В центре монастырской площадки стоял главный жертвенник — что-то вроде каменной, на четырех столбах беседки. Один из индийцев принялся зажигать огни. Сначала он бросил огня на пол беседки, и пламя вспыхнуло, потом поднес на длинных шестах огня к верхушкам столбов — и те запылали. Но, кроме того, нам хотелось еще видеть их богослужение; оказалось,что это довольно нетрудно. Отрекшиеся от мира подвижники в надежде получить какой-нибудь рубль серебра совершают обыкновенно свои священнодействия для всякого путешественника, в какое угодно время и насколько тому желается. Мы вошли в их моленную. Это была небольшая комната с купольным сводом; в одном углу ее помещался жертвенник, на котором стояли колокольчик, раковины, вода в чашечке и медные истуканчики. Я взял одного из них и спросил индийца, что он изображает. «Баба-Адам»,— отвечал он. «А другой?» «Абель»,— отвечал он. «А этот, третий?» «Дьявол!». Словом, пустынножитель, не зная сам хорошенько, болтал мне, что только пришло ему в голову. Свое молебствие индусы совершают обыкновенно нагие, но с нами были дамы, и потому им запретили выполнение этих подробностей, и они начали с того, что в нескольких местах зажгли проведенный в трубочки газ; один из индусов сел на корточки перед жертвенником, что-то зачитал, потом покадил, кажется, кипарисом, позвонил в колокольчик, а другой, нечесаный, стоя у стены и понурив

голову, бил в тарелочки. В моленной между тем была невыносимая жара и какой-то удушающий серный запах.

— Будет! — сказал, махнув рукою, уездный начальник, сам задыхавшийся и заметивший, что все мы, посетители, побледнели до обморока.

Индийцы остановились и пошли нас обходить, поднося на маленьком блюдечке кусочки леденца, который мы брали и клали им за это деньги, чем они, кажется, остались весьма довольны, потому что кланялись нам, улыбались и прижимали руки к сердцу.

После идолослужения оставалось осмотреть еще два колодца, вырытые поселянами неподалеку от монастыря. Получаемая из них вода была довольно годная и отзывалась только немного нефтью, но, кроме того, в ней случайно заметили такое свойство, что если колодец закрыть ненадолго досками, потом бросить огня на воду, то на поверхности ее вспыхивало пламя. Все это стали показывать, как фокус, путешественникам, но года два тому назад в одном из колодцев пламя разгорелось, его оставили непогашенным, и на другой день, к ужасу, увидели, что в колодце воды уже не было ни капли, а вместо нее зияло огненное жерло, которое горит и до сих пор и в которое мы заглядывали. Вероятно, зажженный газ передал пламя нефти, находящейся на дне колодца, вода испарилась, и образовалось что-то вроде маленького вулканического кратера.

Осматривать больше было нечего; порядком усталые, мы вошли в небольшую башенку, устроенную над монастырскими воротами, и стали тут пить чай. Музыканты перебрались за нами и уселись на стене, переменив на этот раз свои инструменты: один надувал что-то вроде флейты — *дюдюк;* другой бил в бубны — *каваль;* у третьего была как будто бы скрипка — *каманчар;* у четвертого — гитара с проволочными струнами — *сас;* барабан — *нагара и зурна.* Заиграли они песню и как будто бы несколько поскладнее прежнего; но вот один из музыкантов, кажется, гитарист, запел, или, скорее, завизжал, как будто кто-нибудь ущипнул его за руку или за ногу и немилосердно жал. Наступившие темные сумерки придали всей картине какой-то фантастический характер. Эта толпа народа, наигрывающие музыканты, желтолицые индусы и, наконец, наши дамы в шляпках и бурнусах, мы в шинелях, мундирах, аксельбантах — и все освещенные ярким

пламенем пылающих огней — казались какими-то огнепоклонниками, пришедшими совершать поклонение великой стихии.

Но обратный наш поезд в Баку совершился еще того торжественнее и был почти царственный: кроме нашей конницы, нас конвоировали верхами человек тридцать татар с зажженными факелами из нефти, по-здешнему — *машалами;* среди темной ночи раздавались лошадиный топот, крики и перебранки гарцующих взад и вперед татар, ярко пылали машалы, с которых сдуваемый ветром огонь сыпался на землю. Когда у кого-нибудь из машальников пламя ослабевало, его нагонял молодой татарчонок и на всем скаку подливал в машало нефть; напрасно лошади фыркали и рвались в сторону от огня, наездники их сдерживали. Подъезжая к Баку, мы увидели весь город иллюминированным: по горе, где воздвигнут памятник князю Цицианову, извивались разнообразными линиями огни, по дороге стоял народ с такими же машалами.

— Каково бакинцы торжествуют! — заметил я адъютанту Р-ри.

— Это им дешево стоит — всего девять целковых,— отвечал он.

«Девять целковых — тысячи огней! В Петербурге переулка не осветишь на эти деньги. Что бы сделали и каких бы фабрик настроили здесь англичане, имея под руками даровое топливо и освещение!»— подумал я.

Три дня мы пробыли, таким образом, в Баку, и я желаю одного, чтобы статейка моя представила воображению читателя этот маленький городок в столь же яркой картине, в какой останется он навсегда в моем воспоминании!

ТЮК-КАРАГАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ И ТЮЛЕНЬИ ОСТРОВА [1]

Чтобы попасть в Тюк-Караганский залив, мы должны были от Бирючьей косы перерезать море почти поперек. Плавание наше было в высшей степени благополучное: в продолжение ночи мы прошли половину нашего пути, и на другой день перед закатом солнца стал показываться

[1] Тюк-Караганский полуостров находится на восточном берегу Каспийского моря, под 44° широты и 21° долготы. *(Прим. автора.)*

Тюк-Караганский берег, с бухтою в правой от нас стороне и с видневшимся влеве Новопетровским укреплением. В самый залив мы вошли в тихие сумерки, при свете луны, следовательно, при обстоятельствах, благоприятных для морской картины, но при всем том вид полуострова не представил для глаз ничего особенно привлекательного: берег, море, мелькающие тени людей — и только; даже дикость природы не имеет здесь своей обычной грандиозности и какая-то чересчур заурядная и обыкновенная. В морском отношении бухту, впрочем, хвалят: с густо илистым дном, при четырехсаженной глубине, она образована песчаною косою, которая, загибаясь от севера к юго-востоку, закрывает ее совершенно от ветров.

Поутру мы сошли на берег, чтобы ехать в крепость. На самой косе расположена слобода, заселенная русскими переселенцами из верховых губерний. Правительство обстроило их, дало им на десять лет льготы, предоставило им около берега рыбную ловлю. Я заходил в их дома. Живут чистенько, заметны некоторые следы довольства, а между тем, не говоря уже о бабах, даже мужики плачут о родине: скучно!

Крепость лежит от слободы в пяти верстах; по дороге только и видны песок, ракуша и выдающийся местами из земли известковый камень, употребляемый на постройку домов; растительность самая бедная; с морского берега опахивает вонючий запах от выкидываемой волнами и гниющей здесь морской травы. Наконец, к общему нашему удовольствию, мы увидели два соленые озерка, единственно любопытные предметы среди этой скудной и печальной природы. Замечательны они тем, что совершенно розового цвета. Вода их, налитая в стеклянный сосуд, красновата, и у берега, где дно ракушечное, черноватое, она представляется с бледно-розовым отливом; но дальше, где происходит уже осадок соли и где грунт дна белый, красноватость ее сгущается до цвета розы. Самая соль в первое время осадки, когда еще бывает сыровата, сохраняет розовый цвет, но, высушенная, делается совершенно белой. По мнению Эйхвальда, розовый цвет озерков происходит вследствие отражения солнечных лучей от растущей на дне красноватой травы; но почтенный ученый наш Бэр, предпринимавший вместе с нами эту поездку, объяснил это иначе и более правдоподобно; он открыл в воде присутствие инфузорий, которые в живом

состоянии окрашивают ее в розовый цвет, но, умирая, разлагаются и утрачивают это свойство.

Крепость стоит на вершине горы; невысокие стены ее идут зигзагами, охраняемые с одной стороны крутым скатом, а с другой — почти перпендикулярными обрывами. Устроена она для прекращения разбоев на море, которые производили кочующие по восточному берегу киргиз-кайсаки.

Въехав в крепостные ворота, мы прошли сначала в церковь, видели потом казармы, лазарет, гауптвахту, ходили на бастионы, откуда я взглянул на далеко расстилающуюся степь, и опять та же убийственная мертвенность, хоть бы деревцо, хоть бы лужайка свежей зелени! И только, как признаки чего-то живого, плетутся вдали, едва передвигая ноги, по два, по три верблюда, или, лучше сказать, остовы верблюжьи. Сажень дров здесь стоит 70 рублей серебром, за пригоршню муки кочевник готов работать целый день, и среди этого безлесья и безводья (невольно подумаешь) могут жить люди?.. Живут, и живут тысячи! Мало того. Имеют политические партии, враждуют и междоусобствуют друг с другом. Читатель, может быть, знает, что большая часть киргиз-кайсацких племен признает над собой власть хивинского хана, которому еще в недавнее время они отбывали свою дань тем, что захватывали в море наших рыбопромышленников и поставляли их в Хиву натурой в плен, и только в 1840 году поход Перовского заставил хана отменить сбор подобной пошлины, и захваты прекратились. Не знаю, в какой мере это справедливо, но мне рассказывали такого рода междоусобный эпизод. Старый хивинский хан убит в войне с персиянами, на место его избран хивинскою партиею другой, против желания партии трухменцев; те объявили восстание, новый хан вышел усмирять их и был убит в схватке. Ему наследовал родной брат его, который, между прочим, издал прокламацию с воззванием к киргиз-кайсакам — бить и уничтожать трухменцев; но те предупредили и напали на хивинский купеческий караван, шедший из Новопетровска в Хиву под прикрытием киргизов; товары были разграблены, а конвой разбит. Киргизы, возвратясь домой, в свою очередь, стали грабить трухмен, но не тех, которые их грабили, а находящихся под нашим покровительством и прикочевавших к Новопетровску. Эти трухмены теперь являются беспрестанно к комендан-

ту с просьбою защитить их, а киргизы в свое оправдание говорят, что они сами ограблены. Словом, спор, который, кажется, лучше всего разрешило бы турецкое правосудие, отколотив, для восстановления мира, истца и ответчика по пятам.

Вот все, что мы видели и слышали на Тюк-Караганском полуострове. На другой день, снявшись с якоря, направили мы наш курс к так называемым Тюленьим островам, которых, собственно, четыре: Морской, Святой, Подгорный и Кулалы. Для посещения своего мы избрали последний. Якорь брошен у западной его оконечности, против единственного жилого места — небольшой ватаги тюленьих промышленников. До берега добрались мы в шлюпке, и первое, что увидели,— это скорпионов и двух-трех огромнейших собак, которых, говорят, тут более двух десятков. Промышленники ездят на них охотиться по льду за тюленями.

Из всех водяных обитателей Каспия тюлень уж, конечно, самое простодушное животное, их ловят почти руками. Выходят, например, они летом на морской берег понежиться, погреться и, главное, я думаю, поспать, и спят, как мертвые, лопаясь иногда от собственного своего жира. Между тем охотники осторожно, с колотушками (чекушками) в руках и стараясь быть под ветром, обходят их с моря; достаточно перебить передний ряд косяка, остальные уже не в состоянии перескочить этой загороди и все убиваются на месте[1]. Когда ловец замахивается на тюленя, он, бедный, не защищается, не спасается и только обращает на убийцу глаза, полные слез, а маленькие тюленята, говорят, даже издают стон наподобие плача ребенка. На море ловят тюленей в северной части Каспийского моря; сначала ловцы замечают, где вьются над водою мартышки,— явный знак, что тут ходит тюлений косяк; место это ловцы обставляют с одной стороны оханами, а с другой обходят в лодках и начинают шумом и криком беспокоить косяк, который бросается, тычется рылом в загородь, ворочается и, встретив здесь расставленные сети, запутывается в них. Но другое дело — и дело гораздо поопаснее — охота за маленьким

[1] Впрочем, лов этот иногда бывает соединен с опасностью для ловцов; если они не успели перебить переднего ряда тюленей, прежде чем проснутся остальные, то весь косяк устремляется в воду, увлекает с собою и давит ловцов. *(Прим. автора.)*

беленьким тюленем зимой, когда тюлени плодятся. Для этого они обыкновенно продувают на льду отверстие (лазок), выползают на него и, родив детенышей, оставляют их, для защиты от ветра, около льдин, стоящих ребром. Сопровождаемые плачем и воем семей своих, едут охотники к этому наперед опознанному месту и начинают несчастных птенцов убивать чекушкой или просто колотя головенкой об лед; но горе отважным промышленникам, если в это время подует морской ветер; льдины отрывает и относит, куда ветер дует. Только счастливая судьба может примкнуть ее к берегу или к другой льдине, с которой можно перебраться на землю, или, наконец, перехватит ловцов какая-нибудь кусовая; но часто бывает, что их уносит в море, где впереди смерть от холода, голода, потопления, и трудно вообразить, с какой отважностью и неутомимостью спасаются погибающие: последний способ, самый решительный, когда уже никакой не осталось надежды,— это плавание на бурдюке. Делается он просто: убивают обыкновенно лошадей, мясо их запасают на пищу, а шкуру надувают и образовавшиеся из нее пузыри привязывают к саням, которые спускают на море, и пускаются в них плыть, употребляя вместо весел лошадиные кости; кого вынесет — так хорошо, а нет — так, значит, богом так назначено. Чиновник произведет очень аккуратное местное изыскание о причине смерти таких-то и таких-то. Родные, а больше всех матери, поревут, постонут. На мирской сходке переговорят: «Затерло, брат, ребят-то, затерло... Затерло, затерло, с кусовой от Фомы Ильича видели, слышь... Видели, видели, братец ты мой, да подступу не было, льдищо кругом... Льдищо, льдищо — известно!» — заключится разговор, да тем дело и покончится. Где-то, подумаешь, не вершит головушкой русский человек ни за что, ни про что, а пора бы, кажется, нам поберегать людей: весь этот промысел, например, доставлял шкурку, из которой выделывался мех вроде бобра, употребляемый на опушку кучерских кафтанов, и для подобного комфорта каждый год гибло до двадцати человек, а сверх того переводились и самые тюлени. В последнее время правительством, впрочем, запрещен этот промысел.

СТАТЬИ И ПИСЬМА



Подготовка текста
и примечания
Л. Н. Назаровой
(«Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти...»),
А. П. Могилянского
(«Подводный камень»),
А. А. Рошаль
(Избранные письма),
В. П. Гурьянова
(«Биография Алексея Феофилактовича Писемского»).

СОЧИНЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ, НАЙДЕННЫЕ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ. ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Пользуясь выходом в свет «Сочинений» Н. В. Гоголя, я решился высказать печатно несколько мыслей о произведениях его вообще и о второй части «Мертвых душ» в особенности и беру на себя это право не как критик, а как человек, который когда-то страстно знакомился с великим писателем, начиная с представления на сцене большей части написанных им ролей до внимательного изучения и поверки его эстетических положений. Но прежде всего я просил бы читателя бегло взглянуть на состояние литературы и на отношение к ней общества в то время, когда Гоголь стал являться с своими первыми произведениями. Нужно ли говорить, что то был период исключительно пушкинский, не по временному успеху поэта и его последователей, но по той силе, которую сохранило это направление до наших дней, и, когда уже все современное ему в литературе забывается и сглаживается, оно одно мужает и крепнет с каждым днем более и более. Но в массе публики того времени это было несколько иначе; отдавая должное уважение поэту, она увлекалась и многим другим: в ней не остыла еще симпатия, возбужденная историческими романами Загоскина и Лажечникова, авторитеты — Жуковский

и Крылов — еще жили и писали. Кроме того, Марлинский все еще продолжал раздражать воображение читателей напыщенными великосветскими повестями и кавказскими романами, в которых герои отличались сангвиническим темпераментом и в то же время решительным отсутствием истинной страсти. Полевой компилировал драмы из Шекспира, из повестей, из анекдотов и для произведения театрального эффекта прибегал к колокольному звону. Кукольник создавал псевдоисторическую русскую драму и производил неподдельный восторг, выводя на сцену в мужественной фигуре Каратыгина Ляпунова, из-за чего-то горячащегося и что-то такое говорящего звучными стихами. Барон Брамбеус, к общему удовольствию, зубоскалил в одном и том же тоне над наукой, литературой и над лубочными московскими романами. Бенедиктов и Тимофеев звучали на своих лирах в полном разгаре сил. Никто, конечно, не позволит себе сказать, чтобы все эти писатели не владели талантами, и талантами, если хотите, довольно яркими, но замечательно, что все они при видимом разнообразии имеют одно общее направление, ушедшее совершенно в иную сторону от истинно поэтического движения, сообщенного было Пушкиным, направление, которое я иначе не могу назвать, как направлением *напряженности,* стремлением сказать больше своего понимания — выразить страсть, которая сердцем не пережита,— словом, создать что-то выше своих творческих сил. В это-то время стал являться в печати Гоголь с своими сказками, и нельзя сказать, чтоб на первых его опытах, свежих и оригинальных по содержанию, не лежало отпечатка упомянутой мною напряженности. Стоит только теперь беспристрастно прочитать некоторые описания природы, а еще больше — описания молодых девушек, чтоб убедиться в этом. При воссоздании природы, впрочем, он овладел в позднейших своих произведениях приличною ему силою. Степи и сад Плюшкина, например, представляют уже высокохудожественные картины; но при создании любезных ему женских типов великий мастер никогда не мог стать к ним хоть сколько-нибудь в нормальное отношение. Это — фразы и восклицательные знаки при обрисовке их наружности, фразы и восклицания в собственных речах героинь. Кто, положа руку на сердце, не согласится, что именно таковы девушки в его сказках: пылкая полячка

в «Тарасе Бульбе», картинная Аннунциата и, наконец, чудо по сердцу и еще большее чудо по наружности — Улинька. Точно то же потом бесплодное усилие чувствуется и в создании нравственно здоровых мужских типов: государственный муж и забившийся в глушь чиновник в «Театральном разъезде» ученически слабы по выполнению. Никак нельзя сказать, чтоб в задумывании всех этих лиц не лежало поэтической и жизненной правды, но автор просто не совладел с ними. Снабдив их идеей, он не дал им плоти и крови. Эта слабость и фальшивость тона при представлении правой стороны жизни сторицею выкупались силою другого тона, извнутри энергического, несокрушаемо-правдивого, исполненного самым задушевным смехом, с которым Гоголь, то двумя — тремя чертами, то беспощадным анализом, рисует левую сторону, тоном, из которого впоследствии вышла первая часть *Мертвых душ.*

Вот почему, мне кажется, Пушкин, как чуткий эстетик, с такой полной симпатией встретил *Нос* — рассказ, по-видимому, без мысли, без понятного даже сюжета, но в котором он видел начало нового направления, чуждого его направлению, однако ж столь же истинного, столь же прочного, и это направление было *юмор,* тот трезвый, разумный взгляд на жизнь, освещенный смехом и принявший полные этою жизнью художественные формы,— юмор, тон которого чувствуется в наших летописях, старинных деловых актах, который слышится в наших песнях, в сказках, поговорках и в перекидных речах народа, и который в то же время в печатной литературе не имел права гражданства до Гоголя. Кантемир, Фонвизин, Грибоедов были величайшие сатирики, но и только. Они осмеивали зло как бы из личного оскорбления, как бы вызванные на это внешними обстоятельствами. Первые два карают необразование и невежество, потому что сами были люди, по-тогдашнему, образованные; последний выводит фальшивые, пошлые, предрассудочные понятия целого общественного слоя, потому что среди них был всех умнее и получил более серьезное воспитание. Но уж гораздо иную единицу для промера, гораздо более отвлеченную и строгую встречаем мы у Гоголя. Настолько поэт, насколько философ, настолько сатирик и, если хотите, даже пасквилист, насколько все это входит в область юмора, он первый устремляет свой смех на нрав-

ственные недостатки человека, на болезни души. Если б Недорослей, Бригадиров, Фамусовых, Скалозубов поучить и пообразовать, то, кажется, авторы и читатели помирились бы с ними. Но Ноздрев, Подколесин, Плюшкин, Манилов и другие страдают не отсутствием образования, не предрассудочными понятиями, а кое-чем посерьезнее, и для исправления их мало школы и цивилизации. Сатирическое направление Кантемира, Фонвизина, Грибоедова, как бы лично только им принадлежащее, кончилось со смертью их; но начало Гоголя, как более в одном отношении общечеловечное, а с другой стороны, более народное, сейчас же было воспринято и пошло в развитии образовавшеюся около него школою последователей. Вот в чем состоит огромное превосходство Гоголя перед всеми предшествовавшими ему комическими писателями, и вот почему он один, по преимуществу, может быть назван юмористом в полном значении этого слова. До какой степени эта прирожденная способность была велика в нем, можно судить из прогресса его собственных произведений. Начав, между прочим, с чудаков Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, страдающих наклонностью к тяжбам, он возвышается до благородной, нравственно-утонченной, но все-таки болеющей личности Тентетникова; но, кроме того, посмотрите, сколько из этой истинной силы поэта вытекло внешних художественных форм, которые созданы Гоголем: он первый вводит типические характеры, трепещущие жизнью; он первый дает типический язык каждому типу. Как ни верны в своих монологах лица комедии Фонвизина и Грибоедова, а все-таки в складе их речи чувствуется *сочинительство, книжность;* даже и тени этого не встречаете вы в разговорном языке большей части героев Гоголя: язык этот бьет у них живым ключом и каждым словом обличает самого героя. Не оскорбляя упреком драгоценной для меня, как и для всех, памяти великого писателя, я не могу здесь не выразить сожаления, как он сам, сознавая, конечно, в себе эту творческую способность, не оперся исключительно на нее при своих созданиях. И чем более припоминаешь и вдумываешься в судьбу его произведений, в его эстетические положения, наконец, в его письма, в признания, тем более начинаешь обвинять не столько его, сколько публику, критику и даже друзей его: все они как бы сообща, не дав себе труда подумать об истинном при-

звании, значении этого призвания и средствах поэта, наперерыв старались повлиять на его впечатлительную душу, кто мыслью, кто похвалою, кто осуждением, и потом, говоря его же выражением, напустив ему в глаза всякого книжного и житейского тумана, оставили на распутьи...

Немногие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами массы публики, как Гоголь. Надобно было несколько лет горячему, с тонким чутьем критику, проходя слово за словом его произведения, растолковывать их художественный смысл и ради раскрытия этого смысла колебать иногда даже пристрастно устоявшиеся авторитеты; надобно было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении; надобно было, наконец, обществу воспитаться, так сказать, его последователями, прежде чем оно в состоянии было понять значение произведений Гоголя, полюбить их, изучить и разнять, как это есть в настоящее время, на поговорки. Но прежде чем устоялось, таким образом, общественное мнение, сколько обидного непонимания и невежественных укоров перенес поэт! «Скучно и непонятно!» — говорили одни. «Сально и тривиально!» — повторяли другие, и «Социально-безнравственно!» — решили третьи. Критики и рецензенты почти повторяли то же. Одна газета, например, стоявшая будто бы всегда за чистоту русского языка, неприлично бранилась; другой журнал, куривший фимиам похвал драмам Кукольника, называл творения Гоголя пустяками и побасенками. Даже и тот критик, который так искренно всегда выступал к ободрению Гоголя, даже и тот, в порыве личного увлечения, открыл в нем, по преимуществу, социально-сатирическое значение, а несколько псевдопоследователей как бы подтвердили эту мысль. Между тем друзья, в искренности которых мы не смеем сомневаться, влияли вряд ли еще не к худшему: питая, под влиянием очень умно составленных лирических отступлений в первой части «Мертвых душ», полную веру в лиризм юмориста, они ожидали от него идеалов и поучений, и это простодушное, как мне всегда казалось, ожидание очень напоминало собой доброе старое время, когда жизнь и правда были сама по себе, а литература и, паче того, поэзия сама по себе, когда вымысел стоял в творчестве на первом плане и когда роман и повесть наивно считались не чем иным, как приятною ложью.

При таких эстетических требованиях создать прекрасного человека было нетрудно: заставьте его говорить о добродетели, о чести, быть, пожалуй, храбрым, великодушным, умеренным в своих желаниях, при этом не мешает, чтоб и собой был недурен, или, по крайней мере, имел почтенную наружность,— вот вам и идеал, и поучение! Но для Гоголя оказалась эта задача гораздо труднее: в первой части «Мертвых душ», объясняя, почему им не взят в герои добродетельный человек, он говорит:

«Потому, что пора наконец дать отдых добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово: добродетельный человек, потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом и чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра и кости вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека» (стр. 431 первой части «Мертвых душ»).

В этих словах вы сейчас видите художника-критика, который в то же время, с одной стороны, как бы испугавшись будто бы бессмысленно грязного и исключительно социально-сатирического значения своих прежних творений, а с другой — в стремлении тронуть, по его же словам, доселе не тронутые еще струны, представить несметное богатство русского духа, представить мужа, одаренного божественными доблестями, и чудную русскую деву, какой не сыскать нигде в мире, со всею дивною красотою женской души, всю составленную из великодушного стремления и самоотвержения,— словом, снедаемый желанием непременно сыскать и представить идеалы, обрекает себя на труд упорный, насильственный.

«Мне хотелось (высказывает он потом в своей «Исповеди»), чтобы, по прочтении моего сочинения, предстал, как бы невольно, весь русский человек, со всем разнообразием богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем также преимущественно перед всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так эти достоинства, что к ним возгорится любовью русский человек, а сила сме-

ха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко изобразить недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что все это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаю очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство» (стр. 262 «Авторской Исповеди»).

На первый взгляд покажется, что подобную задачу, достойную великого мастера, Гоголь принимает на себя с величайшею добросовестностью и что иначе приступить к ней нельзя; но надобно быть хоть немного знакомым с процессом творчества, чтобы понять, до какой степени этот прием искусствен и как мало в нем доверия к инстинкту художника. Положительно можно сказать, что Шекспир, воспроизводя жизнь в ее многообразной полноте, создавая идеалы добра и порока, никогда ни к одному из своих произведений не приступал с подобным, наперед составленным правилом, и брал из души только то, что накопилось в ней и требовало излияния в ту или в другую сторону. Поэт узнает жизнь, живя в ней сам, втянутый в ее коловорот за самый чувствительный нерв, а не посредством собирания писем и отбирания показаний от различных сведущих людей. Ему не для чего устраивать в душе своей суд присяжных, которые говорили ему, виновен он или невиновен, а, освещая жизнь данным ему от природы светом таланта, он узнает и видит ее яснее всякого трудолюбивого собирателя фактов.

Почти наглядным доказательством мысли моей о силе и художественной зрелости в одну сторону и о напряженности труда в другую может служить вторая часть *Мертвых душ.* Безусловно, подкупленный достоинствами первой части, я задавал себе постоянно, с некоторым опасением, вопрос: какие еще новые типы выведет нам Гоголь, и как их выполнит? Началом труда так уж много было сделано, что только вера в громадность его таланта заставляла надеяться на прогресс, а доходившие по временам слухи, что то-то и то-то хорошее есть во второй части, укрепляли это ожидание. С такого рода

опасениями и надеждами приступил я к чтению второй части — и не могу выразить, какое полное эстетическое наслаждение чувствовал я, читая первую главу, с появления в ней и обрисовки Тентетникова. Надобно только вспомнить, сколько повестей написано на тему этого характера и у скольких авторов только еще надумывалось что-то такое сказаться; надобно потом было приглядываться к действительности, чтоб понять, до какой степени лицо Тентетникова, нынче уж отживающее и редеющее, тогда было современно и типично. Образованный не фактами, а душой науки, утонченно развитой нравственно, стремившийся к живой деятельности, с возбужденным честолюбием, юноша Тентетников вступает в службу, и, вместо того, чтоб побороть этот первый, трудный шаг в жизни, он сразу охладевает к избранной им деятельности: она перестает быть для него уж первым делом и целью, но делается чем-то вторым; знакомство с двумя личностями, которых автор называет людьми огорченными, доканчивает начатое. Передаю об этом обстоятельстве его собственными словами.

«Это были (говорит он) те беспокойно-страстные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые по началу, но беспорядочные сами в своих действиях, требуя к себе снисхождения и в то же время исполненные нетерпимости к другим, они подействовали на него сильно и пылкой речью и образом благородного негодования противу общества. Разбудивши в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он и не думал обращать внимания. Федор Федорович Леницын, начальник одного из отделений, помещавшихся в великолепных залах, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков» (стр. 18 второй части «Мертвых душ»).

А вследствие того:

«Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он на то наискивался с каким-то особым наслаждением и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства либо просить извинения, либо выходить в отставку. Дядя, действительный статский советник (определивший Тентетникова на службу),

приехал к нему перепуганный и умоляющий: «Ради самого Христа! Помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь? Оставлять так выгодно начатый карьер из-за того только, что попался не такой, как хочется, начальник. Помилуй, что ты? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбие, поезжай и объяснись с ним».

«Не в том дело, дядюшка, сказал племянник. Мне не трудно попросить у него извинения. Я виноват; он начальник, и не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем: у меня есть другая служба: триста душ крестьян, именье в расстройстве, управляющий дурак... Что вы думаете? Если я позабочусь о сохраненьи, сбереженьи и улучшеньи участи вверенных мне людей и представлю государству триста исправнейших, трезвых, работящих подданных» (стр. 19 и 20 второй части «Мертвых душ»).

Словом, Тентетников избирает другую деятельность, в которой — увы! — оказывается та же благородная мысль и энергия в начинании и та же слабость и отсутствие упорства в исполнении; а затем следует полное отрицание от предпринятого труда — и начинается жизнь байбака, небокоптителя. Но это не было полным омертвением: при всей видимой внешней недеятельности в душе Тентетникова чутко живут все нравственные потребности хорошей и развитой натуры. В своей апатии он обдумывает еще великое сочинение о России; в нем не угасло еще честолюбие — этот рычаг-двигатель большей части великих человеческих дел.

«Когда привозила почта газеты и журналы (говорит автор) и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевшего на видном поприще государственной службы, или приносившего посильную дань наукам и делу всемирному, тайная, тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная безмолвно грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силою воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович... и градом лились из глаз его слезы...» (стр. 28 и 29 второй части «Мертвых душ»).

Наконец в сердце его закрадывается что-то похожее на любовь, но и тут кончилось ничем, и не столько по апатии, а из того же тонкого самолюбия. Он влюбился

в дочь генерала Бетрищева. Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно, потом позволил себе несколько фамильярный тон и стал относиться к нему свысока, говоря: *любезнейший, послушай, братец,* и один раз сказал даже *ты.* Тентетников не вынес этого.

«Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и все внутри его кипело: «Я благодарю вас, генерал, за расположение. Словом: *ты,* вы меня вызываете на тесную дружбу, обязывая и меня говорить вам *ты.* Но различие в летах препятствует такому фамильярному между нами обращению». Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово *ты* было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку *ты* (о чине своем он не упомянул ни слова)» (стр. 33 второй части «Мертвых душ»).

Читатель видит, какой истиной все это дышит и как живо лицо Тентетникова. Родятся ли уж сами собой такие характеры или они образуются потом, как порождение обстоятельств, спрашивает сам себя художник и, вместо ответа, честно рассказывает то, что я сейчас передал. И к этому-то человеку приводит он своего героя, Чичикова. Нельзя себе вообразить более счастливого сведения двух лиц как по историческому значению, так и по задачам юмориста. Ни одна, вероятно, страна не представляет такого разнообразного столкновения в одной и той же общественной среде, как Россия; не говоря уж об общественных сборищах, как, например, театральная публика или общественные собрания,— на одном и том же бале, составленном из известного кружка, в одной и той же гостиной, в одной и той же, наконец, семье, вы постоянно можете встретить двух, трех человек, которые имеют только некоторую разницу в летах и уже, говоря между собою, не понимают друг друга! Вот довольно откровенная беседа, которая возникает между хозяином и гостем. Чичиков, пообжившись и заметив, что Андрей Иванович карандашом и пером вырисовывал какие-то головки, одна на другую похожие, раз после обеда, оборачивая, по обыкновению, пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал так:

— У вас все есть, Андрей Иванович, одного только недостает.— Чего? — спросил тот, выпуская кудреватый дым.— «Подруги жизни»,— сказал Чичиков. Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился. Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сем, сказал вдруг: «А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться».— Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна. Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время, уже после ужина, и сказал так: «А все-таки, как ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: впадете в ипохондрию». Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа в этот день у него особенно настроено было к откровенности, он вздохнул и сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович»,— и тут же передал гостю все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыва. Когда услышал Чичиков от слова до слова все дело и увидел, что из одного слова *ты* произошла такая история, он оторопел. С минуту смотрел пристально в глаза Тентетникову и не знал, как решить: действительно ли он круглый дурак или только с придурью?

— Андрей Иванович! Помилуйте! — сказал он, наконец, взявши его за обе руки: — Какое ж оскорбление? Что ж тут оскорбительного в слове *ты?*

— В самом слове нет ничего оскорбительного,— сказал Тентетников,— но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбление. *Ты!* Это значит: помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина — ты знай свое место, стой у порога. Вот что это значит! — Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами; в голосе его послышалось раздраженье оскорбленного чувства.

— Да хоть бы даже и в этом смысле, что ж тут такого? — сказал Чичиков.

— Как? — сказал Тентетников, смотря пристально в глаза Чичикова.— Вы хотите, чтобы я продолжал бывать у него после такого поступка?

— Да какой же это поступок? Это даже не поступок! — сказал Чичиков.

— Как не поступок? — спросил в изумленьи Тентетников.

— Это не поступок, Андрей Иванович. Это просто генеральская привычка, а не поступок; они всем говорят: *ты*. Да, впрочем, почему ж этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?..

— Это другое дело,— сказал Тентетников.— Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне *ты* и принял бы даже почтительно.

«Он совсем дурак,— подумал про себя Чичиков.— Оборвышу позволить, а генералу не позволить!» (стр. 46, 47, 48 второй части «Мертвых душ»).

Не правда ли, что во всей этой сцене как будто разговаривают два человека, отдаленные друг от друга столетием: в одном ни воспитанием, ни жизнию никакие нравственные начала не тронуты, а в другом они уж чересчур развиты... странное явление, но в то же время поразительно верное действительности! Перехожу к последствию этого разговора, которое состояло в том, что Чичиков, тоже к крайнему удивлению Тентетникова, взялся хлопотать о примирении его с генералом и поехал к генералу.

Многие, конечно, из читателей, прочитав еще в рукописи, знают, помнят и никогда не забудут генерала Бетрищева; лично же на меня он, при каждом новом чтении, производит впечатление совершенно живого человека. Фигура его до того ясна, что как будто облечена плотью. Но, кроме этой, вполне законченной, внешней представительности, посмотрите, каким полным анализом раскрывается его нравственный склад.

«Генерал Бетрищев заключал в себе, при куче достоинств, и кучу недостатков. То и другое, как водится в русском человеке, было набросано у него в каком-то картинном беспорядке. В решительные минуты великодушие, храбрость, ум, беспримерная щедрость во всем и в примесь к этому капризы честолюбия, самолюбия и та мелкая щекотливость, без которой не обходится ни один русский, когда он сидит без дела и не требуется от него решительности. Он не любил всех, которые опередили его по службе, и выражался о них едко, в колких эпиграммах. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, которого он считал ниже себя умом и способ-

ностями, который, однако ж, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний и, как нарочно, тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отмщение язвил он его при всяком случае, порочил всякое распоряжение и видел во всех мерах и действиях его верх неразумения. В нем было все как-то странно, начиная с просвещения, которого он был поборником и ревнителем; он любил блеск, любил похвастать умом, знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полуиностранным воспитанием, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. И не мудрено, что с такой неровностью в характере, с такими крупными, яркими противоположностями он должен был неминуемо встретить по службе множество неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную величавую осанку. В сюртуке ли, во фраке ли, в халате, он был все тот же. От голоса до малейшего телодвижения, в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то, по крайней мере, робость» (стр. 56 и 57 второй части «Мертвых душ»).

Чичиков, приехавший к генералу, почувствовал и уваженье и робость.

«Наклоня почтительно голову набок и расставив руки на отлет, как бы готовился приподнять ими поднос с чашками, он изумительно ловко нагнулся всем корпусом и сказал: «Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству».

«Генералу, как видно, не не понравился такой приступ. Сделавши весьма благосклонное движенье головою, он сказал: «Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?»

— Поприще службы моей,— сказал Чичиков, садясь в кресла не на середине, но наискось и ухватившись рукою за ручку кресел,— началось в Казенной Палате, ваше превосходительство. Дальнейшее же теченье оной совершал по разным местам: был и в Надворном Суде, и в Комиссии Строений, и в Таможне. Жизнь мою можно

уподобить как бы судну среди волн, ваше превосходительство. Терпеньем, можно сказать, повит, спеленан, и будучи, так сказать, сам одно олицетворенное терпенье... А что было от врагов, покушавшихся на самую жизнь, так это ни слова, ни краски, ни самая даже кисть не сумеет того передать... Так что на склоне жизни своей ищу только уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства...

— У кого же?

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Генерал поморщился.

— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения...

— К чему?

— К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов... Говорит, если б я только мог перед его превосходительством чем-нибудь... потому что точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество, говорит.

— Помилуйте, что ж он? Да ведь я не сержусь,— сказал смягченный генерал.— В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезный человек.

— Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человек может быть, и с даром слова, и владеет пером...

— Но пишет, чай, пустяки какие-нибудь, стишки.

— Нет, ваше превосходительство, не пустяки... он что-то дельное пишет... историю, ваше превосходительство.

— Историю? О чем историю?

— Историю... — тут Чичиков остановился. И оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто, чтоб придать более важности предмету, прибавил: — Историю о генералах, ваше превосходительство.

— Как о генералах? О каких генералах?

— Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности. То есть, говоря собственно, об отечественных генералах.

Чичиков совершенно спутался и потерялся; чуть не плюнул сам и мысленно сказал себе: «Господи, что за вздор такой несу!»

— Извините, я не очень понимаю... Что ж это выходит,

историю какого-нибудь времени, или отдельные биографии, и притом всех ли, или только участвовавших в 12-м году?

— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в 12-м году.

Проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю!»

— Так что ж он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.

— Робеет, ваше превосходительство.

— Какой вздор! Из-за какого-нибудь пустого слова... Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.

— Он к тому не допустит, он сам приедет,— сказал Чичиков, оправясь совершенно, ободрился и подумал: «Экая оказия! Как генералы пришлись кстати, а ведь язык взболтнул сдуру!» (стр. 58, 59, 60 и 61 второй части «Мертвых душ»).

Может ли что-нибудь быть с более живым юмором по содержанию и художественнее выполнено, как эта сцена?.. Тут входит дочь генерала, Улинька, предмет любви Тентетникова, и, как можно подозревать, та чудная славянская дева, которая была обещана автором в первой части «Мертвых душ» и за которую, признаться, я тогда еще опасался, не потому, чтоб невозможно было вывесть прекрасной славянки — она уж есть у нас в лице Татьяны Пушкина, но считал это вне средств Гоголя. Опасения мои сбылись в самых громадных размерах: он как бы сразу теряет творческую силу и впадает в самый неестественный, фальшивый тон:

«В кабинете послышался шорох; ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою, и на отворившейся обратной половинке ее, ухватившись рукой за медную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сильно сзади лампами, она бы так не поразила внезапностью своего явления. Видно было, что она взошла с тем, чтобы что-то сказать; но увидела незнакомого человека. С нею вместе, казалось, влетел солнечный луч, и как будто рассмеялся нахмурившийся кабинет генерала. Пряма и легка, как стрела, она как бы возвышалась над всем своим полом; но это было обольщенье. Она была вовсе невысока ростом. Происходило это от необыкно-

венного соотношения между собою всех частей ее тела. Платье сидело на ней так, что, казалось, лучшие швеи совещались между собою, как бы убрать ее. Но это было также обольщенье. Оделась она как будто бы сама собой; в двух, трех местах схватила, и то кое-как, неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг нее в таких сборках и складках, что ваятель сейчас же перенес бы их на мрамор. Все барышни, одетые по моде, показались бы перед ней чем-то обыкновенным» (стр. 61 и 62 второй части «Мертвых душ»).

Описание это, по моему мнению, ниже самых напыщенных описаний великосветских героинь Марлинского, потому что там по крайней мере видно больше знания дела и, наконец, положено много остроумия. Тон речи этой восемнадцатилетней девушки превосходит своею фальшивостью самое описание. «Он плутоват, гадковат»,— говорит она об одном Вишнепокромове, или следующим образом возражает отцу: «Я не понимаю, отец, как с добрейшей душой, какая у тебя есть, и с таким редким сердцем ты будешь принимать этого человека, который, как небо от земли, от тебя». Грустней всего, что эти ошибки великого мастера не могут быть извинены недоконченностью в отделке, или какими-нибудь пропусками, а напротив, ясно видно, что все это сделано с умыслом, обдуманно, с целью поразить читателя, и в то же время без всякого эстетического чутья. Неприятность впечатления этого фальшиво выполненного лица снова выкупается в дальнейшей сцене генералом и развернувшимся, но постоянно верным самому себе Чичиковым, в котором можно разве только укорить автора за анекдот о *черненьких* и *беленьких*. Видимо, что анекдот этот подслушан у рассказчика, придавшего мастерством рассказа самому анекдоту значение, которого в нем нет. Поставлен он с понятною целью вызвать от генерала несколько честных и энергических замечаний на счет взяток; но для этого следовало бы взять более резкий и типичный случай, которых много ходит в устных рассказах.

За визитом к генералу следует большой пропуск, и мы уж встречаем Чичикова, едущего к родственнику генерала, полковнику Кошкареву, и попадающего, вместо того, к помещику Петуху. Петух этот очень напоминает собой первоначальные веселые типы Гоголя, и читатель, конеч-

но, с удовольствием с ним встречается, хотя первая сцена, где тащат Петуха в воде неводом, невозможна и потому карикатурна; но что истинно хорошо, так это два сына Петуха, гимназисты, которые уж и трубку курят, и за столом без всяких заметных последствий рюмку за рюмкой опрокидывают, и один из них с первых же разов стал рассказывать Чичикову, что в губернской гимназии нет никакой выгоды учиться, что они с братом хотят ехать в Петербург, потому что провинция не стоит того, чтоб в ней жить. «Понимаю,— сказал Чичиков,— кончится дело кондитерскими да бульварами!» При таком легком очерке милые мальчики стоят пред вами как живые, и вы знаете уж всю их дальнейшую карьеру. Приехавший затем Платонов — лицо, хорошо на первый раз показанное, но очень мало потом развитое, и потому о нем ничего нельзя сказать, но в то же время невозможно удержаться от выписки того, каким образом Петух заказывал кулебяку.

«И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал и причвакивал. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопреть хорошенько!» А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаю-с. Можно-с. Можно-с и такой».

«— Да кулебяку сделай на четыре угла,— говорил он с присасываньем и забирая в себя дух.— В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой гречневой кашицы да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого... какого-нибудь там того.

«— Слушаю-с. Можно будет и так.

«— Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то припеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак разтого, не то, чтобы рассыпалась, а и стаяла бы во рту, как снег какой, так, чтобы и не услышал.— Говоря это, Петух присмакивал и подшлепывал губами.

«— Черт побери! Не дает спать,— думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:

«— А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да снеточков, да груздочков, да там, знаешь, репуш-

ки, да моркови, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да сделай ты мне свиной сычуг: кольни ледку, чтобы он взбухнул хорошенько.

«Много еще Петух заказывал блюд» (стр. 96 и 97 второй части «Мертвых душ»).

От Петуха Чичиков едет к зятю Платонова, помещику Костанжогло, на которого я просил бы читателя обратить внимание, потому что он преимущественно заслуживает этого по отношению к нему автора. До сих пор всех героев «Мертвых душ» (за исключением неудавшейся Улиньки) художник подчинял себе и своим воззрением стоял далеко выше их, но в Костанжогло вы сейчас чувствуете, что он сам подчиняется ему, и из этого, полагаю, можно заключить, что это лицо — один из обещанных доблестных мужей, к которым должен возгораться любовью читатель. И посмотрите, сколько приемов употреблено поэтом, чтоб осветить своего любимца приличным светом! Разумно практический и нравственно здоровый, выведенный на поучение публики, Костанжогло, по словам автора, не обдумывает своих мыслей заблаговременно сибаритским образом у огня перед камином: они у него родятся на месте, и где приходят в голову, там же и превращаются в дело, но прежде чем открывается вся его практическая мудрость Чичикову, а вместе с тем и читателю, ради научения, показывается с своими хозяйственными распоряжениями карикатура — Кошкарев. Костанжогло говорит о нем таким образом:

«Кошкарев утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражается карикатурно и виднее глупость всех этих умников, которые, не узнавши прежде своего, забирают дурь из чужи: завели и конторы, и школы, и черт знает, чего не завели эти умники. Поправились было после француза, так вот теперь все давай расстраивать сызнова» (стр. 117 второй части «Мертвых душ»).

С этой целью, он, вероятно, введен и в роман; а чтоб придать ему хоть сколько-нибудь человеческую форму, автор называет его сумасшедшим. Лицо это совершенно не удалось, и в создании его вы решительно не узнаете не только юмориста, но даже сатирика, даже пасквилиста, и оно мне собой очень напоминает изображения Европы, Азии, Африки, Америки в виде мифологических

женщин. Азия, например, с черными волосами, с огненными глазами и с кинжалом в руке, а Европа белокурая и сидит с книгой в руке и с циркулем. Но возвратимся опять к Костанжогло. Самое осязательное доказательство его практической мудрости составляют богатства, которые плывут ему в руки. Система же хозяйственная его состоит в том, что он заводит фабрики только для того, чего у него есть избытки и есть в окрестности потребители. По его мнению, в хозяйстве всякая дрянь дает доход; таким образом, рыбью шелуху сбрасывали на его берег в продолжение шести лет, и он начал из нее варить клей, до сорока тысяч и взял, и, кроме того, он занялся этим потому, что набрело много работников, которые умерли бы без этого с голоду.

«Думают (рассуждает он потом), как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там его дело! Ведь как теперь, в это время, весь свет поглупел, так вы не можете себе представить, что пишут теперь эти щелкоперы! Вот что стали говорить: крестьянин ведет уж очень простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянья! Сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болезней, черт знает, каких понабрались. И уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив, как пузырь. Так хотят теперь и этих заразить. Да слава богу, что у нас осталось хоть одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями. За это мы просто должны благодарить бога. Да хлебопашец у нас всех почтеннее, что вы его трогаете? Дай бог, чтоб все были, как хлебопашец.

«— Так вы полагаете, что хлебопашеством доходливей заниматься? — спросил Чичиков.

«— Законнее, а не то что доходнее. Возделывай землю в поте лица своего, сказано. Тут нечего мудрить. Это уж опытом веков доказано, что в земледельческом звании человек нравственней, чище, благородней, выше. Не говорю, не заниматься другим, но чтоб в основании легло хлебопашество — вот что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законные фабрики того, что нужно здесь, под рукой человеку, на месте, а не эти всякие потребности, расслабившие теперешних людей. Не эти фабрики, что потом для поддержки их, для сбыту употребляют

все гнусные меры, развращают, растлевают несчастный народ. Да вот же не заведу у себя, как ты там ни говори в их пользу, никаких этих внушающих высшие потребности, производств: ни табаку, ни сахару, хоть бы потерял миллион. Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки. Пусть я буду перед богом прав... Я двадцать лет живу с народом; я знаю, какие от этого последствия.

«— Для меня изумительнее всего, как при благоразумном управлении, из остатков, из обрезков, из всякой дряни можно получить доход,— сказал Чичиков.

«— Гм! Политические экономы! — говорит Костанжогло, не слушая его, с выражением желчного сарказма в лице.— Хороши политические экономы! Дурак на дураке сидит и дураком погоняет. Дальше своего глупого носа не видит осел, а еще взлезет на кафедру, наденет очки... Дурачье...— И в гневе он плюнул» (стр. 120 и 121 второй части «Мертвых душ»).

Оправдывая себя против общественного мнения, что будто он сквалыга и скупец первой степени, Костанжогло говорит:

«Это все оттого, что не задаю обедов, да не даю им взаймы денег. Обедов я потому не даю, что это бы меня тяготило. Я к этому не привык, а приезжай ко мне есть то, что я ем,— милости просим. Не даю денег взаймы, это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся, да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься моими деньгами, если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль — я тебе не откажу и не возьму даже процентов» (стр. 124 и 125 второй части «Мертвых душ»).

Сколько во всех этих речах высказано хозяйственных и историческо-нравственных мыслей, а все-таки в Костанжогло вы видите резонера, а не живое лицо, и он решительно, мне кажется, неспособен поселить веру в то, что он хороший человек и дельный хозяин. Припомните, например, Собакевича, и вы сейчас скажете: «Нет, Собакевич кулак, а все-таки, кажется, хозяин проще и лучше, чем Костанжогло»,— и скажете потому, что Собакевич — тип, свободно, творчески беспристрастно созданный автором вследствие личных наблюдений над людьми, а Костанжогло — идея, для выражения которой приисканы в жизни только формы, и приисканы посредством соби-

рания сведений и бесед с сведущими людьми, а не через непосредственное столкновение с жизнью; тогда бы, я уверен, глубоко проницательный взгляд художника проник дело глубже. Скажу еще более откровенно: вглядываясь внимательно в живые стороны Костанжогло, насколько их автор дал ему, сейчас видно в нем какого-нибудь, должно быть, греческого выходца, который, еще служа в полку и нося эполеты, начинал, при всяком удобном случае, обзаводиться выгодным хозяйством, а в настоящее время уже монополист и *загребистая,* как прекрасно выразился Чичиков, *лапа,* которому и следовало предоставить опытный, практический ум, оборотливость, твердость характера и ко всему этому приличную сухость сердца. Поэтический взгляд Костанжогло на хозяйство, его доброе дело в отношении к Чичикову, которому он, не зная, кто он и что он за человек, дает десять тысяч взаймы под расписку,— все это звучит таким фальшем, что даже грустно говорить об этом подробно...

Обратимся лучше к новому лицу. Верный своей задаче поучать читателя Костанжоглом, автор везет Чичикова к разорившемуся помещику Хлобуеву. Лицо это по выполнению далеко не докончено и решительно не получило еще наружной шлифовки; но по тонкости задачи, по правильности к нему отношений автора равняется, если не превосходит, даже Тентетникова. Вот как автор определяет его:

«На Руси, в городах и столицах, водятся такие мудрецы, которых жизнь необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, а задает обед, и все обедающие говорят, что это последний раз, что завтра же хозяина потащат в тюрьму. Проходит после того 10 лет. Мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и также задает обед, на котором опять все обедают и думают, что это уже в последний раз, и снова все уверены, что завтра же потащат хозяина в тюрьму. Дом Хлобуева в городе представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризах служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день ни крошки хлеба нельзя было отыскать, в другой — хлебосольный прием для всех артистов и художников и великодушная подача всем. Бывали подчас такие тяжелые времена, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился; но его спасало ре-

лигиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнию. В эти горькие минуты читал он жития страдальцев и тружеников, воспитавших дух свой быть превыше несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. Он молился, и странное дело! Почти всегда приходила к нему откуда-нибудь неожиданная помощь, или кто-нибудь из старых друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги, *или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушием женского сердца присылала ему богатую подачу,* или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слыхал. Благоговейно признавал он тогда необъятное милосердие провидения, служил благодарственный молебен и вновь начинал беспутную жизнь свою» (стр. 158 и 159 второй части «Мертвых душ»).

Несмотря на это странное соединение доброго сердца, светлого, сознательного ума с распущенностью, пустой в высшей степени жизни с религиозностью, Хлобуев составляет органически цельное, поразительно живое лицо. Вы, читатель, вероятно, имеете одного или двух таких знакомых. Никто вас так не сердил, и никого вы не способны так скоро и душевно простить, как этих людей. Никто вам столько не надоедал своими вздорными надеждами и бесполезным, но искренним раскаянием, и в то же время ни с кем вы не желаете так встретиться и побеседовать, как с ними.

Окончание четвертой главы и пятая глава не могут подлежать никакому суду, потому что это скорее конспекты, и те с пропусками, по которым, впрочем, ясно видно, как много живых струн предначертал себе великий юморист тронуть из русской жизни, и нам, читателям, остается только скорбно сожалеть о том, что он не довершил своих предначертаний, или, как говорят, и довершил, но уничтожил свой труд. В критическом же отношении из всех набросанных силуэтов нельзя не заметить откупщика Муразова. Не произнося над этим лицом приговора, по его неоконченности, нельзя не заметить в нем, как и в Костанжогло, идеала и вместе с тем решительного преобладания идеи над формой.

Такова, по нашему крайнему разумению, столь долго ожидаемая вторая часть «Мертвых душ» с ее громадны-

ми достоинствами и недостатками. Трудясь над ней, Гоголь, говорят, читал ее некоторым лицам — и не знаю, раздался ли между ними хоть один раз такой искренний голос, который бы сказал ему: «Ты писал не грязные побасенки, но вывел и растолковал глубокое значение народного смеха. Ты великий, по твоей натуре, юморист, но не лирик, и весь твой лиризм поглощается юмором твоим, как поглощается ручеек далеко, бойко и широко несущейся рекою. Ты не безнравственный писатель, потому что, выводя и осмеивая черную сторону жизни, возбуждаешь в читателе совесть. Неужели по твоей чуткости к пороку, к смешному, ты не раскрываешь добра собственной души гораздо нагляднее какого-нибудь поэта, кокетствующего перед публикой поэтическим чувством? Смотри: одновременно с тобой действуют на умы два родственные тебе по таланту писателя — Диккенс и Теккерей. Один успокоивает себя и читателя на сладеньких, в английском духе, героинях, другой хоть, может быть, и не столь глубокий сердцеведец, но зато он всюду беспристрастно и отрицательно господствует над своими лицами и постоянно верен своему таланту. Скажи, кто из них лучше совершает свое дело?» Не знаю, повторяю еще раз, пришел ли к нему на помощь хоть раз подобный голос, но сам поэт, не в одно и то же, конечно, время, понимал это и сознавал ясно.

«Нет (говорит он, определяя значение смеха и уясняя нравственное его значение), смех значительней и глубже, чем думают: он углубляет предмет, заставляет выступать ярко то, что проскользнуло бы; без проницающей силы его мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека. Несправедливы те, которые говорят, будто смех возмущает. Возмущает только то, что мрачно, а смех светел. Многое бы возмутило человека, быв представлено в наготе своей; но, озаренное силою смеха, несет оно уже примирение в душу. Несправедливо говорят, что смех не действует на тех, противу которых устремлен, и что плут первый посмеется над плутом, выведенным на сцене; плут-потомок посмеется, но плут-современник не в силах посмеяться. Насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете. Засмеяться добрым, светлым смехом может только одна глубоко добрая душа. Но не слышат могучей силы такого смеха: что смешно, то низко, говорит свет; только тому, что произносится суровым, напря-

женным голосом, тому только дают название высокого» (стр. 587 «Театрального Разъезда» в Сочинениях Гоголя. Изд. 1842).

Какое истинное и глубокое эстетическое положение, которое юморист высказывает в период своего нормального творчества! И теперь посмотрите, как болезненно начинает он, под гнетом неисполнимой задачи, вторую часть «Мертвых душ».

«Зачем же изображать бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже таковы свойства сочинителя, и заболев собственным несовершенством, он уже не может изображать ничего другого, как только бедность да бедность, да несовершенства нашей жизни».

Не может, повторяю и я вместе с этими искренними строками, но только по другой причине. Идеал Гоголя был слишком высок; воплотить его всецельно было, мне кажется, делом неисполнимой задачи для искусства.

Во всей моей статье, не касаясь великого писателя, как человека, что предоставляю будущим его биографам, я смотрел на него как на художника, и надеюсь, что меня не упрекнут в несколько ранновременной, может быть, откровенности: чем предмет ближе к сердцу, тем скорее и откровеннее хочется говорить о нем, и сверх того я высказал не свои почти мысли, а те, которые живут и вращаются между большей части искренних почитателей его таланта. Желаю по преимуществу одного: чтоб статья моя вызвала ряд других статей, которые пополнили бы то, что мною недосказано, расширили бы высказанный мною взгляд или даже совершенно отринули его, как односторонний, и заменили бы его другим, более общим и верным. Наконец, в заключение, могу пожелать всем вам, писателям настоящего времени, призванным проводить животворное начало Гоголя или внести в литературу свое новое,— одного: чтоб, имея в виду ошибки великого мастера, каждый шел по избранному пути, не насилуя себя, а оставаясь к себе строгим в эстетическом отношении, говорил, сообразуясь с средствами своего таланта, публике *правду*.

1855 года.
Июля 27-го

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

(Роман г. Авдеева)

Роман г. Авдеева состоит из двух частей и имеет то удобство, что рассказывается двумя словами. Эти два слова — «Полинька Сакс»: удобство немаловажное для библиографов и чрезвычайно важное для авторов, пишущих со второй руки. Существенные изменения, которые г. Авдеев сделал в Полиньке Сакс и которые он отчасти позаимствовал из «Кто виноват», отчасти выдумал сам, состоят в том, что Полинька Сакс (у г. Авдеева Наташа Соковлина), во-первых, выходит замуж, по ее мнению, за очень достойного человека, не только без наивного, детского равнодушия к этому человеку, как было и следовало быть с настоящей Полинькой, а по чувству глубокой привязанности к нему, вследствие сознательного уважения к его лицу и характеру и по ее собственному выбору; во-вторых, она потом влюбляется не вследствие простого, непосредственного увлечения, как опять-таки было с ребяческой Полинькой, а по сознанию умственного превосходства над ее мужем его соперника (см. «Кто виноват»), влюбляется, стало быть, не в блестящего титулованного юношу, самою судьбою предназначенного для легких побед над неопытными сердцами, а, так сказать, в героя мысли, в пародию на Бельтова (переделанного и переименованного в Комлева),— и оставляет для этой пародии не только мужа, но вдобавок еще и сына; в-третьих, за эту пародию она замуж не выходит, потому что пародия, как и следует ожидать от лица такого звания, не берет ее, говорит, что *так* гораздо лучше; в-четвертых, погулявши по белому свету с новым избранником сердца, новая Полинька Сакс, подобно своему первообразу, догадывается, что это только так, а что настоящая, прочная и беспредельная привязанность в ней остается все-таки к мужу; тем не менее, даже и при этой догадке, и уже наперекор своему первообразу, она не чувствует над собой никакой катастрофы, получает от поругавшегося над нею человека уверение в истинном почтении и возвращается под кровлю мужнего дома; кукольный муж, в свою очередь, величайшим трагизмом своего положения почитает одиночество и потому принимает ее в свои объятия с таким блаженным чувством, какого он не испытывал даже в то время, когда она не знала никаких посторонних объятий. К числу измене-

ний следует, кроме этого, отнести и то, что роман свой г. Авдеев рассказал своими собственными словами, не позаимствовавшись ни у кого ни одною фразою, и рассказал притом словами столь отборными, какими по преимуществу рассказываются только умные вещи.

— Да где же тут подражание или заимствования? — скажут нам.— Это совершенно новая и оригинальная вещь. Брачные и любовные отношения составляют одну из величайших социальных задач не только нашего времени, но и времен прошедших и будущих. Что же удивительного, если бы г. Авдеев, желая быть писателем своего времени, в выборе своего сюжета встретился не с двумя только, а с целою сотнею писателей? Изумительного тут было бы одно, что между изящными литераторами, людьми большею частию консервативными, так много вдруг явилось таких, которые отзываются на голос времени. Г-н Авдеев отнесся притом к этой значительной задаче совершенно по-своему, иначе, чем оба предшествовавшие ему писатели, из которых один остановился пред нею, как перед китайскою стеною, не предложивши никакого решения, а другой порешил ее по китайскому кодексу десяти тысяч церемоний — законным расторжением законного брака и столь же законным вступлением в другой законный брак. В мыслительной способности г. Авдеева совершился процесс такого рода: если любовь — чувство непроизвольное, столь же мало зависящее от нашей воли, как, например, ощущение голода, и если она — в высочайшей мере чувство законное, вследствие этой самой непроизвольности, то никакая санкция этого чувства не должна представлять для него никаких затруднений. Признавать за этой санкцией какие-нибудь обязанности и основывать на ней какие-нибудь требования так же неразумно, как желать, например, теплого снега или холодного огня; а не признавать за ней никаких обязанностей и стеснять себя ее условной важностью — значит поступить нисколько не благоразумнее, чем поступают раскольники, известные под именем хлыстовцев, которые бичуют собственными руками свое тело для спасения будто бы души своей. Этим смелым выводом (продолжает наш воображаемый возражатель) г. Авдеев, может быть, комунибудь и обязан, только уж никак не тем произведениям, в подражании которым его обвиняют. Да и что значит самое это слово *подражание?* Последующий писатель есть

законный наследник умственного капитала всех своих предшественников, наследник на том же самом праве, по которому он говорит на своем природном языке и, не беспокоясь об изобретении новых букв, пользуется употребительной в его отечестве азбукой. К положению г. Авдеева, и вообще к положению всякого передового писателя, в значительной степени применяется то, что один из сильнейших мыслителей нашего времени высказал в защиту любимого им Виргилия, чуть не две тысячи лет обвиняемого в подражании будто бы Гомеру. «Я краснею,— говорит этот гениальный мыслитель,— я закрываю лицо свое, когда мне говорят о воровстве или подражаниях Виргилия: так стыдно бывает мне за новейшую критику. Наши аристархи, потерявши из виду цель «Энеиды», ни слова не понимая в ее историческом смысле, в ее социальной необходимости, в ее политическом и религиозном значении, воображают, будто эти десять тысяч стихов не более, как упражнение в версификации. Они открыли, что расположение первых четырех песен отзывается явным подражанием соответствующим песням Одиссеи; то же самое замечают они относительно описания игр и Энеева щита в пятой песне; они отыскали пропасть сравнений, стихов и полустиший, будто целиком переведенных из «Илиады». Одним словом, они приняли за сущность поэмы то, что, собственно, *я* называю техникой; и так как они ничего не смыслят далее этой техники, то и произнесли с свойственною им докторальностью, что Виргилий создал не более, как подражательное произведение, что пальма изобретения и оригинальности принадлежит певцу Ахиллеса. Они не понимают, какой незаслуженной обидой подобный упрек считал для себя Виргилий, сказавший по этому поводу, что ему гораздо легче было бы украсть у Геркулеса его палицу, чем хоть один стих у Гомера. Странно, что Виргилия, к довершению всего, до сих пор еще не обвинили за то, что он писал тем же гекзаметром, сочетанием долгих и коротких слогов... Я, с своей стороны, между двумя великими поэтами вижу другое отношение; я нахожу, что они настолько отличаются один от другого, насколько могут лишь отличаться два столетия, разделенные промежутком тысячи лет. Нужно быть слепым, чтобы не заметить этого, и нужно быть помешанным, чтобы смешивать такие вещи. Для убеждения в этом достаточно одной сколько-нибудь существенной па-

раллели. Такую параллель я нахожу между Андромахой и Бризеидой Гомера и между Лавинией и Дидоной Виргилия. Нет ничего ни более прекрасного, ни более трогательного, ни более исполненного поэзии, как прощание Гектора и Андромахи. Я желал бы моим красноречивым удивлением хоть что-нибудь прибавить к столь справедливо заслуженному удивлению тридцати столетий. Что мог сделать Виргилий лучшего? Ничего. Идеальнейшая сторона человеческой жизни, какую представляет собою законная супружеская любовь, безраздельно принадлежит Гомеру: в этом отношении после него ничего нельзя сделать. Разлука Бризеиды тоже довольно трогательна; но так как ее положение, хотя и допускаемое греческими правами, гораздо ниже и щекотливее, то этот эпизод решительно не выдерживает никакого сравнения с первым. Общий тон «Илиады» возвышается или понижается сообразно естественной красоте вещей: это закон греческого поэта. Все нечистое, необлагороженное, безобразное или возбуждает в нем насмешку, или отталкивает его.— Но цивилизация шла вперед; нужно было идти за нею.— Что делает Виргилий? Он овладевает именно этим низшим, щекотливым положением Бризеиды, этою терпимою, но не узаконенною любовию, овладевает не для того, чтобы поднять ее до высоты и торжественности брака (новый поэт не преминул бы это сделать), не для того, чтобы превознести конкубинат на счет законного сожительства; — нет, но для того, чтобы, воспользовавшись всем, что только страсть и угрызения представляют самого трогательного, трагичного и вместе идеального, показать через это огромную бездну, которая разделяет достославную светлость супруги от наслаждений подспудной любви. Виргилий как бы скрадывает свою Лавинию, эту трижды непорочную супругу; он выводит на сцену любовницу одного дня, которую боги признали недостойной супружества. Если Дидона плачет и сокрушается, обвиняя сама себя, то она плачет и сокрушается не о своих погибших наслаждениях, как какая-нибудь любовница Абеляр-да; она горюет о невозможности брака, о котором смела мечтать в своем безумии; она убивается per optatos hymenoeos,— о вожделенном супружестве. Какое нам дело до того, что Дидона напоминает Бризеиду, что даже самую любовь Энея и Дидоны первый воспел какой-то Аполлоний Родосский? Мы видим новые общественные комбина-

ции, новые идеи, новые представления, вдохновенную, пророческую дерзость, которая любит останавливаться именно на том, пред чем греческий поэт отступал из страха иль по брюзгливости... Следуя народной легенде, Орфей, Геркулес, Тезей и Пиритой, один за другим, отправлялись в ад — кто для возвращения своей милой, кто для освобождения друга. Гомер знал эти басни и не воспользовался ими: он не сводил в ад ни одного из своих героев. Улисс в Одиссее вызывает души умерших на краю рва, в который он влил жертвенной крови, но проникнуть в самое царство мертвецов он не отваживается. Творец латинской эпопеи не останавливается перед этими ужасами: он ставит своего героя в непосредственное общение с другим миром, и он даже чувствует, что это одно из самых обязательных условий его поэмы».— Вот какого мнения гениальный критик о так называемых заимствованиях или подражании, продолжает нам может быть на самом деле существующий антагонист. Г-н Авдеев, конечно, не Виргилий, но никто не может спорить, что по отношению к своим предшественникам у него тоже достало смелости войти в самый ад, меж тем как они останавливались только у его входа. *Кто виноват?* — спрашивает один из этих предшественников, да так и оставляет этот *будто бы* трудный вопрос без всякого решения. Г-н Авдеев, как человек рассудительный, напал на мысль, что ларчик открывается просто; он так непосредственно относится к своему предмету, что трудный вопрос отстраняется сам собою, даже не получает возможности возникнуть. И какой простой прием употребляет для этого автор «Подводного камня»! Он просто рассказывает нормальное поведение своих персонажей, действующих по таким же неотвратимым законам судьбы и природы, по каким солнечная сторона Невского проспекта привлекает вечерних посетителей и посетительниц, а магнит притягивает железо.

Что сказать против такой апологии? Высказанные здесь мысли действительно принадлежат гениальному критику, и г. Авдеев, по сравнению с своими литературными предшественниками, на самом деле осмелился войти в самый ад. Этого мало, в самом аду он открывает новый круг, который не был известен ни римскому маэстро, ни его итальянскому последователю. Со времени этих отдаленных от нас писателей цивилизация тоже не стояла, как не стояла до них; нужно было также идти за нею,— и Ди-

дона г. Авдеева уже не знает никаких угрызений; касательно optatos hymenoeos она самым крайним образом расходится во вкусах с карфагенской царицей. При таком положении дела оспаривать во что бы то ни стало всякую самостоятельную изобретательность у г. Авдеева было бы неделикатно; но в то же время все-таки было бы несправедливо не заметить, что, ощутивши в себе смелость сойти в ад, г. Авдеев вплоть до самого входа в него держался за чужие фалды. Это до такой степени не подлежит сомнению, что если бы он свою героиню заставил остаться верной своему долгу жены и матери, сделав из этого обстоятельства для нее трагическое положение, или окончил свой роман бракоразводным делом, то его ни один журнал не решился бы напечатать, как вещь, и в том и в другом случае однажды уже напечатанную, никем из читающих еще не позабытую и многими доселе любимую. Брать чужие вымыслы, чтобы производить над ними новые комбинации, брать положения, придуманные другими, чтобы упражняться над ними в стилистике,— это гораздо более, чем техника: это просто чужой ум, чужое воображение. Через это мы вовсе не хотим сказать, чтобы вымыслы чужого ума и создания, чужого воображения не составляли нашего законного наследства; мы хотим сказать только, что они не составляют ничьего исключительного наследства и что роман г. Авдеева, состоящий из двух частей, за отчислением из него последней половины второй части, в остальных трех четвертях составляет такую же собственность г. Авдеева, как и пишущего эти строки и читающего их. Таким образом, г. Авдееву,— как автору, а не читателю своего романа,—принадлежит, собственно, адская экскурсия. На ней-то именно мы и намерены по этой причине остановиться.

Экскурсия начинается с того, что герой Комлев, *будто бы* влюбленный в Наташу, на предложение ее мужа устроить дело посредством развода и предоставления ей свободы располагать собою отвечает, что это было бы напрасно. «Я не женюсь на ней»,— говорит он. Читатель, конечно, знает, что Комлев лично — человек свободный, не зависящий ни от чьей посторонней воли, ни от какого обязательства, ни от какой клятвы перед другою женщиною; ему даже ни одна цыганка не предсказывала, что женитьба принесет ему несчастие; имущественно он человек обеспеченный, да Наташа ничего и не потребовала бы от

него благодаря тому обстоятельству, что у нее «наследственное есть»; стало быть, внешних препятствий к достижению того, что называют счастливой любовью, для Комлева не существует; влюблен он, если верить г. Авдееву, до всякого безумия, до разбития лба об стену. «Я не могу ждать долее; я разобью себе голову»,— пишет он Наташе. И при всем этом он все-таки наотрез отказывается сделать свое и ее счастье, если бы счастье это обусловливалось женитьбой. Что за страшное дело — эта женитьба и что, собственно, в ней есть такого в сравнении с чем разбитие лба было бы желательною вещью? Для обыкновенной рассудительности тут представляется колоссальная путаница. Желать так сильно, чтобы не бояться потери жизни, и добиваться так слабо, чтобы бояться женитьбы — значит все то же, что бежать, сломя голову, медленным шагом. Разбитие лба имеет прямым своим последствием, без сомнения, самое громадное зло, какое только есть, было и будет известно на обитаемой нами планете; обладание любимой женщиной составляет одно из величайших благ нашего существования. Нужно иметь особенную шишку на голове, чтобы из этих двух вещей не отвергнуть ту, которая так отвратительна. И однако ж Комлев выбирает именно отвратительную, как будто у него действительно есть такая шишка: блаженство разбития лба он предпочитает обладанию своей Наташей посредством женитьбы. Что же такое в этой женитьбе, чтобы для избежания счастия, достижимого при ее посредстве, стоило убивать себя? А крайний результат логики Комлева действительно должен бы быть таков, если бы на месте Соковлина был настоящий человек, а не одно только описание смутного подобия его. Предубеждения могут быть разные; можно быть предубежденным против женитьбы, можно быть предубежденным и в обратном смысле: но желать соединения с любимой женщиной именно тем способом, которым мы предубеждены, а в противном случае разбивать себе голову просто нечеловечески глупо, даже в романе. Так точно выходит это и у г. Авдеева. Доказать это мы в некоторой мере предоставим самому г. Авдееву в следующей сцене между двумя подобиями людей: мужа и соискателя его места; это самая важная страница во всем романе; в ней вся теория романа, стало быть, и ключ к объяснению могучего предубеждения Комлева. Сцену эту читатель, может быть, и без того помнит, да ведь, вероятно, не наизусть?

Жена мне сказала,— начал Соковлин тихо и медленно,— что вы любите друг друга... Вы можете из этого заключить, что она не принадлежит к тем женщинам, которые любят и мужа и любовника, или терпят одного при другом. Я не стесняю ни ее чувства, ни действий — но ее положение мне близко, и я приехал спросить вас, что вы теперь намерены делать?

И Соковлин прямо глядел в лицо Комлева.

За Комлевым была очередь смутиться.

— Когда любишь,— отвечал он, пожав плечами,— то не задаешь себе вопросов и целей: *любовь сама по себе цель*. Впрочем, если бы я имел какие-нибудь предположения, то должен сообщить их Наталье Дмитриевне и сообразоваться с ее желаниями, а я на это не имел ни времени, ни случая...

— Я полагал,— продолжал Соковлин тем же тоном, когда тот кончил,— что вы не принадлежите к тем... очень юным или всегда юным господам, которые смотрят легко на подобного рода вещи, или просто никак не смотрят на них... Я думал, что прежде, нежели разрушать семейное счастье, или если вы не допускали его, то по крайней мере прочное общественное положение любимой женщины — вы подумали, чем можете ей заменить его.

— Как же вы хотите,— мягко возразил Комлев,— чтоб я распоряжался судьбой замужней женщины, не спросив ни ее намерений, не зная, наконец, ваших, от которых она более зависит, чем от меня.

— Хорошо-с! — сказал Соковлин.— Я вам скажу мои намерения. Чтобы ничем не стеснять Наталью Дмитриевну, я буду хлопотать о разводе с ней. Когда получу его, вы на ней можете жениться. Так-с? — спросил Соковлин.

Комлев с минуту подумал.

— Я на ней не женюсь! — твердо сказал он.

— Это отчего? — быстро вставая, спросил Соковлин, и вся кровь бросилась ему в голову.— Вы, значит, не уважаете ее?

— Напротив! Я никому не уступлю в уважении к ней, но тем не менее не женюсь,— тоже вставая и заложив руку за борт сюртука, сказал Комлев.

Соковлин вопросительно посмотрел ему в глаза.

— Не женюсь потому,— спокойно продолжал Комлев,— что женитьба и любовь, по-моему, две вещи разные. У меня есть свои убеждения о браке, и они вам известны. Я жениться не располагал и теперь не вижу причин изменять свои намерения.

Соковлин попытался было возразить против этого и заговорил было совершенно дельно. «Вы находите,— сказал он,— что гораздо удобнее любить чужую жену, не принимая на себя никаких обязательств? А муж между тем прикрывает бесчестье. Флаг прикрывает товар?» Но это ненадолго; Комлев забросал его фразами; потому что г-ну Авдееву решительно не стоило никакого труда вложить в уста Комлева такие слова, которые будто бы выходят побойчее. Но так можно распоряжаться только с описаниями людей, а не с самыми людьми. Надобно согла-

ситься, что диалектика Комлева и к здравому смыслу и к великости того интереса, о котором идет дело для Соковлина, относится одинаковым образом: чрезвычайно бессильно. Настоящий человек на месте Соковлина мог бы вести себя более победоносно; он заставил бы выдержать Комлева, положим, хоть такую беседу: — Г-н Комлев, я приехал говорить с вами о деле, которое для меня действительно *все,* и не только для меня, но и для той женщины, которую вы *будто* любите; к этому, как вам известно, у нас есть еще сын; а вы хотите танцевать передо мной на фразах: это с вашей стороны и нехорошо и нечестно. Вы говорите, что любовь сама по себе цель. Мы знали до сих пор философию для философии, искусство для искусства; вы исповедуете *любовь для любви;* это фраза и притом одна из самых бессмысленных. Да об этаких пустяках мне и рассуждать с вами не приходится. Любовь и женитьба, по-вашему, две вещи различные, то есть что же это значит? Жениться там, где не любишь, а где любишь, там не жениться? Это все равно, что садиться за стол, когда сыт по горло, и избегать стола, когда голоден. Я, разумеется, хлопочу не об вас, но жена моя мне открылась, что она меня более не любит, а жить с ней без любви, par force[1], было бы дико, по-турецки. Собственно, по вашей теории, мне тут бы и следовало держаться супружеской жизни; ведь, по-вашему, в этом-то вся и задача, чтобы женитьба была без любви; но вы должны согласиться, что вот теперешняя комбинация наших взаимных отношений делает ваши рассуждения в высочайшей степени нелепыми. Внутренние отношения между мною и моею женою порваны, по крайней мере с ее стороны; цепляться за выгодные для меня внешние условия, чтобы удержать ее, я считаю и безвыгодным для себя и беззаконным перед высшею нравственностью; а вы, напротив, все значение и придаете одной только внешности. Г-н Авдеев заставляет вас, по-видимому, действовать по внутренним побуждениям, имеющим будто бы некоторую глубину и основательность; но это неправда: вы стоите чисто за внешность; желая ратовать против китаизма, вы, по милости г. Авдеева, являетесь именно китайцем, и притом в превосходной степени, можно сказать, китайским бонзою. Вы меня извините, но я должен вам сказать, что г. Авдеев и в других отношениях нас обоих дурачит. О себе я распространяться не буду,

[1] насильно, *(франц.)*

неприлично; но, собственно, вас он хочет представить человеком сильного организма и нормального человеческого поведения; вы отчасти даже сами поддаетесь этой лести, потому что дым ее сладок: а между тем на посторонний глаз вы не только не сильный организм, а почти что и не мужчина; ваше поведение не только не нормально, но и прямо противоположно таковому. Нормальное поведение влюбленных, в особенности если это действительно сильные организмы, состоит в непосредственной безрассудной, то есть неуправляемой размышлением, готовности на всякое сумасбродство. Вы тоже сумасбродствуете; но вы помешаны не собственно на любви, а на какой-то жалкой теорийке о любви, на каких-то жалких подразделениях ее на женатую и холостую, на чем-то таком, чему здравый смысл не может придумать приличного названия. Вы вчера писали жене моей, что разобьете себе голову; теперь, любя в жене моей мать моего сына и уважая ее законную склонность к вам, я говорю вам, что этого не нужно, а вы мне отвечаете: не женюсь. Я должен надеяться, что вы откажетесь от своего предубеждения, основанного, в свою очередь, на величайшем предрассудке.

— И не женюсь,— должен отвечать Комлев.— Я сказал вам, что у меня есть свои убеждения о браке: я не отступаю от них.

— Свои убеждения? Послушайте, г. Комлев,— продолжал бы настоящий Соковлин,— я знаю, что вы не любите запаха ростного ладану, и вы совершенно вправе добиваться, чтобы им около вас не пахло. Предубеждения могут быть и против запахов; я, например, очень люблю всякий смолистый запах и терпеть не могу мускуса, который вы употребляете. Теперь вообразите, что проездом в какой-нибудь саратовской или оренбургской степи вы сбились с дороги и замерзаете; представьте потом, что в этом неудобном положении вы вдруг нападаете на хутор, состоящий из одной избы, в которой только что отслужили молебен и, стало быть, накурили ладаном. Я позволяю себе говорить с вами таким образом, во-первых, потому, что я слушал же вашу теорию, во-вторых, потому, что ваш предрассудок касательно женитьбы на самом деле нисколько не считаю значительнее вашего предубеждения против ростного ладану: оба эти предрассудка могут иметь условную уважительность, даже в глазах других, по отношению к вашим вкусам, и оба они могут быть также бессмыслен-

ны и ничтожны, смотря по тому, как вы прихотничаете и дурачитесь: в пределах рассудительности или с потерею всякого благоразумия. Обращаюсь к приведенному случаю: неужели для избежания неприятного для вас запаха вы решились бы замерзнуть?

— Да, я решился бы,— должен сказать Комлев,— если хочет остаться тверд в своей решимости,— не жениться.

— Так, наконец, вот что: мне просто завидно, что вы *так* легко хотите получить счастье, что не решаетесь для него отказаться от самого ничтожного предрассудка. Со мною делается наоборот. Я говорю это с нестерпимым страданием, и говорю не для того, разумеется, чтобы вас тронуть, и, будь вы человек сколько-нибудь рассудительный, я бы вовсе не говорил этого. Со мною делается наоборот. Я лишаюсь моего счастья, и вы заставляете меня сделать усилие над моим предрассудком, что жене моей неудобно — жить с вами и продолжать носить мое имя, и что матери моего сына даже вовсе неудобно быть вашей любовницей. Будемте бороться с предрассудками: ваш — личная ваша прихоть; мой — общественное мнение. Ваше орудие борьбы состоит в застращивании жены моей, что вы размозжите себе лоб; мое — в том, что жене моей просто нельзя без моего согласия оставить моего дома... ну, хоть в полицейском отношении. Неужели вы в самом деле разобьете голову?

— Разобью! — должен проскрежетать Комлев.

— Ну, такая вам и дорога. Только знайте, что вы с этого времени во мнении жены моей — человек падший: вы дали мне полнейшую возможность доказать ей не только, что вы ее не любите, но что вы и не в своем уме.

Известно, что Соковлин не воспользовался своим выгодным положением. Он не попытался доказывать жене своей ни того, что Комлев гораздо более обожает свое самодурство, чем ее, ни того, что он совсем бы принадлежал к числу полупомешанных, если бы его не спасала приличная наружность. Одного усилия, одного речистого слова достаточно было Соковлину, чтобы убедить в этом свою Наташу: она вспомнила бы при этом первое объяснение Комлева: «Что же? Довольно терпеть и молчать!» Вспомнила бы его лаконическое «буду ждать», и более чем вероятно, что взгляд своего мужа она приняла бы за самый близкий к правде, а любовь свою — за простое кипение крови, за избыток сил. Но Соковлин ничего не сделал

для достижения такого результата. Вместо всякой попытки на борьбу с своим соперником и очень вероятного поражения его в сердце Наташи он ведет себя... впрочем, он никак не ведет себя, а разговаривает с своей Наташей таким образом:

— Ну, я был у него,— сказал он тихо, как будто *отдавая ей отчет в поручении.*— Я говорил ему, что готов выхлопотать развод, чтоб он мог жениться на тебе... но... он не согласился.

Соковлин робко взглянул на Наташу.

Она вся вспыхнула.

— Я это говорю не для того,— торопливо заговорил опять Соковлин,— чтобы осуждать его. Нет! *Он имеет на это свои причины; он тебе скажет их*

— Я сама этого не хочу! — нетерпеливо сказала Наташа, перебивая его.— Довольно и одного обманывать!

— Какой же тут обман? Где же обман? Разве ты обманула меня?.. И проч.

Соковлин опять заговорил вздор, соображаясь с общим маршрутом, составленным г. Авдеевым для своей экскурсии; следует позабыть о нем.

— Сударыня! Вы сами не хотите? Но предложите Комлеву эту меру хоть для узнания степени любви его к вам: вы увидите, что он жалкий комедиант. Вы не хотите и этого; вы в нем уверены, вы предубеждены в его пользу. Нам остается только проникнуться удивлением к вашему характеру, жалеть о том, что любовь ваша простирается на такого человека, как Комлев, и желать того, чтоб вы были вероятны. Вы не то что Комлев, которым, в сущности, ничего не доказывается, так как подобные господа во имя своих идеек скорее имеют кровожадную наклонность попользоваться чем-нибудь около других, чем потерять свое. Ваше «не хочу!» имеет торжественность жертвоприношения, оно равняется призыву на великий подвиг. Вы собственным примером хотите показать, что и там можно носить гордо свою голову, где другие создания вашего пола обыкновенно поникают. Вы сознаете, что тайное падение есть последствие грубой силы, остаток варварских времен, и вы не унижаетесь до него: вы хотите возвести его на степень нормального поступка. Словом, вы с вашим героическим «не хочу» храбры, возвышенны; но, сударыня, вы невероятны, вы выдуманы, вы скопированы, и мы имеем причины опасаться, что из вашего поведения выйдет пародия на возвышенное дело, а не самое дело. Вы не приготовлены к подвигу: нам известно ваше воспитание и то, как вы росли, как вышли замуж и как жили замужем

целые шесть лет, мы знаем наперечет все лица, с которыми вы сближались, и все разговоры, которые вы слышали, не исключая и споров между вашим супругом и Комлевым; из книг, которые вы читали, самое видное место принадлежит, без сомнения, романам Жорж-Занда; но всего этого еще мало, чтобы вы могли нажить такое смелое убеждение, которое вы обращаете в такое отважное поведение. Сударыня! Не делайте этого решительного шага: вы не совершите подвига, вы только сделаете из себя сатиру на весь ваш пол; г. Авдеев — опасный путеводитель. Посмотрите, как он объясняет ваше возвышенное *не хочу:* «Довольно одного обманывать!» Разве ваша теперешняя любовь предполагает уже другую, последующую, и разве вы сказали бы это, если бы вы любили не по теории *любовь для любви?* Спросите у влюбленных по непосредственному, собственному чувству, а не по указанию какого бы то ни было автора,— так ли они чувствуют. Единодушные показания их будут состоять в том, что одно из неотделимых свойств любви есть уверенность в ее неистощимости и нескончаемости и что любовь измеряет себя вечностью. Это гордо, самонадеянно, помешанно, но это так. Мы сами знаем одного из таких людей, который безу́мствует следующим образом:

И если б я с тобою вечно
Мог говорить и рассуждать,—
Все много, много бесконечно
Мне оставалось бы сказать.

И если б я единым словом
Поэму стройную рождал,
И с этим словарем столь новым
Души я все б не рассказал.

И если б океан с волнами
Свой дивный говор отдал мне,
Все было бы нельзя словами
Мне душу выразить вполне.

И если б вечность доживала
Часы последние свои,
Ты все, ты все бы не узнала
Последних слов моей любви.

Стихи эти кажутся сумасшедшими, но тот, кто безумствует ими, мучится об одном: что они недостаточно выражают силу его чувства. Ваша теория «любовь для любви» имеет тот недостаток, что она отнимает у вашего поступка чистоту и возвышенность, тогда как любовь без

всякой теории могла бы придать ему и ту и другую. Останьтесь при вашем *не хочу,* но не ездите, по крайней мере, за границу: в деле, которое вы защищаете вашим телом и вашим поведением, это чрезвычайно важно; в нем именно только это одно и важно. Поезжайте в Петербург; не употребляйте там никаких усилий скрывать вашу биографию и в особенности ваши настоящие отношения к Комлеву; не называйте себя ни его сестрой, ни дальней или близкой родственницей, а между тем добейтесь уважаемого общественного положения, по крайней мере, держите себя так, чтобы думающие о вас с неуважением и избегающие вашего общества возбуждали отвращение к своим предрассудкам, как возбуждает его всякое варварство, или казались смешными, как это бывает со всяким невежеством. Комлев, без сомнения, будет отговаривать вас: уж такая у него душонка; но вы настойте на своем,— он стоит такого урока,— хорошо вам было бы также проучить его, обнаружив больше чувствительности к вашему сыну и навязав его попечению вашего слишком благоразумно-безрассудного поклонника: поступите таким способом, и мы готовы простить и самому Комлеву его незаслуженное счастие и вас готовы считать поучительной. Но это было бы противно теории. Вы едете за границу, и едете с тем, чтобы возвратиться оттуда все-таки не с Комлевым. Это водилось до вас и будет водиться после вас. Ваш пол от этого ничего не выиграл; количество положительных прав его нисколько не увеличилось. Вами также ничего не доказывается, как не доказывается и Комлевым. Поступая, по-видимому, наперекор предрассудку, вы на самом деле не хотите поднять даже соломинки к действительному разрушению предрассудка. С тех пор, как вы отправляетесь за границу, вы в такой же степени возбуждаете наше любопытство, как «Приключения английского милорда»: не вы первая, не вы последняя. На ваш способ держать себя за границей накинут глубокий покров, но ни для кого не тайна, что и между заграничными людьми вы или вовсе избегаете тесных кружков и сближений, или вы не только сестра, родственница, но и законная супруга Комлева. Встречи с вашими соотечественниками вы непременно избегали; Комлев встречается с ними, но к себе их не водит. Сознанием неудобства вести такую жизнь вы избавляете, наконец, и себя от невозможного героизма гордо носить голову в вашем положении и выручаете г. Авдеева, которому предстоял неподъ-

емный для него труд дать место такому положению в России: вы возвращаетесь в дом вашего невероятного супруга. Что означает промежуток времени, проведенный вами вне этого дома? Ничего; простой, ничем не осмысленный случай. Что означаете, наконец, вы сами: пророчество или сатиру? Ни то, ни другое: для пророчества в вас нет ни вдохновения, ни правды; для сатиры в вас нет... опять-таки ни правды, ни вдохновения.

Замечательно, что роман г. Авдеева читается отлично; составлен он очень складно; рассказан превосходно; действующие в нем лица на первый взгляд люди хорошего общества и образования, и люди, по-видимому, умные; а между тем почти об каждом из отдельных положений можно доказать, что оно нелепо, о людях, что один из них полоумный и деспот, а другой ходит по нитке, будто боясь разбудить сердитого барина; и что объясняются и поступают они до такой степени странно, что можно удивляться, как это они не удивляются взаимным нелепостям. Это ничего, что «Подводный камень» почти всеми прочитан и что он даже почти всем понравился: не читать таких произведений в нашей литературе — значит зарываться; роман г. Авдеева имеет все условия, чтобы быть читаемым; а что касается до того, что он нравится при прочтении, то по этому еще нельзя судить, будет ли он нравиться и спустя некоторое время, в особенности спустя долгое время; «Тамарин» этого самого автора был в свое время тоже очень замечен, что̀, однако, не мешает ему быть очень забытым. Чего недостает этому писателю? Ум, блеск, занимательность — все это у него есть. Он не богат изобретательностию; он даже вовсе не изобретателен; недостаток этого свойства он заменяет начитанностию: зато начитанностию своею он пользуется так искусно, что на первых порах она легко прослывает за оригинальность. Но в этом-то все и дело: ума и начитанности достаточно для того, чтобы написать дельную, *доказательную* статью, а если нравится диалогическая форма, то с ними можно написать, пожалуй, разговор в царстве мертвых; но их мало, чтобы написать *доказательный* роман или другое какое-нибудь произведение одной с ним категории: драму, поэму и даже маленькие стишки, о которых, то есть о стишках, вообще принято думать, будто ими ничего не доказывается, кроме их собственной бесполезности. Произведениям г. Авдеева недостает одного свойства, такого ничтожного, что теперь самое название его употребляется

с большими оговорками: им недостает художественности. Если слово это кому-нибудь не нравится, хотя совершенно напрасно, можно сказать иначе: им недостает доказательности; потому что в произведениях того рода, в котором пишет г. Авдеев, художественность есть доказательность. Недостает ее потому, что, верно, в уме г. Авдеева нет той специальности, которая необходима для того, чтобы доказывать по этому способу. Нашему журналу не один раз вменялось в упрек, на языке довольно жестком, будто он исповедует искусство для искусства, то есть пищу для пищи, гимнастику для гимнастики и проч. Это и прежде было не совсем так, а теперь вовсе не так. Мы наравне со всеми рассудительными людьми признаем, что пища употребляется или для насыщения, если это хлеб или говядина, или для услаждения вкуса, если это сладкие пирожки и конфекты, и что к гимнастике обращаются или для развития сил, пока они еще способны развиваться, или для поддержания их, когда они уже потеряли способность к развитию. В искусстве мы видим один из способов обнаруживать истину и, если угодно, доказывать ее, проводить, распространять,— способ для обнаружения некоторого разряда истин, *единственно* применимый и удобный и для всех других истин, доступных для обнаружения и доказательства посредством него, в высочайшей степени энергичный и верный. Всем известно, а может быть, и не всем, может быть, одним только специалистам известно, что на художественные выставки для получения степени или для достижения других целей нередко доставляются портреты с лиц, неизвестных присяжным ценителям, и что, однако, эти присяжные ценители, если они действительно знатоки, произносят *безошибочный* приговор о сходстве или несходстве портрета с незнакомым им человеком. Не говоря об общем выражении, они могут указывать даже черты, которые отнимают сходство или придают его, и в этом случае имеют возможность так же мало ошибаться в своих соображениях, как, например, члены академии наук в своих суждениях о вероятности или невероятности какого-нибудь явления природы, о котором они получили известие от своего иностранного корреспондента. Что этим доказывается? Доказывается, что этот способ для обнаруживания правды, в своей верности, не уступает точным наукам и что *точность* составляет даже необходимое условие доказательности по этому способу; доказывается также, что слово *художественность* не следует произно-

сить с оговорками, тем более с иронией, и особенно с ядовитой, потому что степень этого-то именно качества в портрете и служит для присяжных ценителей орудием к открытию сходства или несходства между живописью и живым человеком, так как это качество по отношению к произведению искусства есть его логика, здравый смысл, сила доказательств. Когда мы говорим поэтому, что «Подводный камень» г. Авдеева, наряду с другими его произведениями, страдает отсутствием художественности, то мы говорим не какую-нибудь бессмысленную фразу, вроде следующей: «Роман г. Авдеева не удовлетворяет требованиям искусства для искусства», или: «В романе г. Авдеева нет того, чего нам хочется, без чего, конечно, он никому не может нравиться»; мы хотим сказать то же самое, что было бы сказано словами о какой-нибудь журнальной статье: «Статья эта бездоказательна», или: «Статья эта наполнена одними парадоксами», или, наконец: «Статья эта недобросовестна и поверхностна». Вот что нам хочется сказать о романе г. Авдеева, когда мы выражаем свое мнение о недостатке в нем художественности. И действительно, в романе г. Авдеева нет ни убедительности, ни художественной добросовестности, ни глубины и воздержности от парадоксов, выражаемых, разумеется, не словами и фразами, а живыми лицами, их действиями и положениями. Всего этого нет у него потому, что он вовсе не способен доказывать истину в той форме мышления, которую он избрал для себя: он на роман смотрит как на статью и преследует в нем свою утлую теорийку вроде: «любовь для любви», или: «об отношениях несвободных женщин к праздношатающимся хлыщам», а может быть, и какую-нибудь другую: потому что хорошенько понять этого нельзя. С г. Авдеевым случилось то же, что случилось бы с человеком, который бы для доказательства, что дважды два четыре, прибегнул к флейте или к скрипке. Нам хотелось бы указать на какое-нибудь самое осязательное доказательство в подтверждение той мысли, что в «Подводном камне» нет убедительности или художественности (потому что это одно и то же), а в ее авторе — художественной добросовестности, или, лучше, художнической совестливости,— хотелось бы указать так ясно, как обыкновенно указывают на явную несообразность в статье, только мы затрудняемся сделать это без оговорки. Оговорка наша состоит в том, что если нас обвинят, *собственно за это указание,* в педантизме, в рутинизме, узком мо-

рализме или просто в pruderie[1], то поступят несправедливо: побуждения наши другие, они совершенно искренние и основаны на непосредственном впечатлении, а не придуманы при написании этой статейки. Теперь самое указание: нам кажется,— нет, более, мы убеждены, что всякий не совсем, не дотла испорченный человек, сохранивший хоть сколько-нибудь душевной чистоты, в особенности обладающий некоторым художественным тактом, то есть просто порядочностию в образе мыслей, в окончательном результате непременно оскорбляется тем, что г. Авдеев так бесцеремонно распоряжается телом непорочной женщины из единственного побуждения оправдать свою мозговую выдумку. Талантливый писатель, хоть с небольшою искрою того огонька в сердце, который когда-то называли божественным, этого бы не сделал. Оговариваемся еще раз: нам казалось диким, странным, когда подобный упрек делали г. Тургеневу за его Елену, нам показалось бы еще страннее, именно *страннее,* если бы такой упрек был сделан г. Достоевскому за его Наташу, в его новом романе, хотя мы прочитали пока одну только его часть («Униженные и оскорбленные». «Время». Январская книжка),— и мы не только оговариваемся этими примерами, но приводим их именно в доказательство нашего мнения, что тот же самый упрек по отношению к г. Авдееву совершенно справедлив и заслужен. Непорочность — существует, в этом нет никакого сомнения; существует и противоположное ему качество: г. Авдеев эти качества смешивает, смешивает, может быть, потому, что он берется выражать свои мнения в несвойственной ему форме,— в романе, может быть, в романе только и смешивает. Он знает, что бывают случаи убийства, за которые не судят и не ссылают; он слышал, может быть, о том судебном случае, в котором отец, убивший при известных *смягчающих* обстоятельствах обольстителя своей дочери, оправдался на английском суде такою защитительною речью: «Убить-то я его убил, но я жалею не об этом; мне жаль, что я не могу убить его двадцать раз»; но г. Авдеев думает, будто английский суд оправдал этого убийцу из одной только потачки, и что и другие суды во всех подобных случаях руководятся тоже одною потачкой, а не строгим правосудием. Вследствие такого неправильного взгляда (мы судим по роману) г. Авдеев не дает и своей

[1] показной добродетельности, *(франц.)*

Наташе другого оправдания, кроме потачки, исключительно и единственно одной только потачки: любовный и семейный кодекс г. Авдеева—терпимость, в нехорошем значении этого слова. Этим, конечно, объясняется, почему роман г. Авдеева имеет завидную долю нравиться столь многим читательницам; в этом, между прочим, заключается и причина того, отчего лучшие из читательниц (мы потому говорим *лучшие,* что нет ничего столь хорошего, что̀ не предполагало бы еще лучшего), ищущие полноправности, но пренебрегающие обидным снисхождением, почитают роман г. Авдеева приближающимся к памфлету.

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

[7 апреля 1850 г., г. Кострома].

Достопочтенный наш автор «Банкрута»!

Если Вы хоть немного помните вашего старого знакомца Писемского, которому доставили столько удовольствия чтением еще в рукописи вашей комедии, то можете себе представить, с каким истинным наслаждением прочитал я ваше произведение, вполне законченное. Впечатление, произведенное вашим «Банкрутом» на меня, столь сильно, что я тотчас же решил писать к Вам и высказать нелицеприятно все то, что чувствовал и думал при чтении вашей комедии: основная идея ее развита вполне — необразованность, а вследствие ее совершенное отсутствие всех нравственных правил и самый грубый эгоизм резко обнаруживается в каждом лице и все события пьесы условливаются тем же бесчестным эгоизмом, т. е. замыслом и исполнением ложного банкрутства. Ваш глубокой юмор, столь знакомый мне, проглядывает в каждом монологе. Драматическая сцена посаженного в яму банкрута в доме его детей, которые грубо отказываются платить за него, превосходна по идее и по выполнению. Искусный актер в этом месте может заставить плакать и смеяться. Самое окончание, где подьячий, обманутый тем же Подхалюзиным, инстинктивно сознавая свое бессилие перед официально утвердившимся тем же подлецом Подхалюзиным, старается хоть перед театральной публикой оконфузить его, продумано весьма удачно. Вот Вам то, что я чувствовал и мыслил при первом чтении вашей пьесы; но потом я стал вглядываться внимательнее в каждую сцену и в

каждый характер: Липочка в 1-м своем монологе слишком верно и резко знакомит с самой собою; сцена ее с матерью ведена весьма искусно, бестолково, как и должны быть сцены подобных полудур; одно только: зачем Вы мать заставили бегать за танцующей дочкою? Мне кажется, это не совсем верно: старуха могла удивиться, жалеть на дочь, бранить ее, но не бегая. Вы, конечно, имели в виду театральную сцену и зрящий на нее партер. Бестолково-многоречивая и, вероятно, хлебнувшая достаточно пива Фоминишна очень верна. Про Устинью Наумовну и говорить нечего,— я очень хорошо помню этот глубоко сознанный Вами тип из ваших рассказов. Ее поговорки: «серебряный», «жемчужный», «брильянтовой» как нельзя лучше обрисовывают эту подлянку. Рисположенский — и этот тип я помню в лице безместных титюлерных советников, стоящих обыкновенно у Иверских ворот, и столь любезных сердцу купеческому адвокатов, великолепно описывающих в каждом прошении все доблестные качества своего клиента и неимоверное количество детей. В том месте, где Рисположенский отказывается пить вино, а просит заменить его водкою, он обрисовывает всю его многопутную, грязную жизнь, приучившую его наперекор чувству вкуса исключительно к одной только водке. Главное лицо пьесы Большов, а за ним Подхалюзин, оба они похожи друг на друга. Один подлец старый, а другой подлец молодой. Старость одурила Большова, затемнила его плутовские очи, и он дался в обман одному, думая обмануть и удачно обманывая прежде 100 людей. Сколько припомню, у вас был монолог Большова, в котором высказывал он свой план, но в печати его нет; а жаль: мне кажется, он еще яснее мог бы обозначить личность банкрута, высказав его задушевные мысли, и, кроме того, уяснил бы самые события пьесы. Но как бы то ни было, кладя на сердце руку, говорю я: Ваш «Банкрут» — купеческое «Горе от ума», или, точнее сказать: купеческие «Мертвые души».

Пишу к Вам это письмо, не помня хорошенько адреса вашего, на русское «авось дойдет»; а вместе с тем присоединяю к Вам мою покорнейшую просьбу: напишите мне, бедному служебному труженику, хоть несколько строк, скажите мне, так ли я понял ваше произведение, довольны ли Вы сами им вполне. Письмо ваше доставит слишком много удовольствия человеку, делившемуся

прежде с Вами своими убеждениями, а ныне обреченному волею судеб на убийственную жизнь провинциального чиновника; человеку, который по несчастию до сих пор не может убить в себе бесполезную в настоящем положении энергию духа. О собственных моих творениях я забыл, хоть они и лежат вполне оконченные. Адрес мой: Алексею Феофилактовичу Писемскому в г. Кострому, чиновнику особых поручений при военном губернаторе. Каждую почту буду ожидать вашего ответа, в каковой надежде и пребываю.

Любящий и уважающий Вас
А. Писемский.

1850 г.
Апреля 7-го.

Если Вы будете писать ко мне, то припишите Ваш адрес пополнее и поточнее.

Н. А. НЕКРАСОВУ

[15 апреля 1854 г., Раменье].

Почтеннейший Николай Алексеевич!

Посылаю к Вам, по письму вашему, «Матушкина сынка», перекрещенного мною в «Фанфарона». К нему прилагаю на всякий случай два окончания: одно, пришитое к тетради, где герою дается место чиновника особых поручений, и я желал бы, чтобы оно было напечатано, но если, паче чаяния, встретятся затруднения со стороны цензора, так как тут касается несколько службы, то делать нечего, тисните другое, что для меня почти все равно. Как вам понравится «Фанфарон», уведомьте меня. Я его написал и никому не читал еще. Рост его менее «Виновата ли она?». Полагаю в нем не более четырех листов. В моей деревенской жизни я либо напишу очень много, либо с ума сойду. Вообразите, до сих пор никаких признаков весны, даже еще вороны не вылиняли. Примечание к «Фанфарону» на первой странице не покажется ли вам очень резким? Впрочем, я этого не нахожу с своей стороны и желал, чтобы оно напечаталось. Насчет денег я просил бы, если это не стеснит вас очень, дать мне за маленькие рассказы: «Лешего» и «Фанфарона» по 70 руб. сер. за лист, которых и выйдет за 7 листов 490 руб-

лей, а за исключением полученных 100 рублей серебром — 390 рублей, да есть небольшой, по моему счету, недостаток по «Богатому жениху», а именно: в нем 17-ть листов, за которые по 60-ти следует получить 1 020 рублей серебром, а получено мною 900, итого в остатке сто с лишком рублей, из числа которых забрано мною книг, но сколько, не помню,— справиться надобно в конторе, но, кажется, что мне приходится около 60-ти рублей серебром, итого 450 руб., которые бы я, почтеннейший Николай Алексеевич, и просил покорнейше выслать мне в следующем месяце, ибо я имею крайнюю и распрекрайнюю нужду в деньгах и единственно поэтому беспокою вас и даже печатаю, чего мне до осени без нужды бы в деньгах никак не хотелось делать. Я сожалею и бешусь за уменьшение подписчиков на «Современник». Он так нынче идет хорошо,— один рассказ Тургенева «Муму» лучше всего, что было напечатано в нынешнем году во всех прочих журналах. Статья Анненкова по поводу простонародных рассказов очень умная, но только неэстетическая. Нельзя ли вам выхлопотать право для вашего журнала на политический отдел, который у «Москвитянина» и есть, но которым он, конечно, не умеет пользоваться даже и в настоящее время. До свидания, почтеннейший Николай Алексеевич; душевно желаю поправления вашего здоровья, чтобы в следующий приезд мой увидеть вас таким же хоть толстяком, как я сам. Об деньгах еще раз повторяю мою просьбу. Ивану Ивановичу и супруге его прошу от меня поклониться, а затем извиняюсь, что не сам пишу, потому что совсем разучился.

Остаюсь

покорным слугою

А. Писемский.

1854 г.
Апреля 15-го.

А. Н. МАЙКОВУ

[8 мая 1954 г., Раменье].

Милейший Аполлон Николаич!

Принимаясь за это письмо, я хочу снять с себя справедливый упрек твой за короткие послания и написать тебе письмо длиннейшее, сперва о том, что к нему прила-

гается,— это мой «Драматический очерк», который я написал по случаю настоящих событий и который посылаю на твое полное распоряжение. Мне бы хотелось его, во-первых, поставить на сцену, а во-вторых, напечатать в «Отечественных Записках», о чем и заяви Краевскому. Поставка на сцену, я желал бы, чтоб шла прежде печати. Бога ради так и распорядись: твой знакомец Федоров сейчас может обделать это дело. Противоцензурного, кажется, ничего уж нет. Актерам я желал бы раздать таким образом: полковник — Самойлов, жена его — Сосницкая, солдат — Григорьев, Александр — Максимов, Макар Макарыч — Мартынов, Власий Матвеич — Каратыгин; так по крайней мере я предполагаю, хотя и знаю петербургских актеров очень мало. Насчет платы тоже желал бы получить хоть малую толику от дирекции. Островский за пятиактную комедию получил 500 сер., а мне бы хоть сотни полторы, а у Краевского за право напечатания попроси 200, впрочем, назначение цены тут и там предоставляю на твое распоряжение *,— как найдешь удобным, так и распорядись. Помимо этих житейских расчетов, помимо современного интереса моей пьески, меня беспокоит и художественная ее сторона: напиши мне, как ты найдешь ее и как другие на нее взглянут. Я пробовал читать ее здесь,— плачут; и, кажется, если ветерана-старика актер так выполнит, как я его задумал, так заставит плакать и в театре. В молодом новобранце пусть актер выразит одну черту — это молодость и наивность. Стихи Пушкина пусть читает не горячась и не декламаторски, а только с чувством и толком. На солдатскую песню «Молодка молодая» я, может быть, буду иметь возможность прислать музыку. Самому мне ехать ставить очень бы хотелось, и знаю, что очень бы нужно, но по неимению средств до ноября или декабря не могу приехать в Петербург. Бога ради похлопочи за меня; ты мне сделаешь истинное благодеяние. Твои опасения насчет *того* показали мне, что ты меня действительно полюбил, за что тебе и спасибо. Я, впрочем, не то чтобы особенно был падок к *сему,* да и от моих некрасивых, по внешней стороне, обстоятельств не только не упал духом, а, напротив, воскрылил, освободившись от подлых служебных влияний вследствие пре-

* Впрочем, менее 80 руб. сер. за лист я не возьму с Краевского — эту цену мне дали за «Раздел», а за эту надобно 200 получить.

подлейшего костромского начальства. Я теперь блаженствую, упиваясь весной, которая стоит у нас чудная, и только когда подумаешь о том, что деется на театре войны, так невольно сердце замрет; вряд ли Россия не в более трудном подвиге, чем была она в двенадцатом году! Тогда двенадесять язычей ведены были на Россию за шивороток капризною волею одного человека, и теперь покуда трое, да действуют под влиянием самой искренней ненависти. Что мы этим бесстыдникам сделали, не понимаю. Более умеренной внешней политики, какою всегда руководствовался государь, я вообразить себе не могу. Корень, кажется, лежит в европейских крамольниках 1848 года, которые никак не хотят простить России ни спокойствия ее в этот период взрыва мелких страстишек, ни того страха, который они ощущали к северному великану, затевая свое гнусное и разбойничье дело. Впрочем, они и думать не могут иначе, но что же венценосцы-то слушаются их? Они дают им таким образом оттачивать орудие на самих себя. Невольно скажешь: прости им, господи, не ведят бо, что творят.

Оду твою я получил — благодарю! Но она так варварски переписана, что я многого не разобрал; но, впрочем, вот тебе общее впечатление твоих патриотических стихов: они без сравнения выше всех написанных в настоящее время на эту тему, они умны, искренни и не фальшивы, и я только могу одно сказать, что несколько длинноваты и что ты еще не овладел тем из стали кованным стихом, какой видим у Пушкина, или, прямее сказать: ты вообще, кажется, ленив в внешней обработке. Мысль у тебя перетягивает форму. Не гонись за подробностями; мысль, которая не выражается у тебя, лучше брось ее. И вместе с тем скажу тебе еще: подражай больше Пушкину, а на Державина смотри как на поэта, у которого только один инстинкт. Но и у Пушкина не заимствуй целиком фраз (*«дух отрицанья, дух сомненья»*) или: *«Востань же днесь и виждь, как снова»*. Впрочем, милейший, все это тонкости и усиленные мои требования вследствие искренней симпатии, которую я питаю к каждому твоему стихотворению, когда еще не знал тебя лично, и в каком бы оно роде и духе ни было написано. Убедись, не ради самообольщения, а ради укрепления, что пальма первенства как поэта в настоящее время за тобой. Как бы ни кричали рецензенты в пользу Фета и Тютчева, как бы Щербина ни уверял,

что он воспевает только красоту-красоту, у всех у них против тебя кишки тонки. Фет действительно поэт, но очень уж с ограниченным кружком, и мне всегда смешно, когда рецензенты объявляют о тонком наслаждении, которое они испытывают при чтении его стихотворений. Не похожи ли они в этом случае на котов, у которых чешут за ухом? Щербина велик, когда проходится насчет клубнички в греческом духе, но и только. Кстати, здесь о критикуслагающей и фельетонной братии, которая тебя возмущает своею тупой неподатливостию к современному интересу, иначе и быть не может: эти господа весь век живут одним только чувством зависти. Они завидовали литераторам, имена которых с успехом оглашались, а теперь завидуют офицерам, кровию себе добывающим чины и почести, тогда как они, бедные поденщики, только шляются около храма славы и нюхают.

Жена уехала в Москву за сестрой Машей, и я теперь один с матерями и детками, и пишется много, не знаю, хорошо ли только выйдет. К пятой книжке «Современника» я выслал очерк «Фанфарон», а они мне должны выслать денег, и если не сделают этого, так подрежут меня решительно. Напомни им к слову и уведомь меня, что они скажут. С большим нетерпением жду я от тебя письма об моей отставке, да и об пьесе не замедли уведомить меня. Вместе с этим я тоже пишу к Краевскому и назначаю цену 200 рублей серебром; пускай не поскупится на этот раз, после заслужу — деньги ужасно нужны. «Весенний бред» твой только что сейчас прочитал, и вот какого рода мысли родил он во мне: в самом ли деле в науках, по их сущности, таится и мертвенность их? Не ученые ли виноваты в этом? Не знаю, учился ли ты одной науке, которой учился некогда я, а именно так называемой физической географии, созданной Гумбольтом? Она с первой до последней страницы кипит жизнию. Стало быть, все зависит от гения ученого. Таковых есть очень много исторических очерков и есть также очерки исторические, напр., Погодина, от которых мертвечиной так и пахнет. Не то ли же точно мы видим и в искусствах? По случаю настоящих событий ты пишешь стихи, и пишет их Шевырев, который каждым своим стихотворением отражает чувство патриотизма, но дело только в том, что в ходу бездарных ученых гораздо больше, чем бездарных писателей, и понятно, почему: на Парнасе можно удержаться одною только та-

лантливостью, а в науках и на памяти многие выезжают до смерти и даже после смерти. По мнению некоторых, подобные бездарные специалисты полезны своими чернорабочими трудами, а я нахожу, что для многих наук по настоящему их состоянию они вредны. Особенно это чувствуется в науках естественных, которые с каждым годом дробятся на частности во вред общему. В письме твоем ты между прочим пишешь, что критики не нужно, у нас есть публика. Увы, мой милой! Ты в этом случае ошибаешься жестоко: читающей с верным чутьем публики у нас нет, а если и есть публика, так только зрительная, театральная, и та потому только существует более справедливою в своих суждениях, что ей растолковывает писателя игрой своей актер. Могу тебя уверить, что Гоголь познакомил с самим собою публику своим «Ревизором», а не «Мертвыми душами». Об Островском стали говорить после представления: *«Не в свои сани не садись»*. Вот какова публика в общей ее массе, и потому критика необходима, и она должна бы идти вместе за писателями с тем, чтобы, указывая на их недостатки для поучения их, указывала бы также публике и на достоинства их. Вот почему редакторам следовало бы критику доверять людям, достойным этого важного в настоящее время назначенья, тогда как из всех их я знаю только одного *Эдельсона* при «Москвитянине», а прочих всех бы забрил в коллекторы; например, статья Анненкова в «Современнике» «По поводу романов и рассказов из простонародной жизни» очень остроумная, если хочешь, но разве она критическая? Вместо того чтобы вдуматься в то, что разбирает, он приступил с наперед заданной себе мыслию, что простонародный быт не может быть возведен в перл создания, по выражению Гоголя, да и давай гнуть под это все. На его разбор моего «Питерщика» я бы мог его зарезать, потому что он совершенно не понял того, что писал я, но так как я дал себе слово не вступать печатно ни в какие критические словопрения, то и молчу. По поводу «Рыбаков» Григоровича и потехинских романов то же бы самое можно сказать, но, впрочем, бог с ним! Пускай попользуются своим успехом, журнальным, конечно, только. Однако прощай. Ты, конечно, не сердишься, что я пишу не своей рукой, потому что приятнее читать все возможные на свете руки, чем мои каракули. Супруге твоей от меня поклонись низенько и передай ей мой восторг, что она не может сойтись

с барынями; такова и должна быть жена автора «Барышни». Прощай, мой милейший... Пиши бога ради, и на остатках только не стерплю и скажу, что мои ребятишки в деревне лихо растут — атлеты, братец, будут; старшего учу теперь: *о чем шумите вы, народные витии?*

Твой *Писемский.*

P. S. Вчитайся в моего ветерана — этот тип мне очень близок к сердцу — это мой покойной отец, я вложил ему в уста все его мысли, все поговорки, все песни и стихи, которые любил покойник, да попроси Федорова, чтобы в случае представления актеры оделись чисто и красиво.

Е. П. ПИСЕМСКОЙ

[25 марта 1856 г., Астрахань].

Бесценный друг мой Кита!

Вчерашнего дня, в одиннадцать часов вечера, возвратился я из первого своего вояжа морского, получил твое письмо, обрадовался, проспал потом часов 12-ть, встал и начинаю писать к тебе. Ездил я с адмиралом на так называемую *Бирючью Косу,* маленькой островок при втоке Волги в Каспийское море. Во-первых, здесь еще холод страшный, так что никто не запомнит. Чтобы сесть на пароход, мы ехали на катере, пробиваясь и расталкивая лед, и когда сели, то у парохода недостало силы, чтобы выйти из льду, употребили завоз. Наконец тронулись; сначала все шло очень хорошо, я стал на палубе, хоть и был холодный ветер, хоть решительно на берегах и не было ничего привлекательного: либо пустырь, либо камыш, изредка попадется в глаза рыбная ватага (вроде нашей деревни) да калмыцкая кибитка — словом, на всем этом пространстве меня более всего заинтересовали *бакланы,* черная птица, вроде нашей утки, которые по рассказам находятся в услужении у пеликанов; мы видели с тобой их в зверинце. Пеликан сам не может ловить рыбу, и это для него делает баклан, подгоняя ему рыбу, иногда даже кладя ему ее в рот, засовывая ему при этом в пасть свою собственную голову. Чем вознаграждают их за эти услуги пеликаны — неизвестно! Кажется, ничем! Очень верное изображение человеческого общества. Пока я рассуждал так о бакланах, пароход встал, потому что дальше не мог идти — мелко! До *Бирючьей Косы* оставалось еще верст

15-ть. Пересели в катер. Я сделал гримасу, впрочем, ничего — катер был довольно большой, и гребли 14 человек севастопольских матросов-молодцов, и все с георгиевскими крестами; проехали еще 5 верст; зашли в деревню, расспросили, говорят, нельзя доехать и на катере, а надобно на маленьких лодочках. Можешь судить, как мне это было приятно, но делать нечего — сели. Гребли у нас два моloденькие калмычонка; между тем солнце садилось, волны становились шире и шире, течение быстрей и быстрей, ветер разыгрывался, продувая нас до костей. Наконец сделалось совершенно темно, я чувствовал только, что меня поднимало и опускало: валы, как какой зверь, поднимались, встряхивали, как гривой, белой пеною и обливали нас. И я... вот по пословице: «Нужда научит калачи есть»... я — ничего! Наконец приехали, но чтоб вступить на берег, к нам вышли матросы и переносили нас на руках, проламывая лед и идя по колено в воде. На другой день предполагали возвратиться из Бирючьей Косы, но, проснувшись,— увы! — увидели весь фарватер в льду. Оставленной нами катер, говорят, кругом замерз и не может двинуться ни взад, ни вперед. Все приуныли: подобная история могла продолжиться около недели. Но нужной путь бог правит. Передневали, ветер подул с моря, катер подошел к Косе, и мы отправились, и тут оказалось, что доехать до парохода было нелегко: беспрестанно попадался в две — три версты лед, который мы прорубали, проламывали и могли только двигаться, раскачивая общими силами катер, и через пять часов были, однако, на пароходе. Можешь судить, как были все довольны, точно приехали в родной дом, к отцу-матери.

Вот тебе мое первое морское путешествие. На той неделе я, вероятно, поеду в море настоящее, в Баку. Во всяком случае ты не беспокойся: все это только беспокойно, но совершенно безопасно, потому что делается людьми опытными и моряками хорошими. Детей целую и благословляю, Надежде Аполлоновне и Маше поклонись. Обнимаю тебя.

Твой *Писемский.*

25 марта

Адрес мой: в Астрахань на мое имя.

Сбереги это мое письмо! Адресую по твоему письму в Галич.

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

[15 февраля 1857 г., С.-Петербург].

Любезный друг,
Александр Николаевич!

Посылаю два экз. моей «Старой Барыни», из которых один тебе, а другой передай от меня Садовскому. Твои сценки в «Современнике» я прочитал и прочитал с удовольствием, и когда я читал их другим,— все хохотали; но мнение большинства литературного таково, что в них ты повторяешься; хотя в то же время все очень хорошо убеждены, что виноват в этом случае не ты, а среда, и душевное желание всех людей, тебя любящих и понимающих, чтоб ты переходил в другие сферы: на одной среде ни один из больших европейских и русских писателей не останавливался, потому что это сверх творческих средств. Если мы и не мастера первого разряда, то все-таки в нас есть настолько душевных сил, чтобы переходить из одной среды в другую. Если же ты этого не можешь сделать, то знакомься больше и больше с купеческим бытом более высшим; или, наконец, отчего ты не займешься *мужиком*, которого ты, я знаю,—знаешь? Говорят, твоя новая комедия из чинов. быта. Я радуюсь заранее. Знаю, что у тебя сюжет созрел, но выполнил ли ты, как большой маэстро по драматической части, со всей подробностью и объективностью характер? Читал ли ты критич. разборы Дружинина, где он говорит, что ты, Толстой и я — представители направления, независимого от критик. В какой мере это справедливо, я не могу судить, но уже и то хорошо, что нас определили независимыми от критик. Григорович, приехавший в Петербург, первым долгом обнародовал везде, что А. А. Григорьев пропал без вести и что его ищут чрез полицию. Не знавши этого, я встретился с Григоровичем в магазине Печаткина и, по известной тебе моей к нему симпатии, обругал его за весь его литературный блуд, и он теперь скрылся у И. А. Гончарова и ругает меня как свинью, которая не умеет себя держать в обществе, а при встрече со мной—побаивается меня. Если ты можешь приехать в Петербург,— приезжай; мы с тобой, может быть, что-нибудь и сделаем тут, тем более, что на плечах «Современник». Боткин здесь пакостит, насколько он может пакостить. Все это до такой степени возмутило меня — чего при нашем бесценном Иване Сергеевиче не

бывало,— возмутило так, что я, кроме ругани, ничего этим господам не говорю.

. . . .

Затем прощай и не повторяйся так, как ты повторился в твоем последнем произведении.

Подписал *Алексей Писемский.*
Литературный секретарь И. Горбунов.

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

[30 марта 1857 г., С.-Петербург].

Любезный друг,
Александр Николаевич!

. . . .

...Старший ребенок мой, Павел, болен: у него холодная опухоль локтя на правой руке, болезнь, которая часто кончается отнятием руки. Бедная жена моя убита всем этим, но еще бодрится, тогда как я падаю духом окончательно! Обе комедии здесь твои пользуются полным успехом. Личное мое мнение об них вот тебе самое откровенное: в «Сне в праздничный день» лицо Бальзаминова недотанцовано в представлении автора. В первой сцене — *прижиганье уха* совершенно водевильный прием, а прочие лица все превосходны, особенно две *девки;* я так и чувствую от них здоровый женский запах. Во второй комедии самая картина исполнена и жизни, и бойких типов, и, наконец, нравственной глубины, но все это вставлено в рамку, т. е. в 1-е и 5-е действия, совершенно *мозговую,* сделанную, а не созданную, и потому именно, что в них играют роли пара Вишневских — оба эти лица по грамматичности их изложения совершенные гробы, но это бы еще ничего: не создашь всех лиц, другие можно и поопридумать,— но дело в том, что они очень много говорят, их надобно сократить: пусть они только самой необходимой стороной касаются комедии. С концом пьесы я тоже не согласен: Жданов не должен был бы выйти победителем, а должен был бы пасть. Смысл комедии был бы, по-моему, многозначительнее и глубже; я нарочно пишу тебе самые отрицательные стороны твоих пьес, чтобы ты принял это в расчет при вторичном их издании или при постановке на сцену: личных курителей и печатных ругателей

найдется много у тебя и без меня. Денежная необходимость заставила меня вспомнить мой первый роман «Виновата ли она?». Я прочитал его совершенно, как чужое произведение, и он мне понравился: мне уж теперь с таким запалом не написать; много, конечно, в нем совершенно драло мои уши, как, например, вся похабщина, которую я где совсем вырвал, где смягчил; не веря, впрочем, себе, стал читать редакторству и критикам — все хвалят и «Биб. для чтения», если только Фрейганг пропустит, дает мне за него 3 000 руб. сереб.— сумма, которая меня обеспечит более чем на год и даст мне хоть некоторое время не думать о проклятых деньгах. Теперь о твоих делах. Уваров, говорят, назначил 3 000 руб. сереб. пожизненной пенсии тому, кто напишет лучшую комедию или драму: пиши-ка, брат! А я, впрочем, распространяю мысль, что нельзя ли тебе отдать премии без писания, так как по этой части тобой много написано и без того, а то, чего доброго, нажарит Потехин драму или Сологуб комедию, да и возьмут. Прощай, поклонись всему, кому знаешь.

Твой *Писемский.*

1857 года.
Марта 30-го

А. Н. ОСТРОВСКОМУ

[8 ноября 1857 г., С.-Петербург].

Любезный друг,
Александр Николаевич!

Во-первых, спасибо за радушный прием; теперь о пьесе твоей «Доходное место». По приезде моем в Петербург я узнал, что я тоже назначен членом Комитета, и, разумеется, воспользовался сим. Поехал к председателю, который теперь Никитенко, и настоял на том, чтобы в следующую субботу открылось заседание, и пьеса твоя, как читанная всеми, сейчас же будет пропущена. Поклонись от меня всем, и всех от глубины души моей целую я заочно и благодарю за ласковой и радушной прием. Алмазову, вероятно, я сегодня же буду писать. Прощай, Агафье Ивановне делаю ручкой.

Твой *Писемский.*

Пятница.
8 ноября.

П. А. ПЛЕТНЕВУ

[10 октября 1860 г., С.-Петербург].

Милостивый государь,
Петр Александрович!

Позвольте мне представить Вам экземплярчик моей драмы «Горькая судьбина» и еще раз поблагодарить Вас за ваше лестное для меня внимание к ней. Память об этом я сохраню навсегда, как о величайшей чести, которую когда-либо я надеялся заслужить моими слабыми трудами.

Вы были другом и советником Пушкина и Гоголя и поверьте, что ваше ободрение для нас (юнейших и далеко ниже стоящих перед этими великими маэстро) дороже самого громкого успеха в публике, часто создающей себе, бог знает за что и почему, кумирчики.

Засим, прося принять уверение в совершенном моем почтении, имею честь пребыть

покорнейшим слугой.
А. Писемский.

10 октября
1860 г.

А. А. КРАЕВСКОМУ

[Лето 1861 г.].

Милостивый государь,
Андрей Александрович!

Прошу Вас сообщить гг. Литераторам мое мнение касательно перемены цензуры: в настоящем своем виде она существовать не может, так как только понижает Литературу: все, что составляет серьезную мысль, она запрещает, все, что мелко, пошло, под ее благодетельным влиянием расцветает роскошными букетами; но, с другой стороны, и касательно цензуры карательной мы должны поступить осторожно и, как я полагаю, прежде чем изъявлять на нее свое желание, мы должны бы спросить о тех законах, по которым нас будут карать, и о составе того судилища, где нас будут судить, и во всяком случае мы в этом деле лица угнетенные и должны заявлять только свои права и желания, не соображаясь с требованием правительства,

которых мы не знаем и которые оно, вероятно, само не пропустит. Мы же, как мне кажется, должны просить: 1) права переводить все сочинения, вышедшие на иностранных языках, так как они и без того не скрываются от русской публики, почти подряд знающей иностранные языки и преспокойно покупающей эти книги у книгопродавцев и при поездках за границу; но переведенные, они если и больше огласятся, то, вероятно, в критических статьях вызовут и реакцию против себя; 2) права рассуждать об всевозможных формах правительств, что почти и делается теперь, но только в недомолвках, которые только раздражают читателей, заставляя его предполагать бог знает какую премудрость между строками; 3) права излагать в совершенной полноте все философские системы, будь автор Деист, Идеалист, Материалист. В этом случае правительству опять следует поставить на вид то, что мысль может уничтожаться только мыслью, а не квартальными и цензорами; 4) допустить сатиру в самых широких размерах. Касательно ограничения пускай не допущено будет никакой нахальной личности ни в отношении правительственных лиц, ни в отношении частных. Из всего этого, разумеется, у нас половину отрежут, но все-таки мы ничего иного желать *не можем и не должны*. Предположить соединение предостерегательной цензуры и карательной нелепо — это значит прямо идти на то, чтобы вас били с двух боков; пусть оно лучше остается, как теперь идет: цензора еще обмануть можно, а сам-то себя не обманешь! Но опять повторяю, что покуда не будем знать положительно тех законов, по которым нас будут казнить, то мы и в пользу карательной цензуры не должны говорить ни слова, ни звука!

Чтобы оформить все это в официальном тоне, то я полагаю, что и записку к министру следует начать так: «Что, ваше высокопревосходительство, прежде всего мы желали бы знать: 1) Чего правительство требует от цензуры: того ли, чтоб она была ослаблена, или того ли, чтоб усилена? 2) Какие установлены будут законы цензурные, так как из ныне существующих ничего нельзя понять, и дозволено ли нам самим будет проектировать эти законы? 3) Какого рода судилище будет устроено над виновными, чему их именно будут подвергать и кого именно: авторов или издателей?» — А до тех пор, пока нам не будет этого сказано, мы ничего сказать не можем.

Вот все, что я пока считал нужным сказать с своей стороны.

Жму вашу руку.
А. Писемский.

А. Л. ПОТАПОВУ

[Августа 1863 г., Москва].

Будучи твердо уверен в вашей высокой справедливости и просвещенном понимании того, что каждый из нас, русских писателей, пишет и с какою целью это пишет, я беру смелость обратиться к вашему превосходительству с моею просьбою по поводу пьесы моей «Горькая судьбина», с месяц тому назад пропущенной для представления на сцене цензурою 3 отделения. Пьеса эта 31 июля была сыграна любителями в благотворительном спектакле. Публикою она была принята с полнейшим успехом: я был вызван до 20 раз! Но через несколько дней стал ходить по городу слух, что московский генерал-губернатор хочет запретить представление моей пьесы на сцене на том основании, что она шокирует будто бы дворян, осмеивает чиновников, производит тяжелое впечатление и исполнена грубых выражений... Никому ничего подобного из публики и в голову не приходило; тем не менее, так как г. генерал-губернатора самого и на представлении не было, я счел себя обязанным лично явиться к нему и объяснить во 1-х, что пьеса моя была разыграна вся дворянами, смотрели на нее по преимуществу дворяне и принимали пьесу с общим удовольствием. Кроме того, пьеса моя не новинка; она 4 года как издана, разошлась, может быть, в 8 тысячах экземплярах и раскуплена исключительно дворянами, значит, она никого не обидела! Во 2-х, пьеса моя не на тенденцию написанная; мне дана за нее Уваровская премия Академией, а по уставу этой премии прямо воспрещено назначать премии за пьесы с какой-нибудь задней мыслью. В 3-х, пьеса моя имеет почти уже исторический характер: злой фатум ее — крепостное право уничтожено правительством и отвергнуто самим обществом; выведены в пьесе недостатки камерного судопроизводства, но и те уничтожены, а говорить обществу об его болезнях, от которых оно уже излечилось, не значит его оскорблять, а напротив — радовать. В 4-х, касательно тя-

желого впечатления и грубых выражений, встречающихся в пьесе, то, по законам эстетики, она должна производить тяжелое впечатление, потому что трагедия, и если бы не производила этого впечатления, то в таком случае ее и на сцену не стоило бы ставить; грубых же выражений в языке я не мог избегнуть или смягчить их потому, что я тогда бы *солгал* на быт, а ложь и еще ложь со сцены есть безнравственная и возмутительная вещь! Все эти мысли я тем более считал себя вправе высказать, что они не мои, а ходячие в обществе, и насколько я ими убедил г. генерал-губернатора, не знаю; но он мне при этом сказал, что один из изветов на пьесу мою он получил от начальника здешних театров г. Львова. При этом я только руки распустил. Пьесы моей я не навязывал дирекции. Она сама через своих чиновников выпросила у меня согласие на постановку ее на сцене, сама представила ее в комитет, сама получила ее оттуда, и вдруг пьеса стала не годиться! Что-нибудь одно: или г. Львов не знает, что у него делается в управлении, или, наконец, сам даже не знает, что делает! На днях г. Львов распустил еще новый слух, что пьеса моя окончательно запрещена для постановки на сцену. Полагая, что одно только 3-е отделение может разрешать и воспрещать постановку пьес на сцене, и в то же время зная очень хорошо ваше благородство, прямоту и твердость во всех ваших служебных действиях, я решаюсь просить ваше превосходительство защитить судьбу моих произведений от мнений г. Львова и каких-то других господ, сделавших на пьесу мою донос генерал-губернатору, и если возможно, то испросить высочайшего разрешения на постановку ее на сцену, как сделано это было в отношении «Ревизора» Гоголя: мне скрываться нечего ни перед царем моим, ни перед обществом — при всех недостатках моей пьесы она есть единственная, которая взяла крестьянский быт в главном его жизненном мотиве, и смею клятвенно заверить, что если постановка ее и будет, может быть, неприятна двум — трем господам, то запрещение ее произведет ропот во всем русском обществе, которое уже не ребенок и не желает, чтобы от него скрывали то, что оно само очень хорошо и давно знает! Излагая все это вниманию вашего превосходительства, я снова повторяю мою просьбу защитить мое бедное произведение, которое не возмущало общество, а, напротив, стоит за него; прошу принять уверение <и т. д.>.

А. А. КРАЕВСКОМУ

Августа, 25, 1864 г. [Москва].

Почтеннейший
Андрей Александрович!

Вы, вероятно, уже слышали, что я с Катковым разошелся по причинам, зависящим от его и от меня, а потому имею теперь довольно свободного времени; в продолжение осени и зимы я желал бы написать и напечатать несколько статеек о Московском театре. Возьмете ли вы их в ваш «Голос»? — Статьи, наперед говорю, будут резкие как в отношении театрального начальства, так и в отношении актеров; не стеснитесь ли вы их напечатать; отвечайте, пожалуйста, мне прямо: взгляд мой и понимание театра вы отчасти знаете.

Теперь второе: пишутся у меня очерки под названием «Русские лгуны»,— выведен будет целый ряд типов, вроде снобсов Теккерея. Теперь окончена мною первая серия — Невинные врали — т. е. которые лгали насчет охоты, силы, близости к царской фамилии, насчет чудес, испытываемых ими во время путешествий; далее будут: Сентименталы и сентименталки, порожденные Карамзиным и Жуковским. Далее — Марлинщина. Далее: Байронисты российские. Далее: Тонкие эстетики. Далее Народолюбы. Далее Герценисты и в заключение: Катковисты. Посылаю вам на обороте копию с маленького предисловия к этому труду; она вам несколько объяснит значение его.

Теперь у меня написано листа на два печатных, а печатать я желал бы начать с генваря. Уведомьте, пригоден вам этот труд мой или нет, если не пригоден, не стесняйтесь и пишите прямо. Дружески жму вашу руку.

Преданный вам *А. Писемский.*

Адрес мой: на Сивцевом Вражке в Нащекинском переулке, в доме Яковлевой.

П. А. ВАЛУЕВУ

[8 мая 1867 г., Москва].

Ваше высокопревосходительство,
милостивый государь
Петр Александрович!

В прошлом месяце я представлял в главное управление цензуры историческую пьесу мою «Поручик Гладков»

для одобрения ее к представлению на сцене. Главное управление, как ныне известился я, большинством голосов постановило запретить ее к постановке на театре, руководствуясь, вероятно, тем, что сюжет моей пьесы никогда еще не был выводим на сцену. Не находя с своей стороны в моей пьесе ничего могущего служить прямой причиной к оглашению ее со сцены, я беру смелость прибегнуть к Вашему высокопревосходительству и ходатайствовать в силу дарованной Вам власти разрешить представление моей пьесы на театре. Вам лично известно мое литературное направление, и сколь мои труды, как писателя, ни малозначительны и ни слабы, но я всегда в них имел одну цель — *говорить, по крайнему своему разумению, правду,* точно так же, смею заверить, и пьеса моя «Гладков» ничего тенденционного, ничего символического и имеющего хоть малейшую возможность быть применимо к настоящему времени не представляет, а имеет в себе одно только свойство: *историческую достоверность и справедливость.* Скрывать от народа его историю, я полагаю, более вредно, чем полезно; а между тем сцена есть единственной путь, через которой масса публики может познакомиться с светлыми и темными сторонами своей прошедшей жизни, заинтересуется ею и полюбит ее; никакой умный учебник, никакая строгая школа не в состоянии сделать этого для истории!

Повергая все сие милостивому вниманию Вашему, я разрешение пьесы моей к постановке на сцену приму новым проявлением вашей благосклонности ко мне, которая уже служила мне, а ныне еще раз послужит ободряющим средством к литературным трудам моим.

Прошу принять уверение в глубоком моем уважении, с коим имею честь пребыть

Вашего высокопревосходительства

покорнейшим слугою *Алексей Писемский.*

1867
Мая 8 дня.

А. В. НИКИТЕНКО

[16 марта 1873 г., Москва].

Милостивый государь,
Александр Васильевич!

Комедия моя «Подкопы», в судьбе которой Вы столь обязательно для меня принимали такое живое участие,

появилась, наконец, в печати и вместе с этим письмом отправлена мною в Петербург, в Академию наук, на имя Константина Степановича Веселовского; предоставляю ее на ваш милостивый и праведный суд! Цензурных изменений, хоть сколько-нибудь существенных, пьеса не потерпела нисколько; я всего только и сделал, что в перечне действующих лиц уничтожил титулы; в самом же тексте не произошло никаких перемен, за исключением тех немногих, которые я сам сделал чисто уже в видах художественного улучшения. В надежде на ваше доброе расположение ко мне я вместе с сим решаюсь повергнуть вашему вниманию еще другое обстоятельство, до меня касающееся: кроме «Подкопов», я написал еще новую пьесу, «Ваал». Из самого заглавия вы уже, конечно, усматриваете, что в пьесе этой затронут вряд ли не главнейший мотив в жизни современного общества: все ныне поклоняется Ваалу — этому богу денег и материальных преуспеяний и который, как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и все заранее предрекает!.. Под гнетом его люди совершают мерзости и великие дела, страдают и торжествуют. Пьеса эта будет напечатана в нынешнем году в «Русском Вестнике»; но могу ли я ее тоже представить в Академию на Уваровскую премию в нынешнем году вместе с «Подкопами» и может ли быть назначаема премия за две пьесы одного и того же автора в один год, этого я решительно не знаю и недоумеваю; а потому убедительнейше просил бы вас уведомить меня, как говорит об этом Устав об Уваровской премии, а также и о том, как Вы лично полагаете, что лучше для меня: в нынешнем ли году представить мне «Ваала» в Академию или отложить это до будущего года?

Вашим обязательным ответом Вы бесконечно одолжите меня и заставите навсегда быть благодарным Вам.

Искренно и глубоко
уважающий Вас
Писемский.

1873 года.
Марта 16.

Адрес мой: в Москве, на Поварской, в Борисоглебском переулке, в своем доме.

Я. П. ПОЛОНСКОМУ

[14 апреля 1873 г., Москва].

Любезнейший друг,
Яков Петрович!

Посылаю тебе экземплярчик моей новой пьесы «Ваал», на днях вышедшей в «Р. Вестнике». Очень желаю, чтобы

она тебе понравилась. Что твои «Собаки»? Кончил ли ты их, где и когда будешь печатать? «Гражданин», говорят, кончается? Какое неловкое положение при этом бедного Достоевского, хоть бы он приискал какого-нибудь другого издателя.

Поздравляю тебя и супругу твою с праздником и, душевно желая, чтобы всем домочадцам твоим было хорошо, остаюсь душевно преданный

Писемский.

18 IV/14 73.

С. В. МАКСИМОВУ

[27—28 января 1875 г., Москва].

Мой дорогой Сергей Васильевич!

В газетах я прочел, что костромичи литераторы и художники в память моего юбилея хотят в пользу бедных издать сборник. Если это действительно есть намерение, то ты, конечно, уж участвуешь в нем, а потому уведомь, бога ради, действительно ли есть такое намерение...

О таком дорогом венке я никогда, конечно, и не мечтал и надеюсь только, что вы позволите и мне участвовать в этом сборнике и чтобы моя в этом случае рука была не щербата. Остаюсь душевно любящий тебя *Писемский.*

P. S. Буду с нетерпением ждать ответа от тебя.

П. А. ПИСЕМСКОМУ

31 генваря 1875 [Москва].

Бесценный друг мой Поля!

Вчера сыграли в первый раз мою пьесу. Сама пьеса принята публикой восторженно: со 2-го акта меня начали вызывать по несколько раз (чего никогда прежде не бывало); авторов обыкновенно вызывали по окончании пьес, а тут публика как будто бы не вытерпела и поспешила меня оприветствовать! Вот, мой друг, и мой юбилей, и нынешний прием моей пьесы может быть наглядный для тебя пример, как колесо жизни поднимает иногда человека, а иногда и опускает. Ты сам был свидетелем, сколько я перенес литературных невзгод, обвинений, ру-

гательств, оскорблений. Я сердился, конечно, огорчался, но никогда не падал настолько духом, чтобы бросить свое дело. Того же самого и тебе советую держаться в жизни и паче всего хлопотать о том, чтобы довершать свое ученое образование и в этом случае не смущаться никакими шипами, которые тебе будут попадаться на сем пути, тем более, что материальным образом ты человек совершенно обеспеченный. Обнимаю и благословляю тебя

Писемский.

А. А. ПОТЕХИНУ

24 марта 1875 г. [Москва].

Любезный друг
Алексей Антипович!

Я несколько позамедлил отвечать тебе, но причина тому та, что я болею и потому ничего не могу сказать определительного, так как ни сам не могу приехать, ни выслать чего-либо из написанного, потому что это написанное требует больших поправок, каковых по состоянию головы моей в настоящее время решительно не в состоянии делать. Если только я поправлюсь, то немедленно же поеду за границу, буду в Петербурге, увижусь с тобой, переговорю еще об этом. Во всяком случае, для вас вернее будет на меня не рассчитывать. Дружески жму твою руку и остаюсь душевно преданный *Писемский.*

P. S. Поклонись от меня всем нашим общим знакомым.

И. С. ТУРГЕНЕВУ

[19 августа 1875 г., Москва].
Поварская, Борисоглебский пер., свой дом.

18 IX/19 75.

Мой дорогой Иван Сергеевич! Вот уже полтора месяца почти, как я в Москве. В Берлине пробыл всего только две недели, и мы из оного вместе с П. В. Анненковым тронулись в Питер, из которого я через день отбыл в Москву. Павел Васильевич проезжал через Москву в деревню и вот уже более недели, как проехал обратно за границу. Все свое длинное путешествие он совершил

вполне здоровым. Как-то ваше здоровье? Напишите об себе! Вместе с этим письмом посылаю Вам стихотворения Алмазова, вам преподнесенные. Напишите мне, как они вам понравятся. Павел Васильевич от некоторых в восторге. Я, кажется, писал вам, что, по письму вашему, я был у Юльана Шмидта, но по подлейшему моему неведению иностранных языков беседа наша не могла быть очень одушевлена и продолжительна. Он мне показался истым и немножко даже грубоватым немцем! Виделся также и с Кайслером, который мне между прочим сказал, что было переведено под именем «Das ausgewühlte Meer» мое «Взбаламученное море» и напечатано года три тому назад в газете «Poste», но я этой газеты нигде уже в Берлине найти не мог. Сын мой остался в Берлине и несказанно меня утешает и своими частыми письмами и тем, что много занимается и работает над диссертацией.

Да хранит вас бог. Остаюсь, дружески пожимая вашу руку, душевно преданный вам *Писемский.*

П. А. ПИСЕМСКОМУ

15/27 октября 1875. [Москва].

Бесценный друг мой Поля!

Мать тебе уже писала об номере и числе пакета, в котором к тебе должны прийти деньги; на всякий случай повторяю его еще раз: № 1, 11 октября 1875 г. Получить эти деньги ты должен дней через 6-ть после отправки, т. е. числа 17-го по нашему стилю. В Москве теперь сильное волнение: лопнул Коммерческий ссудный банк, в котором у меня, как и в прочих частных банках, нет ни гроша, но, тем не менее, я другой день в каком-то лихорадочном состоянии, прислушиваюсь к этому общенародному бедствию. Акции этого банка все почеркнуты и на бирже не имеют никакой цены, а сколько получат вкладчики по билетам и текучим счетам — еще неизвестно, но говорят, что дифицит огромный. Если есть в Берлине «Московские ведомости», то в 261 номере их, от 14 октября, ты можешь об этом прочесть очень обстоятельную статью. Правительство, кажется, серьезно озабочено, чтобы не было в Москве общего банкового кризиса, так как публика, под влиянием паники, пожалуй,

сразу потянет из всех банков свои вклады, и, как пишут в газетах, оно готово в этом случае идти на помощь к банкам. Председателем лопнувшего банка был молодой еще почти человек, некто Полянский, который, если ты помнишь, жил рядом с нами в Останкине. Теперь он уже арестован и вместе с ним еще один директор, фамилии которого я не знаю. Прокурорский надзор начал уже следствие. В самом банке происходят раздирающие душу сцены: плачут, бранятся, падают в обморок — ужас, что такое!.. Да хранит тебя бог. Обнимаю и благословляю тебя. Отец твой *Писемский.*

И. С. ТУРГЕНЕВУ

1875 $\frac{\text{октября 29}}{\text{ноября 10}}$ Москва.

Мой дорогой Иван Сергеевич!

Вот, наконец, сын ко мне возвратился из-за границы, что значительно меня успокоило, хотя физические недуги меня продолжают невыносимо мучить да более всего меланхолическое настроение и всевозможные страхи за близких мне людей. Над Москвою, как вы, вероятно, уже слышали и читали, разразился страшный удар: лопнул и рухнул Коммерческий ссудный банк; открылось безобразнейшее мошенничество, акции все ничего не стоят, да и по вкладам вряд ли получить полную сумму. Я, разумеется, не пострадал по своему глубочайшему презрению ко всем нашим частным и так называемым общественным учреждениям. Куда я ни покажусь, меня все называют пророком, вспоминая 2-й акт моей пьесы «Просвещенное время». В ссудном банке проявилось то же самое ......и мошенничество, как и в пьесе моей.

Рекомендованную мне вами девицу Блярамберг я мог рекомендовать Гатцуку (издателю маленькой газеты). Он задал ей перевод, а именно статьи Юльана Шмидта обо мне и об вас, которые она перевела, и перевела очень хорошо. Статейки эти уже пошли.

Вот вам все наши новости. Да даст вам бог здоровья. Остаюсь, дружески пожимая вашу руку, преданный вам *Писемский.*

P. S. Где Анненков, и не можете ли вы сообщить мне его адрес?

И. С. ТУРГЕНЕВУ

[7 февраля 1876 г., Москва].

Мой дорогой Иван Сергеич!

Давным-давно я собираюсь Вам писать, но то недуги, то хлопоты препятствовали тому. Прежде всего скажу вам, что сын мой возвратился уже из-за границы и теперь доканчивает диссертацию об акционерных компаниях, которую, может быть, нынешней весной и защитит. Я сам, несмотря на различные хворости и страшнейшую ипохондрию, написал пьесу «Финансовый гений», которую и препровождаю к вам в двух экземплярах, из каковых один убедительнейше прошу переслать П. В. Анненкову, чего сам не делаю, потому что не знаю, где он пребывает, и напишите ему, пожалуйста, чтобы он хоть двумя строчками уведомил меня о своем местожительстве. Пьеса моя напечатана в маленькой газетке, потому что «Русский Вестник» не принял ее по негодности, и, таким образом, у меня прервалась связь и с последним толстым журналом, которой меня печатал, и я отныне остаюсь без приюта среди многолюдной площади, именуемой Русская литература.

Пьеса, между тем, была уже поставлена на сцене в Москве и имела и имеет большой успех. Нелепости спиритизма, продажная и глупая печать, фальшивые телеграммы, безденежные векселя, видно, слишком уже намерзили в глазах публики, так что меня неоднократно и с громкими рукоплесканьями вызывают и затем словесно благодарят, что я всех сих гадин хоть на сцене, по крайней мере, казню, так как, к сожаленью, прокурорский надзор и суд не до многих еще из них находят юридическую возможность добраться. Да хранит вас бог. Напишите об себе хоть несколько слов. Дружески жму вашу руку *Писемский.*

Е. И. БЛАРАМБЕРГ

Останкино, дача Чубукова
[10—11 августа 1876 г.].

Любезнейшая Елена Ивановна!

Не замедляю отвечать на ваше письмо. Прежде всего радуюсь за ваш успех в редакции «Вестника Европы» и душевно желаю, чтобы роман ваш был скорее окончен и

напечатан. Что касается до нас, то мы живем в Останкине, на даче Чубукова; погода первоначально стояла очень жаркая, а теперь довольно холодная. Сын наш (это, кажется, уж было без вас) защитил свою диссертацию, удостоен звания магистра прав и факультетом избран в доценты на кафедру гражданского процесса; дело теперь стало только за Советом, который окончательно утверждает доцентов и который, по случаю наступившего вакантного времени, не мог собраться.

Что касается до меня, то я по-прежнему ничего не делаю и не могу ничего делать, кроме маленьких хлопот и дрязг по дому. Ипохондрическое настроение владеет мною вполне: ко всякой умственной работе полнейшее отвращение, к письменному столу подойти нет сил.

Тургенев проезжал через Москву, был у нас на даче; совершенно здоров и, по-видимому, в очень хорошем настроении духа.

Письмо это я пишу рукой жены, потому что моих каракуль вы, вероятно, и не разберете. Все мы вам кланяемся и желаем вам одновременно и трудиться и веселиться. Дружески пожимая вашу руку, остаюсь преданный вам.

Писемский.

Н. В. САВИЦКОЙ-БАТЕЗАТУЛ

[16 октября 1876 г., Москва].

Посылаю вам, милейшая Надежда Владимировна, письмо к Майкову, каковое вы можете прочесть и затем уже запечатать. Душевно желаю, чтобы он пособил исполниться вашему желанию. Сегодня, кажется, уехала из Москвы актриса Стрепетова играть в Художественном клубе, именно: Лизавету в «Горькой судьбине»; но вам вряд ли удастся ее видеть: она едет всего на один спектакль. Остаюсь, дружески пожимая вашу руку *Писемский.*

1876 г., октября 16.

М. О. МИКЕШИНУ

[23 февраля 1877 г., Москва].

Почтеннейший Михайло Осипыч! Как вам не грех думать, что я вас не помню? Слава богу, вы напоминали о себе не одному мне, а всей России вашей художествен-

ной деятельностью. Что касается до романа и до бороды Бегушева, то, пожалуй, придайте ему ее и в типе его, когда будете набрасывать карандашом, если можете, постарайтесь сохранить характер лиц Бестужева и Герцена. Касательно же цензурных и редакционных неряшеств (последних, я полагаю, ужасно много), то я сам приеду в Петербург для переговора о сем предмете, но дело только в том, что скоро ли приедет в Москву Прахов. Если скоро, то я его подожду и с ним приеду в Петербург, если же долее двух недель, то я приеду сам в Петербург. Уведомьте меня об этом немедленно, дабы я знал, как распорядиться.

Остаюсь, дружески пожимая вашу руку, *Писемский.*

23 февраля
1877 года.

М. О. МИКЕШИНУ

[10 марта 1877 г., Москва].

Почтеннейший Михайло Осипыч!

Прежде всего, согласно вашему желанию, письменно сим удостоверяю, что я, Писемский, при точном исполнении принятых вами, Микешиным, платежных условий за роман мой «Мещане», то есть по *двести рублей сер. за печатный лист* «Пчелы», обязуюсь последующие части романа, если таковые будут мною написаны, печатать в «Пчеле» и отнюдь не передавать ни в какой другой журнал, и части эти должны быть принимаемы редакцией на тех же условиях, на каких принята и 1-я часть романа.

Сейчас я получил мастерской рисунок ваш: фигура Олуховой, по-моему, совершенно хороша; но Бегушев должен быть и толще и старше, ему уже 50 лет, и у него немного седых волос. И вообще при очень хорошем *думчивом* выражении лица Бегушева в фигуре его как-то мало импозантности, мало *барина,* то есть того, на что есть прекрасный намек в «Короле Лире». Когда этого несчастного короля в пустыне в рубище встречает одно из действующих лиц трагедии, то восклицает: «Король!»— «Почему ты знаешь, что я король?» — спрашивает его Лир.— «В тебе есть *нечто* такое, что говорит, что ты король!» — отвечает ему это лицо. Что барство Бегушева необходимо выразить, это вытекает из внутреннего смысла романа: на Бегушеве-барине пробуются, как на оселке, окружающие его

мещане; не будь его,— они не были бы так ярки; он фон, на котором они рисуются. Затем перехожу к более частным подробностям: волосы у него пусть будут львиная грива и курчавые, но зачесаны назад и не падать на лоб; бороду ему, по вашему желанию, я приделал в романе, но бакены, полагаю, не нужны.

Вот, почтеннейший Михайло Осипыч, мое совершенно откровенное мнение. Воспользуйтесь им, насколько оно, разумеется, будет вам пригодно.

Желая вам полнейшего успеха в вашей иллюстрировке романа и посылая при сем обратно ваш рисунок, остаюсь душевно преданный вам Писемский.

$18\frac{10}{III}77$

И. С. ТУРГЕНЕВУ

19 апреля 1877 г., [Москва].

Мой дорогой Иван Сергеич!

Письмо мое, может быть, и не застанет Вас в Париже, так как есть слухи, что вы думаете приехать в Россию, но все-таки пишу вам и хочу поблагодарить вас, что вы познакомили меня с m-r Дюран: вы решительно радетель в Европе нашей бедной и загнанной беллетристической литературы. Дюран мне между прочим сказал, что вы думаете, что роман ваш «Новь» не имеет в России успеха. Не верьте: вас ввели в заблуждение статейки разных газет; в серьезной части публики он имеет успех и уж, конечно, со временем получит и историческое значение. Правда, что на вас сердятся и консерваторы, за то, что вы мало побранили грядущих в народ юношей, и радикалы, недовольные тем, что вы мало похвалили сих юношей, забывая одно, что художник прежде всего должен быть объективен и беспристрастен и вовсе не обязан писать для услады каких-либо партий. Что касается до меня, то я хоть и сильно прихварываю, но работаю и оканчиваю свой роман «Мещане». Что творится в политике,—вы сами это лучше нас знаете, но вот вам вопрос: московскую публику приводит теперь в восторг итальянский актер Росси, играющий здесь с своей труппой и растолковывающий нам, дикарям, Шекспира. По недугам моим я не ездил его смотреть, но, наконец, собрался и вчера видел его в «Короле Лире». Признаюсь, впечатление мое далеко

было не в пользу сего артиста: он мне показался актером неумным, без всякого внутреннего огня, но с большим стремлением к аффектации, доходящей иногда до балетных приемов. Сын мой Павел, впрочем, говорит, что это последнее свойство вовсе не Росси и что итальянцы вообще очень сильно жестикулируют. Росси, вероятно, был уже в Париже; напишите, пожалуйста, мне: имел ли он там серьезный успех. Да хранит вас бог. Мои вам кланяются. Ваш *Писемский.*

Э. ДЮРАНУ

$1877\frac{14}{VI}$ [Москва].

Любезнейший М-г Дюран!

Премного благодарен вам за высылку мне портрета Бальзака, который у меня красуется уже на стенке. Я несколько позамедлил поблагодарить вас за присылку портрета, потому что все это время был занят окончанием и печатанием моего нового романа, помещенным мною в русской иллюстрации «Пчела». Ждем в Москву Тургенева, который давно уже обещается приехать.

Жена моя, в свою очередь, тоже очень благодарит вашу супругу за намерение прислать ей свой роман, и сверх того вы крайне бы обязали, если бы прислали мне те статьи о русской литературе, которые вы предполагаете печатать.

Остаюсь с моим уважением *Писемский.*

Ф. И. БУСЛАЕВУ

[4 ноября 1877 г., Москва].

Почтеннейший Федор Иванович!

Я до сих пор не успел написать Вам более подробное письмецо в ответ на Вашу присланную мне брошюрку. Причина тому то, что я оканчивал мой роман «Мещане», а еще более того, что я болею. Брошюрку Вашу, как только что получил, я прочел немедленно, и из нее вижу, что Вы от романа, совершенно справедливо считаемого Вами за самого распространенного и прочного представи-

теля современной художественной литературы, требуете дидактики, поучения, так как он *может популяризировать всю необъятную массу сведений и многовековых опытов.* Действительно, не связанный ни трудною формою чисто лирических произведений, ни строгою верностью событиям исторических повествований, ни тесными рамками драмы, роман свободней на ходу своем и может многое захватить и многое раскрыть.

Не достигает ли он этого на практике, как только автор задал себе подобную задачу? Почти безошибочно можно отвечать, что нет! Некоторые романисты нашего века, французские, немецкие и английские, пытались явно поучать публику. В романе у Евгения Сю («Семь смертных грехов») показано, как наказываются на земле смертные грехи; у немцев есть, что какой-нибудь юный лавочник высказывает столько возвышенных мыслей и благородных чувствований, что читатель хочет не хочет, а должен, по-видимому, слушаться сего юноши; у нас Чернышевский в романе своем «Что делать?» назначил современному человечеству даже, какие иметь квартиры и как они должны быть разделены. Но — увы! — это глупое человечество не устрашилось нисколько картинами, представленными Евгением Сю, и продолжает по-прежнему творить смертные грехи; лавочнику никто не верит в искренность его слов, и он все-таки остается лавочником; квартир своих пока никто не делает и не устраивает по плану автора «Что делать?», и всем сим поучительным произведениям, полагаю, угрожает скорое и вечное забвение.

Но не такова судьба больших старых романистов. Беру их на выдержку. Сервантес, вряд ли думавший кого-либо поучать своим «Дон-Кихотом», явил только картину замирающего рыцарства, и она помнится всем читающим миром. Смолет, описавший морские нравы, дал нам такие из меди литые фигуры, по которым хорошо поймет каждый, какого закала английская раса; Вальтер Скотт запечатлел на веки-веченские в умах человечества старую поэтическую Шотландию; даже Жорж Занд, по-видимому, самая тенденциозная писательница — во времена моей и Вашей молодости, Вы, конечно, это помните, она считалась у нас в России растолковательницей и чуть ли даже не поправительницей евангелия, но в этом случае, мне кажется, на нее совершенно клеветали,— Жорж Занд бы-

ла не проповедница, а страстная поэтическая натура, она описывала только те среды, которые ее женское сердце или заедали, или вдохновляли. У нас ни Пушкин, создавший нам «Евгения Онегина» и «Капитанскую дочку», ни Лермонтов, нарисовавший «Героя нашего времени» неотразимо крупными чертами, нисколько, кажется, не помышляли о поучении и касательно читателя держали себя так: *«На, мол, клади в мешок, а дома разберешь, что тебе пригодно и что нет!»*

В Гоголе, при всей высоте его комического полета, к сожалению, в конце его деятельности мы видели совершенно противоположное явление. Сбитый с толку разными своими советчиками, лишенными эстетического разума и решительно не понимающими ни характера, ни пределов дарования великого писателя, он еще в «Мертвых душах» пытался поучать русских людей посредством лирических отступлений и возгласов: «Ах, тройка, птица-тройка!..» — и потом в своем поползновении явить образец женщины в особе бессмысленной Улиньки, после пушкинской Татьяны, и в конце концов в «Переписке с друзьями» дошел до чертиков. Признаюсь, писем с подобными претензиями и в то же время фразистых и пошлых я не читывал ни у одного самого глупого и бездарного писателя.

Но перехожу опять к роману, в отношении которого мое такое убеждение, что он, как всякое художественное произведение, должен быть рожден, а не придуман; что, бывши плодом материального и духовного организма автора, в то же время он должен представлять концентрированную действительность: будь то внешняя, открытая действительность, или потаенная, психическая.

Лично меня все считают реалистом-писателем, и я именно таков, хотя в то же время с самых ранних лет искренно и глубоко сочувствовал писателям и другого пошиба, только желал бы одного, чтобы это дело было в умелых руках. Подкреплю это примером. В конце тридцатых годов сильно гремел Кукольник своими патриотическими драмами и повестями из жизни художников с бесконечными толками об искусстве. И все это мне было противно читать; я инстинктивно чувствовал, что тут нет ни патриотизма, ни драматизма, ни художества, ни художников, а есть только риторические крики! Затем, когда я уже сделался студентом и прочел «Вильгельма Мейстера», не могу описать Вам того благоговейного восторга, кото-

рый овладел мною! Из бесед и разговоров действующих лиц я познакомился с целой теорией драматического и сценического искусства. «Гете,— воскликнул я,— точно выворачивает все мое нутро!..» Он осветил как бы искрой электрической все, что копошилось и в моих скудных помыслах о драматическом искусстве. Потом другой пример. В половине сороковых годов стали появляться писатели, стремящиеся описывать тонкие ощущения и возвышенные чувствования выводимых ими лиц. Бедняжки; они при этом становились на цыпочки, вытягивали, сколько могли, свои мозговые руки, чтобы дотянуться до своих не очень высоких героев, и вдруг, как бы ради уничтожения сего направления, был переведен на русский язык (в «Современнике», кажется) роман Гете «Предрасполагающее сродство» (Wahlverwandschaften), где могучий поэт, видимо, без всякого труда и сверху переставил, как шашки, несколько лиц, исполненных тончайших ощущений и самого возвышенного образа мыслей. Ни дать ни взять, как вол обо... муравьев...

Чувствую, почтеннейший Федор Иванович, что я написал Вам не столько рассуждений и возражений, сколько исповедь своих мыслей и эстетических воззрений. Но что же делать? Так написалось, и в заключение скажу еще два, три слова. Вы мне как-то говорили: «Вы, романисты, должны нас учить, как жить: ни религия, ни философия, ни наука вообще для этого не годятся». А мы, романисты, с своей стороны, можем сказать: «А вы, господа критики и историки литературы, должны нас учить, как писать!» В сущности, ни то, ни другое не нужно, а желательно, чтобы это шло рука об руку, как это и было при Белинском и продолжалось некоторое время после него. Белинский в этом случае был замечательное явление: он не столько любил свои писания, сколько то, о чем он писал, и как сам, говорят, выражался про себя, что он *«недоносок-художник...»* (он, как известно, написал драму и, по слухам, неудавшуюся), и потому так высоко ценил доносков-художников.

Дружески пожимая Вашу руку, остаюсь с пожеланием всего хорошего, а паче всего здоровья

А. Писемский.

1877 г.

Ноября 4.

С. А. УСОВУ

[3—5 декабря 1877 г., Москва].

Любезный друг
Сергей Алексеевич!

Мне нужна для эпиграфа приблизительно такая фраза из Гамлета: *«Злодейство встанет на беду себе, хотя засыпь его землею»*. Но так как на точность моей памяти я не могу совершенно надеяться, Шекспира у меня нет, то и прибегаю к твоей помощи. Уведомь меня, нет ли в Гамлете такого изречения и как его говорят, чем крайне меня обяжешь. *Писемский.*

P. S. Фразу эту я запомнил по переводу Полевого, кроме которого я других переводов и не читал.

В. А. КУЛИКОВОЙ

[25 апреля 1878 г., Москва].

Почтеннейшая Варвара Александровна!

Пишу к вам мое благодарственное письмо рукой жены, потому что сам лежу в постели. Спасибо вам великое! Вчера был у меня Вольф; он, кажется, очень бы не прочь купить мои сочинения, хоть и имеет очень много других предприятий. Он <...> приехал в Москву повидаться со мной. Но, во всяком случае, я очень бы желал видеться с Кирпичниковым, и вы убедительно попросите его заехать ко мне: кроме дела, мне и лично с ним познакомиться весьма желательно.

Даже диктовать дальше нет более сил. Поклонитесь всем вашим, искренно вас уважающий *П.*

P. S. Актерам же петербургским скажите, что я в пьесах моих ничего переделывать не стану.

25 апреля
1878.

М. О. МИКЕШИНУ

[Май 1878 г., Москва].

Почтеннейший Михайло Осипыч!

В одном из ваших писем вы говорили, что не имею ли я чего прислать Вам; я вам написал, что ничего не имею, но потом вспомнил, что у меня есть две пьесы, не бывшие

в печати; участь которых была такова: я написал их еще лет 14 тому назад и предполагал напечатать в Петербурге, но когда в сей град приехал и прочел некоторым из приятелей, те в один голос сказали, что это вещи очень сильные, но печатать их невозможно: в первой из них у отца связь с незамужней дочерью, а во второй выведены семейные распри, убийства и самоубийства. Покойный Федор Иванович Тютчев, у которого я между прочим читал, воскликнул, прослушав пьесы: у вас выведены какие-то кретины самоубийств, этого никогда в жизни не бывало и быть не может! Но,— увы! — на поверку оказалось, что друзья мои ошибались, и я был пророком того, что уже носилось в воздухе, я первый почувствовал и написал, и то, что написал, стало потом повторяться сильно, каждочасно и почти каждосекундно.

В. ДЕРЕЛИ

[Москва] Поварская, Борисоглебский пер., собственный дом,

18 XI/I 1878

Почтеннейший г. Дерели!

Несмотря на физические одолевающие меня недуги, я не замедляю ответить Вам на ваше любезное письмо и прежде всего спешу Вам высказать мое почти удивление тому, что до какой степени вы уже хорошо владеете русским языком: пиша в первый раз по-русски, гораздо лучше излагаете наших газетных фельетонистов и репортеров. Великая честь вашим лингвистическим способностям и вашему, что еще важнее, столь высоко поставленному эстетическому образованию и вкусу. Для нас, русских писателей, это тем более поразительно, что в нашей критике, почти исключительно захваченной за последние пятнадцать лет газетами, царит хаос или, точнее сказать, безобразие, так что даже масса публики, далеко не разборчивая, не читает критических статей и не верит им, потому что все мнения их авторов или пошлы, либо тенденциозны, или невежественны, в некоторых случаях, пожалуй, и продажны! Вместе с этим письмом я посылаю вам тот том моих сочинений, где помещен роман «Тысяча душ». Том этот я, наконец, успел добыть из Петербурга,

и в нем, может быть, вы найдете повторения некоторых статей, которые уже отправлены мною Вам, но это не беда, по пословице: «Лучше переделать, чем недоделать!» Я несказанно обрадован вашим известием, что вы предполагаете перевести мой роман «В водовороте», и когда он будет издан Вами, то весьма бы обязали меня, если бы выслали мне экземплярчик вашего перевода.

Затем, прося принять уверение в совершенном моем уважении, имею честь пребыть

вашим покорным слугою
Писемский.

P. S. Письмо это я осилил написать своей рукой.

М. М. КОВАЛЕВСКОМУ

[10 мая 1880 г., Москва].

Почтеннейший
Максим Максимыч!

Сейчас я получил от г-жи Хвощинской (псевдоним ее В. Крестовский) письмо, которым она просит меня доставить ей билет на имеющееся последовать заседание Общества любителей русской словесности, что я, конечно, и исполню, но независимо от того, я полагал бы, что комитету следует ей тоже послать от себя один билет из числа, которое назначено для писателей, ибо г-жа Хвощинская есть одна из крупнейших женщин-писательниц. Адрес ее таковой: в Рязань, д. Хвощинской, Надежде Дмитриевне Заиончковской. Сыну моему потрудитесь передать, как вы намерены распорядиться.

Преданный вам
Писемский.

1880.
10 мая.

Е. И. БЛАРАМБЕРГ

1880 года, мая 30 [Москва].

Милейшая Елена Ивановна!

Спасибо Вам за весточку, которую Вы дали об себе. Что касается до нас, то все мы живы и здоровы, и, собственно, я лично весь поглощен предстоящим празднованием открытия памятника Пушкина. Это, положа руку на сердце, могу я сказать, мой праздник, и такого уж для

меня больше в жизни не повторится. Обо всех приготовляемых торжествах Вы, вероятно, читаете в газетах, и желательно одно, чтобы они прошли не с обычною русскою бестолковостью. В Москву съехалось очень много моих приятелей и знакомых, и меня почти каждый день кто-нибудь из них посещает на даче, где я теперь живу: а именно в Петровском парке, на Башиловке, на даче актера Садовского. Иван Сергеевич Тургенев тоже здесь, но болен, и я опасаюсь, что не хуже ли, чем обыкновенно, он болеет, потому что у него, говорят, не подагра теперь, а ревматизм в спине. Еду нарочно в город сегодня, чтобы повидать его. Душевно радуюсь, что мои «Масоны» нравятся в Ваших местах. Я почти дописал этот роман до конца, но печататься он, вероятно, будет еще долго. «В водовороте» напечатано в Париже в «Телеграфе», две уже части, и осталась только последняя часть. Сверх того Дерели теперь переводит моих «Мещан», которые тоже будут помещены им в «Телеграфе». Вот Вам все мои новости, более коих я, сидя в моей уединенной дачке, ничего не ведаю, и, затем дружески пожимая вашу руку, остаюсь

искренно преданный Вам

Писемский.

P. S. Жена и сын Вам кланяются.

БИОГРАФИЯ АЛЕКСЕЯ ФЕОФИЛАКТОВИЧА ПИСЕМСКОГО
(титуля<рного> совет<ника>)

Я родился 1820 года, марта 10-го, в усадьбе Раменье, Костромской губернии, Чухломского уезда. Отец мой, Феофилакт Гаврилыч Писемский, родом из бедных дворян, был человек совсем военный: 15-ти лет определился он солдатом в войска, завоевывающие Крым, делал персидскую кампанию, был потом комендантом в Кубе и, наконец, через 25 лет отсутствия, возвратился на родину [в сельцо Данилово, Буевского уезда, Костромской губернии], в чине полковника [Замечательно, что он в Костромскую губернию с Кавказа приехал в сопровождении трех денщиков, верхом на карабахском жеребце, в том убеждении, что нет на свете покойнее экипажа верховой лошади.], и вскоре, женившись на матери моей (Авдотье Алексеевне из роду Шиповых), вышел в отставку и поселился в приданной усадьбе Раменье. Детей у них было десять человек; я был пятый по порядку рождения: все прочие родились здоровенькими и умирали, а я родился больной и остался жив. Детство мое прошло в небольшом уездном городке Ветлуге, куда отец определился городничим; читать и писать меня начал учить воспитанник коммерческого училища купец Чиркин (родной брат покойного актера Лаврова). Второй учитель мой был семинарист Виктор Егорыч Преображенский. [Воспоминание об нем у меня сливается с воспоминаниями о невыносимой скуке, которую испытывал я, заучивая в огромном количестве исключения латинских склонений, а чему еще другому учил он меня, не помню.] Когда мне минуло

десять лет, отец вышел в отставку, и мы снова переехали в Раменье. Здесь мне нанят был учитель старичок Николай Иваныч Бекенев. [Добрейшее существо в мире, из наук большую часть перезабывший, но зато большой охотник писать басни и величайший мастер клеить из бумаги табакерочки, наперстнички, производить самодельные зрительные трубки, микроскопы, каледоскопы, называя все это *умно-веселящими игрушками.*] Он взялся меня учить латинскому языку и всем русским предметам, но упражнял более всего в грамматических разборах и рисовании, как в предметах, вероятно, более ему знакомых. По 14-му году поступил я в Костромскую гимназию во 2-й класс и хотя переходил потом каждый год, но в этом случае был более обязан своим довольно быстрым способностям, чем занятию. Все было некогда. Первоначально развившаяся страсть к чтению романов отнимала все мое время [Кто не знает, в каком огромном числе выходили в 30-х годах переводные и русские романы, и я все их поглощал, начиная с переводов Вальтер Скотта до Молодого Дикого, с Онегина до разбойничьих романов Чуровского.], потом явилось новое увлечение — театр: не ограничиваясь постоянным хождением, на последний четвертак, в раек, я с жившим со мною товарищем устроил свой, на дому, сначала кукольный, а потом и настоящий. [Я постоянно играл комические роли, и больше всего мне удался Прудиус в «Казаке Стихотворце».] В 5-ом классе, с первого заданного периода учителем словесности Александром Федоровичем Окатовым, открылось для меня новое занятие,— я начал сочинять и к концу года написал повесть под названием *Черкешенка.* В шестом и седьмом классе, задумав поступить в Университет, я много занимался, но успел, впрочем, написать повесть *Чугунное кольцо.* Желание мое было поступить на словесный факультет, но, не зная греческого языка, не мог его исполнить и потому поступил (1840 г.) на математический, с целью заняться по преимуществу математическими науками и сделаться со временем свитским офицером; но первый курс прошел в весьма двусмысленных занятиях [Лекции словесности на первом курсе Степана Петровича Шевырева были много тому причиной, вместо того, чтобы заниматься прямыми факультетскими предметами, я сочинял на задаваемые темы. Сочинение мое, сколько помню, под названием *Смерть Ольги* заслу-

жило от почтенного наставника похвалу. В числе одобрительных заметок были им сделаны: *в авторе видна большая ловкость в приемах рассказа.* Я плакал в восторге и продолжал сочинять, переводить, и в результате на экзамене из математики едва получил три балла], и только в остальные три года факультет, так сказать, повлиял на меня своей мыслею: я получил любовь к естественным наукам, открывшим передо мной совершенно новый мир идей и осмыслившим природу, которая до того времени казалась мне каким-то собранием разнообразных и случайных явлений. Литературные занятия были забыты [Но сыграть на театре оставалось по-прежнему предметом страстных помышлений, и, наконец, оно исполнилось: в 1844 году, в апреле месяце, мы, студенты, составили спектакль в зале Римского-Корсакова, против Страстного монастыря; я играл Подколесина в «Женитьбе» Гоголя с большим успехом.], тем более, что прочитанная мною в кругу товарищей повесть *Чугунное кольцо* не только не заслужила одобрения, но вызвала общие порицания. [Она была написана в духе и тоне повестей Рохманова, следовательно, из среды, совершенно мне незнакомой. Это послужило, впрочем, для меня довольно полезным уроком; я с тех пор дал себе слово писать только о том, что сам очень хорошо знаю.] Выпущен я был в 1844 году действительным студентом, и это время вряд ли было не самым грустным и печальным временем моей жизни: я возвратился на родину; отец уж помер в 1843 году, мать была тяжко больна; с маленьким состоянием, без всяких связей, без определенного какого-нибудь специального направления, я решительно не знал, что мне с собою делать, начал скучать, тосковать, мучиться разубеждением в самом себе и, наконец, заболел; поправившись от болезни, в генваре 1845 года начал службу сверхштатным канцелярским чиновником в Костромской палате государственных имуществ, из которой перешел в том же 1845 году, в августе месяце, в Московскую палату государственных имуществ, где в апреле месяце 1846 года сделан был помощником столоначальника, в этом же году я снова обратился к так давно оставленным литературным занятиям и написал роман в двух частях *Виновата ли она?* [Этот роман вовсе не та повесть, которая под этим же названием имеет быть напечатана в «Современнике» 1854 года.], который не был напечатан,

но замечателен для меня тем, что познакомил меня с Александром Николаевичем Островским, писавшим в это время свою первую комедию *Свои люди — сочтемся* и вызвавшим впоследствии меня на литературное поприще. В начале 1847 года я вышел в отставку и снова уехал из Москвы на родину и написал небольшой рассказ *Нина* [Рассказ этот был в 1848 году напечатан в июньской книжке «Сына Отечества» с большими пропусками и прошел совершенно незамеченным.] и *Тюфяка.* В 1848 году 11 октября я женился на дочери покойного Павла Петровича Свиньина, Екатерине Павловне, и поступил в чиновники особых поручений к Костромскому военному губернатору Ивану Васильевичу Каменскому. Служба завладела всем моим временем. Беспрерывные следственные поручения дали мне возможность хорошо познакомиться с бытом простолюдинов и видеть разнообразнейшие страсти людские в самой жизни. В это время я ничего не писал и не читал. *Тюфяк* был заброшен. [Неудача в напечатании романа *Виновата ли она?,* которую редакция по многим причинам находила неудобным принять, и неуспешность рассказа *Нина* лишила меня надежды когда-либо напечатать *Тюфяка,* и я несколько раз хотел его уничтожить вместе с другими ненужными бумагами.] В 1850 году по представлении начальника губернии определен ассесором Костромского губернского правления, и получил от А. Н. Островского через одного из моих друзей приглашение к участию в «Москвитянине», в котором и был напечатан *Тюфяк* в 19, 20, 21 №№, а вслед за тем напечатана в «Москвитянине» 1851 года, в 3, 4, 5 №№, повесть *Брак по страсти.* В 21 № рассказ *Комик.* В 1 № 1852 года комедия *Ипохондрик,* в 17 № очерки *M-r Батманов.* В 21 № рассказ *Питерщик.* Кроме того напечатано в «Современнике» роман *Богатый жених* в №№ 10, 11, 12, 1851 года и в 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 1852. В 1 № 1853 года комедия *Раздел* и в 11 № рассказ *Леший.* В генваре 1854 года я вышел в отставку.

ПРИМЕЧАНИЯ

МАСОНЫ

Стр. 12. *Папье-фаяр* — буковая бумага (от французского народного названия бука fayard).

Стр. 19. *Соединенные Друзья, Палестина* и пр.— названия масонских лож.

Тамплиеры — духовно-рыцарский орден, основанный в XII веке.

Стр. 20. *Квакеры* — одна из протестантских сект, возникшая в Англии в середине XVII века.

Индепенденты — английские религиозные общины, возникшие в начале XVII века.

Стр. 22. *...с золотыми ключами Петра.*— Речь идет об апостоле Петре, хранителе ключей от рая.

Стр. 28. *Лампа Берцелиуса* — спиртовая лампа с двойным током воздуха.

Стр. 30. *Неофит* — новообращенный в какую-либо религию *(греч.)*.

Стр. 47. *«Шуми, шуми, послушное ветрило»* — строки из элегии А. С. Пушкина «Погасло дневное светило».

Стр. 51. *Гаусркнехт* — слуга *(нем.)*.

Стр. 52. *Табльдот* — общий обеденный стол в гостиницах, пансионах, на курортах *(франц.* table d'hôte).

Стр. 54. *Герольд* — вестник, глашатай.

Стр. 55. *Коммерш* — попойка, пирушка *(нем.* Commers).

Стр. 56. *Киршвассер* — вишневый напиток *(нем.)*.

Стр. 65. *Эдвин* (585—633) — король Нортумбрии с 617 года, принявший христианство.

Стр. 86. *Адоратер* — поклонник, обожатель *(франц.)*.

Стр. 87. *Марина Мнишек* (ум. после июля 1614 г.) — жена первого и второго Лжедмитриев, польская авантюристка.

Стр. 88. *Амфитрион* — гостеприимный хозяин *(греч.)*.

Народный гимн.— Речь идет об официальном гимне Российской империи «Боже, царя храни».

Стр. 97. *Рубикон* — ставшая нарицательной река, служившая в древности границей между Цизальпинской Галлией и Италией.

Стр. 105. *«Довольно мне пред гордою полячкой унижаться!»* — неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов».

Стр. 130. *...как этот дуб...* — Речь идет о песне «Среди долины ровныя, на гладкой высоте», на слова А. Ф. Мерзлякова (1778—1830).

Стр. 139. *Сирах* — вернее, Иисус Сирахов, автор одной из библейских книг, написанной около двух столетий до нашей эры.

Стр. 140. *Сион* — гора близ Иерусалима, на которой была расположена столица древней Иудеи.

Стр. 146. *...башмаков еще не износила...*— слова Гамлета из одноименной трагедии Шекспира в переводе Н. А. Полевого (1796—1846), акт 1-й.

Стр. 174. *Луи-Филипп* (1773—1850) — французский король (1830—1848).

Тюильри — королевский дворец в Париже, построенный в XVI веке.

Ламартин Альфонс (1790—1869) — знаменитый французский поэт и политический деятель.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер-анархист, организатор парижских революционных рабочих в 1848 году.

Негласный комитет — образован 2 апреля 1848 года под председательством реакционера князя Д. П. Бутурлина (1790—1849), в связи с чем назывался «бутурлинским».

Философию поручено было читать попам.— После назначения министром народного просвещения князя П. А. Ширинского-Шихматова (1790—1853) философия была совсем исключена из программ русских университетов, а чтение курсов логики и психологии было поручено докторам богословских наук.

ДРАМАТУРГИЯ

ГОРЬКАЯ СУДЬБИНА

Впервые драма напечатана в «Библиотеке для чтения», 1859, № 11. Точных данных о начале работы автора над драмой не сохранилось. Как видно из письма И. А. Гончарова к П. В. Анненкову от 20 мая 1859 года, к этому времени было написано не менее первых двух действий драмы: «Сегодня я... попал вечером к Писемскому... Он пишет драму, один акт которой читал всем оставшимся после Вас, между прочим, и Тургеневу. Драма из крестьянского быта: мужик уезжает в Питер торговать, а жена без него принесла ему паренечка от барина. А мужик самолюбивый, с душком, объясняется с барином, шумит; жена его не любит, но боится. Силы и натуры пропасть: сцены между бабами, разговоры мужиков — все это так живо и верно, что лучше у него из этого быта ничего не было» [1]. После смерти писателя, в 1881 году, его вдова и сын записали данные, относящиеся к лету 1859 года: «Он жил около Петербурга на даче, когда были написаны первые три акта. Гуляя однажды вечером, он встретил Мартынова и зазвал его послушать трагедию. Прослушав написанные три акта, Мартынов пришел в восторг. «Как ты думаешь, могу ли я сыграть Анания?» — спросил он. Алексей Феофилактович, зная до того времени Мартынова за превосходного комика, весьма удивился такому вопросу и усомнился в способности Мартынова

---

[1] А. Г. Цейтлин. И. А. Гончаров. М., 1950, стр. 400.

сыграть эту роль; но последний утверждал обратное и хотел непременно, чтобы эта роль была дана ему. «А как ты намерен окончить пьесу?» — снова спросил Мартынов.— «По моему плану,— отвечал Писемский,— Ананий должен сделаться атаманом разбойничьей шайки и, явившись в деревню, убить бурмистра».— «Нет,— возразил Мартынов,— это нехорошо! Ты заставь его лучше вернуться с повинной головой и всем простить». Эта мысль так понравилась Алексею Феофилактовичу, что он изменил план и окончил пьесу, как указано было Мартыновым» [1]. Вариант этого же рассказа, восходящий непосредственно к самому Писемскому, записан А. Н. Витмером [2]. Закончена драма была 19 августа 1859 года, как указано в журнальной публикации. 9 октября драма была представлена в С.-Петербургский цензурный комитет, в котором рассмотрение ее было поручено историку С. Н. Палаузову. Уже на следующий день драма была Палаузовым беспрепятственно пропущена. Однако по доносу князя П. П. Вяземского «Горькая судьбина» 18 октября была затребована министром народного просвещения Е. П. Ковалевским, а С. Н. Палаузов от исполнения обязанностей цензора был отстранен. Повторное рассмотрение драмы было поручено цензору И. А. Гончарову. Как видно из рапорта Гончарова от 12 ноября 1859 года, «по исключению и переделке автором некоторых мест» «Горькая судьбина» была вторично разрешена к печати. В письме к Гончарову от 21 января 1875 года Писемский говорит: «Вы «Горькой судьбине» дали возможность увидать свет божий в том виде, в каком она написана» [3],— но каковы именно изменения текста «Горькой судьбины», произведенные автором по требованию цензуры в октябре — ноябре 1859 года,— остается неизвестным.

Писемский представил свою драму на четвертый конкурс драматических произведений на соискание наград имени графа Уварова. По условиям конкурса, первая (большая) премия присуждалась только одна; это поставило Писемского в очень тяжелое положение, так как одновременно на конкурс была представлена драма А. Н. Островского «Гроза», получившая положительные отзывы. Между тем оба официальных рецензента «Горькой судьбины», славянофил А. С. Хомяков и сторонник «чистого искусства» Н. Д. Ахшарумов, отозвались о драме Писемского крайне отрицательно. По мнению Хомякова, например, «Горькая судьбина» представляет собою «крайне нехудожественное целое». Председатель Второго отделения Академии наук академик П. А. Плетнев, один из ближайших друзей А. С. Пушкина, решительно не согласился с мнениями Хомякова и Ахшарумова и представил на конкурс свое особое мнение о драмах Островского и Писемского. В нем он, между прочим, писал: «Автор с изумительным знанием обдумал все до одной черты в составе картины, столь новой по содержанию и столь трудной по исполнению. Она так органически отработана, что нет возможности не испортить целого, отнявши какую-нибудь часть для отдельного рассмотрения» [4]. В результате этого вмешательства П. А. Плетнева для

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы Академии наук СССР, архив П. В. Анненкова. Анненков в 1882 году опубликовал этот текст с существенными изменениями, не указав на его источник.

[2] «Исторический вестник», 1915, № 5, стр. 473—474.

[3] А. Ф. Писемский. Письма. стр. 285.

[4] Отчет о четвертом присуждении наград графа Уварова 25 сентября 1860 года. СПб., 1860, стр. 33—41.

четвертого конкурса было сделано исключение, и большие премии были даны Островскому и Писемскому на равных основаниях.

Писемский придавал Уваровскому конкурсу тем большее значение, что его драма все еще не могла получить доступа к театральной сцене. Разрешение в результате усиленных хлопот было получено только в середине июля 1863 года. Однако разрешение это было действительно лишь для императорских театров и столичной сцены вообще. Право постановки «Горькой судьбины» на сцене народных театров принесла с собою лишь революция 1905 года.

В первых (любительских) постановках драмы в Москве главные роли исполняли: автор (Ананий Яковлев) и Н. В. Савицкая-Батезатул (Лизавета). Постановки драмы в Александринском театре в Петербурге (с 18 октября 1863 года) были крайне неудачны, так как труппа театра оказалась неподготовленной к сценическому воплощению крестьянской жизни. Особенно слаба была исполнительница роли Лизаветы М. О. Петрова (дочь знаменитого певца). Отзыв об этой постановке имеется в статье М. Е. Салтыкова[1]. Значительно удачнее были постановки московского Малого театра, начавшиеся на месяц позднее. Главные роли здесь исполняли: Пров Садовский (Ананий), С. В. Шумский (Чеглов-Соковин), Х. И. Таланова (Матрена), П. Г. Степанов (Никон), И. В. Самарин (Золотилов) и другие. В роли Лизаветы соперничали высокоодаренные актрисы Е. Н. Васильева-Лаврова и Л. П. Никулина-Косицкая. Соперничество это — один из важнейших моментов сценической истории драмы Писемского. Васильева и Никулина-Косицкая явились основоположницами двух совершенно противоположных толкований сценического образа героини драмы. Одно из этих толкований (Никулиной-Косицкой) приближалось к авторскому замыслу и объективному смыслу образа. Второе толкование нарушало общий смысл драмы, но давало ряд выигрышных моментов исполнительнице. Исторические условия способствовали популярности этого второго толкования, превращавшего Лизавету в мученицу и поборницу раскрепощения женщины. То, что было намечено Васильевой, позднее было с изумительной силой воплощено гениальной П. А. Стрепетовой, ставшей главной исполнительницей роли Лизаветы с конца шестидесятых до середины девяностых годов.

Художественные особенности реализма Писемского вызвали чрезвычайно разноречивые толкования и оценки «Горькой судьбины». Из всех статей, посвященных драме Писемского, наиболее замечательны статьи революционного демократа М. Л. Михайлова (1860), театрального критика А. И. Урусова (1881) и выдающегося знатока античной трагедии И. Ф. Анненского (1906). В последней из этих статей, между прочим, говорится: «...Писемский написал *чисто социальную* драму и в то же время без всякой тенденции. Я сказал «тенденции», а не идеи, потому, что могу только дивиться той близорукой критике, которая не видела обилия идей в творчестве Писемского... Идеи Писемского внедрялись в самый процесс его творчества, приспособлялись к самым краскам картины, которую он рисовал, выучивались говорить голосами его персонажей, становились ими, и только вдумчивый анализ может открыть их присутствие в

[1] М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полное собрание сочинений, т. V, М., 1937, стр. 161—175. Статья впервые опубликована в 1863 году.

творении, которое поверхностному наблюдателю кажется литым из металла и холодным барельефом. Вовсе не мы решаем, читая Писемского, а сам Писемский понимал, что крепостничество пустило свои корни далеко за пределами помещичьих усадеб, что оно исказило русскую жизнь и надолго отравило ее цветы своим зловонным дыханием»[1].

Текст «Горькой судьбины» печатается по последнему прижизненному изданию (1874) с исправлениями по всем предшествовавшим изданиям.

САМОУПРАВЦЫ

Впервые трагедия напечатана в журнале «Всемирный труд», 1867, № 2 (февраль). Написана она была летом и осенью 1865 года и закончена 31 октября. 11 ноября 1865 года Писемский начал хлопоты о поставке трагедии на сцене, в связи с чем временно дал ей название «Екатерининские орлы». Острый социальный конфликт трагедии внушал цензурным органам страх, вследствие чего разрешение было получено лишь к началу 1866 года, и то с исключением наиболее нецензурных мест. Дошедшая до нас рукопись «Екатерининских орлов» дает нам представление об одной из первоначальных редакций пьесы. Приводим некоторые места из нее.

Действие IV, явление I, после пятой реплики:

Митрич *(несколько озадаченный подобным замечанием)*. Мельник пустой человек, так и быть тому надо... *(Возвращаясь снова к прежнему разговору.)* Теперь государи, братец, тоже баринов от мужиков очень отличают: государыня-императрица скольким господам вотчины надавала, а мужику, небось, ни одному, потому самому не стоит... Вот теперь тебя сделай барином, сумеешь ты быть?

Филька *(засмеявшись)*. Нет, дядя, не сумею.

Митрич. То-то и есть. На все тоже надо, чтобы родился человек. Обирай почище около окон...

Действие V, явление IX.

Тот же и Рыбак с подвязанной черной бородой, одетый в обыкновенную крестьянскую чуйку и подпоясанный ремнем, на котором висят коновальские принадлежности.

Рыбак *(оглядев комнату внимательно)*. Что же, Петр Григорьич, долго ли нам дожидаться тут?

Девочкин. Да ты погоди, братец! Человек помирает, что мне тут делать?

Рыбак. Как нам годить тут, помилуйте? Мы не то, что народ вольный, может ходить везде открыто без страху! Вы сами сказали, что как дочку освободим, вы сто рублей нам дадите.

Девочкин. Ну и будет все это.

---

[1] И. Ф. Анненский. Книга отражений. СПб., 1906, стр. 91—92.

Рыбак. Будет, пожалуй, другое!.. Мне своих парней и не унять. Они на селенье хотят идти. Я волен над ними только днем, а как солнце сядет, они, пожалуй, и меня самого свяжут. Исправник тоже теперь скрылся: того и гляди с командой подойдет!

Девочкин. А зачем вы князя ранили так?.. Будь он здоров, сдался бы на капитуляцию, все бы тогда было: и деньги, и пиво, и вино!

Рыбак. Было бы уж!.. Пустые одни слова только говорите... Еще дворянин!

Девочкин. Ну, коли так, так убирайся к черту, ничего у меня нет про вас! Сейчас вот губернатор приедет сюда, всех вас выдам ему!

Рыбак. От вас только и чай этого!.. Не сегодня шаромыжничаете... Впутался я только в это глупое дело, право!

Девочкин. Ты не груби мне!

Явление X

Те же и вбегает Рыков с двумя охотниками.

Рыков (*показывая на Рыбака*). Каналья, куда забрался! Берите, вяжите его!

Девочкин. Так и надо!.. Он беглый с Колыванских заводов, там уж два раза кнутом его дули!

Охотники кидаются на Рыбака.

Рыбак. Ну да, так вот сейчас и дамся вам! (*Выхватывает из-за пазухи кистень, отмахивается им, потом бросается к окну, свистит и выскакивает; ему отвечают несколько свистков.*)

Рыков (*выскакивая вслед за ним с охотниками*). Врешь, не уйдешь!

Девочкин (*тоже выскакивая за ними*). Не уйдешь, бестия, словим!

Сцена остается некоторое время пустою. Слышны крики и выстрелы.

В XIII явлении «дворянин средних лет» говорит губернатору: «Нам, ваше превосходительство, от этих богачей и знатных жутко тоже приходится».

Одновременно с возбуждением ходатайства о допуске пьесы на сцену Писемский представил ее на соискание Уваровской премии. В конкурсе, кроме Писемского, приняли участие А. Н. Островский («Воевода, или Сон на Волге»), А. К. Толстой («Смерть Иоанна Грозного»), Д. В. Аверкиев, А. А. Потехин и другие драматурги. Ни одному из них премия присуждена не была. Рецензент трагедии Писемского академик А. В. Никитенко в своем отзыве обвинял автора в протоколизме: «Пьеса «Самоуправцы» возбуждает вдвойне тяжелое впечатление. Читатель или зритель, принужденный понести на своем сердце бремя всех этих безобразных фактов, не вознаграждается никакою мыслию, которая бы оправдывала, оразумливала,

если можно так выразиться, очеловечивала их»[1]. Однако в своем отзыве Никитенко открывает причину своего отрицательного отношения к трагедии Писемского: ему не нравится вся реалистическая литература шестидесятых годов.

В основу своей трагедии Писемский положил подлинные события, происходившие в середине девяностых годов XVIII века в костромском поместье Н. Ф. Катенина — Занино. По данным В. В. Касторского, «в подвалах своего дома он пытал и истязал крестьян»[2].

«Самоуправцы» впервые были поставлены в Московском Малом театре 17 января 1866 года. Под свежим впечатлением от первых спектаклей Писемский писал П. В. Анненкову: «Письмо ваше я получил как раз вскоре после представления на сцене моей пьесы, которая имела громадный успех, так что теперь третье представление и уже билетов за день нет»[3]. Не меньший успех имела трагедия и на петербургской сцене. Это обстоятельство вынуждены были признать даже недоброжелательно отнесшиеся к «Самоуправцам» рецензенты. В дальнейшем широкую известность приобрела постановка «Самоуправцев» в Московском художественно-общедоступном театре (ныне МХАТ) в 1898 году при участии К. С. Станиславского (Платон), А. Р. Артема (Девочкин), И. М. Москвина (подьячий) и В. В. Лужского (Сергей Имшин).

Текст трагедии печатается по изданию 1874 года с исправлениями по автографу и предшествующим изданиям.

Стр. 263. *Медиатор* — посредник (*франц.*).

Дискур — разговор (*франц.*).

ХИЩНИКИ

Впервые комедия опубликована в измененном по цензурным условиям виде под названием «Подкопы» в журнале «Гражданин», 1873, №№ 7—10 (11 февраля — 5 марта).

20 августа 1872 года А. Ф. Писемский писал Н. С. Лескову: «...пьеса моя еще окончательно мною не отделана и не раньше может быть окончена вполне, как к половине сентября, а потом я сам думаю приехать в Петербург к 22 сентября и привезу пьесу с собой...» Отвечая на это письмо, Н. С. Лесков известил Писемского, что «добрые слухи» о его новой пьесе уже проникли в печать[4]. С рукописью своей только что законченной комедии А. Ф. Писемский приехал в Петербург в конце сентября 1872 года и выступил с чтением ее в кругу избранных слушателей у А. А. Краевского. Пьеса произвела сильное впечатление на присутствовавшего среди приглашенных А. В. Никитенко, в дневнике которого 5 октября появилась следующая запись: «Комедия эта лучшее произведение его. Не знаю только, как он сладит с цензурою. Он хочет напечатать ее в «Гражданине» князя Мещерского. Писемский превосходно читает, и мне кажется, что кто слышал его комедию из его уст, тому не следует идти в

---

[1] А. В. Никитенко. Три литературно-критических очерка. СПб., 1866, стр. 13.

[2] В. В. Касторский. Писатели костромичи. Кострома, 1958, стр. 57. См. также «Русская старина», 1912, т. 152.

[3] Письма, стр. 197.

[4] Там же, стр. 248, 695.

театр на ее представление: она, наверное, будет сыграна там гораздо хуже, чем в чтении автора» [1].

Судьба рукописи крайне тревожила автора. Комедия была включена под заглавием «Подкопы» в издававшийся В. П. Мещерским «Сборник Гражданина» (книга вторая), но не вышла в свет по обстоятельствам, не зависевшим от редакции сборника. «Пьесу мою прихлопнула цензура: ее вырезали из сборника Мещерского. На меня это страшно подействовало!..» [2] — уведомил Писемский Лескова. Он обращался к Краевскому, Никитенко, Гончарову с просьбой выяснить причины цензурного запрета. И. А. Гончаров в письме от 4 декабря 1872 года сообщил Писемскому: «Я спрашивал о причине задержки и получил в ответ, что единственная причина — это щекотливость высшей администрации, которую Вы затронули в живой картине интриг и взаимного подшибательства» [3].

Интересные подробности записал 6 декабря А. В. Никитенко: «Был у меня Писемский. Комедии его не пропускает цензура. Он объяснялся с Тимашевым (министром внутренних дел.— *С. Е.*), который объявил ему, что комедия может пройти, если он спустит действующих лиц пониже, то есть директоров и товарищей министров оставит в покое. Он тоже объяснялся с Лонгиновым (начальником Главного управления по делам печати.— *С. Е.*), но тщетно. Когда Писемский спросил у него: «Как же и о чем писать?»,— тот отвечал ему: «Лучше вовсе не писать». Автор обещал, однако, исправить свою пьесу, то есть не ставить действующих лиц в разряд высших чиновников, а просто отделаться общими характерами» [4].

В то же время в газете «С.-Петербургские ведомости» от 1 декабря 1872 года (№ 330) было опубликовано объявление о выходе из печати второго сборника «Гражданина» с извещением о том, что «по причинам, редакциею не предусмотренным, комедия А. Писемского «Подкопы» возвращена автору. По получении от автора, она будет доставлена г.г. подписчикам особо».

А. Ф. Писемскому пришлось немедленно приступить к переработке «Подкопов» в направлении, более приемлемом для цензуры. Позднее, уже после того, как комедия в переработанном виде появилась в газете «Гражданин», автор в письме к А. В. Никитенко от 16 марта 1873 года утверждал, что существенных изменений, вызванных соображениями цензурного характера, «пьеса не потерпела нисколько: я всего только и сделал, что в перечне действующих лиц уничтожил титулы; в самом же тексте не произошло никаких перемен за исключением тех немногих, которые я сам сделал чисто уже в видах художественного улучшения» [5]. Это заявление, однако, наполовину не соответствовало действительности, будучи рассчитано на возможное содействие А. В. Никитенко в качестве рецензента по присуждению Уваровской премии за лучшие драматические сочинения: Писемский решил представить «Подкопы» на соискание премии и старался рассеять всякие сомнения в «цензурности» своего произведения.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) хранится авторизованная копия первых двух действий

---

[1] А. В. Никитенко. Дневник, т. III, М., 1956, стр. 254.
[2] Письма, стр. 250.
[3] Там же, стр. 698.
[4] А. В. Никитенко. Дневник, т. III, 1956, стр. 262.
[5] Письма. стр. 252.

первоначального текста этой комедии, частично также третьего и четвертого действий; текста пятого действия в рукописи недостает. Листы с первоначальной редакцией пьесы (датированной 1872 годом) во многих местах заклеены написанными на бумажных полосах позднейшими авторскими исправлениями. После произведенной расклейки оказалось возможным сличить первую (доцензурную) редакцию комедии с редакцией, приближенной к требованиям цензуры.

В результате переработки писатель, несомненно, достиг известных «художественных улучшений» в литературном и сценическом отношениях: были устранены некоторые длинноты, выразительнее стали отдельные диалоги, последовательнее получились характеристики персонажей (в особенности Вуланда). Все же в большинстве случаев изменение текста свидетельствует о явном снижении уровня изображаемой в пьесе социальной среды; автор вовсе не ограничился тем, что «уничтожил титулы» в перечне действующих лиц, он должен был поневоле согласиться с необходимостью спустить их вообще «пониже», оставив в покое «директоров и товарищей министров».

Так, в тексте комедии опущена бывшая в первоначальной редакции ремарка после списка действующих лиц: «Действие происходит в Петербурге». Далее в рукописном тексте комедии упоминались «чиновники департамента», то есть тоже петербургские департаментские чиновники одного из министерств. Упоминался и вновь назначенный «товарищ министра», занимавший ранее должность директора департамента. В печатном издании пьесы товарищ министра не совсем вразумительно именуется просто «товарищем» и лишь в списке действующих лиц назван товарищем «главного начальника ведомства».

Если директор министерского департамента в рукописи носил титул «высокопревосходительства» (а не просто «превосходительства»), то товарищ министра представлялся уже совсем «высокопоставленной особой», которая «будет иметь личный доклад к государю». Особа «государя» не раз фигурировала за кулисами обличаемых в пьесе темных бюрократических махинаций: к нему собирается пойти с жалобой директор Вуланд, к нему хочет ехать с повинной граф Зыров, на его же мнение ссылается близкий ко двору князь Михайло Семеныч. Жену нового товарища министра князь встретил «во дворце на бале» (а не на «бале у австрийского посла»).

Понятно, что, наученный горьким опытом, автор тщательно вымарал все упоминания о государе и дворце. Он постарался также приглушить сатирическое звучание строк, осмеивающих придворное окружение: «...если мальчика отдали в пажеский корпус, то он будет непременно свитский генерал, потом генерал-адъютант и потом министр, член государственного совета, а если в училище правоведения поступит, то будет министром по гражданской части».

Остросатирические характеристики представителей высшей бюрократии автором смягчались, устранялись наиболее резкие черты в обрисованной им картине ожесточенной борьбы чиновничьих честолюбий, «интриг и взаимного подшибательства».

Главный герой, карьерист Андашевский (ранее именовавшийся Вандашевским), в рукописной редакции комедии был очерчен не-

сколько полнее и в более отрицательном виде: подчеркивалась вся «низость его характера». По происхождению из разночинцев, мелкий чиновник, он сумел войти в доверие к графу, «главному начальнику ведомства» (то есть министру), служил у него секретарем, «жил только что не в конуре, питался на четвертаковый обед», стараясь прослыть честным тружеником. В то же время он сошелся с богатой женщиной из светского общества, которая его «приютила, приголубила и почти содержала», бросила для него своего мужа, рассорилась со своей матерью, братьями и «все состояние почти прожила для него». У нее на квартире Андашевский берет «трепещущими от радости руками» взятку акциями в триста тысяч и «относит их к своей подруге» на сохранение до завтра. Потом назначенный товарищем министра, он «после 15 лет привязанности» расходится со своей возлюбленной: «...чтож такое в подобных отношениях значит высокая особа или нет!» — замечает по этому случаю жена директора Вуланда. Андашевский женится теперь на дочери графа, своего начальника, типичной авантюристке, которую нисколько не смущают разговоры о том, что ее муж, «породнившись с папа́, будет позволять себе всевозможные злоупотребления». В своем супруге она находит сходство не с кем другим, как с Сперанским, таким же плебеем, на которого тоже клеветали, завидовали его возвышению, а между тем «он стоит теперь уже на памятниках». Сам же Андашевский, ставши зятем министра, метит поступить уже «на место папеньки».

В образе графа Зырова первоначально резче обозначался контраст между его положением как главы ведомства и его поведением, моральными качествами, вкусами: «подмазанной и подвитой, в розовом галстучке, в коротеньком пиджаке, словом, до неприличия молодо одетый, но, впрочем, с гордой осанкой и с явной привычкой повелевать» — таков этот молодящийся сановник. Целое состояние он растратил на «французских актрис и балетных фигуранток». По словам дочери, он прожил и ее деньги, доставшиеся ей по наследству от матери, и не дал в том «никакого отчета». Андашевский уверяет, что на службе он двадцать лет работал за графа и что теперь семидесятилетнему старику «трудно... становится заниматься: толкуешь, толкуешь ему — едва вразумишь». У «сумасшедшего старика» к тому же крутой характер. «Деспот, каких мир, я думаю, не представлял»,— возмущается Андашевский.

Внесценическим персонажем пьесы является «его сиятельство», князь Михайло Семеныч, занимающий самый высокий пост в правительственной иерархии; от него, облеченного властью, зависят назначения и увольнения министров. В доцензурной редакции пьесы его рекомендовали «единственным у нас государственным человеком» (позже рукой автора исправлено: «это единственный у нас человек с государственным взглядом на вещи»). По обыкновению таких высоких лиц, он жалуется на «безлюдье», на то, что некем заменить выжившего из ума старика: способных людей «один, два да и обчелся». Подходящим кандидатом на административный пост он считает только Каргу-Короваева (фамилия совсем в стиле Салтыкова).

Полнейшая беспринципность «единственного государственного человека» сказывается в том, кому он покровительствует: смотрителем Крестовоздвиженской богадельни он устраивает бывшего

управляющего своими именьями Варнуху (иначе Кувыркина, по первоначальному варианту), собственноручно избивавшего рабочих на заводе и получившего за это чин генерал-майора. Должность директора департамента доверяют племяннику «его сиятельства», камергеру Мямлину — «идиоту», «жулику», «негодяю», «прощелыге», делающему карьеру «по милости великосветских тетушек и сестриц». Обрисовка Мямлина в первой редакции пьесы отличалась гротескностью, даже шаржированностью: ходит он, «вихляя толстым задом», «лицо у него перекашивается, и он начинает мычать почти как бык»; это, говорит Мямлин, «пляска св. Витта, болезнь, которою, наконец, страдал царь Навуходоносор»; при этих словах он «сильно мычит». Впрочем, «передергиванье на лице» у него прекратится, как только ему «дадут Владимира» (имеется в виду орден св. Владимира.— *С. Е.).*

Писемский рисовал действующих лиц прямо с натуры. Читатели и тем более цензоры искали в «Подкопах» намеков на определенных лиц, представителей правящей верхушки и столичного светского общества. Замаскировать черты этих «подлинников» (жизненных прототипов) было в интересах автора, стремившегося протащить свою пьесу через цензурный «шлагбаум». Этим, может быть, объясняются произведенные в авторской рукописи замены имен и фамилий действующих персонажей (Зуров — Хмуров — Зыров; Марья Петровна — Марья Сергеевна; Ольга Михайловна Батаева — Ольга Петровна Басаева и др.).

Но и без намеков на «личности» пьеса полностью сохранила свое злободневное значение. Получился резкий драматический памфлет на продажность, карьеризм, произвол и бездарность царской администрации, на «египетскую проказу» взяточничества, спекуляций акциями, алчности, моральной распущенности, маразма аристократических верхов.

Трудно было рассчитывать, чтобы пьеса с такой разоблачительной тематикой могла быть в то время отмечена академической премией, о чем хлопотал писатель (между прочим, по совету И. А. Гончарова) после напечатания «Подкопов» в 1873 году. А. В. Никитенко, вопреки своему прежнему мнению о «лучшем произведении» Писемского, дал о пьесе уклончивый отзыв; он отдал предпочтение драме «Ваал» того же автора, которая все-таки тоже не удостоилась Уваровской премии.

Безуспешными остались и настойчивые попытки добиться разрешения поставить «Подкопы» на сцене.

Н. С. Лесков вспоминал, что Писемский «совсем расстроился от множества неудач, которые встретил при хлопотах об устройстве этой пьесы. С ней все шло как будто заклятое,— и даже самое заглавие ей долго не давалось» [1]. Действительно, на титульном листе рукописи ЦГАЛИ набросаны один за другим следующие варианты заглавий: «Большие замыслы», «Бескровная битва», «Битва гражданская», «Подкопы». Удачнейший вариант — «Хищники» — в цензурном отношении оказался наименее приемлемым; по выражению Писемского, он вынужден был «обеститулить» свою пьесу [2].

В 1880 году, незадолго до смерти, писатель вновь обратился с ходатайством о снятии с «Подкопов» запрещения театральной

---

[1] «Петербургская газета», 1885, № 264.
[2] Письма, стр. 250.

цензуры, адресуясь на этот раз к начальнику Главного управления по делам печати Н. С. Абазе. Началась длительная переписка. Абаза, получив благоприятный для автора отзыв цензора драматических сочинений П. И. Фридберга, запросил мнение директора департамента государственной полиции барона И. О. Велио, который, проявив неожиданный либерализм, тоже признал «возможным комедию эту к представлению допустить». Однако товарищ министра внутренних дел М. С. Каханов не согласился с бароном Велио, наложив на его отношении резолюцию: «Ответ неудовлетворительный». Писемского, несмотря на все старания его и близких ему, опять постигла неудача. Комедия «Подкопы», по его словам, «едва, едва пропущенная цензурой для печати», так и осталась «совершенно воспрещенной для постановки на сцену» [1].

Только в 1905 году было получено разрешение на постановку «Хищников». Комедия была поставлена под этим названием в Петербурге в октябре 1905 года и имела успех.

Текст комедии, уже набранный для второго сборника «Гражданина», но вырезанный цензурой и уничтоженный полицией в конце 1872 года в количестве 3 тысяч экземпляров,. до сих пор не разыскан. Первоначальная (наиболее острая) редакция комедии дошла до нас лишь в отрывках. В настоящем издании печатается промежуточная редакция, хотя и. смягченная автором, но более соответствовавшая его замыслу, чем текст, публиковавшийся при его жизни. Печатается комедия по изданию А. Ф. Маркса (1911), с проверкой по сохранившейся части автографа.

Стр. 320. *Благёрствовать* — хвастать, привирать (*франц.* blaguer).

ВААЛ

Впервые драма напечатана в журнале «Русский вестник», 1873, № 4 (апрель).

Над этой пьесой Писемский работал, по-видимому, в первые месяцы 1873 года. В первой половине марта этого года она была уже закончена, и Писемский решил представить ее вместе с комедией «Подкопы» («Хищники») на соискание Уваровской премии. С этой целью он обратился за содействием к академику А. В. Никитенко. В письме к нему от 16 марта 1873 года он так характеризовал тему этой драмы: «...кроме «Подкопов» я написал еще новую пьесу «Ваал». Из самого заглавия вы уже, конечно, усматриваете, что в пьесе этой затронут вряд ли не главнейший мотив в жизни современного общества: все ныне поклоняются Ваалу,— этому богу денег и материальных преуспеяний, и который, как некогда греческая Судьба, тяготеет над миром и все заранее предрекает!.. Под гнетом его люди совершают мерзости и великие дела, страдают и торжествуют» [2].

Никитенко дал пространный и весьма благоприятный отзыв о «Ваале», отметив прежде всего важность и злободневность его темы, типичность выведенных характеров. «...со стороны характеров,— писал он,— пьеса г. Писемского отличается замечательным достоинством. Все они верны текущей действительности, которую автор имел

[1] Письма, стр. 391, 812, 813.
[2] Там же, стр. 252.

в виду... Притом лица, выведенные автором на сцену, не олицетворения каких-нибудь понятий, а живые действующие лица... Архитектоническая сторона пьесы представляет стройное, хорошо сложенное целое. Нет растянутости, столь обыкновенной во многих из наших литературных произведений, ничего, что не относилось бы к основной идее» [1]. Однако академическая комиссия не признала пьесу достойной премии.

Первое представление «Ваала» состоялось 12 октября 1873 года на сцене Петербургского Александринского театра в бенефис Н. Ф. Сазонова. Спектакль этот вызвал многочисленные и крайне противоречивые отзывы печати. Большинство даже тех рецензентов, которые были явными апологетами буржуазии и никогда не сочувствовали передовой молодежи, обвиняли Писемского в стремлении очернить «молодое поколение». Конечно, главной причиной такого рода отзывов была резкая антибуржуазная направленность пьесы Писемского. Но в то же время нельзя не учитывать и того факта, что сценическое истолкование «Ваала» актерами Александринского театра могло дать повод для таких отзывов. Писемский был невысокого мнения о труппе этого театра. Не доверяя петербургским режиссерам, он всегда стремился принять непосредственное участие в подготовке своих пьес к представлению на Александринской сцене. Так было и на этот раз. Однако ему, очевидно, не удалось сколько-нибудь существенно повлиять на характер актерского исполнения «Ваала». В этом отношении очень ценно свидетельство сына драматурга — Н. А. Писемского. «Что касается до твоей пьесы,— писал он,— то во второй раз она прошла с гораздо большим успехом, чем в первый... но из этого не следует, чтоб актеры играли лучше. Напротив того: они играли хуже, но они играли во вкусе публики Александринского театра. Пожинать лавры на этот раз пришлось Струйской, Подобедовой и Жиду (то есть исполнителю роли Руфина Ф. А. Федорову. Струйская и Подобедова соответственно исполняли роли Клеопатры Сергеевны и Евгении Николаевны.— *М. Е.*). Каждая сцена, в кой они участвовали, вызывала шумные и продолжительные рукоплескания. В игре Струйской и Подобедовой не было прежней сдержанности и прежнего старания: они развязались, произносили свои монологи с подчеркиванием наиболее эффектных мест — одним словом, делали все, чтобы угодить грубому и неразвитому вкусу александринской публики,— и достигли своей цели» [2].

На сцене Московского Малого театра «Ваал» был впервые представлен 15 ноября 1873 года. В этом спектакле принимали участие И. В. Самарин (Бургмейер), Г. Н. Федотова (Клеопатра Сергеевна), Н. А. Никулина (Евгения Николаевна), М. А. Решимов (Мирович), С. В. Шумский (Куницын), Н. И. Музиль (Руфин), К. Ф. Берг (Самахан). Эти выдающиеся мастера сцены верно почувствовали и сумели донести до зрителя антибуржуазный пафос пьесы, вернув ей таким образом ее подлинный смысл. Именно поэтому в постановке Малого театра на первом плане оказался образ Клеопатры Сергеевны в истолковании Г. Н. Федотовой, а не третьестепенная фигура Руфина.

Текст драмы печатается по изданию 1874 года.

---

[1] Письма, стр. 702.
[2] Письма, стр. 571.

ПРОСВЕЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Впервые драма напечатана в журнале «Русский вестник», 1875, № 1 (январь).

12 октября 1874 года Писемский сообщил своей петербургской знакомой В. А. Куликовой: «Новую комедию мою я уже кончил, и с нее теперь переписывается два экземпляра для отправки в Петербург, и после следующей субботы я прочту ее некоторым приятелям моим и некоторым актерам; я немедленно пошлю ее в Петербург в главное управление цензуры, от которой, впрочем, не может быть никакой опасности, и, послав, вас уведомлю, а также и Нильского, чтобы он похлопотал о скорейшем пропуске ее в цензуре и Театральном комитете. Что касается до заглавия, то я его не решил еще и имею предположение назвать ее или 1) «Компания по выщипке руна из овец», или 2) «Сумасшедшая женщина», или 3) «Проблики». На котором из них остановлюсь и сам еще не ведаю» [1].

Через неделю, то есть 20 октября, Писемский действительно отослал «Просвещенное время» в Главное управление по делам печати. Но после этого, по-видимому, под влиянием советов и замечаний друзей и актеров он решил внести в пьесу некоторые изменения, оказавшиеся в итоге столь существенными, что изменили самую ее жанровую природу. 4 ноября 1874 года он писал А. Н. Майкову: «...я послал ее (пьесу.— *М. Е.)* несколько спеша, будучи далеко недоволен ее окончанием. Теперь я это окончание изменил и вместе с этим письмом отправил это измененное окончание к актеру А. А. Нильскому, который хлопочет о моей пьесе и которого я прошу, чтобы он свез это перемененное окончание к театральному цензору... Перемена эта состоит в том, что прежде главная героиня (Софья Михайловна Сырдарьялова) в конце пьесы просто уходила, а теперь она за кулисами застреливается. Мне это необходимо потому, что это, как сам ты увидишь, изменяет смысл всей пьесы и несказанно возвышает ее нравственное значение» [2].

Вопреки ожиданиям Писемского, цензура отнеслась к его новой пьесе резко отрицательно. «Автор комедии,— писал цензор Фридберг,— изображает картину упадка нравов в современном обществе и с этой целью представляет ряд более или менее цинических картин из быта семейного и общественного. Таким образом, хотя цель комедии и похвальная, но в настоящем своем виде она заключает в себе слишком много цинических сцен и потому не может быть разрешена к представлению» [3]. На основании того, что цензор называет пьесу комедией, можно судить, что он читал ее первую, еще не переработанную редакцию. Писемский вынужден был предпринять специальную поездку в Петербург, чтобы снять этот запрет. По требованию цензора он внес в текст пьесы какие-то дополнительные изменения, о чем тот же Фридберг писал так: «Ныне автор, приняв к руководству поставленные ему на вид цензурные указания, устранил из сказанной пьесы все места и частности, которые вызвали ее запрещение, и, кроме того, написал новые заключительные сцены, которые придали драме его еще более рельефный благонамеренный характер. Поэтому цензор признавал бы справедливым

---

[1] Письма, стр. 272.
[2] Там же, стр. 274—275.
[3] Н. В. Дризен. Драматическая цензура двух эпох, стр. 256.

переделанную ныне автором пьесу «Просвещенное время» безусловно допустить к представлению» [1].

После разрешения драмы в ее текст были внесены еще некоторые, по-видимому, весьма незначительные изменения, в частности переменены были фамилии двух действующих лиц, о чем Писемский уже после напечатания «Просвещенного времени» сообщил цензору: «...покорнейше прошу приказать в процензурованном экземпляре фамилию Сырдарьялова переменить просто на Дарьялова, а фамилию Адатурова — на Аматурова, то есть, как они напечатаны. Сделал это я затем, что первая из этих фамилий была очень длинная, а к второй существует в Москве близко подходящая, и господа, ее носящие, могут обидеться» [2].

Первое представление пьесы состоялось 30 января 1875 года на сцене Московского Малого театра. Успех спектакля в какой-то степени был предопределен тем, что в январе 1875 года праздновалось двадцатипятилетие литературной деятельности Писемского. «Вчера сыграли в первый раз мою пьесу,— писал драматург сыну.— Сама пьеса принята публикой восторженно: со 2-го акта меня начали вызывать по несколько раз, чего никогда прежде не бывало: авторов обыкновенно вызывали по окончании пьес, а тут публика как будто не вытерпела и поспешила меня оприветствовать!» [3].

«Просвещенное время» вызвало многочисленные и крайне разноречивые отзывы. Многие рецензенты писали о грубости и прямолинейности как основных качествах этой пьесы Писемского. В противоположность этому мнению отмечалась выпуклость, убедительность выведенных драматургом характеров. Такой тонкий знаток драматургии, как И. А. Гончаров, писал об этой пьесе: «Она мне показалась умна, жива, искусно задумана и чрезвычайно удачно ведена, как будто вылитая сразу из одного куска металла.

Но что в ней лучше всего — это обе героини. Д а р ь я л о в а и Н а д я — обе — женственны. Это настоящие женщины: очерк горничной Н а д и — сделан мастерски...

Кроме того, пьеса нравственна — обнажая грубые понятия о нравах и жалкие отношения обоих полов друг к другу — в *просвещенное время!* Последняя сцена в саду... глубоко трогательна, даже без пистолетного выстрела» [4].

П. В. Анненков особо отмечал жанровую новизну драмы: «Меня не удивляет ее успех на сцене, ибо крупные характеры и крупная интрига пьесы, намеченные чрезвычайно твердою рукою, должны были произвести большой эффект. Так и должны писаться политические комедии, которые всегда сродни памфлету, и родства этого стыдиться не должно. В последнее время вы сделались отцом драматического памфлета и сказываете в этом новом роде мастерство, не подверженное сомнению. Продолжайте разрабатывать этот новый род и не изменяйте своей манеры: род этот очень важен, очень полезен и сбережет ваше имя и вашу память в людях современных и будущих» [5].

В настоящем издании пьеса печатается по тексту «Русского вестника».

---

[1] Письма, стр. 713.
[2] Там же, стр. 296.
[3] Там же, стр. 292.
[4] Там же, стр. 724.
[5] Там же, стр. 727.

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

Очерки, печатающиеся в настоящем издании, впервые были опубликованы в 1857 году. Эти очерки, по замыслу Писемского, должны были явиться первой частью цикла. «Возвратясь из путешествия по Астраханской губернии, куда я был командирован по распоряжению Морского министерства для составления статей в «Морской сборник»,— писал он Ф. П. Врангелю 20 ноября 1856 года,— имею честь представить при сем Вашему высокопревосходительству, для напечатания в сборнике, первый отдел моих путевых очерков, собственно по Астраханской губернии, а также и морские мои поездки»[1].

Над этими произведениями Писемский, очевидно, начал работать, еще находясь в литературно-этнографической экспедиции, организованной Морским министерством, «в Астраханскую губернию и к прочим прибрежьям Каспийского моря».

В экспедиции Писемский пробыл, как можно судить из «Дела о командировании литераторов в разные края России для собрания сведений до морской части относящихся»[2], с 9 января по 9 ноября 1856 года.

В его задачу, как и в задачу других членов экспедиции, «молодых даровитых литераторов», входило «исследование быта жителей, занимающихся морским делом и рыболовством». Эти сведения чрезвычайно интересовали царское правительство, стремившееся после поражения России в Крымской кампании, а также в связи с ростом промышленного капитала активно колонизовать окраину. Но часто экспедиции, организуемые с целью изучения экономического состояния края, достигали нежелательных для правительства результатов. В частности, богатый материал, собранный Писемским во время пребывания в Астрахани, поездок по Каспийскому морю и посещения Баку, позволил писателю разоблачить колонизаторскую политику царизма. Сохраняя в своих очерках верность реальным фактам, нигде не стараясь смягчить краски, Писемский создает мрачную картину бедности и отсталости юго-восточной и южной окраин царской России. Он дает понять своему читателю, что в условиях господства феодально-крепостнического строя жители этих окраин, «малые народы», обречены на вымирание.

Готовя текст очерков для издания Ф. Стелловского, Писемский объединил их с печатавшимися в 1857 — 1860 годах в «Библиотеке для чтения» очерками «Татары», «Астраханские армяне» и «Калмыки» под общим названием «Путевые очерки». Других, более существенных изменений в издание Стелловского писатель не вносил, ограничившись заменой некоторых оборотов, выражений и слов.

Из изменений, внесенных в посмертные издания Писемского, следует отметить неудачное присоединение во втором, посмертном издании Полного собрания сочинений (изд. Вольфа, 1895—1896 гг.) в качестве восьмой главы к «Путевым очеркам» статей «Пребывание черноморцев в Москве» и «Прием черноморцев в Астрахани». Эта ошибка была повторена в последующих изданиях сочинений Писемского. Статьи, присоединенные к «Путевым очеркам», впервые появились в «Морском сборнике» (1856, кн. 6, апрель). Первая

---

[1] Письма, стр. 102.
[2] Там же, стр. 613.

была напечатана без подписи, а вторая, снабженная подзаголовком «Письмо в редакцию «Морского сборника»,— за полной подписью Писемского. Содержание первой статьи полностью опровергает принадлежность ее Писемскому. В ней изображены события, происходящие в Москве с 16 по 29 февраля 1856 года, свидетелем которых Писемский не мог быть, так как находился в это время в Астрахани.

В настоящем издании очерки печатаются по изданию Ф. Стелловского с исправлениями опечаток по предшествующим, прижизненным публикациям.

АСТРАХАНЬ

Впервые очерк под названием «Путевые очерки (Астрахань)» был напечатан в журнале «Морской сборник», 1857, кн. 2.

В основу произведения легли впечатления Писемского от пребывания в Астрахани. Срок выезда писателя в Астрахань точно не установлен. Но по сохранившемуся письму его к жене можно полагать, что во второй половине февраля 1856 года Писемский был уже в Астрахани. 19 февраля этого года писатель сообщал жене: «...пишу к тебе уж и из Астрахани, сидя в теплом номере, уже несколько отдохнувши после адской усталости, переехав Волгу на салазках, которые везли калмыки» [1].

Своеобразный город на юго-восточной окраине России и его пестрое население привлекли внимание Писемского и вызвали у него глубокий интерес: «Астрахань — это непочатое дно для описаний: не говоря уж о губернии, самой город точно явившийся после столпотворения Вавилонского и неслитно до сих пор оставшийся: Калмык со своим языком, кочевой кибиткой, идолами, Армянин более православный, Армянин более католик, Татарин со своим языком и магометанским толком, Персиянин со своим языком и другим магометанским толком, Русский мужик, Немец, Казак — все это покуда наглядно еще режет мой глаз, но сколько откроется, когда еще внимательнее во все это вглядишься...» [2].

Прожив некоторое время в Астрахани, изучив ее окрестности, Писемский был поражен крайней нищетой и бедностью, открывшейся перед ним. «В благословенном крае — Саратовской и Астраханской губернии я чуть было не умер с голоду, квасу, яиц нет в деревнях»,— писал он в письме к А. А. Краевскому 20 февраля 1856 года.

Писемский не был лишь пассивным наблюдателем астраханской действительности. Он стремился понять характер и нравы нерусских обитателей города. «...в Астрахани вожусь с Армянами и Татарами»,— пишет писатель А. А. Краевскому 2 июня 1856 года [3].

Точная дата выезда Писемского из Астрахани неизвестна. Но о том, что в сентябре он был уже в Москве, мы узнаем из письма В. П. Боткина к И. С. Тургеневу от 29 сентября 1856 года. «У Островского встретил я Писемского — бледного, исхудалого, больного,— тень прежнего Писемского,— сообщал И. С. Тургеневу В. П. Боткин.— Он приехал сюда лечиться. Островский говорит, что

---

[1] Письма, стр. 91.
[2] Там же, стр. 94—95.
[3] Там же, стр. 98.

у него развилась ипохондрия. Дело в том, что Писемский начитался медицинских книг и нашел в себе многие болезни» [1].

Стр. 493. *Мочаг* — мелководный, илистый, заросший камышом морской залив.

Толмач — в древней Руси должностной официальный переводчик, посредничавший в беседе между русским человеком и иностранцем.

Стр. 494. *...в сентябре месяце (7064 г.).* — Здесь дата дана по старому церковному летосчислению. По новому летосчислению — 1556 год.

Стр. 497. *Раскат* — вал, насыпь или укрепление.

Стр. 503. *Хлибит, хляба* — мокрый снег, слякоть.

Чуха (чоха) — верхняя одежда с широкими откидывающимися рукавами.

БИРЮЧЬЯ КОСА

Впервые очерк напечатан в журнале «Морской сборник», 1857, кн. 4.

Первоначальным наброском очерка является письмо Писемского к жене от 25 марта 1856 года (см. настоящий том, стр. 574).

Стр. 504. *Брандвахта* — сторожевое судно в порту.

БАКУ

Впервые очерк под названием «Поездка в Баку» был напечатан в журнале «Морской сборник», 1857, кн 4.

Писемский выехал из Астрахани в Баку по приглашению астраханского губернатора контр-адмирала Н. А. Васильева. Последний должен был установить, возможно ли в Баку создать порт. Очевидно, эта поездка была совершена в апреле или в начале мая 1856 года. В письме к жене из Астрахани Писемский 25 марта 1856 года сообщал: «На той неделе я, вероятно, поеду в море настоящее, в Баку» [2], а уже 17 мая он писал А. В. Дружинину: «Письмо ваше я получил, только что возвратившись из Баку, куда ходил морем, совершая первой раз морское путешествие...» [3].

В Баку Писемский пробыл три дня. За это короткое время писатель сделал много ценных наблюдений, которые и легли в основу очерка. Писемский приехал в Баку, когда последний был небольшим уездным городом Шемахинской губернии. Городская власть тогда принадлежала уездному начальнику и коменданту. Печать феодальной отсталости и запустения лежала на всем облике города. Ее-то и заметил зоркий глаз писателя. Подлинного этнографа, Писемского заинтересовало и азербайджанское (его тогда называли татарским) население города. Он улавливает своеобразие внешнего облика бакинских «татар», знакомится с содержанием азербайджанского народно-поэтического предания о Девичьей башне, выясняет названия национальных музыкальных инструментов, описывает со всеми подробностями национальную пляску.

Писатель приехал в Баку, когда его нефтяные богатства почти не находили никакого применения. Нефть добывалась в самых не-

---

[1] В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, 1851—1869, М., 1930, стр. 92.

[2] Письма, стр. 96.

[3] Там же, стр. 97.

значительных количествах и самым первобытным способом. Она выкачивалась из простых колодцев бурдюками, то есть мешками из кож животных, смазанных нефтью. Но, несмотря на это, Писемский изображает Баку как город нефти.

Стр. 510. *Астрабадские крейсера* — здесь начальники астрабадских судов.

Астрабад — город в Иране, ныне переименованный в Горган.

Стр. 513. *Гебры* — современные последователи зороастрийской религии в Иране.

ТЮК-КАРАГАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ И ТЮЛЕНЬИ ОСТРОВА

Впервые очерк был напечатан в журнале «Морской сборник», 1857, кн. 4.

В основу очерка легли наблюдения Писемского, сделанные им во время путешествия по Каспийскому морю. 2 июня 1856 года писатель сообщал А. А. Краевскому: «Каспийское море изъездил уж вдоль и поперек, я был в Баку, был в Тюк-Караганском полуострове, на Тюленьих островах...» [1].

СТАТЬИ И ПИСЬМА

СОЧИНЕНИЯ Н. В. ГОГОЛЯ, НАЙДЕННЫЕ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ. ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА, ИЛИ МЕРТВЫЕ ДУШИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Статья впервые опубликована в «Отечественных записках», 1855, № 10.

В своих художественных произведениях 40—50-х годов Писемский выступает как крупнейший последователь Гоголя. Современники справедливо усматривали в нем одного из талантливых учеников Гоголя и наиболее яркого представителя натуральной школы. Закономерно поэтому, что в области литературно-критической деятельности Писемского заметным явлением стала его статья о II томе «Мертвых душ» — одна из первых статей, посвященных этому произведению.

26 октября 1855 года Писемский сообщал М. П. Погодину: «Написал я статью о Гоголе... Сказал, по крайнему своему убеждению, о нашем великом мастере *правду;* многие на меня, знаю, теперь восстанут, но верю в одно, что с течением времени правда останется за мной» [2].

Еще до появления в печати II том «Мертвых душ» вызвал оживленные толки как в среде славянофилов (отдельные главы читались, например, у Аксаковых), так и у представителей другого лагеря (в частности, у И. С. Тургенева, который имел возможность познакомиться с несколькими главами в рукописи). При этом реакция была, конечно, совершенно различной. Аксаковы безоговорочно приняли II том «Мертвых душ». В. С. Аксакова 29 августа 1849 года писала М. Г. Карташевской, что «Гоголь все тот же, и еще выше

---

[1] Письма, стр. 98.
[2] Там же, стр. 87—88.

и глубже во втором томе»[1]. Более конкретно высказался К. С. Аксаков, который, сообщая брату (И. С. Аксакову) о чтении Гоголем второй главы II тома «Мертвых душ», писал в январе 1850 года: «Она для меня несравненно выше первой. Улинька, генерал, жизненные отношения и столкновения этих и других лиц не выходят у меня из головы. Чем дальше, тем лучше»[2].

На И. С. Тургенева II том «Мертвых душ» также произвел сильное впечатление. Но в противоположность Аксаковым он смог увидеть в этом произведении и его слабые стороны. П. В. Анненкову 2 апреля 1853 года Тургенев писал: «Довелось мне слышать отрывки из первых двух глав продолжения «Мертвых душ» — вещь удивительная, громадная — но что такое фантастический наставник Тентетникова — Александр Петрович — что за лицо — и какое его значение? — Не нравится мне также Улинька: ложью — (виноват!) ложью несет от нее...»[3].

Литературно-критические взгляды Писемского сложились под влиянием Белинского, хотя последовательным учеником его как в области философско-эстетической, так и в вопросах социальных Писемский не был. Статья его о II томе «Мертвых душ» в некоторых своих теоретических предпосылках сближается с взглядами Дружинина. Однако, когда Писемский переходит к анализу конкретных историко-литературных явлений, он высказывает суждения совершенно в духе Белинского и деятелей натуральной школы. Так, например, он дает меткие и верные характеристики писателей догоголевского периода, неизменно подчеркивая свое отрицательное отношение к прозе Марлинского и Загоскина, драматургии Полевого, к патетическим и риторическим стихотворным произведениям Кукольника, напыщенной поэзии Бенедиктова.

Очень важно отметить, что Писемский сходится с Белинским в оценке так называемых лирических отступлений в I томе «Мертвых душ». Писемский считал, что Гоголь — великий юморист, но не лирик, ибо весь его «лиризм поглощается юмором». Он находил, что под влиянием лирических отступлений в I томе «Мертвых душ» друзья Гоголя, питавшие «полную веру в лиризм юмориста», «ожидали от него идеалов и поучений», что, по мнению Писемского, несвойственно вовсе природе таланта Гоголя, представляет слабую сторону его. Отрицательно оценивая лирические отступления в I томе «Мертвых душ», Писемский, по существу, повторял то, что в 1846 году высказал Белинский в статье, посвященной второму изданию этого произведения. Белинский видел в лирических отступлениях, то есть в тех местах, где «из поэта, из художника силится автор стать каким-то пророком и впадает в несколько надутый и напыщенный лиризм», «важные недостатки» I тома «Мертвых душ»[4].

В оценке ряда образов II тома «Мертвых душ» к Писемскому оказался близок Н. Г. Чернышевский, в примечаниях к «Очеркам гоголевского периода» (статья первая), напечатанных в «Современнике» (1855, № 12), давший глубокий анализ этого произведения. Подобно Писемскому, который считал, что попытка Гоголя «сыскать и представить идеалы» превращается в труд «на-

---

[1] «Литературное наследство», т. 58, 1952, стр. 719.
[2] Там же, стр. 724.
[3] «Вопросы литературы», 1957, № 2, стр. 179.
[4] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X. М., 1956, стр. 51.

сильственный», Чернышевский также находил, что «изображение идеалов было всегда слабейшею стороною в сочинениях Гоголя» [1]. С этой точки зрения Чернышевский подходил к оценке образов II тома «Мертвых душ», считая неудачными «многие страницы отрывка о Костанжогло, многие страницы отрывка о Муразове», усматривая в монологах первого из этих героев «смесь правды и фальши» [2]. Резко отрицательно высказался по поводу образа Костанжогло и Писемский, бегло упомянув о Муразове, в котором усматривал решительное преобладание «идеи над формой». Если Писемский сочувственно отозвался о таких образах, как Тентетников, Бетрищев, Петух и его сыновья, то и Чернышевский отметил «превосходно очерченные характеры Бетрищева, Петра Петровича Петуха и его детей» [3].

Появление статьи Писемского о II томе «Мертвых душ» оказалось значительным событием в историко-литературной жизни 50-х годов. Н. А. Некрасов в «Заметках о журналах *за октябрь 1855 года»* отметил, что эта статья «любопытна». Он указал, что в ней есть несколько верных и метких наблюдений (к числу их Некрасов относил все то, что сказано Писемским о Тентетникове, Костанжогло, генерале Бетрищеве и в особенности о Хлобуеве). Кое в чем Некрасов расходился с Писемским (в частности, в осуждении им анекдота о *черненьких и беленьких,* в отказе Гоголю в лиризме на основании отдельных неудачных лирических отступлений в I томе «Мертвых душ» и др.). В заключение Некрасов повторял, что статья Писемского — «приятное явление среди фельетонной мелкоты, на степень которой низошла современная критика» [4].

В первой публикации («Отечественные записки») статья Писемского подверглась цензурной правке. Так, например, во фразе «Кукольник создавал псевдоисторическую русскую драму» слово «псевдоисторическую» заменено было словом «историческую», совершенно менявшим, конечно, оценку Писемским деятельности этого писателя. Был изменен в журнальном тексте и конец этого же абзаца, носивший явно иронический характер. Вместо слов, относившихся к Каратыгину — Ляпунову: «...из-за чего-то горячащегося и что-то такое говорящего звучными стихами»,— в «Отечественных записках» напечатано было: «Благородного и энергического Ляпунова».

Следует отметить также, что во II томе «Сочинений А. Ф. Писемского», изданных в 1861 году, отсутствуют слова: «Зная сам отчасти Россию и...» (следовавшие в журнальном тексте за словом «откровенно» во фразе: «Скажу еще более откровенно: вглядываясь внимательно в живые стороны Костанжогло...»). По-видимому, эту часть фразы выбросил сам Писемский на основании замечания, сделанного Некрасовым. В «Заметках...» Некрасов, процитировав это место, восклицал: «Зачем вы говорите нам о вашем знании России, когда вызвали нас послушать о Гоголе? Это невыгодно для вас...» [5].

Статья печатается по изданию Ф. Стелловского.

Стр. 523... *о произведениях его вообще и о второй части «Мертвых душ»...* — Имеются в виду четыре тома второго шеститомного

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 10.

[2] Там же, стр. 10, 11.

[3] Там же, стр. 13.

[4] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. IX, М., 1950, стр. 345.

[5] Там же, стр. 344.

издания «Сочинений Н. В. Гоголя», вышедшие в 1855 году. Тогда же были опубликованы «Сочинения Н. В Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав)».

...с своими первыми произведениями.— В 1829 году Гоголь опубликовал поэму «Ганц Кюхельгартен» под псевдонимом *В. Алов.* В «Отечественных записках» в 1830 году появилась его повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала». Отрывки из повести Гоголя «Страшный кабан» напечатаны были в «Литературной газете» в 1831 году. Первая книга «Вечеров на хуторе близ Диканьки» вышла в 1831 году, вторая — в начале 1832 года.

...успеху поэта и его последователей...— В 1829 году вышла в свет «Полтава» и две части «Стихотворений А. Пушкина». Часть третья «Стихотворений» появилась в 1832 году и часть четвертая — в 1835 году. Под «последователями» Пушкина подразумевается ряд наиболее видных поэтов, которых по традиции не совсем правильно объединяли в так называемую «пушкинскую плеяду». Сборники их стихотворений выходили отдельными изданиями в 1827 и 1835 годах (Е. А. Баратынский), в 1829 году (А. А. Дельвиг), в 1832 году (Д. В. Давыдов), в 1833 году (Н. М. Языков) и др.

...симпатия, возбужденная историческими романами Загоскина и Лажечникова...— Речь идет о романах М. Н. Загоскина: «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829), «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831), «Аскольдова могила» (1833) — и И. И. Лажечникова: «Последний Новик» (1831—1833) и «Ледяной дом» (1835),— имевших шумный успех.

...Жуковский и Крылов еще жили и писали.— В. А. Жуковский в 1831 году опубликовал «Баллады и повести». К 1835 году относится начало печатания четвертого издания его «Сочинений» в девяти томах, в 1837 году отдельным изданием была напечатана «Ундина». «Басни И. Крылова» (книги 1—8) выходили с 1830 по 1840 год. Девятая книга была включена в «Басни» впервые в 1843 году.

Стр. 524... *напыщенными великосветскими повестями и кавказскими романами...*— Стиль писателя-романтика А. А. Бестужева (Марлинского) отличался обилием метафор, создающих впечатление выспренности, напыщенности. Речь идет о таких его произведениях, как, например, повесть из светской жизни «Испытание» (1830), и о повестях, действие которых происходит на Кавказе: «Аммалат-Бек» (1832), «Мулла-Нур» (1835—1836), и других, полных красочных этнографических подробностей.

...Полевой компилировал драмы... прибегал к колокольному звону.— Н. А. Полевой, сблизившись после закрытия «Московского телеграфа» с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным, стал писать псевдоисторические пьесы. Когда в 1842—1843 годах вышли в свет «Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого», ч. 1—4, то в 3-й части помещен был перевод «Гамлета» Шекспира, а в 4-й — драмы «Смерть или честь!» и «Мать-испанка», содержание которых, по словам автора, было взято из повестей иностранных писателей. Комедию «Солдатское сердце, или биваки в Саволаксе» (2-я часть) Полевой снабдил подзаголовком «Военный анекдот из финляндской кампании», а по поводу исторической были «Иголкин, купец новогородский» (1-я часть) писал в послесловии, что здесь в основу положен анекдот, приведенный Голиковым в его «Анекдотах, касаю-

щихся до Петра Великого». В двухактной «русской были» «Костромские леса» после того как Сусанин сообщает полякам, что «уже давно» послал он в Домнино весть и молодой царь «М. Ф. Романов теперь уже в Костроме — спасен от ваших рук!», Полевой ввел ремарку: *«Слышен отдаленный благовест».*

...выводя на сцену в мужественной фигуре Каратыгина Ляпунова... — Речь идет о пятиактной драме Н. В Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835), в которой В. А. Каратыгин исполнял роль одного из главных действующих лиц — Прокопа Ляпунова. Мнение о том, что пьесы Кукольника «никак не могут быть названы настоящими трагедиями, и тем более трагедиями русскими», Писемский неоднократно высказывал и впоследствии, утверждая, что в пьесах его много «реторически-ходульно-величавых фигур» (Письма, стр. 191, 237).

...Барон Брамбеус... зубоскалил в одном и том же тоне над наукой, литературой и над лубочными московскими романами. — Барон Брамбеус — один из псевдонимов О. И. Сенковского, беспринципного журналиста, с реакционных позиций выступавшего против Гоголя и писателей натуральной школы. Термин «московский роман» был употреблен Сенковским применительно к книге «Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика. Сочинение Х.», изданной в Москве в 1837 г. В «Литературной летописи» «Библиотеки для чтения», говоря об этой книге, Сенковский упоминал и о других сочинениях того же автора («Сокольники», «Танька»), которого он характеризовал как главу «серой литературы» (1837, том 23, отд. VI, стр. 9—11). Далее в той же «Литературной летописи» в действительно не менее развязном тоне Сенковский писал, например, о книжке М. Максимовича «Откуда идет Русская земля, по сказанию Нестеровой повести и по другим старинным писаниям русским» (Киев, 1837), о «Взгляде на математику, основанную на философии», сочинение инженер-капитана Таторинова (СПб, издание императорской Академии наук, 1836, стр. 19—20, 31—32 и т. д.).

...Бенедиктов и Тимофеев звучали на своих лирах... — «Стихотворения» В. Г. Бенедиктова, вышедшие в 1835 году, имели недолговременный, но шумный успех. А. В. Тимофеев издал в том же году «Песни», а в 1837 году — «Опыты» (3 части).

...описания молодых девушек... — Имеются в виду повести из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Стр. 525. *...картинная Аннунциата...* — Аннунциата — героиня отрывка Гоголя «Рим».

...государственный муж и забившийся в глушь чиновник в «Театральном разъезде»... слабы по выполнению. — Имеются в виду господин А, занимающий «государственную должность довольно значительную», и его собеседник, «очень скромно одетый человек» — чиновник из маленького городка. Эти лица были задуманы как выразители положительных идеалов автора «Театрального разъезда».

Стр. 527. *...напустив ему в глаза всякого книжного и житейского тумана...* — Писемский имеет в виду следующее место из IX главы первого тома «Мертвых душ»: «Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем...»

Надобно... с тонким чутьем критику... растолковывать их художественный смысл... — Имеются в виду В. Г. Белинский и его статьи: «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835), «Горе от ума» (1840),

«Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842), «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842), «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» (1842) и др.

...колебать иногда даже пристрастно устоявшиеся авторитеты...— Речь идет о Пушкине. Белинский в статье «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души» писал: «...мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том VI. М., 1955, стр. 259).

...надобно было несколько даровитых актеров...— В «Ревизоре» в роли городничего с громадным успехом выступал М. С. Щепкин. Белинский в 1844 году писал, что при исполнении Щепкиным этой роли «от некоторых сцен становится страшно». В связи с этим находится и утверждение критика о том, что «Ревизор» «столько же трагедия, сколько и комедия» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений. Том VIII. М., 1955, стр. 416). На петербургской сцене роль городничего удачно исполнял И. И. Сосницкий. В роли Хлестакова самому Гоголю нравился С. В. Шумский.

...Критики и рецензенты почти повторяли то же.— Действительно, рецензент «Библиотеки для чтения», разбирая вторую книгу сборника «Новоселье», в которой была помещена «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», сравнивал Гоголя с Поль-де-Коком, ибо у того и у другого сюжеты произведений «грязны и взяты из дурного общества» (1834, т. III, отд. V, Критика, стр. 32). А по поводу I тома «Мертвых душ» «Северная пчела» писала, что «ни в одном русском сочинении нет столько безвкусия, грязных картин...» (№ 119 от 30 мая 1842 года, стр. 475). Н. А. Полевой также находил, что у Гоголя «все исполнено таких отвратительных подробностей, таких грязных мелочей, что, читая «Мертвые души», иногда невольно отворачиваетесь от них» («Русский вестник», 1842, № 5 и 6, Критика, стр. 43).

...Одна газета... неприлично бранилась...— Речь идет о «Северной пчеле»; половина рецензии Н. И. Греча, посвященной разбору I тома «Мертвых душ», состояла из «неправильных» выражений, выписанных рецензентом из этого произведения Гоголя, в котором «язык и слог самые... варварские» (№ 137 от 22 июня 1842 года, стр. 546).

...журнал, куривший фимиам похвал драмам Кукольника, называл творения Гоголя пустяками и побасенками.— Речь идет о «Библиотеке для чтения», в которой Сенковский писал, в частности, в связи с появлением драмы Кукольника «Торквато Тассо»: «Для меня нет образцов в словесности: все образец, что превосходно, и я так же громко восклицаю «великий Кукольник!» перед его видением Тасса и кончиною Лукреции, как восклицаю «великий Байрон!» перед многими местами творений Байрона» (1834, т. I, отд. V, стр. 37). И наоборот, критикуя Гоголя, Сенковский писал о «Ревизоре» как о сочинении, которое «даже не имеет в предмете нравов общества, без чего не может быть настоящей комедии: его предмет — анекдот» («Библиотека для чтения», 1836, т. XVI, отд. V, стр. 42). Это место статьи Сенковского дало Гоголю повод вложить в уста автора в заключительном монологе «Театрального разъезда» такие полные негодования и горечи слова: «Все, что ни творилось вдохновеньем,

для них пустяки и побасенки; создания Шекспира для них побасенки; святые движенья души — для них побасенки...» (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений, т. V, 1949, стр. 170).

...открыл в нем... социально-сатирическое значение, а несколько псевдопоследователей как бы подтвердили эту мысль.— Речь идет о Белинском. Возражая Писемскому, Некрасов в «Заметках о журналах *за октябрь 1855 года»* писал, что Белинский «...выше всего ценил в Гоголе — Гоголя-поэта, Гоголя-художника, ибо хорошо понимал, что без этого Гоголь не имел бы и того значения, которое г. Писемский называет социально-сатирическим» (Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем. Том IX, стр. 342). Под «псевдопоследователями» Белинского Писемский имеет в виду прежде всего, очевидно, В. Н. Майкова, который в статье о «Стихотворениях Кольцова» (1846) писал о Гоголе как о писателе, давшем «надолго нашей литературе направление критическое» (В. Майков «Критические опыты (1845—1847)», СПб, 1891, стр. 115).

...ожидали от него идеалов и поучений...— Имеются в виду В. А. Жуковский и П. А. Плетнев, к которым присоединились затем С. П. Шевырев, М. П. Погодин и семья С. Т. Аксакова, способствовавшие идейному и творческому кризису Гоголя. Значительно позже, в 1877 году, в письме к Ф. И. Буслаеву Писемский высказал ту же самую мысль о Гоголе, что и в данной статье: «Сбитый с толку разными своими советчиками, лишенными эстетического разума и решительно не понимавшими ни характера, ни пределов дарования великого писателя, он еще в «Мертвых душах» пытался поучать русских людей посредством лирических отступлений и возгласов: «Ах, тройка, птица тройка!» (Письма, стр. 365).

Стр. 528 *...представить... и чудную русскую деву...*— Имеется в виду отрывок из главы XI первого тома «Мертвых душ», начинающийся словами: «Но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны...» (Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том VI, 1951, стр. 223).

Стр. 530 *...сколько повестей написано на тему этого характера...*— Имеются в виду: «Герой нашего времени» Лермонтова (1840), «Кто виноват?» Герцена (1845—1846), «Обыкновенная история» Гончарова (1847), «Последний визит» П. Н. Кудрявцева (1844), «Родственники» И. И. Панаева (1847) и др.

Стр. 537 *...она уж есть у нас в лице Татьяны Пушкина...*— Аналогичное мнение высказано было Писемским в 1877 году в письме к Ф. И. Буслаеву, в котором он писал о «поползновении» Гоголя «явить образец женщины в особе бессмысленной Улиньки, после пушкинской Татьяны...» (Письма, стр. 365—366).

Стр. 538 *...укорить автора за анекдот о черненьких и беленьких.*— Речь идет об «анекдоте», рассказанном Чичиковым генералу Бетрищеву (см. один из вариантов II главы второго тома «Мертвых душ». Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Том VII, 1951, стр. 164—166).

Стр. 545 *...родственные тебе... по таланту писателя — Диккенс и Теккерей.*— Упоминание этих двух имен не случайно. Впоследствии в письме к В. Дерели, в 1878 году, Писемский также назвал в числе писателей, которых «изучали» «люди сороковых годов» (в том числе он сам), Диккенса и Теккерея. О связи рассказа «Фанфарон» с «Книгой снобов» Теккерея см. примечания ко II тому настоящего собрания сочинений.

ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ

Статья впервые напечатана в «Библиотеке для чтения», 1861, № 2 (февраль). Она представляет собою первую программную редакционную статью Писемского после перехода журнала под его единоличную редакцию в ноябре 1860 года. Ввиду того, что до этого времени Писемский был соредактором А. В. Дружинина (1824—1864), границы между «дружининским» журналом и журналом Писемского не определялись отчетливо, и под новой редакцией в нескольких книжках также продолжали печататься произведения, принятые к печати еще при Дружинине. Но с 1861 года прежние сотрудники (и прежде всего сам Дружинин) фактически перестали печататься в журнале. В статье о «Подводном камне» Авдеева Писемский впервые решительно отмежевался от эстетических позиций Дружинина — теоретика «искусства для искусства». Эстетические взгляды Писемского были изложены преимущественно в двух статьях — о «Подводном камне» и о рассказе М. А. Маркович (Марко Вовчка) «Лихой человек» («Библиотека для чтения», 1861, № 4). В последней статье Писемский полемизирует с Н. А. Добролюбовым по вопросу о методе изображения крестьянства.

Статья печатается по тексту «Библиотеки для чтения».

Стр. 547. Роман М. В. Авдеева (1821—1876) «Подводный камень» был напечатан в «Современнике», 1860, №№ 10—11. Авдеев — второстепенный либеральный писатель, известность которого связана преимущественно с тремя романами: «Тамарин» (1852), «Подводный камень» и «Меж двух огней» (1868). В связи со своей книгой «Наше общество (1820—1870) в героях и героинях литературы» (1874) Авдеев написал очерк о героине «Тысячи душ» Настеньке Годневой.

«Полинька Сакс» — повесть А. В. Дружинина, напечатанная в «Современнике» в 1847 году и вызвавшая одобрительную оценку В. Г. Белинского в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 г.». Повесть Дружинина развивала мотивы романа Жорж Санд «Жак» (1834).

«Кто виноват?» — роман А. И. Герцена, опубликованный в 1845—1847 годах в «Отечественных записках» и «Современнике».

Стр. 549. *...один из сильнейших мыслителей нашего времени...* — Имеется в виду знаменитый французский критик и поэт Шарль-Огюст Сент-Бев (1804—1869), неоднократно писавший о Вергилии.

Стр. 551. *...войти в самый ад...* — намек на поэму Данте «Божественная комедия», в первой части которой («Ад») поэту сопутствует Вергилий.

...один из этих предшественников. — Имеется в виду А. И. Герцен.

Стр. 555. *Китаизм* — понятие, неоднократно употреблявшееся В. Г. Белинским.

Стр. 560. *«Приключения английского милорда»* — лубочный роман Матвея Комарова «Повесть с приключении аглинского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фредерике Луизе», впервые изданный в 1782 году.

Стр. 562. *Это и прежде было не совсем так...* — Писемский этим подчеркивает, что он, как соредактор А. В. Дружинина, и прежде не разделял «теории искусства для искусства».

В искусстве мы видим... — Даваемое здесь определение искус-

ства отражает материалистические и просветительские черты в мировоззрении Писемского.

...не уступает точным наукам... — Это положение, отражающее не только материалистические, но и позитивистские черты в мировоззрении Писемского, было им развито в статье о «Лихом человеке» Марко Вовчка.

Стр. 564. *Елена* — героиня романа И. С. Тургенева «Накануне» (1860).

ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА

Эпистолярное наследие А. Ф. Писемского представляет собою ценнейший материал для изучения жизни, творчества и мировоззрения писателя. Понимание некоторых произведений писателя едва ли возможно без изучения его писем, которые содержат материал по творческой и цензурной истории ряда важнейших его произведений. Переписка с актерами, исполнявшими главные роли в пьесах Писемского, является также важным источником для воссоздания их сценической истории.

В 1936 году вышло академическое издание писем А. Ф. Писемского, в которое вошло свыше тысячи писем, написанных автором за сорок лет (1840—1880). Это издание в 1957 году было пополнено новой публикацией небольшого количества писем писателя [1]. Ожидается публикация неизданных писем Писемского к И. С. Тургеневу, сохранившихся в парижском архиве последнего. Но эти материалы охватывают часть переписки писателя, более или менее полно сохранившейся лишь за период 1875—1880 годов. Не дошли до нас письма к сыну Николаю (1873—1874), редакционная переписка с журналами «Библиотека для чтения» (1860—1863) и «Искусство» (1860), за небольшими исключениями, письма к М. А. Хану, В. В. Кашпиреву и ряду других лиц.

Настоящим изданием даются избранные письма, имеющие непосредственное отношение к творчеству Писемского. Текст писем печатается по изданию 1936 года с проверкой по сохранившимся автографам.

Стр. 566. *«Банкрут»* — раннее заглавие комедии А. Н. Островского «Свои люди сочтемся», впервые опубликованной в «Москвитянине» (1850, № 6).

Стр. 568. *Герою дается место чиновника.* — Именно этот вариант, за цензурную участь которого опасался Писемский, появился в журнальном тексте рассказа «Фанфарон» в августовской книжке «Современника» 1854 года.

Стр. 569. *Статья Анненкова.* — Имеется в виду статья «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» («Современник», 1854 г., кн. 2; кн. 3, отд. III).

Стр. 570. *«Драматический очерк»* — пьеса «Ветеран и новобранец», являющаяся откликом на восточную войну 1854—1855 годов («Отечественные записки», 1854 г., № 9).

Островский за пятиактную комедию получил... — Имеется в виду комедия Островского «Бедная невеста» (1852 г.).

Стр. 571. *Оду твою я получил.* — Имеется в виду стихотворение

[1] Ученые записки Азербайджанского государственного педагогического института русского языка и литературы имени Мирза Фатали Ахундова, вып. 2. Баку, 1957, стр. 79—92.

Майкова «Памяти Державина», которое до своего опубликования в сборнике А. Н. Майкова «1854 год» ходило по рукам в многочисленных списках.

Как бы ни кричали рецензенты в пользу Фета и Тютчева.— Имеется в виду статья И. С. Тургенева, подписанная инициалами *И. Т.* и напечатанная в апрельской книжке «Современника» 1854 года.

Красоту-красоту — пародийная цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Письмо».

Стр. 572. *Сестра Маша* — сестра Е. П. Писемской, Мария Павловна Свиньина.

«Весенний бред» — стихотворение А. Н. Майкова, впервые напечатанное в апрельской книжке «Современника» 1854 года.

Стр. 573. *Об Островском стали говорить...*— Первая постановка комедии «Не в свои сани не садись», определившая популярность Островского, состоялась в Москве на сцене Малого театра 14 января 1853 года.

Потехинские романы.— Имеется в виду роман-трилогия А. А. Потехина «Крестьянка», печатавшийся в «Москвитянине» 1853 года и вышедший в следующем году отдельным изданием.

«Барышне» — стихотворение А. Н. Майкова, опубликованное впервые в № 4 «Современника» 1847 года.

Стр. 574. *Вчерашнего дня...*— Письмо является первоначальным наброском очерка «Бирючья коса».

Ездил я с адмиралом — с астраханским губернатором, контр-адмиралом Н. А. Васильевым.

Стр. 575. *Надежде Аполлоновне* — Свиньиной, матери Е. П. Писемской.

Стр. 576. *Твои сценки в «Современнике» я прочитал.*— Речь идет о «Праздничном сне до обеда», напечатанном в февральской книжке журнала (1857).

Твоя новая комедия — комедия «Доходное место», опубликованная в кн. 1 «Русской беседы» 1857 года.

...Критич. разборы Дружинина — рецензия А. В. Дружинина на «Очерки из крестьянского быта» Писемского («Библиотека для чтения», 1857, № 1).

Я встретился с Григоровичем в магазине Печаткина.— П. В. Анненков писал 28 февраля 1857 года И. С. Тургеневу: «В пьяном виде, все более и более возвращающемся к нему, Писемский делается ненавистником Григоровича. На днях поймал его в книжной лавке, прижал его в угол и публично стал говорить: «Зачем вы не пишете по-французски своих простонародных романов, пишите по-французски — больше успеха будет». Тот ежился и искал спасения в отчаянной лести, но не умилостивил его» («Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. III, М., 1934, стр. 67).

Стр. 577. *Обе комедии здесь твои пользуются успехом* — комедии Островского «Праздничный сон до обеда» и «Доходное место».

...Вспомнить мой первый роман «Виновата ли она?» — Роман напечатан под заглавием «Боярщина» в «Библиотеке для чтения» 1858 года.

Стр. 578. *Уваров, говорят, назначил...*— Ежегодные уваровские премии за лучшие исторические труды и драматические произведения были учреждены А. С. Уваровым в память его отца С. С. Уварова.

Я тоже назначен членом Комитета.— Членом театрально-литературного комитета Писемский состоял с ноября 1857 по ноябрь 1858 года.

Стр. 579. Письмо к А. А. Краевскому связано с запиской петербургских и московских литераторов, поданной в конце 1861 года в междуведомственный комитет, разрабатывавший вопрос о передаче цензуры из министерства народного просвещения в ведомство министерства внутренних дел.

Стр. 583. *Я с Катковым разошелся.*— Писемский до этого заведовал литературным отделом «Русского вестника».

...желал бы написать и напечатать несколько статеек о Московском театре.— Статьи Писемского до сих пор не обнаружены.

Стр. 584. Ходатайство А. Ф. Писемского, обращенное при посредстве П. А. Вяземского к министру внутренних дел П. А. Валуеву, не привело к желанным результатам; трагедия «Поручик Гладков» осталась под цензурным запретом и к постановке на сцену допущена не была.

Стр. 586. *Что твои «Собаки»?* — Разумеется поэма Я. П. Полонского «Собаки», впервые опубликованная в журнале «Пчела» (№№ 2, 3 и 6).

В газетах я прочел... — в «Русском мире» была напечатана следующая заметка: «Мы слышали, что 25-летний юбилей литературной деятельности А. Ф. Писемского, праздновавшийся на днях в Москве, вызвал в среде литераторов-костромичей желание увековечить это событие изданием литературного сборника. Мысль эта встретила живое сочувствие в среде земляков Писемского, и в сборнике примут участие литераторы, художники и ученые, уроженцы Костромской губернии. Сборник выйдет в нынешнем году и вырученные деньги будут употреблены на какое-нибудь доброе и полезное дело» (1875, № 21). Замысел костромичей осуществлен не был.

Вчера сыграли в первый раз мою пьесу.— Имеется в виду драма «Просвещенное время».

Стр. 587. В датировке письма к Тургеневу у Писемского ошибка: вместо «19 сентября» следует «19 августа». Ошибочность проставленной Писемским даты устанавливается сопоставлением с ответным письмом Тургенева, датированным 14(2) сентября 1875 года.

Стр. 588. *Посылаю Вам стихотворения Алмазова...*— Имеется в виду книга: Б. Алмазов, Стихотворения, Москва, 1874.

...по письму вашему, я был у Юльана Шмидта...— 9 июля нового стиля 1875 года Тургенев писал Писемскому: «...высылаю вам... письмецо к Юлиану Шмидту, который написал такую хорошую статью о «Тысяче душ» и к которому вы сходите вместе с вашим сыном. Не сомневаюсь в том, что он будет очень рад вас увидеть и познакомиться с вами» («Новь», 1886, № 23).

...лопнул... банк.— Правление Московского коммерческого ссудного банка объявило о прекращении платежей по всем видам обязательств 13 сентября 1875 года.

Стр. 589. *...директор, фамилии которого я не знаю.*— Речь идет о Густаве Ландау.

Статейки эти уже пошли.— Статья Ю. Шмидта «Тургенев и Писемский» в переводе Е. Б. (Елены Бларамберг) помещена в №№ 43—44 «Газеты Гатцука» за 1875 год.

Стр. 590. Комедия Писемского «Финансовый гений» была напе-

чатана в №№ 3 и 4 «Газеты Гатцука» 1876 года. 18 января Писемский читал ее в публичном собрании Общества любителей российской словесности (см. «Словарь членов Общества любителей российской словесности при Московском университете». М., 1911, стр. 221).

Письмо к Бларамберг датируется по данным о похолодании в Москве.

Роман ваш.— Речь идет о первом романе Е. И. Бларамберг «Без вины виноватые», начатом летом 1875 года, незадолго до знакомства с Писемским, оконченном в феврале 1877 года и напечатанном под ее псевдонимом Ардов в «Вестнике Европы» за тот же год (кн. 7—8).

Стр. 591. *Посылаю... письмо к Майкову.*— 16 октября 1876 года Писемский писал Майкову о Н. В. Савицкой: «Она замечательная актриса и теперь, перебравшись в Петербург, желала бы возобновить свою сценическую деятельность, но в Петербурге, как в лесу, она никого не знает. Не имеешь ли ты знакомых в вашем клубе художников, чтобы провести ее хоть в сей мирок и дать ей возможность сыграть...» (Письма, стр. 336).

Как вам не грех думать...— 22 февраля 1877 года М. О. Микешин писал Писемскому: «...Может Вы меня и не помните, хотя я не раз брал слово со своего старого московского приятеля, А. Н. Островского, напоминать Вам о моем существовании» (Письма, стр. 748).

Стр. 592. *Что касается ...до бороды Бегушева...*— М. О. Микешин писал: «Я бы со своей чисто художнической стороны заметил, что в высшей степени симпатичном типе Бегушева не хватает густой, коротко подстриженной бороды...»; *Бегушев* — главный герой романа «Мещане».

Касательно же цензурных и редакционных неряшеств...— М. О. Микешин в том же письме писал: «Встретив в рукописи некоторые щекотливые на цензорское ухо места, мы, с другом и товарищем моим Ад. Вик. Праховым, порешили предварительно прочесть ее в среде своих сотрудников...»

Олухова — главная героиня романа «Мещане».

Стр. 593. *Московскую публику приводит теперь в восторг... Росси.*—И. С. Тургенев в ответном письме от 5(17) мая 1877 года выразил согласие с оценкой дарования Росси: «За одно его непозволительное уродование Шекспировского текста его бы следовало осыпать градом гнилых яблок!» («Новь», 1886, № 23, стр. 194).

Стр. 594. *Брошюрку вашу... я прочел немедленно.*— Подразумевается работа Ф. И. Буслаева «О значении современного романа и его задачах», М., 1877.

Стр. 596. *Гремел Кукольник своими патриотическими драмами...*— Подразумеваются драмы Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла» (1834) и «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835). Обе драмы помещены в первом томе «Сочинений Нестора Кукольника» (СПб, 1851).

Стр. 597. *Он, как известно, написал драму.*— В. Г. Белинский написал две пьесы: «Дмитрий Калинин» и «Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь».

Стр. 598. *У меня есть две пьесы не бывшие в печати.*— Писемский имеет в виду две связанные между собой пьесы: «Бывые соколы» и «Птенцы последнего слета».

Стр. 599. *Посылаю вам том моих сочинений.*— Том третий «Сочинений А Ф. Писемского», СПб, 1861.

Стр. 600. *Г-жа Хвощинская есть одна из крупнейших женщин-писательниц...*— О высоком мнении Писемского о творчестве Н. Д. Хвощинской-Заиончковской пишет в своих воспоминаниях Е. И. Бларамберг (см. Письма, стр. 800).

БИОГРАФИЯ АЛЕКСЕЯ ФЕОФИЛАКТОВИЧА ПИСЕМСКОГО
(титуля<рного> совет<ника>)

Публикуемая впервые автобиография А. Ф. Писемского была написана автором по просьбе Московского университета, который в 1855 году праздновал свой столетний юбилей. К знаменательной дате старейшего русского университета готовился ряд юбилейных изданий: история университета, биографические словари его ученых и питомцев и т. д. Издание биографического словаря питомцев, однако, не было осуществлено, и биография Писемского затерялась среди многочисленных бумаг в архиве университета.

Настоящая автобиография значительно отличается от известных уже в печати автобиографических набросков писателя: она является наиболее ранней по написанию (1854 год) и относится к тому времени, когда на эстетические взгляды Писемского имели особенно большое влияние Белинский, Пушкин и Гоголь, а его разногласия с лагерем революционной демократии еще не выявились так рельефно, как в более поздние годы. В этой автобиографии Писемский рассказывает о некоторых неизвестных до сих пор деталях из своей творческой деятельности, представляющих особый интерес. Так, мы впервые узнаем о студенческом сочинении начинающего писателя — «Смерть Ольги», которое до сих пор не найдено. Небезынтересен и другой факт из жизни писателя — время его сближения с А. Н. Островским.

Автобиография была препровождена в университет с письмом от 27 марта 1854 года. В этом письме Писемский, между прочим, писал: «...не зная размеров словаря, я может быть поместил в ней несколько излишних подробностей, которые, впрочем, все отнесены мною в примечания и легко могут по устранению быть оставлены и вычеркнуты».

В настоящей публикации эти «подробности» введены полностью в текст автобиографии и выделены квадратными скобками.

Стр. 602. *Лавров* Николай Владимирович (1805—1840) — выдающийся русский актер, певец-баритон.

Стр. 603. *«Казак-стихотворец»* — комедия А. А. Шаховского (1777—1846).

«Черкешенка» и *«Чугунное кольцо»* — повести юного Писемского, не дошедшие до нас.

Стр. 605. *Свиньин* Павел Петрович (1787—1839) — писатель, основатель журнала «Отечественные записки».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

(к статьям и письмам)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. Ф. ПИСЕМСКОГО

(т. 1—9)

СОДЕРЖАНИЕ

МАСОНЫ.

Роман в пяти частях.

ДРАМАТУРГИЯ

ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

СТАТЬИ И ПИСЬМА

ПОПРАВКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Надо читать*
		Том 1	
51	18 сверху	20 января	21 января
		Том 2	
409	1 сверху	задела	за дела
510	3 снизу	был	было
		Том 7	
235	5 снизу	пугает	путает

А. Ф. ПИСЕМСКИЙ.

Собрание сочинений
в 9 томах. Том 9.

Оформление художника
Г. Фишера.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 15/V—1959 г. Тираж 236 000 экз. Изд. № 856. Зак. 578.
Форм. бум. 84 × 108[1]/32. Бум. л. 10,63. Печ. л. 33. Уч.-изд. л. 35,97.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.

